



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

**THE PENNSYLVANIA STATE
UNIVERSITY LIBRARIES**



Salias de Turnemir
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ГРАФА
Sobranie sochinenii

Е. А. САЛІАСА.

Томъ XXVIII.

**СУММА ТРЕХЪ СЛАГАЕМЫХЪ. — НЕСЛЫХАННОЕ ДѢЛО. —
ПЕТРОВСКІЕ ДНИ.**

.....

Изданіе А. А. Карцова.

МОСКВА.

Типо-Литографія Г. И. Простакова, Балчугъ, домъ Симонова монастыря.
1903.

СО Д Е Р Ж А Н І Е:

| | <i>Стр.</i> |
|-----------------------------|-------------|
| Сумма трехъ слагаемыхъ..... | 1 |
| Неслыханное дѣло..... | 107 |
| Петровскіе дни..... | 257 |



СУММА ТРЕХЪ СЛАГАЕМЫХЪ.

ПОВѢСТЬ.

I.



БЫЛО апрѣльское утро, свѣжее, сѣренькое, дождливое... Въ центрѣ Москвы, въ красивомъ барскомъ домѣ — тихо. Хозяинъ еще спалъ. Въ его большой спальнѣ — совершенно темно отъ спущенныхъ бѣлыхъ сторъ и тяжелыхъ занавѣсей.

Около десяти часовъ, спавшій вдругъ проснулся, какъ отъ толчка, сѣлъ въ постели и прошепталъ:

— Во снѣ что ли? Нѣтъ, это было уже въ полуснѣ... Какъ чуть очнулся, такъ и взволновался... отъ насущнаго. Такъ бываетъ, говорятъ, у людей, у которыхъ большое горе или просто большая бѣда. Забудется все во снѣ, а чуть начнется явь, — ощущение тяжести на душѣ является прежде сознанія о томъ, кто ты, что ты, и гдѣ ты...

Помолчавъ мгновенье, онъ снова забормоталъ. Разговаривать вслухъ съ самимъ собой и даже шутить было его привычкой — и любимой.

— Да, да... Ну-т-ка... Кто я?... Я — Алексѣй Борщовъ, бывший лейбъ-гусаръ. Только-что воевалъ; венгерцевъ усмирялъ и вышелъ въ отставку. А что я такое? Товарищи въ полку звали на разные лады — мудрецомъ, барышней, тюленемъ, Сократомъ Платоновичемъ и преподобнымъ Алексѣемъ Божиимъ человѣ-

комъ. Звали тоже и абракадабристомъ. А гдѣ я?... Да въ той же Москвѣ, гдѣ родился, и въ томъ же дѣдовскомъ домѣ на Тверскомъ бульварѣ. А что я теперь собираюсь учинить съ собой? То-то вотъ, братецъ. Къ этому я и веду рѣчь. Что? Даже жутко подумать.

Онъ собрался-было позвать, какъ всегда, лакея для того, чтобы тотъ поднялъ занавѣсы, но остановился и опять заговорилъ вслухъ:

— Это одинъ изъ самыхъ роковыхъ моментовъ жизни. Мнѣ кажется, что иногда оно похоже на то, что человекъ облегчаетъ миллиону свалиться къ нему на голову. Миллиону нравственному, а не изъ рублей состоящему. Чортъ ли въ этокомъ!.. Иногда же оно похоже на то, что человекъ шалить заряженнымъ пистолетомъ, со взведеннымъ куркомъ, и приставляетъ его то къ виску, то къ глазу, забавляясь тѣмъ, что находится на волосокъ отъ смерти.

И вздохнувъ глубоко отъ волненія, онъ провелъ руками по головѣ и по лицу.

— Да, день!—зашепталь онъ.—Денежъ начинается. День въ жизни великій. И какимъ тамъ Сократомъ Платоновичемъ или абракадабристомъ я ни будь, по мнѣнію товарищей, а все-таки по неволѣ начнешь раздумывать и всякую всячину приплетать. Прямо таки страшно. И ужъ, конечно, страшнѣе, чѣмъ на войнѣ. Что тамъ? Ничего. Двумъ смертямъ не бывать. А тутъ впереди цѣлая вереница привидѣній на встрѣчу тебѣ идетъ по той дорогѣ, которую ты берешь. Да. Невѣдомыя условія предстоящей новой жизни—это именно призраки страшные. А между тѣмъ ты ихъ на себя самъ же и вызываешь. Оставайся. Не вступай на эту дорогу. Стой или возьми другую, гдѣ не предвидится встрѣча съ привидѣніями.

Борщовъ вздохнулъ снова и прибавилъ громко на всю спальню, какъ еслибы обращался къ кому-нибудь:

— Да, да. Это такой шагъ, послѣ котораго жизнь принимаетъ совсѣмъ иной оборотъ. Начинается новая стадія земного существованія. Да еще какая стадія!.. Она всю жизнь мою захватить, заполнить.

И Борщовъ, вмѣсто того, чтобы позвонить своего давнишняго лакея, крѣпостного человека Степана, вылѣзъ изъ постели, накинулъ халатъ и самъ раздвинулъ занавѣсы на окнѣ и поднялъ стору. Глянувъ на улицу, онъ удивился. Несмотря на его якобы мрачное философствованіе, на душѣ его было

въ дѣйствительности такъ свѣтло и радостно, что онъ былъ удивленъ, увидя хмурое небо и накрапывающій дождь. Ему почему-то представилось, что въ такой день его жизни и по года должна быть дивная.

Тѣмъ паче слѣдовало ожидать этого, что весна была на дворѣ, снѣгъ уже давно сошелъ, а на трехъ чахлахъ деревцахъ сосѣдняго церковнаго двора виднѣлись уже съ недѣлю почки.

Борщовъ отворилъ окно, выставленное наканунѣ, желая подышать чистымъ, теплымъ воздухомъ, но на него пахнуло сыростью, подулъ легкій свѣжій вѣтерокъ будто съ запахомъ тающего гдѣ-то снѣга.

Внизу на улицѣ виднѣлось нѣсколько прохожихъ, больше простой народъ, но въ ту же минуту проѣхала большая карета четвернею цугомъ... Мальчишка форейторъ нещадно стегалъ „подручнаго“ гнѣдого коня... Кучеръ съ окладистой бородой важно возсѣдалъ среди огромныхъ и широкихъ козелъ подъ голубымъ чехломъ съ серебряной бахромой и съ гербомъ. Два ливрейныхъ лакея, стоя на запяткахъ и держась руками за ремни, увидѣли Борщова у окна и ухмыльнулись ему изъ вѣжливости. „Знакомый баринъ!“—говорили ихъ добродушные лица.

Борщовъ тоже при видѣ этой кареты, кучера и лакеевъ пробурчалъ себѣ самому:

— Князь Задонскій? Куда такъ рано?

Странное совпаденіе будто слегка озадачило его. Почему онъ сегодня, въ этотъ особенный, знаменательный день, самъ поднялъ занавѣсы, глянулъ на улицу и перваго человѣка, котораго увидѣлъ, именно проѣзжающаго князя... Именно его, князя Виктора Юрьевича Задонскаго? Вѣдь онъ, и одинъ онъ, въ Москвѣ—его соперникъ.

— Впрочемъ, какой же это соперникъ?—громко воскликнулъ Борщовъ.—Мямля, байбакъ... Зачѣмъ онъ къ Ипатовымъ ѣздитъ и ежедневно у нихъ торчитъ отъ зари до зари — неизвѣстно никому.

И закрывъ снова окно, Борщовъ отошелъ и размѣялся.

— Даже ему самому неизвѣстно! Привозить букеты и все пристааетъ, чтобы въ воду поставили... А то цвѣты-молъ завянутъ. Привозить конфекты, и самъ, болтая, сѣдаетъ ихъ до тла. Добрый человѣкъ, но... соперникомъ ничѣмъ и ни въ чемъ быть не можетъ. Хотя онъ въ Надю влюбленъ... Поло-

жительно! И давно. Въ началѣ зимы уже говорила вся Москва, что онъ—ея женихъ.

Борщовъ началъ тихо двигаться по комнатѣ, не ходить, а бродить, какъ еслибы искалъ что-нибудь.

— Странная это черта характера!—началъ онъ снова бурчать себѣ подъ носъ.—Люди говорятъ, что это якобы гамлетовская черта. Все обсуждать, все взвѣшивать, все разбирать по ниточкѣ, и каждую ниточку обглядывать, обнюхивать со всѣхъ сторонъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ бояться сдѣлать шагъ... Все собираться только дѣйствовать. Но теперь-то? Рѣшился ли я? Понятно, рѣшился. Конечъ. И давно бы пора. Давнымъ-давно. Еще въ новый годъ, помню, на волоскѣ висѣло, во время мазурки... А теперь уже апрѣль... И что меня остановило? Остановила мысль, что глупо, пошло, даже какъ бы оскорбительно для собственнаго достоинства сдѣлать предложеніе среди глупаго пляса. И вотъ, отложилъ до слѣдующаго дня... А на утро, вотъ здѣсь же, такъ же вотъ, проснулся, сталъ разсуждать и испугался... И отложилъ совсѣмъ...

Постоявъ среди комнаты, Борщовъ выговорилъ громко и съ чувствомъ:

— Конечъ! Я ее люблю. И она меня любитъ. Я это знаю. Такъ что же? Чего философствовать, да разбирать по ниточкамъ и чувство свое, и всѣ послѣдствія поступка. Конечъ!

Онъ позвонилъ и, при появленіи лакея, весело и бодро приказалъ полушутя:

— Ну-съ, Степанъ Макарычъ, пожалуйста. Умыться, бриться, облачаться и чай пить. И полную форму тащи сюда!

— Самн поднались, да еще и мудиръ давай? — удивился лакей.— Это что же такое?

— Чудеса въ рѣшетѣ, Степанъ.

— Понятно, чудеса! Аль балуетесь?

Камердинеръ, пожилой человекъ лѣтъ пятидесяти, уже около двадцати лѣтъ ходившій за своимъ барчукомъ, а потомъ баринномъ Алексѣемъ Андреевичемъ, обожалъ его, конечно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и обращался съ нимъ вполне фамиллярно.

— Сегодня такой день, Степанъ... Все одно что большой праздникъ или день именинъ, либо рожденъе мое... Я жениться собрался. Вотъ тебѣ!

Степанъ помолчалъ нѣсколько мгновеній, глядя барину въ лицо, и наконецъ выговорилъ упавшимъ голосомъ:

— Что же! Благослови Господь. Дѣло доброе.

— Чего же ты, будто огорчился или оробѣлъ?

— Наше холопское дѣло такое... Вотъ ходилъ, ходилъ... А тутъ барыня... Не угодилъ ей, — она и турнула. А я, коли за вами не ходить, такъ хоть въ рѣчку. Привыкъ.

— Ну, это не бойся... Не такая она—моя будущая супруга.

— Онѣ, я знаю, добрыя.

— Стало быть, догадался—кто?

— Эвосья... Тутъ не приходится догадываться. Вѣстимое дѣло — Надежда Павловна... Люди всѣ давнымъ-давно сказываютъ. И наши, и ихніе...

— Да, правда, Степанъ. Я давно собираюсь. Всю зиму почти. Да все страшно было... Такое дѣло, что возврата нѣтъ. Вся жизнь отъ этого будетъ такая или сякая.

— Не знаю, Алексѣй Андреевичъ, почему господа это такое разсужденіе имѣютъ. По нашему, что же тутъ такого особливаго? Жить—житью, а супружество — супружествомъ. Одно другому не мѣшаетъ.

— Вотъ ты и врешь. Я тебѣ сейчасъ докажу, что мѣшаетъ. Ты былъ женатъ? Овдовѣлъ? Были у тебя два сына, а теперь одинъ Илюша. Другой — попалъ зимой въ прорубь и много заставилъ тебя слезъ пролить. И ты всегда соглашался, что еслибы не женился ты—этого горя у тебя бы не было. Или женился бы на другой, на той, что тебѣ тогда прочили, на косой Аграфенѣ. А она и теперь еще жива, потому что была здоровенная всегда, и дѣтей было бы у тебя— сколько у нея теперь. Куча, чуть не дюжина.

Степанъ усмѣхнулся и замоталъ головой.

— Это я все знаю. Отъ васъ сто разовъ слыхалъ и сто разовъ вамъ докладывалъ, что это вы все путаете. Это—господское разсужденіе и все колобродство одно. А жить у всякаго человѣка своя собственная, какая ему положена. И финтить ему недляче ..

Черезъ полчаса Борщовъ уже сидѣлъ въ большой столовой своей истинно-барской квартиры, завтракалъ и просматривалъ газеты, двѣ русскихъ и одну французскую. Онъ почти одинъ въ своей средѣ начиналъ день завтракомъ съ газетами. Это была привычка, прибрѣтенная за границей, за время двухлѣтняго пребыванія по болѣзни.

Изъ газетъ онъ узналъ важное извѣстіе. Въ Парижѣ дѣла шли плохо. Наступали смутные дни. Республиканское правительство, свергнувшее короля Людовика-Филиппа, казалось, ви-

сѣло само на волоскѣ, потому что ожидалась, чувствовалась контръ-революція.

— Ну, и Христось съ ними!—воскликнулъ онъ весело.— У меня дѣло важнѣе... И дни тоже предстоятъ революціонныя...

Борщовъ уже кончилъ завтракъ, когда одинъ изъ старыхъ крѣпостныхъ лакеевъ вдругъ вбѣжалъ въ столовую съ парадной лѣстницы.

— Алексѣй Андреевичъ!—воскликнулъ онъ:—Митрій Митричъ пожаловалъ...

— Гдѣ? Что?!—вскочилъ Борщовъ.

— Вотъ-съ... извольте поглядѣть. Только-что подъѣхали.

Борщовъ бросился къ окну и увидѣлъ у подъѣзда своего дома большой дорожный экипажъ, именуемый „dormeuse“, страшно запачканный, почти рыжій отъ пыли и грязи. Четверка худыхъ, заморенныхъ почтовыхъ лошадей какъ-то не шла хотя и къ загрязненному, но все-таки эlegantному „дормезу“.

Изъ дворецъ кареты, отворенной швейцаромъ, вылѣзаль плотный, даже толстый человекъ, лѣтъ сорока.

Это былъ другъ Борщова и товарищъ по полку, тоже бывшій гусарь, но тоже бросившій службу и жившій въ деревнѣ.

Борщовъ быстро растворилъ окно и крикнулъ:

— Верзилинъ! Какими судьбами?

Толстякъ поднялъ голову и кивнулъ головой.

— Судебъ никакихъ!—крикнулъ онъ.—Зачѣмъ противорѣчишь себѣ! Омерзительное, подлое, братецъ, происшествіе... И вотъ къ тебѣ!.. Въ Москву. Къ Косолапамъ.

Борщовъ бросилъ салфетку на столъ и быстро двинулся на лѣстницу. Друзья облобызались, а черезъ нѣсколько минутъ пріѣзжій товарищъ ужъ сидѣлъ за столомъ и пилъ чай. Вещи его вносились въ домъ.

— Да объяснися толкомъ!—сказалъ Борщовъ.—Я не пойму. Отчего вдругъ собрался? И безъ жены! Ты никогда съ ней не расстаешься.

— Мерзопакостное, говорятъ тебѣ, происшествіе,—сумрачно отвѣтилъ Верзилинъ, любившій всегда шутить самымъ серьезнымъ голосомъ и съ самымъ угрюмымъ лицомъ.

— Слышалъ. Да какое?

— Ко мнѣ повадился шляться да вокругъ меня увиваться и примѣриваться не кто иной, душа моя, какъ самъ Кондратій.

— Какой Кондратій?—вытаращилъ глаза Борщовъ.

— Кондратій Иванычъ—пріятель всѣхъ тучныхъ домосѣдовъ. И вотъ, сталъ онъ собираться меня хватить... Но я не будь глупъ, душа моя, сейчасъ смекнулъ... Съ недѣлю назадъ, смотрю—красныя звѣздочки и таракашки послѣ обѣда начали прыгать передо мною. А тамъ, дня четыре тому вдругъ... Хлопъ! Нога правая и рука вотъ, тоже, малость самую, започивали, сами безъ меня спать собрались. Ну думаю, врешь, голубчикъ Кондратій, не на того попалъ. Не даромъ у меня отца родного да старшаго брата ты, треклятый, хватилъ. И я стало быть, ученый... И вотъ тотчасъ собрался—и маршъ сюда, въ Москву, къ Косолапамъ. Что они укажутъ, черти--посмотрю.

Борщовъ началъ смѣяться, вспомнивъ, что другомъ такъ звались Эскулапы.

— На все согласенъ. Только на одно не пойду... Если запретятъ мнѣ хересь да велятъ пѣшкомъ ходить всякій день,—это—ни-ни! Врутъ.

— Именно это-то самое и велятъ!—хохоталъ Борщовъ.— Вѣдь ты еще въ полку въ этомъ былъ грѣшенъ. Тебѣ и тогда предсказывали, что кончишь ударомъ. Ну, вотъ...

— Никогда!... Не предсказывали, а каркали,—и накаркали, черти. Предсказаніе тѣмъ хорошо, что оно есть предупрежденіе. Предсказала мнѣ разъ одна цыганка-гадалка,—какъ и всѣ онѣ,— что я кончу жизнь тѣмъ, что утону; но я этому, понятно, не вѣрю. А еслибы я это и вѣрно зналъ, то я, душа моя, въ дождикъ на улицу выходить бы не сталъ. Графины съ водой къ обѣду ставить запретилъ бы. А ужъ умываться—избави Богъ. Никогда. Однако все-таки я теперь вспомнилъ, что мнѣ въ Петербургѣ накаркали это и доктора... И какъ только этотъ подлець, Кондрашка, толкнулъ меня теперь малость, такъ вотъ я сейчасъ же и собрался сюда... И приму всѣ мѣры... Наша жизнь — въ нашихъ рукахъ!.. Впрочемъ, я забылъ совсѣмъ... Ты вѣдь отчаянный... Какъ, бишь, это... Тѣфу! Слово забылъ... Ну, нашъ Михаилъ Юрьевичъ любилъ его и часто повторялъ.

— Лермонтовъ? Да. Любилъ... И правъ оказался, пожалуй...

— Какъ слово-то?

— Фаталистъ!

— Во! во!.. Ты вѣдь этой чепухой тоже зараженъ. Тоже вѣришь, что жизнь наша на небесахъ написана и подписана кѣмъ-то. Быть по сему! И конецъ! Какъ ни вертись.

— Нѣтъ. Я, собственно, вовсе не фаталистъ, — задумчиво отвѣтилъ Борщовъ. — А я вѣрю, что если вотъ человѣкъ, вмѣсто того, чтобы взять вправо, вдругъ возьметъ влѣво, то конечно...

— Такъ! Такъ! Помню! Слыхалъ! — перебилъ Верзилинъ. — И никогда твоего ученія я понять не могъ. Скорѣе пойму, что, вотъ, написано, молъ, на облацѣхъ небесныхъ: «отставному полковнику лейбъ-гвардіи гусарскаго полка Дмитрію Верзилину отдать Богу душу изъ-за подлеца Кондрашки!» Но и сіе враки. Не можетъ тоже быть. Было бы написано, то было бы и неизбѣжно. А мы можемъ себя заранѣе ограждать. Нѣтъ, душа моя, еслибы, вотъ, Михаилъ Юрьичъ не лѣзъ на всѣхъ, то былъ бы живъ... Ты что же это, другъ? — прибавилъ толстякъ: — будто не весель, пригорюнился? Эй! пронися!

Борщовъ, дѣйствительно, сидѣлъ задумавшись глубоко и, придя въ себя, вымолвилъ:

— Пригорюнишься, братецъ... Я жениться собрался.

— Во! Дѣло капитальное. Надо мозги расправить по неволѣ. Надо подумать, да и подумать. Иное дѣло, кабы это на небесахъ было прописано... И даже съ росчеркомъ. Тогда бы ничего. Валяй какъ по писаному.

— Да вотъ, Дмитрій, — серьезно заговорилъ Борщовъ: — я теперь чую, что стою якобы на перепутіи. Двѣ дороги. Одна дорога — счастье всей жизни. Другая — если не несчастье, то...

— Осѣчка.

— Да. Но иная осѣчка въ жизни — дѣло ужасное.

— Хуже, пожалуй, чѣмъ осѣчка на медвѣдя, который къ тебѣ на заднихъ лапкахъ шагаетъ, имѣя намѣреніе не шаркнуться, а шаркнуть.

И послѣ паузы Верзилинъ прибавилъ:

— Но, серьезно говоря, по душѣ, — это, братъ намѣреніе чудо. Дивное, велелѣпное! Сто лѣтъ проживешь, — ничего умнѣе не надумаешь. Всякая тварь да бракосочетается и да хвалить Господа! Такъ въ писаніи не сказано только по недосмотру. Надо бы еще прибавить: «не оженивыйся псой пахнетъ».

— Чего ты только не совершь! — невольно засмѣялся Борщовъ.

— Извѣстное всему міру природное явленіе, душа моя. Всякій старый холостякъ начинаетъ псиной отдавать. И старья

дѣвицы тоже... Брюнетка—калеными орѣхами, а блондинка—желудковымъ кофеемъ.

Борщовъ снова раза два начиналъ серьезно заговаривать съ старымъ товарищемъ о своемъ насущномъ дѣлѣ, которое поглощало его, но возможности не было. Полковникъ отвѣчалъ шутками и прибаутками.

Однако, въ дружеской бесѣдѣ прошло уже не мало времени, и Борщовъ, узнавъ, что уже второй часъ, быстро собрался заняться своимъ туалетомъ. Онъ непременно хотѣлъ, и въ силу обычая, и ради удовлетвореніе какого-то торжественнаго внутренняго чувства, ѣхать въ полу-парадной формѣ. Обыкновенно онъ ходилъ въ статскомъ платьѣ, и только въ особые дни облачался въ мундиръ, заслуженный въ венгерскую кампанію.

Около двухъ часовъ Борщовъ былъ уже на Кузнецкомъ Мосту и въ знаменитомъ магазинѣ золотыхъ вещей Розенштрауха покупалъ браслетъ съ огромнымъ рубиномъ и бриллиантами.

«Это будетъ память о нынѣшнемъ днѣ!—думалъ онъ.— Вырѣжемъ потомъ число и мѣсяцъ. И я ее попрошу носить, никогда не снимая».

Оставалось только купить конфетъ, что часто дѣлалъ онъ,— а на нынѣшній день, исключительный, могъ бы и обойтись безъ этой любезности.

— Все равно!—рѣшилъ онъ.—По дорогѣ...

И онъ приказалъ кучеру ѣхать на Тверскую, въ модную кондитерскую Файѣ. Выбравъ красивую бомбоньерку, въ ожиданіи, пока ее наполняли двумя фунтами разныхъ конфетъ, онъ отошелъ къ окну и, глядя на улицу и прохожихъ, задумался.

«Да, сегодня... наконецъ»...

«Это слово «наконецъ», мысленно произнесенное вслухъ, вдругъ удивило его самого. Оно было неподходящимъ къ положенію. «Наконецъ»—можно сказать лишь послѣ борьбы и побѣды, послѣ преодоленія какихъ-либо препятствій... А въ данномъ случаѣ ничто не стояло преградой между нимъ и осуществленіемъ его мечты о счастьѣ,—кромѣ его сборовъ.

Ипатовы, мужъ и жена, пожилые люди, заурядно почтенные, были одними изъ видныхъ представителей стараго мо-

сковскаго дворянства. Онъ—любимый предводитель дворянства дальняго уѣзда; она—любимая устроительница большихъ и веселыхъ обѣдовъ и баловъ. Ихъ сынъ Левъ—добрый малый, причисленный къ канцеляріи графа Закревскаго, московскаго сатрапа, первый танцоръ и дирижеръ, но и не послѣдній кутила у Яра и Шевалье. Ихъ дочь—всѣми любимая Надя, и любимая равно молодыми и старыми за что-то особенно кроткое, мягкое, ласкательное во всемъ ея существѣ.

Надя Ипатова выѣзжала уже третью зиму, а между тѣмъ Борщовъ, начавшій часто бывать у Ипатовыхъ, считался лишь первымъ ея претендентомъ. Его перваго Москва зачислила въ женихи Нади. До тѣхъ поръ вся молодежь очень любила m-lle Nadine, но никто за ней не ухаживалъ. Пріятельницы повѣряли ей, самой близкой, самой сердечной подругѣ, всѣ свои тайны. А ей нечего было имъ повѣрять. Кругомъ нея, каждую зиму, всѣ эти пріятельницы выходили замужъ, становились матерями, «открывали» новые дома въ Москвѣ или исчезали въ провинцію, а Надя, имѣя все за собой,—оставалась.

Только въ эту зиму появился наконецъ и около нея чело-вѣкъ, къ которому тотчасъ же и родители, и друзья, и вся среда, отнеслись какъ къ жениху. Это былъ Борщовъ. Одновременно, однако, съ этимъ женихомъ въ домъ ихъ постоянно пребывалъ по старому другой чело-вѣкъ. Это былъ москвичъ родомъ, долго отсутствовавшій и снова поселившійся въ своемъ домѣ на Кисловкѣ. Но его не причисляли вообще къ категоріи жениховъ.

«Князь Задонскій никогда не женится!»—было давно рѣшено московскими родителями невѣсть.

Сидя уже третью зиму почти безвыходно въ домѣ Ипатовыхъ, князь не ухаживалъ за Надей, хотя постоянно возилъ ей цвѣты и конфекты. Но раза два въ зиму онъ садился вдругъ въ дилижансъ и уѣзжалъ на время въ Петербургъ, гдѣ—какъ было хорошо извѣстно москвичамъ—онъ такъ же безвыходно сидѣлъ въ домѣ генерала барона фонъ-Альтбаха и такъ же возилъ букеты и конфекты его дочери Эмилиі.

Затѣмъ, вернувшись въ Москву, онъ тотчасъ же аккуратно начиналъ посѣщенія Ипатовыхъ, гдѣ его искренно любили всѣ, давно считали другомъ дома, но, конечно, не женихомъ, да пожалуй и не «парой» для Нади. Задонскому было уже сорокъ-пять лѣтъ, а ей только-что минуло двадцать-два... Онъ не танцовалъ, игралъ—и очень скверно—въ вистъ-преферансъ, и, проводя вечера въ Англійскомъ клубѣ, считался политика-

номъ и «солиднымъ» человѣкомъ по положенію, придворному званію и крупному состоянію въ полномъ, образцовомъ порядкѣ. Къ довершенію всего, князь былъ нѣсколько тучень и имѣлъ большую плѣшь на затылкѣ. Положимъ, что эта плѣшь была у него уже чуть не въ двадцать лѣтъ... Но тогда это считалось страннымъ явленіемъ, а теперь—вполнѣ законнымъ. А это не въ примѣръ хуже.

Павель Николаевичъ и его жена Марья Борисовна Ипатовы относились къ Задонскому сердечно, какъ къ человѣку безспорно доброму, въ полномъ смыслѣ, со словъ Москвы—«*bon comme du pain blanc*»,—не глупому и крайне скромному, до застѣнчивости, среди общества, въ которомъ онъ, однако, вращался съ рожденія. Надя положительно любила князя, считая его первымъ другомъ семьи, чувствуя, что все хорошее и дурное «у нихъ» князь приметъ къ сердцу, какъ свое собственное горе или свою радость. Молодой Левъ Ипатовъ обожалъ князя и, отъ природы большой эгоистъ, удивлялъ всѣхъ этимъ своимъ обожаніемъ.

Впрочемъ, была въ отношеніяхъ Ипатовыхъ и Задонскаго тайна и—большая... Но существованіе этой тайны было извѣстно только самому Павлу Николаевичу и князю... И больше никому, буквально. Даже Марья Борисовна ничего не знала, такъ какъ мужъ, откровенный съ ней во всемъ, въ дѣлахъ своихъ былъ скрытенъ, говоря, что это—«не женская статья».

Широко—да уже и давненько—живущій въ Москвѣ Ипатовъ привелъ свои дѣла въ самое печальное положеніе. Когда-то три большія, «чистыя», не заложенныя имѣнія въ трехъ губерніяхъ теперь были въ полномъ разореніи. Состояніе Ипатова, по его собственному опредѣленію, «трещало по всѣмъ швамъ и разтѣзжалось по всѣмъ давнишнимъ заплатамъ»...

А этихъ заплатъ много наставилъ Павель Николаевичъ, начавъ штопанье уже въ тѣ времена, когда еще не былъ женатъ, а весело служилъ въ Малороссіи, въ одномъ уланскомъ полку, извѣстномъ картами, дуэлями и «отчаяніемъ». Самъ онъ никогда особенно отчаяннымъ кутилой не бывалъ, но, разумѣется, «отставать» отъ товарищей кто же станетъ!..

Теперь, спустя двадцать-пять лѣтъ послѣ первой заплаты, незначительной, накопилось ихъ, конечно, много и значительныхъ. Были даже заплаты заплатъ, такъ какъ уплатъ за все это время не было, а займы продолжались.

И тайна между Ипатовымъ и Задонскимъ заключалась въ томъ, что одинъ былъ долженъ другому уже второй годъ—

семьдесятъ-восемь тысячъ ассигнаціями. Шестьдесятъ и двѣнадцатъ Ипатовъ взялъ въ два раза самъ, чтобы «обернуться». Шесть тысячъ были причтены къ суммѣ... Ихъ въ разное время по мелочамъ перебралъ у князя молодой Левушка; за то Павелъ Николаевичъ часто попрекалъ сына и говорилъ:

— Я въ твои годы долговъ не дѣлалъ!

И это была истинная правда. Онъ потомъ уже наверсталъ потерянное время.

— Надо же, однако, жить!—говорилъ не отцу, а друзьямъ Левушка, получавшій отъ отца лишь шестьсотъ рублей, да изъ канцеляріи генераль-губернатора чetyреста.

При этомъ ни Левушка, ни его мать, ни Надя, конечно, не знали ничего о положеніи своемъ, которое становилось очень мудренымъ. Ихъ только удивляло не мало, что родовое имѣніе въ воронежской губерніи «наскучило» Павлу Николаевичу.

— И далеко! И крестьяне мошенники! Вѣчно оттягиваютъ уплату оброка. Лучше продать.

Имѣніе это—отличное, подгородное, въ восемьсотъ душъ—соглашался купить князь Задонскій, и конечно—изъ любезности или по добротѣ—въ тридорога...

За послѣднее время Ипатовъ, видя, какъ неотступно преслѣдуетъ его Надю повсюду гусаръ Борщовъ, сталъ надѣяться на поправленіе своихъ дѣлъ.

Борщовъ былъ не бѣднѣе князя по московскимъ слухамъ, но если даже вычестъ то, что Москва, по своей вѣковой привычкѣ, приврала, то все-таки Борщовъ—очень богатый человѣкъ.

А времена и норовы таковы, что богачъ-зять не дастъ родителей жены въ обиду и всегда вытянетъ изъ денежной бѣды. Ипатовъ говорилъ себѣ:

— Вотъ князь Щенятевъ чуть-было по міру не пошелъ, а выдалъ замужъ свою Варюшку за казака Яловойскаго... Всѣ дѣла устроилъ да домъ еще въ Москвѣ себѣ купилъ. И когда онъ теперь мимо Опекунскаго Совѣта проѣзжаетъ, то всегда плюетъ и кричитъ: «Что взялъ, идолецъ? Думалъ—придушилъ! Анъ вотъ тебѣ!»—И шишъ показываетъ.

Однако зима прошла, надо было собираться въ деревню, а Борщовъ, именуемый всей Москвой женихомъ Нади—не по-сватался снова.

«Прежде казалось, онъ тянетъ,—думалось Ипатову,—а теперь кажется, какъ будто на попятный».

И онъ былъ возмущенъ.

Зато сама Надя была не только смущена, но грустна... «Красная горка» прошла. Двѣ ея подруги, которыя на святкахъ и не мечтали о замужествѣ и только ей завидовали, что у нея вѣрный претендентъ,—теперь уже уѣхали съ мужьями, одна въ Пензу, другая въ Петербургъ.

А Борщовъ продолжаетъ къ нимъ ѣздить и становится вторымъ Задонскимъ, то-есть другомъ дома—и только... А между тѣмъ Надя увлечена имъ, даже болѣе... Никогда еще не любивъ никого, она не могла опредѣлить вѣрно свое чувство къ Борщову, и только смутно понимала, что это—любовь.

— Еслибъ онъ былъ не богатый, не гусарь, я бы все-таки за него пошла, — часто говорила Надя своей нянѣ, Дарьѣ Васильевнѣ.

— Будь онъ даже не дворянинъ!—воскликнула она однажды.—Я, кажется, все-таки за него бы пошла...

— Тьфу, дитятко! Типунъ тебѣ на языкъ! — отозвалась только нянюшка, негодя и ужасаясь.

А между тѣмъ Дарья Васильевна мысленно оправдывала свою питомицу. Борщовъ былъ на всѣ глаза красивый, статный молодець, ласковый и обходительный. Даже вся дворня Ипатовыхъ его любила и тоже надѣялась, что вотъ если попадешь въ приданое къ барышнѣ—на вѣкъ счастливъ будешь у этакого барина.

Наконецъ, вся семья Ипатовыхъ и всѣ ихъ дворовые, жившіе при нихъ, мечтавъ о замужествѣ Нади, думали и говорили:

— Всѣмъ взялъ, да еще вдобавокъ — гусаръ. Не то, что нашъ Левушка... Рябчикъ.

Между тѣмъ въ домѣ Ипатовыхъ уже третій день замѣчалось нѣкоторое заботливое оживленіе. Былъ отданъ приказъ—собираться...

Собираться на лѣто въ московское имѣніе было большой возней съ кучей всякихъ хлопотъ. Одни холопы радовались по-видаться съ родней, а кто и съ женами да съ дѣтьми послѣ шести- и семи-мѣсячной разлуки. Господа относились къ переезду безучастно. Въ деревнѣ жара, глушь, хозяйскія заботы, скука.

Теперь же, послѣ нѣкотораго разочарованія отъ прошлой зимы, самъ Ипатовъ ходилъ сумрачный, а семья это видѣла, замѣчала и тоже приуныла.

— Что же это?.. Борщовъ-то!—наивно и кисло сказалъ за обѣдомъ Левушка, не обращая вниманія на присутствіе лакеевъ.

Дуракъ!—огрызнулся на сына разсердившійся Павелъ Николаевичъ.

Марья Борисовна только покачала на сына головой. Надя смутилась, покраснѣла и чуть не расплакалась.

Послѣ обѣда Ипатовъ, глазъ-на-глазъ, сказалъ сыну:

— Что ты махонькій что-ли? при холопахъ брякаешь! Сестру да и насъ срамишь.

— Да они, папа, всѣ знаютъ...—отвѣтилъ сынъ.

II.

— Да. Знаменательный день и роковой шагъ...—бормоталъ Борщовъ.—А повліяетъ вѣдь онъ на всю жизнь!

Борщовъ выходилъ изъ кондитерской съ бомбоньеркой въ рукахъ... Сѣвъ въ коляску, онъ крикнулъ бодро, хотя со страннымъ оттѣнкомъ въ голосъ:

— Къ Ипатовымъ!

Въ звукѣ его голоса было волненіе счастливаго человѣка.

Экипажъ двинулся... Поставивъ бомбоньерку на сидѣнье около себя, онъ почти безсознательно собрался надѣвать перчатки.

Одной не было... Въ ногахъ тоже не было. Онъ обернулся назадъ и увидѣлъ на тротуарѣ, противъ дверей кондитерской, ясно бѣлѣвшуюся перчатку. Одновременно какой-то прохожій мальчуганъ поднялъ ее... Борщовъ остановилъ кучера.

— Эй, мальчикъ!—крикнулъ онъ и махнулъ рукой.

Этотъ догадался и рысью побѣжалъ къ коляскѣ, подавая перчатку.

Но она была вся въ грязи...

— Досада какая!—воскликнулъ Борщовъ.—Какъ это глупо! Точно на грѣхъ.

Онъ подумалъ мгновеніе, потомъ посмотрѣлъ на часы и тотчасъ же весело разсмѣялся.

Подумаешь, что будто мнѣ назначенъ часъ. Не все ли равно:—въ три часа, въ пять часовъ. Лишь бы сегодня. Да и то потому, что я хочу сегодня. Хочу самъ.

И онъ велѣлъ ѣхать въ перчаточный магазинъ.

Черезъ четверть часа коляска уже снова отъѣзжала отъ магазина, а Борщовъ напяливалъ на руки свѣжія перчатки. Еще минутъ черезъ десять, онъ подъѣзжалъ къ подѣзду большого

дома на Поварской и уже издали увидѣлъ карету четверней цугомъ, которую хорошо зналъ.

Князь Задонскій былъ у Ипатовыхъ, хотя въ эту пору дня обыкновенно никогда не бывалъ.

Борщовъ быстро вошелъ на подъѣздъ и въ швейцарскую.

Швейцаръ, снявшій, или, вѣрнѣе, поймавшій на лету сброшенную шинель, какъ-то необычайно сіялъ и что-то сказалъ барину, котораго любилъ и считалъ „своимъ“.

Но Борщовъ, нѣсколько взволнованный, не разслышалъ или не понялъ его словъ, и быстро сталъ подниматься по широкой парадной лѣстницѣ.

Въ дверяхъ залы на него чуть не налетѣлъ дворецкій дома, стѣшившій изъ гостиной. Борщовъ невольно замѣтилъ, что лицо стараго дворецкаго было не такое, какъ всегда, а озабоченно-радостное.

Борщовъ прошелъ залу, и черезъ двери въ гостиную до него долетѣли знакомые голоса, необычно громкіе, веселые... Очевидно, царило въ домѣ особенное оживленіе по поводу чего-то...

Едва Борщовъ вошелъ въ гостиную, гдѣ оказалась въ сборѣ вся семья и былъ гость, Задонскій, какъ замѣтилъ что-то особенное... Всѣ были, видимо, чѣмъ-то обрадованы и довольны... Но, поглядѣвъ на молодую дѣвушку, онъ встрѣтилъ ея взглядъ—необычный, странный и даже почти тревожный.

— „Что такое?“ — мысленно спросилъ онъ и сталъ тоже тревоженъ.

Онъ поздоровался со всѣми. Князь Задонскій подалъ ему руку особенно весело и крѣпко пожалъ его руку.

Самъ Ипатовъ протянулъ ему руку дружески-величественно, какъ начальникъ, принимающій подчиненныхъ въ высокаторжественный день.

— Я думаю, Paul, — сказала Марья Борисовна, — что мы monsieur Борщову можемъ сказать сейчасъ же.

Ипатовъ взглянулъ на жену, сдѣлалъ едва замѣтное движеніе бровями и въ то же мгновеніе произнесъ:

— Алексѣй Андреевичъ, отчего въ парадѣ сегодня? Что это значить?

Борщовъ слегка смутился и не зналъ, что отвѣтить.

— Та-акъ... — протянулъ онъ и снова поглядѣлъ на молодую дѣвушку. Вѣроятно, взоръ его что-то сказалъ ей, потому что Надя удивилась, а затѣмъ опустила глаза, будто оробѣвъ.

Домашній enfant terrible, Левушка, не вытерпѣлъ и выговорилъ:

— Что же? Мундиръ на Алексѣй Андреевичъ какъ нельзя болѣе кстати. Онъ будто предчувствовалъ, что попадетъ къ намъ въ торжественную обстановку.

— Léon! Не болтай пустяковъ!—рѣзко выговорилъ Ипатовъ.

— Какая торжественн...—началъ было упавшимъ голосомъ Борщовъ, но не договорилъ. И отъ непониманія чего-то происходящаго кругомъ, и отъ какого-то тревожнаго чувства, заставшаго ему въ душу отъ взгляда молодой дѣвушки, онъ растерялся.

На его недосказанный вопросъ никто не отвѣтилъ.

Марья Борисовна шепнула что-то сыну, и молодой человѣкъ быстро вышелъ, кинувъ добродушно-насмѣшливый взглядъ на Борщова.

— Да. Да... Итакъ, дайте кончить... Это—титулъ или почетное званіе. Вотъ поэтому я и говорю, что Тулу или Орелъ, не говоря уже о настоящихъ степныхъ губерніяхъ, никогда нельзя сравнивать съ Москвой.

— Но здѣсь изъ за близости къ столицѣ,—отвѣтилъ князь,—земля должна быть дороже. Подмосковное имѣніе—не то, что черниговское или саратовское, или...

— Титулъ. Титулъ... Повторяю вамъ!—весело закричалъ Ипатовъ.—Очень пріятно его носить, но изъ него, по пословицѣ, шубы не сошьешь. Cela ne rapporte rien.

— Да и земля не дороже,—вступилась Марья Борисовна.

— Какъ не дороже? Должна быть...

— Должна? Должна? Мало ли что!..

И супруги Ипатовы, какъ бывало часто, горячо принялись дуэтомъ спорить съ княземъ.

Борщовъ воспользовался этимъ и, быстро подойдя къ молодой дѣвушкѣ, выговорилъ:

— Надежда Павловна... Два слова.

— Говорите.

— Нѣтъ. Такъ нельзя. Отойдите на мгновение.

Борщовъ двинулся къ балконной двери. Надя послѣдовала за нимъ.

— Надежда Павловна... Я не хочу откладывать ни на одно мгновение то, зачѣмъ пріѣхалъ. Было времени много. Цѣлая зима. Я откладывалъ. Теперь ни на секунду. Я пріѣхалъ спро-

силь васъ, согласны ли вы... Могу ли я надѣяться. Вы понимаете меня... Вѣдь да?.. Да? Отвѣчайте!..

Борщовъ, смущенный и говорившій опустивъ глаза, вдругъ поднялъ ихъ на молодую дѣвушку и чуть не отступилъ отъ нея на шагъ.

Надя стояла предъ нимъ, широко раскрывъ большіе темно-голубые глаза, слегка разинувъ красивый ротикъ, а лицо ея вдругъ преобразилось и выражало какой-то крайній перепугъ.

— Я надѣялся... Я думалъ,—заговорилъ Борщовъ взволнованно,—думалъ, что если я предложу вамъ мою руку и мое сердце, давно уже принадлежащее вамъ, то...

— Алексѣй Андреевичъ...—шопотомъ воскликнула Надя и поблѣднѣла.

— Что съ вами?

— Боже мой! Что же это?!—снова чуть слышно пролепетала, почти простонала Надя и смолкла.

И она еще болѣе поблѣднѣла, пошатнулась и прислонилась спиной къ простѣнку у балконной двери.

— Говорите. Говорите. Что вы? Что значить... Говорите же...

— Мы сейчасъ дали...—глухо произнесла Надя.—Вотъ сейчасъ князь Викторъ Юрьевичъ сдѣлалъ мнѣ честь...

Борщовъ не понималъ ничего, а между тѣмъ понималъ все. Онъ не понималъ словъ ея. Но понималъ ея лицо, ея страшные глаза, ея мертвенную блѣдность. Онъ понималъ, что есть что-то между ними, а это „что-то“—бѣда, ударъ, несчастіе, будущее горе.

— Я не понимаю!—отчаянно и уже громко произнесъ онъ.

— Князю дано слово!—черезъ силу произнесла молодая дѣвушка, и голосъ ея дрожалъ.

— Князю? Сдѣлалъ вамъ предложеніе? Когда?

— Сейчасъ...—прошептала Надя и, тихо поднявъ руки, взяла себя за голову. Затѣмъ, будто собравшись съ силами, она двинулась и пошла изъ гостиной.

— Nadine, куда же ты?—спросила мать и, очевидно, замѣтя что-то въ походкѣ дочери, поднялась, взглянула удивленно на Борщова и вышла за дочерью.

Борщовъ отошелъ отъ балконной двери, приблизился къ Ипатову и князю, весело о чемъ-то спорившимъ, будто ради забавы. Но онъ ничего не слышалъ, будто не сознавалъ, что творится кругомъ, почти не зналъ, гдѣ онъ въ эти мгновенія...

Борщовъ вернулся домой съ такимъ лицомъ, что его Степанъ испугался, но не посмѣлъ спросить, что съ бариномъ. Очевидно, случилось нѣчто черезчуръ важное.

Дѣйствительно, на Борщова нашелъ какой-то столбнякъ; онъ бессмысленно приглядывался къ окружающему, ни о чемъ, собственно, не думалъ и чувствовалъ только, что будто раздавленъ. Черезъ часа два онъ понемногу оправился, и ему стало еще хуже. Полное отчаяніе овладѣло имъ... А главное—явилось тяжелое и горькое сознаніе:

„Самъ виноватъ!“

Еслибы она, любимая имъ давно дѣвушка, отвѣтила отказомъ, сказала бы, что не любитъ его — было бы, конечно, легче. Но такое страшное совпаденіе — и нелѣпое, и роковое вмѣстѣ—было прямо несчастіемъ.

— Да неужели же въ самомъ дѣлѣ — дурацкій мелкій случай можетъ играть въ жизни такое огромное значеніе! — восклицалъ онъ отчаянно. — Да! Вотъ! Эта перчатка. Да. Перчатка! Я отъ нея опоздалъ на четверть часа.

А не поддаваться?! Бороться! Побѣдить мелочь, пустякъ... Повернуть судьбу на свой ладъ?!—кричалъ онъ черезъ минуту.

Разумѣется, въ тотъ же вечеръ онъ, давъ себѣ слово ничего не говорить никому о своемъ ужасномъ приключеніи,— все подробно передалъ своему любимцу-лакею.

— Это не потому, — разрѣшилъ Степанъ задачу, — что вы запоздали. Вы полагаете, не урони вы перчатокъ, то все бы потрафилось къ вашему удовольствію. Нѣтъ, надо сказывать, что такъ, стало быть, на роду написано.

Но это утвержденіе Степана подѣйствовало на Борщова совершенно особенно. Ему еще яснѣе тотчасъ показалось, что виной всему—глупѣйшая случайность.

„Судьба, — думалось ему, — по отношенію къ будущему — вздоръ, а только по отношенію къ прошедшему. Все, что было—зови судьбой. А все, что впереди—отъ насъ зависитъ. Но вѣдь и прошлое отъ насъ равно зависѣло? Да... Какъ же тогда?“

И Борщовъ прибавилъ озлобленно:

— Никакого чорта тутъ не поймешь. Чѣмъ больше думаешь, тѣмъ больше голова кругомъ идетъ. Говорятъ люди: все на свѣтѣ къ лучшему. *Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.* Но вѣдь они это говорятъ только тогда,

когда несчастливы. Себя утѣшаютъ. И это выходитъ—зелень виноградъ.

Не зная, что дѣлать и что предпринять, Борщовъ написалъ молодой дѣвушкѣ записку, умоляя о свиданіи внѣ дома, чтобы объясниться послѣдній разъ.

Надя почти ежедневно, послѣ полудня, гуляла на бульварѣ или съ учительницей музыки, или со своей няней. Борщовъ не разъ встрѣчалъ ее во время этихъ прогулокъ и позволялъ себѣ останавливаться и говорить съ ней, иногда довольно долго. Гулять вмѣстѣ было нельзя и не принято. Но разговаривать, стоя среди бульвара, было можно. Иногда, разойдясь, они снова сходились, снова останавливались и снова болтали. Особенно когда Надя бывала съ няней. Ипатовы это, конечно, знали, но не воспрещали дочери.

Степанъ снесъ его довольно длинное посланіе нянюшкѣ, съ которой былъ давно въ дружескихъ отношеніяхъ, прося передать барышнѣ.

Черезъ часъ Борщовъ получилъ отвѣтъ и чуть не скомкалъ со зла записку любимой дѣвушки. Надя писала, что не придетъ на свиданіе, ибо уже не имѣетъ права, а преклоняется предъ волей Божіей. Она соглашалась, что все происшедшее ужасно, даже загадочно по своей роковой простотѣ. „Да. Пустой случай,—писала она,—рѣшаетъ и мою всю жизнь, и вашу всю жизнь. Еще два дня назадъ, я не только бы пошла въ Иерусалимъ, чтобы быть вашей женой,—я бы дала десять лѣтъ жизни за это. Да и мало ли что дала бы. Но теперь я преклоняюсь предъ судьбой. Я говорю: Господи, да будетъ воля Твоя! Скажите себѣ то же“.

— Боже мой! — закричалъ Борщовъ. — Одно слово. Ея слово. Отца и матери слово. И вся жизнь двухъ людей будетъ иная.

Рѣшивъ, однако, не поддаваться, онъ черезъ того же Степана вызвалъ на бульваръ няню. Она явилась, и Борщовъ объяснилъ все старухѣ подробно, хотя былъ увѣренъ, что она знаетъ не меньше его, если не больше—отъ своей питомицы.

— Нянюшка, ради Господа, помогите мнѣ... Помогите намъ, и мнѣ, и Надеждѣ Павловнѣ. Спасите!

— Что же я тутъ, родной мой, могу? — отозвалась беспомощно Дарья Васильевна.

— Усовѣстите Надежду Павловну. Она васъ любитъ.

— Знаю. Но дѣло-то это такое... Вы, молодой народъ, по верхамъ летаете... По вашему—все тринтъ-трава, а по нашему, все—Господне произволеніе. Женился человекъ, убился человекъ, родился ли, померъ ли — все это Господь опредѣлилъ. А о Надѣ скажу: суженаго конемъ не объѣдешь... Вы полагаете, суженый—значить, женихъ или супругъ будущій... Анъ нѣтъ. Суженое значить—что тебѣ судьба судила по волѣ Божіей—въ земной жизни, да и за гробомъ. Какъ же мы, грѣшныя, можемъ итти противъ воли Божіей? Да и хотѣли бы, то не можемъ. Вотъ ты хотѣлъ-было суженое Надюшѣ—объѣхать. Анъ тебѣ перчатка помѣшала. Не будь ея, было бы иное что!.. И теперь, если и станемъ мы противиться — ничего не выйдетъ. Выйдетъ, какъ Господь Богъ велить.

И несмотря ни на какія увѣренія и убѣжденія, Дарья Васильевна стояла на своемъ.

— Вы знаете, что Надежда Павловна меня любитъ.

— Вѣстимо. Давно... Все мы ждали.

— Какъ же она пойдетъ за немилаго и стараго!—продолжалъ Борщовъ.—Вѣдь онъ для вашей питомицы—старикъ. И не жаль вамъ ея?.. Вы, стало быть, не любите ея, если не хотите помочь спасти.

— Полно! Полно тебѣ... Языкъ безъ костей. Не люблю! Да я за мою Надюшеньку въ огонь да и въ воду... Да что тутъ толковать. Вы, господа молодые, не понимаете, что въ Божіе произволеніе лазать не слѣдъ. Грѣхъ. И великій грѣхъ. Ты, Владыко Господи, судилъ такъ, а я, молъ, не хочу, сдѣлаю эндакъ. Ну, бѣда и будетъ. То-то, господа. Хотите быть выше всего, да и выше Бога, прости Господи.

И Дарья Васильевна угрюмо насупилась; а пока Борщовъ молчалъ, не зная, что сказать, старуха поднялась со скамьи и выговорила:

— Пора мнѣ... Дѣловъ у насъ теперь видимо-невидимо.

— Такъ вамъ не жаль Надежды Павловны! — вскрикнулъ Борщовъ.—Не любите вы ея.

— Христось съ вами! — отозвалась старуха, смѣняя «ты» на «вы» изъ-за обиды.—Даже и не поймешь, какъ вы все это перемѣняете на свой ладъ. Почему же я буду жалѣть дитяtko свое, когда ея добрый да богатый князь за себя беретъ? Слава тебѣ, Господи!

— Но она его не любитъ. Она меня любитъ. Меня!..

— Это пройдетъ живехонько. И думать забудеть.

— Стрепится—слубится!—вскрикнулъ Борщовъ злобно.

— Извѣстное дѣло. На то законъ такой. Ну, простите, мнѣ пора. У насъ дѣловъ, дѣловъ...

Старуха двинулась и поплелась. Борщовъ остался на мѣстѣ и, подумавъ, выговорилъ вслухъ:

— И я дуракъ. Развѣ можно было надѣяться убѣдить старую дуру! Да и не можетъ она тутъ ничего...

Вернувшись домой, Борщовъ продолжалъ волноваться. И вдругъ ему пришла мысль, показавшаяся блестящею.

«Переговорить съ братомъ. Повліять на него, — думалъ онъ.— Просить, умолять, общать... Общать золотыя горы. Да. Онъ такой. Его купить можно. И онъ добрый. Да. Отправляюсь къ этому Левушкѣ и объяснюсь прямо. Его обожаетъ мать... А она имѣетъ вліяніе на мужа».

Однако, рѣшивъ одно, Борщовъ тотчасъ же сдѣлалъ совсѣмъ другое. Утопающій хватается за соломинку... Борщовъ вдругъ рѣшился на шагъ, который считалъ самъ нелѣпымъ и безцѣльнымъ.

Онъ отправился къ самому Ипатову, безъ всякихъ предисловій; онъ рассказалъ ему все и объяснилъ причину своего опозданія съ предложеніемъ. Ипатовъ былъ даже удивленъ... Но удивленъ, конечно, не тѣмъ обстоятельствомъ, отъ какихъ мелкихъ причинъ бываютъ великія событія. Это онъ даже зналъ давно или слышалъ. Онъ удивился самому Борщову. Почестъ все дерзостью онъ не могъ, зная, что молодой человѣкъ не способенъ на что-либо подобное, но убѣдиться въ томъ, что Борщовъ «странный» человѣкъ, онъ считалъ себѣ въ правѣ.

— Господь съ вами, Алексѣй Андреевичъ!

Вотъ все, что онъ могъ сказать, даже воскликнуть.

— Ваше одно слово — и все можетъ измѣниться. Князь — человѣкъ умный и добрый. Если Надежда Павловна скажетъ ему съ вашего разрѣшенія, что она меня любитъ, что она согласилась лишь потому, что...

— Господь съ вами! Слово данное назадъ не берутъ и не просятъ взять. Это считается подл.... Ну, совсѣмъ нехорошимъ. А я... Моя дочь... Да развѣ мы это можемъ! Наконецъ, поймите, что это и не... Не нужно... Или не слѣдуетъ. Это, стало, воля Божья.

Борщовъ слышалъ уже во второй разъ это выраженіе, — оно взбѣсило его.

— Истинно вѣрующій человекъ и разумно вѣрующій,— вскрикнулъ онъ,— не можетъ и не долженъ допускать, что Творецъ міра руководитъ мелкими дѣлами человекѣвъ. Это даже—грѣхъ.

— Такъ сказывается, Андрей Алексѣевичъ,—холодно отвѣтилъ Ипатовъ.— Въ данномъ же случаѣ, извините, я особенно вѣрю, что это было... что это была... Не знаю, какъ выразиться?.. Было все predetermined заранее... Случайность? Судьба? Господь? Говорите и объясняйте какъ хотите. Еслибы вы пріѣхали къ намъ на полчаса ранѣе, и сдѣлали бы ваше предложеніе Надѣ, то дѣйствительно, и я, и жена, и сама Надя—съ радостью отнеслись бы къ этому и были бы счастливы... Но теперь, воля ваша... Теперь... Стало быть такъ суждено.

— Но Надежда Павловна не любитъ князя. Она будетъ вѣкъ несчастна!—съ отчаяніемъ произнесъ Борщовъ.

Ипатовъ развелъ руками, но тотчасъ прибавилъ:

— Это человекъ достойный, добрый и... по пословицѣ...

— Стерпится-слубится!—воскликнулъ Борщовъ насмѣшливо и иронически.

Ипатовъ обиженно насутился, и лицо его говорило, что онъ желаетъ прекратить нелѣпый разговоръ. Борщовъ простился и вышелъ съ мыслью итти прямо къ молодому Ипатову, но затѣмъ вспомнилъ, что онъ за два года никогда не былъ собственно у него въ гостяхъ, въ его комнатахъ въ нижнемъ этажѣ. Поразмысливъ, онъ рѣшилъ, что будетъ лучше, удобнѣе и приличнѣе вызвать молодого человекѣка къ себѣ.

Черезъ часъ его записка была уже у молодого Ипатова, а еще черезъ часъ и самъ онъ входилъ въ кабинетъ Борщова.

Левушка явился веселый, довольный, смѣющійся, но опять-таки, какъ показалось Борщову, слегка насмѣшливо.

Вслѣдствіе этого, принявъ у себя молодого человекѣка, онъ прямо заговорилъ безъ предисловія, почти рѣзко. Онъ объяснилъ, что братъ, если онъ любитъ сестру, долженъ помочь, убѣдить ее самое, а равно убѣдить мать не дѣлать несчастными двухъ людей.

— Одного, Алексѣй Андреевичъ,—сказалъ Ипатовъ:— васъ. Да. А сестра—такой человекѣкъ, что ее за турку какого замужъ выдай,—она будетъ счастлива, будетъ его любить, и уважать, и поксится. Надя—рыба. Я удивляюсь, что она инымъ нравится. Я этакихъ не люблю. Нюня! Размазня!

Борщовъ остановилъ разсужденія Ипатова, говоря, что все это къ дѣлу не идетъ, и сталъ объяснять ему нѣчто болѣе существенное...

— У меня почти такое же состояніе, какъ и у князя. Я слышалъ, что дѣла вашего батюшки не совсѣмъ въ порядкѣ. Я бы почелъ себя счастливымъ, если бы могъ помочь ему современемъ, какъ близкій человѣкъ, какъ сынъ, son beau fils, помочь выйти изъ затрудненій.

— Папа долженъ тому же князю чуть не до ста тысячъ,— разсмѣялся молодой человѣкъ.

— Какъ?—удивился Борщовъ.

— Да. Entre nous. Теперь этотъ долъ пойдетъ на смарку. Или папа ему нашъ домъ на Поварской отдастъ. А ему цѣна красная—тридцать тысячъ.

— Но я могу предложить вашему отцу уплатить князю долъ. Оно все то же.

— И да, и нѣтъ. Оно этакъ вѣрнѣ. Вы только общаете. А князь... Не посадить же онъ въ яму своего тестя. Оно вѣрнѣ.

— Я могу быть и вамъ полезенъ. Вамъ лично,—нѣсколько мушкаясь, вымолвилъ Борщовъ.

— Merci. Князь тоже. Онъ даритъ мнѣ имѣніе свое около Москвы. Маленькое, но миленькое. Тысячъ тоже тридцать стоитъ.

Левушка всталъ и, прощаясь, разсмѣялся громко, весело и уже прямо насмѣшливо. Борщовъ оторопѣлъ, затѣмъ насупился, будто слегка обидѣлся.

— Все пропало! Со всѣхъ точекъ зрѣнія... Все кончено!— рѣшилъ Борщовъ.

Вечеромъ того же дня, сидя съ пріятелемъ Верзилинымъ, который ничего не зналъ о происшедшемъ, Борщовъ, по прежнему разстроенный, угрюмый и озабоченный, снова услышалъ отъ друга, уже разъ въ десятый, тотъ же вопросъ:

— Да что же съ тобой? Скажи, ради Создателя! Чѣмъ чортъ не шутить,—можетъ быть, и я умное что посовѣтую тебѣ.

Борщовъ началъ угрюмо развивать угнетавшую его мысль о власти случая.

Верзилинъ слушалъ внимательно, но сопѣлъ, вздохнулъ раза два тяжело и, наконецъ, произнесъ:

— Вотъ что, душа моя Алексѣй, ты меня этимъ философствованіемъ не пужай. Я изъ робкихъ! Ни съ чего растеоряюсь... А ты лучше объяснися этакъ фигурно... Иносказательно! Ты помню, у насъ въ полку былъ мастеромъ на всякія такія удобопонятныя аллегоріи. Вотъ ты мнѣ теперь все, что хочешь сказать, объясни побасенкой, присказкой.

— Аллегоріей? Ладно. Какъ бы это изловчиться?—добродушно отозвался Борщовъ, и чрезъ мгновенье заговорилъ:

— Знаешь ты старо-калужскую дорогу?.. Калужку, какъ ее народъ называетъ... Не знаешь. Ну, не бѣда. Слушай. На этой дорогѣ есть одно такое мѣсто... Стоитъ огромная, развѣсистая береза, одна изъ тѣхъ, что еще при матушкѣ-царицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ насажали по всѣмъ почтовымъ трактамъ. Въ этомъ самомъ мѣстѣ отъ этой березы дорога вдругъ раздѣляется. Изъ одной—двѣ.

— Одна вправо идетъ. А другая влѣво пошла!—воскликнулъ Верзилинъ.—Не видалъ, а чувствую...

— Такъ! Именно! Но ты очень хорошо выразился, говоря, что одна идетъ, а другая пошла. Вторая-то—эта та самая, которую человекъ невѣдомо почему взялъ. Энта идетъ. Ну, и Богъ съ ней. А эта пошла... Ты по ней пошелъ. Стало—шабашъ. Дѣло прошлое!

— Это я не нарочно сказалъ, душа моя. Видитъ Богъ, сорвалось. Я умныя вещи говорю всегда—нечаянно.

— Ну, слушай. Вотъ, стало быть, одна дорога раздѣляется тамъ на двѣ... Прямо предъ тобой уголокъ въ аршинъ ширины... Возьми малость въ одну сторону или малость въ другую сторону и иди...

— Шествуй!—перебилъ Верзилинъ.

— Да... И все прямо... Одна дорога, правая, приведетъ тебя въ Калугу, а тамъ приблизительно въ Смоленскъ, а тамъ Литва, а затѣмъ Польша, а за ней Германскій Союзъ, Франція, Атлантическій океанъ, Америка.

— И это все пѣшкомъ? Затруднительно. Надо прежде охмелѣть...

— Слушай. За Америкой опять океанъ, за нимъ—что хочешь. Ну, Китай что-ли... А тамъ, такъ ли, сякъ ли, ты опять въ Европѣ и опять въ Москвѣ. И какъ знаешь, такъ и дѣлай! Хочешь—оставайся здѣсь. Хочешь—опять ступай.

— Опять по старой калужкѣ? И опять въ Америку?! Нѣтъ, душа моя, шалишь. Я лучше останусь...

— Хорошо. Слушай. Взялъ ты у этихъ двухъ березъ не вправо, а влѣво... И пришелъ ты не въ Калугу, а въ Тулу... И все прямо, да прямо... У тебя Кіевъ, или Харьковъ что-ли, Екатеринославъ, Крымъ, Черное море, Турція... За ней... За ней... Ну, хоть Аравія что-ли.

— Счастливая?..

— Ну, да... Затѣмъ океанъ и Австралія. А за Австраліей... Что? Ну-т-ка, отвѣчай.

— Я, душа моя, учился чуть ли не сорокъ лѣтъ назадъ. Стало быть, не взыщи... За Австраліей, насколько мнѣ помнится—черти на куличкахъ.

— Полюсь! Дмитрій... Стой! Дальше итти или ѣхать нельзя. Иначе говоря, такое событіе въ жизни, что весь пройденный путь—ни къ чему не привелъ. Не привелъ, то-есть, къ гладкому, ровному существованію. И вотъ возьми ты у старой березы на вершокъ вправо—придешь къ Америкѣ и можешь кружить всю жизнь по земному шару. А возьми на вершокъ влѣво—придешь къ южному полюсу... И дальше нельзя.

— И шутка это сказать!—серьезно вымолвилъ Верзилинъ:—мнѣ и не въ домекъ было, что въ Австралію дорога-то на Тулу. Скажи на милость! Ай да Тула! Да и Калуга тоже ничего. Тоже лицомъ въ грязь не ударила.

— И представь себѣ, что при выборѣ, двинуться ли тебѣ туда, или сюда, случайность заставитъ тебя взять не ту дорогу. И вотъ я, милый другъ, у такой березы былъ на сихъ дняхъ, хотѣлъ взять ту дорогу, которая меня привела бы... Не знаю тоже—куда. Но ту, которая казалась мнѣ настоящей, ведущей въ кругосвѣтное путешествіе, а не въ полюсы. Дорога по экватору что-ли, а не по меридіану. И это мнѣ не удалось. Я противъ воли...

— Взялъ по меридіану.

— Да. Или нѣтъ, вѣрнѣе... Я остался у березы пока.

— Ну, что же. Такъ бери, которую облюбилъ.

— Не могу.

— Отчего?

— Отъ меня не зависитъ. Другіе не хотятъ... Даже больше того. Удивительнѣе. Глупая случайность не захотѣла.

Верзилинъ развелъ руками, не зная, что сказать. Послѣ паузы онъ выговорилъ:

— Да. Я вотъ не Сократъ Платонычъ, какъ мы всѣ тебя звали въ полку. Никогда не философствую. Въ судьбу, напи-

санную на небесахъ, какъ говорилъ намъ незабвенный Михаилъ Юрьевичъ, тоже не вѣрю. А вотъ въ такое удивительное дѣйствіе случайностей и неожиданностей на наше земное существованіе, признаюсь, вѣрю. Иногда дурацкій случай, на видъ скверный, ведетъ къ добру, и наоборотъ, дивный случай—къ бѣдѣ.

— Еще бы!—воскликнулъ Борщовъ.—Помнишь товарища князя Шемахидзе. Не попади онъ за дуэль по приказу государя въ солдаты, то не былъ бы теперь командиромъ дивизіи, потому что не побывалъ бы на Кавказѣ и не надѣлалъ бы тамъ чудесъ храбрости. Сидѣлъ бы ротмистромъ въ Царскомъ, да пилъ шампанское. Ни онъ, ни мы не знали прежде, каковъ у него духъ...

— Да! Правда!—воскликнулъ и Верзилинъ.—А ты вотъ другого вспомни-ка. Въ прошлую компанію колонновожатый Кротковъ, что изъ-за раны въ палець, то-есть изъ трусости, выбылъ изъ строя, а на перевязочномъ пунктѣ, сидя съ тряпочкой на пальцѣ, небось, радовался про себя, что продѣлаетъ больногo мѣсяць другой... и останется цѣль и невредимъ. А что вышло-то? Помнишь вѣдь.

— Нѣтъ, не помню... И Кроткова не помню.

— Наскочили на нихъ гонведы, да всѣхъ, человѣкъ двадцать, съ докторомъ и съ фельдшеромъ, въ окрошку обратили саблями.

И послѣ паузы Верзилинъ прибавилъ:

— И скажу я... Вотъ такъ-то и ты, братецъ, утѣшься, если что у тебя теперь худое. Можетъ, къ лучшему.

— Нѣтъ. Мое дѣло иное!—воскликнулъ Борщовъ.—Я не могу утѣшать себя мудрствованіемъ. Я теряю счастье всей моей жизни. Все разбито... И чѣмъ? Чѣмъ? Знаешь ли ты—чѣмъ? Что разбило мою жизнь? Перчатка, упавшая въ грязь.

И на удивленіе Верзилина, Борщовъ кратко, но горячо рассказалъ другу все...

— Ну, что же? Не ужасно это?—кончилъ онъ.—Вѣдь этотъ случай почти невѣроятенъ. Обыкновенно бываетъ отказъ дѣвушки, отказъ родителей человѣку, дѣлающему предложеніе, но это не есть случайность... Оно, какъ бы сказать, нѣчто законное, что-ли? Ты хочешь одно, а они—другое. А вѣдь тутъ дичь... Чепуха! Опоздалъ на четверть часа...

— Незадача, братецъ, вотъ что. Какъ бываетъ удача шальная, даже бессмысленная, незаслуженная. Повернулся—удалось

все. Не повернулся—то удалось еще лучше. Это кому бабушка, какъ сказывается, воровать. А любить она всегда дураковъ. Да вотъ хоть, помнишь, у насъ случай съ перстнемъ полкового командира?

— Нѣтъ, съ какимъ перстнемъ?

— Какъ съ какимъ. Что ты?—воскликнулъ Верзилинъ.— На плацу на нашемъ.

— Не помню. Да, скажу, совсѣмъ не знаю. Должно быть, это было послѣ меня.

— Да-а. Ну, можетъ быть. Только не думаю. Ну, такъ слушай и мотай себѣ на усъ, заруби на носу, благо любишь размышлять объ судьбѣ, объ фортунѣ и обо всякой такой ерундѣ. Случай, братецъ, простой, и нѣтъ того лейбъ-гусара, который бы его не зналъ. Слушай! Было полковое ученье... Командиръ, окончивъ его, хватился: нѣтъ на рукѣ перстня, которымъ онъ очень дорожилъ. Гдѣ перстень? Непремѣнно на плацу въ пескѣ. А каковъ плацъ нашъ—самъ знаешь... А сколько лошадиныхъ копытъ по немъ отплясало и каждое отдѣльное копыто по нѣскольку разъ на томъ же еще мѣстѣ—счесть любой математикъ не сможетъ. Гдѣ тутъ найти перстень? Нечего и пробовать. Подумалъ, подумалъ командиръ и приказалъ созвать гусаръ, сколько понадобится, чтобы составить плотную шеренгу отъ угла до угла всего плаца. Ну, созвали, сколько—не помню, но много, выстроили ихъ въ рядъ сплошной стѣнкой. Скомандовали: ложись на брюхо или становись на четвереньки и ползи, не спиша, перерывая песокъ подъ носомъ старательно и аккуратно. Кто найдетъ перстень командира, тому пятьдесятъ рублей въ награду. Весело поползли наши молодцы, не спиша и перетрясывая всякую песчинку. Прошелъ часъ, а они развѣ только восемь саженъ отработали... Вдругъ, откуда ни возьмись, идетъ чрезъ плацъ прямо на нихъ какой-то дуралей, мѣщанинъ. Ну, остановился, глазѣть и дивится. «Что это вы, братцы, такое, ползете?»—спрашиваетъ. А ему молодцы въ отвѣтъ: «Убирайся съ дороги, проклятый. Перстень командира ищемъ въ пескѣ, а ты его, пожалуй, еще пуще втопчешь сапожищами». Мѣщанинъ поглядѣлъ на свои сапожища, а тамъ приглядѣлся по близости да, шагнувъ, подвѣлъ что-то и кричить: «Братцы, эвотъ... Не онъ ли это? Перстень-то»... Ну, и получилъ пятьдесятъ рублей.

Борщовъ невольно размѣлся.

— И злы были наши гусары, да и дивились. Этакая куча людей, ерзая на животѣ, встряхнула да перенюхала зря сколько квадратныхъ саженьъ песку, а этотъ лѣшій пришелъ, опросилъ и пятьдесятъ рублей получилъ. Вотъ тутъ и разсуждай объ судьбѣ! Судьба индѣйка, сказывается. Вздоръ это. Она—свинья...

— Да, братъ, но такіе перстни сплошь и рядомъ встряхиваютъ человѣческое существованіе.

— Судьба! Воля Божья!

— Судьба! Воля Божья! Слушай, Верзилинъ, не говори глупостей!—заоралъ вдругъ Борщовъ, какъ оскорбленный.

— Какой ты чортъ гусаръ!—часто слыхалъ отъ товарищей Борщовъ. — Ты профессоръ логики и психологіи, ты докторъ доктиссимумъ по самой мудреной наукѣ, „абракадабристикѣ“... Къ тому же гусаръ долженъ быть „горячка“, а ты чуть не рыба. Къ тому же вѣчно разсуждаешь и разсуждаешь. Оторви тебѣ на войнѣ ногу ядромъ, ты будешь страшно озабоченъ. впроемъ: что бы было, кабы вмѣсто ноги да оторвало бы руку.

Эти шутки товарищей имѣли основаніе.

Цѣлую недѣлю послѣ невѣроятнаго случая, когда „роковой шагъ знаменательнаго дня“ оказался роковымъ въ обратномъ смыслѣ, Борщовъ отъ зари до зари философствовалъ о томъ, что было бы, еслибы онъ не опоздалъ. И что будетъ теперь?...

Горевать, какъ сталъ бы всякій другой, ему, собственно, было невозможно. Разумъ былъ слишкомъ поглощенъ думаньемъ и умозаключеніями.

Понемногу Борщовъ успокоился... Только браслетъ, купленный для свадебнаго подарка, который лежалъ въ ящикѣ стола и изрѣдка попадался ему подъ руку, его почему-то сердилъ и даже раздражалъ. Бывая прежде почти ежедневно у Ипатовыхъ, теперь онъ, конечно, прекратилъ свои посѣщенія, и наконецъ однажды собрался съ визитомъ изъ приличія.

Но онъ выбралъ пріемный день, и зналъ, что найдетъ много народу, вслѣдствіе чего будетъ „легче“ и ему, и Надѣ.

Дѣйствительно, гостиная оказалась полнехонька. Ипатовы поздоровались съ нимъ радушно и просто, а Надя протянула руку, не глядя на него и даже опустивъ глаза въ полъ.

И за все время, что онъ просидѣлъ, разговаривая съ разнымъ народомъ, онъ не спускалъ глазъ съ молодой дѣвушки, чтобы встрѣтиться съ нею глазами.

Но Надя за все время ни разу не взглянула на него, а когда онъ поднялся, прощаясь, и снова протянулъ ей руку, она точно такъ же опустила глаза въ землю.

Борщовъ вернулся домой грустный.

Черезъ два дня онъ рѣшился на поступокъ, который не могъ привести ни къ чему, но ему страстно захотѣлось исполнить внезапную выдумку. Онъ тысячу разъ задавалъ себѣ вопросъ: Сколько времени будетъ Надя любить и помнить его, сожалѣть, что не вышла за него... Долго? Всегда? Или очень, очень недолго?

Онъ засѣлъ за сочиненіе цѣлаго письма на ея имя. Но вышло что-то нелѣпое и даже совсѣмъ безтактное. Борщовъ понялъ, почувствовалъ это. Онъ изорвалъ нѣсколько листовъ письма и написалъ кратко:

„Надежда Павловна! Вотъ браслетъ, который я хотѣлъ дать вамъ на память о томъ днѣ, когда вы должны были сдѣлаться подругой моей жизни. Я умоляю васъ принять его теперь. Я глубоко увѣренъ, что вы идете замужъ не по влеченію сердца, а изъ-за повиновенья родителямъ и ради даннаго вами слова. Вѣрю, что вы сожалѣете... Возьмите этотъ браслетъ и носите его всегда... Но возвратите мнѣ его тотчасъ, когда перестанете жалѣть, что не соединили свою судьбу съ моей, когда скажете себѣ самой, что все къ лучшему, что вы счастливы, выйдя замужъ за князя“...

Положивъ записку въ футляръ, Борщовъ перевязалъ его тесьмой и концы припечаталъ, чтобы Надя не открыла его при немъ и не возвратила записки, не читая.

Черезъ день онъ снова поѣхалъ къ Ипатовымъ, рѣшивъ, что если почему-либо не удастся передать Надѣ футляръ съ браслетомъ и письмомъ, то ѣхать черезъ день, два опять... И хоть еще много разъ... но добиться своего.

Онъ нашелъ дома одну Марью Борисовну. Ея мужъ былъ въ отсутствіи, въ имѣніи; Левушка, разумѣется, какъ всегда, былъ невѣдомо гдѣ, а Надя не вышла въ гостиную, ссылаясь на нездоровье... конечно, вымышленное.

Борщовъ былъ отчасти опечаленъ, что не увидитъ молодой дѣвушки по ея собственной волѣ. Философствованіе никакъ не могло, конечно, утишить то, что творилось на сердцѣ...

Марья Борисовна, женщина совершенно простая, ограниченная и крайне добрая, не умѣла, да и не могла, по „характеру“, играть комедіи: у нея всегда за всю жизнь было „что на умѣ, то и на языкѣ“.

Поэтому, едва только явился и сѣлъ передъ ней человекъ, который дочери долго очень нравился и равно долго былъ намѣченнымъ женихомъ для нея въ ихъ семьѣ, Марья Борисовна не вытерпѣла и заговорила на чистоту. Она знала, конечно, все случившееся со словъ всѣхъ своихъ и даже няни. Но за то добрая и религіозная женщина, оказалось, судила еще хуже, — конечно, съ точки зрѣнія Борщова.

— Это счастье, — заговорила она, уже объяснившись насчетъ странной случайности. — Счастье для Нади и для васъ. Вотъ Богъ-то... Во всемъ виденъ. Во всемъ воля Божья. Приѣзжайте вы раньше на четверть часа... И все пошло бы иначе... И сколько времени то было, голубчикъ мой дорогой, и у васъ, и у князя... Тянулось... Чуть не двѣ зимы... А тутъ вдругъ въ одинъ день и часъ... Онъ запоздалъ потому, что его дома задержали по дѣлу... Хотѣлъ быть въ полдень. И вотъ вы бы прежде и приѣхали... А Господь-то все видитъ... Вотъ вы уронили перчатку да и поѣхали за другими. А тутъ Господня воля и произошла. Вотъ, пишутъ мнѣ изъ Калуги, съ моей старинной пріятельницей что случилось. Удивительно! Была она въ гостиницѣ, спѣшила ѣхать изъ города въ имѣніе. А горничная ея Марѳа, умная, догадливая, говоритъ: „Барыня приѣдетъ поздно. Плита холодная. Ефимъ будетъ безпремѣнно пьянъ. Кромѣ простокваши ничего вамъ не найдется. Развѣ еще яичницу сами смастеримъ. Покушайте на скорую руку здѣсь“... Она, моя горемычная, и согласись. Экипажъ у подъѣзда. Лошади не стоятъ. У нея свой заводъ и кони диво. Ну-съ, вотъ, подали обѣдать... Она заспѣшила. Поскорѣе, да поскорѣе... Подавилась косточкой отъ цыпленка, да на диванѣ сидючи предъ престоломъ Всевышняго Творца и предстала.

— Вмѣстѣ съ косточкой, — отозвался Борщовъ угрюмо и раздражительно.

— Да, смѣйтесь! Вы, молодежь, всѣ невѣрующіе. А все Господь Богъ. Его произволеніе. Безъ Его воли ничто...

— А она была-то, Марья Борисовна, нехорошая женщина, злая?.. — перебилъ Борщовъ.

— Добрѣйшая. Что вы! Святая, скажу, женщина.

— За что же Господь Богъ ее такъ наказалъ?

Ипатова не отвѣтила, пристально поглядѣла на Борщова и наконецъ произнесла:

— Вы, стало, не понимаете, что я вамъ хочу сказать.

— Что ни случись — все воля Божья. Такъ.

— Вѣстимо. И все-то, все, всегда — къ лучшему, коли Господь...

— Стало быть, хорошее дѣло и то, что ваша пріятельница подавилась, — сухо разсмѣялся Борщовъ. — Слава тебѣ, Господи!

— Что вы! Ахъ, право! Какъ это не грѣхъ такъ сказывать! Охъ, молодежь!

— Ну, оставимте эти разговоры Марья Борисовна. У меня до васъ большая просьба. Дайте честное слово, что исполните, что я попрошу васъ.

Ипатова побоялась и не сразу согласилась, но затѣмъ побожилась, что все исполнить въ точности.

— Вотъ браслетъ, — заговорилъ Борщовъ, вынимая изъ кармана футляръ. Я его хотѣлъ подарить Надеждѣ Павловнѣ въ тотъ злополучный день. Я васъ прошу — не открывая его... Не открывая, Марья Борисовна. Вы побожились. Помните. Передайте его Надеждѣ Павловнѣ. А что будетъ потомъ — ея дѣло. Что она захочетъ, то и сдѣлаетъ.

— Нехорошо это — заявила Ипатова. — Вы не женихъ и чужой человѣкъ, а поѣтому...

— Дарить не имѣю права. Правда. Но вы побожились, а Надежда Павловна не божилась, и пускай она...

— Его возвратить вамъ.

— Пускай поступить какъ хочетъ.

— Я полагаю, что она его не возьметъ.

— А я хочу вѣрить, что возьметъ и будетъ носить, какъ память о человѣкѣ, который ее больше любитъ, чѣмъ князь Викторъ Юрьевичъ.

— Этого вы знать не можете. Вы ему въ душу не заглядывали. Чужая душа...

— Потемки! — перебилъ Борщовъ насмѣшливо. — Правда!.. А бываетъ часто, что и голова потемки — незамѣтная для самого себя и забавная для другихъ.

Свадьба князя Задонскаго была объявлена на первое іюля. Въ маѣ вѣнчаться было нельзя по коренной примѣтѣ, что супружеская чета будетъ „маяться“ всю жизнь. Такихъ храбрыхъ, чтобы вѣнчаться въ маѣ, бывало всегда мало, а кто и рѣшался пренебречь стародавней примѣтой, тѣ жестоко платились за это. Московскіе дѣды и бабушки имѣли про запасъ

сотни примѣровъ, какъ „маялись“ всю жизнь всѣ тѣ, что не побоялись мая мѣсяца.

Въ юнѣ свадьба не могла состояться, благодаря длинному петровскому посту. Извѣстно, что бракосочетаніе, хотя и священное таинство, было бы великимъ грѣхомъ, еслибы совершалось среди дней поста и молитвы. Играть на театрѣ, танцовать и жениться въ эти дни нельзя. Все остальное разрѣшается.

Почему и зачѣмъ? Да мало ли у насъ явленій, къ которымъ вопросы почему, отчего или зачѣмъ совсѣмъ не подходящи. „Почему у лошадей не растутъ во рту лимоны?“—сказалъ поэтъ, да еще якобы самъ Пушкинъ.

Вся Москва стала сожалѣть, что свадьба, богатая, блестящая, веселая и интересная, будетъ въ глухое время, въ такіе дни, когда всѣ разѣдутся по имѣніямъ, иногда очень дальнимъ. Одни подмосковные члены общества могли пріѣхать.

То же самое соображеніе огорчало и Ипатовыхъ.

— Что за свадьба въ пустой Москвѣ!

Марья Борисовна, а вмѣстѣ съ ней и сама невѣста готовы были на то, чтобы отложить свадьбу до осени. Павелъ Николаевичъ воспротивился громко и даже сердито.

— Мало ли что бываетъ!—сказалъ онъ женѣ глазъ на глазъ.— Не всѣ женихи становятся супругами. Помилуй Богъ!

Князь Задонскій неожиданно предложилъ нѣчто совсѣмъ невѣроятное, что сначала огорошило Ипатовыхъ.

— Вѣнчаться тотчасъ. Въ апрѣлѣ. Черезъ десять дней.

— А приданое? Вещи. Серебро... Бѣлье... Всякая всячина, отъ брошекъ до чулокъ...—заявила Марья Борисовна.

— Послѣ можно все сдѣлать.

— А обычай... Вѣдь только крѣпостные вѣнчаются черезъ недѣлю послѣ сговора.

Князь сталъ убѣждать всѣхъ, что все это не имѣетъ никакого значенія.

— Хорошо это было при царѣ Горохѣ.

А Левушка заявилъ храбро:

— Можно обвиняться сегодня, сейчасъ. Послѣ, вотъ, вечеромни. Никому не сказываясь и никого не приглашая. Все глупости.

И послѣ двухдневныхъ переговоровъ и разсужденій, Ипатовы и Задонскій удивили, но не обрадовали всю Москву, то-есть „свою“ всю Москву. Свадьба была объявлена 30-го

апрѣля. Борщовъ узналъ о неожиданномъ и отважномъ рѣшеніи Ипатовыхъ одинъ изъ первыхъ. Объявилъ ему объ этомъ самъ Левушка, пріѣхавшій отъ имени сестры просить его быть шаферомъ, какъ близкаго человѣка, большого друга дома.

Борщовъ вострепенулся при этомъ предложеніи. Онъ соби­рался непременно уѣхать изъ Москвы, чтобы не видѣть, какъ судьба торжественно насмѣется надъ нимъ. А теперь при­ходилось „помогать“ судьбѣ, участвовать въ вѣнчаніи, держа вѣнецъ надъ головой дѣвушки, которую выбралъ-было себѣ въ подруги всей жизни.

Однако, отказать было невысказано — считалось кровной обидой, не разбирая мотивовъ отказа.

Черезъ недѣлю послѣ предложенія быть шаферомъ, Борщовъ, въ полной лейбъ-гусарской формѣ, уже соби­рался въ церковь.

Бракосочетаніе должно было происходить въ той церкви, гдѣ за это время считалось чуть не обязательнымъ вѣнчаться всякому члену московскаго большого свѣта. Это была домашняя церковь оберъ-гофмейстера князя Трубецкого въ его родовомъ домѣ въ Знаменскомъ переулкѣ. Вдобавокъ, утверждали, что вѣнчаніе въ этой церкви приноситъ счастье. Но примѣта была такъ же обоснована, какъ и другая, насчетъ мая мѣсяца. Пом­нили и пересчитывали браки счастливые.

Разумѣется, маленькая домовая церковь и зала передъ цер­ковью были переполнены приглашенными. Помимо жениха и не­вѣсты, былъ интересенъ для всѣхъ и шаферъ-гусаръ, Борщовъ, такъ какъ эта „своя“ вся Москва знала, конечно, всю исторію сватовства двухъ человѣкъ заразъ. Въ церкви пере­шептывались: „перчатка“...

Ипатовы сіяли... Князь былъ горделиво-счастливъ и не за­мѣчалъ, какъ многія молодыя дѣвушки, глядя на него, морщи­лись или ухмылялись и тихонько „сочувствовали“ Надѣ Ипа­товой, которая была блѣдна какъ полотно и медлительна, хо­лодна движеніями, лицомъ и взоромъ красивыхъ глазъ.

Борщовъ былъ приличенъ, улыбался, разговаривалъ, испол­нялъ свою обязанность шафера безупречно, то-есть ловко, даже красиво, держалъ вѣнецъ и молодцомъ шелъ за не­вѣстой во­кругъ аналая...

И за все время вѣнчанія онъ почти не спускалъ глазъ съ ея блѣднаго лица и съ ея лѣвой руки, на которой блестялъ его браслетъ.

Какъ все происходило и произошло — онъ, однако, не видѣлъ, не сознавалъ и никогда потомъ вспомнить не могъ.

Когда начались поздравленія, толкотня, поцѣлуи и пожатія рукъ, онъ почти выбѣжалъ изъ церкви, изъ дома и, бросивъ свою карету на дворѣ, пѣшкомъ выбѣжалъ на улицу...

Сдерживаемыя рыданія душили его... Онъ испугался и бѣжалъ отъ скандала.

— Но браслетъ надѣла! Браслетъ надѣла! — повторялъ онъ вслухъ. — Это еще хуже... Ужъ лучше бы ей меня не любить... А такъ — еще тяжелѣе.

III.

Со дня свадьбы той, которая сдѣлалась княгиней Задонской, а должна была стать женой Борщова, въ жизни послѣдняго — заурядной, безцѣльной, монотонной — много воды, какъ говорится, утекло, воды ненужной, ничего не стоющей.

Борщовъ, тотчасъ же послѣ грустнаго и обиднаго по своей нелѣпости происшествія, покинулъ Москву и долго странствовалъ лѣтомъ по Россіи, а зимой за границей, изрѣдка останавливаясь отдохнуть въ своемъ домѣ близъ Тверской, но почти не выдаясь ни съ кѣмъ.

Чувство его, любовь, влюбленность или увлеченіе — онъ самъ теперь не зналъ — прошло, не было горемъ. Поступокъ княгини Надежды Павловны поразилъ Борщова, и удивилъ, и опечалилъ, и заставилъ болѣе, чѣмъ когда-либо, философствовать, а наконецъ излѣчилъ...

Послѣ свадьбы Задонскіе уѣхали на все лѣто въ украинское имѣніе, маіоратное, извѣстное со временъ Екатерины Великой. Затѣмъ они поселились въ Петербургѣ.

Борщовъ усиленно и довольно удачно изрѣдка добывалъ свѣдѣнія о жизни своей возлюбленной, и былъ почти доволенъ, узнавая, что княгиня — «ничего».

— Ничего?!

Удивительное русское выраженіе. Удивительное понятіе, необъяснимое, не переводимое ни на одинъ языкъ и почти загадочное. «Ничего» не равно нулю, какъ бы по логикѣ слѣдовало, а равно какой-то особенной единицѣ.

Не даромъ Бисмаркъ облюбилъ это російское выраженіе. Не даромъ Деруладъ написалъ прелестное стихотвореніе, озаглавленное: «Nitchevo». Не даромъ одинъ математикъ выра-

зился, что объяснить «ничего» можно такъ же, какъ доказать квадратуру круга.

И вотъ послѣ полугода. чередовавшихся извѣстій о томъ, что женщина, вышедшая противъ воли замужъ, — «ничего», Борщовъ, будучи случайно и временно въ Москвѣ, получилъ посылку съ почты.

Это былъ браслетъ. При немъ — крошечная записка съ тремя строчками:

«Я уже три мѣсяца не ношу это, а теперь мнѣ неприятно, что это у меня, и я отсылаю вамъ. Все на свѣтѣ дѣлается если не къ лучшему, то и не къ худшему и къ тому, что долженствуетъ быть!»

— Стало быть, она любила меня и сожалѣла ровно три мѣсяца! — горько улыбался Борщовъ.

И въ ту же ночь онъ вышвырнулъ браслетъ въ окно на середину улицы.

— Слѣдовало бы, чтобы бѣднякъ поднялъ. Но этого не будетъ. Найдеть богатый. Фортуна или судьба — не слѣпая, а умалишенная.

И Борщовъ оказался правъ. Въ семь часовъ утра купецъ-прасоль, съ торговымъ оборотомъ тысячъ въ сто, первый увидѣлъ браслетъ среди грязной мостовой.

— Вещица ничего! — сказалъ онъ себѣ. — Моей Анисѣ Матвѣевнѣ пригодится...

Прошло такъ года три... Два раза Борщовъ былъ увлеченъ двумя молодыми дѣвушками и былъ близокъ къ тому, чтобы сдѣлать предложеніе.

Первый разъ въ Германіи, на-водахъ, онъ познакомился съ русскимъ семействомъ и очень увлекся молоденькой, въ полномъ смыслѣ, провинціальной барышней, поповшей прямо изъ Пензы въ Карлсбадъ.

Наканунѣ того дня, что онъ собирался официально сдѣлать предложеніе родителямъ «маленькой, добренькой, простенькой Олюшки», молодая дѣвушка сама спросила у него: любить ли онъ ее и собирается ли взять въ жены.

Борщовъ отвѣтилъ прямо, рѣшительно и твердо, какъ еслибы отвѣтъ этотъ давно былъ заготовленъ:

— Вы мнѣ очень нравитесь. Я васъ очень люблю и уважаю, такъ же, какъ и вашего батюшку; но... но бракъ есть нѣчто очень серьезное... Надо семь разъ отмѣрять, а затѣмъ отрѣзать.

И, разумѣется, онъ, мѣрившій даже двадцать разъ за свое пребываніе на-водахъ, теперь рѣшилъ не отрѣзать.

Почему — онъ самъ не зналъ. Олюшка была невиновата. Винавать былъ простой, дѣловой, наивно-разсудительный отѣнокъ ея голоса, когда она спрашивала.

— Жениться, такъ жениться. А что же тянуть такъ! — сказалъ ея голосъ.

Черезъ годъ Борщовъ былъ во второй разъ увлеченъ. Но эта новая привязанность сердца была не пензенская простушка, погубившая себя въ его глазахъ чистотой сердца и помышлений.

На этотъ разъ предметъ сердечной вспышки была дѣвушка петербургскаго бомонда, съ громкимъ именемъ, дочь страшнаго богача, чуть не миллионера... еще очень недавно. Теперь же у него оставался одинъ домъ-дворецъ на Сергіевской, стоящій триста тысячъ, но заложенный, вѣрнѣе «распрозаложенный» за триста тридцать.

Молодая дѣвушка блистала въ своей средѣ... то-есть, какъ говорится: «имѣла большой успѣхъ». Въ чемъ успѣхъ? — не объяснялось... Съ ней были всѣ особенно любезны и милы. Она страшно много танцевала. Но за шесть лѣтъ „выѣздовъ“ ни одинъ человѣкъ не сдѣлалъ ей предложенія. Всякаго въ красавицѣ, умной и эффектной, пугали ея энергичность и культъ... самой себя. Къ тому же она объявила своимъ девизомъ: „Oser est pouvoir!“

Она же, любившая острить, говорила часто такіе „mots“, которые повторялись съ ужасомъ. Однажды она заявила:

— Конечно, веему есть на свѣтѣ границы... Но вѣдь всякую границу можно и перенести.

Борщовъ, сильно увлеченный блестящей звѣздой своего круга, все-таки боялся, колебался и медлил сдѣлать предложеніе. И однажды одна фраза на балѣ, въ мазуркѣ, рѣшила его судьбу. Онъ услышалъ эту фразу случайно, только потому, что двинулся чрезъ танцующихъ къ буфету, чтобы выпить стаканъ лимонаду. Онъ вдругъ неожиданно очутился около своей пассіи.

— Съ милымъ въ палашѣ, или съ постылымъ во дворцѣ? — весело сказали ей, подводя двухъ кавалеровъ.

— О! Какое наивное предложеніе! — воскликнула она. — Chers enfants, mon choix est fait d'avance. Я уже въ тринадцать лѣтъ рѣшила этотъ вопросъ. Конечно, давайте сначала постылаго!

И поднявшись съ мѣста, она театрално-торжественно и,

надо ей отдать честь, съ большимъ комизмомъ протянула руку красивому студенту, который шагнулъ ближе къ ней, такъ какъ изображалъ постылаго во дворцѣ.

Борщова отъ этой шутки, которую онъ видѣлъ и слышалъ, покорило, и онъ даже забылъ о жаждѣ.

Не слова молодой дѣвушки, а пронія въ ея голосъ и какая-то циничная искренность голоса поразили его. Чувствовалось, что дѣвушка дѣйствительно, навѣрное, еще будучи тринадцати лѣтъ, рѣшила такъ вопросъ о своемъ замужествѣ.

И при мысли, что онъ собирался дѣлать ей предложеніе, Борщовъ рѣшилъ:

— Нѣтъ. Если *le ton fait la musique*, то музыка ея души такова, что отъ нея надо подальше...

Опять случилось то же... Какъ одинъ вопросъ провинціальной барышни, простосердечной, но разсудительной, когда-то оттолкнулъ его, такъ и теперь одна фраза свѣтской дѣвушки-циника—испугала его.

— „Давайте *сначала* постылаго!“—повторилъ онъ мысленно и прибавилъ вслухъ:—*Excusez du peu!*

Прошло еще два года. Ненужная вода все текла... Борщовъ жилъ въ Москвѣ по прежнему въ своемъ домѣ и по прежнему одинъ. Онъ начиналъ хандрить и скучать. Вращаясь постоянно въ обществѣ, онъ, однако, не видѣлъ ни одной молодой дѣвушки, которую бы рѣшился назвать женой.

Онъ часто бывалъ въ одномъ многочисленномъ семействѣ старика и старожилы Рагозина, у котораго были четыре дочери, двѣ племянницы и одна дальняя родственница, сирота, называвшая его дядей только ради приличія.

Сирота-дѣвушка, по имени Анюта, красивая, недалекая, но кроткая, нравилась Борщову... Но его чувство къ ней было особенное. Это была жалость.

Дѣвушка въ богатомъ домѣ играла роль Сандрильоны, замарашки... Ее обходили во всемъ, и она изображала нѣчто уже исчезнувшее изъ русскаго дворянскаго быта—нахлѣбницу, приживалку. Будучи красивѣе своихъ названныхъ кузинъ, она, однако, ходила въ ихъ обноскахъ. Даже на балахъ она появлялась въ прошлогоднихъ платьяхъ своихъ родственницъ. Впрочемъ, это не мѣшало ей танцовать больше всѣхъ, такъ какъ вся молодежь-кавалеры любили ее, хотя и на особый ладъ, будто добраго товарища, славнаго малаго.

Ухаживателей у нея не было совсѣмъ—ни одинъ никогда серьезно къ ней не отнесся, и никто никогда предложенія ей не сдѣлалъ.

Бывая въ этой семьѣ часто, Борщовъ, незамѣтно для самого себя, поступалъ такъ, какъ еслибы именно ухаживалъ за дѣвушкой. Онъ возилъ ей конфеты, ѣздилъ на тѣ балы, на которые ее бралъ воспитатель, танцевалъ съ ней кадрили и отсиживалъ съ ней мазурку, когда у нея не было кавалера. Однако, обращеніе его съ дѣвушкой—думалось ему—не позволяло предполагать никому чего-либо, кромѣ простыхъ дружескихъ отношеній. Онъ смотрѣлъ на нее дѣйствительно какъ на добраго, симпатичнаго ему пріятеля.

Когда Рагозину говорили, что богатый холостякъ Борщовъ „увивается“ около его воспитанницы и что изъ этого можетъ что-либо выйти, то старикъ отряхивался, какъ отъ услышанной глупости.

— Экъ вѣдь выдумаютъ!—говорилъ онъ.—На ней никто никогда не женится. И красивая, и добрая, и все-таки не совсѣмъ дура—а вотъ поди ты!.. Для всѣхъ-то мужчинъ—она будто товарищъ, а не дѣвица-невѣста.

Наконецъ, однажды, уже въ концѣ зимы, богатый москвичъ вдовецъ съ двумя дѣтьми, приближавшійся къ пятидесяти годамъ, никогда, повидимому, не обращавшій никакого вниманія на Аюту, вдругъ явился къ Рагозину съ предложеніемъ руки и сердца его воспитанницѣ.

Рагозинъ, въ восторгѣ, что можетъ пристроить сироту, передалъ его предложеніе Аютѣ. Дѣвушка была поражена и даже сражена.

Отвѣтивъ своему пестуну: «Дайте подумать!»—она вечеромъ почувствовала себя нехорошо, легла рано въ постель, а на утро не поднялась, жалуясь, что ей еще болѣе нездоровиться.

Борщовъ, до котораго дошла вѣсть о предложеніи пожилого вдовца, встрепенулся и цѣлый день проходилъ суровый и озабоченный.

Объяснить это свое душевное состояніе онъ могъ легко. Ему было чрезвычайно жаль дѣвушку, такъ какъ, помимо огромной разницы лѣтъ между нею и претендентомъ, онъ былъ очень неказистъ на видъ, плѣшивый, въ очкахъ, съ брюшкомъ и другими особенностями, мало подходившими къ понятію объ женихѣ.

Онъ рѣшилъ повидать Анюту, переговорить съ ней и въ качествѣ друга узнать, какъ она смотритъ сама на такой бракъ.

— Если она противъ этого и Рагозинъ будетъ ее неволить, то я посоветую ей и настою, чтобы она набралась храбрости и отстояла себя, не давала себя приносить въ жертву.

Дня три онъ напрасно приѣзжалъ съ цѣлью повидаться съ другомъ. Анюта была нездорова и не выходила изъ своей комнаты. Борщовъ велѣлъ передать ей записку, въ которой просилъ ничего не предпринимать, не посоветовавшись съ нимъ.

На другой же день, приѣхавъ къ Рагозину, онъ нашелъ въ гостиной Анюту, не больную, а просто печальную и даже будто подъ гнетомъ душевной борьбы.

Улучивъ нѣсколько минутъ, чтобы безъ свидѣтелей перемолвиться съ ней, онъ узналъ именно то, чего ожидалъ. Она объяснила, что воспитатель ея требуетъ ея согласія на бракъ съ человѣкомъ, котораго она не только любить, но и уважать не можетъ, зная случайно закулисную сторону его жизни.

— И кромѣ того, — прибавила Анюта, — я еще болѣе несчастна потому, что люблю другого. Выйти за этого другого замужъ я, конечно, надѣяться не могу, но могу хоть оставаться съ моей любовью, не оскверняя этого чувства бракомъ съ противнымъ мнѣ человѣкомъ.

Послѣднее поразило Борщова. Онъ почему-то думалъ, даже былъ убѣжденъ, что дѣвушка совершенно свободна сердцемъ. Онъ, удивляясь, спросилъ ее, почему она не можетъ выйти замужъ за любимаго человѣка.

— Очень просто, почему. Онъ меня не любитъ, — отвѣтила Анюта. — Онъ меня очень любитъ, какъ мнѣ кажется, но это не то чувство, которое ведетъ къ браку. Онъ мнѣ другъ.

Борщовъ сталъ дѣлать разные вопросы, чтобы выяснитъ положеніе дѣла, но дѣвушка отвѣчала уклончиво, сбивчиво, путалась и смущалась, и наконецъ сказала:

— Не могу отвѣчать... Вы догадаетесь, кто онъ.

— Что же за бѣда, если я догадаюсь? Я никому ничего не скажу, даю вамъ мое честное слово. А между тѣмъ, если вы признаетесь, — быть можетъ, я могу быть вамъ полезенъ.

— Я не могу вамъ назвать его... Именно вамъ-то я и не могу назвать, — наивно отвѣтила Анюта. — Это поставило бы меня, да и васъ—въ самое неловкое положеніе.

Борщовъ прозрѣлъ сразу и смутился. Почему-то простая мысль, что дѣвушка можетъ быть увлечена имъ, вслѣдствіе его обращенія съ нею, не приходила ему на умъ.

Разговоръ оборвался сразу. Анюта смущенно смолкла, а онъ хотѣлъ заговорить, но не зналъ, что сказать. Наконецъ, притворясь, что онъ ничего не понялъ, Борщовъ вымолвилъ:

— Отстаивайте себя, не позволяйте выдавать себя замужъ насильно. Вы еще молоды и сто разъ успѣете выйти замужъ за подходящаго человѣка.

Пріѣхавъ домой, Борщовъ былъ, однако, взволнованъ. Онъ узналъ, что его любятъ и любятъ искренно. Опять-таки, не слова Анюты, а ея лицо, ея голосъ и, наконецъ, всѣ мелочи въ ихъ отношеніяхъ за зиму, которыя онъ сталъ вспоминать, доказывали это.

— Да я-то ее не люблю! — воскликнулъ онъ на свою мысль, и затѣмъ прибавилъ:

— А чувства у меня къ ней развѣ никакого нѣтъ?.. Есть! Какое? Хорошее, большое... Чистая ли дружба это? По совѣсти — нѣтъ. А любовь ли? Вотъ какая была къ Ипатовой... Тоже нѣтъ.

Послѣ двухъ дней волненій отъ размышленія, Борщовъ узналъ новость: сирота-приживалка, именуемая воспитанницей, якобы уже дала слово и выходитъ замужъ. Онъ, не мѣшкавая, бросился къ Рагозину и, пріѣхавъ, не давъ ему выговорить ни слова, попросилъ позволенія переговорить наединѣ съ его воспитанницей. Удивленный старикъ согласился, не понимая, въ чемъ дѣло.

Дѣло же было въ томъ, что Борщовъ пріѣхалъ умолять дѣвушку обождать, острочить рѣшеніе всего, чтобы дать подумать... ему самому.

Онъ хотѣлъ сказать ей:

„Я боюсь рѣшаться тотчасъ сразу... Я боюсь за свое да и за ваше счастье... Подождемъ“.

Когда Анюта вышла въ гостиную, онъ былъ пораженъ ея видомъ. Дѣвушка страшно измѣнилась за три дня. Она была блѣдна, съ сверкающимъ взглядомъ и съ горькимъ выраженіемъ осунувшагося лица. Онъ совершенно растерялся и опять не зналъ, что сказать.

— Но вы обѣщали мнѣ,—заговорилъ онъ какъ-то робко,— и не сдержали обѣщанія. Вы обѣщали отстоять себя, не давать

себя вѣнчать насильно. Я прѣхалъ просить васъ оттянуть все... не спѣшить... подождать.

— Зачѣмъ?—грустно произнесла Анюта.

— Затѣмъ, что... Время можетъ многое выяснить... Въ иныхъ случаяхъ не надо спѣшить...

— Нѣтъ. Я рѣшилась. Я иначе разсуждаю теперь. Выйти за человѣка, котораго я люблю, я не могу... А если не онъ, то не все ли равно—кто, какой... Лучше обманывать человѣка стараго, пожившаго и нехорошаго, злого, нежели такого, который, можетъ быть, будетъ дѣйствительно любить меня, а я, выйдя за него, буду принуждена обманывать его.

— Какъ обманывать?...

— Да. Я всей душой и сердцемъ всегда буду принадлежать другому. Я это чувствую. Любить можно въ жизни только одинъ разъ. Я люблю... Ну, и буду всегда любить все того же... Нѣтъ, лучше, если уже выходитъ замужъ въ моемъ положеніи, то за такого, котораго даже и уважать не можешь.

Борщовъ стоялъ страшно взволнованный; кровь стучала у него въ головѣ, и онъ рѣшился... Рѣшился сказать: „Ну, будьте счастливы, насколько это будетъ возможно. Сожалю, что вы не хотите послушаться моего совѣта—обождать“...

И онъ заговорилъ:

— Сожалю Анна Ивановна, что вы не хотите...

Голосъ за его спиной заставилъ его вздрогнуть и обернуться.

— Что прикажете доложить?—говорилъ лакей.

— Что это? — спросилъ Борщовъ, не слыхавшій первыхъ словъ.

— Онъ у дядюшки, и мнѣ надо итти къ нимъ,— отвѣтила Анюта,—сказать окончательно: да или нѣтъ.

И она прибавила лакею:

— Скажи, что сейчасъ буду.

— Анна Ивановна, — глухимъ, сдавленнымъ голосомъ вымолвилъ Борщовъ: за меня вы пойдете?... Если я люблю васъ... Отвѣчайте!...

Анюта вскрикнула и вдругъ отчаянно зарыдала...

Свадьба Борщова, вѣрнѣе—замужество сироты, сдѣлавшей блестящую партію, напумѣло въ Москвѣ. Никто этого не ожидалъ. А самъ Борщовъ?...

Размышляя и философствуя о своей судьбѣ, то-есть о своей женитьбѣ, Борщовъ пришелъ къ заключенію, что въ этой же-

нитьбѣ, въ этомъ роковомъ, знаменательномъ шагѣ его жизни, не оправдалась его теорія о томъ, что именно править земнымъ существованіемъ человѣка. Онъ тоже не ожидалъ, не хотѣлъ и не собирався жениться на сиротѣ Анютѣ, то-есть братъ вправо или влѣво у березы, гдѣ расходятся двѣ дороги. Ея воля ничѣмъ тоже себя не проявила; она даже не посмѣла намекнуть на то, что любить его; а лишь наивно проговорила. Случая какого-либо, который бы повліялъ на все, не было. Предложеніе стараго вдовца заставило его броситься тотчасъ же съ совѣтомъ, а не съ своимъ предложеніемъ. Докладъ лакея, памятный ему, поставившій его въ положеніе, гдѣ надо было рѣшиться немедленно... Да. Но все значеніе этого мгновенія трудно было теперь взвѣсить и оцѣнить. Можетъ быть онъ все-таки кончилъ бы предложеніемъ, узнавъ, что она дала слово... Можетъ быть—да. А можетъ быть и — нѣтъ. Многое, отлагаемое на время—отложено навсегда.

Борщовъ, стоявшій подъ вѣнцомъ со смутой въ душѣ отъ мысли, что онъ женится какъ-то необыкновенно, какъ будто совсѣмъ случайно и будто невѣдомо, въ силу какихъ побужденій, вскорѣ же послѣ свадьбы считалъ себя счастливымъ. Жена обожала его, даже будто стыдила его своимъ обожаньемъ, такъ какъ онъ чувствовалъ, что не заслужилъ и недостойнъ такой глубокой, рабской любви.

Послѣ свадьбы молодые уѣхали въ деревню и прожили въ глуши болѣе года. Ожиданіе появленія на свѣтъ перваго ребенка побудило ихъ собраться въ Москву, такъ какъ въ ихъ дѣбрыхъ была только одна старая повитуха изъ просвиренъ. Выписать въ деревню изъ Москвы доктора-акушера Анна Ивановна Борщова не хотѣла, объясняя мужу, что придется брать наугадъ и очутиться, пожалуй, въ зависимости отъ перваго попавшагося неуча или шарлатана. Въ Москвѣ, вскорѣ послѣ ихъ переѣзда, у молодой женщины родился ребенокъ, сынъ. И въ домѣ на Тверскомъ бульварѣ была уже семья.

Послѣдующіе два-три года жизни Борщова окончательно сдѣлали его философомъ и позитивистомъ на особый, „самодѣльный“ ладъ. Въ его мирномъ существованіи случилось нѣчто отчасти любопытное.

Попавъ когда-то—невѣдомо почему и невѣдомо зачѣмъ—въ гусары, онъ, разумѣется, и не воображалъ воевать, а между тѣмъ попалъ случайно въ кампанію и на поляхъ Венгріи храбро сражался невѣдомо зачѣмъ. Впрочемъ, по всей Россіи

было тоже неизвѣстно или, по крайней мѣрѣ, непонятно, зачѣмъ россияне проливаютъ свою кровь за австрійскую династію, Гекубу для Россіи.

Не будучи честолюбивъ и не считая себя храбрецомъ, онъ велъ себя примѣрно и даже отличился. Всѣ предсказывали ему быструю и блестящую военную карьеру, но, едва вернувшись въ Петербургъ и въ полкъ, онъ подалъ въ отставку, претендуя только на мундиръ, такъ какъ не любилъ „простое“ платье.

Живя въ Москвѣ и собираясь жениться, а въ антрактахъ своего прозябанія путешествуя по Европѣ, чтобы снова вернуться на Тверской бульваръ, Борщовъ ни разу не искусился мыслями о служебной карьерѣ. То, что носить это названіе, казалось ему чѣмъ-то безконечно глупымъ. Онъ понималъ и допускалъ мечты и усилія въ этомъ направленіи лишь для выходцевъ изъ низшихъ слоевъ или для людей мало имущихъ, желающихъ имѣть какъ можно болѣе казенныхъ денегъ въ мѣсяцъ.

И вдругъ, года чрезъ полтора послѣ его женитьбы, судьба захотѣла надъ нимъ пошутить.

Находясь въ Москвѣ, онъ вдругъ узналъ, что его бывший товарищъ по службѣ, хотя и другого полка и много старше чиномъ, назначенъ министромъ внутреннихъ дѣлъ. Чрезъ мѣсяца два послѣ этого, будучи въ Петербургѣ по дѣлу, онъ навѣстилъ товарища, чтобы поздравить его, и вышелъ изъ кабинета министра—губернаторомъ...

Жена, по возвращеніи его въ Москву, ахнула и спросила:

— Зачѣмъ? Богъ съ тобой!

— А шутъ его знаетъ—зачѣмъ. Какъ-то такъ вышло!

И онъ очутился администраторомъ большой губерніи, которая была на счету не простыхъ, а мудреныхъ. Почему въ Россіи есть губерніи простыя, спокойныя, и есть мудреныя, беспокойныя, даже опасныя для ихъ правителей, — на этотъ вопросъ никто еще никогда не отвѣчалъ...

Чрезъ года три губернаторства самаго безукоризненнаго,—то-есть, не заявивъ себя ничѣмъ ни съ хорошей, ни съ дурной стороны,—Борщовъ былъ вызванъ пріятелемъ-министромъ и былъ ошеломленъ предложеніемъ:

— Хочешь ко мнѣ въ товарищи?

Всегда прамодушный Борщовъ чуть не отвѣтилъ:

— Да съ какого же чорта?

Ему ясно представилось сразу, что онъ, какъ товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ, и корова, запряженная въ пролетку,—совершенно одно и то же.

Однако, онъ призадумался въ виду этого заманчиваго предложенія... и согласился.

„Отчего не попробовать?.. Петербургъ—вмѣсто губернскаго города. Большой окладъ—въ придачу къ своимъ очень хорошимъ средствамъ. Свѣтская жизнь, которую любить жена. Наконецъ... ореоль... Да. Ореоль, который,—каковъ онъ ни будь,—всѣмъ миль.

Борщовъ вернулся въ свою губернію, чтобы только приготовить сдачу ея своему замѣстителю, который долженъ былъ явиться черезъ два мѣсяца...

Но чрезъ мѣсяць по возвращеніи онъ получилъ отъ пріятеля-петербуржца депешу, гласившую:

„Нашъ общій другъ проситъ тебя увѣдомить, что онъ уходитъ“.

Борщовъ, благодаря подписи, понялъ, кто уходитъ и куда уходитъ. Это былъ пріятель-министръ. Разумѣется, онъ понялъ тоже, что это выраженіе не вполне точно. Съ тѣхъ поръ, что Русь стоитъ, никто еще по собственной волѣ изъ министровъ не уходилъ. Каждого или просятъ уйти, или „спускаютъ“. Спасибо еще, что въ Россіи нѣтъ европейскаго термина „паль“, приравнивающаго высшаго сановника къ лошади или коровѣ.

Послѣ „ухода“ сослуживца-пріятеля, Борщовъ вскорѣ же былъ вызванъ въ Петербургъ новымъ министромъ.

— Вѣроятно, все за тѣмъ же, — объяснилъ онъ женѣ. — Дался я имъ... Видно, я, къ моему величайшему удивленію, считаюсь однимъ изъ лучшихъ губернаторовъ.

Тотчасъ выѣхавъ на берега Невы и тотчасъ явившись къ новому министру, Борщовъ вышелъ отъ него нѣсколько озадаченный.

Начальникъ, перелистывая его прошлогодній всеподданнѣйшій докладъ, лежавшій на его столѣ, и справляясь въ кучѣ бумагъ, лежавшихъ на другой сторонѣ стола, доказывалъ Борщову краснорѣчиво и даже настолько убѣдительно, что и отвѣчать было нечего, что онъ, Борщовъ—невозможный губернаторъ.

— Такъ нельзя! Такъ нельзя! Это немыслимо. Это меня ставитъ въ необходимость доложить... Этакъ же нельзя!—заканчивалъ министръ всякое разсужденіе свое по поводу разныхъ фактовъ изъ губернаторской дѣятельности Борщова.

И губернаторъ, вернувшись въ свою гостиницу, ясно понималъ, что возвращаться въ свою губернію не приходится. Развѣ только за тѣмъ, чтобы уложить вещи и перевезти семью въ деревню. И какъ легко сталъ гусарь-философъ администраторомъ съ блестящей карьерой впереди, такъ же легко обратился и въ простого смертнаго.

— Вотъ ужъ могу сказать,—думалъ Борщовъ:—воля моя тутъ была ни при чемъ. Не попади пріятель въ министры, и я бы не попалъ въ губернаторы; не уйди онъ вдругъ, и я бы не ушелъ, а пожалуй далеко бы пошелъ. Да только вотъ что: зачѣмъ?! Кой чортъ изъ этого?

Спустя почти два года послѣ ухода изъ губернаторовъ, Борщовъ снова очутился въ Москвѣ, но не простымъ обывателемъ, а крупнымъ чиновникомъ, пожалуй даже и сановникомъ, но все-таки административной мелкотой сравнительно съ тѣмъ, чѣмъ едва не сдѣлался когда-то на берегахъ Невы.

Случилось это просто.

Попавъ вдругъ въ отставку, онъ поселился въ деревнѣ, и, конечно, началъ сильно скучать. Въ хозяйство онъ не вмѣшивался, ничего въ этомъ не понимая и не желая „мѣшать“ старику-управителю, нѣмцу изъ чеховъ; а помимо агрономіи, въ деревнѣ была только почта, газеты и журналы, такъ какъ ближайшіе сосѣди, съ которыми можно было водиться, были за пятьдесятъ и болѣе верстъ.

И какъ-то однажды Борщовъ рѣшилъ, что надо начать снова служить и не иначе какъ въ Москвѣ. Когда-то, получая мѣсто губернатора, онъ уже обмѣнилъ свой военный чинъ на статскій, съ большой для себя выгодой, такъ какъ статскіе чины въ обиходѣ гораздо дешевле военныхъ. Поэтому, начавъ хлопотать, онъ получилъ вскорѣ почетную должность въ первопрестольной, съ изряднымъ жалованьемъ и съ пустымъ дѣломъ. Благодаря прежней службѣ, онъ уже шагнулъ быстро впередъ и, будучи уже при двухъ звѣздахъ, рѣшилъ, что въ слѣдующую наградную очередь надо отдѣлаться отъ третьей звѣзды, у которой даже и ленты нѣтъ, а предпочесть иное.

— Звѣздъ въ Москвѣ много, а „тайныхъ“ очень мало!— разсуждалъ онъ, забывъ, какъ прежде относился ко всему подобному.

И вскорѣ, весной, послѣ Пасхи, на Тверскомъ бульварѣ уже процвѣталъ тайный совѣтникъ.

Однажды въ яркій солнечный день, сверкавшій въ большія окна столовой стариннаго барскаго дома, среди нея сидѣли за завтракомъ мужъ, жена и трое дѣтей. Онъ—около сорока-пяти лѣтъ—казался на видъ нѣсколько старше, вслѣдствіе своей полноты, вѣрнѣе—грузности и какого-то особеннаго спокойствія и въ лицѣ, и даже въ движеніяхъ. Это было характерное „степенство“, свойственное пожилымъ и довольнымъ людямъ и являющееся предмѣстникомъ и предвѣстникомъ преждевременно надвигающейся старости.

Это и былъ Алексѣй Андреевичъ Борщовъ, его жена, Анна Ивановна, бывшая сирота Анята, ихъ два сына и старшая дочь, кромѣ четвертаго ребенка, маленькой дѣвочки, еще не умѣвшей сидѣть за столомъ.

Борщова, женщина уже тридцати лѣтъ, оставалась по прежнему красивой женщиной, благодаря правильнымъ чертамъ, ровному цвѣту лица и прекраснымъ сѣрымъ глазамъ, хотя безъ всякаго выраженія. Если до замужества никто никогда въ нее влюбленъ не былъ, то и послѣ замужества ею никто не прельщался и не увлекался. Ея правильное, но безжизненное лицо могло объяснить это явленіе. Оно наглядно свидѣтельствовало, что женщина была очень недалекой и, вдобавокъ, крайне флегматичной. Она даже мужа и дѣтей любила какъ-то особенно спокойно.

Дѣти Борщова, казалось, были въ родителей. Плотныя, румяныя, повидимому цвѣтуція здоровьемъ, они слишкомъ мало, однако, шалили и совсѣмъ не умѣли капризничать. Казалось, что нервная система въ ихъ организмѣ—отсутствуетъ.

Женясь неожиданно для самого себя, Борщовъ не раскаивался, любилъ жену, считая ее добрѣйшей, разсудительнѣйшей женщиной. Что она красива—онъ видѣлъ и слышалъ ото всѣхъ; что она простовата—онъ видѣлъ, но такъ какъ никто ему объ этомъ не говорилъ,—онъ думалъ, что одинъ это знаетъ. Дѣтей своихъ онъ считалъ самыми умными дѣтьми всей Москвы, такъ какъ они почти никогда не шумѣли, не дрались и не ревѣли.

— Можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ. — думалось иногда Борщову, — правъ тотъ, кому принадлежитъ изреченіе: „Все къ лучшему въ лучшемъ изъ міровъ“.

Сидя за завтракомъ, мужъ и жена спорили—отчасти добродушно и мирно, потому что спорили о томъ же, о чемъ шель споръ уже нѣсколько лѣтъ.

У Борщова изъ головы не выходила его исторія съ Ипатовой. Разумѣется, между мужемъ и женой сотни и тысячи разъ бывали разговоры и препирательства объ этомъ. Борщовъ искренно, черезчуръ искренно, говорилъ женѣ, что онъ, собственно, „случайно“ женатъ на ней. Въ первые годы брака Анна Ивановна волновалась и сердилась, а теперь только изрѣдка раздражительно подсмѣивалась надъ „толчкомъ“ мужа.

— Не могу же я, однако, не говорить правду!—воскликнулъ Борщовъ. — Глупый случай, а только онъ сдѣлалъ Ипатову княгиней Задонской.

— Но не могу и я считать себя твоей случайной женой, а нашихъ дѣтей—случайными дѣтьми. Это все отчаянное безсмысліе!—возразила жена.

— Однако, это такъ,—говорилъ онъ.

— Тогда правда и то, что тебѣ говорилъ твой же другъ,— что мы случайные христіане, случайные православные, случайно живущіе на случайной планетѣ Земли и въ случайной Россіи.

Борщовъ на такое объясненіе тоже отвѣчалъ полнымъ согласіемъ, и тѣмъ еще болѣе сердилъ жену.

— Конечно. Не только можетъ быть, а навѣрное. Случайное дѣйствіе мировое, случайный катаклизмъ чего-либо гдѣ-либо произвелъ землю. Христіанство и подавно — случай. Россія могла бы быть Печенѣгійей или Монголіей, а тѣмъ паче королевствомъ польскимъ, подвластнымъ Варшавѣ, еслибы не одолѣла случайно своихъ враговъ. А что касается до религіи, то нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что Россія была бы мусульманкой, такъ какъ Владиміру должно было нравиться узаконенное многоженство. Но увы! онъ узналъ вдругъ, что Магометъ запретилъ строго употребленіе вина, а Руси одно веселіе—пшти.

— Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Такъ же, какъ вотъ ты могъ бы случайно уродиться и умнымъ!—уже раздражительно отозвалась Анна Ивановна.

Борщова знала, что она вышла замужъ когда-то единственно по любви, такъ какъ ей даже на умъ не приходило, что посватавшійся за нее былъ человекъ съ состояніемъ. Она знала равно, что онъ, съ своей стороны, тоже женился на ней только по любви, такъ какъ она была сиротой, воспитанницей, чуть не нахлѣбницей у родственника. Теперь ихъ семейное счастье было полное, примѣрное. Къ любви и уваженію взаимнымъ прибавилась и великая крѣпкая связь людей, узель—и

чуть не Гордіевъ—привычка! Но женщину все-таки нѣсколько оскорбляло искреннее убѣжденіе мужа, что пресловутая исторія съ Надей Ипатовой всецѣло повліяла на все его земное существованіе, заставило его противъ воли существовать иначе, нежели онъ когда-то самъ себя опредѣлялъ.

Женщина, разумѣется, негодовала еще сильнѣе, вслѣдствіе своей простоты, когда мужъ ея увѣрялъ:

— Не урони я перчатку, то вотъ ихъ, — онъ указалъ на дѣтей,—и на свѣтѣ никогда бы не было. У меня отъ Ипатовой и у тебя отъ другого мужа — были бы, можетъ, дѣти, но не они... Никакъ не они.

— Стало быть, дѣти наши, — восклицала она, — съ философской точки зрѣнія, — незаконныя дѣти! Имъ не слѣдуетъ жить на свѣтѣ. Имъ надо умереть скорѣе.

— Ну, такъ разговаривать нельзя! — вспыхивалъ Борщовъ.

— Да вѣдь имъ же, по твоему, не слѣдовало родиться.

— „Не слѣдовало“ — не есть точное опредѣленіе... Надо сказать иначе. Сказать, что...

— И поэтому ты не можешь и не долженъ любить свою семью... Ты принуждаешь себя къ этому.

— Развѣ я тебя когда сказалъ это?.. Развѣ я тебя не люблю? Или дѣтей не люблю?

— Нѣтъ, я знаю, что ты насъ любишь, что ты доволенъ и счастливъ... Но все-таки *faute de mieux*...

— Неправда!

— Правда. И это постоянное сожалѣніе, что ты случайно не женился на предметѣ своей страсти, конечно, оскорбительно.

— Никогда! Тысячу разъ я тебя объяснялъ, что это не есть сожалѣніе! — воскликнулъ Борщовъ. — Это — простое умствованіе... Это какой-то протестъ моей души противъ роли случая въ нашемъ земномъ существованіи. Эта власть случая меня возмущаетъ, и я не могу съ этимъ примириться. Вотъ я повторяю, что я долженъ былъ жениться на Ипатовой... Долженъ былъ!

— А я говорю: на мнѣ... Хотѣлъ на ней, а долженъ былъ — на мнѣ. Нашъ бракъ — не случайность... А потеря знаменитой и пресловутой перчатки — глупость.

— ...Имѣвшая огромное послѣдствіе въ жизни моей: бракъ Ипатовой съ княземъ и мой бракъ съ тобой.

— Такова была судьба... Такъ должно было случиться. И перчатка тутъ ни при чемъ.

— Но вѣдь отъ нея все пошло...

— Нѣтъ, не отъ нея, а отъ многихъ иныхъ причинъ... Не выдумай люди носить перчатокъ, то ты и не имѣлъ бы ихъ...

— Да-а... Если этакъ... то скажи ужъ лучше, что виновать въ поворотѣ моей судьбы тотъ, кто избобрѣлъ изъ кожи дѣлать одѣяніе пальцевъ...

— Понятно... Причина причины... Или самая первая причина...

— Господь, конечно! Зачѣмъ Господь сотворилъ животныхъ съ такой кожей, изъ которой можно выдѣлывать предметы для туалета нашего... Этакъ мы дойдемъ ужъ не до Адама, а до чепухи...

— У чепухи и должна быть первоисточникомъ чепуха,— отвѣчала Борцова.

Разумѣется, Борцовъ никогда не соглашался съ женой и стоялъ на своемъ.

— Случай—владыко міра!—говорилъ онъ.

Часто думая и размышляя о томъ, что такое земное существованіе въ смыслѣ удачи и неудачи, счастья и несчастья земного, Борцовъ вспомнилъ много случаевъ, которые видѣлъ или о которыхъ слышалъ. Но особенно одинъ примѣръ чаще всего приходилъ ему на умъ. Судьба Ильи, сына его лакея Степана. Молодой, сравнительно, человѣкъ, сынъ бывшаго крѣпостного, получивъ, благодаря Борцову, кое-какое образованіе въ коммерческомъ училищѣ, былъ теперь въ такомъ положеніи, что всѣ дивились и, конечно, завидовали. Когда-то, будучи еще двадцатидвухлѣтнимъ малымъ, онъ отправился въ Петербургъ, искать себѣ мѣста по бухгалтеріи, которую, однако, зналъ слабовато.

Однажды онъ, рекомендованный, явился къ банкиру, полунѣмцу, полу-русскому, миллионеру, холостяку, котораго всѣ всегда аттестовали на одинъ ладъ: человѣкъ черствый и безсердечный, педантъ и формалистъ во всемъ, какъ въ банковскихъ книгахъ и счетахъ, такъ и въ чувствахъ, и даже въ религіи. Илюша явился къ банкиру-миллионеру просить занятій. Принятый въ кабинетъ рѣзко, спѣшно, осмотрѣнный какъ неодушевленный предметъ зоркимъ окомъ дѣльца-финансиста, онъ услышалъ то же, что многіе слышали чуть не ежедневно: „Мѣстъ нѣтъ. Зайдите опять. Если будетъ, то возьму на мѣсяць въ видѣ испытанія и безъ жалованья!“

Илюша поклонился, пошелъ къ дверямъ кабинета, но вдругъ пріостановился, нагнулся и, поднявъ что-то, вернулся снова къ письменному столу банкира.

— Что вы?—спросилъ этотъ, какъ бы огрызаясь.

— Спичка, — скромно отвѣтилъ Илюша. — Небожженная. Пригодится. — И онъ положилъ спичку на зеленое сукно стола.

Затѣмъ онъ снова вѣжливо поклонился и пошелъ къ дверямъ. Банкиръ рѣзко окликнулъ его словами:

— Молодой человѣкъ!..

Банкиръ спросилъ, какъ его имя, кто онъ родомъ, гдѣ учился и еще кое-что... Особеннаго ничего не узналъ онъ.

На другой день Илюша былъ уже на службѣ въ конторѣ. Черезъ мѣсяцъ онъ получилъ должность съ большимъ жалованьемъ. Черезъ годъ онъ былъ секретаремъ банкира. Лѣтъ черезъ пять онъ уже сталъ его близкимъ человѣкомъ, участникомъ въ дѣлѣ, пайщикомъ... Холостякъ и бобыль, нелюбившій никого, не могъ ни единаго дѣя обойтись безъ молодого человѣка. Однажды стараго холостяка нашли мертвымъ въ постели. Вскрыли его тѣло и нашли правильный разрывъ сердца. Затѣмъ тоже вскрыли его завѣщаніе и нашли правильно оформленную волю, по которой около двухъ милліоновъ назначались: „Самому аккуратному и дѣльному человѣку, котораго я встрѣтилъ за всю мою жизнь“.

Все сдѣлала аккуратность Илюши?.. Все сдѣлало одиночество черстваго человѣка? Да. Но спичка была поднята съ полу прежде.

Однажды Борщова, дѣлавшая визиты въ городѣ, вернулась домой и сообщила мужу новость. Задонскіе, которыми мужъ такъ интересовался, къ ея досадѣ пріѣхали въ Москву, вслѣдствіе болѣзни князя и очень серьезной. Борщовъ тотчасъ же навелъ справки, и узналъ, что, дѣйствительно, князь очень плохъ. Его едва довели въ Москву изъ имѣнія. Болѣзнь была странная. Прострація силь. Справившись черезъ недѣлю еще разъ, Борщовъ узналъ, что князь уже въ безнадежномъ положеніи. Всѣ лучшіе доктора Москвы были призваны, и всѣ единогласно заявили, что въ данномъ случаѣ наука безсильна.

— Что княгиня?—спрашивалъ Борщовъ у всѣхъ, кто бывалъ въ домѣ умирающаго.

— Она только озабочена. Она не знаетъ, что мужъ при смерти. Ей не говорить.

Два дня подъ-рядъ справлялся Борщовъ о положеніи князя, и узнавалъ одно:

— „Надежды нѣтъ“! На третій день онъ узналъ: „Скончался“.

— Что княгиня?—былъ его первый вопросъ.

— Ничего. Не плачетъ даже... Но какая-то странная, будто сонная... Измучилась, что-ли, ухаживая за мужемъ день и ночь.

Борщовъ отправился на первую панихиду. Все высшее общество Москвы было на лицо въ большомъ домѣ на Поварской, принадлежавшемъ когда-то Ипатовымъ, но только десятая доля могла проникнуть въ спальню, гдѣ у постели служилась панихида. Когда всѣ стали разъѣзжаться, Борщовъ прошелъ въ спальню, но княгини въ ней не было...

Онъ поглядѣлъ на покойника и подивился. Покойный казался даже моложе, чѣмъ былъ во дни своей женитьбы. Лицо было бѣлѣе, морщинъ и слѣда не было. Онъ казался тридцатилѣтнимъ.

„Распухъ“—подумалъ Борщовъ.

Онъ узналъ отъ знакомыхъ, что княгиня совсѣмъ не появлялась на панихидѣ.

— Говорятъ, очень ужъ убита. Съ ногъ свалило. Она вѣдь и не подозрѣвала, что онъ при смерти. Напрасно дѣлаютъ это близкіе, якобы изъ жалости. Вѣдь оно еще хуже.

На слѣдующія панихиды Борщовъ не поѣхалъ и отправился прямо на похороны.

Церковь была, конечно, тоже переполнена. Протѣснившись впередъ, ставъ недалеко отъ гроба, Борщовъ увидѣлъ въ углу церкви, за клиросомъ, даму въ глубокомъ траурѣ, сидящую на стулѣ, а близъ нея мальчика, тоже въ черномъ. Дама была къ нему спиной, но онъ догадался, что это княгиня. Служба длилась страшно долго.

Наконецъ все было кончено... Духовенство и пѣвчіе смолкли. Принесли крышку гроба. Наступила тишина, но началась какая-то суетня. Слышались разговоры шопотомъ, долетали до слуха отдѣльные слова.

— Ни за что не пойду! — разслышалъ Борщовъ за своей спиной.—Я ихъ до смерти боюсь...

— Прощаться! Неправильное выраженіе!—говорилъ другой кто-то.—Иди, говори до свиданія. Вотъ это такъ.

— Да. Только не до скорого. *Ce serait—excès de politesse.*

Кто-то ворчалъ угрюмо:

— Какая глупая трата денегъ! Безцѣльная, непроизводительная. Надо бы гробъ въ три рубля, безъ пѣвчихъ и безъ всякой вообще *mise en scène*. Только глумленіе надъ мертвымъ.

А Борщовъ, слушая, вдругъ задалъ себѣ, будто нечаянно, вопросъ:

— Еслибы я не былъ теперь женатъ?.. Рѣшился бы я? Разумѣется, рѣшился бы! Я бы тотчасъ пошелъ ей сказать: „я по прежнему люблю васъ“.

А затѣмъ онъ снова спросилъ себя:

— А еслибы мнѣ сказали: „Твоя жена умретъ, и тогда“... Нѣтъ, ни за что... У меня тоже стертѣлось, слюбилось...

Въ ту же минуту Борщовъ увидѣлъ даму въ траурѣ, которая приближалась къ гробу, поддерживаемая мужчиной. Лицо ея показалось ему знакомымъ, а между тѣмъ женщины съ такимъ осунувшимся и худощавымъ лицомъ между египетскихъ знакомыхъ не было и назвать даму онъ не могъ.

Но, взглянувъ на высокаго мужчину, который ее обнялъ, поддерживая, Борщовъ ахнулъ, узнавъ его и поэтому сразу догадавшись, кого онъ ведетъ.

Это былъ Левушка Ипатовъ, но уже совершенно возмужалый и съ типичными, по времени, бакенбардами петербургскаго чиновника, — котлетами, какъ ихъ называли.

— Боже мой! Какъ она перемѣнилась! — мысленно воскликнулъ Борщовъ. — Это другая... Другая женщина.

Княгиня подошла къ гробу, поднялась на ступеньку, нагнулась надъ покойникомъ, и вдругъ церковь огласилась такимъ рыданіемъ, что все зашевелилось. Многіе бессознательно двинулись впередъ, какъ бы на помощь случившемуся.

Княгиня лежала ничкомъ на тѣлѣ, протянувъ черезъ него руки и уронивъ на нихъ голову. Ипатовъ, наклоняясь къ сестрѣ, громко повторилъ:

— Надя... Надя...

Мальчикъ стоялъ за матерью и тупо, испуганно поглядывалъ то на гробъ и профиль покойника, то на спину матери.

Черезъ нѣсколько мгновеній Левушка обернулся къ обступившей кругомъ кучкѣ знакомыхъ и что-то сказалъ тревожно. Двое ближайшихъ двинулись быстро впередъ и едва успѣли подхватить вдругъ осунувшуюся и скользнувшую съ гроба на полъ княгиню. Она была безъ памяти. Рослый Левушка, об-

хвативъ сестру, взялъ ее на руки и, въ свой чередъ слегка поддерживаемый знакомымъ, отнесъ ее на клирость.

Особенное молчаніе царило въ церкви и всѣ лица были взволнованно-сумрачны. Казалось, что всѣ присутствующіе еще оставались подъ вліяніемъ слышаннаго сейчасъ отчаяннаго вопля вдовы.

Пріѣхавъ домой, Борщовъ прошелъ прямо къ себѣ въ кабинетъ, не спросивъ, дома ли жена, что дѣлалъ всегда, и заперся на ключъ. Ему хотѣлось быть наединѣ съ собой, со всѣмъ тѣмъ, что поднялось съ глубины души.

— Ну-т-ка, Эдипъ, разрѣши!—говорилъ онъ самому себѣ, еще по пути домой, а теперь одинъ въ своей комнатѣ сталъ повторять вслухъ.—Да, голубчикъ Эдипъ... не знаю, какъ по батюшкѣ, хотя это и слѣдовало бы помнить... Я тебѣ расскажу загадку, а ты разрѣши. Она пошла за князя противъ воли. Она была несчастна, когда вѣнчалась. Она пожертвовала собой... И ради даннаго ею слова... И ради разореннаго отца... Да. Ея замужество—было горькой минутой ея жизни. А теперь? Теперь она рыдала у гроба этого человѣка, какъ еслибы теряла все въ жизни. Все... Что же это такое?.. Нечего, молъ, спрашивать. Привычка. Стало быть, мы и жизнью дорожимъ лишь по привычкѣ.

Цѣлыхъ три дня послѣ похоронъ князя Борщовъ только и думалъ о томъ, что видѣлъ въ церкви. Кончилось тѣмъ, что ему захотѣлось повидать княгиню.

И онъ отправился къ ней съ визитомъ. Онъ рѣшилъ, что объяснить свое посѣщеніе какъ изъявленіе сочувствія къ ея горю.

Швейцаръ его впустилъ со словами „дома-съ“. Онъ прошелъ залу, хорошо знакомую, вошелъ въ гостиную, еще болѣе памятную, и остановился, глядя на балконную дверь.

— Да. Вотъ гдѣ тогда все произошло,—подумалось ему,—поворотъ въ жизни.

Борщовъ сѣлъ и сталъ ждать, глядя на дверь въ слѣдующую комнату, которая была заперта, и изъ которой онъ не терпѣливо, даже въ волненіи, ждалъ появленія княгини.

Прошло минутъ пять, и въ дверяхъ показалась фигура совершенно ему незнакомая. Вышла женщина лѣтъ около сорока, бѣлокурая, съ маленькими глазками и крупными зубами.

— Княгиня меня послала сказать вамъ, что она очень извиняется, но не можетъ принять васъ.

Вотъ что заявила на ломаномъ французскомъ языкѣ зубастая дама, по выговору которой Борщовъ догадался, что она—англичанка.

Онъ что-то пробормоталъ себѣ самому непонятное и прибавилъ:

— Скажите, что я очень сожалью.

Англичанка продолжала:

— Въ такіе дни, послѣ такого великаго горя, княгиня отказывается даже родныхъ видѣть, не только постороннихъ.

— „Постороннихъ“!—повторилъ Борщовъ мысленно.—Да. Что же? Правда. Она для меня по прежнему близкая, а я ей—посторонній. Бываетъ такъ въ жизни сплошь и рядомъ.

Однако, вернувшись домой, онъ сталъ размышлять, что поступилъ, пожалуй, нелѣпо. Заѣхать, чтобы сдѣлать визитъ „de condoléance“, конечно, слѣдовало, но только оставить карточку, а докладывать о себѣ было безтактно. По особой странной логикѣ сердца—именно его-то княгиня и должна была „не желать“ теперь видѣть. Покойный мужъ ея и онъ, Борщовъ, были все-таки какъ будто соперниками... И князь побѣдилъ его... И дважды... Все, что онъ видѣлъ на похоронахъ, доказывало эту его вторую побѣду. Да, она искренно, глубоко страдает... Страшный ударъ постигъ ее. А тогда, въ гостиной, у балконной двери? Развѣ то было не страданіе? А затѣмъ? Вѣдь онъ не переродился послѣ женитьбы. Каковъ былъ всю жизнь, таковъ и остался. Не уродъ. Добрякъ. Но ограниченный, пошлый, отчасти смѣшной или, вѣрнѣе, ridicule. Во всемъ, что дѣлалъ и говорилъ—дюжинное существо.

— Что же это?!—повторялъ Борщовъ.—Не хочу отвѣчать—привычка. Нѣтъ, это другое... И не лестное!

IV.

Прошло болѣе тридцати лѣтъ съ той поры, что Борщовъ счелъ сую жизнь чуть не испорченной пустѣйшей случайностью. Разумѣется, теперь тогдашнее горе подернулось какимъ-то туманомъ или поросло быльемъ. А если былье—горе, то оно, какъ бурьянъ, заглушаетъ все остальное. А у Борщова были за эти года—и горе, и горькія заботы.

— Однако, какъ ни говори, а все-таки въ жизни играетъ громадную роль нѣчто неопредѣлимое и потому неизвѣстное.

Наша воля, именуемая свободной, конечно, свободна, но въ тѣхъ же предѣлахъ, въ какихъ находится пресса, про которую говоритъ „Фигаро“, что ей „про все дозволено говорить, за исключеніемъ лишь всего недозволеннаго“. Воля окружающихъ людей противодѣйствуетъ или уравниваетъ твою волю. И вотъ борьба. Если силенъ и искусенъ, то чаще побѣждаешь... Но и твоя воля, и „ихъ“ воля—все-таки часто сводятся къ нулю нѣкоимъ третьимъ... Да. Этими волями зачастую владѣеть, или забавляется совсѣмъ какъ игрушками, сочетаніе обстоятельствъ невѣдомыхъ и ни отъ кого не зависящихъ. Сей третій—„господинъ Иксъ“.

Теперь уже шестидесятилѣтній человѣкъ, Борщовъ былъ давно вдовцомъ. Но, постарѣвъ годами, онъ помолодѣлъ внѣшностью, потерялъ свою полноту и степенство, былъ подвижнѣе, живѣе, хотя и сумрачнѣе.

Семья Борщовыхъ много и долго жила за границей, на югѣ, ради здоровья Анны Ивановны, у которой постепенно развилась болѣзнь легкихъ и перешла въ злую чахотку. Дѣло началось, казалось, съ простой простуды, а окончилось тѣмъ, что полная женщина стала почти скелетомъ и каждую зиму становилась слабѣе, каждую весну бывала почти на волосъ отъ смерти. Переселиться изъ Россіи совсѣмъ на югъ Франціи она не хотѣла, несмотря на просьбы и убѣжденія мужа.

— Все равно умирать, рано ли, поздно ли... А я не хочу, чтобы дѣти совсѣмъ стали нерусскими. Они и такъ уже слишкомъ офранцузились.

И Анна Ивановна умерла среди зимы въ Москвѣ.

Дѣйствительно, дѣти Борщовыхъ, отъ долгаго пребыванія за границей, два сына и двѣ дочери, носили на себѣ какой-то особый отпечатокъ во всемъ. Они были не вполне русскіе и ужъ совсѣмъ не москвичи. Всего досаднѣе покойной Борщовой было, что дѣти ея „думали“ по-французски и въ минуты оживленія, радости, испуга, по неволѣ выражали это типичными французскими восклицаніями. Русская зима, морозы, сугробы, дѣйствовали на нихъ странно,—наводили на нихъ уныніе и какую-то нравственную лѣнь. Многие коренное русскіе, отъ калача и кваса и до болѣе серьезныхъ вещей, вопросовъ и понятій—было имъ чуждо или смѣшно.

Двое молодыхъ Борщовыхъ были настолько различны лицомъ, нравомъ, качествами и недостатками, что казалось страннымъ, какъ могутъ родные братья быть такими антиподами.

Андрей, старшій, былъ уменъ, но самолюбивъ и безсердеченъ, крутъ и рѣзокъ со всѣми и во всемъ.

Двѣнадцати лѣтъ онъ уже говорилъ:

— Жаль, у меня братъ. Лучше бы не надо. Тогда все состояніе отца было бы мое. А этакъ—надо дѣлиться.

Въ восемнадцать лѣтъ онъ говорилъ:

— Какая умная вещь маіорать! Отчего у насъ нѣтъ обычая, чтобы младшіе братья становились негоціантами или шли въ духовное званіе, чтобы быть тамъ какимъ-нибудь начальствомъ.

Въ двадцать-два года окончивъ въ университетѣ курсъ, онъ вдругъ сталъ обуреваемъ честолюбіемъ и поступилъ на службу въ Петербургъ, въ министерство иностранныхъ дѣлъ. Онъ заявилъ, что это—единственно возможная для него государственная служба. Конечно, цѣль его была простая: стать чиновникомъ, не живя въ снѣговой Россіи.

Младшій сынъ, нѣсколько ограниченный, безконечно добрый и ласковый, боготворилъ отца и мать, обожалъ сестеръ, любилъ даже и брата, обращавшагося съ нимъ съ дѣтства грубо и деспотично.

Однажды, когда они еще мальчишками сильно поссорились и подрались, Андрей, старшій, чуть не отрѣзалъ все ухо брату Дмитрію. Значокъ отъ маленькаго нехватавшаго кусочка остался. Мать, какъ это всегда бываетъ, любила и страстно баловала до послѣдняго дня жизни—старшаго сына, а отецъ—младшаго, при чемъ онъ съ ужасомъ замѣчалъ, что его Митя ненадеженъ здоровьемъ и главное—слабогрудый. Разумѣется, это наводило его на соображеніе, что, быть можетъ, болѣзнь жены явилась не отъ простуды, а была просто наслѣдіемъ или атавизмомъ. И онъ боялся за сына, который поѣтому учился мало, въ университетъ не поступалъ и былъ безотлучно дома.

Но общей любимицей въ семьѣ была старшая дочь, по имени Маша, которая соединяла качества обоихъ братьевъ, не имѣя ихъ недостатковъ.

Теперь ей было двадцать лѣтъ; но только недавно перестала она брать уроки, затянувъ ученье по доброй волѣ. Учителя, ходившіе къ ней, ее обожали и ставили всѣмъ въ примѣръ. Старичокъ-учитель по русской словесности искренно и наивно сожалѣлъ:

— Какая обида, что вы свѣтская и богатая дѣвушка! Зароете въ землю Богомъ данное...

Маня была самой красивой дѣвушкой московскаго свѣта, вмѣстѣ съ тѣмъ самой образованной и развитой, да къ тому же самой симпатичной, нравившейся старымъ и молодымъ безъ исключенія. Уже три раза Борщовъ отказывалъ въ рукѣ дочери претендентамъ, которыхъ не считалъ достойными „Манюни, красавицы, умницы и богатой невѣсты“.

Дѣвушка какъ-то особенно хитро соединяла въ себѣ самую простую свѣтскую барышню, обожающую танцы, способную плясать всякій вечеръ до зари, до боли въ ногахъ, какъ отъ ревматизма,—со способностью набрасываться на всякую книгу во всякую свободную минуту.

Вечеромъ—оживленное, счастливое лицо отъ фигуры котильона... Утромъ или днемъ у себя въ комнатѣ—тоже оживленное лицо надъ какой-нибудь книгой... Какой? Все равно... У нея было какое-то безсознательное уваженіе вообще въ книгѣ... А тѣхъ, которые ихъ пишутъ, она ставила неизмѣримо выше своей среды. Впрочемъ, у нея недавно появился любимый предметъ—политическая экономія. Иная статья въ толстомъ журналѣ, гдѣ „взглядъ и нѣчто“—о чемъ-либо ей совершенно чуждомъ—ее все-таки интересовала. Тургенева она перечитала много и много разъ, и нельзя сказать—обожала его, а прямо благоговѣла. Наоборотъ, Достоевскаго терпѣть не могла. Любимый поэтъ дѣвушки, проведеншій отрочество за границей, былъ Алексѣй Толстой. Почему? Объяснить было бы трудно. Про Щедрина она говорила виновато:

— Я ничего не понимаю. Я пробовала читать, но... выходило, будто я читаю по-персидски...

Вмѣстѣ съ весельемъ, балами, вечерами, визитами и равно пріемами у себя,—причемъ Маня изображала у отца-вдовца хозяйку дома,—вмѣстѣ съ чтеніемъ всего, что попадало случайно подъ руку, она успѣвала быть дѣйствительно полезной въ дѣятельности вполне почтенной. Она не была,—почему-то не хотѣла быть,—членомъ благотворительнаго общества, но имѣла массу „своихъ“ престарѣлыхъ инвалидовъ обоего пола, а съ ними—голодныхъ или больныхъ дѣтей. Часто, на балѣ, за кадрилию или за мазуркой, она мило и кокетливо выпрашивала у своего кавалера и пять, и пятьдесятъ рублей—„для моихъ“, сознаваясь, что собственныхъ денегъ „совсѣмъ не хватаетъ“.

Борщовъ былъ страшно противъ этой дѣятельности дочери, противъ „трепни по грязнымъ трущобамъ“, но ничего сдѣлать не могъ. Маня отвѣчала:

— Я небо копчу... Дайте мнѣ хоть это дѣлать. Выйду заму́жъ—брошу, займусь своими дѣтьми.

Наконецъ, помимо всего, у Мани было еще дѣло, еще забота... Ея сестра, двѣнадцатилѣтняя дѣвочка, Додя, которую надо было учить, воспитывать и одѣвать, — то-есть, слѣдить, чтобы она готовила исправно уроки, отвыкала отъ разныхъ дурныхъ привычекъ, приобрѣтенныхъ отъ няни и горничныхъ, а затѣмъ, чтобы она была одѣта прилично, иначе говоря — помодѣ и изящно...

Зато добрая и сердечная Додя обожала сестру, замѣнившую ей мать еще когда она была крошкой.

Отецъ, баловавшій до-нельзя дѣвочку, могъ отъ нея добиться чего-либо только угрозою, что пожалуется на нее Манѣ.

Среди мирной жизни въ Москвѣ, у Борщова были, однако, двѣ крупныя заботы, о которыхъ онъ притомъ упорно молчалъ, никому не повѣряя ничего, хотя по совершенно различнымъ мотивамъ.

Первое — было здоровье, или, вѣрнѣе, нездоровье сына Дмитрія. Тайно совѣтуясь съ докторами, онъ узнавалъ одно...

— Да, слабовать... Можетъ быть, наследственное. Но и такіе живутъ до семидесяти лѣтъ. Пока, что же беспокоиться!

Второе—былъ сынъ Андрей и его жизнь въ Петербургѣ... Кутежи, большія траты и долги и маленькія сомнительныя исторіи въ средѣ дамъ полусвѣта и героевъ картежныхъ притоновъ... Борщову часто становилось страшно, чтобы не случилась вдругъ съ сыномъ какая большая исторія, марающая имя. Онъ часто мысленно говорилъ:

— Вотъ вамъ, умники, разрѣшите загадку: Андрей и Маня, родные братъ и сестра!!

Въ половинѣ зимы существованіе Борщова посѣтили три „господина Икса“. Первый его сильно смутилъ, второй опечалилъ, а третьимъ онъ былъ сраженъ совершенно, и только черезъ много лѣтъ могъ оправиться отъ удара въ сердце.

Если первый случай былъ вскорѣ потомъ позабытъ, то о второмъ Борщовъ долго и частенько вспоминалъ, а третій... „настоящій“ случай, то-есть бессмысленный и ужасный, былъ однимъ изъ тѣхъ, предъ которыми разумъ человѣческой цѣпенѣтъ и безмолвствуетъ.

Уже съ недѣлю младшій сынъ былъ въ постели, въ жару, и Борщовъ безпокоился на его счетъ, зная, какъ онъ хрупокъ здоровьемъ и съ чего началась болѣзнь матери, сведшая ее въ могилу.

Однажды утромъ рано къ нему въ кабинетъ вошла любимица Маня. Обыкновенно она никогда не приходила ранѣе полудня, предъ самымъ завтракомъ. На вопросительный и испытующій взглядъ отца, она отвѣтила:

— Я къ тебѣ немного раньше... Хочу передать одну новость. Удивительную. Но не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что это подтверждаетъ твою любимую теорію о роли глупаго случая въ нашей жизни.

Борщовъ оживился и хотѣлъ спросить: „Что такое?“—но, приглядысь внимательно къ лицу дочери, которую, благодаря ея правдивой натурѣ, видѣлъ насквозь, онъ замѣтилъ, что Маня рѣшительно встревожена чѣмъ-то и старается принять веселый видъ.

— Дмитрій что? Не хуже?—безпокойно спросилъ онъ.

— Нисколько. Дмитрій, слава Богу, ничего. Все то же... Я съ новостью, говорятъ тебѣ...

— Но новость до насъ касается?

— Нисколько! Слушай. Помнишь ты эту мою бѣдную вдовушку, которая пріѣхала къ Москву искать какой ни на есть заработокъ и заболѣла...

— Конечно, не помню. У тебя этихъ цѣлый эскадронъ всегда. Чуть не полкъ. Гдѣ же ихъ всѣхъ помнить!

— Нѣтъ, папа. Эту знаешь, видѣлъ... Она бывала у меня, когда вышла изъ больницы; даже разъ, съ твоего позволенія, я ее пригласила обѣдать. Ты ее нашелъ очень милой, симпатичной, порядочной... Вспомни...

— Не могу, моя милая.

— Ты еще сказалъ, что еслибы у нея было не такое унылое лицо и еслибы ей сбавить года четыре, пять, то она бы своими манерами, чудными волосами и особенно прелестнымъ взглядомъ была бы настоящая Гретхенъ Гетевская.

— А-а! — вскрикнулъ Борщовъ. — Помню. Очень симпатичная!..

— Ну вотъ... Я ее долго старалась пристроить на мѣсто въ хорошее семейство, такъ какъ ее обидѣть или загнать ничего не стоитъ... И я достала ей, два года назадъ, мѣсто къ дѣтямъ князя Гоницына, не то гувернанткой, не то бонной.

Ей было очень хорошо. Прошлой весной, ты знаешь, умерла княгиня... А теперь она пишетъ... Ну, догадайся, папа, что она пишетъ? Какую новость мнѣ сообщаетъ!

Борщовъ развелъ руками и вымолвилъ, смѣясь:

— ...Что и князь тоже умеръ...

— Нѣтъ. Онъ живехонекъ, и она выходитъ замужъ за него!.. И будущей зимой мы поѣдемъ съ визитомъ къ княгинѣ Гоницыной, которая болѣла въ больницѣ на моемъ попеченіи, нуждалась въ чаѣ и въ сахарѣ, не только въ башмакахъ. А теперь будетъ женой человѣка, за котораго и я бы пошла... Умный, красивый и золотое сердце... Что же? Каковъ въ данномъ случаѣ господинъ случай?.. Отличился на славу!

— Да. И ея то воля, вѣроятно, была тутъ ни при чемъ. У нея таковой, по видимости, и тѣни нѣтъ.

— Пожалуй. Но ея характеръ и взглядъ Гретхенъ замѣнили волю.

Маня смолкла и продолжала сидѣть. Борщовъ еще яснѣе увидѣлъ, что у дочери что-то на душѣ, ее тревожащее.

„И весь этотъ разговоръ про вдовушку,—думалось ему,— и про ея судьбу вдругъ стать княгиней Гоницыной Маня приплела предисловіемъ, чтобы меня задобрить. А теперь объявить нѣчто уже иное, болѣе намъ близкое и менѣе веселое“.

И Борщовъ выговорилъ:

— Ну, Маня, не лукавь... Вѣдь ты не умѣешь актрисничать. Я вижу отлично... Говори. Что такое? Я знаю, что тутъ есть что-то нехорошее.

Маня, которая дѣйствительно, совсѣмъ не была способна на то, что французы называютъ *dissimuler*,—смутилась, вспыхнула и выговорила:

— Папа... Очень неприятное... Объ Андрѣй...

— Что такое?—вскрикнулъ Борщовъ.

— Какая-то исторія. Но я не знаю, какая... Знаю, что понадобились деньги, чтобы потушить все... И онъ ихъ занялъ... Теперь надо будетъ отдать.

— Какая же исторія? — нѣсколько упавшимъ голосомъ произнесъ Борщовъ.

— Не знаю... Не онъ мнѣ пишетъ, а моя добрѣйшая *Hélène*... И со словъ другихъ, по петербургскимъ слухамъ. Но, вы знаете, она никогда не сочиняетъ. Ужъ если пишетъ, то вѣрно.

- Такъ письмо не отъ Андрея?
- Нѣтъ, нѣтъ! Отъ Hélène.
- И весь Петербургъ знаетъ, говоритъ?..

Маня промолчала и потупилась.

Борщовъ задумался, лицо его стало сумрачно-тревожно. Дочь догадалась и произнесла тихо:

— Папа, вы не преувеличивайте. Вы готовы подумать невѣсть что...

— Надѣюсь, не зарѣзалъ, не ограбилъ... — глухо выговорилъ онъ.—А все... все остальное возможно.

— Нѣтъ, нѣтъ, папа... Не такъ уже...

И Маня запнулась.

— Такъ ты знаешь что-нибудь... Такъ говори. Я, конечно, могу вообразить еще худшее.

— Онъ проигралъ въ карты.

— Вздоръ!.. Хуже!.. Говори...

— Онъ проигрался... И была ссора... И онъ ударилъ... и сильно... И, кажется, изуродовалъ этого, Богъ вѣсть кого... Hélène говоритъ — извѣстнаго шулера. Тотъ хотѣлъ поднять пѣлое дѣло въ окружномъ судѣ, и тогда всплыло бы что-то еще... очень нехорошее, чего Hélène сама не знаетъ. Ей не хотѣли сказать... Ну, и Андрей согласился заплатить этому негодю и проигрышъ, и еще—за его молчаніе, чтобы все замать.

— Сколько?..

— Кажется, двадцать тысячъ...

— Славно!—воскликнулъ Борщовъ.

Маня собралась было что-то сказать, но отецъ махнулъ нетерпѣливо рукой—и наступило молчаніе.

И за весь день онъ не заговаривалъ о сынѣ.

На утро его ожидало нѣчто, повторявшееся уже издавна и все учащавшееся, становившееся хроническимъ.

Маня снова явилась къ отцу, смущенная и держа въ рукѣ конвертъ съ марками и штемпелями.

— Ну, такъ!.. Самъ заговорилъ!..—воскликнулъ раздражительно Борщовъ, зная отлично, что значить робкое, почти виноватое появленіе дочери съ письмомъ въ рукахъ.

— Да... Андрей пишетъ... Но на этотъ разъ просто несчастіе... И онъ даже не совсѣмъ виноватъ.

— Да вѣдь пойми, вспомни!—вскрикнулъ Борщовъ:—вѣдь ты каждый разъ повторяешь тѣ же слова: „несчастіе“ и „не виноватъ“!

Дѣйствительно, Маня постоянно брала подъ свою защиту брата Андрея, который, только числясь при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, постоянно общалъ отцу получить мѣсто при посольствѣ, но пока дѣлалъ только долги, которые отецъ уплачивалъ. Цифра все росла. Сначала приходилось уплачивать по двѣ и по три тысячи, затѣмъ цифра стала доходить до шести и восьми тысячъ заразъ... Теперь сразу понадобилось двадцать...

Борщовъ взялъ письмо сына, пробѣжалъ его съ презрительной досадой на лицѣ и, не дочитавъ, бросилъ на столъ, ничего не сказавъ. Онъ былъ убѣжденъ, что все это обстоятельное письмо—одна ложь.

Наступило молчаніе и длилось настолько долго, что Маня рѣшилась заговорить первая.

— Что же ты скажешь? Вѣдь нельзя же доводить дѣло до скандала. Надо его спасти. Андрей ухаживаетъ за княжной Бобрищевой и можетъ жениться на ней. А у нея — миллионъ приданого.

— Все это тоже выдумки, тоже наглая ложь! — холодно отвѣтилъ Борщовъ.—Онъ ухаживаетъ, конечно... только не за княжнами, а за совсѣмъ иными женщинами... Онъ насъ разорить... Я не могу, не имѣю права, по отношенію къ его брату и его сестрамъ... Ну, я подумаю. Это такъ итти не можетъ. Хорошъ сыночекъ, котораго надо все спасать да спасать!

Маня на этотъ разъ, замѣтивъ необычное раздраженіе въ отцѣ, предпочла отложить объясненіе и просьбы за брата и вышла.

Вслѣдъ за нею тотчасъ же вошелъ лакей и подалъ на подносѣ французскую газету и письмо.

Борщовъ сердито разорвалъ конвертъ и, прочитавъ письмо, бросилъ его на столъ со словами:

— Ну, это дудки! Ты мнѣ еще долженъ тысячи три уже лѣтъ пять или семь. А теперь я уплачивай еще за тебя въ банкъ. Съ какой стати! Что я вамъ дался? Дойная корова, какъ сказываютъ народъ, грубо, но вѣрно. Этотъ безобразничаетъ, но все-таки родной сынъ, и я волей-неволей обязанъ его спасать. А чужихъ-то людей спасать — съ какой стати? Что я, членъ что-ли „общества спасанія отъ долговъ“? Такого общества нѣтъ и уже, конечно, никогда не будетъ.

Письмо было отъ стараго друга и товарища по полку, Верзилина, просившаго двѣ тысячи займы на уплату, очень спѣшную, по залогоу имѣнія.

И Борщовъ, спустя два дня, по неволѣ „спасъ“ сына, переведа двадцать тысячъ чрезъ банкъ и отвѣтилъ товарищу отказомъ...

Прошло недѣли три, и Борщовъ совершенно успокоился; угнетенное состояніе духа исчезло. Дмитрій былъ на ногахъ, такъ какъ все оказалось сильнымъ гриппомъ, а Андрей написалъ, что все обошлось „слава Богу“. Одновременно случилось нѣчто простое, но радостное... Онъ встрѣтилъ случайно прежняго Левушку, котораго не видалъ съ похоронъ князя Задонскаго. Эта нечаянная встрѣча обрадовала Борщова. Все, что касалось не только близко, но даже издалека, прежней его Нади—было ему дорого. И онъ, конечно, позвалъ Ипатова къ себѣ обѣдать и провести вечеръ, вспоминая...

Прежній Левушка, прожигатель жизни, теперешній пожилой холостякъ, удивилъ Борщова.

Это былъ совершенно иного сорта человекъ, какой-то особенно сумрачный. Послѣ обѣда онъ тотчасъ же сталъ говорить на тему: „какая глупость—жить“! Ни тѣни фальши или фатовства,—даже напускного, дешеваго байронизма не было въ его рѣчахъ. Голосъ его звучалъ искренно и уныло.

— Было что-нибудь скверное въ вашей жизни?—спросилъ озадаченный Борщовъ.

— Нѣтъ, ничего не было... пока... — Отвѣтилъ Ипатовъ, и слово „пока“ прозвучало иронически.

— Что значитъ „пока“? Вы будто хотите этимъ сказать, что у васъ предчувствіе?..

— Нѣтъ. Но... изрѣдка меня страшно томить что-то... чего не назовешь по имени. И я въ эти минуты думаю: люди—маріонетки на веревочкахъ, а жизнь—балаганъ; тотъ же, кто держать и дергаетъ за веревочки... Кто онъ?

— Это, Левъ Павловичъ, — инкогнито... Жизнь поэтому любопытная загадка, которую, увы, до сихъ поръ ни одинъ не разрѣшилъ.

— Да... Вы вѣдь фаталистъ... Я и забылъ...

— Извините. Вѣчно слышу это отъ всѣхъ и сержусь. Никогда имъ не былъ. Я—противоположность фаталиста. Я себя назову—ужъ если хотите какой-нибудь терминъ—особымъ словомъ, которое самъ же выдумалъ:—суммистъ.

— Это—не суннить?—пошутилъ Ипатовъ, улыбаясь.

— Нѣтъ. Впрочемъ, турки—сунниты, и они же изобрѣтатели фатализма.

— Вы меня, однако, познакомьте съ вашей profession de foi. Это не будетъ метаніемъ бисера,—снова пошутилъ, но не улыбнулся Ипатовъ.

Разумѣется, Борщовъ охотно принялся развивать свою любимую теорію.

Когда онъ кончилъ, Ипатовъ спросилъ холодно:

— Простите за искренность. Вы еще помните... перчатку?

Борщовъ слегка пожалъ плечами и, едва замѣтно вздохнувъ, тихо вымолвилъ.

— Конечно...

— Ну, вотъ... вотъ я вамъ скажу... Очевидно, сегодня такой день выдался, что на меня особый стихъ напалъ. Я—человѣкъ скрытный, а вотъ сейчасъ начну исповѣдаться. Я прежде относился къ этому случаю съ перчаткой—какъ и всѣ... Воля Божья! Такъ, стало быть, суждено... Суженаго не минешь. А теперь я къ случаю, сильно повліявшему на ваше существованіе, отношусь совсѣмъ иначе.

— Почему?—воскликнулъ Борщовъ, оживившись и будто обрадовавшись.

— Послушайте. Вотъ что со мною было,—началъ Ипатовъ угрюмо. — Тому назадъ года три, я собрался жениться по любви. Я любилъ впервые, и меня любила моя избранница. У нея была мамаша, очень элегантная свѣтская дама, говорившая сладкимъ голосомъ и любившая, несмотря на свои пятьдесятъ лѣтъ, наряды, выѣзды и даже, изрѣдка, поплясать. Но моя будущая belle maman была въ то же время правомъ сама дьяволь. Кончилось мое жениховство тѣмъ, что она однажды, за обѣдомъ, назвала меня неучемъ, дуракомъ и, кажется, лакеемъ... за то, что я, бравши жаркое съ блюда, бухнулъ кусокъ обратно въ соусъ и забрызгалъ все ея платье. Я отнесся философски ко всему, но, однако, замѣтилъ ей, что благовоспитанность—вещь очень хорошая, и что я ей очень рекомендую ее. Результаты: свадьба разстроилась... Я былъ долго неутѣшенъ. Недѣли три...

— Да... Тоже пустой случай,—сказалъ Борщовъ. Но, видите ли, тутъ дѣло не въ соусѣ, а въ характерѣ барыни, который...

— Согласенъ. Но погодите дѣлать ваши выводы. Это—только предисловіе къ тому, что я хочу вамъ рассказать. Годъ

тому назадъ... Слушайте внимательно, Алексѣй Андреевичъ. Дѣло пойдетъ теперь о подражаніи вашей перчаткѣ... Сюжетъ заимствованъ, какъ говорятъ наши передѣльватели-драматурги. Въ октябрѣ мѣсяцѣ, въ одинъ прекрасный петербургскій день, когда утромъ была метель, а вечеромъ шель проливной дождь, я выѣхалъ изъ дому на вокзалъ, чтобы отправиться въ Москву... Когда я доѣхалъ, правда, на извозчикѣ и, правда, на свѣрномъ, и подошелъ къ кассѣ,—расторопный носильщикъ, держа мои вещи въ рукахъ, заявилъ мнѣ любезно, почтительно и съ какимъ-то чрезвычайнымъ удовольствіемъ въ голосѣ и въ лицѣ: „Вы изволите въ Москву? На курьерскій нельзя-съ. Сейчасъ третій звонокъ“. — „Какъ третій!—воскликнулъ я.— Врешь ты!“ — Но въ то же мгновение я самъ услышалъ звонокъ вдали... и убѣдился, что онъ — третій... Опозданіе на поѣздъ—ощущеніе чрезвычайно странное. Вы испытывали его?

— Нѣтъ,—разсмѣялся Борщовъ.—Или не помню...

— Очень любопытное ощущеніе, если не вызываетъ озлобленія или тревоги... А если ничего важнаго отъ того не произойдетъ, оно даже чрезвычайно юмористическое. Вы ѣдете обратно домой или въ гостиницу, и всѣ, кто узнаетъ о нашемъ приключеніи, улыбаются. Хоть бы одинъ сдѣлалъ серьезное лицо, ради христіанскаго соболѣзнованія, хотя бы ради простой вѣжливости. Одинъ мой пріятель, большой Донъ-Жуанъ, сравнивалъ опозданіе на поѣздъ съ пощечиной, полученной отъ красотки, которую, —мня побѣжденной,—сунулъ поцѣловать... Въ томъ и другомъ случаѣ человекъ почему-то облизывается... Однако, я отвлекаюсь. Неумѣнье рассказывать. Итакъ, я опоздалъ, вернулся домой, не солоно хлебавши, и былъ на себя золь, какъ чортъ. Ругалъ себя за неаккуратность и ротозѣйничество. Ругалъ желѣзнодорожное управленье за аккуратность и точное исполненье предписаннаго. „Дьяволъ выдумалъ неаккуратность! Дьяволъ выдумалъ и аккуратность!“ — восклицалъ я... На другой день я пріѣхалъ на вокзалъ, какъ и слѣдовало ожидать, чуть не за часъ... И выѣхалъ... Но это путешествіе отъ Петербурга до Москвы было или стало не простымъ проѣздомъ... Я встрѣтился въ вагонѣ съ дамой... Я услужилъ ей въ Любани... Она, выходя, уронила зонтикъ на рельсы, между платформой и вагонами... Я самъ слазалъ за нимъ. Она волновалась, что я могу быть раздавленъ, если поѣздъ случайно двинется. Я, какъ истинный герой, шутилъ и говорилъ, что умереть для нея, хотя бы ради зонтика,—

особое счастье... Разумѣтся, я зналъ, что паровозъ отцѣпленъ... Она ѣхала на югъ... Но когда мы, проболтавъ ночью до четырехъ утра, разстались, чтобы спать, она пригласила меня къ себѣ, въ гостиницу „Дрезденъ“, гдѣ должна была остановиться... Я явился... Она должна была остаться въ Москвѣ сутки, но осталась... Осталась, Алексѣй Андреевичъ, недѣлю, телеграфируя мужу, что заболѣла въ дорогѣ и лежитъ въ постели. Я самъ сочинялъ всѣ депеши о болѣзни, объ ухудшеніи, потомъ—объ улучшеніи, потомъ—о выѣздѣ... Черезъ мѣсяцъ я былъ въ Одессѣ, въ которой думалъ никогда въ жизни не бывать... Теперь мы мечтаемъ о разводѣ ея. Но дѣло это страшно мудреное. Милый муженекъ—и бревно, и звѣрь вмѣстѣ. Она же, вотъ уже три года,—самое дорогое для меня существо на бѣломъ свѣтѣ... И если мы не добьемся развода мирнымъ образомъ, то придется бѣжать... хоть въ Америку, чтобы обрѣсти полное счастье... Ну-съ, вотъ и разсудите. Развѣ это хуже вашей перчатки?

— Нѣтъ,—улыбнулся Борщовъ.—Все то же.

— Извините. Вдвое удивительнѣе. Все мое существованіе висѣло на волоскѣ отъ соуса, а затѣмъ—отъ сквернаго ваньки. Но только все вышло наоборотъ, чѣмъ въ вашей жизни. Я благословляю небеса, на коихъ было написано: „Быть шлепку куска говядины въ соусъ и быть клячѣ въ извозничьей пролеткѣ для того, чтобы соусъ и кляча сдѣлали Льва Ипатова счастливымъ человѣкомъ“.

— Вѣрно. Но вашъ разговоръ начался не съ того. Вы начали, говоря, что вамъ скучно и у васъ бываютъ минуты страшной хандры. Какъ же согласовать вашу глубокую привязанность съ вашей хандрой?

— Я и самъ не знаю!—воскликнулъ Ипатовъ, нервно оживляясь.—Я страстно люблю Marie... Чуть не назвалъ ее по фамилии... Я надѣюсь, что мы все-таки добьемся развода и будемъ спокойны... А счастливы мы уже давно! Однако, изрѣдка меня беретъ тоска, будущее мнѣ представляется какимъ-то безотраднымъ... Мнѣ кто-то шепчетъ, что не стоить жить, что всякое существованіе—чепуха.

— Загадка, а не чепуха, вторично докладываю вамъ,—вздохнулъ Борщовъ.

— Однако, загадка, которую нельзя разгадать. Слѣдовательно, извините,—вы злоупотребляете терминомъ.

Борщовъ помолчалъ, и затѣмъ нѣсколько докторально заговорилъ:

— Даровитый ученый назвалъ жизнь борьбой за существованіе. Это вѣрно. Но это относить онъ и къ людямъ, и къ звѣрямъ, и даже къ растеніямъ. Будемъ говорить только о людяхъ, человѣкахъ... Я смотрю на жизнь по-своему... Человѣческое существованіе слагается. Это, предположимъ, цѣпочка со звеньями большими и малыми... Ежедневно, даже ежеминутно, мы прибавляемъ къ этой цѣпи новое звено... Оно вырабатывается тремя дѣтелями или, какъ стали недавно выражаться, факторами... Первый факторъ—я самъ—и самый слабый; второй факторъ, много сильнѣйшій—это вы или они... то-есть, люди, человѣки, меня окружающіе. Третій факторъ—самый могущественный, предъ которыми и я, и они, мало что можемъ. Имя ему—случай. И вотъ я, они, плюсь случай—дѣлаемъ звеня этой цѣпи или мою жизнь. И какъ бы человѣкъ ни былъ энергиченъ, даровитъ, силенъ духомъ, онъ все-таки чуть не игрушка у случая. Двѣ дамы подъ густыми вуалями—госпожа удача и госпожа незадача, на которыхъ мы постоянно пеняемъ,—ни въ чемъ не бываютъ виновны. Онѣ тоже въ услуженъ у случая. А вотъ онъ, „иксъ“, таинственный незнакомецъ, невѣдомый красавецъ и уродъ—владыка міра и ужъ во всякомъ случаѣ повелитель на нашей планетѣ.

— Но во всякомъ случаѣ случай поступаетъ случайно!—люшутиль Ипатовъ.—Безъ умысла! И за то спасибо... Вы назвали себя вашимъ самодѣльнымъ словомъ: суммисть. Честь имѣю вамъ заявить, что я—прозелить. Я обращенъ вами въ суммизмъ... Ну, а теперь скажу... поздній часъ, дальнее разстояніе и усталость образуютъ сумму—желаніе васъ покинуть... До свиданія.

Черезъ два дня послѣ Ипатова, явился къ Борщову его хорошій знакомый, чтобы подтвердить ихъ бесѣду объ „иксѣ“. Это былъ предводитель дворянства губерніи, гдѣ находилось главнѣйшее имѣніе Борщова. Послѣ всякихъ новостей изъ края, предводитель вдругъ вспомнилъ.

— А Верзилинъ-то нашъ. А?.. Слышали?

— Что?—оторопѣлъ Борщовъ, будто предчувствуя худую вѣсть.

— Да вѣдь онъ—скоро мѣсяцъ, какъ приказалъ долго жить.

— Какимъ образомъ? Что такое?—вскрикнулъ Борщовъ.

— Утонулъ.

— Какъ утонулъ?! Купался?

— Богъ съ вами! Какое же купанье теперя! А преглупое приключеніе. Выѣхалъ онъ изъ своего имѣнія въ сильную оттепель и переѣзжалъ чрезъ рѣчонку совсѣмъ дрянную, которую лѣтомъ куры вбродъ переходятъ... Проломился ледъ... Лошади съ санями выскочили, и кучеръ только покупался, а Верзилина вышибло изъ саней—и, должно быть, сильно—и подь льдину!.. Какъ? Что? Невѣдомо и понять нельзя. Кучеръ объясняетъ все нечистой силой,—настолько мудро было, по его мнѣнію, утонуть. Но, однако, такъ ли, саякъ ли, а вотъ... царство небесное...

Борщовъ перекрестился и печально задумался.

Чрезъ нѣсколько дней онъ былъ, однако, пораженъ подробностями о смерти друга. Онъ получилъ письмо отъ вдовы Верзилиной, въ которомъ она сообщала ему о несчастномъ случаѣ съ мужемъ.

Одна мелочь, упоминаемая ею, для нея самой, очевидно, не имѣла никакого значенія, но для Борщова получила огромный и тяжелый смыслъ. Онъ узналъ, по какой причинѣ погибъ Верзилинъ. Онъ выѣхалъ изъ имѣнія въ городъ въ полную распутицу, ради неотложной уплаты въ банкъ. Ѣхать было весьма опасно, а поручить дѣло некому, ибо наличныхъ денегъ дома не оказывалось, и приходилось прежде занять ихъ въ городѣ, у знакомаго купца.

Борщовъ вспомнилъ письмо друга и ахнулъ. Сразу горькое чувство сказалося на душѣ.

— Ну, а это что же такое? — грустно заговорилъ онъ съ собой.—Это уже прямо... Не случай. Нѣтъ. Я его убилъ. Утопилъ. Я, и я одинъ. Одолжи я денегъ во-время,—онъ не поѣхалъ бы въ городъ, а послалъ бы ихъ.

А отчего я не далъ ихъ? Не помню... Кажется, потому, что тогда пришло и письмо сына объ его исторіи. Оно обозлило меня. Да. Такъ. И вотъ сынъ виноватъ, что я... Нѣтъ. Я виноватъ—нечего ссылаться. Не сынъ, и даже не иксъ, а я одинъ!

И онъ печально поникъ головой.

Наступали рождественскіе праздники. Оживленіе на московскихъ улицахъ усилилось. Увеличилось количество праздныхъ людей, но увеличилась работа и у занятыхъ людей. У свѣтской молодой дѣвушки, равно любившей и мазурку, и политическую

экономію, дѣла было по горло. Обыкновенно предъ праздниками Рождества и Пасхи, Маня объѣзжала разныхъ своихъ бѣдныхъ, снабжая ихъ лично и деньгами, и платьемъ, и провизіей. Приходилось дѣлать большіе концы.

Въ сочельникъ и Рождество она наконецъ отдохнула, побывавъ только въ церкви. Затѣмъ началось другое мыканье— визиты. Зато по вечерамъ начиналась усиленная, какъ она называла, „полотерная работа“, которую она любила однако.

И однажды подъ Новый годъ, поѣхавъ на большой балъ, Маня уже вернулась домой около двухъ часовъ ночи. Борщовъ всегда дожидался ея возвращенія и говорилъ съ нею, но на особый ладъ. Онъ требовалъ, чтобы она подходила къ двери его спальни и стучалась. Онъ просыпался, давалъ ей нѣсколько незначительныхъ вопросовъ, а затѣмъ отпускалъ словами:

— Ну, Христось съ тобой. Иди спать...

И онъ засыпалъ спокойнѣе и крѣпче, зная, что дочь уже дома.

На этотъ разъ Маня, вернувшись съ бала и постучавшись, на его вопросъ: „Что?“—отвѣчала страннымъ голосомъ:

— Новость только одна, папа. Я почти не танцевала и уѣхала до котильона. У меня страшно болитъ голова.

— Отчего? Что такое? Угорѣла?

— Вѣроятно. Хотя негдѣ было.

— Понюхай нашатырю... Да засыпай скорѣе... — сказалъ онъ.

— Да... До свиданья.

— До свиданья. Христось съ тобой!

И Борщовъ, поворчавъ себѣ подъ носъ о томъ, что русская прислуга „отчаянная“, что истопника Кузьму, вѣчно закрывающаго печи вьюшками раньше времени, надо прогнать,—заснулъ...

На утро, поднявшись какъ всегда, довольно рано и напившись чаю, онъ справился о дочери, и узналъ, что она еще не вставала. Прошелъ еще часъ, и младшая дочь Додя явилась къ отцу со словами:

— Папа, прикажите Манѣ не вставать. Она одѣвается, а у нея такое нехорошее лицо, что ей лучше остаться въ постели.

— Что такое?

— Голова болитъ... Еще вчера, говорить, болѣла... И всю ночь. А теперь, говорить, еще хуже.

Борщовъ тотчасъ направился къ дочери и, найдя ее почти одѣтой, сразу встревожился, при видѣ лица и въ особенности взгляда красивыхъ глазъ Мани. Онъ тронулъ рукой ее голову и воскликнулъ:

— Да у тебя жаръ. И сильный жаръ...

— Да. И такъ болитъ, такъ болитъ... голова, — глухо отвѣтила дѣвушка почти не своимъ голосомъ.

Борщовъ засуетился.

— Въ постель! Въ постель! И сейчасъ послать за Петромъ Иванычемъ. Это навѣрное простуда, и сильная...

Черезъ часъ, когда Мани лежала въ постели молча и съ закрытыми глазами, хотя не спала, а тихо охала по временамъ, явился Петръ Иванычъ, то-есть домашній докторъ и даже другъ. Онъ тоже заявилъ, что у больной сильнѣйшій жаръ, а затѣмъ и пульсъ, конечно, соответственный, совсѣмъ нехорошій, и что надо класть ледъ на голову.

— Завтра, надо надѣяться, картина болѣзни будетъ яснѣе. А теперь ничего еще сказать нельзя, — объяснилъ онъ. — Однако, я вечеромъ заѣду все-таки.

Вечеромъ Петръ Иванычъ явился вновь и могъ говорить только съ нянюшкой и съ Додей, не отходившими отъ больной ни на минуту, такъ какъ сама она была въ полу-бреду, и отвѣтивъ дѣльно на одинъ вопросъ, на другой отвѣчала безсмыслицу...

На вопросъ, стучитъ ли у нея въ головѣ, она отвѣчала:

— Красная... Все бѣжить... Бѣжить...

Петръ Иванычъ струсиль. Но струсивши, онъ окончательно не зналъ, что дѣлать.

„Одно спасенье... антипиринъ или фенацетинъ и пожалуй это... Ахъ, какъ его... Вчера говорилъ профессоръ... Новое. Совсѣмъ новое“...

Прописавъ три рецепта и наказавъ класть побольше и почаще ледъ на голову, докторъ пояснилъ присутствовавшему Борщову, что болѣзнь молодой дѣвушки не выясняется, сложна. Начало воспаленія, по всей вѣроятности, и начало бурное... Хуже не будетъ. Надо ждать завтра „разрѣшенія“, и во всякомъ случаѣ „картина выяснится“.

— Но все таки я буду просить васъ сдѣлать консилиумъ... Я одинъ на себя отвѣтственность брать не хочу! — заявилъ онъ.

— Разумѣется! — воскликнулъ Борщовъ.

Консилиумъ двухъ приглашенныхъ врачей — одного какъ специалиста по внутреннимъ болѣзнямъ, другого какъ знаменитость—долженъ быть состояться днемъ или въ началѣ вечера. Но знаменитость опоздала и явилась уже около полуночи.

Больная была въ полномъ безпамятствѣ. Доктора ее освидѣтельствовали на всѣ лады, затѣмъ ушли въ гостиную на совѣщаніе и, къ ихъ собственному неприятному сюрпризу, оказались трехъ различныхъ мнѣній. Разумѣется, докторъ домашній и профессоръ присоединились тотчасъ къ мнѣнію знаменитости, которая заявила, что у молодой дѣвушки не какая-либо простуда, а инфекціонная болѣзнь. Что?—покажетъ завтрашній день. А пока знаменитость одобрила все предписанное домашнимъ врачомъ.

И доктора, перемолвившись о новомъ назначеніи новаго декана факультета, поднялись. Знаменитость общала пріѣхать снова на другое утро и безъ опозданія, потому что казусъ серьезень, и прибавила коллегамъ, что не слѣдъ врачамъ подражать русскимъ желѣзнодорожнымъ поѣздамъ. Коллеги подобострастными улыбками отвѣчали на остроту.

Уѣзжая и получивъ отъ Борщова въ руку очень большой кредитный билетъ, знаменитость сунула его въ карманъ палатонъ, гдѣ было уже нѣсколько его предшественниковъ.

Видя совершенно растерянное лицо и вообще состояніе духа потерявшагося отца, знаменитость благосклонно замѣтила:

— Не надо отчаяваться... Бурно, очень бурно... Натискъ... Вотъ какъ въ природѣ—ураганъ. Но не надо пугаться. Прямой опасности теперъ предвидѣть не слѣдуетъ... Обойдется... Молодость, силы... Натура возьметъ свое.

Но Борщовъ, не будучи медикомъ, но будучи роднымъ отцомъ, зналъ и понималъ въ данномъ случаѣ больше знаменитости. Онъ тоже не зналъ, что у дочери, но уже зналъ, чувствовалъ, что она безнадежна. Почему?! Предчувствіе? Нѣтъ. А простое твердое убѣжденіе. Ему, родному отцу, что-то въ немъ самомъ сказало ясно, громко и рѣшительно:

— Маня умираетъ!

На утро, когда знаменитость явилась, Борщовъ, неспавшій ночь, а просидѣвшій около больной, которая бредила и металась въ постели безъ конца, уже не обратилъ на посѣщеніе врача никакого вниманія.

Онъ былъ раздавленъ и ни о чемъ не думалъ. Что-то сильно мучило его. Что-то сказывалось будто легкой болью въ

немъ самомъ. И онъ не сознавалъ, что это былъ просто голодъ, такъ какъ онъ третьи сутки не бралъ почти ничего въ ротъ, а на всѣ напоминанія младшей дочери отвѣчалъ разсѣянно:

— Да... да... хорошо. Да.

Знаменитость съ помощью Петра Иваныча снова осмотрѣла больную. И оба медика, простой, маленькій, и большой, прославленный, даже пресловутый—сразу опредѣлили болѣзнь.

— Скарлатина. Но... сильнѣйше застуженная. Случай болѣе чѣмъ серьезный.

Борщову врачи не сказали ничего. Самъ онъ у нихъ ничего не спросилъ. Это было и ненужно. Онъ уже давно зналъ главное—чего ждать.

Среди дня Маня вдругъ пришла въ себя и слабо заговорила, позвала сестру, захотѣла видѣть отца и брата.

— Мнѣ очень, очень нехорошо. Я очень больна... Спала, а не лучше... Такъ нельзя. Пошлите за докторомъ.

Борщовъ не двинулся, промолчалъ и опустилъ глаза. Додя заплакала. Братъ отошелъ, сдерживаясь... Больная молча долго смотрѣла на отца и сестру яркими глазами, будто снова собираясь сказать имъ что-то, но вдругъ прошептала:

— Ахъ, зачѣмъ же это... Еще хуже... Оторвалось... Теперь будетъ еще...

Черезъ мгновенье она жалобно вскрикнула, взмахнула руками, потомъ уронила ихъ вдоль туловища—и стихла со всѣмъ...

На панихидахъ, а затѣмъ на похоронахъ, было много толковъ о томъ, что у одной бѣдной мѣщанки, которую предъ праздниками посѣтила Маня Борщова, всѣ дѣти находились въ скарлатинѣ.

— Voila!—грозно заявила княгиня Зеть.—Вотъ вамъ ваши благотворительности!

Додя не была на похоронахъ сестры, а лежала въ постели, тоже въ жару и въ бреду. Убитый горемъ Борщовъ безсознательно относился ко всему и ко всѣмъ. Однако онъ зналъ и понималъ, что младшая дочь больна „такъ же“, но не беспокоился. Онъ какъ будто зналъ лучше врачей, что Додя будетъ жива.

Про смерть всѣмъ милой двадцатилѣтней красавицы-дѣвушки одинъ большой эгоистъ говорилъ:

— Знаете что? Даже вчужѣ страшно... этакое.

V.

Шель 1878-ой годъ... Была зима.

Въ московскомъ генераль-губернаторскомъ домѣ было свѣтло и шумно. Окна сіяли на улицу, а площадь была покрыта и затѣсна рядами каретъ. У князя Долгорукова былъ балъ, и на немъ—вся Москва. На этотъ разъ съѣхались почти всѣ приглашенные. Даже нѣкоторые старые люди, переставшіе ѣздить на балы, и тѣ не полѣнились.

Для всякаго москвича оказался на этомъ балѣ своего рода магнитъ. Дни за три передъ тѣмъ, въ Москвѣ появился и долженъ былъ присутствовать на этомъ балѣ уроженецъ Москвы, хорошо всѣмъ извѣстный съ дѣтства, теперь полковникъ и флигель-адъютантъ.

Если молодой полковникъ сталъ магнитомъ для москвичей, то потому, что былъ героемъ только-что окончившейся турецкой войны. Онъ былъ почти знаменитостью, благодаря своимъ подвигамъ при взятіи Плевны, а затѣмъ, послѣ перехода Балканъ, въ корпусѣ Радецкого первый двинулся въ Адрианополь и—какъ прибавляли шутники—„взялъ Константинополь и сейчасъ же отдалъ его обратно султану, извиняясь и прося ничего не сказывать Бисмарку“.

Въ Россіи, а въ особенности въ Москвѣ, про него не только ходили анекдоты въ доказательство его отваги и даже дерзости въ бояхъ, но слагались уже легенды. Ему приписывались такія дѣянія, которыхъ онъ не совершалъ и которыя заимствовали и передѣлывали изъ эпохи отечественной войны.

И вотъ теперь симпатичный, красивый тридцатилѣтній полковникъ, которому прочили въ эту же зиму стать генераломъ, котораго москвичи видѣли и ребенкомъ, и юношей, сталъ, конечно, для всѣхъ притягательной силой.

Еще до бала многіе старики и старухи, никогда его не видавшіе, такъ какъ поселились въ Москвѣ позднѣе, увѣряли, что когда онъ родился, они его на руки брали.

Этотъ герой былъ князь Юрій Задонскій.

Около полуночи, когда балъ уже былъ въ полномъ разгарѣ, къ дому подѣхалъ и медленно поднялся по большой лѣстницѣ старый, но довольно бодрый человекъ съ сильной сѣдиной въ головѣ и въ бородѣ. Въ этотъ вечеръ ему немного нездоровилось, и онъ, отпустивъ дочь, самъ не собирался ѣхать

на балъ, но въ послѣднюю минуту, уже поздно, рѣшился, надѣлъ фракъ съ двумя звѣздами и двинулся.

— Нельзя! Надо быть непременно!— рѣшилъ онъ.— Надо его поглядѣть. Кому же и поглядѣть, какъ не мнѣ? Кому въ Москвѣ можетъ онъ быть столь же интересенъ, какъ мнѣ? Повернись моя судьба иначе изъ-за пустяка, этотъ герой, благодаря которому выиграны два серьезныхъ сраженія, личность котораго отчасти повліяла на успѣхъ всей кампаніи... онъ, вѣрно можно сказать, никогда бы и на свѣтъ не родился.

Разсуждавшій такъ былъ Алексѣй Андреевичъ Борщовъ.

Найдя хозяйина-князя въ первой комнатѣ между залой и гостиной, именуемойся балконной комнатою, Борщовъ поздоровался съ нимъ, перемолвился и, войдя въ залъ, остановился у стѣны близъ колоннъ—посмотрѣть на танцующихъ. Онъ любилъ этотъ залъ, гдѣ, въ качествѣ москвича, когда-то еще очень молодымъ тоже много танцевалъ. Онъ даже хорошо помнилъ на этомъ балѣ могучую и рослую фигуру императора Николая I, ибо въ честь его именно тогдашній московскій сатрапъ, графъ Закревскій, давалъ блестящій балъ, на который явились гости даже изъ ближайшихъ въ Москвѣ губернскихъ городовъ, сдѣлавъ по четыреста верстъ на лошадахъ, ради трехъ часовъ... Старикъ подъ семьдесятъ лѣтъ сталъ невольно вызывать образы и дѣла давно минувшаго, и, конечно, вспомнилъ и о тѣхъ многихъ, кто здѣсь кружился и смѣялся, а теперь уже давно и даже очень давно смолкъ и успокоился на вѣки.

Сирота и воспитанница у чужихъ, Анюта, ставшая его женой, веселилась здѣсь когда-то... А затѣмъ и его бѣдная и милая Маня тоже блистала здѣсь, не чуя, что погибнетъ жертвой своего добраго сердца и во цвѣтъ лѣтъ.

Второй сынъ его Митя, отчаянный вальсеръ, любимый кавалеръ молодыхъ дѣвушекъ, видный женихъ, симпатичнѣйшій малый, какіе когда-либо рождаются на свѣтъ, былъ тоже теперь въ лучшемъ мірѣ, подточенный унаслѣдованною отъ матери злою чахоткою. Зато его старшій сынъ Андрей былъ живъ, женатъ и взялъ очень большое состояніе за петербургской княжной. Но теперь, промотавъ все состояніе жены и все то, что получилъ при женитьбѣ отъ отца, пребывалъ невѣдомо гдѣ. Изрѣдка соотечественники видѣли его въ Монте-Карло, но въ ужасномъ, какъ говорили они, видѣ, худого, сумрачнаго, почти плохо одѣтаго, даже съ какой-то сомнительной вѣшностью.

Жена его, банально и даже вульгарно красивая женщина, пребывала въ Парижѣ, была очень извѣстна въ полусвѣтѣ, титуловалась всѣми знакомыми, да и сама себя называла, „*comtesse de Borstchoff*“. Шеголяя самыми замѣчательными нарядами, обладая массой брилліантовъ, она тратила безумныя деньги, буквально швыряла ими, субсидируя даже одну бульварную газету, воспѣвавшую ея приемы и туалеты. Деньги эти были происхожденіемъ изъ Чикаго. Обладатель и поставщикъ долларовъ былъ человекъ-автоматъ, отчасти типичный янки, крайне практичный и замѣчательно глуповатый во всемъ, что было не предпріятіями и наживой.

Въ жизни Борщова смерть жены, дочери и сына и позорное существованіе старшаго, даже извѣстность въ Парижѣ молодой женщины, носившей его имя, были, конечно, тяжелыми испытаніями. Оставалась въ утѣшеніе одна младшая дочь, которая была съ нимъ и теперь выѣзжала въ свѣтъ уже второй годъ.

Когда-то веселый и жизнерадостный, Борщовъ теперь былъ человекъмъ съ унылымъ взглядомъ, съ лицомъ зачастую черезчуръ задумчивымъ. Оживлялся онъ только оставаясь наединѣ и бесѣдуя съ дочерью, которую обожалъ. Теперь всѣ его мысли да и занятія сосредоточивались на томъ, чтобы у любимицы Доди составилось крупное состояніе.

И дѣйствительно, теперь у молодой Борщовой было очень большое приданое. Она была первой невѣстой Москвы, а вмѣстѣ съ тѣмъ, пожалуй, и самой красивой дѣвушкой своей среды, напоминавшей всѣмъ красавицу Маню.

За два года, конечно, у Доди Борщовой было уже пять-шесть претендентовъ на руку, въ числѣ коихъ два кирасира изъ Петербурга.

Невскіе гвардейцы, по традиціи, испоконъ вѣка и до нашихъ дней, зачастую не долго прослуживъ въ гвардіи и быстро ухнувъ собственное, иногда очень большое, состояніе, являются въ Москву за приданницами, чтобы снова навести на свою особу и свое общественное положеніе нѣкоторый лакъ или, какъ говорятъ французы, „*redorer le blason*“.

Борщовъ стоялъ въ залѣ у стѣны близъ колоннъ и, задумавшись, никуда не смотрѣлъ, никого не видѣлъ и не узнавалъ. *Grand rond* послѣ кадрили и громкій голосъ дирижера, князя У—ва, вывелъ его изъ задумчивости, и, разумѣется, онъ сталъ искать глазами свою дочь, которая пріѣхала

на балъ на цѣлый часъ раньше его, со старушкой, дальней родственницей, исправлявшей должность ея шарегоп, и которую, изъ приличія, Додя называла „ma tante“.

Когда мимо него задвигалась и шла цѣпь кавалеровъ и дамъ, онъ наконецъ увидалъ дочь, а около нея—молодцоватаго, красиваго военнаго со свѣтлымъ, улыбающимся, чрезвычайно симпатичнымъ лицомъ.

Новая фигура въ Москвѣ, что-то знакомое въ чертахъ лица, а главное, конечно, мундиръ флигель-адъютанта заставили Борщова тотчасъ же догадаться.

— Онъ!..—вслухъ произнесъ Борщовъ.—Конечно, Задонскій! Какъ люди мѣняются!

И, начавъ вспоминать, Борщовъ припомнилъ, что видѣлъ мальчика на похоронахъ князя, давно тому назадъ. Мальчикъ былъ бѣлокурый, съ круглымъ лицомъ и казался глуповатымъ, а глаза были странные. Впрочемъ, они были тогда красные отъ слезъ, а лицо было вѣрнѣ растерянно-испуганнымъ, чѣмъ просто глупымъ.

Присмотрѣвшись, Борщовъ вполне убѣдился, что съ дочерью танцуетъ именно тотъ герой войны, изъ-за котораго многіе пріѣхали на балъ; но такъ какъ въ залѣ оказалось еще два флигель-адъютанта, то онъ спросилъ у ближайшихъ, и узналъ, что угадалъ вѣрно.

— А вѣдь и впрямь молодецъ!—сказалъ кто-то. — Вѣдь, право, видно, что храбрецъ. Посмотришь на его два Георгія, а потомъ на лицо, и сразу поймешь, что кресты на мѣстѣ. Не зря попали на грудь. Мнѣ сейчасъ рассказывала про него сама княгиня, что слышъ ея даже...

— Княгиня?! Его мать?! — вскрикнулъ Борщовъ. — Развѣ она въ Москвѣ?

— Не только въ Москвѣ, а даже и здѣсь, въ гостиной. Сейчасъ пріѣхала...

Борщовъ встрепенулся, странно перевелъ дыханіе, такъ какъ въ груди что-то прошло волной, и двинулся изъ залы.

„Увидѣться вдругъ... сейчасъ?!.. Послѣ столькихъ лѣтъ... Послѣ всего, что было!..—думалось ему.—Боже мой, какъ время летитъ! И все-таки и теперь скажу: какъ все это было странно!.. И совершенно просто, и совершенно непросто... А какія послѣдствія—у меня! вмѣсто цѣлой семьи—одна дочь!..“

Борщовъ вошелъ въ большую гостиную, гдѣ было до полусотни дамъ и мужчинъ, все болѣе пожилыхъ: генералы, статскіе со звѣздами и дамы, извѣстныя въ городѣ по своему положенію или по своей благотворительской дѣятельности.

Самъ князь Долгоруковъ бродилъ здѣсь и, по своему обычаю, поочередно бесѣдовалъ съ гостями, чтобы каждому сказать что-нибудь пріятное, часто сердечное...

Борщовъ медленно и не спѣша окинулъ взоромъ всѣхъ разбившихся на три большія группы и сталъ искать глазами ту, которая когда-то давно называлась Надей Ипатовой. Тутъ были ему знакомыя дамы, даже близко знакомыя, были незнакомыя лично, но изрѣдка встрѣчаемыя на особенно большихъ балахъ и официальныхъ обѣдахъ; были три-четыре дамы, изъ новыхъ, совсѣмъ ему незнакомыя, такъ какъ онъ все рѣже появлялся въ свѣтѣ. Но княгини Задонской между ними не оказалось.

Борщовъ прошелъ въ дальнюю маленькую гостиную, но и въ ней, среди четырехъ дамъ, двухъ генераловъ и двухъ извѣстныхъ въ Москвѣ почетныхъ опекуновъ, онъ не нашелъ княгини. Поздоровавшись съ ближайшими, перемолвившись, онъ освободился и быстро, снова пройдя гостиную, рѣшилъ итти въ комнату, гдѣ играли въ карты.

Онъ шелъ уже быстрѣе, озабоченный, нетерпѣливый, и въ дверяхъ чуть не столкнулся со старушкой-дамой, которая тихо и слегка согнувшись входила въ гостиную. Онъ извинился, посторонился и, пропуская ее мимо себя, подумалъ:

„Тоже изъ новыхъ москвичекъ! Но какъ будто когда-то гдѣ-то видѣлъ“...

Въ игровой комнатѣ оказались одни мужчины.

„Не сочинилъ ли онъ? — подумалось Борщову. — Можетъ быть, княгини и въ Москвѣ нѣтъ, не только что здѣсь на балѣ“.

И онъ уже медленно, досадливо снова двинулся въ залу, гдѣ начался вальсъ. Онъ хотѣлъ найти дочь и спросить ее. Она, танцовавшая съ Задонскимъ, должна была лучше другихъ знать, въ Москвѣ ли княгиня.

„Во всякомъ случаѣ скажу Додѣ, — подумалъ Борщовъ, — чтобы она меня съ нимъ познакомила. Интересно его поближе поглядѣть. Ему и въ Парижѣ сдѣлали цѣлую овацію и кричали: „vive la Russie“! И, повисивъ въ чинѣ, кричали: „vive le général“!

Но едва Борщовъ вошелъ въ комнату, гдѣ былъ бальный буфетъ, онъ увидѣлъ князя Задонскаго, который велъ подъ

руку его дочь изъ залы въ гостиную. Онъ хотѣлъ догнать, окликнуть дочь, но молодые люди, весело болтая и смѣясь, быстро прошли въ гостиную.

Когда онъ, слѣдуя за ними, очутился въ дверяхъ, то увидѣлъ, что князь подвелъ его дочь къ сидящей старушкѣ, очевидно, представляя ее. Додя очень низко присѣла, старушка чопорно протянула ей руку, но затѣмъ, переспросивъ что-то у сына, будто вдругъ встрепенулась, сразу встала съ мѣста и, цѣлуя, обняла молодую дѣвушку.

Борщовъ, поглядѣвъ пристальнѣе, узналъ ту самую старушку, которую за нѣсколько мгновений назадъ чуть не толкнулъ въ дверяхъ.

„Неужели это...?!—мысленно ахнулъ онъ.—Неужели это Надя Ипатова?! Нѣтъ, конечно, нѣтъ! Та давно перестала существовать и осталась въ моемъ воображеніи. Это—княгиня Задонская, которой немного болѣе пятидесяти лѣтъ. А на видъ чуть не семьдесятъ. А горя не было, какъ у меня. Была только потеря мужа, человѣка, за котораго она пошла замужъ противъ воли, почти насильно, обливаясь слезами. Да, она плакала украдкой и подъ вѣнцомъ. Но, спустя нѣсколько лѣтъ, отчаянно рыдала на всю церковь у его гроба“.

Мысли эти, какъ бываетъ, меньше чѣмъ въ одну секунду промелькнули въ головѣ Борщова. вмѣстѣ съ тѣмъ, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ впередъ, онъ былъ уже около дочери, старушки и офицера. Теперь онъ уже вѣрно зналъ, что передъ нимъ дѣйствительно княгиня Задонская, но у этой княгини только глаза принадлежатъ Надѣ Ипатовой.

Онъ приблизился, поклонился. Княгиня сразу узнала его, или догадалась, благодаря тому, что молодая дѣвушка, взявъ этого старика фамиллярно за рукавъ, вымолвила:

— Ну, а вотъ, княгиня... Узнаете или нѣтъ?

— Конечно!—воскликнула она.—Мы были такіе друзья, что мнѣ грѣшно было бы не признать тотчасъ Алексѣя Андреевича.

Княгиня, очевидно, не знала, что, за нѣсколько мгновений предъ тѣмъ, столкнулась съ Борщовымъ въ дверяхъ, причѣмъ они одинаково не признали другъ друга. Она тотчасъ же представила Борщову сына. Обмѣнявшись нѣсколькими фразами со старикомъ, Задонскій снова подалъ руку молодой дѣвушкѣ и повелъ ее въ танцевальный залъ.

Борщовъ сѣлъ около княгини, смотрѣлъ на нее, и какое-то чрезвычайно хорошее чувство ярко сказывалось на душѣ. Чув-

ство было такое, какія ощущаются очень рѣдко. Оно было именно хорошее, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ было положительно грустное. Почему—онъ самъ не зналъ. Сожалѣніе о прошломъ или иное что—разобраться было мудрено.

— Очень я перемѣнилась?—спросила княгиня.

— Да-а!—протянулъ Борщовъ. — Если хотите, и да, и нѣтъ. Вы перемѣнились страшно для тѣхъ, кто зналъ васъ Надей Ипатовой и съ той поры почти не видѣлъ васъ, а для другихъ, быть можетъ, вы и не очень перемѣнились.

— Нѣтъ, Алексѣй Андреевичъ, я знаю, что я гораздо старше на видъ, чѣмъ могла бы быть. Вѣдь мнѣ можно дать семьдесятъ. Я стала опускаться съ того дня, который сдѣлался въ моей жизни Рубикономъ. До него все было свѣтло, послѣ него—сумерки. И только вотъ за послѣдніе года, благодаря сыну, я еще немножко бодрѣ себя чувствую, изрѣдка опять стараюсь смотрѣть на Божій міръ повеселѣе. И одинъ сынъ меня еще удерживаетъ на этомъ свѣтѣ.

-- Да, вы счастливы, княгиня! Вашъ сынъ—наша слава.

— Да, да! Но это что же? Это все пустое... Мишура! И потому эта слава слишкомъ дорого далась мнѣ.

Борщовъ вопросительно, даже нѣсколько удивленно посмотрѣлъ княгинѣ въ лицо. Она поняла и продолжала:

— Подумайте, какіе дни переживала я во все время турецкой войны!

— Ахъ, да, конечно... Понимаю!

— За это время я, быть можетъ, опять сильно постарѣла. Каждый день, каждый часъ ожидать письма или ожидать депеши... Ужасные дни! Читать газеты, извѣстія съ войны я любила, а вмѣстѣ съ тѣмъ, читая что-либо о новомъ подвигѣ моего сына, я вдругъ заливалась слезами... Вы думаете, слезами радости? Нѣтъ! Мнѣ представлялось, что черезъ день-два, черезъ недѣлю, я въ той же газетѣ прочту нѣчто ужасное о немъ, или увижу его имя въ черной рамкѣ... И я молила Бога, что если ему суждено быть убитымъ, то чтобы мнѣ хоть бы за день впередъ умереть. Да, это было ужасное время! Какъ теперь помню выраженіе въ газетахъ, повторявшееся не разъ. Говоря о сынѣ, прибавляли: „причемъ князь Задонскій уцѣлѣлъ будто чудомъ“. Это значило: „былъ на волосъ отъ смерти“. Эти слова были для меня острымъ ножомъ. Я будто чувствовала въ тѣлѣ рану, я чувствовала, какъ кровь лилась...

И послѣ чтенія чего-либо, что приводило въ восторгъ всѣхъ моихъ друзей, я только плакала.

— Зато теперь, княгиня... теперь!..

— Да, теперь я счастлива! Теперь у меня лишь одна мечта—поскорѣе женить его, убѣдить выйти въ отставку, а самой ужъ, конечно, собраться туда, гдѣ меня ждетъ уже давно мой мужъ.

Борщовъ присмотрѣлся къ лицу Задонской и невольно вздохнулъ:

„Да,—подумалось ему,—вотъ я не жалѣю мою жену, какъ она жалѣетъ его. А я женился по собственной волѣ“.

Наступило краткое молчаніе.

— Да, вамъ тоже Богъ послалъ испытаніе! — заговорила княгиня. — Я часто вспоминала о васъ, сочувствовала вамъ. Вѣдь когда-то мы были большіе друзья.

— Да, княгиня, большіе... Но все-таки друзья... *ce n'est pas le mot!*

Борщовъ уныло улынулся и продолжалъ:

— Я на этотъ счетъ удивительный или исключительный человекъ... И теперь еще, послѣ столькихъ лѣтъ существованія, тѣ минуты, тотъ разговоръ, который происходилъ между нами у балконной двери вашей гостиной, я такъ живо помню, какъ еслибы все произошло годъ назадъ. И не только помню,—я и чувствую все это такъ же ясно и такъ же глубоко... Простите. Теперь объ этомъ говорить прямо—можно.

— Нѣтъ, Алексѣй Андреевичъ! — тихо отозвалась княгиня.—Нѣтъ, не надо говорить, такъ какъ теперь не знаешь и не можешь рѣшить, какія это были минуты: хорошія или...

— Дурныя?—быстро вымолвилъ Борщовъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ—дурныя, а... ненужныя! Да, быть можетъ, ненужныя... Я всегда старалась не думать объ этомъ времени. И чѣмъ дальше, то больше и яснѣе казалось мнѣ, что это было какимъ-то случайнымъ эпизодомъ въ моей жизни, и при этомъ,—говорю вамъ прямо,—эпизодомъ ненужнымъ. Но оставимъ это! Скажите лучше, какъ вы переносите ваше теперешнее... вашъ крестъ?..

— Тяжело, княгиня! Ужасно!

— Вѣрю! Вѣрю... Надо молиться и нести его безропотно...

— Да, ужасно! Мое положеніе то же, какимъ было ваше во время войны, но гораздо худшее. Вы боялись за жизнь вашего сына, а я ежедневно боюсь, что мое имя прогремѣть

на всю Россію и Европу съ тѣмъ же гуломъ, какъ и имя вашего сына. Но совершенно иначе...

Я васъ не понимаю!—удивилась Задонская. — Я спросила васъ о кончинѣ вашей жены, ужасной смерти дочери и наконецъ...

Борщовъ слегка смутился и послѣ мгновеннаго молчанія вымолвилъ:

— Да, да... Огромное горе! Я не такъ понялъ! Я думалъ, вы говорите про моего сына Андрея.

Задонская хотѣла что-то воскликнуть, но удержалась и выговорила тише:

— Да, я слыхала... Но все-таки я не думала, чтобы это было уже настолько... настолько...

И она смолкла.

— Насолько ужасно!—сказалъ Борщовъ.—Да, рѣшительно ужасно! Я точно такъ же, какъ вы во время войны, боюсь газетъ. Но я не боюсь моей фамиліи среди черныхъ рамокъ. Я боюсь увидеть мое честное имя среди грязныхъ рамокъ, затоптанное! Я боюсь, со временемъ, при встрѣчѣ моихъ однофамильцевъ, читать въ глазахъ ихъ попрекъ, укоръ, такіе взгляды, которые будутъ говорить: зачѣмъ ты или твой опозорилъ насъ? Да, вотъ судьба! Гигантскія послѣдствія микроскопическихъ причинъ.

Задонская, замѣтивъ страшное волненіе Борщова, выговорила:

— Да! Ну, Богъ дастъ, все поправится! *L'enfant prodigue* вернется домой. Зато, какую судьба дала вамъ дочь! Я сейчасъ любовалась ею. Какая она красавица! И видно по лицу, что добрая, хорошая дѣвушка.

— Да, княгиня! Сто разъ — да! И она одна, повторю я ваши же слова, удерживаетъ меня на свѣтѣ, заставляетъ дорожить существованіемъ, чтобы помочь ей начать жить и не пасть случайно на... ненастоящую дорогу.

На другой же день Борщовъ и Додя отправились съ визитомъ къ Задонской, но вмѣсто того, чтобы просидѣть съ полчаса, они пробыли до полной темноты и уѣхали, когда зажигали лампы во всѣхъ комнатахъ.

Случилось это потому, что молодого Задонскаго не было дома, а княгиня настаивала подождать его возвращенія. Два

или три часа прошли почти незамѣтно, вслѣдствіе особаго оживленія и даже возбужденія всѣхъ троихъ.

Княгиня все время почти исключительно говорила съ молодой дѣвушкой, спрашивая ее подробно, какъ бы желая выпытать изъ нея все, что возможно. И тѣмъ долѣе длилась бесѣда, тѣмъ болѣе оживлялась княгиня и, наконецъ, казалось, помолодѣла на цѣлыхъ двадцать лѣтъ.

Борщовъ все чаще и чаще видѣлъ и узнавалъ въ ней прежнюю Надю. Еслибы не сѣдина въ волосахъ и не морщинки, то милое лицо ея показалось бы тѣмъ же, тогдашнимъ. Наступившія сумерки и полумракъ въ гостиной сдѣлали, наконецъ, то, что передъ Борщовымъ какъ будто была снова та же, прежняя, когда-то близкая и дорогая ему Надя.

Задонскій не вернулся, и Борщовы уѣхали, но княгиня, разставаясь съ молодой дѣвушкой, долго цѣловала ее, какъ еслибы онѣ разставались надолго. И въ этомъ обращеніи съ нею Борщову почудилось что-то. Нѣчто смутное появилось на умѣ и тотчасъ же перешло въ ясное сознание или догадку.

„Неужели это можетъ случиться? — думалось ему. — Какъ это было бы странно!...“

А затѣмъ, нѣсколько мгновеній спустя, онъ мысленно прибавилъ:

„Ничего страннаго нѣтъ... Даже какъ будто вполне законно или обязательно“.

На другой же день къ Борщовымъ среди дня явился Задонскій, просидѣлъ довольно долго и отъ имени матери пригласилъ Алексѣя Андреевича съ дочерью обѣдать, когда имъ удобнѣе, но прося не откладывать, въ виду его выѣзда изъ Москвы въ воронежскую губернію.

— Маман посылаетъ меня, — сказалъ онъ, — произвести слѣдствіе надъ управляющимъ, который насъ грабитъ, — даже самовольно и тайно цѣлый лѣсъ продалъ.

— А вы — хорошій хозяинъ? — спросилъ Борщовъ.

— Хозяинъ?! — разсмѣялся Задонскій. — Я въ этомъ понимаю столько же, сколько въ медицинѣ или въ астрономіи. Признаюсь, изъ всѣхъ командировокъ, которыя я когда-либо получалъ, эта маменькина командировка — самая мудреная. Я бы лучше согласился сдѣлать десять рекогносцировокъ въ непріятельскомъ лагерѣ, нежели ѣхать играть постыдную роль въ имѣніи.

И на удивленный взглядъ Борщова Задонскій прибавилъ:

— Конечно. Что же пріятнаго позволять себя въ шуты рядить какому-нибудь плуту управляющему? Я увѣренъ, что я картофель или просо отличу отъ хлѣба, но овесъ отъ ржи, конечно, отличить не съумѣю. Говорятъ, что овесъ ниже ржи.

Черезъ два дня, обѣдъ у Задонскихъ, за которымъ сидѣли только четверо, — мать съ сыномъ и отецъ съ дочерью, — прошелъ нѣсколько странно. Всѣ четверо понимали, что они думаютъ объ одномъ и томъ же, но другъ отъ друга скрываютъ это и стараются ни однимъ словомъ объ этомъ не обмолвиться.

Послѣ обѣда княгиня усѣлась въ уголкѣ гостиной съ Борщовымъ, а Задонскій съ Додей отправились въ сосѣднюю комнату, играть на китайскомъ билліардѣ. Но вскорѣ они бросили игру, вернулись и усѣлись въ противоположномъ углу той же гостиной.

Разговаривая съ Борщовымъ, княгиня говорила исключительно о сынѣ и о желаніи скорѣе женить его, такъ какъ онъ скучаетъ и на него нападаетъ хандра.

— Онъ не знаетъ, что съ собой дѣлать, — сказала она, смѣясь, и говоритъ, что только одно считаетъ разумнѣйшимъ — повѣситься отъ тоски.

Борщовъ, съ своей стороны, на вопросы княгини о дочери отвѣчалъ, что ея замужество — единственная его забота, но что въ Москвѣ выдать дочь замужъ очень мудрено. Молодежь раздѣляется на двѣ категоріи: на тѣхъ, за кого можно дочь выдать, но которые сами жениться не желаютъ: одни — потому, что считаютъ бракъ гнетомъ или, по крайней мѣрѣ, неудобной упряжкой въ тяжеломъ экипажѣ; другіе не могутъ жениться, такъ какъ связаны неlegalными семьями, явившимися незамѣтно, по неволѣ, будто неожиданно. И имъ, для того, чтобы завязать новый узелъ, т. е. бракъ, нужно разрубить прежній, такъ какъ развязать его невозможно.

Другая категорія жениховъ — такая, что за нихъ никакой отецъ свою дочь замужъ не отдастъ, если у нея есть приданое. Эти господа всегда женились легко, ища въ бракъ всего, кромѣ супружеской жизни, а съ тѣхъ поръ, какъ полученіе развода стало легче, они еще легче стали жениться.

Разговоръ молодыхъ людей былъ сначала того же рода. Дѣвушка объясняла и доказывала своему собесѣднику, какал пытка, чепуха, бессмыслица — такъ-называемые „выѣзды“.

— Мнѣ кажется, — говорила Додя, — что простой народъ, собираясь въ прѣзидники потолкаться у балагановъ, отдыхаетъ душой и, возвращаясь домой, все-таки приносить съ собой

что-нибудь... Мы—молодежь—отъ раута или бала ничего не ожидаемъ, а послѣ, возвратившись домой, кромѣ усталости и какого-то страннаго чувства обмана или обиды, ничего не привозимъ. Лица все тѣ же, разговоры—еще болѣе тѣ же. Кавалеры наши, по большей части, студенты, юнкера, а то и гимназисты, которые, по молодости и неопытности, еще считаютъ танцы и вечера—весельемъ... Пока. На этомъ фонѣ есть полдюжины уже самостоятельныхъ людей... Но зачѣмъ они являются на вечера—неизвѣстно никому, да, кажется, они и сами не знаютъ. Инымъ такъ скучно, что, глядя на нихъ, сама начинаешь зѣвать. Впрочемъ, есть нѣсколько человѣкъ, которые, танцую много, усердно, аккуратно на всѣхъ балахъ, имѣютъ озабоченный видъ людей ищущихъ, разслѣдующихъ, зондирующихъ и стремящихся къ единой, главной и завѣтной цѣли. Эти каждую зиму дѣлаютъ предложеніе вновь появившейся богатой невѣстѣ, аккуратно получаютъ отказъ, но не унываютъ, справедливо надѣясь въ концѣ зимы, а то на будущую зиму, все-таки достигнуть цѣли.

Задонскій много смѣялся, слушая молодую дѣвушку, такъ какъ она болтала очень наивно, но и остроумно, выражаясь иногда очень смѣшно. Затѣмъ, вслѣдствіе одного вопроса Доди, разговоръ сразу перешелъ на войну. Задонскій сразу оживился и, увлекаясь, сталъ рассказывать разные эпизоды. И затѣмъ онъ объяснилъ, что теперь, въ мирное время, жизнь его потеряла всякій смыслъ. Призваніе его на землѣ—война. Но, увы, всякій день ея не бываетъ. Ему бы слѣдовало родиться хоть въ средніе вѣка, когда постоянно бывали войны въ Европѣ. Онъ бы сейчасъ сдѣлался наемнымъ воителемъ.

Додя, вспомнивъ все, что слыхала часто о храбрости Задонскаго, который теперь самъ ни единымъ словомъ не обмолвился о самомъ себѣ, о какомъ-либо своемъ подвигѣ, вдругъ спросила:

— И вы не боитесь быть раненымъ или даже... Больше? Хуже? Я не хочу сказать это...

— О смерти, право, не думаешь!—отвѣтилъ онъ, смѣясь.—Объ этомъ можно думать въ мирное время, а на войнѣ чѣмъ большая опасность, тѣмъ меньше приходитъ она на умъ. Да и потомъ, развѣ вы не слыхали, развѣ никто не говорилъ вамъ, что я...

Задонскій разсмѣялся громко, добродушно и прибавилъ:

— Что я не могу быть раненъ, не только-что убить...

Молодая дѣвушка тотчасъ стала сумрачнѣе.

— Это не надо говорить! — произнесла она съ укоромъ. — Можно себя сглазить.

— Такъ я скажу: сухо дерево! — оживляясь, заговорилъ Задонскій. — Этакіе люди, или этакіе экземпляры, вѣдь бывали во всѣ времена. Это — заколдованные субъекты, которыхъ пуля не беретъ. Но зато существуетъ нѣчто иное. Конечно, солдатскія повѣрья. Я знаю вотъ такой анекдотъ... Еще въ николаевскія времена, въ турецкую войну, былъ какой-то храбрецъ паша, который страшно намозолилъ намъ глаза, являясь повсюду и нанося намъ большой вредъ. Несмотря на явную опасность, въ которой онъ бывалъ часто, этотъ паша никогда раненъ не былъ. Въ нашихъ рядахъ говорили, что это — колдунъ. И вотъ однажды какой-то солдатъ, уже пятидесятилѣтній, просилъ доложить своему командиру, что если будетъ случай, онъ беретъ пашу убить. Дѣйствительно, въ скоромъ времени, при новой встрѣчѣ, солдатъ этотъ на виду у товарищей прицѣлился въ пашу, гарцовавшаго на конѣ вблизи отъ нашей цѣпи, спибу съ коня, который ускакалъ, а паша остался на землѣ, убитый на мѣстѣ. Случай надѣлалъ много шума; солдатъ былъ вызванъ къ командующему генералу. У него спросили, когда онъ научился такъ мѣтко стрѣлять? Онъ отвѣчалъ, что стрѣляетъ очень плохо, а на этотъ разъ заколдованнаго пашу взялъ тоже колдовствомъ. Ружье его было заряжено не пулей, а двумя пуговицами съ мундира и, стало быть, съ російскими орлами, которыя онъ предварительно три раза купалъ въ святой крещенской водѣ. Черезъ годъ послѣ этого, тотъ же генералъ, будучи уже на Кавказѣ, встрѣтилъ случайно этого солдата, котораго тоже перевели изъ прежняго его полка въ другую часть, дѣйствующую противъ горцевъ и Шамиля. И генералъ далъ ему такое же порученіе — пристрѣлить джигита, который навелъ почти панику на нашихъ солдатъ. Унтеръ сказалъ, что постарается, но все-таки какъ Господу Богу угодно будетъ. Черезъ нѣсколько дней случилось вторично то же самое. Унтеръ, зарядивъ ружье такими же пуговицами, убилъ и джигита. Стало быть, на колдовство есть тоже колдовство. Вотъ мораль! — кончилъ Задонскій, задумчиво улыбаясь.

— А вы вѣрите въ колдовство? — вдругъ спросила Додя.

— И вѣрю, и не вѣрю... Надо условиться, что вы подъ этимъ словомъ подразумѣваете. Гипнотизмъ существовалъ, оче-

видно, и тысячу лѣтъ назадъ. А какъ его люди звали, когда во очю видѣли или встрѣчали въ жизни...

— Нѣтъ, нѣтъ. Я не про то...—воскликнула молодая дѣвушка.—Я вѣрю въ колдовство... въ настоящее...

— Не понимаю... Приведите примѣръ...

— Я вѣрю, напримѣръ, что колдовствомъ можно нарочно, а не нечаянно... сглазить.

Задонскій разсмѣялся.

— Да... Кромѣ того, мнѣ моя няня говорила всегда и теперь говорить, что она знаетъ наговоръ и приворотъ...

— Что? Что?

— Наговоръ и приворотъ... Она увѣряетъ, что если когда мнѣ кто понравится и я соберусь за него замужъ, а онъ самъ не захочетъ этого, то няня наколдуетъ, и онъ меня полюбитъ... Ей-Богу! И я вѣрю!

Задонскій пристально приглядѣлся къ красивому личику дѣвушки, чрезвычайно кроткому, ясному и наивному—и задумался.

— Знаете что...—вымолвилъ онъ чрезъ мгновеніе...—Я думаю, что вы, сами того не зная, искусиѣ вашей няни.

— Я не понимаю,—отозвалась Додя и прибавила:—стало быть, вы меня не поняли.

Бесѣда княгиня съ Борщовымъ и болтовня молодыхъ людей затянулись почти до полуночи. Никѣмъ изъ нихъ не было сказано ничего особо важнаго, кромѣ словъ Задонскаго объ искусствѣ въ колдовствѣ самой Додя, а между тѣмъ, когда княгиня осталась наединѣ съ сыномъ, она спросила у него:

— Ну, что же?

Сынъ добродушно улыбнулся, слегка пожалъ плечомъ, потомъ развелъ руками.

— Что же?—повторила она.

— Ничего, папан! Все то же... Повторяю вамъ, что я объ этомъ буквально никакого своего мнѣнія имѣть не могу. Какъ вы желаете! Если вы находите, даже убѣждены, что будете счастливы отъ этого, то я готовъ содѣйствовать устроенію вашего счастья. Но своего счастья я въ бракъ найти не могу. Семейная жизнь для меня кажется чѣмъ-то совсѣмъ для меня лично неподходящимъ. Еслибы имѣлась для Россіи какая-либо война, то, конечно, я отказался бы наотрѣзъ, потому что знаю, что, при первомъ слухѣ о началѣ военныхъ дѣйствій, я тотчасъ же улечу туда, гдѣ пушки палатъ. Но такъ какъ, къ несчастью, теперь долго никакой войны въ Россіи не предвидится, и мнѣ

придется сидѣть, какъ рыбаку около высохшей рѣки, то я отвѣчаю вамъ: какъ вы желаете. Для васъ я готовъ на все, кромѣ одного—сидѣть мирно дома въ случаѣ, если гдѣ-либо окажется какая-либо война. Даже если будетъ какая-либо война въ Европѣ, то я, если возможно, отправлюсь добровольцемъ; а если невозможно, то выпрошусь военнымъ агентомъ хоть поглядѣть, какъ воюютъ другіе. Жизнь дорога, когда чувствуешь, что можешь потерять ее. Это я вамъ сто разъ говорилъ и говорю...

Задонскій смолкъ. Княгиня вздохнула, а затѣмъ произнесла:

— Ну, а я надѣюсь, что Господь услышитъ мою молитву и что долго-долго, еще лѣтъ двадцать, никакой войны въ Россіи не будетъ. А воевать за чужихъ, какимъ-то, какъ ты самъ говоришь, наемникомъ, какимъ-то кондотьери, тебѣ, авось, не разрѣшать. Ну а теперь скажи мнѣ рѣшительно: нравится ли тебѣ Додя Борщова?

— Нравится!

— Больше, чѣмъ разныя дѣвушки, которыхъ ты видѣлъ, хоть бы въ Петербургѣ?

— О, да. Это—московская дѣвушка. А я долженъ сказать, что въ Москвѣ только и есть хорошаго: Кремль, маленькія церковочки на каждомъ шагу и московскія молодыя дѣвушки. Онѣ таковы, каковы онѣ есть... Онѣ не препарированы... А затѣмъ въ нихъ есть еще что-то, свое, особенное... Не сердитесь, маман... Отъ нихъ будто калачомъ пахнетъ...

— Опять казарменная острота! Ну, слушай. Даешь ты мнѣ право заговорить прямо съ Алексѣемъ Андреевичемъ?

— Заговорите лучше вы, маман!—улыбнулся Задонскій.

— Но, однако...—быстро воскликнула княгиня, запнулась и потомъ строго произнесла—однако, отвѣчай прямо, искренно, серьезно... Считаешь ли ты возможнымъ... Ну, какъ сказать? Возможнымъ не сдѣлать ее несчастной? Это было бы нечестно! Наконецъ, она—дочь моего стариннаго друга, даже болѣе... Ты знаешь, я могла быть за нимъ замужемъ. Все разстроилъ дѣйствительно пустой случай.

— Маман, я никогда не сдѣлаю ничего, что могло бы составить ея несчастіе. Вы знаете, что я не деспотъ, не причудникъ, не безсердечный и не легкомысленный человѣкъ. Стараться сдѣлать ее счастливой я, конечно, буду. Но предупредить серьезно только въ одномъ: въ случаѣ какой-либо

войны, я ни секунды не останусь подъ семейной кровлей, хотя бы въ это время у меня было полдюжины дѣтей.

— Ну, cher enfant,—разсмѣялась княгиня:—когда у тебя будетъ полдюжины дѣтей, то много воды утечетъ, и ты будешь менѣ легокъ на подъемъ. Итакъ, ты уполномочиваешь меня объясниться съ Алексѣемъ Андреевичемъ, а къ твоему возвращенію изъ имѣнія свадьба будетъ объявлена. А мы съ ней медлить не станемъ. Все хорошее откладывать не надо. Такъ ли, Юрій?

— Дѣлайте все, что вамъ угодно! Carte blanche. Я на все согласенъ. Въ особенности сегодня. Она меня сейчасъ, вдругъ, какъ-то... околдовала тѣмъ, что очень мило глупа...

— Ну, поцѣлуй меня!

Молодой человѣкъ приблизился къ матери. Она медленно расцѣловала его въ щеки и въ лобъ, держа голову обѣими руками, какъ дѣлала это, когда онъ былъ еще маленькимъ.

VI.

Со дня блестящей свадьбы „героя“ съ самой богатой невѣстой московскаго большого свѣта, много напумѣвшей въ обѣихъ столицахъ, прошло немного болѣе двухъ лѣтъ. Борщовъ жилъ одинъ въ Москвѣ, въ своемъ домѣ, въ которомъ, по странному велѣнію судьбы, ему пришлось лишь мало лѣтъ прожить съ цѣлой семьей. Большую часть жизни онъ всегда былъ въ этомъ родовомъ гнѣздѣ одинъ-одинехонекъ, сначала холостякомъ, собирающимся жениться, а затѣмъ вдовцомъ съ одной дочерью.

Додя съ мужемъ тотчасъ же послѣ свадьбы поселилась въ Петербургѣ, такъ какъ Задонскій, хотя и въ чинѣ полковника, былъ назначенъ командиромъ одного изъ кавалерійскихъ гвардейскихъ полковъ, а затѣмъ вскорѣ же былъ, конечно, произведенъ въ генералы.

Разумѣется, Борщовъ часто ѣздилъ къ дочери въ гости; собирался всегда на два, на три дня и оставался на двѣ недѣли. Долѣе онъ оставаться не могъ, такъ какъ жизнь Задонскихъ была вполнѣ свѣтская, шумная, „слишкомъ громкая“, — какъ выражался Борщовъ,—для человѣка его лѣтъ. Послѣ нѣсколькихъ дней пребыванія въ какомъ-то гулкомъ калейдоскопѣ, ничего не говорящемъ уму, хотя много болтающемъ на трехъ языкахъ, своемъ, французскомъ и новомодномъ — англійскомъ,

онъ уставалъ и возвращался въ свой „монастырь“, какъ называлъ онъ московскій домъ.

Замужество дочери, сдѣлавшей великолѣпную партію, и ея семейное счастье было, конечно, большимъ утѣшеніемъ въ жизни Борщова. Казалось, что онъ теперь только окончательно примирился съ мыслью, зачѣмъ когда-то случай съ перчаткой повернулъ его жизнь совершенно иначе. Видя счастье дочери, онъ уже нехотя повторялъ французскую поговорку: „tout est pour le mieux“...

Но только съ окончаніемъ ея онъ не соглашался.

— Могъ бы, конечно, нашъ міръ быть однимъ изъ лучшихъ міровъ,—вѣрилъ и говорилъ Борщовъ,—еслибы въ немъ не было владыки, или вседержителя, имя которому—„случай“. И данное человѣку благо, о которомъ толкуютъ на всѣ лады философы — „свободная воля“ — въ услуженіи у „господина Икса“, даже прямо въ рабствѣ. Что же въ ней пользы?.. Одинъ обманъ, самообольщеніе. И поэтому почти всякій человѣкъ, даже и тотъ, въ существованіи котораго случай игралъ сравнительно малую роль, а его личная воля—большую, этотъ человѣкъ, оглядываясь на пройденный путь, — не доволенъ. Достигнувъ того пункта, гдѣ зенитъ его жизни, гдѣ кончается восходъ или подъемъ и начинается заходъ или спускъ, и гдѣ просятъ невольные, назойливые подсчеты и итоги, онъ будто разочарованъ и неудовлетворенъ, будто укоряетъ себя и говорить: „Кабы начать жить сначала“... Онъ иначе наладилъ бы все... А вѣдь ладилъ онъ по якобы собственной волѣ. Стало быть, она, свободно дѣйствуя, обманула его или „кого-то въ немъ“. И этотъ кто-то въ немъ ясно видитъ и оцѣниваетъ, когда уже поздно, всѣ прошлые роковые шаги; когда онъ бралъ влѣво вмѣсто права, бросалъ добрую дорогу и бралъ худую, попадалъ въ лѣса и болота, блуждалъ и, уставая, съ трудомъ выбирался, чтобы съ усиліемъ лѣзть черезъ преграды, околицы и овраги, изнемогая. А это все, оказывается, надо было просто оставить въ сторонѣ, пройдя мимо. И вотъ, если будущее было темно, то прошлое тоже неясно, въ смыслѣ его разумности.

Такъ разсуждалъ Борщовъ. Впрочемъ, за послѣдніе годы, состарившись, сдѣлавшись религіознѣе, какъ и всѣ чужіе, что они уже стоятъ у выходной двери жизни, онъ иногда повторялъ слова своего любимаго съ дѣтства поэта Жуковскаго, сказавшаго:

„Что такое случай?—*Инкогнито провидѣнія!* Все, что ни встрѣчается съ нами въ жизни, радостное или прискорбное— есть божество въ разныхъ видахъ“!

За эти два года, что Борщовъ жилъ мыслью объ устроенномъ счастьѣ дочери, у него было новое испытаніе. Случившееся могло быть громаднымъ горемъ; но судьба такъ захотѣла, что Борщовъ считалъ невозможнымъ, неразумнымъ горевать. Онъ получилъ извѣстіе объ исчезновеніи своего старшаго сына, жившаго за границей, Богъ знаетъ, какой жизнью, и Богъ знаетъ, на какия средства.

Разумѣется, въ первыя минуты онъ былъ пораженъ и глубоко опечаленъ, но за тѣмъ понемногу пришелъ къ убѣжденію, что изъ всѣхъ концовъ этотъ конецъ — лучший. По крайней мѣрѣ, боязни не нынче-завтра увидать въ печати свое имя и рассказъ о чемъ-либо позорномъ, совершенномъ роднымъ сыномъ, теперь уже быть не могло.

Единственное, что смутило и продолжало смущать Борщова, была обстановка, въ которой все совершилось. Конецъ темнаго существованія послѣднихъ лѣтъ былъ тоже темный, таинственный, загадочный. Сынъ пропалъ въ Ниццѣ, вѣрнѣе—въ маленькомъ мѣстечкѣ около Ниццы, такъ какъ постоянно проживалъ по близости пресловутаго вертепа и излюбленнаго мѣста всѣхъ сомнительныхъ личностей всего свѣта, знаменитаго Монте-Карло, и былъ даже, по слухамъ, на службѣ и на жаловань въ этомъ вертепѣ. И отсюда-то онъ исчезъ безслѣдно, не взявъ ни единой мелочи изъ своихъ вещей.

Борщовъ навелъ справки, писалъ и просилъ знакомыхъ писать всѣмъ русскимъ, которые жили на Ривьерѣ. Но выяснить что-либо не удалось. Нельзя было даже добиться того, чтобы узнать, при какихъ обстоятельствахъ произошло это безслѣдное исчезновеніе, покончилъ ли сынъ съ собой, или уѣхалъ, бѣжалъ въ Америку, какъ носились слухи, съ деньгами, похищенными въ самомъ вертепѣ, гдѣ онъ, якобы, былъ на службѣ. Управление Монте-Карло, какъ всегда, отрицало все и хранило олимпійское молчаніе.

Наконецъ, въ вѣщахъ, которыя были присланы въ Россію, Борщовъ нашелъ письмо сына на свое имя, писанное за мѣсяцъ до исчезновенія. Андрей просилъ прощенія за все горе, причиненное отцу, жаловался на свою судьбу, говоря, что онъ самъ несчастливъ тѣмъ, что таковъ уродился, самъ глубоко презираетъ себя.

Письмо было написано съ большимъ чувствомъ и все дышало страшною скорбью и безотраднымъ душевнымъ состояниемъ. Въ концѣ письма онъ говорилъ, что чуетъ свой приближающийся конецъ и что это „предчувствіе“ его не обманетъ.

— Если онъ самъ рѣшилъ, собирався покончить съ собой или исчезнуть навсегда, умереть для всѣхъ другихъ и для меня, то что же значить это слово — „предчувствіе“?!—спрашивала, недоумѣвая, Борщовъ.

Размышляя о личности и судьбѣ сына Андрея, онъ вспоминалъ, что рассказывала ему покойная жена про своего дѣда, когда-то знаменитаго въ Москвѣ „блазня“-богача, наводившаго своей жизнью соблазнъ на всю первопрестольную. Виноватъ ли Андрей—правнукъ?

Полгода спустя, до семьи достигла вѣсть, глубоко опечалившая Задонскую, вѣсть о смерти ея брата, но не простой, а такой, о которой заговорили въ газетахъ, говорили много, никого не называя сначала по имени, а ставя лишь однѣ буквы, но вскорѣ назвали и полнымъ именемъ.

Эта была катастрофа и при этомъ, какъ принято выражаться, на „романической подкладкѣ“. И не только никто въ Петербургѣ не зналъ первое время, какъ объяснить эту катастрофу, но даже и княгиня не знала, не понимала ничего, а только подозрѣвала мотивы случившагося.

Зато Борщовъ понялъ все сразу, вспомнивъ свою бесѣду съ молодымъ Ипатовымъ. Нѣсколько лѣтъ назадъ, Ипатовъ случайно далъ ему ключъ къ разгадкѣ того, что совершилось только теперь.

На югѣ Россіи, въ имѣніи богатаго землевладѣльца, недалеко отъ Одессы, Ипатовъ гостилъ у близкихъ ему друзей—супружеской четы Рокотано. Она была русская, уроженка Кіева; онъ былъ одесситъ, и поэтому національности неопредѣлимой: его считали и грекомъ, и румыномъ, а иные — крещенымъ евреемъ.

Въ Одессѣ знали уже давно, что Рокотано и Ипатовъ—друзья. Злоязычники съ этимъ не соглашались, а говорили, что истинные друзья — госпожа Рокотано и Ипатовъ, а супругъ лишь изображаетъ Менелая, по мнѣнію однихъ—безо-знательнаго и наивнаго, по мнѣнію другихъ — умышленнаго и расчетливаго, такъ какъ, за послѣднее время, большое, великолѣпное имѣніе въ центрѣ Россіи, родовое, сто лѣтъ принадле-

жавшее роду Ипатовыхъ, перешло за поль-цѣны въ руки Рокотано.

— Конечно,—говорили злые языки,—г-жа Рокотано—красавица. Ну, да и цѣна же ей оказалась хорошая! Это выходитъ со стороны г. Рокотано въ нѣкоторомъ родѣ преступленіе, закономъ именуемое „вовлеченіемъ въ невыгодную сдѣлку“.

Первое извѣстіе, появившееся въ телеграммахъ, гласило, что въ такомъ-то имѣніи, такой-то губерніи, произошелъ несчастный случай. Былъ случайно убитъ на охотѣ изъ ружья г. И., гостившій въ имѣніи у г. Р.

Вторая депеша говорила о томъ, что И. нечаянно убитъ самимъ землевладѣльцемъ Р. Третья депеша уже объясняла, что судебный слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ выѣхалъ въ это имѣніе, такъ какъ оказалось, что совершено умышленное преступленіе, а не нечаянное убійство. Затѣмъ уже пошли подробности. Какой-то корреспондентъ большой столичной газеты описалъ въ мельчайшихъ подробностяхъ всю катастрофу, не говоря прямо объ ея мотивѣ; но, конечно, можно было все прочесть и понять между строкъ.

Благодаря долго свирѣпствовавшей на Руси цензурѣ, русскіе журналисты изошрились болѣе всѣхъ на свѣтѣ въ краснорѣчивомъ изложеніи всякаго дѣла, всякой мысли, всякаго даже ученія не словами и строками, а „киваніемъ“ между строкъ.

Междустрочное писаніе или изложеніе мыслей, доведенное до совершенства, есть чисто русское изобрѣтеніе. И самый крупный журналистъ Лондона или Парижа не посмѣетъ тягаться въ этомъ дѣлѣ съ самымъ маленькимъ русскимъ борзописцемъ.

Вскорѣ въ газетахъ появилось уже много корреспонденцій, и всѣ сводились къ одному: г. Ипатовъ, зять знаменитаго генерала Задонскаго, былъ убитъ помѣщикомъ Рокотано у себя въ домѣ, въ небольшомъ кабинетѣ, но изъ ружья. Катастрофа произошла, очевидно, совершенно неожиданно, такъ какъ за часъ передъ тѣмъ люди и крестьяне видѣли барина, барыню и ихъ пріятеля, давно и не впервые гостившаго у нихъ, вмѣстѣ съ другими гостями, на конномъ заводѣ весело смотрѣвшихъ лошадей, которыхъ конюха проводили мимо нихъ. Веселый разговоръ между ними и другими гостями не прерывался ни на минуту, а самъ баринъ казался веселѣе всѣхъ. Подумать, что черезъ часъ послѣ этого онъ хладнокровно у себя въ кабинетѣ застрѣлилъ своего друга, казалось чѣмъ-то совершенно невѣроятнымъ.

Пріѣхавшему слѣдователю Рокотано заявилъ, что о мотивѣ своего преступленія онъ самъ ничего не объяснитъ, да оно и совершенно излишне, такъ какъ, по всей вѣроятности, въ Одессѣ, въ Крыму и на всемъ югѣ Россіи всѣ уже давно все знаютъ, а теперь точно объясняютъ, что именно побудило его къ убійству.

Задонская много говорила о братѣ и часто повторяла вопросительно:

— Нѣтъ ли ошибки? Не вообразилъ ли что Рокотано? Неужели Левушка погибъ безъ вины виноватый, благодаря лишь тупецей ревности мужа, новаго Отелло?

И однажды Борщовъ счелъ себя вынужденнымъ рассказать княгинѣ все то, что зналъ отъ самого Ипатова. Онъ имѣлъ уже вѣрныя доказательства, что та женщина, про которую Ипатовъ рассказывалъ, говоря о встрѣчѣ и знакомствѣ въ поѣздѣ, именно и есть г-жа Марія Рокотано.

Разумѣется, передавъ все княгинѣ, Борщовъ не преминулъ заговорить, воодушевляясь, о томъ, что эта катастрофа снова подтверждаетъ его теорію.

— Я становлюсь все болѣе и болѣе убѣжденный, искренній суммистъ!—воскликнулъ онъ.

Княгиня уже, конечно, зная, что означаетъ это изобрѣтенное Борщовымъ словечко, невольно, хотя нѣсколько грустно, улыбнулась. На ея вопросъ, что общаго между его теоріей и смертью брата, Борщовъ объяснилъ...

И выходило ясно: не будь на свѣтѣ раздражительныхъ бабынь, зря обижающихся, не будь на свѣтѣ соусовъ на блюдахъ, не будь скверныхъ ванекъ съ клячами,—Ипатовъ не былъ бы убитъ и мирно жилъ бы теперь, быть можетъ, отцомъ многочисленнаго семейства.

Задонская, выслушавъ его длинную рѣчь, снова улыбнулась и отозвалась:

— Знаете что, Алексѣй Андреевичъ... Я слыхала, что нѣкоторые писатели портятъ свои сочиненія тѣмъ, что черезчуръ ихъ исправляютъ, что исправленное нѣсколько разъ сочиненіе иногда становится хуже, чѣмъ было сначала. Такъ и вы съ вашей теоріей. Прежде вы клали,—какъ нынѣ выражаются,—краеугольнымъ камнемъ подъ судьбу человѣка—что-нибудь одно! Ну, на примѣръ,—прибавила она, ласково и дружески глядя въ лицо Борщова,—ну, хоть бы перчатку! И въ этомъ съ вами многіе не соглашались и не согласятся. А по поводу бѣднаго

брата вы уже приплели и ваньку, и соусъ, и сердитую барыню, и солнце, и луну, и звѣзды... И вы уже сами себя противорѣчите. Если разсуждать такъ, то дѣло не въ упавшей перчаткѣ. Причиной первой былъ тотъ моментъ, когда люди выдумали носить перчатки. Или еще дальше... Но этимъ путемъ можно дойти до момента сотворенія міра, и тогда, конечно, всякій съ вами согласится, что ваша теорія вполне вѣрна. Стало быть, не исправляйте вашего сочиненія. Говорите — виновата перчатка, упавшая въ грязь. Виноватъ скверный ванька, заставившій опоздать на поѣздъ и ѣхать только на другой день. Изъ всѣхъ приводимыхъ вами доказательствъ для подтвержденія вашей теоріи я знаю лишь одно дѣйствительно странное или характерное—это вашъ другъ Верзилинъ.

— Да... А зачѣмъ люди выдумали банки и закладъ имѣній!..—воскликнулъ Борщовъ, будто умышленно.

— Ну вотъ, вотъ... Это уже исправленіе и порча сочиненія!—улыбнулась княгиня.

Вскорѣ, однако, ужасная судьба Ипатова, а равно и грустная судьба молодого Борщова—были чуть не забыты отцомъ и сестрой, во всякомъ случаѣ отступили на задній планъ. Нѣчто новое, болѣе близкое сердцу, затушевало двѣ печали и все остальное, окружавшее Задонскую и Борщова.

То, чего такъ боялась княгиня Надежда Павловна и о чемъ много и часто со дня брака сына говорила съ Борщовымъ, неожиданно случилось. Въ Россіи была новая война, хотя казавшаяся маленькой, незначашей, микроскопической, послѣ Плевны, Балканъ и Шипки. Русскія пушки загремѣли въ азіатскихъ предѣлахъ.

Разумѣется, при первомъ же слухѣ, даже при первомъ намека на возможность воевать, Задонскій, несмотря на мольбы жены и матери, будучи уже отцомъ прелестной дѣвочки, звавшейся Надей, въ честь своей бабушки, и которую онъ начиналъ обожать, все-таки тотчасъ же собрался туда, гдѣ запахло порохомъ. Онъ бросилъ одинъ изъ первыхъ полковъ гвардіи, которымъ командовалъ, и сталъ хлопотать получить назначеніе—командовать отрядомъ на театрѣ войны.

Для обѣихъ княгинь Задонскихъ—старой и молодой—предстояли дни тяжелого испытанія. Борщовъ, конечно, тотчасъ же переѣхалъ изъ Москвы въ Петербургъ, чтобы въ эту тяжелую пору быть около дочери.

Всѣ военные, начальство и товарищи Задонскаго, успокоивали обѣихъ княгинь, что война въ Туркестанѣ, собственно, нѣчто въ родѣ маневровъ, и генераль почти не рискуеть. Если въ прошлую войну пуля не брала его, когда онъ былъ еще въ чинѣ ротмистра и бросался даже туда, гдѣ бывали рукопашныя схватки, то теперь, въ положеніи командующаго цѣлой отдѣльной частью, онъ будетъ слышать выстрѣлы только издали.

На слезы жены Задонскій отвѣчалъ шутками и говорилъ:
— Да вѣдь ты знаешь, что меня пуля не беретъ!

Жена суевѣрно и пугливо отмахивалась отъ этихъ словъ и крестилась.

Уговорить и остановить Задонскаго, разумѣется, было невозможно. Это значило бы отнять у него то благо, которое внезапно упало къ нему съ неба и которымъ онъ былъ счастливъ, былъ въ упоеніи, ожилъ, переродился, такъ какъ для него снова начиналась „настоящая“ жизнь. Наступилъ часъ разлуки, проводовъ...

Жена, мать и тестъ такъ прощались съ Задонскимъ, что онъ, счастливый и радостный, отзывался со смѣхомъ:

— Да вы меня просто хороните, а не провожаете!..

Дѣйствительно, всѣ трое были равно и одинаково подъ гнетомъ страннаго, почти необъяснимаго, но какъ будто яснаго предчувствія бѣды, хотя никто изъ нихъ другъ другу не общалъ своего внутренняго тяжелаго чувства, своей какъ бы увѣренности приближающейся катастрофы.

Разумѣется, письма и депеши отъ генерала Задонскаго получались чуть не ежедневно. Семья слѣдила за каждымъ шагомъ русскихъ войскъ и отряда Задонскаго. Понемногу, день за день самое тяжелое время прошло, слегка смягченное извѣстіями о новыхъ блестящихъ подвигахъ полководца.

Имя Задонскаго было на устахъ у всѣхъ, пестрило всѣ газеты. Въ средѣ военныхъ дѣло дошло не только до похвалъ, а почти до поклоненія. Уже поговаривали, что молодой генераль будетъ славой Россіи, если приключится опять какая-либо серьезная война Европы. Онъ станетъ маленькимъ Суворовымъ, обладая многими его характерными чертами, а изъ нихъ и той немаловажной, что солдаты суевѣрно боготворили своего начальника. И если онъ не кричалъ „ку-ку-реку“, прыгая въ одномъ бѣльѣ среди палатокъ, то одна его шутка или прибаутка двигала русскаго солдата вперёдъ съ

радостнымъ желаніемъ хотъ сейчасъ помереть, только бы генералу угодить.

Наконецъ, въ Петербургѣ стали ходить слухи, что войнѣ скоро конецъ — дальше ничего не нужно и пока невозможно. Герать и иное что надо отложить до будущаго. И если на театрѣ войны страсти разгорались, и всѣ, отъ командира до рядового, рвались дальше, мечтая о новыхъ подвигахъ — на берегахъ Невы рѣшили, что довольно.

При этомъ слухѣ во всемъ Петербургѣ не было, конечно, людей болѣе счастливыхъ, какъ мать, жена и тестъ Задонскаго. Они ожили и настолько ободрились, что уже стали другъ другу рассказывать, какъ мучились своимъ предчувствіемъ художого, которое, благодаря Бога, оказалось не предчувствіемъ, а чувствомъ, опредѣляемымъ пословицей: „у страха глаза велики“. Они даже стали подсмѣиваться надъ собой и надъ своими прошлыми „страхами“.

Прошло около недѣли послѣ вѣрнаго извѣстія, добѣжавшаго въ домъ княгини Задонскихъ прямо изъ дворца, что компаніи конецъ, а герои ея вскорѣ появятся на невскихъ берегахъ.

Борщовъ, какъ-то послѣ завтрака сидя въ дѣтской, восторженно радовался тому, что маленькая Надя вдругъ начала ходить одна. Онъ поставилъ ее у диванчика, сѣлъ съ коробкой конфетъ на креслѣ шагахъ въ семи и звалъ ее.

И ребенокъ странной походкой, покачиваясь изъ стороны въ сторону и переплетая ножками, перебѣгалъ по ковру, какъ если бы бѣжалъ по водѣ, и шлепался на дѣдушку, цѣпляясь ручонками за его протянутыя руки. Казалось, будь онъ шага на два дальше, дѣвочка упала бы непременно.

Однако, продѣлавъ свой опытъ раза три, Борщовъ отодвинулъ кресло еще шага на три, и Надя такъ же волнообразно добѣжала до него. Борщовъ, наградивъ внучку нѣсколькими конфетками, пошелъ объявить о событіи матери и бабушкѣ. Онъ заранѣе радовался, что онъ первый узналъ объ этомъ событіи и что когда будетъ объявлять о немъ, то, конечно, ни та, ни другая ему не повѣрятъ. Ожидали, что Надя „пойдетъ“ только черезъ мѣсяцъ, два...

Двигаясь чрезъ гостиную, Борщовъ встрѣтилъ хорошаго пріятеля, генерала въ запасѣ, который часто бывалъ у нихъ. Онъ уже собирался объявить ему о домашнемъ событіи, но рѣшилъ, что этого дѣлать не слѣдуетъ. Нужно сказать это-

прежде всего родной матери и бабушкѣ, а потомъ уже постороннимъ людямъ.

Однако, выраженіе лица гостя озадачило его.

— Мнѣ надо съ вами переговорить!—сказалъ генераль и, взявъ его подъ руку, повелъ, посадилъ на ближайшее кресло и сѣлъ около него.—Соберитесь съ духомъ, Алексѣй Андреевичъ! Я прямо отъ военнаго министра, и я... я по неволѣ долженъ... Я долженъ вамъ сообщить ужасное извѣстіе. Я не хотѣлъ брать на себя это жестокое порученіе, но что же дѣлать... Я — болѣе близкій человекъ въ вашей семьѣ, чѣмъ всѣ другіе. Соберитесь съ духомъ. Ужасная вѣсть...

Борщовъ удивленно глядѣлъ въ лицо генерала, взволнованное, тревожное, наконецъ увидѣлъ слезы въ его глазахъ, а губы его подергивало. И Борщовъ, изумляясь, думалъ:

„Что съ нимъ такое? Что онъ съума, что-ли, сошелъ? И какое извѣстіе? Что намъ за дѣло до всего міра, когда наши тяжелые дни миновали!“

Но чрезъ нѣсколько мгновеній Борщовъ сидѣлъ или вѣрнѣе, полулежа, повисъ на креслѣ отъ страшнаго удара. То, что онъ слышалъ отъ генерала, онъ сразу даже и сообразить не могъ. Нужно было нѣсколько секундъ, чтобы услышанное перестало быть безсмыслицей, а сдѣлалось роковою вѣстью.

Онъ узналъ, что зять убить.

Но только на нѣсколько лишь мгновеній былъ онъ ошеломленъ извѣстіемъ, а затѣмъ пересталъ думать объ убитомъ.

Другое, много ужаснѣе, пришло на умъ и предстало будто страшнымъ призракомъ. Онъ вспомнилъ о дочери...

Взять на себя обязанность объявить Додѣ постигшее ее онъ не находилъ въ себѣ силы и наконецъ отказался наотрѣзъ.

— Это ударъ ножомъ въ сердце, — произнесъ онъ попомомъ.—Я не пойду убивать родную дочь... Не могу, не могу...

Генераль по неволѣ взялъ страшное порученіе на себя.

Борщовъ, ушедшій къ себѣ, почти убѣжавшій, вскорѣ узналъ отъ друга-генерала, что дочь приняла извѣстіе какъ-то благоразумно, то-есть спокойно, твердо. Она только тихо ахнула и сказала дрожащимъ голосомъ:

— Что же это?..!

Старушка-княгиня при извѣстіи лишилась чувствъ, и ее уложили въ постель, гдѣ она осталась весь день до ночи.

Въ средѣ людской зачастую бываютъ случаи смерти, имѣющіе особое значеніе. Такъ смерть человѣка имѣетъ иногда какъ бы разлагающее дѣйствіе на его семью, иногда же—на цѣлую среду, въ которой онъ вращался. Последнее явленіе — болѣе рѣдкое и относится преимущественно къ выдающимся людямъ, дѣятелямъ. Но смерть, разрушающая семью, бываетъ сплошь и рядомъ.

Первые дни послѣ извѣстія о смерти Задонскаго его мать и его жена были въ такомъ положеніи, что именно можно было выразиться словами: „вчужѣ страшно“.

Если существуетъ выраженіе: „быть убитой горемъ“, то, конечно, оно болѣе чѣмъ когда-либо соотвѣтствовало положенію какъ старой, такъ и молодой княгинь Задонскихъ. Надежда Павловна была въ какомъ-то странномъ состояніи безмыслія.

На утро послѣ страшной вѣсти она тотчасъ попробовала встать, но оказалось, что ноги ея какъ-то ослабли, подкашиваются и не могутъ держать тѣла. Прележавъ такъ двое сутокъ сравнительно спокойно, она стала заговариваться, будто бредила на яву, а затѣмъ опять собралась встать... но ноги уже совсѣмъ не повиновались. Она ихъ, очевидно, не чувствовала. Позванные доктора объяснили, что это явленіе нервное отъ сильнаго душевнаго потрясенія.

Недавняя Додя стала сразу пожилая женщина, пожившая...

Жизнь проявлялась въ ней лишь движеніемъ, тѣмъ, что она ходила, глядѣла, изрѣдка отвѣчала односложно на вопросы. Объ утраченномъ мужѣ она ни разу не обмолвилась, какъ еслибы его никогда не существовало. И ей никто, конечно, о немъ не говорилъ,—всякій чуялъ, что страшно даже заговорить. О дочери она совершенно забыла и изрѣдка, будто случайно зайдя въ дѣтскую, издали смотрѣла на малютку, а на лицѣ ея можно было, казалось, прочесть вопросъ: „Что это за ребенокъ и откуда онъ?“ Заходя въ спальню свекрови, которая лежала въ постели почти въ безсознательномъ или, вѣрнѣе, бессмысленномъ состояніи, она точно такъ же равнодушно глядѣла на нее, какъ бы не вполне понимая, затѣмъ женщина лежитъ, не вставая. Черезъ нѣсколько дней, однако, несчастная Додя какъ бы вышла изъ своего оцѣпенѣнія, будто впервые поняла, что случилось, и заплакала... И съ этого дня она плакала безпрерывно, не жалуясь, не говоря

ни о чемъ ни слова, не выражая никакихъ желаній и пови-
нуясь всему, что ей говорили или предлагали.

Послѣ привоза тѣла генерала, на торжественныхъ похоро-
нахъ былъ, какъ говорится, весь городъ. И помимо многихъ,
если не всѣхъ лицъ высшаго круга и высшей администраціи
явилась пестрая, многотысячная толпа, въ которой было и
просто народье, но не въ качествѣ зѣвакъ любопытныхъ или
прохожихъ, а въ качествѣ людей, для которыхъ имя Задон-
скаго не было чуждо. Они знали это имя изъ газетъ или по
слухамъ и бессознательно имъ гордились, чувствуя въ немъ
національнаго героя, отважнаго молодца, который воюетъ „по
нашему, по расейскому“.

Но на этихъ похоронахъ, поднявшихъ столицу на ноги,
въ первомъ ряду за гробомъ шли молодые военные высшаго
общественнаго положенія, участвовавшіе въ церемоніи офици-
ально. За ними шелъ только одинъ ближайшій родственникъ
покойнаго—его тестъ. Мать и жена отсутствовали по невоз-
можности быть. Если молодая княгиня была въ постели, въ
очень серьезномъ положеніи и даже опасномъ, хотя физически
ничѣмъ не страдала, то старая княгиня была уже въ такомъ
состояніи, что доктора ожидали конца ежедневно.

Единственное существо, обращавшее на себя вниманіе
всѣхъ въ церкви, былъ маленькій красивый ребенокъ на ру-
кахъ няни, одѣтый въ черное. Дѣвочка улыбалась всѣмъ,
изрѣдка даже хихикала и только иногда, будучи недалеко отъ
гроба, приглядывалась къ нему страннымъ взглядомъ. Ребе-
нокъ будто сознавалъ, что онъ видитъ нѣчто особенное, не
заурядное, чего не всякій день увидишь... Но какое значеніе
имѣетъ этотъ ящикъ и что такое въ немъ?... И что они всѣ
дѣлаютъ кругомъ, все ходятъ, говорятъ?...

Въ городѣ было безконечно много толковъ о странной
смерти генерала. Борщовъ вспоминалъ невольно то, что За-
донскій говорилъ ему передъ тѣмъ, какъ ѣхать на войну.
Женѣ и матери онъ постоянно повторялъ, что онъ неуязвимъ,
заколдованъ и пуля его не беретъ, и, стало быть, не возъ-
метъ. Но тестю онъ, странно смѣясь, говорилъ, будто созна-
ваясь въ тайномъ помышленіи:

— Одно вотъ... Есть колдовство на колдовство!

Теперь было извѣстно подробно, какъ былъ убитъ Задон-
скій. Онъ ѣхалъ полемъ верхомъ, окруженный своимъ шта-
бомъ, адъютантами и ординарцами, болѣе десятка человекъ.

Онъ выѣхалъ на прогулку, которая была отчасти ненужной рекогносцировкой ex officio.

Кое-гдѣ вдали въ степи видѣлись группы всадниковъ, разнаго рода азіатовъ, но всѣ они немедленно, завидя русскихъ военныхъ, удалялись и исчезали. Иногда инныя кучки всадниковъ-туреманъ, въ числѣ полусотни и болѣе, чувствуя себя не въ опасности въ виду горсти русскихъ, не удалялись, вызываясь оставались на мѣстѣ, не нападали, но, въ случаѣ нападенія, очевидно предполагали дать отпоръ.

— Ишь, мошенники! — добродушно сказалъ раза два Задонскій: — знаютъ вѣдь, что мы не можемъ взять ихъ въ штыки или въ сабли! А если бы моя воля, я бы вамъ, господа, ей Богу бы предложилъ, попробовать, позабавиться... Моя воля товарища, а не начальника.

Проѣхавъ по пустынѣ версть съ десятокъ, всюду видя вдали на горизонтѣ, иногда въ полуверстѣ, кучки уже разсѣяннаго непріятеля, какъ бы кучки партизанскихъ отрядовъ, Задонскій снова, уже, быть можетъ, въ шестой разъ, остановилъ лошадей и бросилъ поводья. Вся свита, хорошо, конечно, зная, въ чемъ дѣло, безо всякаго предложенія и безъ команды генерала послѣдовала его примѣру.

Всякій, за исключеніемъ двухъ-трехъ человекъ, полѣзъ за портсигаромъ, досталъ папиросу, и началось закуриваніе. Сильный вѣтеръ тушилъ спички, и закуриваніе замедлилось.

— Вѣдь вотъ лѣтъ десять собираюсь завести себѣ портсигаръ съ фитилемъ, — сказалъ генералъ. — И, должно быть, такъ и не заведу до конца моихъ дней...

Адъютантъ тронулъ коня и подѣхалъ ближе къ начальнику, чтобы ему помочь. Вытащивъ нѣсколько спичекъ изъ своей коробочки, онъ сразу зажегъ ихъ и, слегка подпаливая себѣ ладони, подалъ генералу, какъ бы въ пригоршнѣ, довольно большой пылающій огонекъ.

Задонскій нагнулся съ лошади довольно низко къ протянутымъ ему рукамъ, чтобы закурить папиросу, но вмѣсто этого дернулся и повалился съ сѣдла на землю.

Въ первую минуту ближайшіе ахнули и, спѣшившись, бросились помочь начальнику подняться, зарагѣе улыбаясь той шуткѣ или остротѣ, которую онъ скажетъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ въ военной школѣ, ему никогда не случалось падать съ лошади.

Но, къ ужасу всѣхъ, генераль оказался какъ бы въ полу-забытїи, будто ошеломленный паденїемъ. Черезъ нѣсколько мгновенїй алая кровь, заструившаяся по лицу, объяснила все оцѣпнявшейся отъ ужаса свитѣ. Слабые признаки жизни въ лицѣ скоро исчезли.

„До конца моихъ дней“—стали послѣдними словами въ его жизни. Генераль былъ убитъ наповаль шальной пулей, прилетѣвшей невѣдомо откуда, —вѣроятно, изъ кучки туркменовъ, стоявшихъ въ полуверстѣ.

Не нагнись онъ, чтобы закурить папиросу, пуля пролетѣла бы мимо или попала бы въ шею лошади, а то и въ адъютанта, который загоразивалъ его, будучи рядомъ на своей лошади.

Рана была такая, какія рѣдко бываютъ. Пуля пробила черепъ, войдя въ темя головы.

Много и долго толковали всѣ о странномъ случаѣ, повторяя: „Судьба“!

Черезъ мѣсяць послѣ похоронъ молодого генерала, петербургскїй высшїй кругъ былъ снова на похоронахъ старушки княгини Задонской, старушки не столько своими годами, сколько отъ всего пережитаго.

Время, проведенное на бѣломъ свѣтѣ послѣ извѣстія о смерти сына, было уже собственно не существованїемъ. Княгиня Надежда Павловна пролежала все время въ постели, молча, почти не принимая пищи и ни слова не произнося. Только за день или за два до смерти, позвавъ къ себѣ невѣстку, она приказала ей принести и внучку.

Расцѣловавъ ребенка и его мать, княгиня перекрестила ихъ широкимъ крестомъ, какъ бы обѣихъ сочетая имъ, а затѣмъ съ трудомъ вымолвила:

— Я къ Юрію!... Хочу быть съ нимъ. Онъ говоритъ, что можно...

Первый оправившїйся отъ удара судьбы, Борщовъ, конечно тотчасъ принялся философствовать и самъ съ собой, и съ друзьями.

— Будь онъ убитъ просто въ сраженїи, случайности не было бы. Было бы естественное явленїе... А тутъ уже не то... Сраженья не было, да и всему уже былъ конецъ, замиренїе... Стало быть, не остановись онъ закуривать папиросу, — былъ бы живъ.

— Нѣтъ!...—возражали Борщову: — былъ бы убитъ черезъ часъ, черезъ день, если уже такова была его судьба. Вспомните рассказъ Лермонтова — „Фаталистъ“. Стрѣлялъ человекъ ради пари въ себя—и осычка... А вышелъ на улицу—и тотчасъ же убитъ бѣгущимъ мимо пьянымъ казакомъ.

— Это чепуха!—воскликнулъ Борщовъ.— Это дикое ученіе мусульманъ: „написано на небесахъ“. Вы не понимаете, что я логиченъ. Я ищу и нахожу причину, а вы отдѣльваете терминонь, словечкомъ...

— Тогда, по вашей логикѣ, разсуждайте иначе. Зайдите дальше назадъ. Если бы Задонскій не приобрѣлъ когда-то въ юности дурной привычки курить, то и не сталъ бы закуривать папиросу и не нагнулъ бы. Его судьба, по вашему разсуждая, была заранѣе предрѣшена не въ тотъ часъ, когда онъ нагнулъ закуривать, а еще въ тотъ, когда онъ, за нѣсколько лѣтъ до гибели, закуривъ свою первую папиросу. Да и это будетъ не вѣрно. Виноватъ тотъ первый турокъ или, какъ кажется, арабъ, который выдумалъ сушить листья какого-то растенія, чтобъ сжигать его во рту... Или наконецъ виновенъ даже и не онъ, а...

— А самъ Господь Саваоѣ, создавшій Адама и Еву, и почву, на которой явилось растеніе табакъ!—воскликнулъ Борщовъ.— Слыхалъ я это тысячу разъ и отвѣчаю: вздоръ это. А есть въ жизни мгновенья, которыя суть „поворотныя“ или, вѣрнѣе, „причинныя“, дальше или выше которыхъ итти и искать, рыться—уже значить... фантазировать.

VII.

Прошло много лѣтъ...

Въ барскомъ домѣ, на Тверскомъ бульварѣ, въ уютномъ кабинетѣ, сидѣлъ въ старомодномъ вольтеровскомъ креслѣ дряхлый старикъ, за восемьдесятъ лѣтъ, худой, съ сморщеннымъ сильно лицомъ, съ согнутой годами спиной... Только взгляды его красивыхъ глазъ былъ если уже не молодой, то все-таки пожилой, хотя и не старый. Во всякомъ случаѣ, глаза были много моложе лица, испещренного морщинами и бороздками. Около старика, на табуретѣ, сидѣла очень молоденькая дѣвушка, бѣлокурая, свѣжно-бѣленькая, съ розовыми щеками, съ чертами лица, въ которомъ не было красоты, а была чрезвычайная миловидность. Что-то нѣжное, цвѣтущее, полу-дѣт-

ское, полу-женственное, какое-то сочетание кротости, наивности и ласки было въ ней еще привлекательнѣе, чѣмъ иная строгая красота.

Они—дѣдъ и внучка, — Борщовъ и княжна Задонская, — уже давно бесѣдовали. Старикъ что-то пояснялъ, развивалъ, словоохотливо болталъ; внучка слушала невнимательно. Ласково глядя на старика тѣмъ же взглядомъ, какимъ мать или няня смотритъ на лепечущаго младенца, она дѣлала видъ, что слушаетъ старательно.

„Опять на дѣдушку его стихъ попалъ! Опять дѣдушка за свою пѣсенку взялся“, — думалось дѣвушкѣ; но не только не досадливо, но даже сочувственно глядѣла она на старика, выслушивая въ сотый разъ то, что знала наизусть, — старика, который ее воспиталъ и котораго она обожала.

— Да, суммистъ...—дрябло, шершаво бормоталъ Борщовъ.— Я этотъ терминъ выдумалъ, потому что меня иные звали фаталистомъ. А фатализмъ—совсѣмъ не то... И я, въ отличіе, выдумалъ: суммизмъ. Самъ, Надя, выдумалъ. Давно. Не только тебя, но и...

— И мамы еще на свѣтѣ не было,—подсказала дѣвушка, улыбаясь шаловливо.

— Да... да... Ты пойми... Жизнь наша именно сумма... А слагаемыхъ...

— Три, дѣдушка. Знаю. Моя воля, его воля, и случай, который...

— Нѣтъ! Моя воля, ихъ воля... Ихъ—всѣхъ окружающихъ меня людей, и случай... И вотъ онъ-то...

— Главный, сильнѣйшій двигатель!—снова подсказала дѣвушка.

— Да, Надя. Моя жизнь и жизнь моихъ близкихъ, и даже чужихъ людей доказала мнѣ это. Не будь перчатки, Надя, которая упала...

— Знаю, знаю, дѣдушка: папа не родился бы на свѣтѣ; мама бы не родилась на свѣтѣ... не болѣла и не скончалась бы еще молодою отъ горя, что папа былъ убитъ... Только вотъ что, дѣдушка, я уже вамъ говорила, что я не могу вѣрить въ эту... какъ сказать... въ неправильность, что ли, всего случившагося въ вашей жизни... Не могу сказать, какъ вы, что было бы лучше, еслибы было все иначе. Единица—не велико число, а все-таки больше, чѣмъ нуль.

— Да. Но ты про какой это нуль?

— А вотъ то, дѣдушка, что должно было по вашему быть, но не было — вѣдь это нуль. Какъ правильно оцѣнивать то, чего нѣтъ и не было? Можно ли, наприимѣръ, сказать про чело-вѣка, что онъ хорошъ или дуренъ, когда этотъ чело-вѣкъ только предполагаемъ, а на свѣтъ никогда не родился.

— Погоди, погоди... Ты что-то другое... Ты путаешь. Ты, стало быть, не понимаешь меня.

Дѣвушка, будто испугавшись, что старикъ снова начнетъ подробно излагать, что такое сумма трехъ слагаемыхъ, суммизмъ и суммистъ, — вдругъ привскочила и крѣпко обняла старика, мѣшая ему говорить.

— Понимаю, дѣдушка, понимаю! — вскрикнула она звонко. — Ей Богу! Я даже сама часто на балахъ, во время кадрили, говорю моимъ кавалерамъ, что я — суммистка. И все имъ объясняю... Они ни гугу не понимаютъ, но всегда со мной соглашаются... Но я лгу имъ... А вамъ я говорю по правдѣ: я не могу думать, что было бы хорошо, еслибы вы женились на бабушкѣ, вышедшей за дѣдушку Задонскаго, и еслибы мой отецъ и моя мать никогда бы не родились на свѣтъ. Не могу, дѣдушка. Какъ хотите... Не могу и не хочу...

— Почему же?..

— Да вѣдь тогда бы меня самой на свѣтъ не было!.. А я рада, что я на свѣтъ живу, и не могу согласиться, что мое существованіе есть нелѣпое и деспотическое дѣланіе вашего „господина Икса“.

— Именно — деспота-случая!

— А я вѣрю твердо, что я должна была непременно и непременно родиться на свѣтъ. И родилась!.. Это было пред-опредѣлено... Но, конечно, когда Господь Богъ творилъ еще только небо и звѣзды, а затѣмъ звѣрей и рыбъ, и такъ далѣе, было еще неизвѣстно, будетъ ли на свѣтъ существовать... вотъ сія знаменитая особа, — показала дѣвушка себѣ на грудь. — А какъ только Господь сотворилъ Адама и Еву, такъ сейчасъ же стало извѣстно... Ну, хоть только Господу Богу и ангеламъ... Ну, хоть было даже сообщено официально и господину са-танѣ... Хоть бы вотъ такъ: „По распоряженію свыше, доводится до свѣдѣнія вашего высокодѣявольства, что придетъ время, пробьетъ часъ — и явится, чтобы жить на свѣтъ, княжна Надежда Юрьевна Задонская, при томъ еще условіи, что она будетъ любить своего дѣдушку-суммиста“.

— Ну, ты опять за свои глупости!... — махнул старикъ рукой.

— Вовсе не глупости. Случайно, неправильно, противоестественно, нелогично и бессмысленно пришедшее на свѣтъ существо, считающееся вашей внучкой, имѣетъ честь заявить вамъ, что оно никакъ не можетъ сказать: „Ахъ, какъ бы хорошо было, еслибы меня не было, а была бы, вмѣсто меня, та, которая никогда не была и не будетъ“.

Борщовъ сталъ смѣяться.

— Ну, ладно... А я все-таки остаюсь суммистомъ и говорю: по логикѣ разума моего и по жизненному опыту моему, я пришелъ къ заключенію, что жизнь есть все-таки сумма трехъ слагаемыхъ...

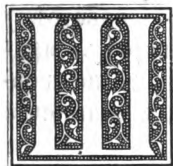




НЕСЛЫХАННОЕ ДѢЛО.

ПОВѢСТЬ.

I.



Мли первые годы царствованія императора Александра, любимаго внука великой монархини, уже обожаемаго всей Россіей, оставшагося въ исторіи съ громкимъ, многозначачимъ наименованіемъ

«Благословеннаго».

Послѣ недолгаго, но тяжелаго царствованія Петра Петровича, по всей Руси великой вздохнулось свободнѣе, дышалось легче, отлегло отъ сердца.

Новые добрые побѣги появились на новой пашнѣ, и все обѣщало дивные зелены, а затѣмъ и безпримѣрный урежай...

Но природа дѣлала свое дѣло, разумное, законное, и худое, людямъ во вредъ. Среди хлѣбовъ росли, высились, цвѣли и плевелы. Такъ всегда...

„Зараза французская“, проникнувшая на Русь въ послѣдніе дни жизни и правленія великой царицы, была ею замѣчена, ее озаботила, если не испугала, и противъ „заразы“ было выискано „врачеваніе“ сильное, крутое, но, казалось, цѣлебное.

Во дни ея сына, наслѣдовавшаго престолъ и власть, все притихло, все притаилось, и доброе, и худое.

„Зараза французская“, оказалось, жива на Руси, не подда-лась врачеванію, а подспудно только глубже пустила сильнѣйшіе корни.

Якобинство, вольтерьянство и всяческое вольнодумство стали явленіемъ зауряднымъ. А все, что пугало людей скромныхъ, богобоязныхъ и вообще робкихъ, тому за десятокъ лѣтъ, теперь не пугало и не дивило...

— Таково пошло и идетъ!.. А куда приведетъ, одинъ Богъ вѣдаетъ!—говорилось на Руси.

— Царь батюшка молодъ-зеленъ. Самого его захватила она.

И это была правда. „Она“, зараза эта, отчасти овладѣла и юнымъ государемъ, прельстила его молодой разумъ, чистую душу, жажду откровенія свыше. А какъ часто дьяволъ иску-ситель говорить языкомъ якобы святыхъ апостоловъ, морочить и губить.

И, захвативъ слегка самого монарха, «она», уже не таяся, пошла гулять по всей Руси.

Сплошь и рядомъ выискивались люди, преимущественно молодые, хорошіе, разумные, которые бросались навстрѣчу «заразѣ», какъ на простое новшество, какъ на карету, ман-жеты или трость новаго фасона, и съ часослова, еще не твер-дые вполнѣ въ грамотѣ, садились прямо за переводъ сочиненій господина сочинителя Вольтера.

Таковъ нашелся и одинъ дворянинъ, молодой и богатый, помѣщикъ кадомскій—князь Гиреевъ.

II.

Князь всталъ рано... Было всего только шесть часовъ, а солнце едва поднялось среди чистаго безоблачнаго неба.

Безвѣтріе, полное затишье въ природѣ, глубина далекая синихъ небесъ, все предвѣщало снова, какъ ужъ шло давно, жаркій, душный, томительный іюльскій день. Даже Ильинъ день миновалъ безъ грозы и безъ дождя. Илья пророкъ не сказался.

Когда въ огромной усадьбѣ, богатой и красивой, старъ и малъ узнали, всѣ, крѣпостные рабы, и приживальщики, что баринъ князь поднялся ранехонько, раньше своего часа, то всѣ равно и одинаково нахмурились.

— Паки пришло!—говорили всѣ, встрѣчаясь.

А встанетъ когда баринъ въ необычно ранній часъ, то пойдетъ сумятица.

„Что да какъ? Чему быть?“

Начнетъ барина донимать немогота, пойдутъ всякія его нескончаемыя „мысли“. И пуще всего эти его мысли, отчаянныя, неподобныя... А тамъ уже въ концѣ концовъ явится какая затѣя, новая и диковинная. Или самъ онъ надумается до нея, или кто изъ своихъ, ради его утѣшенія, надсядится и измыслить.

И все поднимается на ноги, и начинается сутолока, какъ „изобразить“ надуманное воочию.

Спасибо еще, что баринъ князь добрая душа, и отъ его немоготы никому худо не бываетъ.

Князь Самсонъ Ивановичъ Гиреевъ былъ извѣстенъ во всей губерніи, какъ самый богатый дворянинъ, самый статный и красивый, умный и пріятный, но вмѣстѣ съ тѣмъ несчастный, будто сглаженный или порченый съ рожденья. „Глазъ“ сказывался въ томъ, что на князя Гиреева находилъ „стихъ“, но особый, не злобивый, не пагубный и лихой для окружающихъ, не буянство или озорство, а какая-то удивительная тоска, тяжелѣйшая, прямо, „черная немочь“. Никто не зналъ, да и самъ онъ не понималъ, что это за хворость, отчего и откуда она, какъ съ ней быть и чѣмъ отъ нея избавиться навсегда. Можно было отбояриться отъ нея только на время.

Всѣ любили добраго князя и жалѣли его. Были, однако, въ округѣ люди, которые поясняли его хворость по-своему и запросто.

— Съ жиру бѣсится! Все есть. Ну, и подай мнѣ того, чего на свѣтѣ нѣтъ и не бываетъ.

Многіе такое сужденіе о князѣ Самсонѣ Ивановичѣ считали несправедливымъ и обиднымъ, но тоже многіе мысленно и втайнѣ соглашались, что, пожалуй, оно отчасти и вѣрно.

У князя было огромное состояніе. Помимо его резиденціи, было еще шесть вотчинъ и шесть просторныхъ усадебъ, стоявшихъ запертыми. А сколько въ каждомъ имѣніи было приписанныхъ деревень и сколько тысячъ душъ крестьянъ, самъ онъ не зналъ, все собирался привести въ извѣстность и все откладывалъ, говоря: „На что оно нужно? Коли есть такіе, что оброка не платятъ, то и Богъ съ ними!“

Лѣтъ пять назадъ Гиреевъ узналъ, что у него есть двѣ деревни съ лѣсами и полями въ Саратовской губерніи на рѣкѣ

Волгѣ, завѣщанная ему дальней родственницей, умершей уже лѣтъ пятнадцать назадъ. Чиновникъ стрикулистъ изъ города заявилъ ему объ этомъ и доставилъ доказательства, всякіе документы, а затѣмъ вызывался собрать съ крестьянъ и оброкъ за всѣ пятнадцать лѣтъ.

— Собрать нельзя, — сострилъ князь. — Не смогутъ уплатить никакъ. Содрать можно. Стало быть, или „буки“ или „добро“. Ну, а этакого добра я не желаю.

И постоянно, во всемъ, всегда князь Самсонъ Ивановичъ дѣйствовалъ такъ, что общій голосъ въ намѣстничествѣ повторялъ:

— Да. Чтожъ? Человѣкъ, вѣстимо, сердечный... Все бы хорошо, кабы не баба, кабы его не одолѣла она.

Вся бѣда заключалась въ томъ, что добраго князя, золотое сердце, приходилось то и дѣло „прощать“, приходилось спускать ему то, за что другою человѣка, своего брата дворянина, растерзали бы на части. У князя была одна слабость, даже порокъ и большой, огромный. Онъ былъ безпримѣрный бабій угодникъ, или, какъ тогда выражались, „махатель“. Оно было не въ диковину, среди дворянъ, но онъ хваталъ уже чрезъ край; князь вѣчно бывалъ увлеченъ или влюбленъ въ какую-нибудь красавицу. И каждый разъ, что онъ влюблялся, всегда, вдругъ, сразу, каждый разъ онъ дѣлалъ все на свѣтъ, шелъ на все безъ исключенія, чтобы овладѣть предметомъ своей страсти. Случалось же подобное увлеченіе какой-либо женщиной иногда раза четыре въ одинъ годъ. Никакое увлеченіе его болѣе полугода никогда не длилось, а иное длилось мѣсяцъ, шесть недѣль. Случалось, что красавицу, которая его съ ума сводила вначалѣ, онъ чрезъ короткое время ненавидѣлъ, не могъ видѣть и восклицалъ почти злобно:

— Да гдѣ же у меня глаза были, когда меня этотъ идоловъ прельстилъ?

И сколько перебивало въ его Троицкомъ любимицъ и наперсницъ всякаго рода, не только русскихъ, но и иноземокъ, даже цыганокъ, татарокъ и евреекъ, никто счесть и упомнить не могъ.

Впрочемъ, въ усадьбѣ и свои, и чужіе, и дворяне, и гости, являвшіеся къ князю, не обращали на очередную прелестницу никакого вниманія. Пріѣздъ или привозъ новой красавицы, а равно ея отвозъ изъ усадьбы никого не удивлялъ и не озабочивалъ. Каждая изъ нихъ увѣждала или изгонялась вдругъ,

внезапно, какъ если бы сама совершила что-нибудь зазорное или оскорбительное для князя.

Въ дѣйствительности ничего такого не бывало. Просто, безъ повода, невѣдомо почему, князь вдругъ ощущалъ чрезвычайное отвращеніе къ своему предмету увлеченія и тотчасъ спѣшилъ съ изгнаньемъ, спѣшилъ избавиться отъ присутствія въ домѣ ненавистнаго существа.

Такимъ образомъ, сегодня прелестное существо становилось завтра ненавистнымъ существомъ — князь не зналъ, когда-то старался уяснить себѣ эту загадку, ни до чего не достигъ, не додумался и бросилъ...

— Таковъ, стало быть, уродился,—говорилъ онъ.

Иногда же близкимъ друзьямъ онъ сообщалъ:

— Мудрено это уразумѣть и пояснить. Скажу такъ... Всякая такая красавица для меня то же, что книжка. Прочелъ, и на полку. А нешто можно, прочитать до конца, опять, хоть десять разъ, начинать сызнава... Да и потомъ каждая такая для меня въ скорости — объѣдки. И мои же, да все-таки объѣдки.

Жизнь князя въ вотчинѣ шла полосами съ тѣхъ поръ, что ему, круглому сиротѣ,—безъ единой души даже дальнихъ родственникововъ,—минуло двадцать три года, а теперь ему было безъ малаго тридцать три года. Пѣлыхъ десять лѣтъ прожилъ онъ, какъ одинъ день, на одинъ ладъ „то на лицо, то на изнанку“, какъ, шутя, выражался онъ.

Жизнь на лицо—было переполненіе усадьбы гостями и всякія затѣи, смотря по времени года, но всегда одинаково, кутежъ, попойки, карты и всякій „азартъ“ или озорство. Впрочемъ, въ игрѣ и въ озорствѣ князь лично участія иногда не принималъ, а только глядѣлъ...

Однажды, ради потѣхи, князь дозволилъ гостямъ устроить „неронову иллюминацію“. Среди темной лѣтней ночи, ради потѣхи, подожгли и сожгли дотла ригу, конечно, пустую...

Жизнь на изнанку была полная, глухая тишина въ усадьбѣ. Гостямъ, ни единому, не дозволялось оставаться въ домѣ, а дворовымъ указывалось вести себя тишайше. Баринъ садился въ своемъ кабинетѣ и читалъ... Преимущественно читалъ онъ по-французски Вольтера, Руссо и Дидерота. Читалъ онъ днемъ, читалъ онъ ночью, дѣлая изъ дня ночь, вставая въ полдень и послѣ полудня. Но это было—слава Богу! Было хуже, когда, вмѣсто чтенія, князь, ничего не дѣлая, сновалъ по дому или

по саду и усадьбѣ, мучимый своими мыслями и, стало быть, невѣдомой тоской душевной, отъ которой лѣкарства не было...

На этотъ разъ немоща пришла вдругъ, была недавно и опять явилась.

При первомъ извѣстїи, что барину неможется снова, и что онъ бродилъ по дому, двое дворовыхъ бросились доложить объ этомъ самому уважаемому человѣку въ домѣ, буфетчику Ферапонту Кузьмичу, уже шестидесятилѣтнему слугѣ.

Ферапонтъ явился, поглядѣлъ на барина и угрюмо выговорилъ:

— Неужто опять васъ разобрала лихоманка? Опять неможется?

— Нѣтъ, ничего,—промычалъ князь.

— Томить, все-таки?

— Такъ, малость,—почти смущаясь и будто робко замѣтилъ князь.

— Дослать за Адамомъ Адамовичемъ?

— Зачѣмъ? Не надо! Самъ придетъ. Не спѣхъ!

— Разговорить... Лучше будетъ. Разругаетъ вотъ какъ слѣдуетъ, ну, и полегчаетъ малость.

— Дуракъ ты...

— Знаю, что дуракъ. Токмо не изъ глухихъ.

— Набалованъ,—проворчалъ князь угрюмѣе.—Кабы я былъ строгій помѣщикъ, то вы бы, холопы, со мной такихъ рѣчей не вели.

— Вѣстимо, кабы вы были люты, какъ вотъ генеральша Сельверстова или Сосновскій помѣщикъ, то никто бы не смѣлъ съ вами слова молвить.

— Слово молвить?—слегка дернувъ плечами князь.—Вы все грубите. А ты пуще всѣхъ, потому что никогда наказанъ не былъ.

— Вѣдь вотъ, ей-Богу!—воскликнулъ Ферапонтъ, раздражаясь.—Знай, попрекаете. Просто не въ моготу. Ей-Богу! Ну, прикажите наказать. Что же? Зачѣмъ дѣло стало? Ваша воля. А мнѣ лучше, чтобы меня выпороли, чѣмъ всегда слышать эти попреки. Вы сказываете, что я будто бы...

— Ну, буде! буде! Надоѣло. Все то же вѣкъ...

— Нѣтъ, не буде. Нѣтъ, погоди, баринъ,—прервалъ Ферапонтъ въ азартѣ.—Этакъ нельзя. Ты сказываешь, что я хвастаюсь, что у тебя въ трехъ состою... Якимъ кучеръ,

ключникъ Юшка, да я... непоротые николи. Ну, и пушай они двое остаются. А меня прикажи выпороть. Сейчасъ...

— Слышалъ я это. Сто тысячъ разъ слышалъ,—нетерпѣливо, но и жалобно выговорилъ князь.—Уволь, Фералонтъ Кузьмичъ, ради Создателя. И безъ тебя тошно. Уволь.

— Такъ не попрекайте. Мнѣ ваши попреки хуже розогъ. Что онѣ? Погорить, пожжетъ денекъ и заживетъ... У насъ вѣдь порютъ не такъ, какъ у другихъ помѣщиковъ. У насъ примѣръ одинъ, обманъ одинъ, а не порка. Всѣ это знаютъ. А попреки мнѣ ваши поперекъ горла стоятъ. Есть за что—накажите. Вы—баринъ нашъ, владыко. Не за что—то помалкиваете. Такъ-то, сударь.

Князь вздохнулъ тяжело и отвернулся.

— Ну, не буду, вижу, что вамъ нехорошо,—съ чувствомъ заговорилъ Фералонтъ.—Ну, что же, родной мой, надумай что. Выѣзжаете, хоть въ Москву, что ли, соберитесь.

III.

Въ это же время въ саду прогуливался, медленно и тяжело ступая большими ногами, плотный человекъ, широкоплечій, съ богатырской, выпятившейся грудью. Лицо его полное, даже отчасти жирное, было безъ всякаго выраженія, казалось даже глупо сонливымъ или безжизненнымъ. Но лишь казалось таковымъ, такъ какъ онъ глядѣлъ въ землю.

Подойдя къ кусту бузины, онъ поднялъ глаза, и лицо его сразу преобразилось. Большіе, черные, яркіе глаза, въ которыхъ свѣтились, даже будто искрились, умъ и воля, въ мгновеніе озарили толстое мясистое лицо и сдѣлали его оживленно энергичнымъ.

Поднявъ правую руку, въ которой былъ пучекъ разныхъ цвѣтовъ, отъ розъ и жасминовъ до простыхъ полевыхъ цвѣтиковъ, колокольчиковъ и ромашки, онъ сталъ съ усиленіемъ стараться сорвать вѣтку. Дѣло не клеилось. Пучекъ цвѣтовъ былъ слишкомъ толстъ, и можно было освободить лишь одинъ указательный палецъ. А имъ однимъ вѣтку сломать не было возможности. Помочь другой рукой, лѣвой, было нельзя. Она была далеко... Отъ нея отъ всей, отъ плеча до пальцевъ, оставались теперь гдѣ-нибудь однѣ лишь косточки... гдѣ-нибудь на глубинѣ Чернаго моря.

Лѣвая рука была унесена ядромъ въ сраженіи, гдѣ немало легло русскихъ героевъ, но тѣма тѣмущая турокъ.

Инвалидъ, заслуженный воинъ, теперь уже пятидесятилѣтній человѣкъ, былъ отставной лейтенантъ флота, герой Чесменскаго сраженія, дворянинъ родомъ, а происхожденіемъ невѣдомо откуда. Отецъ его былъ помѣщикомъ Калужской губерніи, самъ онъ родился въ Парижѣ. Дѣдъ его, котораго онъ хорошо помнилъ, былъ тоже истый россиянинъ, по виду, говору и привычкамъ, но въ церковь не ходилъ, у исповѣди и причастія не бывалъ. Разъ въ годъ онъ ѣздилъ куда-то далеко, чтобы говѣть по-своему.

Зато отецъ и мать были особенно богомольны и, конечно, совсѣмъ россияне по рожденію и по вѣрѣ. А между тѣмъ, чесменскій герой носилъ довольно рѣдкое на Руси имя: Адамъ. Такъ же звались и его отецъ, и дѣдъ, и прадѣдъ. Всѣ они назывались Адамами Адамовичами, а вдобавокъ по фамиліи были уже совсѣмъ какъ бы чужды и Руси, и православію. Фамилія, вѣроятно, голландскаго происхожденія, была—Ваастъ. Дѣдъ и отецъ говаривали, что они изъ Саардама родомъ, и первый Адамъ Ваастъ помогаль вѣнценосному плотнику Михайлову топоромъ и рубанкомъ, а затѣмъ двинулся въ Россію вслѣдъ за великимъ императоромъ. Этотъ первый Адамъ Ваастъ ничѣмъ не отличился особенно на берегахъ Невы, но нажилъ порядочное состояніе, которое оставилъ сыну. Второй Адамъ Ваастъ былъ уже извѣстнымъ въ Петербургѣ банкиромъ. Но у третьяго Адама Вааста, уже православнаго, былъ лишь маленький домикъ на Васильевскомъ островѣ. Женившись на богатой дѣвушкѣ, онъ купилъ имѣніе и сталъ калужскимъ помѣщикомъ и пріютилъ у себя и разорившагося банкира-отца.

Калужанинъ сталъ называться уже иначе. Онъ не былъ Ваастъ, а былъ Вастовъ. Его отецъ продолжалъ себя называть по-старому, и по его же настоянію внукъ былъ отданъ въ морской корпусъ съ пропиской настоящей фамиліи. Когда морякъ прослужилъ двѣнадцать лѣтъ во флотѣ, сталъ инвалидомъ и, выйдя въ отставку, явился наследовать послѣ отца, то оказалось, что онъ, лейтенантъ Ваастъ, калужскій помѣщикъ Вастовъ. И чуть не вышло бѣды. Мѣстные крючкотворы едва не предали дѣла о наследствѣ суду и волокитѣ.

Пришлось герою Чесмы, упомянутому за храбрость въ реляціи о сраженіи, назваться иначе. Вышло, что калужскій

помѣщикъ какъ бы не имѣлъ ничего общаго съ отличившимся лейтенантомъ флота.

— Косточки лѣвой руки, давно обглоданныя рыбушкой и лежащія на днѣ морскомъ,— шутить теперь инвалидъ,— принадлежатъ Адаму Ваасту, а правая здравствующая рука принадлежитъ Адаму Вастову. Онѣ разнофамилицы и даже не родня. Неразумно и несправедливо.

Инвалидъ жилъ теперь съ женой и приемышемъ очень давно въ усадьбѣ у князя Гиреева, почитаясь какъ бы гостемъ, пріѣхавшимъ какъ бы на время.

Всѣ звали безрукаго инвалида, какъ самъ онъ себя называлъ, Ваастомъ, но по бумагамъ калужской гражданской палаты онъ былъ лейтенантомъ флота въ отставкѣ Вастовымъ. Всѣ равно любили Адама Адамовича за ласковость и тихость. Жена его, Анна Ѳоминишна, была въ домѣ „особою“ важной, властной, и проживала «необыкновенно», по выраженію дворни, какъ врядъ ли жила гдѣ-либо какая другая нахлѣбница. Она была, какъ на правахъ родственницы князя, и дѣлала все, что хотѣла, только наказать кого-либо не могла безъ спроса барина, потому что вообще онъ этого не любилъ и допускалъ только при крайней настоятельной необходимости. Во всякомъ случаѣ, женщина пользовалась всякими правами больше, чѣмъ самъ лейтенантъ. Раза два въ мѣсяцъ она посылала нарочнаго въ ближайшій городъ за покупками всякаго рода, отъ ситца до пряниковъ, не спросясь князя, но за его счетъ. Она имѣла свою пару лошадей, свой экипажъ и отдѣльнаго кучера, завела, ради прихоти, свой отдѣльный огородъ.

На замѣчанія, хотя рѣдкія, мужа, что она „самоуправствуетъ“ не въ мѣру, Анна Ѳоминишна отвѣчала неизмѣнно: — Это не твое дѣло. Это наше съ княземъ дѣло и до тебя касательства никакого не имѣеть.

Князь любилъ и баловалъ толстую краснолицую «матушку Ваастшу» по особой причинѣ. Она гадала на картахъ довольно искусно, а князь обожалъ гадать, въ особенности въ минуты тоски. Онъ одинаково вѣрилъ и въ то, что говорилъ о христіанской религіи госнодинъ Вольтеръ, и въ то, что говорила девятка пикъ, особенно, когда ляжетъ слѣва, да еще — поминудь Богъ — вмѣстѣ съ тузомъ пикъ, да еще въ головахъ.

Самъ Ваастъ серьезно задумывался надъ этимъ:

«Какъ же такъ? Угодниковъ Божіихъ нѣту, а пики есть?»

Чесменскій герой и его жена не считались, однако, простыми обыкновенными приживальщиками или нахлѣбниками, Они были гостями и друзьями князя Гиреева. Правда, что Ваастъ прѣхалъ въ усадьбу дѣйствительно гостемъ около десяти лѣтъ назадъ. Но, выписавъ жену на время и собираясь снова уѣхать «къ себѣ» домой, онъ жилъ безвыѣздно.

А гдѣ именно находилось его собственное помѣстье, никому не было извѣстно.

Кромѣ того, Ваастъ жилъ широко, и съ женой и съ воспитанникомъ-отрокомъ, Ефимушкой, занималъ цѣлый апартаментъ въ семь комнатъ, имѣя четырехъ человекъ прислуги, и вель отдѣльное хозяйство. Обѣдая всегда у себя, онъ только ужиналъ часто съ княземъ, но жена его, Анна Ѳомишна и пріемышъ почти никогда за столъ князя не приглашались, кромѣ праздниковъ.

Ваастъ часто по поводу чего-либо говорилъ гордо и даже гнѣвно:

— Что я? Нахлѣбникъ, что ли, здѣсь? Я въ гостяхъ. Нынѣ здѣсь, а завтра домой соберусь.

Вполнѣ правдивый, прямой и чистосердечный человекъ, онъ какъ будто самъ себя обманывалъ и въ томъ, что онъ гость князя, и въ томъ, что ему есть куда ѣхать «домой».

Между тѣмъ, маленькое имѣньице, остатокъ отъ вотчины отца въ Тарусскомъ уѣздѣ, было давно продано, въ самомъ же городѣ губернскомъ Калугѣ у Вааста дѣйствительно былъ „домъ“, десятка четыре квадратныхъ сажень земли и хибарка въ три комнаты со сгнившей крышей и съ развалившейся печью. Вдобавокъ это владѣніе было на окраинѣ города и по оцѣнкѣ стоило менѣе ста рублей. Но Ваастъ разсуждалъ особо и говорилъ себѣ самому:

— Чѣмъ не домъ? Если поправить, пристроить большую столовую и настоящую кухню вмѣсто чулана, да прикупить у сосѣда съ полъ-десятины, то совсѣмъ достойно будетъ. Для офицера и дворянина не зазорно...

Это разсужденіе было вѣрно вполнѣ, но...

Но денегъ на такое устройство у лейтенанта, конечно, не было, а равно не имѣлось и въ виду. Все-таки мысль о «домѣ» въ Калугѣ и объ устройствѣ его позволяла Ваасту обманывать самого себя среди знакомыхъ князя и заявлять при каждомъ случаѣ горделиво:

— Я же вѣдь не нахлѣбникъ здѣсь. Если что, я уѣду домой.

Впрочемъ, за эти десять лѣтъ, проведенныхъ съ княземъ, лейтенантъ настолько привыкъ и такъ относился къ доброму Самсону Ивановичу, вдобавокъ одинокому и несчастливому, что врядъ ли былъ теперь способенъ покинуть усадьбу. И не себялюбие или личная выгода, а искренняя привязанность къ другу удержала бы его.

Онъ былъ глубоко увѣренъ, что необходимъ „порченому и стиховому“ князю Гиреву. И отчасти онъ, конечно, правъ былъ.

IV.

Когда Ваастъ ухитрился однимъ пальцемъ сорвать вѣтку и двинулся по большой аллеѣ, то увидѣлъ, что дворовый Сергѣй бѣжить въ его сторону и очевидно къ нему. Онъ остановился и дождался.

— Что?—спросилъ онъ издалека.—До меня?

— Да вотъ, Адамъ Адамовичъ, баринъ князь приказалъ позвать.

— Поднялся? Въ сей часъ? Худо что ли?—удивился Ваастъ.

Да, въ диванной сидѣлъ. Теперь опять по всѣмъ комнатамъ пошелъ.

-- Паки захватило?

— Точно такъ-съ.

Еще пуще, пожалуй...

— Да-съ, пуще, надо думать.

— Ишь вѣдь. Я думалъ, на этотъ разъ не скоро будетъ...

А давно ли по-твоему было, Сережа?

— Совсѣмъ недавно, Адамъ Адамовичъ,—отвѣтилъ Сергѣй, какъ бы соображая и вспоминая.—Да, вотъ, стало быть, пять недѣль шестая.

— Почему же ты такъ полагаешь? Зря?

— Никакъ нѣтъ-съ. Кончилось съ нимъ, когда эта самая Фальдалена Викторовна пріѣхала.

Адольфина, дуракъ.

— Ну, Дальфолина, что ль? Когда она прибыла, то Матрена, коровница, середь дороги приспичилась и родила... Помните, всѣ смѣялись... Ну, вотъ... А въ тотъ день Петрову посту недѣля вышла... Ну, вотъ и считайте.

Ваастъ расчелъ мысленно и выговорилъ:

— Вѣрно, Сережа, пять недѣль. Живо опять пришла. Что если этакъ-то зачистить? Что намъ тогда подѣлать, голубчикъ?

— Ужъ и не говорите. Прежде, бывало, по шести мѣсяцевъ сходило въ порядкѣ, а теперь вона... Пять недѣль.

— Когда же это было-то? По полугоду. Десять лѣтъ назадъ, когда и меня, стало, тутъ не было еще... Ну, что же?.. Ступай. Скажи, иду. Только вотъ цвѣтики донесу Аннѣ Ѳоминишнѣ.

Дворовой побѣжалъ къ дому, а Ваастъ двинулся медленно и озабоченно глядѣлъ по сторонамъ, будто искалъ отвѣта на докучливую мысль, возникшую вдругъ у него въ головѣ.

А мысль эта, внезапная и показавшаяся ему удивительною,—была:

— А что если новое что измыслить? Новое, особое, такое, чего онъ не продѣлывалъ. Да.

И чрезъ минуту онъ забормоталъ вслухъ:

— Да, вѣрно, новое, особенное, забористое. Это хорошо. Только вотъ что нехорошо... Что собственно? Да. Что измыслить? Кто это самое новое выдумаетъ? Я не гораздъ. Ферापонтъинъ бываетъ гораздъ, а инъ—прямо чурбанъ. А если бы этакое особенное измыслить, можно бы его на цѣлый годъ излѣчить...

Черезъ четверть часа Ваастъ шелъ уже по большимъ параднымъ комнатамъ дома, тихимъ и пустыннымъ. Убранство было богатое, чистота и порядокъ повсюду примѣрные, всякое кресло стояло на томъ своемъ мѣстѣ, гдѣ ему опредѣлили стоять лѣтъ тридцать назадъ, еще при покойномъ отцѣ владѣльца. Солнце ярко свѣтило въ окна, позолота на мебели и золотыя рамы картинъ и портретовъ, красивая бронза на шкафахъ, тумбахъ и въ воздухѣ, въ видѣ люстръ, — все сіяло и сверкало весело.

А между тѣмъ вся длинная амфилада комнатъ имѣла особый, если не унылый, то суровый видъ, холодный, непривѣтливый, недружелюбный... Ваастъ говорилъ всегда, что весь барскій домъ „поглядываетъ исподлобья на всѣхъ, будто досадуетъ и злится, что его въ одиночествѣ содержатъ. А будь здѣсь людно,—прибавлялъ онъ,—будь хозяйка, дѣти, родственники, совсѣмъ бы другая усадьба была, а домъ глядѣлъ бы на тебя, будто сказывая: милости прошу. А теперь онъ будто сказываетъ: ну-те къ чорту! Чего прилѣзъ? А оравы пьяныхъ гостей на время онъ въ счетъ не принимаетъ“.

Пройдя всѣ комнаты, три гостиныхъ, диванную, билліардную и портретную, Ваастъ нигдѣ не нашелъ князя. Оставалась маленькая комнатка въ углѣ дома, которая называлась «фонарь», такъ какъ была не что иное, какъ терраса со стѣнками и крышей изъ большихъ рамъ съ разноцвѣтными стеклами.

Въ фонарѣ князь никогда не бывалъ. Зимой въ немъ всегда было свѣжо, а лѣтомъ душно, такъ какъ рамы не отворялись. Однако Ваастъ заглянулъ въ фонарь и увидѣлъ князя.

Гиреевъ сидѣлъ въ низкомъ креслѣ, вытянувъ ноги, согнувшись, съ руками на колѣняхъ. Голова была опущена, а по позѣ и неподвижности всей фигуры ясно было видно, что онъ глубоко и давно задумался.

Ваастъ сталъ на порогѣ и началъ молча глядѣть на сидящаго. Красивый брюнетъ, сравнительно очень молодой, статный и стройный, теперь, въ этой позѣ и въ этой задумчивости, показался бы иному сорокалѣтнимъ, болѣзненнымъ чело­вѣкомъ, и неуклюжимъ, и разслабленнымъ.

Ваастъ приглядѣлся къ князю, котораго давно зналъ и хорошо изучилъ, и подумалъ:

„Да, и шибко. На сей разъ въ самомъ дѣлѣ пуще будетъ“. И постоявъ еще нѣсколько мгновений, молча и не двигаясь, чтобы испытать, насколько князь „ушелъ въ себя“, Ваастъ наконецъ кашлянулъ. Но князь и этого не замѣтилъ.

„Ну, здорово захворалъ“,—подумалъ онъ и вздохнулъ, со­жалѣя и сочувствуя. — Дослать, что ли, сейчасъ Анну Оми­нишну съ картами? Нѣтъ. Поутру нельзя. Сказываетъ, видишь, что карты ея токмо при свѣчахъ ложатся взаправду, а при солнышкѣ мошенничаютъ, врутъ“.

И постоявъ Ваастъ выговорилъ громко:

— Эй, родимый Самсонъ Иванычъ, опять, стало быть?..

Князь глянулъ уныло и тихо вымолвилъ:

— Опять.

— Да-а. Вона какъ?.. И съ чего бы этакъ вскорѣ да паки?

— Тяжело. Просто сейчасъ бы вотъ...

— Руки на себя?—прибавилъ Ваастъ, зная впередъ.

Князь двинулъ плечомъ, какъ бы говоря: «Понятно, что же другое».

— Да-а, всѣмъ лѣкарствіямъ самое главное и послѣднее.

— Помоги, Адамъ Адамовичъ, чѣмъ шутить-то.

— Помоги? Легко сказать. Я всего три средства знаю: жениться, постричься и удавиться.

— Не до смѣху мнѣ,—укоризненно отозвался князь.

— А мнѣ? Намъ всѣмъ?.. Нешто до смѣху? Мы всѣ васъ любимъ. Да что же тутъ подѣлаешь? И главная бѣда, что больно ужъ зачатило. Пять недѣль тому приключилось и прошло. А теперь опять...

— Помоги. Надумай что...

— Поѣдемъ.

— Поѣдемъ? Боюсь, и это ни къ чему будетъ. Что же все ѣздить?

— Ну, гостей назовемъ. Кутежъ и безобразіе всякое учинять начнемъ, какъ въ прошломъ маѣ... Можетъ, и полегчаетъ.

— Нѣтъ... Знаю, что нѣтъ. Ничего не полегчаетъ. Тогда я захворалъ отъ усталости послѣ всѣхъ безобразій на охотѣ, и представилось мнѣ, что я помираю. Ну, отъ страха все и прошло. Не отъ гостей, Адамъ Адамовичъ, а отъ страха смерти. Пойми.

— Ваастъ вздохнулъ и задумался.

— Помоги. Надумай что-нибудь! — прервалъ князь молчаніе.

— Ну, а Адольфина Викторовна?

— Что?

— Приѣлась, опостылѣла?

— Пуще горькой рѣдьки. Вотъ что, Адамъ Адамовичъ...

Князь вдругъ оживился и заговорилъ бодрѣ:

— Иди сейчасъ. Гони ее вонъ... Увижу, что увѣжаетъ, мнѣ малость полегчаетъ. Иди... скорѣ!

— Извольте.

— Только, Бога ради, скорѣ! Чтобы она не копалась...

— Не бойтесь. У нея все готово. Все уложено. Только денегъ дать. А сколько прикажите выдать?

— Почему все готово?—воскликнулъ князь удивленный.

— Я ее третьяго дня предупредилъ, чтобы собиралась, что будетъ приказъ убираться.

— Почему же ты это будто почувалъ?

— Эхъ, Самсонъ Ивановъ. Я десять лѣтъ васъ знаю. Видѣлъ уже съ недѣлю назадъ, что Адольфина запретила вамъ и рѣдькой становится.

— Какъ же ты видишь, когда я еще не вижу?

— Со стороны виднѣе. Да я тебя, сударь, больше знаю, чѣмъ самъ ты себя. Ну, стало, пойду ее спроваживать.

И лейтенантъ двинулся черезъ весь домъ.

Отдѣлаться отъ „прелестницы“, жившей въ домѣ, въ антресоляхъ, всегда поручалось Ваасту. Князю бывало всегда неприятно, совѣстно сдѣлать это лично.

Прежде всего онъ не выносилъ ничьихъ слезъ, въ данномъ случаѣ неизбежныхъ, и не могъ устоять противъ просьбъ и моленій, хотя бы въ полный ущербъ себѣ или своему карману.

Лейтенантъ никогда не оправдывалъ внезапнаго изгнанія вчерашняго идола, зная, что его вскорѣ замѣнитъ другой, пожалуй, худшій... Но разъ получалъ приказаніе, онъ исполнялъ порученное ему твердо, энергично и быстро, соблюдая при томъ интересы друга-покровителя, но ставя выше всего справедливость.

Однажды ему пришлось года четыре назадъ «вытуривать» и „выкуривать“ чаложницу молдаванку съ мудренымъ прозвищемъ, которая заявила, что безъ свиданія съ княземъ не выдѣтъ. Ваастъ приказалъ ее связать, самъ вывезъ въ каретѣ «лежачую» и довезъ самъ до города.

Въ другой разъ онъ выгналъ одну прелестницу, не давъ ей ни гроша изъ той суммы, что опредѣлилъ князь, а вдобавокъ выгналъ на село пѣшкомъ, гдѣ она наняла телѣгу у мужика. За что такъ круто поступилъ Ваастъ, онъ не объяснилъ князю, возвращая деньги. Но, одновременно встрѣтивъ въ коридорѣ дворового Михайлу, красавца „столового“, носившаго всегда кушанья обитательницамъ антресолей, лейтенантъ погрозился и проговорилъ:

— Ничего Самсону Ивановичу не скажу. Но если такое повторится, то знай... Добрь князь нашъ, а за этакое можно у него и въ солдаты улетѣть. А кушанье впредь на антресоли носить, какая бы тамъ опять ни завелась, откажись самъ, проси, чтобы уволили; скажи, ноги заболѣли, или соври что...

Въ другой разъ, отправляя молодую дѣвушку, изъ русскихъ, купеческую дочку, которая пробыла въ усадьбѣ не болѣе двухъ недѣль, Ваастъ выговорилъ у князя ей въ награду вдвое противъ того, что тотъ хотѣлъ дать.

— За ея простомысліе,—объяснялъ онъ.

— Да я ее и гоню-то за это, что она дура деревенская, такъ какъ же за это же и награждать?—смѣялся князь.

— Кто простъ разумомъ, тотъ чистъ сердцемъ, девяносто разъ на сто!—объяснилъ Ваастъ.

Теперь послѣ бесѣды съ Гиреевымъ, получивъ предписаніе «вытуривать» наложницу Адольфину, лейтенантъ пошелъ заявить нѣмкѣ, что лошадей сейчасъ подадутъ, и передалъ ей отъ барина триста рублей. Нѣмка сидѣла съ уложенными уже три дня сундуками, такъ какъ онъ уже ее предупредилъ, что ждетъ ея отставки ежечасно.

По отъѣздѣ нѣмки тотчасъ же принялись за чистку антресолей, чтобы приготовить ихъ къ прибытію... невѣдомой, слѣдующей, которой числомъ,—всѣ давно и счетъ потеряли.

V.

Всякій въ краѣ на сто версть кругомъ зналъ мѣстность прозвѣщемъ „Пустой Валъ“. Но была и усадьба того же имени. Валу, сказывали, больше ста лѣтъ, а на это старожилы и люди поумнѣ смѣялись.

— Сто? И всѣ пять или шесть сотъ. Что за валъ и откудова онъ, самъ содѣлался или его люди соорудили, — одному Богу извѣстно.

Усадьбѣ было немного годовъ, около полста. Старожилы постарѣе, посѣдѣе, подряхлѣе, помнили, что мѣсто, гдѣ стоялъ барскій домъ, службы, разросся фруктовый садъ, и гдѣ невдалекѣ виднѣлась деревушка, дворовъ съ десятокъ,—все это мѣсто было просто лѣсная опушка. Теперь, при выѣздѣ изъ лѣса въ поле, лицомъ къ дорогѣ, стоялъ сѣрый домъ съ четырьмя колоннами и террасой, предъ нимъ былъ палисадникъ весь въ цвѣтахъ, съ кустами розъ, жасминовъ и сирени, съ клумбами, гдѣ лѣтомъ земли не видать было отъ всякаго оранжерейнаго цвѣта. Предъ домомъ черезъ дорогу стояла маленькая церковь, не столь давней постройки. По бокамъ дома было въ родѣ двухъ флигелей, на видѣ барскихъ, двѣ службы дворовыхъ людей, которымъ жилось здѣсь, какъ у Христа за пазухой. Господа были такіе...

А тамъ дальше, за широкимъ дворомъ, шла конюшня, сарай всякіе, рига, овинъ и всякое, что бываетъ у хорошаго хозяина съ достаткомъ, далѣе скотный дворъ, большой птичный дворъ, и двѣ оранжереи, за которыми начинался садъ съ молодыми, но уже тѣнистыми липовыми аллеями, ровесницами постройкамъ усадебнымъ.

На деревнѣ, въ полуверстѣ разстоянія, было нѣчто не совсѣмъ обыкновенное. Всѣ избы были прямыя, не только повалившихся лачугъ не было, но тесовыя крыши, а не соломенные, были на всѣхъ избахъ. И не потому, что лѣсъ былъ близко, тутъ же, ибо въ лѣсу доски не растутъ, а потому, что опять господа были такіе...

Въ усадьбѣ и на деревнѣ всегда было тихо, мирно, будто весело даже и въ будни, но не шумно, а тихо весело, „радостно на душѣ, а не въ глоткѣ“. И никто, ни въ барскомъ домѣ, ни въ службахъ, ни въ избахъ, горемычнымъ себя почета не могъ. Чуть стряется какая бѣда—къ господамъ. И въ тотъ же часъ все наладится, бѣда сгинетъ, потому что господа были такіе...

Это были господа дворяне Глѣбовы. Глава семьи былъ отставной гвардіи Измайловскаго полка капитанъ Андрей Ивановичъ Глѣбовъ.

Было время, давно тому назадъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, отъ окраины большого лѣса сразу разверзлось на далекое пространство открытое поле, уходившее во всѣ края, не вспаханное, повидимому, никогда, усѣянное лѣтомъ всякими полевыми цвѣтами, какіе только водятся на свѣтѣ.

Невдалекѣ отъ лѣса шель грядой рядъ холмовъ, то повыше, то едва видимыхъ, но всѣ длинныя и узкіе, они составляли нѣчто цѣльное, нѣчто не природой, а руками созданное. Вся мѣстность, опушка лѣса и часть поля съ незапамятныхъ временъ назывались, какъ уже сказано выше, „Пустой Валь“.

Лѣтъ съ полъ-вѣка назадъ, появился тутъ какой-то проѣзжіи дворянинъ, военный, съ семействомъ и людьми, съ большимъ обозомъ, на подводахъ котораго была всякая всячина, всякій скарбъ и рухлядь. Дворянинъ облюбовалъ мѣсто, прельстило его поле цвѣтистое съ одной стороны, а съ другой—дремучій лѣсъ.

Не справляясь, чья это земля, помѣщичья или государственная, дворянинъ распорядился по-военному, да по времени и запросто, никому не удивительно...

Онъ, выбравъ мѣсто, нагналъ сосѣднихъ крестьянъ по найму и началъ строиться, валя столѣтнія дерева, преимущественно дубъ и кленъ. Живя лагеремъ или таборомъ, онъ спѣшилъ, чтобъ къ осени быть уже въ благоустроенномъ домѣ. И все поспѣло во время, даже печи, рамы и всякое иное, чего въ лѣсу нельзя было найти, а пришлось доставлять изъ городка за сорокъ верстъ.

Новый помѣщикъ на слѣдующій годъ уже имѣлъ и свой хлѣбъ съ нови, не только свои огороды, а вмѣстѣ съ тѣмъ принялся строить поселокъ и поселять приписныхъ крестьянъ и покупаемыхъ, и просто принимаемыхъ съ вѣтру „подорожныхъ“ бѣглецовъ отъ другихъ помѣщиковъ, или бѣгуновъ изъ городовъ отъ суда и отвѣта. Дворянинъ зналъ, что дѣлалъ, дѣйствуя мастеромъ. Единственное, чего онъ не зналъ — чью землю захватилъ, да еще на цѣлыхъ версты двѣ, три въ окружности. Впрочемъ, новая вотчина не имѣла собственно границъ. Все то, до чего руки не доходили, — оставалось пустынно, въ цѣлту, никому, повидимому, не принадлежало.

Такъ пришла и давность... Возникъ вопросъ о правахъ, явились стрикулисты изъ города, явились и документы, и старожилы понятые, свидѣтельствовавшіе, что усадьба „Пустой Валь“ уже со сто лѣтъ существуетъ. Капитанъ, пожилой вдовецъ, явившійся сюда на поселеніе съ взрослымъ сыномъ и дочерью невѣстой, былъ живъ и теперь...

Но теперь это былъ девяностодвулѣтній старецъ, а съ нимъ жила семья изъ четырехъ душъ, при чемъ въ домѣ было четыре поколѣнія. У старца былъ сынъ, который когда-то, тоже едва совершеннолѣтнимъ молодцомъ, явился сюда и помогалъ въ стройкѣ отцу надзоромъ и порученіями въ городѣ. Впослѣдствіи этотъ второй Глѣбовъ, Андрей, женился и не запросто, а на московской дѣвицѣ изъ княжескаго рода, хотя безприданницѣ. Она принесла съ собою въ усадьбу лишь семь сундуковъ бѣлья и платьевъ, сто аршинъ полотна и триста аршинъ холста посконнаго. Впрочемъ, въ приданомъ была сотенная шуба и серьги съ брилліантами.

Затѣмъ появились на свѣтъ Глѣбовы — третье поколѣніе — сынъ и три дочери, изъ которыхъ была теперь въ усадьбѣ только одна дочь, Прасковья Андреевна, пожилая дѣвица.

Четвертое поколѣніе олицетворяло собой 15-лѣтняя дѣвушка, сирота, правнучка самого Андрея Ивановича, родившаяся на свѣтъ Богъ вѣсть гдѣ, на краю свѣта, на берегахъ Волги и привезенная въ „Пустой Валь“ уже семи лѣтъ отъ роду, когда отецъ ея, давно вдовый, тоже умеръ вдругъ отъ какой-то болѣзни, унесшей половину обитателей цѣлаго города.

Вся жизнь этой семьи прошла въ глуши, на опушкѣ лѣса, передъ огромнымъ полемъ, и не болѣе десяти разъ за полстолѣтія передвинулись члены семьи въ ближайшій губернской городъ или въ Москву. Случалось это всегда вслѣдствіе особо

важныхъ обстоятельствъ жизни: брака, смерти, особой радости или особаго горя.

Главное и наиболѣе долгое отсутствіе случилось тогда, когда на свѣтѣ было только двое Глѣбовыхъ, отецъ и сынъ, и когда сынъ, выискавъ себѣ невѣсту — княжну, вѣнчался съ ней въ Москвѣ. Теперь Глѣбову сыну шелъ семьдесятъ второй годъ, его жевѣ Катеринѣ Петровнѣ было шестьдесятъ семь лѣтъ, ея младшей дочери Прасковѣ, невышедшей замужъ, тоже минуло уже за сорокъ лѣтъ.

Жизнь въ „Пустомъ Валѣ“ за полстолѣтія прошла, промелькнула. Самъ Андрей Ивановичъ помнилъ «вотъ какъ бы позавчера», какъ онъ облюбилъ это мѣсто и строился, а молодецъ сынъ, двадцатилѣтній красавецъ, помогалъ ему и все смущался рѣчью отца, говорившаго:

— Какъ выстроимся, распорядимся, разсядемся, такъ первымъ дѣломъ я тебя, съ Божьяго благословенія, женю. Нужны мнѣ поскорѣ внуки и благодать въ домѣ.

И вотъ вель Андрей Ивановичъ эти рѣчи «какъ бы позавчера», а нынѣ въ домѣ уже дѣвушка невѣста, его не внука, а уже правнучка. А ему самому всего-то восемь лѣтъ осталось до ста. А послѣ ста уже врядъ ли жить доведется.

— Сказываются: продли Богъ вѣку, — говорилъ часто Андрей Ивановичъ. — Стало, живи человекъ одинъ вѣкъ, кто поболѣ, кто поменѣ, а второго вѣку не захватывай, чужой хлѣбъ не заѣдай.

Но самъ Андрей Ивановичъ мысленно желалъ захватить малую толику второго вѣка и чувствовалъ вдобавокъ, что его костямъ на покой, какъ будто бы, и рано.

Чѣмъ онъ былъ лѣтъ двадцать назадъ въ теперешніе годы сына Андрея, тѣмъ онъ и теперь себя видѣлъ. Такъ же почти кушалъ, такъ же почивалъ, только тогда гулялъ больше, по двадцати верстъ дѣлалъ въ шутку, а теперь версты за двѣ поидеть хотъ бы по грибы, и удивительная безпричинная истома въ тѣлѣ ощущается. Сказываютъ, отъ преклонныхъ лѣтъ, можетъ быть, потому, что 92 года все-таки года добрые, десятый десятокъ.

Обидно все-таки одно: зачѣмъ время одолѣваетъ однѣ ноги? Глазомъ старецъ видѣлъ такъ же, какъ и прежде, ушами слышалъ тоже совсѣмъ попрежнему... А ноги стали отказываться. Правда, что если ему объ закладъ побиться съ сыномъ Андреемъ, кто дальше уйдетъ, то онъ 70 - лѣтняго сына, пожа-

луй, за поясъ заткнеть, приневоливъ себя, на версту, на двѣ, обойдетъ. Но это не утѣха и не примѣръ, потому что сынъ Андрей Андреевичъ не въ мѣру выдумалъ старѣться, не по годамъ. Впрочемъ, не онъ одинъ. Андрей Ивановичъ замѣчалъ кругомъ себя и въ дворянахъ, и въ холопахъ новое явленіе.

— Худородіе. Живуть, ѣдятъ, пьютъ — все, какъ и мы бывало. А распускаютъ себя, какъ Андриуша, ранѣй нашего, распозакутся по швамъ, какъ кафтаны, плохо сшитые, стало, такъ Богъ велѣлъ.

Умный человѣкъ архіерей, старый, престарый, объяснилъ однажды Андрею Ивановичу, давно уже тому назадъ, а онъ запомнилъ умное разсужденіе преосвященнаго.

— Вотъ жили ветхозавѣтные патріархи вѣками или сотнями годовъ, а мы до ста дотягиваемъ только, а наши дѣтки и того не могутъ. И наступитъ время, страшно подумать, что будетъ. Будутъ старики тридцатилѣтніе, сѣдые и морщинистые на второмъ десятѣѣ. Можетъ, отъ того, что люди Бога гнѣвять, живутъ не постарому, говѣютъ хорошо, если два въ году, а главное такія мысли заводятъ въ головѣ, отъ коихъ сгораютъ крсьв.

Старець зналъ, что сынъ Андрей Андреевичъ далеко не изъ таковыхъ. „Богъ съ нимъ“. Стало-быть, времена наступаютъ „краткосрочныя для человѣка“. И онъ былъ радъ, что родился въ „свое“ время, а не „ихнее“.

VI.

По всей Руси среди маловѣровъ и невѣровъ, которые расплодились и распложатся все пуще,—разсуждали люди смиренномудрые и смущенные окружающимъ,—стали плодиться и люди особо благочестивые, которыхъ прежде было несравненно много меньше. И такъ, выходитъ, что если врагъ чело-вѣческой преуспѣваетъ въ своихъ навожденіяхъ зла, искушенія и грѣха на людей, то и Господь по благодати своей посылаетъ на землю угодныхъ Себѣ, истинныхъ праведниковъ. И если таковые не могутъ сравняться со святыми подвижниками древнихъ временъ, то все-таки проявляютъ такой образецъ жизни, который напоминаетъ времена этого подвижничества и можетъ радовать и умиротворять души истинныхъ христіанъ, напуганныхъ всѣмъ тѣмъ, что стало твориться на свѣтѣ отъ

заразы душевной. Оно такъ и быть долженствуетъ. Во дни одолѣнья не въ мѣру врагомъ человѣческимъ всегда появляются среди людей Божьи угодники и пророки.

Къ числу воистину такихъ, чуть не праведныхъ, людей, разсыпанныхъ по лицу земли Русской за эти дни чернокожиія и сквернословія, вольнодумства и богохульства, принадлежалъ и помѣщикъ глухой стороны, полного захохотства, усадьбы „Пустой Валь“, сынъ чуть не столѣтняго старца и самъ уже старикъ — Андрей Андреевичъ Глѣбовъ.

И слава про него прошла далеко за предѣлы его края. Хотя и говорится, что добрая слава лежитъ, а худая бѣжитъ, но истинно добрыя слова тоже могучи и тоже молніей бѣгутъ, прорѣзая и освѣщая сизыя тучи житейскаго братоненавистничества.

Да, Андрей Андреевичъ былъ „свѣточемъ“ въ своемъ краѣ. Еще очень юнымъ Андрюша удивлялъ всѣхъ своей душевной ясностью, покоемъ всѣхъ чувствъ и особымъ рѣдчайшимъ въ людяхъ незлобьемъ. Его нельзя было обидѣть, оскорбить, не потому, что таковыя обидчики не находились, обезоруженные его кротостью и смиреніемъ, а потому, что самъ молодой малый не былъ способенъ вознегодовать и разгнѣваться, а тѣмъ паче не могъ отомстить, даже не понималъ чувства мести.

Женившись по выбору и по волѣ родителя на московской княжнѣ, онъ сталъ еще смиренномудрѣе, тише и кротче отъ тайнаго гореванія, — гореванія о томъ, что жена, которую онъ полюбилъ, какъ Господь повелѣваетъ мужу, была какъ разъ иного духа, чѣмъ онъ самъ, была гнѣвна, строптива и строга къ людямъ и сугубо строга къ своимъ новымъ крѣпостнымъ, привыкшимъ къ послабленію отъ своихъ господъ.

— Наказывать одному Господу довлѣетъ! — повторялъ Андрей Андреевичъ по поводу всякой вины людской. — У себя бревно въ глазу всякъ челоѣкъ примѣчай и помни.

Виноватыхъ у него никогда не было, всегда были виновны обстоятельства окружающія, а то и онъ самъ — хотя бы косвенно, издалека...

Когда Андрею Андреевичу шелъ и приходилъ къ концу третій десятокъ лѣтъ, то онъ прозывался въ домѣ „нашъ барчукъ“. И долго, лѣтъ за сорокъ, онъ еще оставался „молодой“ баринъ, въ отличіе отъ настоящаго барина Андрея Ивановича.

Такъ какъ всегда совершенно бодрый и удивительно мо­ложавый не по годамъ отецъ занимался хозяйствомъ и во­дилъ во все самъ и даже не любилъ вмѣшательства сына, то Андрей Андреевичъ и по влеченію сердца и по привычкѣ отдался весь всему „божественному“, отвернулся отъ всего мірскаго и сталъ жить, какъ живутъ монахи, за исключеніемъ посвѣщенія службъ церковныхъ, такъ какъ ихъ приходъ былъ въ двадцати верстахъ.

Но чрезъ тридцать лѣтъ послѣ своей женитьбы Андрей Андреевичъ достигъ своей цѣли, убѣдилъ и всячески упросилъ отца выстроить церковь у нихъ въ усадьбѣ. Конечно, маленькую, простую деревянную и съ убогой обстановкой по сред­ствамъ ихъ, которыя были не велики. Но зато съ этого дня молодой Глѣбовъ зажилъ новой жизнью, былъ старостой цер­ковнымъ и пѣлъ на клиросѣ, читалъ апостолъ и понемногу преобразился духомъ, сталъ еще тише, добрѣе, скромнѣе.

На счастье его, священникъ, назначенный въ Пустой Валь, оказалъ образомъ мыслей, нравомъ и духомъ таковъ же, какъ и онъ. Службы церковныя пошли и чередовались чуть ли не такъ же, какъ въ иномъ монастырѣ.

Будучи неграмотнымъ въ пору своей женитьбы, молодой Глѣбовъ, мучимый давно неутолимой жаждой познанія слова Божія, подъ тридцать лѣтъ упорно принялся за букварь, сталъ учиться читать и писать, но не по-россійски, а по-славянски.

Чрезъ годъ онъ свободно читалъ и недурно писалъ.

И началось чтеніе священныхъ книгъ, которыя онъ поку­палъ или доставалъ чрезъ знакомыхъ помѣщиковъ изъ сто­лицы.

Незамѣтно для другихъ и даже для самого себя, Андрей Андреевичъ за слѣдующій десятокъ лѣтъ сталъ совсѣмъ дру­гой человѣкъ. Въ священномъ писаніи онъ былъ „начетчикъ“. И зная, конечно, четвероевангеліе наизусть, онъ легко нахо­дилъ любое мѣсто въ Четвяхъ-Минеяхъ, зналъ въ подробностяхъ и могъ разгадать, что угодно, изъ жизнеописаній святыхъ.

Но главное было не это... Молодой Глѣбовъ, когда ему было только сорокъ лѣтъ, выглядывалъ уже шестидесятилѣт­нимъ старикомъ. Онъ похудѣлъ, посѣдѣлъ и подряхлѣлъ много раньше времени. Одновременно онъ уже сталъ считаться «бо­гоугоднымъ» и уже былъ извѣстенъ всѣмъ, даже въ далекихъ селахъ и деревняхъ, чуть не за сто верстъ, своей духовной властью надъ людьми.

Постепенно въ округѣ завелся невѣдомо какъ обычай, что къ барину-помѣщику «Пустого Вала» шель отовсюду народъ за совѣтомъ и помощью, но не денежной, а душевной. Вмѣстѣ съ тѣмъ, сначала свои крестьяне, а вскорѣ сосѣдніе, а затѣмъ и дальніе, стали призывать къ себѣ барина Глѣбова «разсудить» всякое спорное дѣло между отцемъ и сыномъ, мужемъ и женою, не только между сосѣдями. Нерѣдко помѣщики дворяне дѣлали то же. И всегда всякій повиновался рѣшенію его какъ закону, чтобы не навлечь на себя всеобщаго осужденія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Андрей Андреевичъ постепенно измѣнялся въ образѣ жизни и привычкахъ. Онъ постился сначала часто, затѣмъ постоянно и кончилъ тѣмъ, что сталъ уже питаться только хлѣбомъ и водою, а овощи и квасъ позволялъ себѣ въ большіе праздники и изрѣдка въ воскресные дни. Одежда, которую онъ сталъ носить, была мало похожа на дворянскую, а смахивала на мужицкую. Вдобавокъ онъ всегда былъ въ лаптяхъ, только смѣнялъ ихъ и не оставался въ домѣ въ тѣхъ, которыя служили для двора. Въ отдѣльной комнатѣ, гдѣ онъ спалъ и проводилъ день за молитвой и чтеніемъ священныхъ книгъ, была простота монашеской келіи. Все убранство состояло изъ маленькой постели безъ матраца — онъ спалъ на доскахъ — съ скатаннымъ валикомъ въ изголовьѣ, а затѣмъ изъ столика, стула и шкапчика для бѣлья и платья. Зато въ углу былъ большой кіотъ съ множествомъ дорогихъ образовъ, а предъ ними всегда, день и ночь, теплилась неугасаемая лампадка съ огонькомъ отъ заутрени Свѣтлаго Христова дня, принесеннымъ домой на цѣлый годъ.

Къ этому преобразенію молодого, кроткаго и скромнаго дворянина въ настоящаго монаха въ міру, совершившемуся годами, исподволь, потихоньку, какъ-то незамѣтно, вся семья тоже исподволь привыкла.

Отецъ Андрей Ивановичъ не оправдывалъ многого въ сынѣ, но и не противодѣйствовалъ.

Иногда онъ высказывалъ:

— Не надо было жениться. Надо бы ужъ совсѣмъ въ монастырь итти. Надо бы ужъ такому человѣку не дворяниномъ уродиться. Всему мѣра должна быть.

Однако, всѣ эти замѣчанія старикъ заканчивалъ словами:

— Хочетъ изъ жизни человѣчьей житіе сдѣлать. Ну, и пушай его.

Однако, когда кто-либо замѣчалъ Андрею Ивановичу, что его сынъ «почитай святой человѣкъ», то старикъ страшно гнѣвался и всегда отвѣчалъ вспыльчиво:

— Онъ мой родной... Моя плоть и кровь. А отъ меня не могло святого родиться. Напротивъ того... слѣдовало, прости Господи, родиться...

Но этихъ словъ Андрей Ивановичъ никогда не кончалъ.

Между тѣмъ, старецъ не могъ не видѣть, что сынъ дѣйствительно живетъ, слѣдуя своимъ любимымъ заповѣдямъ:

— Возлюби ближняго какъ самого себя.

— Блаженны алчущіе правды.

— Не судите, да не судимы будете.

Одна жена, Екатерина Петровна, всегда перечила ему и отвѣчала раздражительно, иногда и совсѣмъ гнѣвно.

— Нельзя всѣхъ любить. Правда справа—одна, а слѣва—другая. Суди, разсуживай и, кого можешь, наказуй ради наставленія на путь.

— Да, разсуживай,—отвѣчалъ мужъ кротко,—а не суди. И безъ злости, а наказывать оставь Тому, Кто единъ безгрѣшенъ. Частенько человѣкъ виноватъ кругомъ изъ-за тебя же. Стало, не онъ, а ты же...

Будь Андрей Андреевичъ другого права, менѣе смиренный, то въ супружествѣ его съ первыхъ же дней пошли бы и настоящіе нелады. Но онъ любилъ жену, «какъ повелѣлъ Господь», и все прощалъ ей и только издавна сталъ усерднѣе молиться за нее.

Когда пошли дѣти, родился сынъ и три дочери и незамѣтно выросли, стали большіе, то вліяніе на нихъ отца и матери совершенно разное, равно и два совершенно разныхъ примѣра въ глазахъ, будто колебали ихъ... Они будто терялись, блудили, не зная, куда итти... И всѣ дѣти выросли съ совершенно разными характерами. Или отъ рожденія были они кто въ мать, а кто въ отца.

Сынъ Иванъ уродился чрезвычайно красивый и нравомъ огневой, но чѣмъ больше росъ и мужалъ, то больше стихалъ, будто потухалъ, и потухъ совсѣмъ. Лишившись разума въ двадцать лѣтъ, онъ прожилъ года три во тьмѣ душевной, уподобился младенцу новорожденному, ничего не смыслящему, кромѣ ѣды и сна, и скончался, не зная, что жилъ и что умираетъ. Отецъ проводилъ его въ могилу словами:

— Зато Бога узреть.

Старшая дочь Екатерина была существо кроткое, ограниченное, незамѣтное въ домѣ. Она обожала отца, съ дѣтства полюбила все, что любилъ Андрей Андреевичъ, думала и чувствовала, какъ онъ, а главное стала богомольна чуть не पुще отца.

Разумѣется, это привело къ тому, что она, будучи только шестнадцати лѣтъ, начала уже мечтать итти въ монастырь, «поближе къ Богу». Мать стала было перечить дочери, попрекать мужа, что онъ Катюшу «надоумливаетъ и толкаетъ» на иночество. Отецъ не былъ въ этомъ виноватъ прямо, но косвенно, конечно, былъ причиной мировоззрѣнія дѣвушки. Черезъ три года сборовъ и споровъ всѣхъ между собой, Катерина постриглась въ монахини и была теперь въ пустыни, за тридевять земель отъ родныхъ. Навѣстивъ ихъ не болѣе пяти разъ за все время, она въ послѣдній разъ была лѣтъ уже съ десять назадъ.

Младшая дочь Елена, живая, умная, уже двадцати пяти лѣтъ отъ роду, вышла замужъ за офицера, по фамиліи Дикова, служившаго въ сосѣднемъ городѣ, но затѣмъ уѣхала вскорѣ по мѣсту его новой службы на Волгу, и съ тѣхъ поръ Глѣбовы не видали ея. Много лѣтъ спустя, они узнали, что она умерла, оставивъ ребенка дочь на руки мужу, человѣку ненадежному и преданному пороку пьянства... Лѣтъ шесть спустя, въ Пустой Валъ была доставлена дѣвочка, круглая сирота. Офицеръ Диковъ оставилъ завѣщаніе и скопленные сто рублей, чтобы дочь Зинаида была добрыми людьми отвезена и передана съ рукъ въ руки Глѣбовымъ на приязнѣе.

VII.

Катерина Петровна была самая обыкновенная женщина, ограниченная, но самоувѣренная и считавшая себя и умной, и тонкой, и съ «надлежащимъ» характеромъ. Мужа она не любила, а «терпѣла», хотя сначала часто жаловалась на свое существованіе съ таковымъ...

Болѣе всего она была горда тѣмъ, что урожденная княжна, и постоянно говорила объ этомъ, заявляла тотчасъ всякому новому знакомому, при чемъ тщательно умалчивала о томъ, что принесла мужу только нѣсколько сундуковъ бѣлья и рухляди да шубу.

Такъ какъ у родныхъ ея было въ Москвѣ всего двое стариковъ крѣпостныхъ людей, а остальные сорокъ душъ крестьянъ были гдѣ-то въ дальнемъ имѣніи, то молодая княжна почти не знала, что такое подвластные холопы, крестьяне и дворовые люди.

Она обрадовалась, увидавъ себя въ «Пустомъ Валѣ» барыней, владѣтельницей крѣпостныхъ душъ, и, конечно, съ перваго же дня почувяла удовольствіе помыкать подвластными рабами. И если бы не добрѣйшій и кротчайшій нравомъ мужъ, то, разумѣется, строптивая и вздорная Катерина Петровна стала бы сразу лихой, а то и лютой барыней помѣщицей.

Свекоръ и мужъ на первыхъ же порахъ сдержали ее и умѣрили, и она стала хотя строгой, но не лихой хозяйкой, изъ боязни старца.

Зато неуживчивый нравъ женщины строптивой, а главное сварливой и вздорной, тяжело отзывался на семьѣ. Быть можетъ, сама того не зная, Катерина Петровна была виновницей разной и незавидной судьбы своихъ четырехъ дѣтей. Слабого здоровьемъ сына она «зауськала», по выраженію свекра, и если не била и не наказывала, то постоянно преслѣдовала тѣмъ, что онъ не мальчикъ и не молодець, а «дѣвочка, нѣжона, нюня, вахлакъ, тетеря»... Мальчикъ, какъ огня, боялся матери, хотя она никогда его пальцемъ не тронула. Будучи уже взрослымъ, онъ тоже какъ-то боязливо сторонился отъ нея. Во дни безумія отчужденіе это и страхъ сказались еще сильнѣе.

На дочь Катерину тяжело дѣйствовала сварливость матери, и особенно заставляла ее страдать придирчивость ея къ отцу, вѣчно отмалчивающемуся, сносящему все... Ей рано стало казаться, что въ міру жить со спокойною душою трудно, что лучше уйти въ тишь монастырскую...

Дочь Елена слышала вѣчные попреки за то, что не умѣла ничего сдѣлать и, будучи крайне непригожа, не могла и мужа найти. И она, конечно, обрадовалась, когда пожилой и некрасивый поручикъ Диковъ вдругъ посватался за нее. Быть хозяйкой, независимой и жить, какъ хочется, не слыша постоянно безконечныхъ попрековъ и нравоченій, побудили ее тотчасъ согласиться на его предложеніе.

И дома осталась одна вторая дочь Прасковья, любимица матери и «вся въ нее», по общему мнѣнію.

Теперь, когда дѣдъ одрахлавлѣ, отецъ тоже, при чемъ не входилъ ни во что житейское, а мать, сильно пополнѣвъ и

опустившись, проводила полъ-сутокъ въ постели, а полъ-сутокъ въ креслѣ, Прасковья Андреевна забрала все въ руки..

«Барышня» была, однако, въ домѣ существомъ, котораго всѣ втайнѣ и удивительно согласно единодушно не любили. Эта нелюбовь была безпричинная и бессознательная и, конечно, никогда ничѣмъ не проявлялась, такъ какъ самая рамка обменной жизни не давала къ этому повода.

Прасковья Андреевна, уже сорокалѣтняя теперь дѣвица, не вышла замужъ якобы потому, что была разборчивой невѣстой; въ дѣйствительности же прежняя, еще молодая Парашенька, была хотя и не дурна собой и положительно умная дѣвушка, никогда никому не нравилась.

Не разъ бывали когда-то, уже лѣтъ двадцать тому назадъ, «смотрины» и въ «Пустомъ Валѣ», и въ соседнемъ городѣ, и у близкихъ знакомыхъ помѣщиковъ. Но послѣ всѣхъ этихъ попытокъ Катерины Петровны дѣло о сватовствѣ затихало. Не только самому намѣченному молодцу, но и родителямъ его дѣвица Глѣбова приходилась «не понутру и не ко двору».

Невыгодное впечатлѣніе, производимое дѣвушкой на всѣхъ, заключалось въ одной чертѣ ея характера, сквозившей даже въ выраженіи лица, во взглядѣ, въ усмѣшкѣ, даже въ движеніяхъ.

Прасковья, или Парашенька, была олицетвореніе гордости, надменности, самовозвеличенія и бьющаго въ глаза презрѣнія ко всѣмъ окружающимъ.

Такова уродилась дѣвушка,—какъ образчикъ удивительной игры природы, — отъ кроткаго смиреннаго отца, считавшаго себя хуже всѣхъ, ниже всѣхъ, грѣшнѣе всѣхъ.

Кромѣ того, Прасковья Андреевна отличалась всегда особенной сосредоточенностью, даже скрытностью. Никто никогда не зналъ, что она думаетъ, что она любитъ, чего желаетъ. Даже для родной матери, обожавшей ее, душа дѣвушки была и осталась—полныя потемки.

Теперь тоже никто не зналъ, какъ она относится къ своему дѣвичеству, сожалѣетъ ли, что ей не судилъ Богъ быть супругой и матерью, или якобы даже довольна, какъ сама сказывается.

На вопросъ о чемъ-либо со стороны родныхъ Прасковья Андреевна ухитрялась, или умѣла отъ природы, отвѣчать такъ, что выходило ни да, ни нѣтъ.

Теперь старая дѣвица, такая же полная и грузная, какъ и мать, только не краснолицая, была моложава лицомъ и лишь

съ сильной просѣдью въ волосахъ, особенно блестящихъ около висковъ. И была она еще скрытнѣе, еще молчаливѣе, а своей этой замкнутостью въ простой обстановкѣ, гдѣ вся жизнь проходила, «какъ на ладони», отчасти тяготила всѣхъ, и семью, и крѣпостныхъ холоповъ.

Прасковья Андреевна проводила почти весь день за пальцами, вышивая по камвѣ шерстью или гладью, шелкомъ и золотомъ. Проведя всю свою жизнь за этимъ занятіемъ, она, разумѣется, достигла такого совершенства въ этомъ искусствѣ, что отъ ея рукодѣлья приходили въ восторгъ даже мастерицы по части «гладя».

Одинъ преосвященный, которому она поднесла вышитый коврикъ, изображавшій вѣнокъ разнообразныхъ цвѣтовъ, заявилъ, удивляясь:

— Не только руками взять хочется. Даже сдается, сильный аромат идетъ отъ сихъ цвѣтовъ.

Мать любила свою Парашеньку и, не замѣчая будто ея возраста, считала дѣвицей-подросткомъ и объясняла многое, даже и теперь, молодостью, неопытностью. Дѣдъ относился къ ней неопредѣленно или равнодушно. Одинъ отецъ часто мягко, но настойчиво, строго, полюбовно поучалъ дочь, усовѣщивалъ, но, разумѣется, тщетно и напрасно. Особенно не любилъ онъ и не выносилъ обращенія дочери съ дворовыми, крутого, грубаго, будто ненавистническаго, враждебнаго.

— Они холопы. Вотъ то же, что скоты, звѣри, — стояла старая дѣвица на своемъ глубокомъ и искреннемъ убѣжденіи.

— Неправильно судишь и даже грѣховно, — отзывался Андрей Андреевичъ кротко и вздыхая. — Всѣ люди-человѣки одинако по образу и по подобію Божию сотворены.

— Мы, дворяне, а не они.

— Нѣтъ, всѣ люди, говорю тебѣ.

— Души ихъ — подлыя, въ подлости рожденныя.

— Душа всякая, дворянская ли, крестьянская ли, все та же душа.

— Насъ не продаютъ, а ихъ продаютъ. Мы чувствуемъ, а они безчувственные, — упорствовала старая дѣвица, только чтобы перечить отцу.

И иногда Андрей Андреевичъ не выдерживалъ и выговаривалъ:

— Охъ, не понимаешь ты, Прасковья, ничего. Судить-рядить берешься все, а понимать — ничего не понимаешь. А

пуше всего и хуже-то всего—это твоя гордыня. Раболѣпствуешь ты предъ собою. Кадишь себѣ непрестанно, ежечасно, вотъ какъ священнослужители въ храмѣ, прости Господи, иконамъ Божескимъ кадятъ омиамомъ. И удивительно мнѣ, въ кого ты уродилась такая самомнящая, не мягкосердая, а жесточайшая. Ты живешь душою за каменной оградой.

Подобные разговоры не вели ни къ чему. Прасковья Андреевна хотя ни разу не высказала своего мнѣнія насчетъ образа мыслей и образа жизни отца, но все-таки втайнѣ давно прозвала его «блаженнымъ» и «юродивымъ».

«Тотъ же онъ юродивый!—думала она.—Ему бы съ юности въ монастырѣ быть. Былъ бы, можетъ, теперь архіереемъ. И ничего бы! А какъ дворянинъ—чистый, блаженный!»

Одно, что сильно озабочивало и даже иногда смущало Андрея Андреевича въ пожилой дочери, — было его неясное сознание и какъ бы чутье, что у Параша «за каменной оградой» творится что-то недоброе. У нея будто есть какая-то своя и большая тайна, о которой она ни разу никому не открылась и, конечно, никогда даже не обмолвится. А что именно могло быть—это потаенное помышленіе дочери? О чемъ? Какое? Доброе или худое?

На эти вопросы Андрей Андреевичъ отвѣчать не могъ, какъ десять, пятнадцать лѣтъ назадъ, такъ и теперь, когда дочери пошелъ пятый десятокъ лѣтъ.

Лучемъ яркаго грѣющаго свѣта въ «Пустомъ Валѣ» была для всѣхъ обитателей:

«моя дѣвочка»—для старца,

«Зайка»—для Глѣбовыхъ, мужа и жены,

«махонькая барышня»-- для дворовыхъ и крестьянъ,

но для старой дѣвицы она же была:

«парень, казакъ».

Домъ и усадьбу дѣйствительно несказанно оживила собой, появившись, правнучка и внучка, сирота, Зинаида Антоновна Дикова, когда маленькую дѣвочку привезли добрые люди, разумѣется, при документахъ. Иначе Андрей Ивановичъ и не принялъ бы на воспитаніе ребенка, боясь обзавестись совсѣмъ чужимъ подкидышемъ.

Впрочемъ, всѣ сразу замѣтили удивительное родственное сходство маленькой дѣвочки, но не съ матерью, а съ дядей, съ тѣмъ кроткимъ Иванушкой, который началъ жизнь тихо и боязливо, окончилъ ее еще тише и въ полной духовной тѣмѣ.

Однако, Зинаида, которую прозвали Зайкой, походила на дядю только лицомъ и была даже много красивѣе его, могла почестся прямо красавицей. Этому мѣшали только ростъ и дородность. Зато личикомъ, по мнѣнію всѣхъ, дѣвушка была «чистый ангелъ», а именно: бѣла, какъ снѣгъ, чуть розовенькая, съ большими синими глазами, вѣчно радостными и добрыми, съ алымъ, какъ малина, ротикомъ и съ такими чудными отъ природы и лохматыми кудрями, что ихъ и гребень не бралъ. Только тѣломъ обидѣла ее природа. Теперь ей шель уже шестнадцатый годъ, а ей можно было дать и тринадцать лѣтъ, если бы не дѣвичій станъ и грудь.

Разумѣется, дѣвущку всѣ любили и баловали, но на разный ладъ и не такъ, какъ ей бы самой желалось. У нея было все, что ей было не нужно, и не было того, чего хотѣлось, чего требовала природа. Ее держали какъ бы въ ватѣ, бережно соблюдали, какъ хрупкую фарфоровую куколку, а она сама рвалась на свѣтъ Божій, въ поле, «на всѣ четыре вѣтра».

Дѣдушка любилъ ее, но прискучивалъ, все совѣтуя побольше Богу молиться, и заставлялъ заучивать на память множество молитвъ, которыя она, наконецъ, всѣ въ головѣ своей перепутала такъ, что уже не умѣла безъ ошибки сказать ни одной.

Бабушка учила ее хозяйничать, варить, солить, смоквы дѣлать, даже изъ свейской рѣпы ананасы дѣлать, но она ничего не могла порядочно перенять.

Тетка Прасковья Андреевна учила ее руководѣльямъ всякаго рода, но она только себѣ пальчики колола и горько плакала и отъ тоски, и отъ боли.

Единственный человѣкъ, который любилъ ее, какъ слѣдуетъ, не для себя, а для нея самой, былъ старецъ. И, конечно, Зайка любила больше всѣхъ своего прадѣдушку, предпочитала проводить время съ нимъ, потому что онъ ничему ея не обучалъ, а напротивъ заставлялъ ее болтать, о чемъ только ей вздумается.

И Зайка только съ прадѣдушкой не стѣснялась и только ему повѣряла всѣ свои мысли.

А мыслей у нея было многое множество.

— И откуда только этакое все берется?— удивлялся старецъ.

Помимо прадѣдушки, Зайка любила немного старуху Терентьевну, которую приставили къ ней нянюшкой, когда сирота явилась въ семью, и которая и теперь была при ней постоянно отъ зари до зари, не покидая ни на минуту, за исключеніемъ

тѣхъ часовъ дня, когда дѣвушка бывала у Андрея Ивановича въ комнатѣ или гуляла съ нимъ по саду.

Будучи общей любимицей, Зайка не была счастлива и главная бѣда—понимала, что она несчастлива, и знала, что бы ей было нужно, чтобы стать счастливой.

Прежде всего ее томилъ вѣчный надзоръ доброй Терентьевны и вѣчное кропотанье злой тетки, у которой она всегда была виновата въ «недѣвичьихъ мысляхъ и въ недѣвичьемъ поведеніи».

— Мальчишка ты или парень деревенскій, а не дѣвица!—повторяла постоянно Прасковья Андреевна. — И говоришь, и ходишь, и руками двигаешь, какъ молодецъ. Подростешь еще—совсѣмъ казакъ будешь.

Самымъ же обиднымъ для Зайки было то, что ей строго воспрещалось имѣть какія-либо сношенія съ дворовыми дѣвushками, ея ровесницами. Она вѣчно бывала одна съ Терентьевной и только издали видѣла, какъ тѣ рѣзвятся, издали слышала, какъ тѣ болтають и смѣются «своему смѣху», ей непонятному, но завидному и смутно угадываемому...

Тетка, по мнѣнію всѣхъ, какъ старая дѣвица, которой начался пятый десятокъ лѣтъ, должна была, конечно, не въ мѣру быть строгой съ племянницей, взявъ на себя ея «наставленіе и обученіе». И никто, а тѣмъ менѣе сама бѣдная Зайка, и не подозрѣвала, что Прасковья Андреевна „отколачивала“ на ней тѣ колотушки, что получила отъ своей мачихи судьбы. Раздражало старую дѣву въ дѣвочкѣ подросткѣ не столько ея неумѣнье держать иголку и считать крестики въ канвѣ, сколько ея свѣжесть, румянецъ, огонекъ въ жилкахъ и блескъ синихъ очей... и предстоящая, очевидно, много общающаяся будущность.

— Не нынѣ, завтра, — думалось Прасковѣ Андреевнѣ досадливо злобно, — выщется для этого щенка бѣлобрысаго чуть не принцъ какой, благо бѣла да молода... А ты, вотъ, не хуже была, а ничего не дождалась. А почему? За что?

И пуще всего охраняла Прасковья Андреевна юную племянницу отъ всего того запретнаго, отъ всѣхъ искушеній, которыя миновали ее самое, не по ея волѣ. Тому назадъ двадцать лѣтъ она всей душой готова была искутиться всячески, даже прельститься кѣмъ-либо и разумъ потерять... Да не пришлось. Ничего такого не повстрѣчалось не только на пути жизни, а какъ будто иное, идущее, завидя ее, сворачивало отъ нея въ сторону.

VIII.

Прошла недѣля, что князь Самсонъ Ивановичъ сталъ въ тоскѣ бродить по дому и по усадьбѣ. Вся дворня тоже какъ-то притихла и поглядывала угрюмо. Когда баринъ былъ не въ своемъ добромъ здоровьѣ и не въ своемъ видѣ, всѣ его рабы изъ любви къ нему чувствовали себя тоже не по себѣ.

Пробродивъ, тоскуя и жалуясь преимущественно Адаму Адамовичу и отчасти старому Ферапонту, князь засѣлъ было за чтеніе... Но чрезъ день онъ вдругъ, сидя за книгой у отвореннаго окна, неожиданно даже для себя, выкинулъ книгу за окошко въ садъ и крикнулъ что-то такое очень гнѣвно и очень громко.

Двое слугъ прибѣжали, думая, что баринъ кличетъ, но онъ ихъ прогналъ, говоря:

— Когда зовешь, не слышите. А когда не кличешь, вихремъ врывается.

За людьми пришелъ и Ваастъ. Онъ изъ сада слышалъ крикъ князя, и крикъ «неподобный», а поэтому и пошелъ провѣдать хворающаго своей чудной хворостью.

— Что вы?—сказалъ онъ.—На кого разгнѣвались?

— Ни на кого...—отвѣтилъ князь досадливо.

— Какъ ни на кого? Я съ большой аялеи услышалъ, таково зычно заговорилъ ты...

— Заголосишь,—отозвался раздражительно князь.— Вонъ видишь: книга — на дорожкѣ. Я вотъ этакъ скоро всѣ ихъ пошвыряю.

— И хорошее дѣло, — обрадовался Ваастъ. — Мало пошвырять, Самсонъ Иванычъ, а надо бы пожечь. Зашвырнешь, а затѣмъ прикажешь обратно принести. А разъ сожгли—коонецъ...

— Смутители онѣ, искусители, только не дьяволы искусители. Умѣнья на то не хватаетъ у нихъ, чтобы дьяволу совсѣмъ уподобиться... Читаешь, размышляешь и вѣришь... И вдругъ, внезапно озарить тебя невѣріе въ ихъ невѣріе. Да... Не понялъ ты меня, Адамъ Адамовичъ... А я правду сказываю и какъ слѣдуетъ высказываю, что хочу пояснить. Бываетъ этакъ со мной, что сразу вдругъ сдается мнѣ, что лгутъ они, разбойники, морочать, что умыселъ у нихъ негодный, что правда ихъ — облыжная правда, что они сами лицедѣйствуютъ и лицемерять. И начинаю я всѣмъ сердцемъ не довѣрять ихъ невѣрію и

богоотступничеству. Будь они прокляты, смутители. И безъ нихъ тошно на свѣтѣ... и безъ нихъ душно. А они еще, какъ въ банѣ, пару поддають, чтобы задохнуться. Каины, губители брата-человѣка, братоубійцы...

— Случалось, и этакого отъ васъ я слыхаль и радовался,— сказалъ Ваастъ съ грустнымъ чувствомъ. — Что же? Слава, скажу, Создателю, кабы только это не пошло опять на перемѣну.

— И пойдеть на перемѣну!—проворчалъ князь, помолчавъ.

— Вотъ, вотъ... Сейчасъ и сами сказываετε.

— Въ пустынѣ безъ опоры, все колеблемо,—проговорилъ князь какъ бы себѣ самому.—То вправо, то влѣво...

— Не понимаю и не пойму я этого,—отозвался Ваастъ.— Что либо одно—я понимаю: или сугубое безбожіе или твердая вѣра. Я потому часто объ васъ и сказываю; что вы человѣкъ золотой, и у васъ на сердцѣ все хорошо, а въ головѣ отъ книгъ все худо. Желаете твердо вѣрить, а съ чужого голоса богохульствуете.

— Нельзя, нельзя, родной мой, Адамъ Адамовичъ, твердо вѣрить. И я тебѣ толково, просто это пояснить могу. Вотъ, примѣрно, первое.

— Слыхаль. Знаю. Тыщу разовъ все слыхаль,—отчаянно прервалъ Ваастъ и даже, махнувъ своей единственной правой рукой, будто невольно дернулъ лѣвымъ плечомъ. Въ немъ будто явилась потребность махнуть обѣими руками на князя отъ досады и нетерпѣнья.

— Знаю, что ты слыхаль, но знаю тоже, что ты никогда не понялъ ничего! — тоже досадливо выговорилъ князь и отвернулся.

— Ну, какъ же мнѣ понять? Дуракъ вѣдь я, остолопъ, а то враль. Понимаю, что вы швыряетесь, и прямо это сказываю, а оно вамъ не по сердцу. Вотъ я и выхожу болванъ, чурбанъ!—отвѣтилъ Ваастъ уже сердясь.

— Эхъ, Адамъ Адамовичъ, знаешь вѣдь, что я тебя за умнаго и чистосердечнаго почитаю, и не я одинъ. Всѣ тебя за твое сердце и за твой разумъ любятъ и уважають, — заговорилъ князь спокойнѣе и вразумительно. — И вотъ ты, какъ умнѣющій человѣкъ, могъ бы совсѣмъ понять все... А ты говоришь, что я нарочно лицедѣйствую, нарочно швыряюсь. Ты меня считаешь истиннымъ страшнымъ вольнодумцемъ и жалѣешь, какъ друга, за невѣріе мое, за томленіе душевное,

за все это... а затѣмъ сказываешь, что я грѣховныя рѣчи веду обманно, что я богоотступникъ только ради фиглярничества, на показъ людямъ.

— Что-жъ? Я это только одинъ иногда сказываю. А другіе всѣ тебя истиннымъ богоотступникомъ почитаютъ за все, что вы болтаете языкомъ, да и то, что вы творите зачастую, коли не всегда. Да, правы всѣ, а я изъ любви обманываюсь. Вотъ что вѣрно. И какъ же человекъ назвать, коли не богоотступникомъ, когда онъ постовъ не соблюдаетъ, къ исповѣди и причастію идетъ, будто насупившись, изъ-подъ палки, чтобы соблазна рабамъ не было, да злобно помалкивая о томъ, какіе у него въ головѣ противные помыслы. Да и сказать-то ихъ нельзя всякому. Услышать иной, со страху и перепугу замертво упадетъ. Я одинъ по привыкѣ и выдерживаю. Хотя, правда, коли на ночь, то и мнѣ жутко бываетъ.

Князь усмѣхнулся.

— Да, смѣйся, смѣйся. Вонъ, помните, на первой недѣлѣ прошлаго великаго поста, когда я, отговѣвъ, сидѣлъ у васъ въ кабинетѣ чуть не до полуночи, и что ты мнѣ, князь, избражалъ своимъ грѣховнымъ языкомъ насчетъ священнаго писанія, что вотъ хоть бы Адама и Евы никогда на свѣтѣ не бывало, и патриархъ Ной былъ, прости Господи, пьяница горькая... Да мало-ль что... Всего не вспомнишь, да и грѣхъ повторять... Да... Такъ къ чему же я велъ-то? Да. Вотъ. Наслушавшись всего этакого, я вѣдь чуть всю ночь не спалъ, а, подъ утро уснувъ, такъ оралъ во снѣ, что супругу на смерть перепугалъ. И было то послѣ исповѣди и причастія, когда я все же таки былъ если не безгрѣшенъ, то съ малой толикою грѣховъ, надѣланныхъ только за одинъ день. А не то прямо можно бы подумать, что меня врагъ человѣческой ночью давилъ. Моя Анна Ѳоминышна даже видѣла, какъ по полу спальни прокатилось что-то черное мохнатое, не то подушка, не то собака. Конечно, я ничему не вѣрю. Все бабы причуды. Но повѣрить тому всему, что ты, князь, сказываешь, тоже не повѣрю. Ужъ это извини и уволь. У всякаго своя душа, и всякъ по душѣ судить и рядить и всякъ свою душу долженъ спасать. Ты вотъ эти книжицы Вольтерова измышленія и сочиненія читаешь, самъ чуешь, да не хочешь согласиться, что онъ даже со словъ умнѣйшихъ людей прямо есть сугубый, нервостатейный чернокнижникъ и дьяволовъ угодникъ. Моя супруга сказываетъ, что когда единожды ты къ намъ съ книж-

кой пришелъ, посидѣлъ; а посидѣвъ ушелъ и книгу свою забыль, то она изъ комнаты убѣжала, побоялась даже оставаться одна около нея. Опять скажу, баба она и мѣры не знаетъ. Книжка дьявольская, но все-таки самъ сатана въ нее влѣзть не можетъ. Ну а ты вотъ не баба, мужъ, умный, начитанный, воспитанный дворянинъ и князь. И тоже мѣры не знаешь... Думаешь и говоришь частехонько такое, что удивительно, какъ по сю пору Богъ Господь твоимъ грѣхамъ терпитъ и тебя не наказалъ жесточайше. Всѣ этому дивятся и... скажу прямо... да, скажу, что...

И Ваастъ смолкъ. Ему сболтнулось, и онъ не радъ былъ, что началъ о томъ рѣчь, чего никогда еще ни онъ, ни кто-либо другой князю Гирееву въ глаза не указалъ, а только повторялъ заглазно.

— Ну, чего запнулся? Говори,—улыбнулся князь уныло:— всѣ дивятся и... что?

— Такъ.

— Ну, а я знаю что... Всѣ дивятся, якобы, долготерпѣнію Господню и ждуть, что я буду наказанъ и страшно наказанъ. Въ примѣръ людямъ челоуѣкамъ, чтобы остерегались быть мнѣ подобными.

— Вѣрно. Откуда же вы это узнали?

— Узналъ отъ челоуѣка, который меня болѣе тебя любитъ и все мнѣ сказываетъ въ глаза... Вотъ онъ мнѣ это и сказалъ.

— Когда?

— Сегодня по-утру.

— Стало быть, Ферапонтъ?

— Вѣстимо. Кромѣ тебя да его, мнѣ не съ кѣмъ и разговаривать. Но только ты вотъ этакое ждешь, а Ферапонтъ не ждеть. Говорить: не будетъ.

Ваастъ не понялъ и вопросительно глядѣлъ на князя.

— Чего глаза пучишь? — разсмѣялся этотъ, но тихимъ и унылымъ смѣхомъ.—Вотъ ты, какъ и всѣ, ждешь эту на меня кару Господню за всѣ мои прегрѣшенія словомъ и дѣломъ, и помышлениемъ... А Ферапонтъ сказываетъ: «Не будетъ ничего, потому что вы добры, никому зла не дѣлали и не дѣлаете».

— А касательно женскаго пола?—быстро отозвался Ваастъ.

— Что?

— Бабы какой, женщины ли, дѣвицы ли, русской или ино-вѣрной... Ни одной зла не сдѣлали? Въ этомъ не грѣшны?—нѣсколько строго проговорилъ инвалидъ.

— Адамъ Адамычъ! — воскликнулъ князь. — Въ тысячный разъ я тебѣ сказываю про это...

— Что оно то же, что скромное постомъ? Не законъ, а уговоръ людской промежь себя? — воскликнулъ и Ваастъ. — Слыхалъ тоже тысячу разевъ. И отвѣтствовалъ и теперь тоже отвѣчу. Неправда, обманъ, обыжное разсужденіе. Знаю, знаю... Дайте сказать. Вы деньгами откупаются, обдариваете. А всегда ли, Самсонъ Иванычъ, всякое такое твое поступленіе съ женщиной, деньги твои, да подачки благополучно разрѣшаютъ? Всегда ли каждая наградой довольна? Не было ли такихъ, кои, брошенныя вами?..

— Двѣ, двѣ... Только двѣ.

— А я скажу поль-ста.

— Что ты? Спятилъ, что ли! — удивился князь.

— Вы говорите про тѣ двѣ, что съ собой покончили. Одна себя невѣдомо какъ съ горя уходила, сказываютъ, все одинъ укусуъ пила, зачахла и померла. А другая прямо, разъ, два, и бухъ съ плотины въ прудъ. А я говорю, князь, про тѣхъ, несчастныхъ, горемычныхъ, которымъ ты душу смутилъ, сердце вывернулъ и на всю жизнь заставилъ маяться, объ васъ вспоминаючи. А что ты этого не зналъ, не видалъ, и что никто этого не зналъ и не видалъ, такъ оно ничего не доказываетъ. Скрытая печаль тяжелѣе, скрытое горе еще горше. А что этакихъ обездоленныхъ было коли не поль-ста, то хоть двѣ дюжины, я за это вотъ тебѣ вторую мою руку на отрѣзъ дамъ, хоть она и послѣдняя. А что у этакихъ обездоленныхъ нѣтъ ближнихъ, которые стали вашими заклятыми врагами, проклинаютъ васъ...

Князь не отвѣтилъ, понурился, а затѣмъ едва слышно вздохнулъ.

— Этакихъ заглазныхъ, тобой незнаемыхъ недруговъ у тебя куча, — прибавилъ Ваастъ, какъ бы нѣчто неопровержимое.

Наступило молчаніе. Лейтенантъ тоже глубоко задумался и, какъ всегда съ нимъ бывало, началъ нещадно сопѣть, и все сильнѣе и громче.

— Да... Это правда... выговорилъ вдругъ князь. — Въ этомъ я, пожалуй, виновать. Этакое зло я дѣлать и прямо скажу, что...

— И буду, моль, дѣлать... Слышали.

— И буду дѣлать. Не могу я... не могу...

— Лганье! — вскрикнулъ Ваастъ. — Съ собой самимъ и послѣдній холопъ властенъ.

— Не могу я, Адамъ Адамовичъ. Тогда мнѣ совсѣмъ не жить, если не «махаться», какъ сказывается, за красавицами. Вѣдь только это одно у меня въ жизни и есть. Только это одно на свѣтѣ бѣломъ для меня имѣется. Все другое—постыло. Да что тутъ толковать!

И князь, быстро поднявшись, пошелъ изъ кабинета, какъ бы убѣгая отъ бесѣды.

Ваастъ медленно двинулся тоже на свою половину и про-
бормоталъ!

— Ну, Самсонъ Ивановичъ. Весь-то мiръ Божій постылъ, и во всемъ-то мiрѣ тебѣ одно любо... Баба... Тьфу!.. Да не одна еще какая. Это бы я уразумѣлъ. Любить человѣкъ жену, что ли, свою пуще всего на свѣтѣ. Это понятно. И Богъ это велѣлъ. А коли не велѣлъ, то не наказуетъ. А тебѣ подай не одну, не суиругу. А подай сотню... Куда сотню? Подай тыщу предестницъ. Нынѣ одна, завтра другая... И это-то вишь одно на свѣтѣ бѣломъ и есть. Одно?.. Тьфу!..

И чрезъ мгновение онъ произнесъ громко и сердито:

— Правду сказываютъ твои рабы, Самсонъ Ивановичъ, что тебя разобрать нельзя, что ты и другимъ, и самому себѣ загадки загадываешь.

Для дворовыхъ усадебъ и для крестьянъ села Троицкаго баринъ-князь, добрый Самсонъ Ивановичъ, былъ дѣйстви-
тельно человѣкомъ загадочнымъ.

Всѣ его всячески по совѣсти осуждали, но всѣ любили горячо и глубоко, а вслѣдствіе такого къ нему отношенія всѣ его жалѣли и объясняли все тѣмъ, что онъ «порченный» и, стало быть, неповиненъ. Виноваты тѣ, кто его испортилъ. Это было облегченіемъ совѣсти.

Враговъ у князя не было, за исключеніемъ заглазныхъ и незнакомыхъ, какъ думалъ всегда и говорилъ Ваастъ; тѣ именно люди, которые могли такъ или иначе пострадать изъ-за его слабости къ прекрасному полу, — родственники, мужья, братья, женихи или иные близкіе люди тѣхъ женщинъ, которыми онъ на время увлекался, а затѣмъ сбывалъ съ рукъ. Равно былъ правъ инвалидъ, говоря, что деньги, иногда и очень большія, которыми князь старался загладить свою вину, не всегда удовлетворяли обиженныхъ.

Но среди крѣпостныхъ рабовъ и въ числѣ многихъ зна-
комыхъ Гиреева не было положительно ни единого человѣка,
который бы рѣшился громко заявить и стоять на томъ мнѣніи,
что князь—дурной и злой человѣкъ.

Общій голосъ былъ всегда и повсюду: «добрѣйшая душа». И всегда прибавлялось:

— Одна прорѣха. На бабу слабъ до забвенія всѣхъ зако-
новъ Божескихъ и человѣческихъ.

Что касается до странныхъ и богопротивныхъ рѣчей князя,
до его богоотступничества, то одни, какъ бы ничего въ этомъ
не понимая, относились къ дѣлу равнодушно, другіе понимали
и объясняли модой.

— Вольтерьянство. Столицы кипать этакими. И имя имъ—
вольнодумцы. Это давно изъ Франціи пришло. Вотъ какъ моды
или хворости приходятъ. Вотъ какъ прежде дворяне косы съ
бантами носили. Или вотъ какъ въ Москвѣ чума была. При
матущкѣ царицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ на вольное думанье
строго было. А нынѣ вышнее правительство, по указу молодого
государя, смотритъ на это, какъ на баловство, пустомельство,
простое франтовство словами.

Такъ разсуждали образованные и серьезные люди.

Впрочемъ въ своемъ вольнодумствѣ князь Гиреевъ дальше
словъ не шелъ. Да и говорить черезчуръ и разглашать и про-
повѣдывать о своихъ мнѣніяхъ и убѣжденіяхъ онъ не любилъ.
Съ его стороны не было ничего вызывающаго, назойливаго,
не было ничего оскорбительнаго міровозрѣнію ближнихъ... Онъ
говорилъ и объяснялся откровенно только съ самыми близкими
немногими друзьями, а вмѣстѣ съ тѣмъ не только не хвастался
предъ ними, не выставлялъ себя напоказъ, а даже будто от-
части скрывался и тяготился самъ отъ всего того, что было на
умѣ и на душѣ.

— Я не воленъ въ своихъ мысляхъ. Думается и чув-
ствуется противъ воли. Радехонекъ былъ бы самъ, если бы
уродился другимъ,—думалъ и говорилъ князь.

Но часто,—и чаще, чѣмъ это знали окружающіе,—у Ги-
реева являлось на сердцѣ страстное желаніе „хоть обмануться,
да повѣрить“, такъ же, какъ многіе и многіе люди.

— Хоть бы приключилось что-нибудь въ жизни особое!—
восклицалъ онъ.

IX.

Негодую на друга-князя, инвалидъ все-таки занялся мыслью, какъ пособить „тоскованію“ его и измыслить что-либо.

И черезъ день, утромъ, Ваастъ пришелъ къ князю и, улыбаясь самодовольно, заявилъ о своемъ изобрѣтеніи.

— Надумалъ я васъ утѣшить,— сказалъ онъ.— Такое выдумалъ, чего никогда никто на свѣтѣ не продѣлывалъ. Вы будете первый съ тѣхъ поръ, что свѣтъ стоитъ.

Князь, плохо, очевидно, надѣявшійся на воображеніе и изобрѣтательность лейтенанта, сумрачно глянулъ на него искоса.

— Ну, сказывай. Кладъ что ли итти искать, какъ ты единойды ужъ предлагалъ?

— Нѣтъ, не кладъ, а почище, позамысловатѣе.

— Ну, ну... — невольно усмѣхнулся князь.

— Выѣдемъ мы изъ Троицкаго цѣлымъ поѣздомъ, такъ, чтобы съ нами все было, какъ бы вотъ дома, у себя. Люди, посуда, провизія и все такое... Но главное... главное... Загвоздка есть одна.

— Здравствуйте. Сейчасъ полечу, только крыльевъ нѣту...

— Въ четыре дня я и ее похерю. Есть у васъ старый, еще родителейъ рыдванъ, большущій.

— Есть, да ему полста лѣтъ, онъ развалился.

— Не совсѣмъ. Ну, вотъ, надо его заново исправить.

— Зачѣмъ? Ъхать по нашимъ дорогамъ въ немъ нельзя. Смертоубійственно.

— Повеземъ за собой. Развалится или перевернется — никого не повредить.

— Да зачѣмъ тебѣ старый батюшкинъ рыдванъ понадобился вдругъ? Ну, не тани, говори. Сразу сказывай! — нетерпѣливо вымолвилъ князь.

— Скажу все и сразу, поколику этакое сразу скажется, — отвѣтилъ серьезно Ваастъ. — Но прежде дайте ваше слово исполнить, что я вамъ посоветую.

— Пожалуй.

— Нѣтъ, не пожалуй. Говори, князь: даю, молъ, слово свое.

— Ну, даю слово.

— Ну, ладно. Слушайте. Буду я сказывать такъ коротко, что ты всякое-то словечко мое примѣчай. А то не поймете, и сызнова придется пояснять. А вы этого не жалуете.

— Ладно, ладно. Говори.

— Вотъ, стало быть... — началъ Ваастъ, какъ бы размѣря слова и соображая, какъ объяснить и кратко, и толково вмѣстѣ. — Вамъ скучно. Опять тоска одолѣла. Я давно тому слышалъ отъ умныхъ людей, что отъ тоски первымъ дѣломъ почитается отсутствіе изъ дому, странствіе, путешествованіе по чужимъ краямъ, по новымъ мѣстамъ. А почему по новымъ? Потому, что можетъ очамъ и разуму представляться каждый часъ неожиданное, невиданное, иной разъ диковинное. Вотъ человѣкъ соскучившійся сейчасъ духомъ и воспріенетъ. Тоски и помину нѣтъ. Не до нея, когда всякое въ глаза лѣзетъ, удивительное. Ну-съ... Стало-быть, вотъ... Вотъ, выходитъ, что если вамъ выѣзжать отсюда въ губернской городъ, гдѣ вы бывали тыщу разъ, или выѣхать въ столицы, гдѣ вы тоже бывали немало, то ничего новаго и занимательнаго по дорогѣ не будетъ. Такъ вѣдь? Правда моя?

— Такъ. Стало - быть, въ нѣметчину придумалъ ты меня спроводить, за тысячи двѣ версты. Спасибо... Сиди съ моимъ словомъ. Подлецъ буду, а къ Фридрихамъ не поѣду.

— Не забѣгайте впередъ. Дайте сказать толково.

И Ваастъ, общавшись разказать кратко свое изобрѣтеніе, разказалъ поневолѣ очень многорѣчиво и подробно, что надумалъ для развлечения „дорогого Самсона Ивановича“.

На первый взглядъ все показалось Гирееву одной глупой и бессмысленной выдумкой.

— За ума рѣшеннаго меня сочтутъ всѣ! — сказалъ онъ. Но затѣмъ, подумавъ, онъ выговорилъ: — Наплевать мнѣ на всѣхъ. Какая бы глупость ни была, лишь бы не сидѣть тутъ въ углѣ и изнывать. Соскучусь дорогой — вернусь тотчасъ. Усажба съ мѣста не убѣжитъ. Однако, выдумалъ же ты, Адамъ Адамовичъ, этакую Ахинею Чепухову!

Ваастъ придумалъ и предложилъ другу дѣйствительно кой-что такое, что только одному князю Гирееву и можно было предложить. Всякій другой и смѣяться бы не сталъ, и сердиться бы не сталъ, а только приказалъ бы убрать отъ себя подальше свихнувшагося, который заговаривается.

Дѣло состояло въ томъ, что князь долженъ былъ выѣзжать изъ дома и ѣхать въ странствованіе, полное всякихъ нечаян-

ностей, приключеній и, пожалуй, извѣстнаго рода мелкихъ опасностей. А главное, слѣдовало ѣхать невѣдомо куда и не зная, какъ и когда прибудешь въ это невѣдомое мѣсто, которое должно быть городомъ, а не усадьбой. Слѣдовало ѣхать по заранѣ опредѣленному тракту и строго правила соблюдать, преодолѣвая все...

Выѣхавъ изъ Троицкаго цѣлымъ поѣздомъ съ людьми и всякими запасами, слѣдовало ѣхать ровно часъ прямо. По прошествіи этого часа взять первую попавшуюся дорогу. Вправо или влѣво — кидать заранѣ кости. Четъ — вправо, нечетъ — влѣво. И опять часъ все прямо. И послѣ часа, хотя бы и двѣнадцать часовъ сподрядъ, ѣхать до слѣдующаго поворота вправо или влѣво, заранѣ опредѣленнаго судьбой, разумѣется, судьбой въ видѣ игральныхъ костей.

Ѣхать ли такъ двѣ недѣли, мѣсяцъ, шесть мѣсяцевъ или цѣлый годъ — невѣдомо. Ѣхать до тѣхъ поръ, пока на дорогѣ окажется, «случаемъ самъ выползетъ навстрѣчу» городъ. А ужъ въ городѣ этомъ видно будетъ, что дѣлать: жениться, удавиться или постричься! — по любимому выраженію и постоянному предложенію чесменскаго героя.

Старый рыдванъ долженъ былъ, несмотря на свои размѣры Ноева ковчега и дряхлость, слѣдовать за путниками ради того, чтобы на привалахъ и стоянкахъ служить князю компантой. Въ немъ предполагалось устроить покойную постель, сидѣніе и столикъ, чтобы и чай кушать, и книжку читать, и почивать, какъ дома.

Усадьба на нѣсколько дней оживилась. Начались сборы въ отъѣздъ. Избранные, чтобы слѣдовать съ бариномъ, особенно дивились, но радостно и шумно, тому обстоятельству, что баринъ скрывалъ отъ всѣхъ, куда собрался...

Черезъ недѣлю князь Самсонъ Ивановичъ таинственно и какъ бы поѣтому торжественно выѣхалъ. Онъ двинулся въ небольшой каретѣ, купленной въ Москвѣ, красивой и удобной, на высокихъ стоячихъ рессорахъ, полужелѣзныхъ, полуремениныхъ, отъ которыхъ кузовъ не трясло, но зато сидящаго страшно качало, какъ въ люлькѣ, и качивало иногда, какъ на качеляхъ, до легкой тошноты.

Двигался цѣлый поѣздъ, десять человѣкъ людей, отъ камердинера князя, угрюмаго и «безсловеснаго» Тимоѣя и буфетчика Ферапонта Кузьмича, почитаемаго въ дворнѣ, и до повара Кабурова, «вольнато» иеловѣка, получавшаго по найму

огромное жалованье въ десять рублей въ мѣсяцъ, что выходило больше жалованья многихъ губернскихъ чиновъ, непочуввавшихъ въ годъ до ста рублей.

Рыдванъ двигался, уже заново отдѣланный и устроенный, чтобы служить на правилахъ и кабинетомъ, и спальней. Устройство это заинтересовало и забавляло князя. Въ вымышленной комнатѣ на колесахъ все было возможно дѣлать, только ходить нельзя было.

— Одна бѣда!—замѣтилъ князь:—не пролѣзетъ онъ тамъ, гдѣ намъ можетъ вдругъ довестися ѣхать.

— Протащимъ, — отвѣчалъ Ваастъ. — Впряжемъ дюжину коней да сами возьмемся, обмотавъ веревками. И вездѣ протащимъ. А взвалимъ кверху тормашкой, опять на ноги поставимъ и опять потащимъ. Небось, сдастся и пойдетъ послушно, увидя, что насъ ему не переупрямить.

Ваастъ, будучи въ духѣ, шутить особенно, на свой ладъ и всегда съ самымъ серьезнымъ видомъ, за что князь именно и любилъ лейтенанта въ минуты хандры. Иногда приходилось, радъ не радъ, улыбнуться.

Съ самой минуты отъѣзда князь Гиреевъ оживился и поглядывалъ иначе, былъ въ добромъ настроеніи духа. Прежде всего его заинтересовало: гдѣ-то онъ къ вечеру очутится? Вдругъ опять около усадьбы? Вѣдь если «кости» захотятъ, и онъ раза три возьметъ все въ одну сторону, то, совершивъ кругъ, будетъ опять по близости Троицкаго, а можетъ быть, и за пятьдесятъ, семьдесятъ верстъ отъ него.

Второе, что забавляло князя, было угрюмо-яростное состояніе духа Ферапонта. Старикъ буфетчикъ былъ необычно раздраженъ и озлобленъ на то, на какую «дураковую» затѣю Адама Адамовича князь пошелъ, да еще и его старика взялъ съ собой, выдумавъ «дорожный» буфетъ. Хотя Ферапонту Кузьмичу дали въ подмогу двухъ парней, для дорожнаго орудованія съ посудой, судомойку Анѣису и помощника изъ дворовыхъ людей, и ему самому приходилось только наблюдать и руководить, тѣмъ не менѣе онъ былъ какъ будто обиженъ именованіемъ «дорожнаго» буфетчика.

Странствованіе князя съ остановками для кормленія лошадей, для чаепитія, обѣдовъ и ужиновъ и наконецъ для ночлега, гдѣ случится — и въ лѣсу, и въ полѣ, — пошло настолько просто, безпрепятственно и успѣшно, что становилось скучновато.

Адамъ Адамовичъ началъ трусить, что князь соскучится и захвораетъ опять, захочетъ возвратиться домой.

Ѣхали, конечно, «по регламенту», какъ выразился Ваастъ, строго соблюдая разъ положенное. Проѣхавъ часть все прямо, уже ожидали перваго поворота вправо или влево, смотря, что кости приказали. Выходило все очень хорошо и нелюбопытно, попадали, будто на смѣхъ, на довольно проѣзжія дороги и проѣзжали чрезъ хорошія усадьбы знакомыхъ помѣщиковъ, конечно, не останавливаясь у нихъ.

Бывала за Гиреевымъ и погоня. Узнавъ, кто проѣхалъ поѣздомъ, иной дворянинъ приходилъ въ удивленіе и даже обиду, что князь его миновалъ, и тотчасъ посылалъ догонять, а то и самъ пускался въ догонку съ опросомъ.

— Что сей сонъ говорить? Дуется что ли князь за что? Знать не хочетъ?

Князь отвѣчалъ всегда, что ѣдетъ по важному и спѣшному дѣлу. А куда—сказать не можетъ, «хоть убей».

И дѣйствительно сказать, куда онъ ѣдетъ, было, хоть убей, невозможно въ полномъ смыслѣ этого слова, такъ какъ никто въ поѣздѣ не зналъ, гдѣ очутится даже черезъ часъ, не только на другой день.

Въ сумерки третьяго дня странствованія путешественники остановились около большого села, вотчины какого-то имени-таго князя: сановника, никогда въ родномъ гнѣздѣ не бывавшаго и жившаго безвыѣздно въ Петербургѣ.

Князь остановился при въѣздѣ въ село таборомъ...

Управляющій вотчиной, узнавъ, кто проявился внезапно, явился предложить князю остановиться на ночлегъ въ барскомъ пустомъ домѣ, гдѣ все бы необходимое ему тоже нашлось. Но князь, понято, отказался. Его интересовала его спальня-фурдванъ.

Огромную колымагу поставили въ полѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ крайней избы и отъ всѣхъ фургоновъ и телѣгъ поѣзда. вмѣстѣ съ тѣмъ, около колымаги поставили двухъ парней съ нагайками, часовыми... Приходилось охранять князя не отъ лихихъ людей или ночныхъ разбойниковъ, а отъ ротозѣевъ мужиковъ, бабъ, дѣвокъ и ребятишекъ, которые полѣзли, какъ тараканы, со всѣхъ избъ къ табору князю. А таковыхъ зѣвакъ набралось вдругъ столько съ люднаго большого села, что пришлось пустить нагайки въ ходъ раза три. Стѣна живая и упрямая лѣзла на пріѣзжихъ и главное на

большую карету, чтобы «глянуть хоть однимъ глазкомъ» и увидѣть «самого».

Такъ прошло пять дней въ круженьѣ, куда глаза глядятъ, а никакой городъ, ни маленькій, ни большой, навстрѣчу или на дорогу «самъ не выползалъ».

Князь Гиреевъ, конечно, никакъ не могъ предвидѣть, равно и Адамъ Адамовичъ не чаялъ, къ чему приведетъ его измышленіе о путешествіи по костямъ игральнымъ или по волѣ судьбы.

А фортуна иной разъ бываетъ добра, а иной разъ бываетъ такъ злобна, жестока, такая по видимости человѣконенавистница, что становится уже тѣмъ, что носить наименованіе: злосчастіе.

Не зналъ князь, какое въ его жизни возымѣетъ значеніе, великое и роковое, его странствованіе въ видѣ игры на четъ и нечетъ и якобы по условленному заранѣ «регламенту».

Не зналъ и чесменскій герой, что для него его выдумка кончится бѣдой.

Одинъ Ферапонть Кузьмичъ будто все предвидѣлъ и предчувствовалъ и повторялъ:

— Доиграешься до бѣды! Нельзя дѣлать того, чего люди никогда допрежде тебя не дѣлывали. Прямо къ погибели себя доведешь такими финтами-фантами. Играй въ жмурки въ комнату, либо на лугу, а не играй въ жмурки по бѣлу свѣту, лова невѣдомо что и кого. Самого дьявола-искусителя и поймашь. Онъ тебѣ сунетъ свой хвостъ въ руки и погубить.

— Да полно тебѣ, Кузьмичъ. Сглазишь!—говорилъ сердясь Ваастъ.

— Полно ты каркать,—смѣялся и самъ князь.—И впрямь бѣду накличешь.

И дѣйствительно Ферапонть, самъ того не чуя, вѣроятно, накаркалъ и бѣду накликалъ.

На шестой день пути, особенно нестерпимо жаркій и душный, произошло нѣчто особенное и нѣсколько удивительное. Двинувшись съ ночлега среди поля полной глушью по худому проселку, путешественники пропустили разные повороты, пока, ради прошествія часа, ждали поворота влѣво, какъ приказали кости.

Поворотъ оказался большой столбовой дорогой. Это уже разъ было... Черезъ часъ, конечно, надлежало ее покинуть и свернуть. Кости говорили вправо.

И черезъ часъ оказалась направо опять такая же столбовая дорога. Одна другую перекрещивали.

Всѣ удивлялись. Но всѣ знали, конечно, что чрезъ часъ попадутъ невѣсть на какой проселокъ... Однако, прошелъ часъ, а взятъ влѣво,—какъ указывала судьба въ видѣ очковъ, нечета, — не приходилось... Прошелъ еще часъ и еще два часа ѣзды, а поворота съ большой дороги не было. Прошло еще три часа... Былъ одинъ поворотъ направо. А влѣво была колея, пропадавшая въ кустахъ...

А съ обѣихъ сторонъ уже обступилъ путешественниковъ огромный дремучій лѣсъ...

— Вотъ, вотъ! — заорали наконецъ въ поѣздѣ. Появился поворотъ влѣво и хотя проселокъ, но изрядный.

X.

— Въ тѣ же дни и часы въ Пустомъ Валѣ никто не томился и не изнывалъ, ища душевнаго исхода и облегченья въ прихоти.

Развѣ одна золотоволосая Зайка, нѣтъ-нѣтъ, и вздохнетъ!

Подъ огромной развѣсистой липой, которая много пораженной перевидала на своемъ вѣку, въ тотъ же нестерпимо жаркій день, сидѣлъ въ креслѣ плотный старикъ, широкоплечій, слегка лишь сторбившись. Сѣдые волосы на головѣ еще густые, но коротко остриженные, стояли щеткой, на темени бѣлые, какъ снѣгъ, а къ вискамъ желтые, чуть не золотые. Лицо было плохо выбрито и тоже щетинилось, отдавая се ребромъ.

Около него, на маленькой скамейкѣ, чуть не на землѣ, сидѣла скорчившись молоденькая дѣвушка, бѣленькая, розовенькая съ кудрявой, тоже золотистой головой. Но золото ея кудрей, рассыпавшихся змѣйками по плечамъ, было иное, не то, что было на вискахъ старика. То золото было тусклое, потускнѣвшее, а это, ея золото, было яркое, блестящее, будто горячее.

Это былъ старецъ Андрей Ивановичъ и его правнучка, Зинаида, съ прозвищемъ Зайка.

Почти каждый день въ ясную погоду, передъ обѣдомъ, старецъ приходилъ посидѣть часокъ подъ свою любимую лицу въ прохладу и требовалъ къ себѣ правнучку. Это было время дня, въ которое старикъ и дѣвушка бывали всегда вмѣстѣ и

вдвоемъ. Третьяго кого-либо, явившагося въ это время, старецъ спроваживалъ словами:

— Ну, что тебѣ? Нужно что—скажи. А не нужно—уйди.

Впрочемъ, всѣ знали, что въ это время, кромѣ правнучки, никому не слѣдуетъ являться подъ липу.

Иногда старецъ и дѣвушка сидѣли молча, думая всякъ свою думу. И ужъ, конечно, думы эти различались. Чуть не столѣтнему человѣку было о чемъ вспомнить, но мысли всегда почти бывали близко отъ Пустого Вала. Пятнадцатилѣтней Зайкѣ было тоже о чемъ подумать, и мысли ея витали далеко, Богъ вѣсть гдѣ, въ диковинныхъ краяхъ, въ серебряныхъ и въ брилліантовыхъ царствахъ, въ яхонтовыхъ дворцахъ, гдѣ живутъ царевичи да царевны, гдѣ властвуетъ жаръ-птица. Но мысли дѣвушки хотя и витали, но будто роились около одного и того же предмета—близъ ясноликаго царевича, который собирается ѣхать и пословъ своихъ впередъ посылаетъ... Сюда! Къ ней, къ Зайкѣ! Къ ея бабушкѣ и дѣдушкѣ и къ прадѣдушкѣ. А зачѣмъ?

И часто отъ этихъ помысловъ сердечко дѣвушки начинало биться шибче, личико румянилось сильнѣе, раскрытыя губки становились горячѣе. А затѣмъ неизмѣнно невѣдомая тяжесть ложилась на душу.

Въ этотъ же день у Зайки было большое горе. Она утромъ украдкой отъ всѣхъ даже поплакала. Ей жилось очень скучно, и поэтому у нея стали являться разныя внезапныя желанія, почти прихоти и всегда—«вынь да положи!».

Съ недѣлю назадъ ея любимая горничная Алена, съ годъ какъ вышедшая замужъ, проболѣла нѣсколько дней, а затѣмъ появилась въ домѣ опять, но ей бабушка позволила имѣть при себѣ маленькую хорошенькую дѣвочку, чистаго ангелочка.

Зайка съ ума сошла отъ восторга при видѣ этой дѣвочки, которая была въ тысячу разъ красивѣе ея большой куклы, которую она еще хранила у себя.

Она пристала ко всѣмъ съ вопросомъ, откуда у Алены такая дѣвочка, и нельзя ли ей имѣть такую... Зайкѣ объяснили, что Аленѣ Богъ послалъ дѣвочку. А откуда?! Нашла она ее утромъ на огородѣ въ капустѣ. При этомъ сама Алена по секрету объяснила, что и у нея, Зинаиды Антоновны, будетъ, Богъ дастъ, когда-нибудь дѣвочка или мальчикъ, только надо обождать, потерпѣть и, конечно, объ этомъ Богу молиться.

Зайка обрадовалась и, ни слова никому не сказавъ, про-
молилась цѣлый день, повторяя: «Господи, подай мнѣ дѣвочку!»
А затѣмъ, плохо проспавъ ночь, она на зарѣ осторожно и
тайкомъ выскользнула изъ дома мимо всѣхъ спящихъ и по-
мчалась на огородъ.

Не только всѣ гряды съ капустой, но и среди рѣпы,
моркови и гороху все перерыла Зайка съ замираніемъ сердца...
Но напрасно! Никакой дѣвочки не оказалось!

Разумѣется, Зайка поняла, что, стало быть, мало и недо-
статочно усердно молилась Богу. Она горько плакала, но твердо
рѣшила, что будетъ теперь десять дней молиться, стараться
не грѣшить, всѣхъ слушаться, тетку не сердить, а на одиннад-
цатый день опять украдкой сходить въ огородъ. И ужъ, на-
вѣрно, дѣвочка окажется.

Сидя теперь съ прадѣдушкой подъ липой, на его вопросъ:
отчего она такая кислая? и не болитъ ли у нея голова?—Зайкѣ
хотѣлось рассказать старцу все и просить совѣта, какъ именно
слѣдуетъ искать дѣвочку.

«Можетъ быть, помимо молитвы, и сноровка нужна?»—
думалось ей. Прадѣдушка много жилъ на свѣтѣ, все испро-
бовалъ и, навѣрное, и дѣвочекъ въ капустѣ искалъ и нахо-
дилъ...

Собираясь заговорить и не рѣшаясь, Зайка уныло погля-
дывала черезъ ограду на дорогу и на нѣсколько сосенъ, жел-
тые стволы которыхъ, озаренные прорвавшимся въ тѣнь лучемъ
жаркаго солнца, стояли совсѣмъ красные, гордые, будто ог-
ненные...

И вдругъ Зайка шире раскрыла свои и безъ того боль-
шущіе глаза, затѣмъ разинула алый ротикъ, какъ, быть мо-
жетъ, еще никогда не разѣвала, а тамъ, чрезъ нѣсколько
мгновеній, ахнула. И такъ ахнула, что прадѣдушка весь
встряхнулся въ креслѣ и выронилъ табакерку изъ рукъ...

— Что ты? Что?—вскрикнулъ онъ даже сердито.

— Прадѣдушка, гляди, гляди!—закричала и Зайка, вско-
чивъ и указывая дрожащей рукой на дорогу, въ порывѣ
удивленія, граничившаго съ перепугомъ.

Старецъ глянулъ черезъ ограду и тоже удивился...

— Важные, именитые пріѣзжіе,—объяснилъ онъ наконецъ,
ища глазами правнучку. Но правнучки и слѣдъ простылъ. Она
была уже давно далеко.

Зайка сама, конечно, не сознавая, что дѣлаетъ и хорошо ли, дурно ли, выбѣжала стремглавъ изъ сада во дворъ, выбѣжала затѣмъ въ ворота прямо на дорогу и, также раскрывъ глазки и ротикъ, стала глядѣть.

Цѣлый поѣздъ шагомъ, благодаря пескамъ и жарѣ, двигался мимо. Впереди ѣхалъ какой-то небольшой красивый голубой ящикъ на колесахъ безъ дверецъ и оконъ. Затѣмъ ѣхала сіявшая карета, чуть не золотая,—какъ показалось Зайкѣ,—и изъ нея глядѣлъ на нее, подвинувшись къ окошку, молодой и пригожій человекъ съ черными... черными... черными глазами... Онъ проѣхалъ тихо мимо, но, уже высунувшись по поясъ въ окошко, все глядѣлъ на нее и, наконецъ, засмѣялся и что-то крикнулъ ей.

Но Зайка, оглядывая слѣдующихъ проѣзжихъ, не обратила на слова вниманія. Особенно поразила ее вдругъ выползшая изъ-за деревьевъ громадина, махиница, цѣлый, почитай, флигель на колесахъ... И качаясь онъ едва тащился, будто упирался, за шестерикомъ взмыленныхъ лошадей, легшихъ на постромки со всѣхъ силъ. Затѣмъ, экипажи и телѣжки всякаго рода, лошади, тройки, пары, одиночки—куча веселаго народа, который привѣтливо глазѣлъ на красавицу-барышню, выбѣжавшую глазѣть на нихъ... Все проскользнуло, будто облако, и скрылось, пропало... Было вотъ, и нѣту!.. Зайка, все стоя на дорогѣ, уже навѣрное не знала: но во снѣ ли все это привидѣлось ей.

Однако, вдали слышались еще какіе-то звуки, людскіе голоса, а между стволами деревьевъ, гдѣ лѣсъ кончался, при выѣздѣ въ поле, мелькало что-то...

Зайка прислушивалась, приглядывалась и ждала: вотъ сейчасъ совсѣмъ все згинетъ, какъ сквозь землю провалится, или, какъ въ сказкѣ, мелкимъ бисеромъ разсыплется... И золотая карета, и махиница, и всѣ эти веселыя смѣющіяся лица, и эти черные... черные... глазища... не страшные... даже совсѣмъ, совсѣмъ не страшные.

Зайка тихо, будто лѣниво, опустивъ голову, вернулась въ ворота и въ садъ къ прадѣдушкѣ. Только они двое и видѣли проѣзжихъ, такъ какъ вся усадьба будто спала.

— Куда ты пропала, дѣвочка?—спросилъ старецъ.

— Бѣгала на дорогу глядѣть,—отвѣтила Зайка.

— На дорогу? Нехорошо, моя дѣвочка. Не слѣдъ барышня-дворянкѣ выбѣгать глазѣть на проѣзжихъ. Узнаетъ твоя

тетушка, загоняетъ тебя журеньемъ. Ну, да мы, дѣвочка, ей не скажемся, промолчимъ,—прибавилъ старецъ, лукаво подмигивая правнучкѣ.

Зайка сѣла на свою скамеечку у ногъ старца, и снова наступило тяжелое молчаніе среди душевной тишины въ усадьбѣ...

Сколько прошло времени, полчаса или часъ, задумавшаяся глубоко Зайка не знала, но вдругъ въ усадьбѣ заходили, заговорили, зашумѣли, на террасѣ появилась вѣчно сидѣвшая у себя бабушка ея, а въ садъ вышла тетка и быстро шла къ старцу взволнованная...

Дѣло было страшно важное. Приключеніе невѣроятное... Какой-то проѣзжий, важный князь, прислалъ пріятеля-дворянина и лейтенанта флота просить разрѣшенія отдохнуть у нихъ въ домѣ, пока его люди справятъ бѣду. Разсыпалось вдребезги колесо у рыдвана, и ѣхать далѣе нельзя.

Черезъ часъ Зайка смущенная, трепетная забила въ уголъ своей комнаты и боялась даже дышать... Въ домѣ все гудѣло. Домъ, кажется, сильно качался, а она въ немъ еще сильнѣе...

XI.

Пустой Валь преобразился странно, какъ будто даже страшно.

Онъ загудѣлъ, зашумѣлъ... точно навожденіе. А отъ «кого» такое бываетъ?

Въ маленькой усадьбѣ былъ, конечно, полный переполохъ. Во-первыхъ, у Глѣбовыхъ гостей уже давно не бывало никого. Чужой человѣкъ въ домѣ былъ настоящая рѣдкость. А, во-вторыхъ, этотъ чужой человѣкъ былъ гостемъ внезапнымъ, какъ съ неба свалившимся, да къ тому же еще и важный. Не простой дворянинъ сосѣдъ, а князь, богачъ и издалека. Его фигура, его люди и экипажи, все было не заурядное.

Вся семья будто оробѣла и не знала, какъ ей быть, какъ принимать гостей, чѣмъ и какъ угощать. Ударить лицомъ въ грязь не хотѣлось.

Одинъ Андрей Ивановичъ былъ спокоенъ и заявилъ:

— Дайте ему поѣсть, накормите людей, прикажите задать корму конямъ въ волю и проводите честию.

— Онъ почевать думаетъ,—заявили старцу.

— Зачѣмъ? У насъ не постоялый дворъ.

— Говорить—полюбилось.

— Мало что. Ему любо, а намъ нѣтъ. Можно попросить. Не послушается—наладить.

— По шапкѣ!—разсмѣялась ехидно Прасковья Андреевна.

— Да, голубушка! — твердо заявилъ Андрей Ивановичъ, мигая своими большими и толстыми вѣками, подъ сѣдыми и густыми, какъ усы, бровями.—Наладить по шапкѣ, а то и по шеѣ. Онъ князь, да вѣдь все же съ вѣтра.

— Съ вѣтра. Онъ первый дворянинъ во всей округѣ своей,—заявила Катерина Петровна.

— Кто сказываетъ?

— Его люди.

— Хороша-то, распрекрасна Аннушка. А кто сказываетъ? Ея матушка. Умница нашъ—Агаеонъ. А кто говоритъ? Самъ же онъ,—отвѣтилъ Андрей Ивановичъ.

Старца оставили на покоѣ, рѣшивъ, конечно, не слушаться его совѣтовъ.

Андрей Андреевичъ былъ радъ неожиданнымъ гостямъ, потому что ему крайне понравился лейтенантъ Адамъ Адамовичъ, а этотъ расхвалилъ своего друга князя и расхвалилъ умѣючи, будто зная или чуя, чѣмъ можно понравиться Глѣбову.

— Онъ давно собирается въ дальній и великій путь, къ Гробу Господню,—заявилъ Ваастъ въ разговорѣ.

— Что вы!.. ахнулъ старикъ.

Это заявленіе страшно поразило его. Онъ совершенно другими глазами глянулъ на гостя. Впервые въ жизни случилось Андрею Андреевичу видѣть предъ собой дворянина и богача помѣщика, который, если не былъ еще, то будетъ у Гроба Господня. Это не то, что разные убогіе страннички, которые тамъ побывали. Это свой братъ.

И Глѣбовъ отнесся дружелюбно, даже любовно, къ такому князю, который увидитъ Гробъ Господень. Жена его и дочь стали всячески ухаживать за именитымъ гостемъ, угощали и бесѣдовали. Одинъ разговоръ князя съ Катериной Петровной возымѣлъ большое значеніе. Ограниченная женщина, считавшая себя умнѣе, хитрѣе и вообще превыше всѣхъ, кого она знала, отъ мужа и до предсѣдателя уголовной палаты, который считался всѣми за мудреца, она рѣшила, что «раскусила» заѣзжаго князя и можетъ изъ него по охотѣ и желанію въ единый мигъ нащипать и дровъ, и лучины.

Она стала спрашивать князя о немъ, въ полной увѣренности, что онъ очень болтливъ и искрененъ не будетъ. А онъ всю свою душу на ладонь выложилъ, все рассказалъ, пояснилъ, чуть не покаялся во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ, какъ у попа на исповѣди.

— Стало быть, вы человекъ богатый,—спросила Катерина Петровна: — если у васъ такая усадьба да такая тьма дворовыхъ въ вотчинѣ?

— У меня, государыня моя, еще такихъ вотчинъ семь, либо шесть... Ей-Богу, самъ не знаю хорошо.

— Какъ семь?!

— Почти семь. Одна въ Симбирской губерніи стоитъ трехъ. При ней одной полторы тысячи, не то двѣ, числится душъ крѣпостныхъ. Правда, есть и татарва.

— И какъ же это вы, ваше сіятельство, извините старуху, по сю пору не обзавелись супругой?—вдругъ выпалила Катерина Петровна.

— Нѣтъ-съ. Холостъ.

— Одни?

— Одинъ.

— Какъ персть одни?

— Какъ персть,—разсмѣялся князь.

— Чему вы смѣетесь?

— Да потому... потому, что персть одинъ не бываетъ.

— Какъ такъ?—удивилась Глѣбова.

— У всякаго человекъ, если онъ не уродомъ родился, то имѣется по пяти перстовъ на рукѣ, на каждой.

— А вотъ и нѣтъ. Вотъ и видно, что молоды, вершки хватаете. То все пальцы. А персть у человекъ одинъ. На немъ и перстенъ носится.

— Вѣкъ живи, вѣкъ учись!—отозвался князь, улыбаясь.— Спасибо за науку. Буду знать.

— Зачѣмъ же, скажите, вы не женились по сю пору?

— Не захотѣлъ Господь допустить. Не повстрѣчалъ ни единой дѣвицы, которая бы пришлась по душѣ.

— Разборчивы. Королеву желаете.

— Что же? И королевны на Руси есть среди дворянскихъ дѣвицъ,—королевны пригожествомъ и нравомъ своимъ. Да не приключилось мнѣ таковой повстрѣчать. А коли Богъ дастъ...

И князь вдругъ смолкъ, ожидая умышленно вопроса.

Катерина Петровна вмѣсто какого-либо вопроса слегка задумалась, а затѣмъ наивно замѣтила:

— Странное дѣло, судьба. Суженаго тебѣ ни за что не минешь. Вѣдь вотъ надо же было, чтобъ у васъ колеса разбились у самой нашей усадьбы.

— Да-съ, удивительно, — усмѣхнулся князь.

А удивительно было ему совсѣмъ иное. Гиреевъ удивлялся, какъ его люди не проболтались, или сами Глѣбовы не догадались, что его остановка изъ-за развалившагося колеса у рыдвана была дѣломъ подстроенымъ. А запозданіе, послѣ того, что колесо было исправлено, уже ничѣмъ нельзя было объяснить.

«Очень полюбился Пустой Валъ» было, конечно, плохимъ объясненіемъ и не даромъ очень не нравилось старцу Андрею Ивановичу.

Впрочемъ, если князь и его наперсникъ инвалидъ помѣстились въ двухъ комнатахъ, устроенныхъ для нихъ, то всѣ люди съ экипажами и лошадьми продолжали стоять на опушкѣ лѣса таборомъ. И лишь изрѣдка кой-кто изъ нихъ заходилъ во дворъ какъ бы въ гости къ дворовымъ. Наоборотъ, дворня Глѣбовыхъ постоянно толкалась около привала проѣзжихъ, оглядывая и красивую карету, и рыдванъ, у котораго пришлось чинить большее колесо, и фургоны, гдѣ были посуда, провизія и всякая всячина.

Гирееву отвели комнату около Андрея Андреевича, въ которой жилъ когда-то, очень давно, его бѣдный помѣшавшійся сынъ. Ваасту дали комнату поменьше и похуже, въ концѣ коридора, гдѣ жила прежде, тоже очень давно тому, дочь, ушедшая въ монастырь.

Въ дѣлѣ поломки колеса участвовалъ, конечно, и Адамъ Адамовичъ. Въ минуту, когда князь не зналъ, какъ задержаться и какъ попасть въ домъ, откуда выбѣжало на дорогу прелестное созданіе, прельстившее его въ мигъ, онъ сталъ совѣщаться съ людьми. Кучеръ рыдвана предложилъ барину такъ ухитриться повернуть лошадей въ пескахъ, что неминуемо сломается дышло. Кто-то другой совѣтовалъ перебить спицы колеса, разрубить топоромъ. Ваастъ замѣтилъ, что это «огласится» въ усадьбѣ, и посоветовалъ сбить шину, а затѣмъ уже хорошимъ ударомъ заставить колесо рассыпаться...

Все было сдѣлано быстро и искусно, а затѣмъ инвалидъ отправился въ усадьбу посланцемъ.

Къ вечеру колесо было исправлено, но князь уже всѣхъ хозяевъ очаровалъ и жаловался, что усталъ отъ пути за цѣлую недѣлю...

Ночевавъ, онъ на утро не говорилъ объ отъѣздѣ... Хозяева тоже, конечно. А одновременно начались многозначительные разговоры хозяйки съ гостемъ, такъ какъ очень тучная, полнокровная и облѣнившаяся Катерина Петровна покинула ради него и свою постель и большое кресло, и сидѣла въ гостиной цѣлый день.

XII.

Съ перваго же дня знакомства съ Глѣбовыми, князь былъ уже въ полномъ восторгѣ отъ молчаливо присутствовавшей въ комнатѣ молодой дѣвушки и понималъ, что она истинный дичокъ захолустья и столько же проста разумомъ, сколько юна, свѣжа и красива, уподобляясь распускающемуся цвѣтку.

«Не русская, а будто шведка или голландка», опредѣлили князь дѣвушку, тщательно разглядѣвъ ее, а между тѣмъ, повидимому, какъ будто ни разу не глянувшій на нее, даже не замѣтившій ея присутствія.

На утро Гиреевъ былъ прельщенъ и всей семьей. „Хорошіе, простые люди, добрые, прямодушные“.

Это относилось къ старикамъ и ихъ дочери, а не къ старцу, который отказался выйти и познакомиться съ гостемъ.

Наоборотъ, Ваастъ къ вечеру перваго же дня узнавъ, что они остаются ночевать, сталъ сумраченъ. На другой день онъ уже былъ не только пасмуренъ, но гнѣвенъ.

А затѣмъ старый инвалидъ, чесменскій герой, сталъ уже темнѣе ночи.

Онъ все видѣлъ и все понималъ... Онъ оцѣнилъ семью, какъ слѣдовало, и высоко поставилъ ее въ своемъ мнѣніи, отнесся съ глубокимъ уваженіемъ не только къ „удивительному“ Андрею Андреевичу, но и къ любезной почтенной хозяйкѣ. И въ то же время онъ чувалъ, что затѣваетъ князь, и обомлѣлъ, испугался...

Ваастъ сообразилъ, что на его глазахъ и отчасти при его помощи, во всякомъ случаѣ, при его участіи, можетъ, пожалуй, совершиться въ скоромъ времени „худое дѣло“ и такое худое, какія не часто бываютъ.

Добрый, честный и прямодушный Адамъ Адамовичъ вдругъ почувствовалъ, что онъ какъ бы взять врасплохъ. Онъ, не вѣдая, не ожидая, станетъ внезапно сообщникомъ, пособникомъ „чистаго злодѣйства“.

— Ну, нѣтъ, Самсонъ Ивановичъ, — думалъ, размышлялъ и говорилъ Ваастъ самъ себѣ. — Всему на свѣтѣ есть, какъ сказывается, предѣлъ, за который переступать нельзя. Въ этомъ злодѣйствѣ я быть причастнымъ не могу. Коли прихоть, обойдися, воздержися, брось. Коли защемило, какъ никогда не бывало, то честнымъ обычаемъ объявися и вѣнчайся. Такихъ людей, какъ эти Глѣбовы, никакой головорѣзь, душегубъ не захочетъ обидѣть. Они прямо — агнцы!

Князь замѣтилъ внезапно суровость въ другѣ и наперсникѣ и тотчасъ спросилъ:

— Чего ты, Адамъ Адамовичъ, будто несолоно хлебавши ходишь, будто окрылся? На меня что ли? За что?

— За то, что тебѣ, сударь мой, не слѣдуетъ здѣсь мѣшкать, — отозвался Ваастъ, не желая сказать все прямо.

Князь улыбнулся и ничего не отвѣтилъ.

Вечеромъ послѣ новаго важнаго разговора старухи съ княземъ послѣдовалъ ея вопросъ, довольно откровенный:

— Приданницу, выходить, ищите. Желаете за супругой получить тоже семь вотчинъ? — почти насмѣшливо вымолвила вдругъ Катерина Петровна.

— Богъ съ вами! — отмахнулся Гиреевъ. — Коли будетъ у моей нареченной шесть сорочекъ, то и это почту я излишнимъ. Мнѣ своего всего имѣнія дѣвать некуда. Для меня, главное, красота въ дѣвицѣ, пригожество лица и души.

И князь сталъ говорить о женской красотѣ вообще и какъ-то незамѣтно и вскользь выразилъ такія сужденія, что слышавшая эту бесѣду Прасковья Андреевна была видимо какъ бы озадачена, даже разгнѣвана.

Оставшись наединѣ съ матерью, она вдругъ заявила, волнуясь:

— Онъ никакъ совсѣмъ придурковатый. По его, выходить, помилуй Богъ, что истинно пригожая женщина — это блѣбрысы шенокъ въ родѣ нашей Зайки.

— И мнѣ такъ-то сдилось. Да я думала, что обмахнулась, навыворотъ поняла, — отвѣтила мать. — А коли и тебѣ также оно сдается, стало-быть, вѣрно.

— Балуется, стало-быть, не хочет сказаться, а потѣшничаетъ. Какъ же, помилуйте... Махонькая, да не толстая, лучше похудѣе, да чтобъ смахивала на дѣвченку, да бѣленькая, да бѣлокурая... Ну, прямо портретъ живописный нашего заморыша.

И старая дѣвица презрительно разсмѣялась.

Но Катерина Петровна покачала головой.

— Ну, Прасковья, объ этомъ мы съ тобой никогда въ согласіи не были и не будемъ. Всегда я говорила и скажу, что наша Зайка теперь еще не выровнялась, а черезъ годъ, два, посмотри, будетъ, ахти, какъ пригожа.

— Съ такимъ тѣломъ да этакого роста?

— У тебя красавица та, у которой косая сажень въ плечахъ да кулакъ - пудовикъ. Вотъ мы съ тобой къ примѣру. Что меня портило, то и тебя портить. Больно мы не въ мѣру распозлзися тѣломъ. Худоба тогда не хороша, коли прямо кости да кожа. Ну, а жиромъ заплыть, и того много еще хуже.

— Я не заплыла, — отозвалась досадливо дочь.

— Заплываешь... Тебѣ не видать самой. А заплываешь, что ни годъ. Оно къ здоровью, но не къ красотѣ.

— Ну, я съ вашей внучкой не промѣняюсь. И ничѣмъ-то не промѣняюсь. И годовъ ея не возьму.

— Какъ же это? Шестнадцатый годикъ. Да чего же лучше? Все-то впереди. А у тебя...

— Полно, матушка. Не люблю я этихъ разговоровъ, — рѣзко произнесла Прасковья Андреевна. — Начали о дурашномъ гостѣ-князѣ, а свели на мое здоровье. Даже удивительно.

И разговоръ матери съ дочерью кончился легкой ссорой, что бывало не часто и почти исключительно изъ-за молодой дѣвушки.

Враждебное отношеніе старой дѣвицы къ Зайкѣ издавна сказывалось явно и во многомъ и все усиливалось.

Теперь же при внезапномъ появленіи гостя въ усадьбѣ явилась и тайная причина раздраженія.

Разумна была безспорно старая дѣвица и разсудительна, но была одна проруха въ ея разумѣ, или одно слабое мѣсто. Зная, что ей пошелъ пятый десятокъ лѣтъ, зная, что она, не бывъ никогда красивой, должна теперь еще менѣе нравиться, зная, что она и въ молодости ни разу никого не прельстила, — Прасковья Андреевна все-таки до сихъ поръ, при встрѣчѣ съ

каждымъ новымъ человѣкомъ, при каждомъ новомъ знакомствѣ, не могла удержаться или воздержать свой разумъ... Онъ въ ней начиналъ «метаться» и «прыгать», какъ однажды, давно, выразился про нее одинъ пожилой острякъ, ихъ сосѣдь.

Неожиданное появленіе гостя, который былъ молодъ и красивъ, лѣтъ болѣе, чѣмъ на пятнадцать, моложе самой старой дѣвицы, она все-таки начала волноваться... Разумъ началъ метаться.

— Ну, вдругъ... Онъ-то это и есть. Онъ, который долженъ всю ея жизнь измѣнить. Онъ, котораго судьба ей готовила...

И малѣйшее слово гостя, сказанное лично ей, малѣйшую усмѣшку, малѣйшій взглядъ Прасковья Андреевна замѣчала, взвѣшивала всячески, обсуждала со всѣхъ сторонъ и приходила къ рѣшенію.

— Почему знать?!

А этотъ вопросительный отвѣтъ былъ лучемъ живительнаго свѣта въ душу.

— Въ первый день пребыванія гостя она ясно видѣла, что онъ даже не замѣчаетъ присутствія въ комнатѣ «бѣлобрысаго щенка», то-есть племянницы ея, а на второй день онъ спросилъ только, кто она такая и родня ли имъ, а самой Зайкѣ не сказалъ ни слова и даже, казалось, ни разу не поглядѣлъ на нее. Прасковья Андреевна поэтому вполне убѣдилась и порадовалась, что племянница для гостя «въ счетъ не идетъ».

— Съ чего же онъ задержался, не уѣзжаетъ? — возникъ въ ней вопросъ.

— Полюбилось въ Пустомъ Валѣ, — отвѣчала она себѣ словами матери и прибавила: — это такъ сказывается для отвода глазъ. Нѣтъ, что-нибудь есть особое. А что?

И вдругъ теперь разсужденіе князя о женской красотѣ стало для старой дѣвицы какъ бы толчкомъ, пошатнувшимъ зданіе, воздвигнутое ея воображеніемъ...

На слѣдующій день послѣдовалъ ударъ, разрушившій это зданіе совсѣмъ.

Около полудня князь вдругъ заговорилъ съ Зайкой ласково, хотя съ высоты взрослого человѣка, который, разговаривая съ малымъ ребенкомъ, подлаживается подъ его дѣтскія мысли и сужденія... Затѣмъ, когда всѣ вышли въ садъ, онъ предложилъ Зайкѣ побѣгать, побился объ закладъ съ ней, что

хотя она «маленькая», а онъ «большой», но что все-таки онъ за себя постоитъ, и она его не догонитъ. Зайка его догнать не смогла, но, уже менѣе дичась, объяснила ему, что ей идетъ шестнадцатый годъ.

— Я полагалъ, внучкѣ вашей не болѣе тринадцати лѣтъ, а она, оказывается, дѣвица невѣста, — какъ-то странно, небрежно или равнодушно, замѣтилъ князь Катеринѣ Петровнѣ.

Разумѣется, это была ложь и умышенная, нужная ему.

Въ сумерки, когда всѣ сидѣли на террасѣ; Гиреевъ опять предложилъ Зайкѣ побѣгать по саду и постараться его догнать... Они побѣжали, но уже гораздо дальше, такъ что пропали изъ виду въ чащѣ кустовъ.

А когда минутъ черезъ десять они вернулись опять, якобы обѣжавъ вокругъ сада, князь былъ вовсе не запыхавшійся, а Зайка, напротивъ, была вся раскраснѣвшаяся, неровно переводила дыханіе и странно поглядывала исподлобья.

— Каково это? — замѣтила Катерина Петровна. — Вдвое моложе князя, а умаялась... А онъ — ничего... Молодецъ вы, князь, ей-Богу.

Но Прасковья Андреевна, равно замѣтивъ, что племянница какъ бы умаялась, замѣтила тоже, что у нея глаза «какіе-то растерянные».

И старая дѣвица почему-то вдругъ обозлилась, точно почувявъ что-то...

Зайка, будто получивъ отъ князя строгій нагоняй, сейчасъ же тихо ушла къ себѣ въ комнату и усѣлась въ уголку, съ серьезнымъ лицомъ, какъ бы прислушиваясь. Мысли въ головѣ какъ-то прыгали...

Къ нимъ-то, своимъ бурнымъ, но путаннымъ мыслямъ, она и прислушивалась и затѣмъ себя спрашивала... А о чемъ, сама не знала...

Дѣло было въ томъ, что сейчасъ въ саду она поймала князя. Но вышло такъ, какъ если бы онъ ее ловилъ и поймавъ. Онъ схватилъ ее въ охапку и, и хвала за то, что она шибко умѣетъ бѣгать... всю расцѣловалъ. И въ лице, и въ волосы, и въ глаза, и въ шею... Такого ничего никогда съ ней не случалось. А затѣмъ онъ ей строго приказалъ никому про это не сказывать. А если она скажетъ, то онъ сейчасъ же велитъ лошадей запрягать и уѣдетъ. И она обѣщалась...

Да и нельзя иначе... думалось ей.

Вѣдь съ тѣхъ поръ, что онъ у нихъ въ усадьбѣ, она не только на него всѣ глаза проглядѣла, но даже ночи плохо спала и все его предъ собой, какъ живого, видѣла... И теперь все, что онъ ни прикажетъ, ужъ, конечно, она исполнить.

Въ этотъ же вечеръ Прасковья Андреевна заявила матери, что не надо позволять гостю быть съ Зайкой.

— Не приличествуетъ! Она все-жъ таки не ребенокъ малый, а дѣвица. И оно выходитъ неблаговидно.

— Да нешто бѣгаютъ только малыя дѣти?—удивилась Катерина Петровна.—А дворня-то наша, что ни воскресенье, у нихъ и жмурки, и горѣлки, и лапта...

— Ваше дѣло,—отозвалась сухо старая дѣвица и не прибавила ни слова. А затѣмъ уже спросила самое: не ошиблась ли она, не померещилось ли ей, что у Зайки были «растерянные глаза»?

На другой день, ранехонько утромъ, когда Зайка, вставшая прежде всѣхъ, была въ саду съ Терентьевной, князь вдругъ тоже вышелъ въ садъ и вскорѣ очутился около нихъ. И снова предложилъ онъ ей бѣжать, чтобы его догнать... И долго Терентьевна «аукала» барышню среди дорожки кустовъ... А когда князь и барышня появились снова предъ старухой, то не бѣжали, а тихо и молчаливо шли рядышкомъ... Князь радостный, но спокойный... Зайка сильно пунцовая личикомъ, что маковъ цвѣтъ, и съ мокрыми глазками... Слезы еще продолжали капать изъ глазъ и струиться по раскраснѣвшимся щекамъ.

— Что съ тобой?—ахнула Терентьевна.

— Упала Зинаида Антоновна. Ушиблась малость, — объяснилъ князь такимъ довольнымъ голосомъ, что даже разсердилъ старуху.

«Будто радуется, что барышня ушиблась. Народецъ! Хоть и князь»,—сердито подумала она.

XIII.

Прошло дней пять... Гость загостился... Люди въ таборѣ усмѣхались лукаво. Люди въ домѣ улыбаются горделиво.

Однако, былъ человекъ, котораго это долгое присутствіе въ усадьбѣ гостя беспокоило и даже волновало. Это былъ старецъ. Нежеланіе выходить знакомиться и необходимость обѣдать и ужинать одному въ своей комнатѣ ему прискучили.

— Вотъ дожилъ до чего. Подъ запретомъ сижу. Наказали за озорство или буйство, — ворчалъ онъ полупушта, полудо-садливо.

По ночамъ старцу, такъ же, какъ и его правнучкѣ, спалось плохо, онъ часто просыпался, и первая мысль была: «Князь въ домѣ!».

Путру, вставая, онъ прежде всего неизмѣнно спрашивалъ своего стараго слугу, который былъ старше его сына:

— Ну, что, Макарка?

Слуга, уже зная, о чемъ идетъ рѣчь, что застряло въ баринѣ занозой за эти дни, отвѣчалъ:

— Не собираются, и слуху нѣтъ.

Всякій день, когда сынъ приходилъ къ нему поздороваться, Андрей Ивановичъ и его встрѣчалъ тѣмъ же вопросомъ о томъ, когда гость уѣдетъ, а затѣмъ начиналъ огорчать, иногда и подшучивать сердито.

— Ты скажи ему, поясни. Онъ видитъ, усадьба на самой дорогѣ. Можетъ, за постоянный дворъ принялъ, за ямъ, а тебя за ямщицаго старосту, благо ты въ лаптяхъ.

Андрей Андреевичъ отмалчивался, зная, что всякое объясненіе только пуще растревожитъ отца.

На пятый день, послѣ появленія князя, старецъ наконецъ совсѣмъ растревожился, узнавъ, что гость окончательно не помышляетъ объ отъѣздѣ.

— Худо это;—сказалъ онъ волнуясь. — Худое у него на умѣ. Держи ухо востро, Андрюша. Смотри, ты не махонькій уже.

— Что вы, батюшка! Богъ съ вами. Просто полюбилось человѣку у насъ. А, можетъ, и загвоздка какая приключилась.

— Какая?

— Да такъ... Мало ли что... Не знаю, — уклончиво отвѣтилъ Андрей Андреевичъ, не любившій лгать.

А сказать старцу родителю о томъ, что передала ему съ вечера жена Катерина Петровна, онъ не рѣшался. Старца все новое, хотя бы и хорошее, будто пугало или приводило въ такое возбужденное состояніе, послѣ котораго онъ ослабѣвалъ, смотрѣлъ тусклыми глазами и начиналъ подремывать цѣлый день.

— Ну, что же? Вотъ на старости лѣтъ, съ одной ногой въ гробу — въ погорѣльцахъ буду вмѣстѣ съ вами, — рѣшилъ Андрей Ивановичъ въ отвѣтъ.

— Какими судьбами?—воскликнулъ сынъ.

— А спалать насъ эти гости съ большой дороги.

Андрей Андреевичъ напрасно сталъ убѣждать отца, что люди князя держатъ себя порядливо, трезво и смирно.

— Чуетъ мое сердце. Худо будетъ! — стоялъ старецъ на своемъ.

Успокоить отца «однимъ словечкомъ» Андрей Андреевичъ не рѣшился.

А сообщенное ему наканунѣ женой, хотя и было лишь одно ея предположеніе, все-таки смутило старика.

Андрей Андреевичъ былъ даже пораженъ извѣстіемъ, что его внучка, сирота, безприданница, захолустная дворяночка, можетъ вдругъ сдѣлаться княгиней и богатой барыней. А «по видимости» выходило такъ...

Онъ всегда и часто говаривалъ, а равно всю душою своей, незлобивой и чистой, вѣрилъ, что всѣ люди человѣки, все тѣ же люди Божьи. Что царь всероссійскій, что послѣдній его холопъ—оба человѣки, по образу и подобию Божию сотворены. Все на свѣтѣ суета, тлѣнь, и все «прейдетъ». Гордыня лишь людская, какъ дьяволово навожденіе, изъ всяческой суеты сдѣлала идола для поклоненія.

Андрей Андреевичъ все это не только понималъ, но чувствовалъ...

А подумать, что Зайка, или, какъ зоветъ ее его отецъ, «дѣвчурка», круглая сиротка—да вдругъ будетъ ваше сіятельство, княгиня Гиреева... И всѣ мысли старика, всѣ душевныя, побожески, чувствованія и всѣ размышленія—все это отходило прочь, пропадало, а кто-то громко трубилъ въ уши:

— Княгиня Зинаида Антоновна Гиреева, внучка дворянина Глѣбова!

И въ отвѣтъ на это, Андрей Андреевичъ, смущенный искушеніемъ, чуя, что это отъ «него», отъ врага человѣческаго идетъ, отвѣчалъ себѣ:

— Господи, прости и помилуй. Вѣдь это та же гордыня. Ну, будетъ Зайка княгиней. Ну, что же? Вся сила во спасеніи души, послѣ твоего житія на землѣ. Придутъ ко вратамъ райскимъ не только князья, а цари... И врата не отверзятся. А придутъ нищѣ, убогіе—и врата отверзятся.

Одновременно Андрей Андреевичъ былъ, однако, смущенъ какимъ-то чувствомъ, какимъ-то вопросомъ, возникшимъ въ

немъ противъ его воли. Князь этотъ, его гость, ему почему-то сталъ вдругъ не нравиться.

Въ первый день онъ отнесся къ нему совсѣмъ любовно, узнавъ отъ инвалида безрукаго, что князь собирается на богомолье въ Иерусалимъ. Но затѣмъ и лицо князя, и его взглядъ и его усмѣшка, и его ласковость со всѣми «будто какая-то Іудина, прости Господи»—все въ немъ и все сильнѣе не нравилось чистому душой старику.

«Что-то неладно въ немъ,—говорилъ самъ себѣ Андрей Андреевичъ.—Что-то не люблю мнѣ. А что собственно, — я и самъ не знаю. Вотъ этотъ Адамъ Адамовичъ совсѣмъ другое—онъ мнѣ по душѣ. Будто я его сто лѣтъ знаю, и люблю, и почитаю. А князь вотъ тебѣ—душевный, и вотъ тебѣ сейчасъ—Искаріотъ. Даже какъ-то боязно бываетъ около него.

И Андрей Андреевичъ готовъ былъ начать желать, чтобы Зайка «не стала княгиней», чтобы гость лучше поскорѣе собрался отъ нихъ подобру, поздорову, съ Богомъ.

Объ этомъ внутреннемъ чувствѣ своемъ, все усиливавшемся, онъ объяснилъ женѣ, покаявшись какъ въ грѣхѣ.

— И самъ не знаю, откуда во мнѣ такое... Отчего оно?

— Оттого, что замонашествовался! — сердито огрызнулась на него Катерина Петровна.

Между тѣмъ, прошло еще два дня, и за это время Гиреевъ, способный увлекаться, какъ юноша, былъ уже безъ ума влюбленъ въ молоденькую дѣвушку, почти дѣвочку. Изъ всѣхъ женщинъ, которыхъ онъ знавалъ,—а ихъ было крайне много,—Зайка была первая, прельстившая его тѣмъ, что оказывалась настоящимъ неповиннымъ младенцемъ, несмотря на свой шестнадцатый годъ.

Полный дичокъ по воспитанію и условіямъ жизни въ глуши, она была дичокъ по природѣ. Простомыслію ея и наивности не было предѣла... Недаромъ бабушка и тетка продержали ее почти десять лѣтъ, какъ хрупкую вещицу въ коробочкѣ съ ватой, недаромъ запретили ей знаться и разговаривать даже съ дворовыми дѣвушками, заставили проводить время съ одной старухой Терентьевной.

Если не считать старца, съ которымъ Зайка была ближе всѣхъ и котораго по-дѣтски любила, то послѣ Терентьевны первый человѣкъ, съ которымъ она близко сошлась, былъ совершенно чужой всѣмъ человѣкъ, а ей изъ-за ласкъ и тайныхъ поцѣлуевъ сразу будто родной и дорогой.

«Даже, сдается, прадедушку за него отдала бы» съ ужасомъ думала Зайка.

Еще два раза рано утромъ вышелъ князь въ садъ, встрѣтился съ ней и гулялъ, а затѣмъ «бѣгалъ и ловилъ», то-есть, убѣжавъ отъ старухи, сажалъ на скамью около себя или къ себѣ на колѣни и цѣловалъ безъ конца.

На вопросы Зайки, которая цѣловала его больше и горячѣе, чѣмъ прадедушку, не смущаясь и не робѣя, князь отвѣчалъ не уклончиво, а просто лгалъ... Зайка спрашивала, скоро-ли они обвиняются и поѣдутъ жить къ нему въ вотчину. Князь отвѣчалъ, что не нынче-завтра, что онъ только не рѣшилъ, говорить ли объ этомъ дѣдушкѣ съ бабушкой или сдѣлать все «тихонько отъ нихъ». Зайка была и на это согласна.

«Нагоняй будетъ потомъ отъ тетки,—думалось ей,—да что-за важность!»

И князь дѣйствительно сталъ собираться не нынче-завтра рѣшиться окончательно и овладѣть «неповиннымъ младенцемъ». Но онъ оттягивалъ дѣло изъ-за собственного чувства стыда передъ всѣми, и Глѣбовыми, и своими людьми. Чувство это говорило ему, что теперь онъ какъ бы хватается черезъ край.

Между тѣмъ, Андрей Андреевичъ, узнавъ объ утреннихъ прогулкахъ гостя съ внучкой, тоже замѣтилъ женѣ объ ихъ неблагоприличіи. Прасковья Андреевна, узнавая не только о прогулкахъ, но и о «бѣганьѣ» далеко отъ Терентьевны, заявила матери рѣзко, что слѣдуетъ прямо объясниться съ гостемъ объ его намѣреніяхъ, а не позволять «зря баловаться».

— Или сейчасъ сватайся, или уѣзжай!—сказала она.

Катерина Петровна вспомнила почему-то свою прежнюю строптивость и упрямое сомовластье. И мужу, и дочери заявила она почти гнѣвно:

— Не въ свое дѣло прощу не мѣшаться и меня не учить. Знаю, что дѣлаю.

Однако черезъ сутки, старуха, оставшись послѣ обѣда наединѣ съ княземъ, вдругъ сразу спросила его:

— Ждать ли намъ отъ васъ чего важнаго, — семейственнаго?

Гиреевъ, взятый отчасти врасплохъ, не смутился. На него изрѣдка находилъ «стихъ безстыдства», какъ опредѣлялъ Ваастъ. Такъ случилось и теперь.

Глупо горделивый видъ тучной женщины съ опухшимъ лицомъ, когда она сдѣлала этотъ внезапный вопросъ, разсмѣшилъ

князя, и онъ, улыбаясь, отвѣтилъ утвердительно, прося, однако, сохранить это втайнѣ на три дня. Почему три — онъ самъ не зналъ.

Катерина Петровна, радостная, скрыла все отъ своихъ, но проговорила со старухой нянькой, на томъ основаніи, что «такая дура въ счетъ не идетъ».

Разумѣется, Терентьевна, тоже обрадованная, не стергла и въ тотъ же вечеръ, оставаясь наединѣ со своей барышней въ ея спальнѣ, стала такъ хитростно поглядывать на нее и такъ «диковинно» ухмыляться, что Зайка тотчасъ все замѣтила. И она, конечно, тотчасъ догадалась, что старуха знаетъ больше нея, знаетъ и то, чего она и понять не сможетъ.

— Ну, ужъ говори, Терентьевна, — сказала она ласкаясь.

— Нельзя. Негоже дѣвицѣ этакое слышать, — отвѣтила старуха.

— Стало, есть что? Есть?

— Ничего нѣту. Откуда ты выискала?

— Да, вѣдь, сказываешь сама, что негоже мнѣ слышать. Стало, есть что... негожее-то... Говори. Про князя вѣдь, про него... Говори, хорошая моя, касатушка, родимая, золотая...

И Зайка обняла старуху, повисла у нея на шеѣ и стала, не желая, валить на полъ.

— Стой, стой! Упаду, — закричала Терентьевна, пошатываясь и стараясь удержаться на дряблыхъ ногахъ.

— Говори! Не то и повалю и задую... — вскрикнула Зайка, раскраснѣвшись отъ волненія. — Говори все. Не то вотъ сейчасъ руки на себя наложу.

— Грѣхъ и молвить этакое. И не знаешь, вѣдь, сама, что языкомъ болтаешь. Нечего мнѣ сказывать. Катерина Петровна накрѣпко воспретила тебѣ говорить, что онъ собирается тебя сватать.

— Когда?! когда?! Родимая! Терентьевна!

— Не знаю, и она не знаетъ.

— Можетъ, и сегодня. Ну, а скажи—вѣнчаться въ церкви сейчасъ же будемъ, или отложится.

— Вѣстимо не сейчасъ.

— Когда же? Черезъ недѣлю? — упрямо, даже строго спросила Зайка.

— И поболѣ. Въ дворянахъ-господахъ такъ не полагается. Надо тянуть и откладывать.

— Зачѣмъ? — отчаянно вскрикнула дѣвушка.

— Ужъ таковъ законъ. По полгода, бываетъ, тянется дѣло, а то и болѣ.

— Господи, да вѣдь это помереть можно. Я умру, Терентьевна. Ей-Богу, умру. Вотъ возьму и умру, а ждать не стану. Какъ бабушка съ дѣдушкой хотятъ, а чтобъ сейчасъ вѣнчали. Завтра, ну, пожалуй, послѣзавтра. А то скажу—умру. Хуже будетъ имъ. Пожалѣють, да поздно, какъ за ноги въ могилу стащатъ.

— Тыфу, какихъ словъ набираешься ты, дитятко! Мало что народъ болтаетъ. Слушать тебѣ не слѣдъ. А коли слышала, забудь. А ты вотъ тоже болтаешь языкомъ.

— Не хочу! не хочу! Хочу сейчасъ. Не могу терпѣть!—начала Зайка причитать жалобно, не слушая длиннаго нравоученія старухи о благоприличіи, безсвязнаго и безтолковаго.

И кончилось тѣмъ, что дѣвушка-ребенокъ начала вдругъ, сама не зная почему, плакать навзрыдъ, какъ отъ неожиданнаго большого горя.

XIV.

А въ то же время инвалидъ догадался или будто почувалъ что-то новое...

Въ этотъ же вечеръ Ваастъ пошелъ за княземъ въ его комнату и наединѣ спросилъ утрюмо:

— Ну, сударь, Самсонъ Ивановичъ... что же, когда въ путь?

— Не знаю, сударь, Адамъ Адамовичъ, — ухмыляясь и будто заигрывая, отвѣтилъ Гиреевъ.

— Напрасно. Пора бы уже и знать.

— Какъ такъ? Даже и не пойму.

— Пора, говорю, знать, что дѣлать. Пора, пока еще не поздно...

— А какъ же это можетъ быть поздно?.. Тоже не пойму.

— Полно, князь, ломаться да словами играть, — уже рѣзко произнесъ Ваастъ. — Я, вотъ Христось Богъ, натрудился, мнѣ больше невтерпежь, силъ нѣтъ... Нутро не на мѣстѣ, который день...

— Да что съ тобой, Адамъ Адамовичъ? — уже не улыбаясь, спросилъ князь. — Ей-Богу же, ничего не пойму. Говори по-человѣчьи, безъ загадокъ.

— А вы-то что же всѣ человѣчьи чувства растеряли со-всѣмъ, что тебѣ мои простыя слова загадками оборачиваются?

Полно, князь, полно... Понимаешь хорошо. Ну, вот и скажи: когда мы отсюда съедем? Скоро ли?

— Не знаю, — недовольнымъ голосомъ отвѣтилъ Гиреевъ.

— А я говорю: пора знать. А то будетъ поздно. Вто-ришься ты совсѣмъ въ этого ангелочка и тогда... Хочешь не хочешь, придется тебѣ либо, уѣхавши отсюда, хворать мыслями еще пуще прежняго, то-есть тосковать по красотѣ... Либо придется въ церковь итти, чего ты никогда не желалъ.

— А середины нѣтъ? Ни тосковать, ни вѣнчаться!—отчасти раздражительно сказалъ князь.

Ваастъ поглядѣлъ ему зорко въ лицо, помолчалъ нѣсколько мгновений и произнесъ глухимъ голосомъ:

— Если ты середину въ этакихъ обстоятельствахъ найдешь, то я... я, стало быть... Я ужъ тогда ничего не соображу. Стало быть, я тебя не зналъ никогда, за другого принималъ, слѣпъ былъ... Что же? Эта дѣвица, почитай еще отроковица, да дворянка стараго и столбового рода, подпорочка цѣлой благородной семьи достойнѣйшихъ стариковъ... Она, стало быть, тебѣ то же, что разныя Адольфины. Ты потомъ старику столѣтнему, капитану гвардіи... приплешь со мною же его правнучку обратно, приложивъ триста рублей на разживу. Ну, что же молчите?—отвѣтствуйте.

Князь сидѣлъ, опустя голову, и лишь чрезъ нѣсколько мгновений произнесъ тихо и вздохнулъ.

— Не знаю, совсѣмъ не знаю, какъ быть. Гордіевъ узелъ. Да.

— Узелъ?—удивился Ваастъ. — Про какой ты узелъ? Что за узлы тутъ?

— Гордіевъ. Такъ именуется. Долго пояснять. Это, Адамъ Адамовичъ, ты бы знать долженъ. Есть такой узелъ, то есть былъ, который, можетъ, тысячу лѣтъ пробовали люди развѣзывать, и никто не могъ...

— Не надо было и пробовать, чего нельзя. На то разумъ. Этакъ я начну по ночамъ звѣзды картузомъ ловить.

— А тотъ знаменитый македонскій царь, Александръ, нашелся и изловчился.

— Развѣзалъ?

— Нѣтъ. Говорятъ тебѣ, что нельзя было развѣзать...

— Такъ какъ же тогда онъ изловчился? Плинулъ да отошелъ. Я же про это и сказываю. Только на мой толкъ, не надо было и пробовать, время терять попусту...

— А я тебѣ сказываю, что царь Александръ, себѣ на умѣ, загадку разрѣшилъ, какъ взяться...

— Развязалъ, стало быть?

— Нѣтъ же, говорятъ тебѣ...

— Такъ бросилъ дѣло?

— Нѣтъ же... Не бросилъ, и не развязалъ, и не спасовалъ.

Ваастъ развелъ руками...

— А вотъ, поди спать, Адамъ Адамовичъ. Утро вечера мудренѣе—завтра встанешь и подумай, и, можетъ, догадаешься, въ чемъ финтъ... Вотъ такъ-то и я могу теперь изловчиться.

— Нѣтъ, Самсонъ Ивановичъ,—сурово отозвался Ваастъ.— Тутъ дѣло не простое,—дѣло, за сердце хватающее. Тутъ не до прибаутокъ, шуточекъ. Говорите, что вы порѣшили. Когда мы ѣдемъ?

— Не знаю, говорю.

— Стало быть, желаете Катеринѣ Петровнѣ или Андрею Андреевичу заявить о своемъ намѣреніи бракосочетаться?

— Нѣ-ѣтъ,—протянулъ князь.

— Стало быть... Что же вы желаете дѣлать?

Князь разсмѣялся и выговорилъ добродушно:

— Да вотъ... Выкрасть, что ли...

— Зинаиду Антоновну?

— А то кого же?.. Прасковью Андреевну что-ли?

— А тамъ меня снарядите ее назадъ доставить сюда съ вознагражденіемъ за безчестіе... Ну-съ, ваше сіятельство... Утро, какъ ты сказываешь, мудренѣе вечера. Вотъ ты мнѣ завтра, выспавшись, и скажи: баловался ли ты съ вечера или правду сказывалъ, остаются вы при своемъ безстыжемъ и окаянномъ рѣшеніи или передумали?.. А пока прощайте, доброй ночи.

И Ваастъ быстро вышелъ изъ комнаты.

И эту ночь добрый и честный инвалидъ такъ же, какъ старецъ и какъ юная Зайка, плохо спалъ, все вертѣлся и все вздыхалъ.

И очень рано утромъ Ваастъ уже вошелъ въ комнату, гдѣ поселили гостя князя, и, найдя его не въ постели, а сидящимъ у открытаго окна, нѣсколько удивился, но и обрадовался.

«Стало быть, тоже мыслями расправляется и тревожится»,—пришло ему на умъ тотчасъ же.

— Ужъ поднялися? Что же? Какъ утро понѣжнее мудренѣе вчерашняго вечера?—сказалъ онъ улыбаясь.

Гиреевъ поднялъ голову, глянулъ на Вааста и угрюмо на-
супился.

— Мудренѣе, вѣстимо. И изъ-за тебя же... Что же ты вчера
наболталъ! Разумѣется, и меня смутилъ. Ну, а скажи, догадался
ты или нѣтъ, что царь македонскій съ узломъ сдѣлалъ.

— Полно вамъ баловаться. Царь-то этотъ, можетъ быть,
что и выдумалъ, изловчился, чтобы развязать. А вы, вотъ, су-
дарь князь, затягиваете теперь узелъ, гдѣ его и не было, гдѣ
ему и не слѣдовало быть. Вотъ что. Да не узелъ, а похуже.
Петлю прилаживаете и себѣ, и другимъ, мертвую петлю, какъ
сказывается.

Князь усмѣхнулся какъ-то кисло.

— Да, пожалуй, правда. И себѣ, и другимъ.

— Да себѣ-то—ваша воля, а другимъ—грѣхъ... Вотъ что,
родимый мой, золотой... Давай, уйдемъ отсюда сейчасъ. А?

— Не могу.

— Что же тогда будетъ?

— И самъ не знаю.

— Безчестіе! Да, безчестіе себѣ и безчестіе другимъ, не-
повиннымъ. А кто виноватъ будетъ? Я.

— Какъ же это—ты?

— Я, одинъ я. Я надумалъ это дураково странствованіе
по костямъ, которое насъ сюда занесло, въ этотъ Пустой Валъ.

— Судьба, Адамъ Адамовичъ.

— Судьба. Никогда не повѣрю, чтобы судьба хотѣла, чтобы
я вдругъ мерзавцемъ сталъ.

— Что-о?—протянулъ князь удивленный.

— Не я, такъ другой кто—изъ-за меня.

— Спасибо,—разсмѣялся князь.

— Полно, Самсонъ Ивановичъ, говорю я тебѣ, въ слова
играть. Отвѣтствуй: ѣдемъ мы сейчасъ или не ѣдемъ отсюда
во-свояси?

— Не могу я ухъать, и конецъ. Видитъ Богъ, не могу.

— Такъ отпусти ужъ меня отсюда, чтобы мнѣ не видѣть
окаяннаго дѣла. Дозволь телѣжку взять.

— Что же, не держу. Ступай...—глухо и сурово отвѣтилъ
князь отворачиваясь.

Черезъ часъ Ваастъ исчезъ изъ дома и изъ усадьбы. Онъ
ухъалъ, не простившись съ Глѣбовыми.

— Лучше, — разсуждалъ Адамъ Адамовичъ, — лучше не
проститься и не отблагодарствовать за хлѣбъ-соль, чѣмъ,

прощаясь, не предупредить честнѣйшихъ людей, что у нихъ волкъ въ овчарнѣ. Хуже: Каинъ гость у нихъ.

Самостоятельный поступокъ инвалида, самовольный въ нахлѣбникѣ и человѣкѣ все-таки зависящимъ, разсердилъ избалованнаго судьбой и людьми прихотника.

«Что хочу, то и дѣлаю, то и буду дѣлать!» — мысленно восклицалъ онъ.

На утро князь, поднявшись раньше обыкновеннаго, будто сердито ухмыляясь, сказалъ пришедшему любимому слугѣ.

— Ну, Фералонтъ Кузьмичъ, конецъ дѣлу вѣнецъ. Я порѣшилъ безъ поворота.

— Уѣзжать? Пора давно... Вонъ Адамъ Адамовичъ ужъ не вытерпѣлъ...

— Нѣтъ, золото мое. Уѣзжать-то, уѣзжать, только не по-вашему, а съ калымомъ, какъ сказываютъ татары.

— Съ калымомъ?—повторилъ Фералонтъ.

— Калымъ, калымъ. Невѣста... дѣвица, что татаринъ по закону ихнему долженъ уворовать, а затѣмъ откупиться.

Слуга насупился, искоса глянулъ на барина князя и выговорилъ грубовато:

— Калымъ платить татаринъ родителямъ, когда беретъ дѣвицу за себя въ жены законныя. А когда онъ просто уворуетъ дѣвицу, то тутъ завсегда не калымомъ дѣло обходится, а коломъ по башкѣ. Нѣтъ, князь, я надежду питаю, что ты зря языкомъ сболтнулъ и только стращаешь... насъ всѣхъ, твоихъ холоповъ.

— Нѣтъ, правду сказываю, — вдругъ, смущаясь отчасти, отвѣтилъ князь, потупляя глаза.

— Повтори же, Самсонъ Иванычъ, а то я, видно, тебя не понялъ.

— Понялъ, Фералонтъ, да, понялъ, — горячо выговорилъ князь. — Конечно, оно дѣло не простое... Да что же тутъ?.. Какъ тутъ быть? Другого исхода нѣтъ. Мнѣ безъ нея... Ну, вотъ, ей-Богу же, мнѣ безъ нея не жить. Безъ нея я во-вѣки отсюда не соберусь.

— Украти себя, князь Самсонъ Иванычъ. Дворянскую честь вспомни. Бога хватися наконецъ, о коемъ давно забылъ, какъ сказываетъ Адамъ Адамовичъ.

— Ничего не могу. Дѣло рѣшенное, и концы въ воду... Такъ меня захватило, какъ никогда еще не бывало. Женился

бы... вотъ что! Коли на то пошло, то вотъ, ей-Богу же, готовъ бы вѣнчаться съ ней сейчасъ.

— Зачѣмъ же дѣло? Они всѣ рады будутъ.

— Да. Но сказано было тебѣ сто разовъ, а всѣмъ вамъ тысячу разовъ, что я вѣнчаться не могу. А почему? — то мое дѣло.

— Такъ брось, князь, — съ чувствомъ заговорилъ Ферапонтъ.— Не срами себя и насъ, да и не твори несчастныхъ, цѣлую семью дворянскую, стариковъ, изъ коихъ старшему чуть не сто лѣтъ. Адамъ Адамовичъ правду сказываетъ, ты подъ ихъ кровлей, ихніе хлѣбъ-соль кушаешь...

— Все это... все знаю. Все обсудилъ... — забормоталъ Гиреевъ.— Ну... ну, и не могу... безъ нея не могу... И надо инъ было такому грѣху случиться, что мы сюда попали. И все твой же Адамъ Адамовичъ натворилъ, съ его выдумкой по костямъ странствовать. Или ужъ такова судьба. Да, и я не при чемъ. Знаю и чую, что бѣда бѣдовая, дѣло негодное. И не могу, совсѣмъ не могу. Я не властенъ надъ собой. Таковъ уродился. Ей-Богу, радъ бы самъ отъ себя иной разъ убѣжать.. Вотъ хоть бы теперь...

XV.

Однако, послѣ перваго чувства досады и капризнаго гнѣва, отъѣздъ Вааста совсѣмъ иначе подѣйствовалъ на Гиреева и какъ бы заставилъ его серьезнѣе и глубже обсудить странныя условія, въ которыя онъ попалъ. Онъ и любилъ и глубоко уважалъ инвалида, какъ честнаго человѣка и какъ моряка, героя знаменитаго сраженія. Во всемъ, что было для Вааста «добрымъ» или «худымъ», князь съ нимъ всегда соглашался, за исключеніемъ своего напускнаго вольнодумства въ религіозныхъ вопросахъ. Да и въ этомъ случаѣ происходила какая-то разладица въ самомъ Гиреевѣ, позволявшая Ваасту не довѣрять вполнѣ безвѣрью и вольнодумству друга и замѣчать ему:

— Твоя душа лучше твоего языка. Болтаешь ты по-дьявольскому, а чувствуешь по-божески.

Къ главному пороку Гиреева—частая переменна наложницъ—инвалидъ относился снисходительно, объясняя, какъ и всѣ:

— Молодъ, богатъ, одинокъ... Скучаетъ до хворости. Ну, вотъ и прихотничаетъ. И только вѣдь въ этомъ одномъ. Помимо бабья, никакихъ худыхъ прихотей нѣтъ.

И за десять лѣтъ жизни вмѣстѣ, между обоими не было ни разу даже простой размолвки. Ваастъ былъ слишкомъ прямодушный и гордый человѣкъ, чтобы льстить князю, уступать и не ссориться изъ личныхъ выгодъ. Ихъ мирная дружба была послѣдствіемъ того, что не являлось поводомъ къ важнымъ размолвкамъ, а въ мелочахъ почти всегда уступалъ князь.

И вотъ теперь случилось нѣчто новое, небывалое, впервые за цѣлыя десять лѣтъ.

Ваастъ выразился: „безстыжее“ поведеніе и „окаянное“ дѣло, и назвалъ покровителя-друга словомъ „мерзавецъ“.

И Гиреевъ, обдумывая отъѣздъ инвалида, все болѣе падалъ духомъ, смущался и путался въ своихъ размышленіяхъ.

— Стало-быть, нынѣшнія происхожденія—не въ примѣръ прежнимъ, особъ статья. По мнѣ все то же, а ему нѣтъ. Вся разница, что тутъ старики-дворяне, добрые, ласковые... Такое и прежде бывало... И обходилось—ничего. Раза два, три, семьи были тоже дворяне... Только дороже обходилось. Правда, одна руки на себя наложила, но не отъ безчестія, а отъ тоскованія по мнѣ...

Однако, убѣждая себя, что онъ правъ, а Ваастъ не правъ или преувеличиваетъ, князь будто боролся съ самимъ собой, съ внутреннимъ голосомъ, который громко говорилъ:

— Адамъ Адамовичъ правъ. Ты же и не судья. У тебя пристрастіе. Да и ослѣпленъ ты прельщеніемъ. А онъ судить здраво и холодно, какъ чужой и безпристрастный человѣкъ. Со стороны видѣе.

Съ отъѣздомъ Вааста, будто его пребываніе имѣло какое-либо особое значеніе, случилось нѣчто новое.

Князь невольно сталъ замѣчать, что его пребываніе въ Пустомъ Валѣ какъ бы не нравится уже всей семьѣ.

Глѣбовы прежде будто постоянно ожидали его послѣдняго рѣшительнаго слова или шага. Онъ самъ ихъ къ этому почти легкомысленно привелъ всѣмъ, что говорилъ, почти зря болталъ языкомъ безъ зазрѣнія совѣсти. Теперь вся семья будто очнулась отъ напущеннаго имъ тумана, уже ничему не вѣрила, казалось, ничего не ожидала и тяготилась его присутствіемъ, не имѣя духу попросить его избавить ихъ отъ себя.

Гиреевъ ошибался отчасти. Причины переменъ въ отношеніяхъ были иныя. Одинъ лишь Андрей Андреевичъ хотя и продолжалъ вѣрить въ честныя намѣренія гостя, началъ не-

ясно, безсознательно желать, чтобы ничего не произошло серьезного, а лучше бы простой отъездъ. Постоянныя, все учащавшіяся предупрежденія старца - отца, что у гостя что-то „худое“ на умѣ, вставляющее его запаздывать въ усадьбѣ, не дѣйствовали на Андрея Андреевича.

— Что же можетъ быть худое? Нечему этакому быть! — разсуждалъ онъ. — Что же онъ и въ самомъ дѣлѣ насъ спалитъ нарочно или ограбитъ силкомъ со своими людьми? Назвавшись дворяниномъ и княземъ, вдругъ окажется разбойникомъ, атаманомъ шайки? Совсѣмъ не похоже. Даже смѣхотворно. Скажи ему въ лицо самому — помретъ со смѣху.

Что касается до старухи и до старой дѣвицы, онъ продолжали ожидать, что гость не нынче-завтра „объявится“ и поручить кому-либо, какъ того требуютъ приличія, заговорить въ качествѣ свата.

Перемяна же въ нихъ обѣихъ по отношенію къ князю была дѣйствительно, но по совершенно инымъ причинамъ.

Катерина Петровна въ ея года, а главное въ силу перемяны образа жизни, просто устала, даже чувствовала себя немного хворой. Уже лѣтъ восемь она почти не двигалась, ничѣмъ не волновалась, даже ни о чемъ не думала. Она сидѣла день-деньской въ огромномъ покойномъ креслѣ въ своей комнатѣ и, кромѣ того, помимо двѣнадцатичасового сна, отъ восьми вечера до восьми утра, „прикладывалась“ еще на постель „отдохнуть“ среди дня, послѣ обѣда. Теперь же она нѣсколько дней двигалась изъ-за гостя и не прикладывалась вовсе. Да къ тому же и думать приходилось много о многомъ ради князя и внучки. Конечно, голова полнокровной старухи начала „трещать“, а лицо и взглядъ еще пуше „совѣтъ“ и казаться сердитыми.

Что касается до Прасковьи Андреевны, то она дѣйствительно прямо и не скрываясь враждебно относилась къ князю, но именно потому, что убѣдилась и вѣрила, что онъ собирается посвататься за „бѣлобрысаго щенка“. А возможность подобнаго заранѣе приводила Прасковью Андреевну въ состояніе не простой лишь злобы отъ зависти, но въ настоящее остервенѣніе.

— Глухая и некрасивая дѣвченка будетъ за богатымъ и красивымъ человекомъ замужемъ, будетъ важной къ тому же барыней, княгиней. Да что же это?! — думала и восклицала старая дѣвица.

Князь, конечно, не могъ знать, на чемъ основано новое, другое отношеніе къ нему хозяевъ, менѣе радушное, и иногда ему приходило на умъ: не догадываются ли Глѣбовы, какія его намѣренія? Разумѣется, тотчасъ же онъ убѣждалъ себя, что имъ совершенно невозможно даже подумать то, что у него на умѣ. Это нелепо.

И затѣмъ онъ, разумѣется, говорилъ себѣ:

„Хорошее же у тебя, выходить, на совѣсти, ежели самъ же понимаешь, что старикамъ на умъ этакое и прійти не можетъ никогда“.

— На второй день послѣ отъѣзда Вааста князь проходилъ угрюмый, суровый и молчаливый, какъ бы забывъ, что онъ въ гостяхъ и не дома, и что приличія требуютъ быть любезнѣе и поразговорчивѣе.

Уйдя рано къ себѣ въ комнату, онъ сѣлъ у раствореннаго въ садъ окна и положилъ себѣ не ложиться спать, пока не рѣшитъ вопроса: «что дѣлать — воздержаться или дать себѣ волю?»

Ему казалось, что онъ плѣненъ молоденькой дѣвушкой такъ сильно, какъ еще никогда въ жизни не бывалъ. На этотъ разъ это не простая прихоть, а сердечное влеченіе. Ему нравятся даже ея недостатки, не только качества. Она проста разумомъ необыкновенно, прямо дурочка, а это именно ему и нравится. Она дичокъ съ ухватками, рѣзкими и угловатыми простой крѣпостной дѣвушки, хотя въ нихъ все-таки сквозитъ дворянская кровь. Она совершенно ни о чемъ говорить не можетъ, только спрашиваетъ и разспрашиваетъ. Да. Но все это именно и нравится въ ней.

Ну, а старики, старецъ девяностолѣтній, котораго онъ ни разу не видалъ, вся эта семья добрыхъ и простыхъ людей? Какое страшное горе можетъ онъ внести въ этотъ домъ, подъ этотъ кровъ?

У татаръ, у дикихъ кавказцевъ, и у тѣхъ даже, какъ называютъ, есть святое правило не дѣлать зла даже лютому врагу, съ которымъ очутился подъ одной кровлей. Хозяинъ для гостя, какъ и гость для хозяина—священныя особы.

И, просидѣвъ у окна болѣе двухъ часовъ, князь поникъ головой. Лицо его было грустно, взглядъ сталъ тусклъ, губы сжались въ горькую усмѣшку, будто надъ самимъ собой или надъ злой судьбой, которая его гнететь.

Онъ порѣшилъ твердо и безповоротно не трогать это гнѣздо честныхъ и простыхъ людей, не посягать на него, не позорить добрыхъ стариковъ.

— Увѣжать чѣмъ свѣтъ! Бѣжать отъ искушенья дьявола!— рѣшилъ онъ, почти закричалъ грозно, какъ бы отдавая самъ себѣ строгое приказаніе.

И улегшись на постель, но не имѣя возможности заснуть, онъ бормоталъ:

— Сейчасъ бы женился... если бы можно было.

XVI.

На утро Гиреевъ поднялся съ грустнымъ, но твердымъ намѣреніемъ проститься съ Глѣбовыми и выѣхать.

Если хозяйка послѣ всѣхъ ихъ разговоровъ будетъ удивлена, то онъ уже приготовилъ ложное объясненіе. Онъ скажетъ ей:

«Черезъ мѣсяцъ снова явлюся къ вамъ, и поговоримъ окончательно о нѣкоторомъ семейномъ обстоятельстве».

Однако, проснувшись рано, князь понялъ, что всѣ еще по своимъ комнатамъ, а Зайка уже навѣрное въ саду со старой Терентьевной.

И онъ рѣшилъ послѣдній разъ, «послѣдній въ жизни», повидать ее одну, предложить ей якобы побѣгать съ нимъ въ саду, то-есть остаться съ ней наединѣ безъ старухи.

«Еще разъ одинъ расцѣловать эту Зайку и проститься съ ней на вѣки вѣчные».

Князь вышелъ и дѣйствительно тотчасъ же встрѣтилъ молодую дѣвушку со старухой.

И Зайка показала ему красивѣе, чѣмъ когда-либо. И личико ея было еще бѣлѣе и румянѣе, свѣжѣе самаго свѣжаго утра, и глаза синѣе самого синяго неба, и кудрявые волосы золотистѣе самого солнца...

Поздоровавшись и пройдясь немного, онъ тотчасъ же вымолвилъ, но голосомъ нѣсколько не своимъ, будто сдавленнымъ отъ наплыва чувства.

— Что же, Зинаида Антоновна? Побѣгаемъ?..

— Нѣту, нѣту! — воскликнула Терентьевна. — Барыня не приказала мнѣ васъ отпускать отъ себя.

Зайка громко расхохоталась на слова старухи и съ мѣста бросилась впередъ изъ всѣхъ силъ. Князь послѣдовалъ за

ней. При первомъ же поворотѣ дѣвушка бросилась въ сторону и исчезла въ кустахъ, такъ что Гиреевъ потерялъ ее изъ виду.

Но она сама остановилась... И когда онъ подбѣжалъ, она подпрыгнула къ нему, обвинила его шею руками и прильнула съ поцѣлуемъ, крѣпко обхвативъ его шею. Она была такъ мала и легка, что князь двинулся дальше въ чашу сада, неся ее на рукахъ, какъ малаго ребенка.

— Скажите!.. Когда же наконецъ?.. зашептала Зайка.

— Что, моя дорогая?

— Вѣнчаться. Когда повѣнчаемся? Сегодня?

Князь молчалъ...

Зайка снова приняла къ нему и снова, цѣлуя, заговорила, умоляя:

— Голубчикъ, милый, золотой!.. Нельзя ли сегодня? Мнѣ хочется поскорѣе. Родимый мой. Скажите, вотъ сейчасъ, бабушкѣ. Пойдемъ въ церковь, а потомъ уже при всѣхъ цѣловаться будемъ и въ одной комнатѣ жить будемъ...

— Нѣтъ... Слушай, Зайка. Нѣтъ... выговорилъ князь рѣзко, чуть не гнѣвно и сильно измѣнившись въ лицѣ.

И онъ поставилъ сразу, будто уронилъ ее на ноги на дорожку.

Зайка изумленная, даже испуганная его толосомъ и лицомъ, оторопѣла и глядѣла на него, широко раскрывъ свои красивые синіе глаза.

— Слушай!.. Слушай!.. Запомни. Не спутай!—заговорилъ князь прерывающимся голосомъ. — Слышишь. Сегодня предъ полуднемъ, когда я выйду въ садъ, скажу бабушкѣ, что хочу прогуляться, выходи тоже и иди вонъ туда вправо, гдѣ у васъ калитка въ лѣсъ. Я тебя тамъ буду ждать. Буду ждать хоть часъ и два... сколько бы то ни было. Приходи... Придешь? Къ калиткѣ?

— Понятно, приду,—простодушно отвѣтила дѣвушка.

— Хорошо. А если я... если я тебя... началъ Гиреевъ и запнулся, колеблясь и не зная, говорить ли прямо правду.

И вдругъ онъ выговорилъ, взволновавшись еще болѣе:

— Нѣтъ, тебя обманывать не хочу... тебя одну... Все-таки легче будетъ мнѣ потомъ, зная, что я тебя не обманомъ взялъ... Если придешь, Зайка, то я тебя не отпущу домой. Ужъ не отпущу...

— Какъ же такъ?

— Я тебя увезу, Зайка, увезу къ себѣ. И будемъ у меня вмѣстѣ жить...

— Радехонька, родимый мой — восклинула дѣвушка. — Только вотъ что... Гдѣ же вѣнчаться-то мы будемъ? Безъ этого нельзя никакъ. Я еще вчера слышала, что если хочеть дѣвка съ кѣмъ жить, такъ прежде повѣнчайся въ храмъ. А безъ того и грѣхъ, и срамота на весь Пустой Валъ. Вчера дѣвушка это сказывалъ прачкѣ Улитѣ и приказалъ ей итти въ храмъ съ Егоромъ въ будущій мясоедъ. Вѣрно говорю... Я все хорошо слышала.

Князь невольно слегка улыбнулся и выговорилъ жетвердо:

— Да, да, конечно.

— Гдѣ же мы вѣнчаться будемъ? У васъ? Вѣдь у васъ тоже храмъ есть?

— Конечно... конечно. Вотъ какъ передъ Богомъ! — воскликнулъ Гиреевъ, но тотчасъ же смутился этой «сигрѣ въ слова», какъ называлъ Ваастъ.

И солгавъ, онъ не выдержалъ милаго, чистаго, небесно-синяго взгляда прелестнаго дичка, прелестнаго именно своимъ простомыслиемъ.

Онъ опустилъ глаза и вздохнулъ глубоко, будто только что пробѣжалъ опретью.

А это было рѣшеніе, вдругъ безповоротно принятое его разумомъ, которое захватило и сжало сердце. Это было потому, что въ немъ долго боролись два разные человѣка, и вчера вечеромъ побѣдилъ одинъ изъ нихъ, хотя и съ трудомъ. И князь былъ грустенъ и несчастливъ, пенялъ на свою судьбу-мачиху. Теперь неожиданно побѣдилъ другой, побѣдилъ окончательно. И князь не былъ грустенъ, а былъ будто испуганъ...

«Неслыханное, окаянное дѣло, — думалось ему съ трепетомъ. — Злодѣйство. Да... Но не могу. Зло — такъ зло... Грѣхъ — такъ грѣхъ. Не могу и не могу... Дня безъ нея не смогу прожить...»

И протянувъ руки къ дѣвушкѣ, которая, изумляясь его голосу и взгляду, не сморгнувъ глаздѣла ему въ лицо, онъ вымолвилъ глухо:

— Не жди и полудня... Приходи, какъ можешь, къ калиткѣ...

— Приду же... Приду. Хотя умру, приду... лепетала она.

Заставивъ все-таки молодую дѣвушку побожиться, что она придетъ къ калиткѣ, чтобы уѣхать съ нимъ, князь быстро

вернулся въ домъ и заспѣшилъ въ исполненіи [своего рѣшенія.

Онъ боялся... Все висѣло на волоскѣ.

Да, онъ понималъ, что вдругъ все перевернется, все обернется иначе. Будетъ полная неудача.

Не Зайка, добрая, простодушная, влюбленная, сама того не вѣдая, побоится прийти къ калиткѣ, выходящей въ лѣсъ. Не старики добродушные вдругъ догадаются, почуютъ бѣду и примутъ мѣры противъ ухищренія врага, змѣи, пригрѣтой за пазухой. Не дворня Глѣбовыхъ, провѣдавъ что-либо, вступится, доложитъ господамъ и разстроитъ все злодѣйское предпріятіе.

Нѣтъ, не они...

Есть человѣкъ, который все можетъ похерить, все задуманное и устроенное для счастья князя Гиреева. Онъ можетъ въ послѣднюю минуту все испортить, помѣшать и свести все на нѣтъ.

И этотъ человѣкъ — самъ князь Самсонъ Ивановичъ, или, вѣрнѣе, половина его самого. Хорошая половина, та, что кидала за окошко сочиненія господина Вольтера, та, что послѣ вольнодумныхъ размышленій и рѣчей приходила въ уныніе и говорила:

— Господи, куда бы мнѣ уйти отъ себя!..

Князь спѣшилъ, боясь вдругъ уступить тому голосу, который звучалъ въ немъ самомъ и говорилъ, и повторялъ, и все сильнѣе, все громче:

— Что ты дѣлаешь? Опомнись. «Хватися Бога, коли забьлъ объ немъ», —сказываетъ Ваастъ тебѣ.

Князь, вернувшись въ домъ, позвалъ Ферাপонта и скрывая свое смущеніе подъ дѣланнымъ сурово строгимъ лицомъ, рѣзкимъ голосомъ приказалъ, не мѣшкая, распорядиться.

Людемъ тотчасъ же сниматься съ мѣста тихо, порядливо и насколько возможно непримѣтно и уѣзжать, ѣхать домой въ вотчину.

Но главное было не это. Главное было:

— Каретѣ былъ у калитки сада, выходящей въ лѣсъ. Черезъ десять верстъ, чтобы была подстава, такъ какъ, несмотря на пески, придется, пожалуй, изъ-за погони летѣть лѣсомъ чуть не вскачь и кони не выдержатъ.

— Если что не выгоритъ, Ферапонтъ, если что напутаешь, то не кажись мнѣ никогда на глаза, уходи на волю и вонъ

изъ вотчины на вѣки вѣчные, — прибавилъ князь взволнованно.

Напутать старику буфетчику было нечего, но онъ все-таки неувѣренно отвѣтилъ:

— Слушаю. Какъ приказалъ, такъ все точно и будетъ.

XVII.

Около полудня въ усадьбѣ Пустой Валъ была полная тишина; члены семьи, въ ожиданіи обѣда, были всякій у себя за какимъ-либо занятіемъ.

Наконецъ, эта тишина, царившая и въ домѣ, и во дворѣ, была прервана постукиваньемъ посуды и серебра въ столовой. Буфетчикъ и его помощникъ накрывали на столъ... Скоро все было на столѣ, даже стулья разставлены вокругъ стола. Главный слуга въ домѣ, камердинеръ старца, явился изъ своего флигеля и взялся за свое особое временное дѣло — накрывать маленькій столикъ въ комнатѣ барина Андрея Ивановича.

Взявшись за бѣлье и посуду на поднось, старый Макаръ пробурчалъ то же, что бурчалъ каждый разъ неизмѣнно уже нѣсколько дней.

— Когда же этому конецъ будетъ?.. Такъ мой баринъ и будетъ сидѣть у себя заточникомъ?

— Вольно. Вышелъ бы... познакомился бы съ княземъ, — замѣтилъ буфетчикъ тоже уже не въ первый разъ.

— Не желаетъ онъ, — заговорилъ Макаръ нравоучительно. — Не желаетъ, покуда князь не объявится, какой онъ такой гость и зачѣмъ застрялъ у насъ и скоро ли станетъ свойственникомъ, что ли... А съ пріѣзжими Андрею Ивановичу знакомиться не слѣдъ. Какая нужда! Мало ли ихъ по дорогамъ ѣздить! Начнутъ они къ намъ заѣзжать, какъ на привалъ, а барину въ его годы выходить да лепортовать объ себѣ: такой, моль, я этакій, здѣшній помѣщикъ.... Это можетъ дѣлать молодой баринъ, а не Андрей Иванычъ.

Слуга Макаръ былъ уже старикъ семидесяти семи лѣтъ, хотя на видъ казался шестидесятилѣтнимъ и, почти съ рожденія будучи въ домѣ при господахъ, помнилъ родителей старца, помнилъ маленькую усадьбу Глѣбовыхъ, въ пять комнатъ, въ ихъ подмосковской деревнѣ, равно помнилъ въ подробностяхъ выборъ Пустого Вала и стройку... По привычкѣ, онъ называлъ старика Андрея Андреевича «молодымъ» бари-

номъ въ отличіе отъ своего «старого». Называя Прасковью Андреевну барышней, какъ и всѣ, онъ мысленно считалъ ее молоденькой, еще по молодости простоватой и не все смыслящей. Разумѣется, правнучка его барина была для Макара «ребенокъ», и когда ее называли люди «молодая барышня», въ отличіе отъ тетки, то старикъ замѣчалъ насмѣшливо:

— Молодая барышня? Олухи! Да Прасковья-то Андреевна какая же тогда? Старая что ли? Зинаида Антоновна еще младенчикъ, дите малое. Годами невѣста, то не въ мѣсто, коли разумомъ ни съ мѣста. Слыхали, такъ-то говорятся.

Макаръ любилъ поболтать и особенно любилъ «учить» дворню, въ которой всѣ были моложе его. При этомъ онъ училъ пожилыхъ рѣчами съ «барскими» словечками и пословицами, молодежь же руками, то-есть пинками, затрещинами, хохлодерками и ухвертками, но слабыми, не ради причиненія, хотя бы легчайшаго увѣчья, а ради поддержанія въ молодежи «понятія» о себѣ, какъ самомъ старшемъ барскомъ холемѣ.

— Разумѣйте, олухи, я Андрея Андреевича махонькимъ помню, — постоянно объяснялъ онъ, выдравъ кого-либо за ухо или за хохоль.

Теперь, собираясь итти накрывать на столъ своему барину «заточнику», старикъ былъ почему-то особенно въ духѣ и, вѣроятно, пустился бы въ разсужденія, но въ комнату быстро вошелъ столовый малый, тоже служившій всегда господамъ за обѣдомъ и ужиномъ.

— Дяденька, — вымолвилъ онъ, странно тараща глаза на Макара, какъ бы съ перепугу, — княжій таборъ сгинулъ...

— Что-о? — протянулъ старикъ.

— Сквозь землю провалился...

— Что? что? — отозвался и буфетчикъ, ничего не понявъ.

— Нѣту, нѣту ничего, никого... Все сгинуло... Сейчасъ изъ деревни Мареутка прибѣгла... Наши побѣжали глядѣть.

— Что глядѣть, дуракъ?

— Самое, стало, мѣсто... — испуганно объяснилъ малый. — Мареутка сказываетъ — ниже ни, ничего... Може, дыра осталась... Побѣгли...

Макаръ хотѣлъ было дать подзатыльникъ молодцу, но махнулъ только рукой...

— Что съ дураками подѣлаешь... Учатъ васъ, учатъ, и все будто бѣленные, бѣлены объѣвшись.

И старикъ двинулся съ подносомъ въ комнату своего барина. Однако, по дорогѣ, въ темномъ коридорѣ, онъ пріостановился, вдругъ будто остановленный невидимой рукой. Внезапная мысль поразила его.

Безрукій инвалидъ, что гостилъ у нихъ, внезапно пропалъ, не простясь съ господами, и господа очень дивились этому недворянскому обхожденью, ничего князю объ этомъ не сказали, но сами были въ «афронтѣ». Теперь, сказываетъ этотъ дуракъ, столовый, что и весь таборъ княжій вдругъ пропалъ, то-есть уѣхалъ... Что, если это правда?.. Тогда жди, что и князь самъ вдругъ возьметъ да и уѣдетъ, тоже не сказавшись.

Ну, что же? Скатертью дорога,—проворчалъ Макаръ, но прибавилъ тотчасъ же... Только зачѣмъ такъ-то? Какой здѣсь умyselъ? Одно невѣжничанье или что себѣ на умѣ...

И старикъ, двинувшись къ барину, рѣшилъ скорѣе все установить и идти въ людскую спросить и разузнать все толкомъ. Можетъ быть, княжые люди перешли лагеремъ на другое мѣсто въ лѣсу, по его приказу, а своя дворянъ зря гвалтъ подымаетъ, не въ свое дѣло носъ сунувъ; и только господа разсердить.

— Накутермать. Князю неуваженіе, а господамъ стыдъ!—ворчалъ Макаръ, спѣша въ людскую.

Между тѣмъ, буфетчикъ, оглядѣвъ еще разъ столъ, все ли въ порядкѣ, и обмотать себѣ правую руку салфеткою, чтобы служить за столомъ, устроилъ нѣчто въ родѣ бѣлой рукавицы отъ пальцевъ до локтя. Затѣмъ онъ двинулся съ докладомъ по всѣмъ комнатамъ и, какъ всегда, началъ съ барина Андрея Андреевича и съ барыни, прошелъ въ комнату барышни, затѣмъ къ молодой барышнѣ, а затѣмъ уже въ другую половину дома къ гостю князю.

На этотъ разъ онъ не нашелъ ни барина, ни юной барышни, ни князя и, ворча, вышелъ на террасу и въ садъ.

— Нѣтъ имъ дѣла до поры. Въ кои вѣки всё въ сборѣ,—бурчалъ онъ.—Ходи, ищи, сыскивай; какъ гончая, слѣды вынюхивай.

Пройдя главную аллею, буфетчикъ завидѣлъ Терентьевну, которая не шла, а бѣжала дряблой старческой рысью.

— Гдѣ барышня? Купать, а всё въ разбродѣ, — сердито сказалъ онъ.

— Родимый, ума не приложу... Нешто въ домѣ нѣту? Я весь садъ обрыла, — задыхаясь выговорила старуха.—Въ домѣ она. Иначе и быть негдѣ. Тутъ нигдѣ нѣту.

— А баринъ?

— Андрей Андреевича сейчас повстрѣчала. Онъ пошелъ къ ранжереймъ тоже Зайнку аукать.

— Ну же... А князь? и онъ прохлаждается?

— Князь не мнѣ дѣло, — досадливо отмахнулась старуха. — Намозолилъ онъ мнѣ и глаза-то, не только ноги... Мнѣ — гдѣ моя воструха запропастилась.

И Терентьевна снова почти бѣгомъ двинулась въ домъ. Буфетчикъ, угрюмо озираясь, пошелъ дальше по саду.

Между тѣмъ, старикъ Макарь былъ въ кухнѣ и допрашивалъ возвратившихся съ опушки лѣса дворовыхъ. Всѣ заявили, дивясь, что табора княжаго и слѣдъ простылъ.

— Нѣту, и вотъ тебѣ нѣтути...

— И нѣта нѣту...

— И дыры нѣту, гдѣ провалились...

Вотъ что узналъ Макарь и, не сказавъ ни слова никому, тоже дивясь, снова вернулся въ столовую. «Сядетъ за столъ князь, безпремѣнно самъ пояснитъ господамъ, какое приказаль своей челяди», подумалъ онъ.

Въ столовой старикъ нашелъ Прасковью Андреевну, бранившую Терентьевну.

— Отпускаешь отъ себя зря по саду рыскать, — говорила она. — Вотъ теперь и жди всякаго щенка къ столу. И батюшку жди изъ-за этого...

И затѣмъ Прасковья Андреевна обернулась къ матери, вошедшей въ столовую.

— Не спѣшите... Поспѣете. Дожили мы до того, что должны старшіе младшихъ къ столу собирать и поджидать.

— Какъ такъ? Что? — удивилась Катерина Петровна. Но старая дѣвица не отвѣтила и сердитымъ шагомъ вышла на террасу.

— Бѣгать въ перегонки разрѣшаете, такъ и вотъ вамъ, — заговорила она себѣ подъ носъ. — Знатно всякому малому ребенку, что это за перегонки по кустамъ. И холопамъ это запрещать слѣдъ. А тутъ своя внучка и чужой человекъ, съ большой дороги. Вотъ и добѣгались до того, что всякій стыдъ забыли.

Изъ аллеи появился Андрей Андреевичъ.

— Что Зайка? дома? — спросилъ онъ дочь.

— То-то нѣтъ.

— Нѣтъ? Гдѣ же она?

— А ужъ это, батюшка, не мнѣ знать. Перегоняются, стало быть, съ княземъ, — насмѣшливо произнесла Прасковья Андреевна. — Набѣгаются досыта и придутъ, когда мы за пирожнымъ будемъ. Благоприлично.

— Стало, и князя нѣтъ, — спросилъ Андрей Андреевичъ, какъ всегда, кротко, но съ отбѣнкомъ недовольства въ голосѣ.

— Понятно, обоихъ нѣтъ, — разсмѣялась дочь ехидно.

— Обождемъ. Что же? Не великъ грѣхъ, — замѣтилъ отецъ, которому давно не по душѣ было это все чаще прорывавшееся въ дочери «ехидство» по отношенію къ своей юной племянницѣ.

Отецъ, мать и старая дѣвица-дочь сошлись въ столовой и стали отдѣльно молча прохаживаться или сновать вокругъ стола. Прасковья Андреевна злилась и почти презрительно глядѣла на родителей. Андрей Андреевичъ былъ задумчивъ, а его жена сурово поглядывала на всѣхъ и все исподлобья.

— Я ему скажу... Вотъ сейчасъ и скажу... — вдругъ заговорила она съ своей напускной или дѣланной горделивостью. Гость въ домѣ долженъ быть вѣжливымъ и порядливымъ. Намъ не приходится его ждать за столъ садиться.

И вдругъ, обратясь къ старику Макару, стоявшему около буфета, Катерина Петровна приказала гнѣвно:

— Поди ты къ князю въ комнату. Можетъ, ему и не докладывали вовсе. А мы ждемъ попусту.

— Никакъ нѣту-съ. Докладывали... — отвѣчалъ старикъ рѣзко и прибавилъ страннымъ голосомъ, ворча будто себѣ подъ носъ. — Должно, замѣшкался, располагая свой лагерь на новосельѣ. Князь-то...

— Что-о? — протянула Катерина Петровна, конечно, не понимая сказаннаго.

— Чего? — въ то же время спросилъ и Андрей Андреевичъ.

Старикъ объяснилъ и передалъ новость объ исчезновеніи людей и экипажей гостя-князя.

Наступившее затѣмъ молчаніе длилось долго. Каждый будто думалъ что-то такое, о чемъ сказать не хотѣлъ. Только одному не приходило на умъ—то, что дѣйствительно въ эту часть произошло...

— Что же? Сядемте. Подойдутъ, пообѣдаютъ послѣ, — сказала старая дѣвица.

Семья сѣла за столъ и начала молча кушать.

XVIII.

Цѣлый день прошелъ, наступили сумерки, наступилъ вечеръ... Пришла и ночь теплая, тихая, но темная, и окутала окрестность непроницаемой мглой. Ни одна звѣздочка не мигнула, не засеребрилась весело въ эту ночь на небѣ, укрытомъ облачною пеленой. Должно быть, и звѣзды небесныя испугались и попрятались отъ того неслыханнаго дѣла, которое совершилось въ дворянской усадьбѣ Пустой Валѣ.

Такъ думалъ старикъ Андрей Андреевичъ, бродя во тьмѣ сада тихимъ шагомъ, не видя ни зги и двигаясь лишь потому, что онъ зналъ наизусть каждый камешекъ, каждую вѣтку.

Въ такую позднюю пору, чуть не около полуночи, почти никогда не приходилось еще старику быть не въ домѣ и не въ постели.

Весь день провелъ онъ, какъ въ туманѣ, а въ вечеру и къ ночи душевная смута выгнала его изъ комнаты подышать свободнѣе или укрыться во тьмѣ, если не отъ людей, то отъ себя самого.

А между тѣмъ Глѣбовъ не вѣрилъ въ то, что „представлялось“. Душа болѣла, а разумъ осуждалъ это болѣніе, такъ какъ не изъ чего болѣть.

Не можетъ такое быть. Неслыханно. Что - нибудь иное... Какое - нибудь замѣшательство... — говорилъ разумъ. Но что иное? Какое замѣшательство или приключеніе странное и неожиданное, которое все - таки объяснится просто и окончится счастливо. Этому разумъ не объяснялъ. Старикъ понималъ, что нѣчто случилось, но не могъ понять, что случившееся случилось. Умъ за разумъ заходилъ, какъ сказывается.

Катерина Петровна, просидѣвъ въ столовой, въ тщетномъ ожиданіи, часа три, наконецъ, ушла къ себѣ, сѣла на свое большое кресло и какъ бы онѣмѣла, молчала, не двигалась и смѣтрѣла въ одно мѣсто на стѣнѣ, гдѣ торчалъ большой гвоздь. Прежде на немъ висѣла картина, потомъ упала, а ее такъ и не повѣсили. Было это уже очень давно. Тогда дочь, мать Зайки, еще не была замужемъ...

И Катерина Петровна оглядывала этотъ гвоздь, вспоминала картину, вспоминала, какъ она однажды бухнулась на полъ.. А кто-то будто шепталъ ей на ухо:

— Полно, полно тебѣ. Не до этого...

Разъ десять на каждую минуту мысль о томъ, что „сегодня разразилось“, приходила старухѣ въ голову, и она тотчасъ отгоняла эту мысль и начинала насильно думать о другомъ, или же повторяла и мысленно, и вслухъ, и шепотомъ, и громко:

— Вотъ завтра...

А что завтра? Она не знала. Проявится Зайка гдѣ въ домѣ и скажетъ, что шалила, спряталась... Приѣдетъ назадъ, убѣжавъ отъ князя съ дороги... Приѣдетъ самъ князь и будетъ свататься... А то еще того проще. Окажется завтра, что князь у себя въ горницѣ, а Зайка въ своей.

„И ничего-то не было. Все только такъ представлялось, а обернулось пустымъ мѣстомъ!“

Однако, Катерина Петровна изрѣдка глубоко и тяжело вздыхала, и изъ ея груди вырывалось какъ бы протяжное оханье больного челоуѣка.

Прасковья Андреевна приняла происшествіе по-своему. Она, кромѣ злобнаго презрѣнья, ничего не чувствовала и рассуждала, что съ такимъ щенкомъ, какъ племянница, ничего иного и произойти якобы не могло. За такихъ не сватаются. На такихъ не женятся. Съ такими только балуются. Разумѣется, негодные люди. А онъ, князь, таковой. Надо ее во что бы ни стало скорѣе назадъ получить. И не быть ей уже никогда замужемъ.

Въ сумерки Прасковья Андреевна зашла къ матери и предложила ей лучше лечь въ постель. Мать будто вдругъ очнулась и быстро поднялась съ кресла, но ноги, оказалось, плохо дѣйствуютъ.

— Отсидѣла, — произнесла она глухо.

При помощи дочери и горничной полная женщина съ трудомъ, еле-еле дотащилась до постели и легла.

— Дослать надо, матушка, узнать... — выговорила угрюмо или сердито Прасковья Андреевна. — Слышите? Дослать... узнать.

— Что? — не сразу отвѣтила мать.

— Все узнать... Какъ же такъ сидѣть? Дослать кого справиться. Дѣдушкѣ покуда скажемъ, что она въ постели. Больна якобы... Кого же прикажете снарядить?

— Куда? — мыгнула старуха, какъ бы ничего не понимая.

— Туда, къ нему, около Кадома. Найдутъ вотчину-то. Дѣло простое совсѣмъ.

Катерина Петровна охнула два раза, ничего не отвѣтила и отвернувшись лицомъ къ стѣнѣ. Дочь постояла минуту, двѣ и, пожавъ плечами, пошла изъ комнаты.

Выйдя отъ матери, старая дѣвица тотчасъ прошла къ Андрею Андреевичу и обратилась съ тѣмъ же совѣтомъ и къ нему. Но отецъ совсѣмъ ничего не отвѣтилъ и, махнувъ на нее рукой, тихо сказалъ: «Уйди». И Прасковья Андреевна вернулась къ себѣ уже взбѣшенная.

— Ну, вы тамъ какъ знаете, — рѣшила она мысленно. — Я на своемъ поставлю. Я ей не дамъ этакъ у него проживать. Я ее верну и запру, и стеречь буду, чтобы опять не выкралъ.

И чтобы отвести душу, старая дѣвица вызвала на расправу глупую Терентьевну и стала ей объяснять, что она всѣхъ осрамила, а питомицу безъ ножа зарѣзала, что ей мѣсто теперь одно — «въ тартарары» провалиться и затѣмъ не имѣть «ни дна, ни покрывки», ни на этомъ свѣтѣ, ни на томъ свѣтѣ.

Старуха сидѣла предъ барышней и ничего не отвѣчала, а только выла и причитала, а когда устала, начала молча утирать лицо и глаза, гдѣ струились рѣдкія слезинки.

Вся дворня усадьбы отнеслась къ совершившемуся такъ же, какъ и господа. Всѣ люди переглядывались угрюмо, говорили о своихъ дѣлахъ, о пустякахъ, и не хотѣли заговаривать о томъ, что было у всѣхъ на душѣ.

А на душѣ была кровная обида. Чужой человѣкъ, съ большой дороги, котораго пріютили и обласкали господа, общелся съ ними, какъ татаринъ, хуже татарина. Надругался надъ ихъ дворянствомъ и надъ ихъ беззащитностью.

— Будь въ домѣ у насъ молодой баринъ, молодець, лѣтъ тридцати, такъ онъ бы, этотъ князь, не посмѣлъ ничего этакого, — проворчалъ Макаръ ввечеру, когда люди собрались ужинать.

Всѣ глянули на уважаемаго старика, потомъ переглянулись... Но никто ничего не отвѣтилъ, ничего не сказалъ. Всѣ молчали какъ кашу и только усиленно, громче сопѣли отъ «тяготы» на умѣ и сердцѣ.

Только къ концу ужина здоровякъ кучеръ Антипъ вдругъ произнесъ:

— А промежъ насъ кто бы? За своихъ господъ-стариковъ?...

Дворовые снова переглянулись и снова промолчали...

И во всей усадьбѣ только одинъ человѣкъ былъ спокоенъ, ничего не вѣдая — старецъ, которому никто не посмѣлъ даже и заикнуться о томъ, что въ домѣ разразилось.

На утро жизнь, казалось, пошла въ Пустомъ Валѣ такъ, какъ если бы ничего не случилось. Андрей Андреевичъ, поднявшись ранехонько, пошелъ пѣшкомъ въ деревушку, верстахъ въ пяти отъ усадьбы, къ умирающему старику-крестьянину, который, уже исповѣдавшись и причастившись, прежде чѣмъ умереть, хотѣлъ повидать барина Глѣбова... Прасковья Андреевна съ утра засѣла за работу въ пальцахъ, но дѣло не ладилось, игла ея прыгала черезчуръ шибко, и нитка рвалась постоянно. Катерина Петровна, продолжая чувствовать тяжесть въ ногахъ, все-таки, хотя и чрезъ силу, перебралась съ постели въ кресло и сидѣла спокойно и молча; только брови ея были сжаты особенно, и дыханіе было тяжелое, неровное и лицо темнѣе, щеки краснѣе.

Около обѣда Андрей Андреевичъ вернулся и, узнавъ, что старецъ два раза справлялся о правнучкѣ, почему она не является, прошелъ прямо къ отцу... Вошелъ онъ, опуствя голову, смущенный и будто робкій. Его заранѣе смущала необходимость лгать, когда отецъ заговорить о Зайкѣ. Разумѣется, едва старецъ увидѣлъ сына, какъ спросилъ нѣсколько тревожно.

— Что же такое у моей дѣвчурки? Хвораеть, сказалъ мнѣ Макарка.

— Хвораеть малость,—почти обрадовался Андрей Андреевичъ, полагая, что умный слуга придумалъ, что солгать. Однако, онъ все-таки отвѣтилъ ему, опуствя глаза и едва шевеля губами:

— Малость? Не малость, коли и вчера, и сегодня... Да что за хвороба? Что у нея? Головка что ли болитъ?

— Да-съ.

— Горить?

— Горить,—повторилъ старикъ.

— Тѣломъ горить?

— Да-съ.

— Дали малины съ бузиной?

— Да-съ, дали, — продолжалъ Андрей Андреевичъ лгать и будто сердцемъ, а не языкомъ выговаривать каждое слово. При каждомъ словѣ сердце сжималось больно и ныло.

— Слушай. Поди, погляди. Если вашъ князь въ столовой, уведи его. Я пойду къ дѣвочкѣ посидѣть, — заявилъ старецъ, помолчавъ. — Уведи его въ садъ, треклятаго...

— Ахъ, что вы, батюшка? — испугался старикъ. — Какъ можно? Что вы?..

— Скажи, пожалуй. Да плевать мнѣ на вашего гостя...

— Да я не объ немъ, батюшка. Я объ Зайкѣ... Зачѣмъ вамъ?

— Какъ зачѣмъ? — перебилъ старецъ. — Посижу съ дѣвочкой, погляжу, увижу, что у нея. Вы ничего не смыслите.

— Нѣтъ... Зачѣмъ, батюшка?.. Если вы...

И Андрей Андреевичъ, не зная, что сказать, что и какъ солгать, заволновался и заметался на мѣстѣ.

— Погодите. Сейчасъ! — воскликнулъ онъ и быстро пошелъ къ дочери. Испуганно объяснившись, онъ послалъ ее дѣду. Надо было, конечно, во что бы то ни стало удержать старца.

— Ты сумѣешь. Постарайся, — сказалъ онъ. — Я не могу.

— Идетъ бѣда — я въ сторонѣ. Молчи! — огрызнулась старая дѣвица. — И не мое дѣло. А пришла бѣда — ко мнѣ. Помогите.

— Полно, полно, Прасковья. Иди скорѣе. Надумай что, — кротко и жалобно отозвался старикъ.

Разумѣется, Прасковья Андреевна тотчасъ же нашлась, что дѣлать. Прежде всего она объяснила дѣду, что Зайка спитъ, и не надо ее беспокоить, хотя бы она и до ночи проспала.

— Спать много проходитъ, дѣдушка. Самыя опасныя болѣзни облегчаются, — объяснила она.

— Это правда твоя. Такъ вотъ, какъ только моя дѣвчурочка проснется, ты приди, мнѣ скажи. И пойдемъ къ ней.

Прасковья Андреевна общала, а затѣмъ объяснила отцу, что на утро надо будетъ увѣрить Андрея Ивановича, что Зайку перевели на жительство въ мезонинъ, ради удобства.

— Скажемъ, — объяснила она, — что здѣсь ей мѣшаютъ спать, а въ мезонинѣ и комната больше, и тише, и спокойнѣе. А по махонькой круговой лѣстницѣ онъ не рѣшится подняться. А если и вздурится, то не долѣзетъ.

— Нехорошо про стараго своего дѣда такъ сказывать, — замѣтилъ Андрей Андреевичъ.

— Что же я сказываю худое? — не поняла Прасковья Андреевна.

— И на словахъ почтеніе нужно.

— Ну, батюшка, ей-Богу, не до словъ теперь, — поняла и разгнѣвалась старая дѣвица. — А вы вотъ лучше рѣшите важ-

ное и спѣшное. Надо посылать разыскивать, разузнавать... Нельзя намъ такъ сидѣть. Надо послать въ Кадомъ и въ его усадьбу вѣрнаго и смышленнаго человѣка. И я уже знаю кого.

— Зачѣмъ мы, Прасковья, пошлемъ?

— Удостовериться, батюшка... Узнать, какое онъ имѣетъ на умѣ... Можетъ быть, онъ... Да и съ нимъ ли она... Можетъ быть...

— И Прасковья Андреевна замолчала, собственно не зная, что именно сказать.

— Она съ нимъ,—отвѣтилъ старикъ твердо и грустно.— Она у него, пожалуй, даже въ полюбовницахъ. Ты дѣвица не молодая, и тебѣ можно такія слова слушать. А если... если... Да что же тутъ?.. Посылай... Я и узнаю вѣрно и все буду не вѣрить. Разумнѣе мое будетъ знать, а душа моя не захочетъ знать... Ну, посылай... посылай...

Андрей Андреевичъ взволновался, голосъ его упалъ, и онъ шло, едва слышно, будто задохнувшись, прибавилъ:

— Кого пошлешь?

— Макара, онъ все обстоятельно сдѣлаетъ.

— Посылай,—еще тише, сдавленнымъ голосомъ произнесъ старикъ и, какъ бы махнувъ едва замѣтно обѣими руками, пошелъ въ двери, ведущія въ садъ.

Прасковья Андреевна, не мѣшкая, даже оживясь вдругъ, тотчасъ же вызвала къ себѣ старшаго и любимаго дворового и объяснила ему все.

Макаръ важно, почти торжественно отвѣтилъ:

— Все, барышня, понялъ, уразумѣлъ. И все сдѣлаю какъ слѣдуетъ. И въ усадьбу его поѣду. А въ ней обо всемъ перетолкую съ добрымъ человѣкомъ. Знаете—съ кѣмъ? Съ безрукимъ, если онъ только тамъ. Инвалидъ сей добрый баринъ. Съ нимъ можно столковаться.

— Намъ, Макаръ, одно знать надо... Неужто-жъ и въ самъ-дѣлъ этакое... неслыханное будетъ?..

— А какъ же съ бариномъ моимъ быть?—спросилъ Макаръ, будто спохватившись.—Спросить, а меня нѣту...

— Скажемъ, ты захворалъ. Вотъ такъ же, какъ и про эту... племянницу мою срамную... — чуть не усмѣхнувшись, презрительно сказала старая дѣвица.

Черезъ часъ старикъ дворовый уже съѣхалъ со двора, молча и угрюмо поглядывая на всѣхъ, полный чувствомъ достоинства, даже гордости, въ виду порученія, даннаго господами.

Старецъ, конечно, вскорѣ же потребовалъ слугу.

— Куда мой молодецъ провалился? Макарка гдѣ?

— Захворалъ, лежить. Не можетъ служить, — объяснилъ ему молодой лакей, якобы справившись.

— И онъ захворалъ? Да что же это у насъ, помилуй Богъ?—изумился старецъ.—Жили, жили, не болѣли ужъ сколько годовъ. А тутъ вдругъ... Этакъ и я, пожалуй, захвораю.

И старецъ заволновался... Затѣмъ онъ тотчасъ же потребовалъ къ себѣ сына и спросилъ:

— Андрюша. Пойми, что у тебя я спрошу. Ты не махонькій уже. Голова вонъ сѣдѣ моей. У моей дѣвчурочки и у Макара та же хворость или разныя? Такъ, на глазъ?

— Разныя, батюшка!—отвѣтилъ догадавшись старикъ, но не глядя отцу въ лицо: совсѣмъ разныя. Будьте спокойны...

— Помнишь, у насъ, съ десятокъ лѣтъ тому назадъ, переболѣли всѣ на одинъ ладъ. Была хворость прилипчивая...

— Помню. Будьте спокойны... У Макара поясницу захватило...

— На другой день Андрей Ивановичъ, ни слова не сказавъ никому, все-таки двинулся отъ себя и побрелъ чрезъ весь домъ. Обыкновенно его собственный отдѣльный камердинеръ Макаръ сопровождалъ его и поддерживалъ, гдѣ былъ полъ-паркетъ. Теперь старецъ, взявъ свою клюку, двинулся одинъ и прямо въ комнату Зайки. Опасался онъ только одного—встрѣтиться съ гостемъ княземъ въ столовой или гостиной.

— Онъ изумился, не найдя своей правнучки въ ея комнатѣ. Постелька ея маленькая подъ голубымъ вязанымъ одѣяломъ стояла прибранная, а ея самой не было.

«Что же это? Выздоровѣла?»—подумалъ старецъ.

И, пройдя къ невесткѣ, онъ увидалъ Катерину Петровну въ постели. Это, конечно, не удивило бы его, если бы было рано утромъ или послѣ обѣда, когда старуха прикладывалась отдохнуть. Но въ эти часы пребываніе Катерины Петровны въ постели его встревожило.

— Катерина!... Что же это? И ты хвораешь?

— Да, нездоровится, свекоръ-батюшка, — черезъ силу отвѣтила старуха.

Андрей Ивановичъ смутился.

— Зачѣмъ же отъ меня скрытничаете? Что же это? Весь домъ сляжетъ, и мнѣ не скажутъ. Говори: у тебя то же, что у Макара, и то же, что у дѣвочки? Ты еле языкомъ шевелишь.

— Нѣ-ѣтъ,—протянула старуха, не понимая вопроса и не зная, что сказать.

— А моя дѣвчонка куда пропала?—спросилъ онъ.

Катерина Петровна, озадаченная, отвѣтила вопросомъ:

— Кто вамъ сказалъ про это?..

— Зайка въ мезонинѣ... — раздался сзади старухи рѣзкій голосъ Прасковьи Андреевны.

— Зачѣмъ?—ахнулъ Андрей Ивановичъ, оборачиваясь.

Внучка объяснила все толково и самоувѣренно.

— Пустое. Приказали бы людямъ смиренхонькими быть. Не смѣть...

— Приказывали. Стучать и будять ее, — рѣзко отвѣтила старая дѣвица.

Старецъ вздохнулъ и двинулся обратно къ себѣ, почти грустный. Внучка пошла съ нимъ, сурово, молча и небрежно поддерживая его. Приведа его и усадивъ, она вышла.

— Что же это? Что же это за жизнь? — заговорилъ старецъ самъ себѣ, чуть не со слезами въ голосъ.—Сиди изъ-за незваннаго гостя въ заточеніи. А теперь и дѣвчурочки не видай.

XIX.

Въ большомъ усадебномъ домѣ князя Гиреева, куда уже четвертый день вернулся владѣлецъ изъ своего странствованія, замѣчалось нѣчто похожее на то, что было въ маленькомъ домѣ дворянъ Глѣбовыхъ.

Всюду было тоже тихо, будто уныло тихо... Въ домѣ будто случилось что-то, далеко нерадостное, нехорошее, всѣхъ озаботившее или смутившее.

Безрукій инвалидъ будто примѣръ подалъ всѣмъ... Онъ бродилъ по дому и по саду, ни съ кѣмъ не разговаривая и даже не отвѣчая, когда кто разговаривалъ съ нимъ. Или онъ, «ушедши въ себя», въ свои мысли и заботы, не слышалъ или умышленно отмалчивался, какъ бы этимъ давая понять:

«До пустяковъ ли теперь, когда тутъ этакое!»

Князь съ пріѣзда пребывалъ почти безвыходно у себя въ спальнѣ или въ своемъ кабинетѣ, и, кромѣ Ферапонта, никто къ нему не входилъ по его приказанію. Адамъ Адамовичъ тоже ни разу не пришелъ, хотя приказаніе до него не касалось. Князь просто его не звалъ къ себѣ, а самъ инвалидъ

не шелъ и не хотѣлъ итти. Онъ уже рѣшилъ, что когда покровитель-другъ его позоветъ, то онъ ему «все выговорить» круто. А тамъ будь, что будетъ.

Кушалъ князь тоже не въ столовой, а въ маленькой гостиной, около кабинета. Накрывалъ на столъ, служилъ и убиралъ со стола одинъ Ферапонтъ.

Столъ былъ на два куверта, но за обѣдомъ или за ужинномъ бывало такъ тихо, какъ если бы князь былъ одинъ-одинехонекъ.

Около него, въ этой гостиной, въ его кабинетъ, спальнѣ и маленькой уборной двигалась изъ угла въ уголь молчаливая, блѣдная, будто хворающая или оробѣвшая, маленькая женская фигурка.

Разговаривать ему съ ней было невозможно. Она не отвѣчала, а боязливо, иногда испуганно на него поглядывала или дикими глазами озиралась... И князь поневолѣ былъ угрюмъ, страшно озабоченъ и чувствовалъ, что у него умъ за разумъ заходитъ, такъ какъ онъ не понимаетъ окончательно того, что творится съ этимъ милымъ ему существомъ, и не знаетъ, какъ горю пособить.

Случилось что-то, чего князь никогда не видалъ и не слышалъ, бываетъ ли такое на свѣтѣ. А вотъ теперь размышляй, обсуживай, измысли, что сдѣлать, какъ быть, чтобы... развязать Гордіевъ узелъ.

Онъ думалъ, что тамъ разрубилъ его, а оказывается, что онъ здѣсь завязалъ его.

Да, съ этимъ узломъ сравнивалъ князь все неожиданно приключившееся. Его отношенія къ этому юному дичку, нравственное состояніе этой дѣвушки-ребенка, ея странное обращеніе съ нимъ—все было совсѣмъ замысловатымъ и неразрѣшимымъ... Онъ помнилъ, какъ Зайка весело прибѣжала къ калиткѣ сада, выходящей въ лѣсъ, весело прыгнула въ карету, которая ждала бѣглецовъ, и весело болтала, щebetала, какъ канарейка, не смолкая, пока они ѣхали изъ Пустого Бала къ нему въ вотчину, до которой оказалось почти полтораста верстъ.

Въ первый день, проведенный дѣвушкой въ большемъ домѣ, гдѣ было столько для нея диковинъ, столько невиданнаго ея никогда, Зайка только слегка притихла, но не отъ робости, а отъ удивленія, отъ кучи впечатлѣній. И это было естественно, понятно. Зато въ минуты особаго волненія, отъ огромной ли картины, изображающей смертоубійство—Каинъ и Авель—или

отъ огромной голой фигуры съ дубиной, живой, но недвижной— статуи Геркулеса, или, наконецъ, отъ блѣглыхъ стариковъ и старухъ, фамилныхъ портретовъ на стѣнахъ полутемной непривѣтливой гостиной,—Зайка кидалась къ князю, какъ бы спасалась къ нему... Усѣвшись, какъ ребенокъ, у него на колѣняхъ и обхвативъ его шею руками, она прижималась къ нему и хотя косо, дико, но храбрѣ смотрѣла и озиралась. Съ нимъ, около него было никого и ничего не страшно...

Такъ было въ первый день...

Не такъ было теперь...

Дѣвушка привыкла къ сумрачному дому, къ страшному голутому силачу съ дубиной и ко многому другому въ комнатахъ... Она уже слезила на кресло около „смертоубійства“, храбро ощупала все, провела даже рукой по лежащему на землѣ красивому убитому человѣку и знала, что это все намалевано красками. Голый человѣкъ — былъ просто каменный...

Но теперь Зайка была не только задумчива и печальна, а ходила будто еще болѣе одичалая, оробѣвшая, перепуганная... но не окружающимъ...

И она не шла къ князю спастись отъ своего страха, безпричиннаго и необъяснимаго...

Она не могла объяснить причину этого, а князь не могъ догадаться и понять.

Князь былъ смущенъ тѣмъ, что ему казалось, чудилось... нѣчто невѣроятное. Ему чудилось, что дѣвушка теперь боится... именно его... его самого...

— Что съ тобой? Скажи!—допытывался онъ.

— Ничего! — отзывалась Зайка робко и молчала.

На третій день, ввечеру Зайка отвѣтила то же, но тихонько и жалобно прибавила:

— Отпустите меня.

— Куда?! — ахнулъ Гиреевъ.

— Къ прадѣдушкѣ... Отпустите, голубчикъ...

Князь, пораженный, какъ бы окаменѣлъ.

Князь сталъ спрашивать Зайку, пытать на всѣ лады, умоляя объясниться прямо, откровенно, почему ей худо или скучно или страшно у него въ домѣ. Но простоватый и наивный ребенокъ бессознательно покорялся главному женскому свойству, вѣрнѣе качеству — крайней стыдливости. И вмѣсто признанія, которое могло все объяснить, Зайка только повторяла:

— Отпустите меня...

Князь добрый, чувствительный, но избалованный жизнью, вспылить. Послѣ краткаго молчанія онъ поднялся и выговорилъ тихо, но твердо съ отгѣвкомъ капризнаго раздраженія:

— Отпустить я тебя не могу... Все вздоръ это...

И, уйдя къ себѣ въ спальню, онъ заперся на ключъ машинальнымъ движеніемъ, усѣлся и началъ, какъ дѣлывалъ часто, размышлять и разсуждать вслухъ съ самимъ собой.

Разумѣется, онъ уже отчасти догадывался, что именно было прямой причиною переменъ въ душевномъ состояніи дѣвушки. Вспоминая и соображая всѣ малѣйшія мелочи ихъ отношеній со дня пріѣзда въ вотчину, Гиреевъ понемногу пришелъ къ убѣжденію, что Зайка его „жертва“ въ самомъ худшемъ, возмутительномъ смыслѣ. Она не только жертва съ точки зрѣнія общественныхъ условій, нравственности и благоприличія. Это бы еще ему, разъ онъ на это пошелъ, было тринь-травой. Оно не могло повліять на его личное довольство и себялюбивое счастье. Какое дѣло, что шумятъ и кричатъ кругомъ люди о томъ, что до нихъ не касается?

Нѣтъ, дѣвушка была такого рода жертвой, что мѣшала ему быть довольнымъ и счастливымъ.

Не совѣсть или раскаяніе будила она.. А онъ просто не нашелъ въ ней того, чего искалъ и ожидалъ. Она не могла по реблечеству утолить его жажды обладанія... не отвѣчала на его порывъ.

Онъ вспомнилъ, что вздоховъ и слезъ было теперь больше, чѣмъ поцѣлуевъ, дѣтски-горячихъ, какъ когда-то на скамейкѣ сада Пустого Вала... А въ боязливомъ, порою испуганномъ взглядѣ ея милыхъ глазъ сквозило еще нѣчто, ею самою, быть можетъ, не вполне сознаваемое, но для него теперь ясное, очевидное... Онъ и прежде, быть можетъ, чувалъ, но не хотѣлъ будто понять ничего, а теперь окончательно увѣрился или заставилъ себя себѣ же признаться. Въ Зайкѣ сказывалось мгновеніями боязливое отвращеніе къ нему!

„Вотъ никогда не считалъ себя простакомъ,— разсуждалъ князь,— думалось всегда, что всякое на свѣтѣ, самое мудрое смогу кой-какъ, хоть бы и на свой ладъ, разъяснить себѣ и уразумѣть... А вотъ объ этомъ, объ этакомъ... и не слышалъ никогда, и не читалъ никогда ни въ какой книгѣ... И объяснить себѣ не могу. А стало быть, и пособить горю не могу, не зная даже, съ какого конца взяться. А отпустить? Да

развѣ это возможно? Если бы я и пожертвовалъ собою, то никто не скажетъ „отпустилъ“, а всѣ скажутъ „прогналъ“.

Когда Гиреевъ сумрачный, спустя часа два, вышелъ изъ спальни, онъ нашель Зайку весело разговаривающей съ Ферапонтомъ. Онъ что-то рассказывалъ съ ужимками, будто нарочно, а она звонко смѣялась...

И ему вдругъ пришло на умъ нѣчто самое простое, но могущее имѣть большое значеніе.

„Если выдумать, всякій день выдумывать что-нибудь веселое, забавное, могущее развлекать дѣвушку, какъ развлекаютъ дѣтей, заставляя ихъ послѣ горькихъ слезъ тотчасъ же хохотать до упаду“...

Ферапонтъ пересталъ при появленіи барина болтать и гримасничать, сталъ серьезенъ и почтителенъ, но прежде чѣмъ князь успѣлъ спросить, о чемъ онъ болтаетъ, слуга заявилъ нѣсколько угрюмо:

— Самсонъ Иванычъ, дозвоьте пару словъ вамъ доложить. Дѣло самоважнѣющее.

— Говори.

— Нѣту-съ... Вамъ однимъ, а не при нихъ. Коли имъ слѣдъ оное знать, то сами скажите. Пожалуйте вотъ...

И Ферапонтъ указалъ на сосѣднюю гостиную. Князь, нѣсколько удивляясь оказавшейся какой-то тайнѣ у старика, вышелъ сопровождаемый имъ и спросилъ:

— По усадьбѣ что приключилось?..

— Точно такъ-съ. Въ усадьбѣ-то въ усадьбѣ, только не драка и не происхожденье какое между своихъ, а совсѣмъ другое, особенное... Всѣхъ насъ очень огорошило... Не знаемъ, какъ быть. Какъ вы признаете?

Ферапонтъ запнулся и продолжалъ омуцаясь:

— Совсѣмъ мы губы распустили. Не знаемъ, какъ тутъ вывернуться. Наши двое прибѣжали ко мнѣ, — что я скажу?.. Я на себя не взялъ, къ Адаму Адамовичу побѣтъ... А онъ обидѣлся и сказалъ: прошу-де меня въ этакое не путать. Ну, вотъ я и осмѣливаюсь васъ беспокоить...

— Да что, что? Вѣдь ты не сказалъ. Ну? — вскрикнулъ князь нетерпѣливо.

— Слуга ихній здѣсь. Приѣхалъ и опрашиваетъ.

— Чей? Какой?

— Ихній... — тихо произнесъ Ферапонть, опуская глаза, какъ бы отъ стыда, а не отъ робости...— Опрашиваетъ, у насъ ли ихняя барышня...

— Отъ Глѣбовыхъ?—выговорилъ князь страннымъ голосомъ и послѣ минутнаго молчанія онъ прибавилъ дѣланнымъ, равнодушно-веселымъ голосомъ:—понятно, что прислали... Что же? Скажи, что здѣсь... А назадъ... назадъ къ нимъ, понятно, не отпущу. Видѣться имъ кому-либо съ нею тоже, конечно, не допущу... Пускай отправляется и все это скажетъ. И тоже скажетъ, что Зинаида Антоновна у меня, конечно, по собственной доброй волѣ. Слышишь? Понялъ? По своему собственному желанію и уѣхала, и пребываетъ здѣсь. Я ей руки и ноги, увозя отъ нихъ, не связывалъ и здѣсь на привязи не держу.

XX.

Старикъ Макарь дѣйствительно, какъ обѣщалъ, такъ и сдѣлалъ, умно и быстро исполнилъ порученіе. Въ два дня разыскалъ онъ вотчину князя Гиреева и по пріѣздѣ тотчасъ же обратился къ обывателямъ съ двумя вопросами:

— У васъ ли наша барышня Зинаида Антоновна? Можно ли повидать барина Адама Адамовича?

На первый вопросъ Макару отвѣтили: „знать не знаемъ“, но отвѣтили всѣ такъ смущенно, такъ виновато, что ясно говорили: да, у насъ.

Ваасту доложили, что пріѣзжіи дворовый господъ Глѣбовыхъ желаетъ его повидать.

Адамъ Адамовичъ грустно поникъ головой и отвѣтилъ нерѣшительно:

— Что же? Пускай идетъ, но мнѣ ему сейчасъ нечего сказать. Прежде доложите князю. А когда князь отвѣтитъ и распорядится, тогда и я ему свое скажу.

Затѣмъ явился къ инвалиду и Ферапонть за совѣтомъ и услыхалъ:

— Ступай, ступай. Не марай меня. Я въ сторонѣ. Что князь?

Ферапонть, доложивъ барину, передалъ и отвѣтъ князя пріѣзжему.

Затѣмъ, увидя полное смущеніе двороваго Глѣбовыхъ и даже грустное смущеніе, онъ прибавилъ:

— Повидайте Адама Адамовича.

— Что же мнѣ вашъ хорошій баринъ Адамъ Адамовичъ скажетъ добраго, — отвѣтилъ Макаръ, — когда баринъ-князь прямо говорить: у меня-де, и не отпущу...

— Повидайте все-таки, — опустья голову и глаза, сказалъ Ферাপонтъ, будто стыдясь.

— Проводите къ нему, — также потупляясь, отвѣтилъ Макаръ.

Очутившись въ комнатахъ инвалида и встрѣченный имъ, Макаръ низко поклонился и выговорилъ:

— Къ вамъ, баринъ... Все, знаете... ради Господа, скажите, научите... Какъ же тутъ быть?

— Не знаю, голубчикъ... И ничего... такъ-таки ничего не могу. Грѣхъ... большой даже.

— Не одинъ, Адамъ Адамовичъ. Много ихъ возьметъ на душу вашъ князь. Теперь у насъ всѣ, и господа, и холопы, вѣрить не хотятъ, всѣ въ надеждѣ... А когда я вернуся да скажу, что, какъ... и что князь приказалъ отвѣтить, то мало ли что можетъ приключиться худого...

Голосъ Макара дрогнулъ, и онъ поднялъ руку къ мокрымъ отъ слезъ глазамъ.

— Мой... мой старый... старый баринъ мой, — заговорилъ онъ рвущимся голосомъ, онъ, мой Андрей Ивановичъ, ничего не знаетъ. А узнаетъ... Адамъ Адамовичъ, родной мой... Вѣдь онъ помереть можетъ. Ему десятый десятокъ. Онъ скажетъ: «моя дѣвочка» и... и сейчасъ...

Макаръ началъ всхлипывать.

— Ничего я тутъ не могу. Ничего! — взволнованно выговорилъ Ваастъ, и губы его подергивало.

— Злодѣйство вѣдь это, — прошамкалъ плача слуга.

— Да, злодѣйство... А злодѣй — человекъ сердечный, добрый. Мухи никогда не обидѣлъ. Вотъ тутъ и разсуди! — двинулъ инвалидъ одной рукой и шевельнулъ противоположнымъ плечомъ, будто разводя руками.

— Нельзя ли мнѣ хоть повидавать нашу барышню? — спросилъ Макаръ помолчавъ.

— Не знаю. Думаю, что не дозволить. Да и сама она не пожелаетъ. Засовѣстится...

— А вы узнайте, Адамъ Адамовичъ. Хоть повидавать... Донести господамъ, что видѣлъ своими глазами, и что она все-таки въ добромъ здоровѣ, не тоскуеть, не убивается.

Ваастъ, не видавшій князя съ прїѣзда и не хотѣвшій его видѣть, не зналъ, какъ поступить. Онъ сознавалъ однако, что старикъ-слуга правъ. Вѣсть, которую онъ привезетъ своимъ господамъ, что видѣлъ дѣвушку, и что она—слава Богу—здорова и довольна, не хвораетъ и не плачетъ, можетъ быть, и впрямь отчасти утѣшить стариковъ, хотя относительно.

И Ваастъ рѣшился, поневолѣ, какъ на доброе дѣло, повидать князя. Онъ вышелъ въ переднюю, гдѣ всегда сидѣло около дюжины слугъ, ничего не дѣлая, и послалъ одного изъ нихъ о себѣ доложить. Остальные окружили инвалида, и старикъ ключникъ вымолвилъ:

— Адамъ Адамовичъ, родной ты нантъ. Я отъ всѣхъ холоповъ тебѣ челомъ бью. Вступися. Уломай нашего Самсона Иваныча плюнуть... себя воздержать. Негожее дѣло. Намъ за него обидно. Пускай отпустить барышню съ этимъ посланцемъ домой.

Ваастъ потрясъ головой и ничего не отвѣтилъ.

Между тѣмъ лакей докладывалъ барину объ инвалидѣ.

— Что ему нужно?—угрюмо спросилъ князь.

— Не могу знать,—отвѣтилъ лакей.— Посланецъ у него. Можетъ, тотъ спросить у васъ желаетъ что чрезъ Адама Адамовича.

Гиреевъ, насупившись, помолчалъ нѣсколько мгновений, потомъ приказалъ:

— Пускай въ столовую придетъ. Я выйду къ нему. Сюда не зачѣмъ...

Чрезъ минуту князь вышелъ и, найдя Вааста въ столовой, почти недружелюбно глянулъ на давнишняго друга-нахлѣбника. Ваастъ даже удивился, предполагая и ожидая, что у князя будетъ хотя немного виноватый видъ.

— Ну, что тамъ такое тебѣ нужно?—отчасти рѣзко спросилъ князь.

Инвалидъ вдругъ сразу окрысился и выговорилъ громче обыкновеннаго и даже нѣсколько строгимъ голосомъ.

— Посланный Глѣбовыхъ желаетъ повидать свою барышню, чтобы знать, что она не связана по рукамъ и ногамъ и не вѣчуланъ у васъ сидитъ.

— Совсѣмъ это не нужно,—отрѣзалъ князь.

— Онъ, можетъ, думаетъ, что вы ее силкомъ увезли и силкомъ держите здѣсь. Такъ пусть увидитъ. Пусть она ему сама скажется. А онъ все старикамъ расскажетъ...

Гиреевъ вспыхнулъ и выговорилъ рѣзко:

— Видѣть не позволю. Не нужно. Но скажи ему все-таки правду: увезъ я ее по доброй ея волѣ, а держу здѣсь силкомъ. Понялъ?

Ваастъ не понялъ или, понявъ слова, предположилъ, что Гиреевъ лжетъ отъ досады и раздраженія.

— Зачѣмъ же сочинительствовать?.. Зачѣмъ ему такое своимъ господамъ вести? Насмѣяться что ли еще желаете надъ стариками?

— Нѣтъ, я правду говорю, правду. Я ее силой держу, коли она просится домой, а я не отпускаю. То стало, силой держу! — почти злобно и вызывающее вскрикнулъ князь, подступая къ инвалиду какъ бы съ угрозой.

— Коли правда... тихо отозвался Ваастъ... Сугубый грѣхъ, совсѣмъ мерзостное дѣло. Стало быть... стало быть, милый ребенокъ она. Да-съ. Что же? Нѣтъ, что ли?

Князь стоялъ, опустивъ голову, и молчалъ.

— Другая была бы теперь, пока хоть... совсѣмъ счастлива. А если она теперь уже просить отпустить, то... Ну, да вы сами все лучше меня разумѣете. Дивлюся! Что же сердце-то ваше въ камень обратилось?

Князь схватилъ инвалида за руку обѣими руками и вымолвилъ сдавленнымъ голосомъ:

— Адамъ Адамовичъ, давно ты меня знаешь, а вотъ не видишь, не вѣдаешь, не догадываешься. Тяжело мнѣ. Помоги, посоветуй. Пойдемъ ко мнѣ... поговоримъ. Я не знаю, что мнѣ дѣлать...

— Отпустить сейчасъ же... Бѣды не поправите, но хоть насильствовать перестанете.

— Не могу, не могу и не могу. Хоть убейте! — вскрикнулъ Гиреевъ съ отчаяніемъ въ голосъ.

Ваастъ ничего не отвѣтилъ, только вздохнулъ глубоко. Наступило молчаніе.

— Такъ не дозволите Макару повидать?.. сухо спросилъ онъ наконецъ.

— Зачѣмъ? — тѣмъ же голосомъ, въ которомъ севозила печаль, отозвался князь. — Зачѣмъ? Чтобы она сама ему все сказала? Сказала бы: увези меня, спаси меня отсюда? Нѣтъ, не могу, не хочу. Не изъ самолюбія... Нѣтъ. Я надѣюсь... надѣюсь, что все обойдется... Пойдемъ ко мнѣ, поговоримъ. Я расскажу... Посоветуешь...

— Нѣтъ, Самсонъ Иванычъ, уволь. Въ такихъ дѣлахъ я не совѣтчикъ. Чѣмъ дальше, то лучше отъ этакого...

— Ну, ради Создателя... войди ты въ мою душу, разсуди нелицеприятно.

— Уволь, уволь, Самсонъ Иванычъ—попятился инвалидъ, и освободивъ свою руку, онъ махнулъ ею на князя и пошелъ изъ столовой.

— Да что же я, преступникъ что ли?—крикнулъ Гиреевъ ему вслѣдъ, снова вспылывъ.

— А то нѣтъ!—вскрикнулъ и инвалидъ, оборачиваясь съ порога.

— Въ Сибирь меня? А?...

— Содѣянное тобой, князь Самсонъ Иванычъ, если не преступленье, то дѣло... дѣло неслыханное... произнесъ Ваастъ глухимъ голосомъ.

Макаръ, узнавъ объ отказѣ князя допустить его повидаться съ барышней, опустилъ голову и, помолчавъ, вымолвилъ:

— Что же? Доложу хоть господамъ, что она жива и у васъ. И надо полагать, не въ чуланѣ заперта на хлѣбъ и на водѣ. Прощайте. Счастливо оставаться.

Ваастъ остановилъ слугу вопросомъ, и голосъ его прозвучалъ печально:

— Скажи мнѣ, голубчикъ... Понимаютъ у васъ, какъ дѣло обстоитъ? Или надежды какія питаютъ еще?... Можетъ, думаютъ, что онъ вѣнчаться станетъ?..

— Какъ же не думать, Адамъ Адамовичъ! — воскликнулъ Макаръ. — Вѣстимо, у всѣхъ и у господъ и промежь насъ, холоповъ, надежда есть... Вѣдь это что же? Этакое, съ тѣхъ поръ, что свѣтъ стоитъ, не бывало.

— Что же теперь будетъ, когда ты привезешь господамъ вѣсть, что онъ изъ ихъ внучки полюбовницу сдѣлалъ временную?... Да, временную... пока прихоть не прошла. Что твои господа учинять?...

— Что же имъ учинить? Нечего. Горевать да слезы глотать. А мой... мой старый баринъ... вѣстимо... Макаръ снова прослезился и прибавилъ едва слышно:

— Десятый десятокъ. Много ли нужно, чтобъ духъ вонъ?... И будетъ на душѣ князя, почитай, смертоубійство. Какъ называется: безъ ножа зарѣзать.

XXI.

Когда Макаръ вернулся въ Пустой Валъ, дворня встрѣтила и окружила его, но молча какъ бы почтительно боязливо. Только двое рѣшились заговорить, спросить. Макаръ только строго глянулъ на нихъ и, не отвѣтивъ, прошелъ въ барскій домъ.

— Плохо, грѣхъ. Что гадали, то и есть!—рѣшила дворня и разошлась медленно, сумрачная и озлобленная.

Макаръ велѣлъ доложить о себѣ барышнѣ.

Прасковья Андреевна при извѣстїи, что слуга вернулся, почти вскочила изъ-за палецъ.

— Зови, зови!—приказала она взволнованно горничной. И старая дѣвица стала среди своей комнаты, какъ бы насторожѣвъ отъ нетерпѣнья. Она думала:

— Что?! Жена или любовница?... Я вѣрю, что въ любовницахъ, но мало-ль, что можетъ быть. Можетъ, обѣщаль и выполнить обѣщаніе.

Что? — почти выкрикнула она, когда слуга появился на порогѣ, и послѣ первыхъ же нѣсколькихъ словъ старика Прасковья Андреевна перемѣнилась въ лицѣ. Оно слегка покрылось румянцемъ, глаза блеснули, а ротъ, если не улыбался, то все-таки его на мгновенье подернуло углами вверхъ...

Макаръ, замѣтивъ, какое дѣйствіе произвели на барышню его горькія вѣсти, пытливо и сурово глянулъ ей въ лицо.

— Ни теперь, ни послѣ... И не собирается вѣнчаться,—сказалъ онъ, думая, что барышня не вполне отдастъ себѣ отчетъ въ томъ, что слышитъ.

— Вѣстимо,—отвѣтила рѣзко Прасковья Андреевна:—если сейчасъ же не женится, то ужъ никогда...

И она начала спрашивать слугу объ усадьбѣ, объ обстановкѣ, о житѣ-бытѣ князя Гиреева, интересуясь малѣйшими подробностями. Макаръ отвѣчалъ на все толково, но неохотно. Внутренно онъ осуждалъ барышню.

„До того ли? Сколько комнатъ, да сколько дворовыхъ, намъ нѣтъ дѣла. Срамъ — наше дѣло. Объ этомъ надо тужить“, — думалось ему.

И онъ спросилъ, не отвѣтивъ на новый пустой вопросъ барышни.

— Что же теперь, Прасковья Андреевна?

— Что?

— Что же теперь дѣлать мы будемъ?

— Да что же тутъ дѣлать, Макаръ? Самъ посуди. Что мы можемъ?

— Какъ же такъ-то?

— Да что же? Что? Войной на него итти? Раздать людямъ топоры, вилы и дубье?... усмѣхаясь не злобно, а почти насмѣшливо, заговорила Прасковья Андреевна.—Ну, хоть бы и такъ... У него людей больше. Они насъ расшибутъ и въ полонъ возьмутъ. Одно можно—жаловаться. Батюшка долженъ написать губернатору и архіерею... Но что же изъ того будетъ? Заставятъ его, этого полоумнаго щенка, нашу Зинаиду намъ назадъ возвратить. Ну, и что же? Толкъ-то какой еще? Ты что ли ее замужъ за кого выдать возмепся послѣ этакого?..

И Прасковья Андреевна усмѣкнулась еще насмѣшливѣе.

Макаръ понялъ наконецъ, какъ тетушка приняла горькія вѣсти о своей племянницѣ, не утерпѣлъ и выговорилъ рѣзко:

— Дома будетъ. У себя... И за то спасибо. А замужъ не выйдетъ? Что же? Бываетъ, что барышни дворянки въ дѣвкахъ сидятъ, жениха не найдя, никакого молодца не прельстивъ. Наша бѣдная Зинаида. Антоновна оттого въ сугубой бѣдѣ и очутилась, что красота писаная... А вотъ, что уберечь не могли... мы... это грѣхъ великій.

— Матушка. Я тутъ не причемъ, — строго отвѣтила Прасковья Андреевна, понявъ отвѣдъ старика-слуги. — Матушка кругомъ виновата. Да и батюшка... Кабы меня слушались, ничего бы такого не было...

Послѣ минутнаго молчанія Макаръ вздохнулъ и спросилъ:

— Что мой Андрей Иванычъ, барышня?

— Ничего. Сказали, что тебѣ полегчало, и что ты не нынѣ, завтра придешь служить ему.

— Какъ же теперь?.. Кто все барину повѣдаетъ о нашихъ происхожденяхъ?

— Ты вотъ все и разскажи, хоть сейчасъ.

— Что вы, что вы, барышня!—замахалъ Макаръ руками.

— А что же? Что ты?

Богъ съ вами. Не мое это дѣло, лакейское. Это дѣло семейное. Я слуга, а не родственникъ.

И Макаръ, утаивъ свои мысли, почти воскликнулъ про себя:

«Убивать-то итти? Нѣтъ, ужъ это ты иди».

И старый слуга вышелъ отъ барышни, опустивъ голову. Давно онъ зналъ, конечно, что «засидѣвшаяся въ дѣвкахъ» Прасковья Андреевна не долюбиваетъ молоденькую, красивую и «ангелочка» племянницу, но все-таки старикъ былъ неприятно удивленъ.

«Почитай, ненавиствуеть!»—думалось ему.

Вще болѣе неприятно и даже жутко стало ему, увидя, какъ легко относится барышня къ тому, что можетъ приключиться съ ея дѣдомъ, когда онъ все узнаетъ. Хотя она и собралась было поручить дѣло ему, «съ больной головы на здоровую» сваливъ все, но это не изъ жалости къ дѣду, не изъ боязни любовной взять на себя тяжелое и опасное порученіе, а такъ, зря...

Разумѣется, Макаръ прямо отправился къ своему барину и войдя не выдержалъ...

Онъ забылъ свое путешествіе, усадьбу князя Гиреева, свои переговоры и все, что волновало его нѣсколько дней. Никогда почти не разставаясь съ баринномъ, онъ теперь вернулся какъ бы послѣ долгой годовой разлуки. Онъ быстро подошелъ къ креслу Андрея Ивановича и почти закричалъ:

— Баринъ, баринъ! Дорогой мой!..

И, опустившись на колѣни, Макаръ схватилъ руку старца и началъ цѣловать ея, разумѣется, около локтя и плеча, шмыгая губами по бархатному кафтану.

Старецъ при видѣ своего слуги тоже ахнулъ радостно:

— Макарка! Макарушка!

Слуга цѣловалъ рукавъ барина, а баринъ изъ-подъ густыхъ сѣдыхъ бровей дѣтски простовато и весело глядѣлъ на слугу и часто мигалъ отъ радостнаго волненія...

— На... на... вотъ... вымолвилъ онъ и протянулъ слегка дрожащую кисть руки къ лицу любимца, какъ бы разрѣшая поцѣловать самого себя, а не одну одежду.

Макаръ взялъ худую и желтоватую руку старца и тиконько почтительно чмокнулъ ее три раза...

— Баринъ мой... Баринъ... снова прошепталъ онъ отъ избытка чувствъ.

— Давно не видались?—выговорилъ старецъ.

— Давно, давно. Четвертый день...

— Гдѣ? Что ты? Вторую недѣлю, — сказалъ Андрей Ивановичъ, удивляясь.

— Нѣту, что вы, родной мой! Четверо сутокъ... Это вамъ такъ сдалось.

— Не ври, не путай... Вы, остолопы, счета днямъ не знаете. Недаромъ холопы, темные люди... заворчалъ старецъ.—Я тебѣ сказываю, вторая недѣля пошла, что моя дѣвчурочка заболѣла, и я ее не выдаю... А ты сейчасъ за ней свалился.

Макаръ не сталъ перечить, а при упоминаніи о барышнѣ снова вспомнилъ все... все горькое, ужасное, безысходное. Все, что станетъ неминуемо роковымъ для этого дорогого ему, чуть уже не столѣтняго барина.

— Скажи, Макарка, у тебя та же хворость была, что у моей дѣвочки?—спросилъ вдругъ Андрей Ивановичъ.

— Та же-съ,—отвѣтилъ Макаръ зря.

— Та же?!—ахнулъ Андрей Ивановичъ.—Мнѣ сказывалъ Андрюша, что у тебя другая...

— Другая, другая-съ... Совсѣмъ другая, — затараторилъ старикъ, сразу сообразивъ, въ чемъ дѣло. — Я сказываю, что также слегъ въ постель и не могъ ходить. А хворость-то моя самая была совсѣмъ не такая, что у Зинаиды Антоновны.

— Ну, а когда же моя-то дѣвочка встанетъ да придетъ ко мнѣ?—грустно вымолвилъ Андрей Ивановичъ.

— Скоро-съ... скоро... тихо и потупляясь отвѣтилъ Макаръ и умышленно заговорилъ о другомъ, расспрашивая старца, какъ онъ за эти дни почивалъ, какіе сны видѣлъ, хорошо ли служили ему.

Андрей Андреевичъ, узнавъ отъ дочери о возвращеніи Макара, велѣлъ ей позвать его къ себѣ, а рассказъ ея перебилъ словами:

— Онъ мнѣ все повѣдаетъ. Пошли его.

— Да нечего повѣдывать-то,—сердито выговорила Прасковья Андреевна. — Не отдаетъ и не отдастъ. Вотъ и все тутъ. Садитесь и пишите обо всемъ по начальству. Да и дѣдушкѣ разъясните, не спѣша, потихоньку, какъ сумѣете. Не надо его сразу пугать.

— Ладно. Посылай Макара.

Когда старикъ-слуга, явившись, передалъ «молодому» барину все то же, что рассказалъ Прасковья Андреевна, только менѣе стѣсняясь въ выраженіяхъ, Глѣбовъ не сталъ входить въ какія либо подробности. Недвижно сидя въ креслѣ, онъ не спрашивалъ, а молча слушалъ, что Макаръ самъ находилъ самымъ существеннымъ передать. И только тогда, когда слуга заговорилъ о Ваасѣ, Глѣбовъ спросилъ:

— Что же онъ-то? Онъ добродѣтельный... онъ не злодѣй...
 — Онъ ничего не можетъ: нахлѣбникъ—онъ.
 — Зачѣмъ же онъ отъ насъ, не простясь, тайкомъ, напередъ всѣхъ ухалъ?

— Не желалъ, видно, замѣшиваться въ такое дѣло,—отвѣтилъ Макаръ.—Онъ самъ мнѣ сказывалъ: „Безчестье великое для твоихъ господъ дворянъ. Я въ сторонѣ отъ грѣха“.

Глѣбовъ помолчалъ и выговорилъ тихо:

— Безчестья нѣту... Людскія измышленья: и честь и безчестіе.

— Срамъ, Андрей Андреевичъ.

— И сраму нѣту. Суемудріе и суесловіе.

— Какъ же нѣту, баринъ дорогой? Великій срамъ на насъ,—замѣтилъ Макаръ отчасти вразумительно, какъ если бы говорилъ съ кѣмъ изъ дворовыхъ.

— Нѣту. Все измышлено, суета. Господь нашъ Иисусъ Христосъ поруганный, оплеванный, заушенный, не сказывалъ о срамѣ, не сказывалъ о безчестіи... Это все люди выискали, вымыслили отъ суеты житейской, сотворили себѣ „бози и нии развѣ мене“. Да, кумиры, кумиры. А Господь забыть.

Андрей Андреевичъ глубоко вздохнулъ и опустил голову.

— Какъ же, баринъ дорогой, разсудить?—заговорилъ Макаръ.—Богъ Господь, вѣстимо... Оно стало быть: Богу молился. Ну, а если тебя кто обидѣлъ, осрамилъ, нешто ему спускать?

— Вѣстимо, прощай обиды, не суди. Самъ виновать.

— Да вѣдь какая бываетъ тоже и обида. Вѣдь теперь, что этотъ князь содѣялъ... Страсть что. Вѣдь большой грѣхъ это, изъ самыхъ большущихъ.

— Да, грѣхъ, и великій, великій грѣхъ. И какъ это мы не доглядѣли? Какъ это я допустилъ?... Ума не приложу. Нашло какое-то помраченье на всѣхъ, и на меня. И вотъ погубили внучку. Погубили и человѣка. Были у него грѣхи, а мы ему еще другой, новый, тягчайшій на душу взвалили. Да, великій грѣхъ взяли мы всѣ на себя. А пуще всѣхъ я предъ Господомъ въ отвѣтъ. И этого грѣха мнѣ уже не замолить.

Макаръ стоялъ предъ согнувшимся въ креслѣ баринкомъ, и, слегка разинувъ ротъ, внимательно слушалъ, но плохо понималъ, или же понимая не хотѣлъ вѣрить, что баринъ справедливо судить.

— Доброта все ваша, Андрей Андреевичъ!—разсудилъ онъ наконецъ.—Онъ злодѣй. Онъ и въ отвѣтъ предъ Богомъ, онъ одинъ. А вы-то за что же?

— Онъ на меня сошлется предъ престоломъ Всевышняго. Я его въ грѣхъ ввелъ, и я одинъ во всемъ повиненъ.

— Что вы, что вы, Андрей Андреевичъ?—возопилъ слуга, чуть не взмахнувъ руками.

— Ты этого, Макаръ, уразумѣть не можешь. Не по разуму твоему. Коли человекъ наслодѣйствовалъ съ тобой, то ты вѣрно самъ виновенъ, его на это своимъ поступленьемъ по-двигнулъ.

— Баринъ, да вѣдь Господа Христа жиды распяли,— вскрикнулъ Макаръ.—Стало быть, Господь самъ же въ этомъ и повиненъ, а не безвинно пострадалъ за насъ, грѣшныхъ.

Андрей Андреевичъ поднялъ глаза на слугу и, помолчавъ, выговорилъ почти шепотомъ:

— Христосъ—Сынъ Божій, а мы—человѣки. Не грѣши.

XXII.

Отпустивъ стараго слугу, Андрей Андреевичъ далъ волю себѣ, или тому, что было на душѣ. Онъ горько заплакалъ... Сидя въ креслѣ, понурившись, онъ тихо и безмолвно плакалъ и глядѣлъ, какъ слезы, скатясь по щекамъ, падали и капали на колѣна и на сложенные руки, сложенные будто безпомощно или покорно и виновато...

Глѣбовъ плакалъ о судьбѣ внучки, дѣвухѣ-ребенѣ, которую погубилъ онъ, ея дѣдъ, погубилъ своимъ неразуміемъ, непредвидѣньемъ того, что врагъ человѣческой строилъ. Козни дьяволы были очевидны, а онъ не видѣлъ ихъ. И что же? Какой онъ грѣхъ взялъ на душу? Погубилъ сразу двухъ человекъ. Погубилъ внучку и погубилъ другого человекъ, хоть и чужого, а все-таки такого же христіанина, какъ и онъ самъ. И этого чужого человекъ онъ ввелъ въ страшный грѣхъ, въ злодѣйство, въ окаянное, каиново дѣло. Спровадъ онъ гостя князя тотчасъ же, ничего бы не было. Онъ допустилъ его за-гоститься и какъ бы помогаль ему всячески сослужить сатанѣ, исполнить все, что врагъ человѣческой засѣялъ здѣсь, въ Пустомъ Валѣ.

Великъ грѣхъ князя Гиреева. Но Гиреевъ, отвѣчая на Страшномъ Судѣ предъ Господомъ, справедливо скажетъ: „Я виновать, но Глѣбовъ меня въ искушеніе ввелъ. Ему было смотрѣть и видѣть, спасти внучку отъ бѣды и меня до лихо-дѣйства и злодѣянія не доводить“.

И долго просидѣлъ старикъ, горько размышляя о своей винѣ.

Между тѣмъ Прасковья Андреева дожидалась, чтобы мать, проснувшись, перешла съ постели на кресло, для того, чтобы объявить ей о вѣстяхъ, привезенныхъ слугой.

Катерина Петровна, отдохавшая, но не спавшая, уже знала о прїѣздѣ Макара. Молодая горничная уже объявила барынѣ о новости, но не могла ничего рассказать, такъ какъ старикъ съ дворней ни единымъ словомъ не обмолвился.

— Худы очень вѣсти?—спросила старуха.—Или не очень?..

— Не могу знать, матушка барыня. Никому-то онъ ни чуточки не сказалъ.

— А какъ видать?..

— Видать, барыня, худое... Одно худое привезъ, ей-Богу.

Катерина Петровна перебралась на кресло, съ трудомъ, слегка задыхаясь отъ «тяготы подъ ложечкой» и отъ «давки въ темени». Старухѣ попрежнему сильно недоровилось съ той самой минуты, что она впервые узнала объ исчезновеніи гостя и внучки.

Едва она сѣла въ свое кресло, какъ явилась дочь, суровая, важная, гордая, являющаяся, конечно, судить, осуживать, попрекать и презрительно «выговаривать вины» матери.

— Ну, сказывай, — произнесла Катерина Петровна, смущаясь.

— Ужъ знаете, вернулся... А что и какъ дѣло, тоже, поди, вамъ рассказали.

— Нѣтъ. Говори. Худо?

— Вѣстимо.

— Что же?

— А то, чего и ждать слѣдовало.

— Говори.

— Нечего говорить, матушка. Сами понимаете.

— Говори, говори... Не томи меня.

— Да что же, матушка? Ну, увезъ, и, стало быть, она у него въ забавницахъ. И теперь, и впредь, въ предбудущее время, пока не прискучить. Тогда пришлетъ къ намъ.

— А вѣнчаться не?..

Катерина Петровна запнулась и не договорила.

— И въ мысляхъ-то нѣтъ, — усмѣхнулась Прасковья Андреевна.—Онъ не изъ таковскихъ... Да и она-то... На этихъ не женятся.

— Стало, конецъ?

Прасковья Андреевна не сочла нужнымъ отвѣтить.

— Стало, конецъ? — повторила старуха, вытягиваясь въ креслѣ къ дочери, какъ бы на встрѣчу къ роковому отвѣту.

— Вѣстимо. Что же? Пеняйте на себя... Вы все подладили. Я говорила, но вы слушать не хотѣли. Ну, вотъ теперь и распинайтесь.

И Прасковья Андреевна заговорила, пространно толково и горделиво доказывая все неразуміе матери за все время, что у нихъ гостилъ князь.

Старуха сидѣла, молчала, будто слушала, но въ дѣйствительности она ничего не слыхала. Рѣчь дочери гудѣла у нея въ ухахъ безъ смысла, какъ вода чрезъ мельничное колесо.

Наконецъ Катерина Петровна выговорила тихо:

— Воды.

— Чего?—удивилась и не поняла дочь, толково разсуждавшая, что гостей невѣдомыхъ, съ большой дороги, вообще никогда къ себѣ никто не пускаетъ.

— Во-о-ды,—протянула, задыхаясь, старуха.

Старая дѣвица какъ бы очнулась и, какъ бы съ просонокъ понявъ, въ чемъ дѣло, понявъ, что матери дурно, бросилась за водой въ сосѣднюю горницу. Когда она вернулась, то нашла мать сидящую въ креслѣ, уже слегка запрокинувшись и закрывъ глаза.

— Вотъ, вотъ... Матушка, испейте.

Старуха открыла глаза, бессмысленно поглядѣла на дочь, но когда эта приставила ей стаканъ ко рту, она жадно начала глотать воду.

— Что-жь? Нечего теперь. Горю не поможете, себя растресоживая,—разсудила и посовѣтовала Прасковья Андреевна.

Мать показала рукой на постель.

— Прилечь опять желаете?

Катерина Петровна слегка кивнула головой. Дочь помогла ей подняться и поддерживая довела до постели. Старуха легла, вытянувшись, глубоко вздохнула и закрыла глаза.

— Нечего себя тревожить... Не поможете, — повторила сухо старая дѣвица.—Усните что ли?.. Нужно вамъ что?

Катерина Петровна не отвѣтила.

— Терентьевну послать къ вамъ?

Но такъ какъ мать не отвѣчала и лежала недвижимо и закрывъ глаза, старая дѣвица постояла нѣсколько мгновений и затѣмъ пошла изъ комнаты.

— Насъ возьми на это—глупости дѣлать и охать. А больше ничего съ насъ не спрашивай!—думала Прасковья Андреевна, идя къ себѣ.

Она сѣла было за пяльцы, но, едва начала работать, какъ вспомнила:

«А дѣдушка? Кто же ему пойдетъ сказывать? Макаръ не пошелъ. Матушка не можетъ. Батюшка—его дѣло.

И чрезъ мгновеніе Прасковья Андреевна спрашивала себя:

«Не мнѣ ли? Да, мнѣ надо. Они не сумѣютъ. Дѣдушка старъ. Его пугать нельзя. Его надо, какъ махонькихъ дѣтей, уберечь»...

Прасковья Андреевна встала и пошла къ дѣду рѣшительной походкой.

«Какъ взяться?—думалось ей.—Съ чего начать? Нельзя же такъ сразу. Мудрено, прямо таки мудрено.

Войдя къ старику и сѣвъ около него, Прасковья Андреевна спросила, какъ онъ себя чувствуетъ.

— Ничего, Прасковьюшка. Скучно мнѣ безъ моей дѣвочки.

— Что дѣлать, дѣдушка.

— Скажи, когда она, моя дѣвчурочка, выздоровѣетъ.

Прасковья Андреевна собралась говорить, собралась сказать и объяснить старику, что его правнучка и не думала болѣть, что дѣло совсѣмъ иное. Но, поглядѣвъ дѣду въ лицо, встрѣтивъ дѣтски добрый и наивный взглядъ выцвѣтшихъ и тусклыхъ глазъ старца, Прасковья Андреевна запнулась и не знала, что дѣлать.

Начать говорить правду, объяснить все, хотя бы понемногу, исподволь?.. Или начать лгать и выдумывать?

— Зайка не больна, дѣдушка,—заговорила она.—Совсѣмъ не хвораетъ, а...

— Такъ веди ее... Веди сюда. Скорѣе! Веди!.. — закричалъ Андрей Ивановичъ. Лицо его озарилось радостью и какъ бы просвѣтлѣло сразу.

Старая дѣвица поглядѣла на дѣда и выговорила себѣ самой: «Нѣтъ, не могу, боюся».

И рѣшивъ лгать, объяснивъ старцу, что его правнучка выздоровѣла, но спустится изъ своей комнаты только на утро, Прасковья Андреевна поднялась и пошла обратно къ себѣ.

«Пускай батюшка ему скажетъ», бормотало она. Но затѣмъ, сѣвъ за свою вѣчную работу въ пяльцахъ, она рѣшила, что старый Макаръ лучше сумѣетъ приготовить старца къ

ужасной вѣсти, и что надо просто приказать слугѣ взять дѣло на себя.

И не теперь, а лучше поутру, когда дѣдушка, поднявшись со сна, бываетъ бодрѣе,—рѣшила она.

Принявшись за работу, пропуская иглу черезъ канву и прижимая пальцами крестики, которые она дѣлала шерстяной ниткой, Прасковья Андреевна стала думать свою ту же думу, что не покидала ея за эти дни. Она думала о племянницѣ. Она представляла ее себѣ въ домѣ князя и... въ объятіяхъ его, подъ его поцѣлуями и всевозможными ласками...

И старая дѣвица начинала тыкать иглкой быстрѣе, неровно, не попадая, куда слѣдовало, при этомъ начинала сопѣть все сильнѣе и изрѣдка глубоко вздыхать, какъ если бѣ поднималась на крутую гору.

«И подумать, что щенокъ! Если бы дѣвица красавица... А то щенокъ!» — восклицала она мысленно, не видя узора и иглы отъ волненія, причиняемаго какимъ-то чувствомъ, имя которому было трудно дать. Развѣ, не мудрствуя лукаво, называть просто...

XXIII.

Была уже ночь, темная и тихая... Въ усадьбѣ и кругомъ все спало крѣпкимъ сномъ. Одинъ старикъ Макаръ, несмотря на усталость отъ дороги, вдобавокъ съ непривычки двигаться и странствовать, все-таки плохо спалъ во флигелѣ у себя въ «семейникѣ» и, часто вздыхая и охая, ворочался. Его страшно тревожило, что будетъ завтра.

Его старому дорогову и обожаемому барину объявлять наконецъ правду. Скажутъ, что его «дѣвочка» загублена. И что будетъ?..

Въ домѣ тоже было существо, которому не спалось. Эта была старуха Терентьевна. Она ложилась въ маленькой комнатѣ, рядомъ со спальней барыни, такъ какъ Катерина Петровна часто среди ночи просила пить квасу или мятной воды и любила, чтобы старуха служила ей, а не какая-либо изъ горничныхъ.

— Дѣвки шалыя, съ просонья помоями оноить могутъ,—объясняла она.

На этотъ разъ Терентьевнѣ не спалось потому, что она прислушивалась уже съ часъ къ спальнѣ барыни и недоумѣвала.

Старая барыня особенно шибко или громко дышала, даже не просто дышала, какъ всегда, а будто удивительно храпѣла. Долго ждала Терентьевна, чтобы барыня успокоилась и перестала необычно храпѣть, какъ никогда съ ней не случилось...

Наконецъ, старухѣ послышался будто стонъ, и она, не выдержавъ, прошла въ спальню. Здѣсь она оробѣла, такъ какъ барыня храпѣла очень страшно и тихо стонала...

Терентьевна окликнула спавшую нѣсколько разъ, а затѣмъ, вдругъ совсѣмъ струсивъ, побѣжала къ Прасковѣ Андреевнѣ.

Разбуженная внезапно среди ночи, старая дѣвица сначала ничего не могла понять, потомъ разсердилась на старуху за ея глупыя выдумки, но затѣмъ, видя ея перепуганный видъ, рѣшилась встать и идти къ матери... Въ ней вдругъ сказалося что-то, чему нѣтъ иного названія, какъ предчувствіе худого.

Ложась спать, она не думала о матери и не думала, чтобы что-нибудь худое могло приключиться съ ней. Теперь она сразу будто догадалась, что матери, жаловавшейся днемъ на дурноту, теперь среди ночи, вѣроятно, стало хуже.

Она быстро накинула на себя шерстяной платокъ, надѣла туфли и пошла въ спальню Катерины Петровны.

Храпъ матери или громкій хрипъ поразилъ ее. Она велѣла зажечь огня и, глянувъ на лежащую при свѣтѣ свѣчи, ахнула и смутилась.

Катерина Петровна была совершенно неузнаваема, съ темно-багровымъ лицомъ, потнымъ и будто перекошеннымъ...

Разумѣется, тотчасъ все поднялось на ноги на женской половинѣ, забѣгало, зашвырялось и зашумѣло.

Тотчасъ, по приказанію Прасковьи Андреевны, появились припарки, горчичники, лиловый цвѣтъ и бѣленое растиранье...

Барышня съ двумя молодыми горничными принялась за дѣло...

Благодаря, вѣроятно, ихъ дружнымъ стараніямъ, Катерина Петровна стала дышать и храпѣть медленнѣе и тише...

Черезъ часъ она стихла совсѣмъ...

— Полегчало, — сказала Терентьевна, стоя за спиной барыни.

— Слава Богу, — шепнула горничная: — успокоилась.

Но Прасковѣ Андреевнѣ не понравилось это спокойствіе матери... Она приглядывалась къ лицу старухи и находила, что лице стало еще хуже, еще темнѣе и совсѣмъ черное.

Черезъ часъ стало ясно, что барыня «успокоилась» дѣйствительно, но навѣки.

Ощупавъ мать, старая дѣвица, быть можетъ, впервые въ жизни смутилась настолько, что растерялась и не помнила, не сознавала, что дѣлаетъ.

Она пришла въ себя уже въ комнатѣ, куда убѣжала опрометью и, глядя на стоявшую передъ ней Терентьевну, старалась понять, что старуха говорить и повторять, а старуха повторяла:

— Грѣхъ покойничковъ бояться, барышня. И опять все-таки сказать: мать родная.

Прасковья Андреевна понемногу окончательно пришла въ себя и вспомнила, что она, убѣдившись, что мать мертва, выбѣжала изъ спальни отъ испуга, а не отъ горя.

— Разбуди батюшку,—сказала она.

— Андрей Андреевичъ ужъ пришелъ... При барынь... Молитвы читаетъ,—сказала Терентьевна.—Пожалуйте, барышня. Готовить все надо скорѣе. Обмывать тоже... А то окостѣетъ барыня, и мы съ ней не справимся. Пожалуйте.

Прасковья Андреевна поднялась, двинулась, но вдругъ попятилась и произнесла:

— Не могу, Терентьевна. Не могу... Дѣлайте... вы все. Иди. Дѣлайте, что нужно. Я приду... послѣ приду. — И она снова сѣла.

Мать была первый покойникъ, котораго старая дѣвица увидѣла вблизи. Чувство, овладѣвшее ею, было ей самой ново и не совсѣмъ понятно. Лежащая тамъ въ постели казалась ей не ея матерью, а совершенно другимъ и чужимъ человѣкомъ. Она не удивилась бы, увидя около постели и этой лежащей женщины свою мать, Катерину Петровну Глѣбову.

Между тѣмъ уже разсвѣтало... Дома всѣ были на ногахъ. Всюду ходили, говорили и шумѣли.

Дверь въ комнату Прасковьи Андреевны вдругъ шибко растворилась, такъ, что даже вздрогнула, и на порогъ появился взволнованный и запыхавшійся Макаръ.

— Барышня, барышня!—почти закричалъ онъ:—разбудили моего барина переполохомъ, и онъ меня позвалъ... спрашиваетъ... Что я скажу?...

— Скажи, — отозвалась Прасковья Андреевна, почти не сознавая, что говорить.

— Какъ я скажу? Я не знаю... Вѣдь два покойника сейчасъ будетъ.

И, взявъ себя за голову руками, Макаръ вскрикнулъ:

— Господи! Да что же это такое? Господи!

— Надо сказать. Что же дѣлать! Этого не укроешь, какъ иное что,—сказала старая дѣвица нѣсколько спокойнѣе.

— Не могу, не пойду. Убейте, не пойду! — закричалъ Макаръ.—Я моего барина на смерть класть? Да ни за что!... И онъ снова почти выбѣжалъ вонъ.

Едва только старикъ исчезъ, какъ явилась Терентьевна, спрашивая, гдѣ искать «упокойную одежду» барыни.

— Что?—не поняла Прасковья Андреевна.

— Вамъ должно быть извѣстно. Спрашивала Андрея Андреевича, но онъ не знаетъ и къ вамъ послать. Гдѣ же прикажете искать?

— Да что, Терентьевна? Какую одежду?

— А, стало быть, упокойную. У барыни, поди, гдѣ отложено, далече. Мнѣ не найти. Оно вотъ завсегда такъ. Одеженьку смертную всякій заложить завсегда невѣдомо куда, запрятеть подалѣ, а смерть-то за плечами.

Старая дѣвица, наконецъ, поняла и вспомнила, что мать иногда говорила о разныхъ предметахъ одѣянiя и прибавляла:

— Это жаль надѣвать. Долго ли износить. Я это отложу. Одѣнете, когда въ гробъ класть будете.

И дочь вспомнила, что въ особомъ маленькомъ сундучкѣ, стоявшемъ въ кладовой, былъ цѣлый полный туалетъ, отъ новыхъ чулокъ и башмаковъ до чепца и шейнаго платочка включительно, при чемъ коричневое шелковое платье, ни разу не надѣванное, было не простое, а дорогое «гродетуровое».

Это платье когда-то чрезвычайно прельстило Прасковью Андреевну, и затѣмъ она не разъ собиралась выпросить его себѣ у матери, чтобы надѣвать въ праздники.

Это же платье теперь заставило старую дѣвицу вспомнить о сундучкѣ, подняться и итти хлопотать.

— Хорошо. Знаю,—сказала она.—Я пойду, найду все въ кладовой и выдамъ. Возьми ключи, что у матушки на красномъ шнурѣ у постели всегда висятъ: всѣхъ—три, пришли мнѣ ихъ.

— Одѣвать придете, барышня?

— Нѣтъ, Терентьевна, не могу. Видитъ Богъ, не могу.

— Какъ же, барышня... Вѣдь одинъ-то глазокъ смотритъ, кто же закроетъ? Вамъ слѣдъ.

- Скажи батюшкѣ.
 — Андрей Андреевичъ въ церковь ушелъ.
 — Ну... ну... закрой... говорила Прасковья Андреевна тихо и какъ бы виновато.
 — Вамъ бы слѣдъ, а не чужому человѣку, — замѣтила Терентьевна, какъ бы въ нравоученіе барышнѣ.
 — Дѣлай, что говорятъ, — рѣзко отвѣтила эта. — Присылай, поди, ключи.

Черезъ четверть часа Прасковья Андреевна размыкала въ кладовой окованный сундучекъ и, отперевъ его, нашла полное одѣяніе, давно заготовленное матерью на случай смерти.

Гродетуровое платье съ фалболой изъ кружевъ снова смutilo Прасковью Андреевну, какъ было когда-то. Матерія плотная и блестящая съ темными цвѣтами въ родѣ піоновъ по свѣтло-коричневому фону была удивительно красива.

— Класть въ гробъ этакое, — подумалось старой дѣвицѣ. — Не все ли равно, въ чемъ лежать подъ землей?

Она задумалась, стоя надъ сундукомъ и какъ бы колеблясь. Ей очень хотѣлось взять себѣ это красивое платье, а между тѣмъ она боялась... Она боялась не совѣсти своей, которая скажетъ ей, что она „обворовала“ покойницу, родную мать. Она вспомнила, что есть худая примѣта взять и носить то, что человѣкъ при жизни опредѣлилъ себѣ взять съ собой на тотъ свѣтъ.

— Все суевѣріе, — вдругъ произнесла Прасковья Андреевна вслухъ, какъ бы разсердясь на себя самое.

И она рѣшила, что у матери въ шкафу, стоящемъ здѣсь же въ кладовой, есть почти новое и хорошее платье, тоже шелковое, только темное. А оно даже приличнѣе для гроба.

Кликнувъ горничную, Прасковья Андреевна передала ей всю одежду изъ сундучка, но тутъ было уже темное шелковое платье, а коричневое висѣло въ шкафу на его мѣстѣ.

Заперевъ кладовую и вернувшись въ свою комнату, старая дѣвица сѣла и стала прислушиваться къ шуму въ домѣ.

XXIV.

Въ столовой была сумятица, человѣкъ шесть дворовыхъ людей окружали Макара и Терентьевну, которые спорили. Старикъ строго приказывалъ старухѣ запереть дверь спальни покойницы и не пускать его барина, который собирается ити

къ невѣсткѣ, а чрезъ дверь объяснить барину, что Катерина Петровна не одѣта еще или отдыхаетъ. Старуха отмахивалась, ужасалась и не соглашалась, говоря:

— Что же я грѣшить буду? Про покойницу да сказывать, что отдыхаетъ или одѣвается!

— Да вѣдь убьешь его, коли вступишь, — усовѣщивалъ Макаръ. — На одну минуту... Я сейчасъ добѣгу за Андреемъ Андреевичемъ, коли барышня ничего не дѣлаетъ и въ сторону себя поставила.

На этотъ шумъ, услыхавъ его, явилась Прасковья Андреевна и слышала послѣднія слова старика.

— Ступай, болтунъ, скорѣе. Я задержу дѣдушку.

Макаръ почти рысью отправился въ церковь и, войдя въ нее, не нашель барина. Догадавшись, онъ прошелъ въ алтарь.

Здѣсь, въ уголку, близъ окна, стоялъ на колѣняхъ Андрей Андреевичъ и такъ забылся въ горячей молитвѣ, что не сразу пришелъ въ себя, окликнутый слугой, который повторялъ громко и рѣзко:

— Поскорѣе, баринъ, идите. Не доводите до бѣды. А не то второй покойникъ въ домѣ будетъ. Идите.

Андрей Андреевичъ поднялся и, не сказавъ ни слова, пошелъ въ домъ, медленно, согнувшись, опустивъ голову на грудь и глядя въ землю.

Казалось, что старикъ за эти дни и особенно за это утро постарѣлъ еще на десять лѣтъ. Неожиданная смерть жены глубоко поразила его. Онъ никогда не думалъ, что похоронить жену, а всегда предполагалъ, что здоровая на видъ, краснощекая и полная Катерина Петровна „сто лѣтъ проживетъ“. Онъ же самъ по всему плохъ и хилъ и „на ладанъ дышитъ“.

Теперь, идя въ домъ, онъ все-таки думалъ тревожно о старомъ отцѣ.

Вчера еще слѣдовало объяснить отцу одну бѣду, которая должна была бы поразить его въ самое сердце, а сегодня уже двѣ.

— Буди воля Божья! — вдругъ произнесъ шопотомъ старикъ и бодрѣе зашагалъ по двору.

Чрезъ минуту онъ былъ въ комнатѣ старца и сѣлъ противъ него на стулъ, собираясь говорить. Макаръ, вошедшій за нимъ, сталъ у порога.

— Веди ко мнѣ мою дѣвочку, коли она здорова,—встрѣтилъ его старецъ, произнося слова сердито твердо.—Полно вамъ баловаться и скоморошествовать.

— Какое тутъ, батюшка, скоморошество, Христось съ вами!—грустно отозвался Андрей Андреевичъ.

— Скоморохи, говорю... Ночью какой содомъ подняли. А почему? Что еще выдумали? Новыхъ гостей что ли, когда люди спать, принимали или провожали? Полуночники, мыши летучія!..

— Батюшка, мнѣ надо вамъ сказать такое... началъ и зашнулся Андрей Андреевичъ:—такое худое и горькое, что вы... Вы призовите Господа Бога въ помощь себѣ. Пусть укрѣпитъ Онъ вашу душу...

— Что, что, что!..—протянулъ старикъ сердито.

Андрей Андреевичъ повторилъ тѣ же слова и прибавилъ:

— Горе у насъ въ домѣ. Два горя, батюшка.

— Два горя? Какія?—спокойно спросилъ старецъ.

— Вамъ опасались сказать про первое горе, коему уже много дней минуло. А теперъ Господь послалъ и новое: взялъ къ себѣ мою Катерину.

— Взялъ? Катерину?—произнесъ старецъ, какъ бы не понявъ смысла словъ и глядя въ лицо сына пристально и пытливо; помолчавъ онъ прибавилъ:—Катерина упокоилась? Такъ ли?

— Такъ, батюшка, нынче среди ночи, вдругъ, и безъ исповѣди и причастія.

И Андрей Андреевичъ тихо заплакалъ.

Старецъ медленно перекрестился широкимъ крестомъ и упавшимъ голосомъ проговорилъ:

— Со святыми упокой, Господи.

И черезъ мгновеніе онъ прибавилъ тверже:

— Напрасно, негоже. Должна была обождать, меня прежде похоронить.

— Воля Божья...—сказалъ съ порога Макаръ.

— Вѣстимо, я не рошщу... а только... не порядокъ. Либо она раньше времени собралася, либо я все мѣшкаю, все собираюсь и чужой вѣкъ заживаю.

— И на это, баринъ дорогой, воля Божья, — сказалъ Макаръ и, обернувшись къ Андрею Андреевичу, боязливо прибавилъ:

— Другое-то... другое горе...

И старикъ слуга думалъ или молилъ:

— Пронеси, Господи, помилуй. Первое обошлось. Авось, и второе стерпеть.

— Какое другое? Еще что?—воскликнулъ Андрей Ивановичъ.—Еще можетъ кто? Что же это?

— Нѣтъ, батюшка, слава Богу, не померъ. Не померла, а совсѣмъ иначе...

— Кто?

Зайнъка наша.

— Моя дѣвочка! —закричалъ старецъ на всю комнату.— Что она?

— Она... она была... она теперь...

И Андрей Андреевичъ, не зная окончательно, какъ смягчить ударъ, не находилъ словъ.

— Зинаида Антоновна уѣхала,—вдругъ вымолвилъ слуга, выступая впередъ, къ самому креслу барина.

Старикъ заговорилъ отъ страха и шагнулъ впередъ къ барину тоже отъ страха. Такъ въ сраженяхъ кидаются впередъ отчаянные трусы.

— Куда уѣхала? Съ кѣмъ?—недоумѣвая спросилъ Андрей Ивановичъ.

— Уѣхала, да-съ,—твердо заговорилъ Макаръ.—Порѣшила барышня наша, не спросяся ни у кого, безъ родительскаго благословенья, замужъ выходить... За этого самаго князя, что у насъ гостилъ. Приходится вамъ, баринъ дорогой, хотите не хотите, согласье свое и благословенье давать, когда они соберутся... будутъ собираться вѣнчаться.

Но дальше Макаръ не могъ говорить и смолкъ.

— Будутъ... Когда будутъ еще?.. А теперь?..—тихо спросилъ старецъ.—Теперь-то что же?

И онъ глядѣлъ пристально въ лицо замолчавшаго вдругъ любимца-слуги, и глаза его тусклые и безцвѣтные загорались все сильнѣе, все ярче, будто вспыхивали. Померкнувъ на мгновенье, они снова сіяли пущимъ блескомъ.

— Путаєте. Не пойму... Не то... — произнесъ онъ будто робко.

И послѣ новой паузы и молчанія онъ обратился къ сыну и произнесъ чуть слышно:

— Андрюша, поясни...

И прежде, чѣмъ сынъ успѣлъ что-либо отвѣтить, старецъ вскрикнулъ съ отчаяньемъ въ голосъ:

— Андрей! Что же это?! Господи Владыко!!

Андрей Андреевичъ, глянувъ на отца, понялъ, что еще одно лишнее слово, которое уяснить все старцу окончательно, и случится несчастье. И онъ молчалъ, смущенный и оробѣвшій...

— Чего примолкли? Сказывайте!— крикнулъ старецъ, обводя грознымъ взглядомъ сына и слугу. При этомъ онъ положилъ руки на оба края своего большого кресла, какъ бы собираясь опереться и подняться на ноги.

— Батюшка, успокойтесь... Соберитесь съ силами, чтобы...

— Съ силами? Соберитесь? Силы собирать и успокаиваться? — глухо и грозно проговорилъ Андрей Ивановичъ. — Это по-твоему... Ты этакъ... срамникъ... Который день уже приключилось лиходѣйство... а ты сидишь, нюни распустивъ... Богу молишься? Срамникъ!..

И, принявъ руки съ кресла, старецъ закрылъ ими свое лицо, провелъ ими по глазамъ и вискамъ, а затѣмъ тихо выговорилъ, будто себѣ самому.

— Моя дѣвочка!.. моя дѣвочка!..

Въ комнатѣ водворилось молчаніе. Андрей Андреевичъ и Макаръ не только не знали, что сказать, но даже не понимали, что происходитъ на душѣ старца... Нѣчто иное, чѣмъ то, что они ожидали и чего опасались.

Андрей Ивановичъ закачалъ головой изъ стороны въ сторону и заговорилъ:

— Ну, сынъ у меня!... Или времена такія теперь... Чужой вѣкъ заживаешь, вотъ и гляди. Кабы во время преставился на тотъ свѣтъ, то не видалъ бы... какъ сынокъ, баба старая, срамится... Тебя, Андрей Андреевичъ Глѣбовъ, по щекамъ хлещутъ, твою внучку насилуютъ... а ты, дворянинъ, бѣжишь скорѣе объ этомъ Господу Богу въ молитвахъ доложить: такъ и такъ, моля, Царь Небесный... обидѣли меня, горемычнаго, мою внучку, сироту...

И старецъ вдругъ смолкъ, голосъ его оборвался, и черезъ мгновеніе онъ шепнулъ едва слышно:

— Моя дѣвочка... охъ, дѣвочка... моя!.. Охъ, что же это?..

И снова наступило такое глубокое молчанье въ комнатѣ, какъ если бы никого въ ней не было. Старецъ сидѣлъ на креслѣ сурово-грустный и глядѣлъ передъ собой въ окно, какъ бы обдумывая и соображая что-то крайне важное.

Андрей Андреевичъ поглядывалъ на отца виновато, а Макаръ стоялъ, разиня слегка ротъ, и смотрѣлъ на своего

дорогого барина такими глазами, гдѣ сказывалась не только простая радость, а восторгъ... даже горделивое восхищеніе.

Слуга восторженно гордился своимъ старцемъ-бариномъ.

Наконецъ, Андрей Ивановичъ выговорилъ сурово:

— Макарка, прикажи закладывать желтый рыдванъ...

Уложи мнѣ малость платя и бѣлья...

— Что вы, баринъ?—не понялъ слуга.

— Рыдванъ мой... шестерикомъ. Солдата и Воробья безпремѣнно въ дышло. Остальныхъ коней, какъ знаютъ.

— Баринъ, баринъ!.. Что вы?..

— Батюшка! Что вы? Развѣ вамъ можно куда ѣхать?—заговорилъ Андрей Андреевичъ.

— Долгъ мой святой... Въ храмъ, въ храмъ!

— Куда?

— Куда?! Ты еще спрашиваешь—куда? Въичать... силкомъ...

— Если вы съ жалобой собрались къ губернатору, то я, батюшка, уже началъ ему подробное писаніе, прося заступничества. И вамъ беспокоить себя...

— Ай, Создатель! Ай, люди Божьи, посудите...—ахнулъ старецъ. — Да что же это такое?!.. Свѣтопреставленье? — и Андрей Ивановичъ вдругъ прибавилъ спокойно и просто, какъ бы нѣчто дѣльное:

— Ну, а если выпоретъ тебя розгами какой сосѣдъ, кому ты, сынокъ, писать прошеніе будешь?.. Тоже губернатору?—и, не дожидаясь отвѣта, старецъ обернулся къ слугѣ и приказалъ:

— Живо! Рыдванъ. И прикажи тотчасъ и запрягать, и подавать. А мнѣ давай одѣваться.

— Баринъ! Родимый мой... началъ было слуга.

— Нишени, холопъ! — гнѣвно вымолвилъ Андрей Ивановичъ. — Долгъ мой. Я его женю.

— Батюшка, посудите... Гдѣ же въ ваши годы?... — заговорилъ было Андрей Андреевичъ, но старецъ крикнулъ:

— Молчать! Иди къ себѣ... за работу... чулки штопать... либо вареніе варить... съ дѣвками... А того лучше, иди въ церковь Богу на обиду плакаться. Коли ты — старая баба, то мнѣ надо ноги подымать. Мнѣ надо заступиться за мою...

Голосъ старца сразу оборвался, и онъ, уже плача безъ слезъ, произнесъ:

— Мою дѣвочку... Заичку!... Бѣдная моя дѣвочка!..

XXV.

Черезъ часъ на дворѣ у подъѣзда стоялъ запряженный тарантасъ тройкой лошадей, а старый баринъ, къ удивленію, но и къ общему восторгу всей дворни, собирался въ путь. Крѣпостные рабы радостно передавали другъ другу вѣсть, что старый баринъ ѣдетъ въ вотчину князя и возьмется за дѣло «по-свойски».

— Онъ ему покажетъ, какъ воровать дворянскихъ дѣвицъ,—говорила дворня.—Онъ этого Гиреева выучитъ. Внучку изъ потѣшницъ въ княгини обратитъ. Возьметъ да и повѣнчаетъ въ его же храмѣ.

Желтый рыдванъ, который потребовалъ старецъ, и въ которомъ онъ ѣздилъ въ губернской городъ лѣтъ двадцать назадъ, оказался на половину развалившимся, и отъ него былъ цѣль въ сараѣ только кузовъ, да и въ немъ куры выдумали яйца нести. Дышловые кони Солдатъ и Воробей, которыхъ старецъ приказывалъ заложить въ рыдванъ, тоже давно уже не существовали. Двадцатилѣтніе парни въ усадьбѣ даже не помнили таковыхъ. Узнавъ, что обѣ лошади давно пали, Андрей Ивановичъ выговорилъ сурово:

— Всякому свой вѣкъ. И скотинѣ свой вѣкъ. Не надо чужой заживать. Кромѣ горя и злосчастія, ничего не увидишь.

Когда старецъ, уже одѣтый по-дорожному, вышелъ въ столовую, то, увидя тѣло невѣстки, остановился и будто оторопѣлъ... Пораженный судьбой своей правнучки, онъ будто забылъ о смерти невѣстки — одно горе вытѣснило изъ головы и сердца другое. Большее вытѣснило меньшее.

Андрей Ивановичъ приблизился къ столу, на которомъ лежало тѣло, остановился и долго смотрѣлъ покойницѣ въ лицо. Затѣмъ онъ нагнулся, поклонился въ поясъ и тронулъ полъ перстомъ.

— Царство тебѣ небесное, Катерина. Но не порядокъ: должна была обождать и меня похоронить,—проговорилъ онъ тихимъ, спокойнымъ голосомъ. — Замѣшкался я, правда... Но все же слѣдъ было тебѣ меня обождать. Ну, что же? Ты не при чемъ тутъ. Воля Божія...

Затѣмъ, обойдя столъ, оглядѣвъ покойницу тщательно, со всѣхъ сторонъ, поправивъ ея сложенные руки, старецъ обернулся къ сыну, стоявшему поодаль, и прибавилъ:

— Смотри, меня обожди. Будетъ коли задержка какая, то все же обожди. Безъ меня хоронить не смѣй.

— Слушаюсь, — отозвался Андрей Андреевичъ и рѣшился снова сказать: — батюшка, гдѣ же вамъ такой дальній путь совершить? Оставьтесь... Похоронимъ Катерину, и я самъ поѣду къ этому злодѣю, если на то ваше желаніе...

— Дѣдушка, — заявила смѣлѣе появившаяся Прасковья Андреевна: — развѣ можно вамъ въ ваши годы этакую даль ѣхать? Да и не къ чему... Ничего сдѣлать нельзя.

Старець сурово глянулъ на внучку и вымолвилъ:

— Что нужно, то и сдѣлаю. Женю его. Слышала? Ну, вотъ... Да что съ тобой!.. Малая собачка до старости щенковъ. А старая дѣвка, чѣмъ старѣе, то глупѣе. Стародѣвичество завсегда у бабы разумъ ѣсть. Былъ всегда у тебя вѣтеръ — сквознякъ въ головѣ, а теперь и вовсе продуваетъ со всѣхъ сторонъ. Теперь учишь меня, а скоро и бить соберешься. Не пробуй, я не изъ таковыхъ. Учи отца вотъ, благо, онъ оладья.

Черезъ нѣсколько минутъ старый баринъ садился въ тарантасъ, провожаемый сыномъ и внучкой, а за ними цѣлой гурьбой дворовыхъ людей. Андрей Андреевичъ, опустивъ сѣдую голову на грудь, смотрѣлъ въ землю безпомощно и виновато. Онъ зналъ, что всѣ осуждаютъ его. Не столѣтнему старцу слѣдуетъ ѣхать «воевать», защищать честь и семью дворянъ Глѣбовыхъ, а ему... Прасковья Андреевна смотрѣла и сердито и какъ будто даже отчасти насмѣшливо. Поступокъ старца дѣда былъ для нея просто ребяческой затѣей выжившаго изъ ума человѣка.

«Коли приключится бѣда, никто не виноватъ. Самъ вздурился, понадѣясь на свои силы», — говорили лицо ея, глаза и усмѣшка.

Дворня съ радостнымъ умиленіемъ провожала своего стараго барина и будто не дивилась его поступку и не опасалась ничего.

Впрочемъ, старецъ, посаженный людьми въ тарантасъ, сѣлъ и бодрымъ взоромъ окинулъ всѣхъ, какъ если бы выѣздъ изъ дома былъ для него самымъ привычнымъ дѣломъ. А между тѣмъ, уже лѣтъ болѣе десяти онъ не садился въ экипажъ, за исключеніемъ таратайки, когда стправлялся съ правнучкой въ лѣсъ прогуляться, и при томъ не иначе, какъ шагомъ...

Оглянувшись теперь на всёхъ, Андрей Ивановичъ увидѣлъ своего Макара, который лѣзъ на узенькое мѣстечко, на козлахъ около кучера.

— Макарка! А свалишься?—выговорилъ онъ вдругъ.

— Что вы, баринъ?—отозвался слуга.

— Старъ, да и давно не ѣзжалъ этакъ. Тряхнетъ гдѣ, и турманомъ закружишься объ землю. Сидись со мной.

— Что вы, что вы? Какъ можно? Богъ же съ вами!— почти кричалъ Макарь, влѣзая на козлы и стараясь уместиться.

— Тебѣ говорятъ... приказываютъ! Тетеря! Всѣ вы отъ рукъ отбились. Слѣзай, садись сюда!

— Да на что же это будетъ похоже?—обернулся старикъ съ козелъ къ своему старцу-барину.—Побойтесь вы Бога. Людей постыдитесь. Холопъ съ бариномъ рядышкомъ ѣдутъ! Грудные младенцы съ деревни въ лѣсъ разбѣгутся съ перепугу.

— А убьешься ты до смерти, какъ я дорогу безъ тебя найду?—воскликнулъ Андрей Ивановичъ.—Шутишь ты... Эй, вы...—обернулся онъ къ дворнѣ:—тащи его, озорного, долой!... Тащи... пихай сюда, ко мнѣ!...

Макаръ, видя двухъ дворовыхъ, которые собирались исполнить приказаніе, слѣзъ съ козелъ и жалостливо обратился къ барину:

— Ну, дозвольте хоть въ ножки сѣсть. А рядышкомъ, умру, не сяду.

— Ну, ладно, упрямица, въ ножки садись.

И старикъ усѣлся въ ноги барина, поджавъ свои ноги подъ себя.

— Ну, съ Богомъ! Знайте: я его женю. Съ Богомъ, трогай!—выговорилъ Андрей Ивановичъ и перекрестился. Всѣ послѣдовали его примѣру.

Тарантасъ двинулся и скоро скрылся изъ глазъ стоявшихъ у подвѣзда. Дворня бодро, почти весело разошлась въ разные стороны. Глѣбовъ стоялъ неподвижно въ той же позѣ, опустивъ голову и глаза, какъ человѣкъ, виноватый во всемъ, что совершается. Ирасковья Андреевна поглядѣла на отца и выговорила холодно:

— Дѣдушка можетъ помретъ среди дороги. Онъ такъ это вдругъ вскипятился и собрался. А чрезъ часъ кипятковъ пройдетъ, и онъ ослабѣетъ и... и будетъ нехорошо...

Отецъ ничего не отвѣтилъ и не шелохнулся.

— Вамъ слѣдовало ѣхать вмѣсто дѣдушки.

— Зачѣмъ?—тихо произнесъ Андрей Андреевичъ.

— Зачѣмъ? Не знаю я... Зачѣмъ дѣдушка поѣхалъ?...

Зачѣмъ же... Взять эту дѣвчонку и привезти обратно... Жени- нить, понятно, нельзя.

— А что пользы? Герю не поможешь. Грѣха не загладишь. Да и не замолишь... не замолишь своего грѣха...

— Своего? Какъ же такъ? Какого своего? Зайка то-есть своего не замолить?

Глѣбовъ не отвѣтилъ, но воскликнулъ, какъ бы себѣ самому:

— Господи, Царь Небесный!... Если бы родитель тронулъ его сердце и усовѣстилъ сочетаться бракомъ... Вотъ Катерину Петровну онъ своимъ дѣломъ умертвилъ, хоть бы изъ-за этого. Можетъ быть, его возьметъ совѣсть и поправитъ все... Въ своемъ же храмѣ можетъ тотчасъ повѣнчаться.

Прасковья Андреевна усмѣхнулась и, двинувшись въ домъ, пророчала:

— Онъ не изъ таковскихъ. Да на этакихъ и не женятся...

Глѣбовъ остался одинъ на крыльцѣ, постоялъ нѣсколько мгновений, затѣмъ спустился по ступенямъ и медленно пошелъ въ церковь. Онъ прошелъ въ алтарь, опустился на колѣни на томъ же мѣстѣ, гдѣ становился всегда, и, крестясь, началъ класть поклоны...

Онъ прочелъ «Милосердія двери отверзи намъ», потомъ прочелъ «Вѣрую», потомъ проговорилъ сто разъ «Господи, помилуй», кладя земные поклоны чрезъ каждые десять разъ... И наконецъ онъ остановился, не зная и соображая, какую молитву начать...

Но вдругъ онъ поднялъ глаза, полные слезъ, губы его вздрогнули, все лицо дрогнуло, и, горько плача, онъ проговорилъ:

— Да что молитвы?.. И безъ молитвъ, Господи, все видишь, все знаешь... Прости меня грѣшнаго за погубленіе и внуки, и жены, и чужого человека... Не введи въ новый грѣхъ. Помилуй! Помилуй раба твоего Андрея. Неволень грѣхъ мой, Господи, неволень... По малоумію и малодушію...

Глѣбовъ опустился ничкомъ, припалъ лбомъ къ каменному полу и началъ горько всхлипывать.

Въ тѣ же минуты Прасковья Андреевна, стоявшая около стола, гдѣ лежало тѣло матери, сосредоточенно, хотя сурово, приглядывалась къ ужасно измѣнившемуся лицу покойницы.

Старая дѣвица съ большимъ усилиемъ переломила себя, поборола свой страхъ и боязнь мертвой матери. Теперь она смотрѣла на это «тѣло», неизмѣнное ничего общаго съ ея матерью, и разсуждала мысленно:

«Вонъ оно какъ? И всѣ этакъ... И я когда-нибудь этакая же буду лежать. И меня будутъ другіе болтаться. Зачѣмъ? Да. Такъ вотъ и ты теперь не бойся. Подойди и приложися... Терентьевна много разъ этакъ то»...

Однако она не двинулась и не приложилась къ тѣлу.

Въ то же время гарантасъ тихо двигался песками. Старецъ задремалъ и кивалъ, почти трясъ головой, повисшей на грудь, при малѣйшемъ толчкѣ экипажа. Макарь сидѣлъ съежившись въ его ногахъ и не спускалъ ни на мгновенье глазъ съ своего барина, какъ нянька съ новорожденнаго ребенка.

XXVI.

Въ усадьбѣ князя Гиреева было безмолвно и угрюмо такъ же, какъ бывало во дни хворости владѣльца, когда на него нападала его тоска.

— Неужто надоѣла барышня бѣдная?—говорили люди.

— Что-то скоро! Скорѣе, чѣмъ бывало прежде.

— Что же будетъ? Отправить ее домой къ старикамъ, какъ другихъ прежнихъ отправлялъ?

— Адама Адамовича пошлетъ съ барышней. А этакъ нельзя. Она не таковская.

— Адамъ Адамовичъ ни въ жисть не поѣдетъ. Онъ лучше бросить насъ и уѣдетъ, и съ княземъ знаться не будетъ. Адамъ Адамовичъ добръющій и честнѣющій. У него сердце изболѣлось на это глядѣть.

— А князь-то нашъ? Злѣющій человекъ что ли?

— Да вотъ, поди, разсуди этакое...

— Охъ, Господи, Господи!—прибавляли всѣ хоромъ.

Эти бесѣды дворовыхъ людей Гиреева повторялись ежедневно. Никто не могъ примириться съ мыслью, что «махонькая барышня», дворянка изъ сосѣдней вотчины, давшая себя «выкрасть» и увезти «по ребячеству», будетъ снова отправлена домой къ Глѣбовымъ «за ненадобностью».

— Черезъ край хватилъ нашъ Самсонъ Иванычъ,—повторялось все чаще въ домѣ.—Слѣдъ бы теперь-то подѣ вѣнецъ.

— И почему бы въ самъ-дѣлѣ князю не жениться на Зинаидѣ Антоновнѣ?—спрашивали многіе все чаще.—Была бы у насъ княгиня въ усадьбѣ, и добрая была бы барыня.

— Добрая? Непшто она можетъ быть злая? Сущій младенецъ.

Дѣло дошло до дого, что нѣкоторые обращались къ Ваасту съ просьбой посовѣтовать князю жениться на «махонькой барышнѣ», а то положеніе ея въ домѣ «жалости подобно».

Ваастъ отвѣчалъ на эти просьбы кратко и угрюмо:

— Дураки вы! Больше ничего.

Отвѣта этого инвалидъ никому не объяснялъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ самъ начиналъ теряться въ догадкахъ. Онъ не понималъ, почему князь ходитъ темнѣе ночи. Онъ не допускалъ мысли, что молодая дѣвушка уже наскучила князю, и искалъ другое объясненіе, и не находилъ.

Дѣйствительно, князь былъ угрюмъ, порою тоскливъ не потому, что Зайка ему надоѣла. Онъ былъ попрежнему влюбленъ въ нее, даже порою чувствовалъ, что любить это юное существо, дѣвучку-ребенка, болѣе, чѣмъ когда-либо кого любилъ.

Но судьба смѣялась надъ нимъ.

Именно эта дѣвушка, которая внушила ему болѣе глубокое чувство, сама, съ своей стороны, ничего не имѣла къ нему, а только покорялась... Покорялась и горевала, плакала, просилась домой.

И въ душѣ Гиреева была полная разладица. Онъ самъ себя не понималъ. Казалось, что онъ любитъ эту Зайку именно потому, что она его не любитъ, не можетъ любить... И не можетъ «по ребячеству своему», какъ объяснила ему жена инвалида.

— Подрастеть—полюбить,—рѣшила госпожа Ваастъ отчасти вѣрно. — А теперъ гдѣ же ей, бѣдной? Не до того. Она что тебѣ младенецъ. Ее надо веселить.

И князь поручилъ «Ваастихѣ» заняться Зайкой и стараться всячески ее развлекать, чтобы она не тосковала.

Женщина, хотя была не особенно умна, взялась за дѣло искусно, выдумывая для молоденькой дѣвочки всевозможныя развлечения.

И Зайка немного ожила, смотрѣла добрѣе, веселѣе, чаще смѣялась... И только къ вечеру становилась она серьезнѣе, сосредоточеннѣе и будто озабочена...

Госпожа Ваастъ посовѣтовала князю устроить дѣвушку въ отдельной комнатѣ и дозволить имъ спать вмѣстѣ.

Князь согласился нехотя, въ видѣ пробы.

И Зайка ожила. Дня черезъ два пребыванія вмѣстѣ съ «Ваастихой» отъ зари до зари дѣвушки узнать было нельзя. Она прыгала и заливалась звонкимъ смѣхомъ, радостная, счастливая, безопасно оживленная, какъ еще недавно въ Пустомъ Валѣ.

Но если Зайка стала радостнѣе, то князь сталъ угрюмѣе. Жизнь его, которая издавна протекала такъ ровно и безмятежно, теперь будто не налаживалась...

Однажды уже въ сумерки на дворъ усадьбы въѣхалъ тарантасъ тройкой и подкатилъ къ подъѣзду.

Нѣсколько человекъ дворовыхъ вышли навстрѣчу къ пріѣзжимъ, а одинъ побѣжалъ доложить князю.

Изъ тарантаса при помощи своего слуги и двухъ людей, выбѣжавшихъ на встрѣчу, вылѣзъ тихо и осторожно такой старый баринъ, какихъ въ усадьбѣ еще никогда не видали.

Добѣжавшій къ князю слуга доложилъ:

— Гости.

— Кто?—спросилъ князь угрюмо.

— Не могу знать-съ. Незнаемый баринъ.

Князь не въ духѣ отъ неожиданнаго посѣщенія вышелъ и двинулся черезъ парадныя комнаты.

Выйдя въ столовую, онъ увидѣлъ передъ собой незнакомаго старика, чрезвычайно стараго, съ умнымъ и крайне суровымъ лицомъ.

— Ты—князь? Здѣшній хозяинъ?—спросилъ гость.

— Я. Что вамъ угодно?.. И кто вы сами? Я не имѣю чести васъ знать.

— Я кто? Я старикъ... девяностолѣтній. Десять лѣтъ, а то и болѣе изъ вотчины своей не выѣзжалъ и гнѣзда своего по дряхлости не покидалъ. А теперь вотъ выѣхалъ. Къ тебѣ, господинъ князь, по дѣлу, и по дѣлу кровному.

— Что вамъ угодно?—нетерпѣливо спросилъ князь.

— Говорятъ тебѣ, по дѣлу... вопіющему.

— Какъ васъ звать наконецъ?.. Это прежде всего...

— Такъ! Такъ! Прежде всего... перебилъ старецъ:—звать меня... Да какъ меня назвать? Надо назвать старымъ старикомъ, съ одной ногой въ гробу, котораго молокосъ и сорвиголова осмѣялъ, осрамилъ, запятналъ, обезчестилъ. И вотъ я

пріѣхалъ узнать доподлинно... Что ты есть, князь Гиреевъ, безпечный, но честной человекъ, христіанинъ и дворянинъ, или... или ты, князь Гиреевъ, изъ татарскихъ мурзъ, мухоѣдово отродье и совсѣмъ подлая, безчувственная тварь?... Вотъ сейчасъ узнаемъ. Веди меня къ моей правнучкѣ.

Князь, за мгновенье вдругъ догадавшійся, будто почувшій, кто его неожиданный гость, измѣнился въ лицѣ, слегка вспыхнулъ и стоялъ, опустивъ невольно глаза подъ гнѣвнымъ взглядомъ старца.

— Слышалъ, сіятельный хозяинъ? Веди меня къ моей правнучкѣ...

— Пожалуйте, — глухо произнесъ князь и двинулся, указывая на дверь, изъ которой пришелъ, и какъ бы прося старца итти впередъ.

Пройдя за старцемъ двѣ гостиныхъ, князь прошелъ впередъ и отворилъ дверь предъ нимъ. Едва Андрей Ивановичъ переступилъ порогъ комнаты, какъ раздался страшный и страстный крикъ.

Въ одно мгновенье Зайка, вскочивъ съ мѣста, повисла на шеѣ старца... Онъ запнулся... Князь бросился, подхватилъ его, почти падающаго и, поддерживая изъ всѣхъ своихъ силъ, довелъ до кресла.

— Прадѣдушка! — вскрикнула Зайка. — Прадѣдушка, пра-дѣдушка!... — начала она повторять безъ конца.

И, усѣвшись на колѣняхъ старца, дѣвушка, взволнованная, трепетная, будто перепуганная, обвила старца руками вокругъ шеи, крѣпко прижалась къ нему и тихо, все тише шептала:

— Прадѣдушка! Прадѣдушка!..

Старецъ чуть слышно всхлипывалъ... Но только глаза его стали влажны. Слезы не текли по лицу.

— Дѣвочка моя, — произнесъ онъ наконецъ сдавленнымъ голосомъ: — дѣвочка... бѣдная... Не доглядѣли... не сохранили...

Наступило молчанье. Зайка, обнимая одной рукой старца, другой гладила его по сѣдой, гладко остриженной головѣ и что-то шептала, едва шевеля губами. Казалось, она повторяетъ все то же слово: прадѣдушка.

Старецъ медленно цѣловалъ ее въ голову, потомъ поймалъ ее за руку и сталъ цѣловать ее отъ кисти до локтя, чмокая ея рукавъ.

Князь стоялъ около кресла, опустивъ голову, но тяжело переводя дыханіе. Судорога схватила его за горло и душила.

— Ну... ну, князь, — вымолвилъ Андрей Ивановичъ: — я прѣхалъ тебя женить. Слышишь?

Князь не двинулся и молчалъ.

— Слышишь? Когда же? Какъ? Гдѣ? Полагаю, что можно безъ всякихъ бабьихъ сборовъ. У тебя здѣсь храмъ есть. Вотъ и пойдемъ сейчасъ.

Князь стоялъ истуканомъ и даже не поднялъ глазъ.

— Слышишь ты, идоля, убивица! — хрипиво вскрикнулъ старецъ. — Женить тебя на ней я прѣхалъ!

— Прадѣдушка! Я не хочу. Не надо, — вскрикнула Зайка. — Я домой хочу. Возьми меня съ собой домой...

— Молчи, молчи, глупая дѣвочка, — мягче произнесъ Андрей Ивановичъ и, спустивъ съ колѣнъ дѣвушку, отстранилъ ее отъ себя и вдругъ, какъ-то выпрямившись, чистымъ, свѣжимъ и грознымъ голосомъ выговорилъ:

— Будь я моложе, убилъ бы тебя... А теперь... теперь... что я могу? Холопа что ли подослать зарѣзать? Не по-дворянски. Что же? Какъ же? Говори же, отвѣтствуй... Каменный ты что ли? Дѣло, къ Престолу Божьему вопіющее.

Князь двинулся и вдругъ опустился на колѣни предъ старцемъ.

— Андрей Ивановичъ, Богомъ божусь... Она станетъ моею законной женой... когда можно будетъ. Теперь нельзя.

Что-о? — протянулъ старецъ.

— Скажу... вамъ скажу... теперь. Никто не знаетъ, никто никогда не зналъ и не знаетъ... Я женатъ. Да, женатъ, женатъ...

— Женатъ?

— Да, давно. Лѣтъ уже пятнадцать.

— Лжешь, отчаянный.

— Господомъ Богомъ клянусь! — вскрикнулъ князь, и въ голосъ его было столько отчаянія и столько искренности, что Андрей Ивановичъ, пригнувшійся и глядѣвшій ему въ лицо, будто застылъ.

— Пускай она будетъ здѣсь... А когда можно будетъ... Если я овдовѣю... забормоталъ князь, закрывая лицо руками... Я люблю ее... люблю...

Старецъ сидѣлъ не шелохнувшись... Затѣмъ онъ зашевелилъ губами, но не произнесъ ни слова. Онъ поднялъ руку,

провелъ ею по лбу и по глазамъ. И тотчасъ же рука будто сама собой упала на колѣни.

Онъ откачнулся назадъ, прислонился къ спинкѣ кресла и, закрывъ глаза, глубоко вздохнулъ...

Въ комнатѣ наступило гробовое молчаніе.

Князь, стоя на колѣняхъ передъ старцемъ, схватилъ его за руку и взволнованно, почти со слезами въ голосъ, воскликнулъ:

— Даю вамъ честное слово. Божусь именемъ Господа, что въ тотъ часъ, когда я овдовѣю, я женюсь на ней... А теперь согласитесь, чтобъ она оставалась здѣсь со мной. Простите меня и согласитесь, Андрей Ивановичъ...

Но старецъ, откинувшись на спинку кресла, молчалъ, не открывая глазъ, и не двигался.

Прошло нѣсколько мгновений.

— Прадѣдушка заснулъ, — вымолвила Зайка. — Да... да... я знаю. Часто такъ, часто...

Зайка была права. Ея прадѣдушка заснулъ, но на этотъ разъ—навсегда.

XXVII.

Гиреевъ, убѣдившись, что старецъ мертвъ, совершенно потерялся и не зналъ, что дѣлать. Съ приѣзда Глѣбова до мгновенія кончины прошло нѣсколько минутъ. Прямого повода къ такой внезапной смерти, казалось, не было. Бурный подъемъ силъ и нравственный порывъ, юная душа въ драхломъ тѣлѣ—были причиной.

Очнувшись какъ бы отъ столбняка, въ виду невѣроятнаго приключенія, еще болѣе усложнявшаго положеніе, князь распорядился, чтобы немедленно запрягли его большой рыдванъ и тотчасъ везли покойника домой.

Черезъ полчаса карета была уже у подъѣзда. Люди собирались нести въ нее тѣло. Но въ эту минуту появился чесменскій инвалидъ и, остановясь въ дверяхъ, громко произнесъ:

— Перестань, ваше сіятельство, себя срамить и грѣшить, и... надъ живыми, да и надъ мертвыми надругиваться. Довольно живыхъ тебѣ, хоть надъ покойникомъ-то смилуйся.

Князь, не понимая, чего хочетъ Ваастъ, глядѣлъ на него и молчалъ. Люди, обернувшіеся на голосъ инвалида, тоже удивленно и молча смотрѣли на него.

— Правду сказываетъ Адамъ Адамовичъ,—раздался тихій голосъ Ферапонта.

— Что? Что сказываетъ?—растерянно спросилъ князь, обращиваясь къ слугѣ.

— Пушай самъ говорить. Говорите, Адамъ Адамовичъ. Правда оно. Я смекнулъ потому собственно, что и самъ такое думаю. Грѣшно этакъ...

— Да, грѣхъ и надругательство! — строго заговорилъ Ваастъ.—Коли приключилось этакое, что гость въ домѣ умеръ, то его нельзя, какъ убоину или падаль какую, прости Господи, таскать изъ мѣста въ мѣсто, хотя бы и въ рыдванѣ. Мертвыхъ этакъ только въ чуму на подводахъ возять.

— Такъ что же дѣлать?—воскликнулъ князь.

— Что подобаеъ для покойника. Все, что по христіанскому обыкновенію слѣдуетъ. Только отпѣвать и хоронить предоставимъ родственникамъ. А проводить отсюда до Пустого Вала наше дѣло... Да и вамъ самимъ слѣдуетъ.

— Дѣлай... Дѣлайте... Что хотите дѣлайте. У меня умъ за разумъ заходитъ,—тихо отозвался Гиреевъ, закрывая лицо руками.—Дѣлайте все, какъ слѣдуетъ...

Князь вышелъ и прошелъ прямо въ комнату, гдѣ была Зайка.

Дѣвушка сидѣла въ уголку, какъ-то съживившись, точно отъ холода, понурившись и согнувшись, даже подобравъ подъ стулъ свои маленькія ножки. Она была мертво-блѣдна, полудѣтское хорошенькое личико было искажено испугомъ.

Князь молча сѣлъ около, не зная, что сказать. И онъ снова закрылъ лицо руками, оперся локтями въ колѣна и опустилъ на руки голову.

— Прадѣдушка померъ?—робко спросила дѣвушка.

— Да, да...—отвѣтилъ князь, не мѣняя положенія.

— Не знаю я... Не пойму. Очень страшно... Онъ говорить не будетъ...

Князь не отвѣтилъ.

— Скажите, прадѣдушка говорить не будетъ. Ходить не будетъ... Никогда?..

— Нѣтъ,—рѣзко отозвался князь.

— Онъ покойникъ?.. Его въ землю заркоютъ... Говорите, родимый: вѣдь заркоютъ?

— Да, да... Похоронять...

— Я боюсь... Какъ же это... Я не знаю... Я боюсь...

И Зайка начала тихо плакать, а затѣмъ выговорила:

— Отпустите меня...

— О Господи!—воскликнулъ князь нетерпѣливо и, вскочивъ съ мѣста, началъ двигаться по комнатѣ изъ угла въ уголь.

— Отпустите, — громче и тверже произнесла Зайка. — Я хочу домой. Отпустите.

— Хорошо. Отпущу... — выговорилъ онъ раздражительно.

— Когда?—воскликнула дѣвушка, вскакивая и сразу переставъ плакать.—Когда? Когда? Сейчасъ?

— Конечно, не сейчасъ,—рѣзко вымолвилъ Гиреевъ будто не ей, а себѣ самому.—Сиди смирно,—прибавилъ онъ нѣсколько мягче.—Когда все будетъ готово, тебѣ скажутъ, посадятъ въ карету... Поѣдешь за гробомъ своего прадѣдушки.

— За гробомъ?.. Нѣтъ, нѣтъ, не хочу. Нѣтъ, я не поѣду,—дрожащимъ голосомъ отзывалась Зайка.

— Ну, хорошо... хорошо... Одна, одна поѣдешь,—сказалъ князь и воскликнулъ:—Господи, какая пытка!

Между тѣмъ старикъ Макаръ, узнавшій сразу о смерти своего барина, упалъ въ обморокъ и долго пролежалъ безъ чувствъ, а придя въ себя, былъ настолько слабъ, что едва двигался.

Ваастъ и Фералонтъ распоряжались и хлопотали надъ покойникомъ, окруженные старшими людьми, которыхъ добровольно явилось помогать болѣе дюжины.

Всѣ они были, будто взявъ примѣръ съ Вааста, какъ-то торжественно медленны въ движеніяхъ, не произносили ни единого лишняго слова, не только не швырялись и не болтали.

На всѣхъ равно подѣйствовалъ невѣроятный случай... Всѣ ровно смущенно и почти виновато взирали на мертвое тѣло, раздѣвая, обмывая и снова одѣвая его въ новое бѣлье, принесенное изъ кладовой.

— Княжее оно. Долго жить князю, по примѣтѣ,—сказалъ одинъ дворовый помоложе, но никто не отвѣтилъ, а Фералонтъ строго глянулъ на него.

Черезъ часъ тѣло старца было уже въ большой залъ въ переднемъ углу, на столѣ, покрытомъ простыней.

Залъ наполнился дворовыми... Явился священникъ съ причтомъ. Поставили и зажгли церковныя паникадила.

— Доложите князю, что все готово,—приказалъ Ваастъ.—Пускай пожалуетъ...

Среди глубочайшаго молчанія прошло съ четверть часа.

Князь наконецъ появился и сталъ на порогѣ дверей гостиной, опустивъ голову и не глядя.

Началась панихида...

Нежданный прїездъ и тотчасъ же послѣдовавшая за нимъ смерть прадѣда барышни, которую такъ жалѣли всѣ обыватели, видимо страшно подѣйствовала на всѣхъ. За панихидой у многихъ были слезы на глазахъ, хотя покойникъ былъ всѣмъ совершенно чуждъ.

Рѣшено было тотчасъ извѣстить гонцемъ Глѣбовыхъ. А съ тѣломъ двинуться на другой день съ зарей.

Вечеру къ князю безъ доклада явился инвалидъ.

— Я къ тебѣ, князь Самсонъ Ивановичъ. Пришелъ отблагодарствовать за хлѣбъ—за соль, за покровительство и дружество,—выговорилъ онъ, войдя и не садясь.

Голосъ инвалида былъ сиповатъ и неровенъ, будто слегка дрожалъ.

— Что ты? Не пойму,—сказалъ князь, удивленно глянувъ на друга-приживальщика. И не слова, а голосъ и лицо его удивили князя. Онъ что-то почувалъ и сразу встревожился.

— Отблагодарствовать пришелъ за все, за многое. Все же болѣе десяти годовъ ты меня кормилъ, поилъ, одѣвалъ и... и ласкалъ.

И голосъ Вааста сорвался, совсѣмъ осипъ.

— Говори толкомъ, — смущенно вымолвилъ князь, уже понявъ все, но будто не желая сознаться.

— Прости. Счастливо оставаться. Дай тебѣ Богъ всего хорошаго.

— Ты собрался? Уѣзжаешь?

— Да, стало быть, надо. Что же!..

— Куда?

— Пока не знаю. Что же? Свѣтъ не безъ добрыхъ людей. А то домой. Подправлю свою хибарку и заживу, какъ Богъ пошлетъ.

— Почему? Зачѣмъ? Что ты?

— Такъ надо.

— Что я тебя сдѣлалъ? Какое тебѣ дѣло? Не твое это дѣло,—мое. Я грѣшенъ, я срамлюсь. Я противъ Бога и людей иду. Ну... ну, и оставь меня. Я въ отвѣтъ. А зачѣмъ же тебѣ уходить? Живи тутъ. Твое дѣло сторона.

— Нѣтъ, не сторона. Люблю я васъ и почитаю...—громче и сильнѣе произнесъ инвалидъ.—А потому глаза мои не хо-

тять глядѣть омерзительное... И пуще всего хлѣба вашего не хочу я ѣсть. Горекъ онъ сталь, въ горлѣ не проходитъ. Да, Самсонъ Ивановичъ, не лгу я. Вотъ Богъ свидѣтель.

— Это блажь, комедіанство!—вскрикнулъ князь.

— Никогда я, за всю жизнь, не блажилъ!—горделиво выпрямляясь, выговорилъ Ваастъ съ достоинствомъ.—Ты, потерявъ, стадо, всѣ чувства, потерялъ и разумѣніе. Человѣкъ, васъ любящій, почитавшій, бѣжить отъ вашего преступленія неслыханнаго, грѣховнаго и жестокосерднаго, бѣжить отъ злодѣя, погубившаго и убившаго сколько неповинныхъ... А ты это блажью именуешь.

— Поясни тогда, что тебя подняло? Скажи толкомъ.

— Не хочу я изъ твоихъ рукъ хлѣба брать. Псамъ отнынѣ годенъ, а не честному человѣку, дворянину и воину. Вотъ и весь мой сказъ.

— Ну, ладно. Ты правъ, правду сказываешь. А я виновать!—вскрикнулъ князь.—Ну, скажи, что мнѣ дѣлать, прикажи... Все, что прикажешь, я исполню. Все... слышишь?

— Вотъ какъ. Все?

— Все. Что ни скажи, я сдѣлаю. Говори. Теперь увозомъ этой мнѣ милой дѣвушки я погубилъ... ну, прямо скажемъ, убилъ, умертвилъ и ея бабку, и ея прадѣда. Что теперь дѣлать? Какъ горю пособить? Приказывай.

— Горю пособить?—выговорилъ Ваастъ нерѣшительно.—Вѣстимо, ни Катерины Петровны, ни этого столѣтняго старца снова къ жизни воскресить нельзя, что ни дѣлай.

— Такъ что же? Что же мнѣ дѣлать?

— Все-таки... хоть и не воскресишь, а все-таки ради успокоенія своей совѣсти, ради прекращенія соблазна и утѣшенія своихъ крѣпостныхъ душъ, кои васъ любятъ и почитаютъ, за васъ стыдъ на себя принимаютъ... все-таки...

— Что? Говори. Что—все-таки?

— Бракомъ сочетаться съ опозоренной дворянской дѣвицей.

— А если я не могу... не могу вступить въ бракъ?...

— Почему же, прихотничество?

— Если я женатъ...

Ваастъ вытаращилъ глаза. Наступило молчаніе.

— Что скажешь на это?—спросилъ князь тоскливо.

— Путаєте, привередничаете. Что такое? Не пойму я. Поясните.

— То-то, Адамъ Адамовичъ. Осуждать легко, не зная дѣла. Я люблю Зайку, какъ ее прозвали. Люблю, и готовъ бы сейчасъ жениться, да я женатъ, Адамъ Адамовичъ, вотъ ужъ лѣтъ пятнадцать. Но я ради срама, ради себялюбія, никогда никому объ этомъ не обмолвился.

— Что вы? Богъ съ вами! — вымолвилъ пораженный Ваастъ, почти бессмысленно глядя на Гиреева. — Не вѣрю я. Ну, вотъ, не вѣрю.

— Такъ слушай же. Вотъ тебѣ все происшествіе, какъ оно было, на мою бѣду, когда я былъ молодъ и глупъ. Слушай, садись... Все выслушай и посуди.

И князь въ подробностяхъ разсказалъ Ваасту, какъ онъ двадцати съ тѣмъ-то лѣтъ проѣздомъ въ Варшавѣ увлекся еврейкой, окрестилъ ее и женился... Она была «комедіантка» изъ тѣхъ, что въ театрѣ представляютъ... Черезъ годъ она сама ушла и бросила князя... Ушла тоже съ комедіантомъ и тоже евреемъ... Съ тѣхъ поръ князь никогда ее не видалъ и не зналъ, гдѣ она и что она. Онъ думалъ, что, можетъ быть, онъ уже свободенъ, и она на томъ свѣтѣ. Но съ годъ назадъ она появилась, написала ему, прося прощенія и желая примиренія. Разумѣется, онъ отвѣчалъ отказомъ. Она снова написала ему, прося, по крайней мѣрѣ, давать ей средства къ существованію, чтобы она бродяжничествомъ и нищетой не позорила имени, которое по закону носить. Стыдно будетъ ему, если «княгиня Гиреева» вдругъ очутится въ острогѣ. И князь обѣщалъ посылать ей и посылаетъ тысячу рублей на прожительство, съ условіемъ, чтобы она не пріѣжала въ Россію и въ особенности не вздумала бы явиться въ его края.

— Ну, вотъ... вотъ и разсуди,—грустно произнесъ князь. —Что же я могу? За ошибку въ молодые годы я вотъ теперь наказаніе и несу. Я женатый, я соломенный вдовецъ. И жениться не могу, пока она жива. Одна моя надежда, что она женщина хворающая, пишетъ, что злая у нея чахотка. И она можетъ умереть раньше меня. Но когда, когда?

Наступило снова молчаніе.

— Ну, что скажешь, Адамъ Адамовичъ? — тихо и съ тоской въ голосъ спросилъ князь.

— Что же сказать? — вздохнулъ Ваастъ и поднялся съ мѣста. — Нечего сказать, совсѣмъ нечего. Простите, что осудилъ васъ за нежеланіе вѣнчаться съ Зинаидой Антоновой.

— То-то вотъ...

— Да, но зачѣмъ же вы увозили дѣвицу изъ благородной семьи, зная, что вы бракомъ сочетаться не можете съ ней?

— Эта правда, Адамъ Адамовичъ. Но что же дѣлать? Неволенъ я въ себѣ. Въ одно утро, тогда, въ Пустомъ Валѣ, порѣшилъ: не трогать, не увозить... и увезъ. Но пожалѣй ты меня. Не уѣзжай, не бросай. Я одинъ, ты видишь. Мнѣ не съ кѣмъ слова, бываетъ, сказать. Ты одинъ, единый человѣкъ, съ которымъ я душу отвожу. Я тебя люблю и уважаю за твое прямое сердце, за благородную душу, за правдивую и прямую рѣчь, въ какомъ бы ни было дѣлѣ. Я безъ тебя пропалъ, Адамъ Адамовичъ. Ради Господа, не бросай меня, не уѣзжай... особливо теперь...

Ваастъ стоялъ, опустивъ голову на грудь. Въ голосѣ князя было столько чувства, что инвалидъ былъ тронутъ и не зналъ, что сказать.

— Не знаю, — объяснилъ онъ такъ, какъ чувствовалъ: — не знаю...

— Ну, обожди, не сгѣши. Хоть теперь-то не уѣзжай. Вотъ увидимъ, какъ все это распутается. Я хочу удержатъ Зайку у себя, удержатъ хоть навсегда, прямо говорю — навсегда. А она не хочетъ, просится домой, плачетъ и просится. Ты и твоя жена мнѣ поможете въ этомъ. Я, кромѣ того, прошу тебя, сейчасъ же собери всѣхъ моихъ людей и скажи имъ, расскажи все... все, что сейчасъ узналъ... отъ моего имени. Я самъ не могу...

— Слушаю-съ... Это надо... А то они очень за васъ стыдятся...

XXVIII.

Наступили третьи сутки по смерти Катерины Петровны. Слѣдовало хоронить, по обычаю, покойницу, а между тѣмъ Андрей Андреевичъ не зналъ, что дѣлать, и боялся послушаться отца. Старецъ, уѣзжая и строго запретивъ хоронить прежде его возвращенія, теперь самъ запаздывалъ.

Прасковья Андреевна объясняла отцу, что нельзя знать, какія затрудненія могъ встрѣтить дѣдъ, и что онъ можетъ запоздать на цѣлую недѣлю.

— Нельзя же намъ матушку держать недѣлю въ домѣ, — говорила она. — Не хорошо.

— Не грѣхъ. Что же?—отзывался Андрей Андреевичъ въ нерѣшительности.

— Не грѣхъ? Не въ грѣхѣ дѣло. А нехорошо, не годится,—объясняла дочь.

— Отчего?

— Какъ отчего? Что вы, батюшка, какъ малый ребенокъ, разсуждаете! Поглядите, на что матушка уже теперь похожа. Что же это будетъ, если мы еще дня хоть три обождемъ?

Дѣйствительно, тучная при жизни женщина теперь на третьи сутки представляла изъ себя покойницу страшную.

— Я не знаю, какъ быть, — заявлялъ Андрей Андреевичъ, — а послушаться родителя въ такомъ дѣлѣ я не могу. Хоронять человекъ единожды. Придетъ родитель и узнаетъ, что мы Катерину мою поспѣшили похоронить безъ него, онъ разгнѣвается страшно. Подождемъ хоть еще день или два.

Прошли сутки, и во дворъ Пустого Вала въѣхалъ конный гонецъ отъ князя Гиреева къ господину Глѣбову.

Андрей Андреевичъ, изумляясь и недоумѣвая, приказалъ позвать гонца. Старая дѣвица взволновалась при извѣстии и, не выдержавъ отъ нетерпѣнья, пошла къ отцу, чтобы услышать собственными ушами невѣроятное извѣстіе.

Прасковья Андреевна сразу догадалась, въ чемъ дѣло, если дѣдъ не вернулся, а князь присылаетъ отъ себя посланца съ порученіемъ. Старецъ дѣдъ, очевидно, поставилъ на своемъ и, прежде чѣмъ вернуться хоронить невѣстку, пожелалъ сочетать бракомъ похитителя съ своей правнучкой. И посланецъ, очевидно, долженъ звать отца и ее на бракосочетаніе.

— Какъ же такъ? Дѣдушка изъ ума выжилъ, — рѣшила старая дѣвица.—Прежде похоронить надо, а тамъ уже думать о томъ, чтобы срамъ заглаживать.

Едва Прасковья Андреевна вошла въ комнату, какъ вслѣдъ за ней явился и посланецъ князя, молодой конторщикъ. Онъ низко поклонился и заговорилъ, очевидно, приказанное и заученное.

— Вашему благородію поклонъ привезъ отъ князя Самсона Ивановича и извѣщеніе, кое вамъ Господь пошли христіански стерпѣть, такъ какъ на то воля Божія... Всякое горе и радость — все отъ Господа. Я привезъ горестное вамъ извѣстіе... Пожаловалъ къ намъ Андрей Ивановичъ и смертельно захворалъ и посему находился, когда я поѣхалъ, при своемъ послѣднемъ издыханіи, а теперь... надо полагать... невѣдомо что уже...

Посланный смолкъ, точно и буквально исполнивъ порученіе «бережно извѣстить» господъ Глѣбовыхъ и не сразу объявить о смерти старца.

Андрей Андреевичъ будто сразу все понялъ или прочелъ на лицѣ конторщика, что онъ смягчаетъ горькую правду.

— Говори... Когда выѣхалъ ты, то родитель ужъ скончался? Говори прямо, — тихо произнесъ Андрей Андреевичъ.

Конторщикъ развелъ руками и выговорилъ:

— Надо полагать, теперь... вѣстимо...

— Полно ты! — рѣзко вскрикнула Прасковья Андреевна. — Говори! Скончался дѣдушка?

— Такъ точно-съ, — нервнито отвѣтилъ конторщикъ.

Андрей Андреевичъ перекрестился и, сидя въ своемъ креслѣ, сгорбился, какъ отъ полученнаго удара.

— Какъ же теперь... — спросила старая дѣвица: — вашъ князь какъ собирается распорядиться?

— Гробъ въ городъ послали купить. А куда на столбъ и службы упокойныя. И все какъ слѣдуетъ. За ночь гробъ доставятъ и на зарѣ сюда повезутъ тѣло для отпѣванія. Все честнѣющимъ порядкомъ... До полъ-дороги самъ князь проводить и наши всѣ, всѣмъ дворамъ указано. А барышня ваша досюдова поѣдетъ...

— Сюда? Совсѣмъ? — почти вскрикнула Прасковья Андреевна.

— Этого знать не могу-съ.

Наступило молчаніе. Посланный очевидно ждалъ, чтобы ему разрѣшили выйти. Старая дѣвица хотѣла задать ему нѣсколько вопросовъ о племянницѣ, но не знала, какъ это сдѣлать, какъ выразиться...

Андрей Андреевичъ двинулся, перекрестился снова три раза и, поднявшись, махнулъ рукой на посланца, отпуская его. А затѣмъ онъ сказалъ дочери глухо:

— Ступай, распорядись... Вотъ заразъ и похоронимъ.

Оставшись одинъ, старикъ долго простоялъ, не шевелясь, среди комнаты, а потомъ двинулся и тихо пошелъ въ церковь, прошелъ въ алтарь и опустился на колѣни на своемъ всегдашнемъ мѣстѣ.

Ровно чрезъ сутки въ Пустомъ Валѣ появился похоронный поѣздъ. За дрогами съ гробомъ ѣхала карета, въ которой сидѣла маленькая, блѣдная, все еще будто испуганная Зайка, а рядомъ съ ней пожилая женщина, госпожа Ваастъ.

За каретой ѣхала телѣжка, и въ ней сидѣли страшно измѣнившійся, осунувшійся и постарѣвшій за два дня Макарь и старикъ Ферাপонтъ.

Завидя усадьбу и домъ, старый слуга князя выговорилъ:

— Совѣстно мнѣ къ вамъ глаза показать... Хоть бы ваши меня люди избили бы, что ль... Легче бы стало...

— Что ужъ!.. До того ли, родимый?... Разорено гнѣздо Глѣбовское... Одно надо!.. помирать скорѣе. Мнѣ-то каково теперъ безъ моего барина!

Андрей Андреевичъ съ дочерью, извѣщенные заранее коннымъ, котораго поставили въ лѣсу сторожить прибытіе тѣла, вышли изъ дома на встрѣчу, окруженные всей дворней и всѣми крестьянами съ деревни.

Гробъ съ тѣломъ внесли прямо въ храмъ, гдѣ уже стоялъ гробъ, принесенный наканунѣ.

Зайка, выйдя изъ кареты, бросилась къ дѣдушкѣ, обняла его и заплакала. Андрей Андреевичъ расцѣловалъ горячо внуку и, проведя рукой по ея кудрявой головкѣ, вымолвилъ чуть слышно:

— Ты агнецъ неповинный... Ты не грѣшна ни въ чемъ, не виновата... Богъ съ тобой...

Зайка обернулась къ теткѣ и хотѣла тоже расцѣловаться съ ней, но Прасковья Андреевна отстранила ее отъ себя и выговорила холодно:

— Меня прикасаться не смѣй. Замараешь... Я не по-ба-тюшкину сужу...:

Зайка боязливо попятилась, но поглядѣла на тетку глазами, въ которыхъ было одно крайнее изумленіе. Дѣвушка не поняла сказаннаго ей...

Послѣ панихиды у обоихъ гробовъ въ церкви всѣ вернулись въ домъ. Пріѣзжій слуга князя попросилъ дозволенія повидать барина для передачи ему важнаго порученія отъ Гиреева.

Андрей Андреевичъ разрѣшилъ, и Ферапонтъ явился...

Порученіе его заключалось въ томъ, чтобы все обстоятельно разяснить Глѣбову

Князь приказалъ объявить ему то, что много лѣтъ держалъ втайнѣ отъ всѣхъ, и лишь послѣ первой панихиды у тѣла покойнаго старца повѣдалъ своимъ рабамъ чрезъ Вааста.

Андрей Андреевичъ узналъ, что князь женатъ и при всемъ желаніи смягчить свое злое дѣло ничего не можетъ.

— Что же мнѣ въ томъ?.. Женать, не женать... Посрамленіе то же... А вина, грѣхъ... не на князевой душѣ. Онъ тутъ почти не при чемъ.

XXIX.

Прошло около недѣли послѣ похоронъ двухъ покойниковъ. Андрей Андреевичъ сидѣлъ безвыходно въ своей комнатѣ, появляясь только къ столу. Молча пообѣдавъ, почти не отвѣчая на вопросы и разсужденія дочери, онъ снова уходилъ къ себѣ.

Прасковья Андреевна унастѣдовала отъ матери управленіе и домою, и имѣніемъ. Всѣ по всякому дѣлу шли теперь къ ней. Съ первыхъ же дней всѣ увидѣли, что съ барышней жить станетъ мудренѣе.

Зайка попрежнему сидѣла въ своей комнатѣ или гуляла въ саду съ Терентьевной. Но это была уже другая Зайка. Дѣвушка не прыгала и не заливалась звонкимъ смѣхомъ, какъ когда-то. Похудѣвшая, блѣдная, тоскливая, она къ тому же казалась какъ бы не вполне въ разумѣ. Она глядѣла на всѣхъ испуганными глазами, вся, казалось, насторожилась, будто ожидая ежеминутно бѣды.

Прасковья Андреевна почти не говорила съ ней и только изрѣдка кое-что приказывала, всегда прибавляя вмѣсто имени слово «потерянная».

— Ну, ты, потерянная! — съ ехидной усмѣшкой говорила она холодно и небрежно.

Дѣвушка не понимала смысла этого новаго прозвища, даннаго теткой. Однажды она спросила старуху Терентьевну:

— Отчего тетюшка меня зоветъ потерянной?

— Озадаченная вопросомъ старуха не знала, что отвѣтить и какъ объяснить.

— А вотъ ты, стало быть, свое дѣвичество потеряла. Все-таки оно не хорошо. Вотъ тетюшка и попрекаетъ, — объяснила старуха. — Ей бы не слѣдъ. Слѣдъ бы простить и молчать. Вотъ какъ дѣдушка... Да она не можетъ, не изъ такихъ. Она съ дуба рветъ.

Зайка, оставаясь подолгу одна у себя, часто думала о прозвищѣ и обо всемъ, что произошло. Понемногу въ головѣ ея стало проясняться. Она стала какъ будто понимать все значеніе происшедшаго съ ней, и ей становилось страшно.

— Стало быть, я грѣшница теперь,—рѣшила она:—великая злодѣйка. Вотъ изъ тѣхъ, что, сказывала бабушка, въ Сибирь на каторгу ссылають и горячимъ желѣзомъ на лбу клейма ставятъ.

И однажды Зайка явилась къ дѣдушкѣ спросить, пойдеть ли она въ Сибирь и когда.

— Полно ты... полно, бѣдная моя!—воскликнулъ Андрей Андреевичъ.—Это небось все Прасковья тебѣ зря болтаетъ. Ни въ чемъ ты не грѣшна и не виновата. Младенецъ ты неповинный.

И Зайка недоумѣвала, ничего не понимая.

Между тѣмъ, Глѣбовъ былъ страшно задумчивъ и озабоченъ. Онъ, очевидно, что-то обдумывалъ отъ зари до зари.

И однажды Андрей Андреевичъ вышелъ изъ своей комнаты, одѣтый совсѣмъ крестьяниномъ съ головы до пятъ. Вдобавокъ у него была простая суковатая палка въ рукахъ и какая-то старая шапка, рваная, чуть не въ лохмотьяхъ.

Прасковья Андреевна удивленно поглядѣла на отца.

— Куда вы это?

— Собрался, Прасковья, ухожу. Слушай-ка... Возьмистуть за все, какъ хозяйка. Веди порядливо, холоповъ не обижай. Помни, и они люди и хрестіане... Я иду... далече. Куда—нечего сказывать. Мало что человекъ предполагаетъ. Можетъ, выйдя за ворота, тотчасъ и помру... Коли Господь милосердъ, то пойду и дойду... А назадъ вернусь когда,—не вѣдомо.

— Куда? Куда?—воскликнула Прасковья Андреевна.

— Въ путь, въ далекій...

— Зачѣмъ? По какому дѣлу?

— Грѣхи страшные замолить.

— Грѣхи? ваши? Да у васъ ихъ нѣтъ. Одинъ за вами грѣхъ—слабодушіе, доброта ребячья, богомольство непомѣрное.

— Полно, полно, не гнѣви Господа богопротивными рѣчами.

— Дѣдушка такъ сказывалъ, и матушка то же сказывала. Ушли вы не въ мѣру въ молитвы свои. Скажите хоть, куда вы собрались, и когда васъ ждать. Къ вечеру не будете? И завтра не жди?

— Нѣтъ, буду не скоро, очень не скоро. А куда я собрался, этого я ни тебѣ, ни кому другому не повѣрю. Ну, прости. Поцѣлуемся.

Андрей Андреевичъ обнялъ дочь, поцѣловаль трижды, а затѣмъ поклонился въ поясъ и выговорилъ:

— Прости, коли въ чемъ когда обидѣлъ.

Войдя къ своей внучкѣ, онъ повторилъ ей то же самое, что собрался въ путь, дальній и трудный, и невѣдомо, когда вернется... если вернется.

И онъ тоже обнялъ крѣпко дѣвушку и расцѣловаль горячѣе, чѣмъ дочь.

Зайка страшно заплакала, будто почувала что-то новое, горькое, горшее...

— Дѣдушка, возьми меня съ собой...—воскликнула она, всхлипывая судорожно.

— Что ты? Что ты?—кротко улыбнулся и отмахнулся Андрей Андреевичъ.

— Дѣдушка, возьми!.. Дѣдушка!.. Безъ тебя я здѣсь пропаду...

— Что ты! Богъ съ тобой! Живи безпечально. Ты ни въ чемъ неповинна, ты—агнецъ...

— Тетушка... тетушка...—заплакала Зайка, но не прибавила ни слова.

Андрей Андреевичъ, уже приказавшій всѣмъ людямъ собраться у подъѣзда, вышелъ во дворъ и заговорилъ:

— Ухожу я, голубчики, далече. Хочу съ вами проститься. Служите барышнѣ усердно, ведите себя порядливо. Промежъ себя блюдите согласіе. Меня поминайте въ своихъ молитвахъ, просите, чтобы Господь надо мной смилостивился... Если когда въ чемъ я обидѣлъ кого, то забудьте. Отпустите, простите и не поминайте. Ну давайте прощаться. Всѣ подъ Богомъ ходимъ...

Дворовые, оторопѣлые отъ неожиданнаго заявленія барина, стали молча подходить одинъ за другимъ и цѣловаться трижды съ своимъ «чуднымъ» барининомъ.

Перецѣловавшись со всѣми, Андрей Андреевичъ снялъ шапку и перекрестился три раза, потомъ поклонился въ поясъ на три стороны... Затѣмъ онъ двинулся медленнымъ, мѣрнымъ шагомъ и пошелъ со двора.

Прасковья Андреевна видѣла все, стоя у окна столовой. Она слегка волновалась, понимая или чуя, что старикъ-отецъ рѣшилъ и предпринялъ что-то важное, что-то нелѣпое и безцѣльное, но долженствующее имѣть большое значеніе не только для него самого, но могущее повліять и на ея собственную судьбу.

Давно ли здѣсь въ домѣ она была младшая, зависимая, какъ ребенокъ, несмотря на свои годы? Она пользовалась полной свободой въ пустякахъ ежедневной обыденной жизни. Но во всемъ значительномъ, сугубо важномъ, изъ чего слагается существованіе, она была рабой. Она даже не смѣла вымолвить вслухъ того, чего желала, о чемъ мечтала въ продолженіе страшно долгаго времени, если не всей жизни.

Теперь она очутилась вдругъ здѣсь, въ Пустомъ Валѣ, одна одиноконька и полная хозяйка... Да не надъ другими... Полная властная хозяйка надъ самой собой... Въ ея рукахъ теперь ея собственная судьба. Что она захочетъ, то и будетъ... И о чемъ не смѣла она заикнуться съ родными, можетъ стать завтра же, по ея волѣ, очевидностью.

Долго простояла у окна старая дѣвица, глубоко задумавшись и будто подводя итоги всему, что такъ неожиданно приключилось въ короткое время.

Придя въ себя, она вспомнила нѣчто, насушилась и пробормотала:

— Только этотъ щенокъ все-таки будто бѣльмо на глазу. Въ монастырь бы ей, что ли, какъ ея тетка. Больше ей дѣлать на свѣтѣ нечего.

Двинувшись къ себѣ и проходя столовую, она увидѣла Зайку, сидѣвшую на подоконникѣ, какъ всегда, недвижно, молчаливо и тоскливо.

— Ну, ты, потерянная... поменьше ты мнѣ мозоль глаза, — вымолвила Прасковья Андреевна. — Знай свой шестокъ, а не разгуливай по дому.

XXX.

Въ домѣ князя Гирева было тише и тоскливѣе, чѣмъ когда-либо.

Однажды, среди дня, къ крыльцу дома подошелъ старикъ крестьянинъ, запыленный и по виду очень усталый, съ дороги. Онъ обратился къ двумъ молодымъ лакеямъ, которые сидѣли на ступенькахъ большого крыльца, прося доложить князю о немъ.

— Да чего тебѣ нужно, старина? — спросилъ одинъ изъ нихъ.

— Князя повидать.

— Да зачѣмъ?

— Дѣло есть до него.

— Дѣло? Мало кто такъ къ князю полѣзеть! Мы не можемъ о всякомъ пройдемъ мужикѣ докладывать.

Старикъ сталъ усиленно молить исполнить его просьбу. Лакей постарше сжалился и пошелъ въ домъ сказать о пришелицѣ кому-либо изъ старшихъ.

Старикъ присѣлъ на ступеньки въ ожиданіи.

Слуга вернулся и объяснилъ, что надо обождать съ докладомъ, а затѣмъ началъ спрашивать крестьянина, откуда онъ и какое у него до князя дѣло.

— Я переходжій человекъ, — отвѣтилъ старикъ. — А дѣло у меня до вашего князя простое, нѣтъ прощя. Надо мнѣ ему пару словъ сказать, хоть вотъ тутъ же на дворѣ. А вотъ что, родные мои... будьте милостивы, дайте хлѣбца. Со вчерашняго вечера маковой росинки во рту не было. Такъ отоцаль, что даже разумъ мутится.

— Иди, иди. Въ людской накормятъ до-сыта, — отвѣчали люди.

Черезъ нѣсколько минутъ старикъ былъ уже въ просторной людской за большимъ столомъ, а баба стряпуха поставила передъ нимъ горшокъ похлебки, каши и кусокъ пирога съ грибами.

— Ышь, ѣшь на здоровье, старичекъ. У насъ, слава Богу, княжіе холопы сыты-пересыты.

Старикъ поѣлъ немного похлебки, проглотилъ ложки двѣ каши и сталъ клевать носомъ.

— Умаялся, видать, — сказала стряпуха.

— Да, очень усталъ... Совсѣмъ себя не чую. Обмираю всѣмъ тѣломъ, — чуть слышно отвѣтилъ старикъ.

— А ты поѣшь, да и ложись тутъ на лавкѣ. Позовутъ къ князю, — разбудимъ.

Старикъ хотѣлъ проглотить еще ложку каши, но рука не поднялась. Онъ оперся на столъ локтями и черезъ мгновение уже засопѣлъ, крѣпко заснувъ.

Стряпуха взяла его сильными руками и, поваливъ на лавку, подсунула ему подъ голову чей-то кафтанъ, а затѣмъ, взявъ ноги, взвалила и ихъ на лавку.

— Ишь, горемычный! Что мертвый, — сказала она.

Въ сумерки крестьянина потребовали къ князю. Его стали будить, тормошить, кричать и звать. Раза два онъ открылъ

глаза, поглядѣлъ безмысленно и опять закрыть ихъ. Очевидно усталость и сонъ превозмогали.

Лакей пошелъ доложить князю, что пришедшій такъ усталъ, что нѣтъ возможности привести его въ чувство. Князь приказалъ оставить его въ покоѣ и позвать на утро.

Вечеру вся дворня собралась ужинать въ людскую. Крестьянинъ спалъ все на той же лавкѣ около стола, и сѣсть было нельзя. Дворня начала смѣяться и подшучивать надъ тѣмъ, что онъ расположился какъ разъ на самомъ почетномъ мѣстѣ у стѣны, и что главнымъ дворовымъ хоть и не ужинать, ибо сѣсть негдѣ.

Одинъ изъ этихъ главныхъ дворовыхъ, старикъ Емельянъ, явившійся ужинать, былъ встрѣченъ веселымъ смѣхомъ.

— Негдѣ, родимый, тебѣ сѣсть. Мѣсто занято. Уходи, жалуйся барину!—раздались голоса.

— Что вы? Очумѣли? Что такое?—спросилъ старикъ.

Съ шутками и прибаутками ему объяснили и показали на лавкѣ, гдѣ протянулся и сладко спалъ пришедшій крестьянинъ.

Дворовый глянулъ на крестьянина, усмѣхнулся, покачалъ головой и собрался сѣсть на край скамьи, отодвинувъ ноги спавшаго. Онъ уже взялся было за ноги въ лаптяхъ, но вдругъ остановился, замеръ въ движеніи и выговорилъ страннымъ голосомъ:

— Господи Иисусе! Что такое?

Всѣ сразу прекратили смѣхъ и шутки и насторожились, глядя на стараго и почитаемаго двороваго человѣка. Никто не понималъ, что съ нимъ приключилось, и что заставило его вскрикнуть.

— Господи, помилуй! — произнесъ снова Емельянъ, нагибаясь надъ спящимъ.

Затѣмъ онъ обернулся ко всей дворнѣ и выговорилъ:

— Обожди, братцы, ужинать. Нельзя. Дѣло не подходящее, чудное впрямъ дѣло. И не пойму, ничего не пойму. Но такъ нельзя... Стой, обожди. Сейчасъ сбѣгаю къ Ферাপонту. Что онъ скажетъ...

Дворовый почти выбѣжалъ изъ людской.

Люди, недоумѣвая, столпились въ кучку, глядѣли на спящаго мужика, переглядывались между собою и не смѣялись, а оторопѣли. Они поняли, что происходитъ нѣчто важное и диковинное. Но что? — догадаться было невозможно. И на всѣхъ вдругъ напалъ суевѣрный страхъ.

— Незнакомый человекъ, мужикъ, а, стало быть, не изъ обыкновенныхъ...

Спящій, на котораго было устремлено столько пытливыхъ глазъ, проснулся, открылъ глаза, поднялся, сѣлъ на лавкѣ и перекрестился.

Онъ изумленнымъ взоромъ обвелъ всѣхъ.

— Голубчики, гдѣ же я? гдѣ это я?—спросилъ онъ и снова перекрестился.

— У насъ,—отвѣтилъ кто-то.

— У насъ, у князя Самсона Ивановича,—сказалъ дворовый постарше.—Заспалъ, старина.

— Охъ, да... у князя... отозвался старикъ.

— Пришелъ, поѣлъ и залегъ. Ну, и заспалъ.

— Да, да... Доложите князю обо мнѣ... У меня дѣло... простое. Надо мнѣ его видѣть...

— Докладывали. Князь приказалъ тебя позвать, да не могли, старина, добудиться. Такъ и бросили.

— Доложите опять...

— Ладно.

Но въ эту минуту въ людскую вбѣжалъ мальчишка и крикнулъ:

— Самсонъ Иванычъ сейчасъ самъ было сюда собрался, этого глядѣть.

Всѣ шелохнулись.

— Что ты опалѣлъ что ли?

— Вотъ сейчасъ умереть. Самъ сюда собрался, да не допустили.

Одновременно чрезъ раскрытую въ корридоръ дверь дворовые увидѣли Емельяна и Ферাপонта, быстро идущихъ въ людскую.

Ферапонтъ вошелъ, остановился и, глянувъ на сидящаго на скамьѣ крестьянина, ахнулъ.

— Андрей Андреевичъ, какъ сіе пояснить? Зачѣмъ вы здѣсь?—выговорилъ онъ смущенно.

— Къ князю. Дѣло до него.

— Да зачѣмъ же такъ? Здѣсь, въ людской?.. Пожалуйте, пожалуйста.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ старикъ:—если князь собирался сюда, то пусть такъ и будетъ... лучше... Проси князя сюда.

Дворня, стоявшая кругомъ, растерянно и чуть не испуганно оглядывала теперь «ряженаго» крестьянина, оказавшагося тѣмъ

самымъ бариномъ Глѣбовымъ, котораго ихъ баринъ «осрамилъ и разорилъ».

Ферапонтъ стоялъ предъ Глѣбовымъ, не зная, что дѣлать.

— Зачѣмъ же вамъ нужно, чтобы князь сюда шелъ? Пожалуйте къ нему, — сказалъ онъ наконецъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, голубчикъ... Доложи о чемъ я прошу. Изъ милости и состраданія пусть князь исполнить мою просьбу. Мнѣ ему надо пару словъ сказать. И хочу оное сказать вотъ при нихъ, при всѣхъ.

— Бранными словами или жестокими попреками горю не пособите, — вымолвилъ Ферапонтъ. — Да и что хорошаго дворянину дворянина же при его крѣпостныхъ холопахъ поносить?

— Не попрекать и не поносить я его буду, — странно воскликнулъ Глѣбовъ. — Ради Господа, проси, зови князя сюда меня выслушать.

Ферапонтъ простоялъ нѣсколько мгновений въ нерѣшительности, затѣмъ развелъ руками, вздохнулъ глубоко и выговорилъ:

— Сейчасъ доложу. Сейчасъ придетъ. Что же? Онъ виновать предъ вами. Всѣ мы это знаемъ. Коли хотите сердце облегчить, поругаться, князь не спрячется.

Ферапонтъ вышелъ... Андрей Андреевичъ остался на скамьѣ и сидѣлъ, понурившись и опустивъ глаза въ полъ. Дворян молчаливо, недвижно, почтительно и прямо виновато стояла кругомъ. Со стороны можно было бы подумать, что этотъ сидящій старикъ пришелъ сюда ихъ всѣхъ, кругомъ него стоявшихъ, строго разбирать и судить.

Наконецъ, въ корридоръ послышались шаги, и показался князь въ сопровожденіи Ферапонта.

Князь вошелъ въ людскую тихимъ шагомъ, слегка блѣдный отъ нечаянности и отъ волненія. Ставъ среди комнаты, онъ выговорилъ мягко:

— Что прикажете, Андрей Андреевичъ? Вотъ я... по вашему желанію. Говорите. Имъ всѣмъ не въ новость. Всѣ они знаютъ и считаютъ меня по справедливости виноватымъ, какovýmъ и я себя почитаю самъ...

При появленіи князя, Глѣбовъ поднялся и, выступивъ впередъ, глядѣлъ ему въ лицо, волнуясь и смущаясь гораздо сильнѣе и замѣтнѣе, чѣмъ самъ князь.

— Я къ тебѣ, князь, по долгу святому, христіанскому, — заговорилъ онъ упавшимъ и хриповатымъ отъ слезъ голосомъ. — Я по міру пошелъ... не съ разоренія хозяйства, а съ

разоренія семейнаго, сердечнаго... И не побираться именемъ Христа, а спасеніе души обрѣсти. Грѣшенъ я... люто грѣшенъ. Предъ многими людьми, коли не дѣлами, то словами и помышленіемъ. И надо мнѣ прощеніе вымолить. Но предъ тобою, Самсонъ Ивановичъ, я не словомъ единымъ грѣшенъ, а дѣломъ... и страшнымъ дѣломъ. Предъ тобою я сугубо грѣшенъ. Я душу твою, не токмо тѣло—загубилъ и велій отвѣтъ за тебя понесу предъ престолъ Всевышняго... Но ты самъ воленъ умалить мой окаянный грѣхъ предъ тобою... прощеніемъ христіанскимъ, не словеснымъ, а душевнымъ. Ну, вотъ, смилуйся... Прости меня, прости...

Глѣбовъ шагнулъ впередъ и, вдругъ опустившись на колѣни предъ княземъ, поклонился ему въ ноги, упавъ ничкомъ, лбомъ на полъ.

Дворня ахнула въ одинъ голосъ. Князь бросился къ старику, схватилъ его за плечи и силился поднять.

— Андрей Андреевичъ, что вы? — воскликнулъ онъ. — Господь съ вами! Я не понимаю. Чего вы хотите? Встаньте, Андрей Андреевичъ! Вѣдь не ради же потѣхи, издѣвательства надо мной... Я не понимаю.

— Прости меня, князь.

— Встаньте.

— Прости. Не встану, пока не простишь.

— За что? Я кругомъ виноватъ предъ вами. Я наздѣйствовалъ. Какъ же мнѣ прощать васъ?

— Нѣтъ, я все натворилъ. Я... одинъ я... Я тебя погубилъ. Я допустилъ твое злое дѣло. Честное дворянское имя посрамлено, замарано. Бѣдная сиротка, внучка моя, тобой растлѣна и загублена на всю жизнь. Жена, не стерпя обиды и посрамленья, померла... Родитель мой по дряхлости своей не снесъ душевнаго потрясенія и тоже преставился... Все это отъ тебя... Все это ты сдѣлалъ... Но виноватъ я одинъ, допустивъ тебя въ ихъ погубленію. Ты отвѣтишь предъ Господомъ, а я еще пуцій и горшій отвѣтъ понесу за то, что ввелъ тебя въ искушеніе. Помогъ, толкнулъ тебя, яко сатана, душу свою загубить... Прости меня... прости, смилуйся... Господь зачтетъ мнѣ твое прощеніе...

Хриповатый голосъ Глѣбова страшно дрожалъ и рвался отъ избытка чувства, всколыхнувшего все его существо, слезы ручьемъ струились по его худому и желтоватому лицу.

— Андрей Андреевичъ, святой вы человекъ!—вскрикнулъ князь. — Я же... я — сущій злодѣй. И не мнѣ прощать васъ. Велика вѣра ваша... Мнѣ же отъ этого вашего поступленія теперь еще тяжелѣе станетъ. А утѣшить васъ, прикинуться, лицедѣйствовать, прощать васъ... Прощать?.. Мнѣ же? Васъ? Не могу, вы... вы должны...

— Прости!—воскрикнулъ Глѣбовъ:—Господа ради!..

И старикъ обхватилъ ноги князя, рыдая и дрожа всѣмъ тѣломъ.

— Прощаю, прощаю!—вдругъ закричалъ князь въ изступленіи, въ трепетѣ необъяснимаго ужаса, охватившаго вдругъ его. И освободившись отъ рукъ старика, почти вырвавшись, онъ бросился вонъ изъ людской.

Ферапонтъ, обливаясь слезами, двинулся впередъ, поднялъ старика на ноги и посадилъ на скамью.

— Слава Богу, слава Создателю!—шепталъ Глѣбовъ и три раза перекрестился.

Дворня, столпившись кругомъ, мертво молчала. Въ людской наступила та тишина, какая наступаетъ въ храмѣ, при случайномъ перерывѣ богослуженія.

Между тѣмъ на дворѣ уже совершенно стемнѣло. Въ людской зажгли огонь.

Глѣбовъ поднялся съ лавки, взявъ свою суковатую палку и рваную шапку и выговорилъ:

— Ну, простите, добрые люди. Не поминайте лихомъ. Князь вашъ простилъ меня. Слышали?

И онъ вышелъ изъ людской. Никто не двинулся, будто не посмѣлъ итти за нимъ.

Въ полную тьму Андрей Андреевичъ прошелъ дворъ, затѣмъ повернулъ на село, чрезъ которое шла большая дорога, и шелъ, не замѣчая, что собирается гроза. Громъ уже гудѣлъ раскатами около первыхъ избъ села. Кто-то бѣглымъ шагомъ нагналъ его и окликнулъ:

— Господинъ Глѣбовъ.

Старикъ остановился и обернулся. Предъ нимъ былъ человекъ, одѣтый бариномъ, но въ наступившей темнотѣ онъ не могъ разглядѣть лица.

Господинъ Глѣбовъ, Андрей Андреевичъ! Я васъ прошу... я... Вы ничего противъ меня не имѣете. Я ничѣмъ не виновать предъ вами. Я васъ прошу... изъ милости. Оставьте у меня ночевать... у меня.

Голосъ говорившаго былъ старику знакомъ, но, не видя лица, онъ не могъ догадаться, кто предъ нимъ.

— Кто вы?—спросилъ онъ.

— Я—Ваастъ, лейтенантъ Ваастъ. Ну, безрукій... я былъ у васъ въ Пустомъ Валѣ. Вы меня знаете... Ну, вотъ я васъ прошу. Изъ милости... оставайтесь ночевать у меня. Куда вамъ въ такую погоду и въ такую темь итти?.. Завтра утромъ, Богъ съ вами, отправляйтесь. А теперь, сейчасъ гроза будетъ, ливень. Пожалуйте ко мнѣ.

— Спасибо, достопочтенный мой Адамъ Адамовичъ,—отвѣтилъ старикъ.—Отъ души спасибо. Это вы по добротѣ своей. Но мнѣ что же до погоды? Ну, будетъ гроза, ливень. Ну, измочить. Ну, что же? Разсудите, родной мой, что мои обстоятельства жизни таковы, что ничего худого со мною быть не можетъ, потому что все, что люди худымъ почитаютъ, будетъ для меня доброе. Ну, скажемъ, разбойники на меня набредутъ, изранять или убьютъ. Это вѣдь худо. Ну, а для меня это будетъ доброе. Пострадаю, и Господь это увидитъ и сочтетъ. И чѣмъ больше я пострадаю, тѣмъ больше искуплю своихъ грѣховъ. Ну, вотъ... простите, не поминайте лихомъ. Вспомните меня, грѣшника лютаго, въ вашихъ молитвахъ.

— Какой вы лютый грѣшникъ!—вскрикнулъ Ваастъ.— Вы самый благородный человекъ, какого я когда видалъ въ жизни.

— Полно, полно, родной. Грѣхъ такое сказывать, а мнѣ такъ и слушать страшно. Я великій грѣшникъ, да Господь многомилостивъ, и я вѣрую, что замолю и застрадаю свои всѣ великія прегрѣшенія. Ну, поцѣлуемся. Идите домой, а то вотъ, буря...

Дѣйствительно, пронеслось нѣсколько страшныхъ порывовъ вихря, и съ чернаго неба, озаряемаго молніей, уже падали и стучали, какъ дробины, крупныя капли дождя.

Оба старика расцѣловались трижды. Ваастъ крѣпко обнялъ при этомъ Глѣбова, котораго собственно мало зналъ, но въ которомъ чуялъ человека, какихъ мало «водится» на свѣтѣ.

— Андрей Андреевичъ, куда вы такъ собрались и идете? не выдержавъ, спросилъ онъ.

— Вамъ, Адамъ Адамовичъ, скажусь. Дочери родной, Прасковѣ, не сказалъ, а вамъ скажу. Далече, очень далеко: ко Гробу Господню. А потомъ вернуся на Аеонъ и тамъ останусь до конца дней моихъ, въ постѣ и молитвѣ прощенья

лютыхъ грѣховъ получить... Ну, идите... идите домой. Вишь, какая буря подымается. Этакъ вы, пожалуй, изъ-за меня...

Страшный раскатъ грома послѣ ослѣпительной молніи, зажегшей полъ-неба, заглушилъ слова Глѣбова. Онъ махнулъ рукой и двинулся. Ваастъ остался на мѣстѣ и глядѣлъ... Черезъ нѣсколько мгновеній старикъ исчезъ во тьмѣ ночи.

Инвалидъ быстро пошелъ домой. Едва онъ вошелъ на крыльцо и въ переднюю, какъ хлынулъ страшный ливень...

— Господи! Въ такую погоду въ погѣ... въ его годы и при его хилости!—воскликнулъ инвалидъ.—Лютый грѣшникъ онъ?! Валялся, сказываютъ они, въ ногахъ у князя, прося прощенья за все, что сдѣлалъ. Что же это?...

И черезъ мгновеніе Ваастъ выговорилъ съ укоризной:

— Да, вотъ человѣкъ. Вотъ какъ надо жить на свѣтѣ, а не такъ, какъ ты. Изъ-за дарового куска хлѣба чужое злодѣйство терпишь, да еще покрываешь. Жаль, видишь ли, тебѣ злодѣя. Правда ли?

И, подумавъ мгновеніе, Ваастъ вымолвилъ:

— Нѣтъ, не лукавствую предъ собою. Правда: жаль мнѣ его, жаль. Добрый онъ, добрый. А какъ назлодѣйствовалъ, какъ назлодѣйствовалъ!..

И при новомъ сильномъ раскатѣ грома, вспомнивъ о Глѣбовѣ, инвалидъ вздохнулъ, качая головой.

— Господи! Въ такую непогоду, ночью, въ грязи, въ мокротѣ, въ стужѣ...

XXXII.

Прошло полгода. Была зима.

Въ усадьбѣ князя Гиреева было тихо, пусто и уныло. Владѣльца давно не было въ большомъ запертомъ домѣ. Князь еще въ началѣ осени уѣхалъ въ столицы, а изъ столицъ въ чужіе заморскіе края. Гдѣ онъ находился, было неизвѣстно. Когда онъ вернется въ отчину, тоже зная было нельзя, тѣмъ паче, что самъ князь, рыскавшій въ чужихъ краяхъ, не зналъ, вернется ли онъ въ Россію.

Тоска заѣдала его. Все чаще повторялъ онъ мысленно и вслухъ:

— Куда бы мнѣ отъ себя уйти?

Иногда Гирееву хотѣлось вернуться на родину и домой, въ родныя гнѣзда, но онъ не рѣшался. Онъ вспомнилъ, каки-

ми глазами глядѣли на него его крѣпостные холопы послѣ всего того, что приключилось по его винѣ. И онъ чувствовалъ, что не можетъ вернуться на глаза этихъ холоповъ, не сможетъ вынести ихъ глазъ.

Инвалидъ Ваастъ съ женой оставались въ отчинѣ и завѣдывали всѣми дѣлами. Ваастъ управлялъ всѣми имѣніями князя, а Ваастиха правила домою и усадьбой.

Ежедневно инвалидъ и старый, старшій дворовый вотчины, Ферапонтъ, по часамъ бесѣдовали о «происхожденіи», которое на ихъ глазахъ «учинилось».

И каждая бесѣда кончалась все тѣми же словами:

— А все же онъ добрый. Добрый онъ!—говорилъ съ грустью Ферапонтъ.—Онъ мыкается. Вотъ Глѣбовъ ушелъ на Аеонъ, монашествуетъ... А нашему Самсону Ивановичу, поди, еще горше, еще хуже, чѣмъ на Аеонѣ.

XXXIII.

Черезъ тѣ же полгода въ Пустомъ Валѣ была большая новость, отъ которой крѣпостные холопы не сразу пришли въ себя, и отъ печальности и отъ испуга или боязни за свою судьбу.

Перемена, случившаяся въ домѣ и въ ихъ судьбѣ, была изъ всѣхъ диковинъ самая «умопомрачительная».

Въ Пустомъ Валѣ былъ новый баринъ, супругъ Прасковьи Андреевны, господинъ Ржецкій.

Старая дѣвица мѣсяца черезъ четыре послѣ ухода отца получила отъ него письмо, что онъ постригся въ монахи на Аеонѣ и домой не вернется.

И тотчасъ же собралась Прасковья Андреевна въ губернский городъ и пробыла въ немъ мѣсяць. За это короткое время она успѣла познакомиться съ мѣстнымъ чиновникомъ, писмоводителемъ губернской канцеляріи, а затѣмъ тотчасъ рѣшилась выйти за него замужъ и вернулась домой уже обвѣнчанная.

Новый баринъ и помѣщикъ, Иванъ Казимировичъ Ржецкій, былъ молодой человекъ, лѣтъ двадцати четырехъ, и, стало быть, вдвое моложе Прасковьи Андреевны. Онъ былъ чрезвычайно красивъ, сильно черноволосый и темный лицомъ и будто не русскій, такъ какъ говорилъ съ особымъ произношеніемъ, а иногда и не зналъ, какъ выразиться.

Баринъ былъ ласковъ съ холопами, но они все-таки боялись его страшно и будто чуяли, что скоро его ласковость не-

минуемо смѣнится и сойдетъ не только на строгость, но и на лютость.

— Онъ примѣривается... — боязливо говорили дворовые и крестьяне.

Съ женой господинъ Ржецкій былъ очень строгъ, и крѣпостные рабы предвидѣли, что скоро ихъ барышня, на старости лѣтъ вздурившаяся, будетъ не смѣть пикнуть передъ молодымъ супругомъ.

Прасковья Андреевна была, однако, пока неизмѣримо счастлива и боготворила мужа. И только одна была помѣха ея счастью, нѣчто, раздражавшее ее — присутствіе въ домѣ маленькаго существа, которое было, однако, совсѣмъ незамѣтно и даже почти невидимо.

Это была ея племянница, сирота Зайка.

Будучи въ губернскомъ городѣ, Прасковья Андреевна, еще до рѣшенія выйти замужъ, занялась устройствомъ судьбы племянницы, задумавъ сбыть ее съ рукъ въ монастырь.

По прибытіи съ молодымъ мужемъ въ Пустой Валъ, она тотчасъ отправила дѣвушку съ Терентьевной къ той игуменьѣ, съ которой уговорилась заранѣе о постриженіи племянницы.

Но недѣли черезъ двѣ, къ крайней досадѣ новобрачныхъ, дѣвушка со старухой снова появилась. Игуменья наотрѣзъ отказалась принять ее даже въ простое «послушаніе», не только въ постриженіе.

Причиной отказа явилось то, что бѣдная Зайка была «не въ себѣ». Разсудокъ ея былъ затемненъ.

И, оставшись на рукахъ тетки, она жила въ загонѣ и сидѣла безвыходно въ своей комнатѣ. Терентьевна приносила пищу къ ней, спала вмѣстѣ съ ней, но разговаривать не могла, такъ какъ Зайка только бессмысленно глядѣла, прислушивалась, но не отвѣчала.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣвушка все слабѣла, хирѣла и худѣла и скоро стала совсѣмъ крошечнымъ существомъ.

— Таеть, — говорила Терентьевна дворовымъ людямъ, — таеть наша безвинная страдалица. Скоро стаеть совсѣмъ.

И года не минуло послѣ приключенія въ Пустомъ Валѣ «неслыханнаго дѣла», какъ «дѣвочка» девяностолѣтняго старца стаяла и ушла за нимъ.





ПЕТРОВСКІЕ ДНИ.

Историческій романъ въ двухъ частяхъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.



Были первые дни сентября 1762 года...

Москва ликовала и шумѣла и вся была на ногахъ. Пришли такіе дни, что она могла сказать: «На нашей улицѣ праздникъ!»

Государыня Императрица Екатерина Алексѣевна прибыла изъ Петербурга и остановилась въ селѣ Петровскомъ, имѣніи гетмана графа Разумовскаго, въ двѣнадцати верстахъ отъ Москвы. И первопрестольная ожидала дней вѣзда новой Императрицы и коронаванія.

Много ходило темныхъ и лживыхъ слуховъ о томъ, какъ встрѣтитъ Москва Царицу.

— Москва не Петербургъ!.. Сердце Россіи не солжетъ, не покривитъ душой. Низверженъ съ престола законнаго Государя Петра Θεодоровича, внука Великаго и Перваго Императора, она, первопрестольная, судитъ по своему. Ей чернаго бѣлымъ не сдѣлаешь, кривду правдой не нарядишь, злоумышленія въ благодѣяніе не обернешь. Питеръ Москвѣ не указъ. Онъ младшій братъ. Братишка! Ему шестьдесятъ лѣтъ—смѣшно сказать. А Москвѣ-то сколько? Поди-ко сочти. Но эдакъ раз-

суждали въ дворянскихъ семьяхъ, а москвичъ-простолюдинъ зналъ хорошо или же просто почувалъ, что Царица хотя и нѣмецкая принцесса, но давно стала душой и сердцемъ истинной россиянкой. Въ послѣднемъ же своемъ дѣяніи, юньскомъ переворотѣ и вступленіи на престолъ, она спасла отечество отъ нѣмецкихъ порядковъ, предотвратила новую бироновщину и гоненія не только всего русскаго, но и самой православной вѣры.

Но время было все-таки трудное. Дни шли смутные. Государственный миръ и общественный покой были нарушены. Все всколыхнулось, заволновалось. По старой пословицѣ: «мирская молва—морская волна» море житейское запумѣло и погнало волны на берега и устои политическіе и гражданскіе.

И не являлось никого, кто бы проявился утѣшителемъ волненія... Царица, окруженная сонмомъ вельможъ и правительственныхъ сановниковъ, стояла въ ожиданіи надвигающейся бури—одна-одинехонька.

Новая Императрица, съ минуты вступленія на престолъ, думала только объ одномъ, трепетно и нетерпѣливо ждала только одного—чаяла спасенія себя и отечества и умиротворенія всѣхъ и всего только въ одномъ: Священное коронованіе въ московскомъ Кремлѣ.

А до этого великаго мгновенія, она могла только по праву повторять французскую поговорку: «*Dieu me garde de mes amis, des ennemis je me garderai moi-même*».

— Да. Спаси Богъ отъ друзей, а отъ враговъ я сама уберегуся, думала и говорила умвая, смѣлая, но смущенная женщина-монархъ.

Пребываніе теперь въ селѣ Петровскомъ предъ торжественнымъ въѣздомъ въ Первопрестольную было будто тяжелымъ испытаніемъ ея силъ предъ началомъ великаго 35-тилѣтняго подвига: приведенія Руси отъ мгlistыхъ временъ Елизаветинскихъ къ лучезарнымъ днямъ Александровскимъ.

II.

Старуха крестьянка стояла среди грядъ огорода на опушкѣ лѣса и смотрѣла, какъ закатывалось золотое солнце за краемъ земли.

Съ опушки этого небольшого лѣса, не густого, не запущеннаго, а напротивъ со слѣдами заботливаго ухода, видно

было ровное пустое поле, расходившееся во всѣ стороны. Только вправо и далеко на самомъ горизонтѣ темнѣлась полоса узкая и длинная... Тамъ снова начинался лѣсъ, но уже настоящій, съ непролазной гущиной, съ вѣковыми деревьями, гдѣ водилось всякое звѣрье—и заяцъ, и лисица, и волкъ. А старожилы ближайшаго села Петровскаго увѣряли, что въ юности своей видели въ немъ и медвѣдя...

Совсѣмъ влѣво за полемъ, тоже на самомъ горизонтѣ, виднѣлось нѣсколько домиковъ и церковь. Это былъ самый край Москвы, которая отсюда была невидима, укрытая чащей деревъ и кустовъ. На этой опушкѣ, гдѣ начиналось поле, былъ небольшой огородъ. Десятки длинныхъ грядъ шли рядами, одна за другой, будто волна за волной зеленого моря.

Среди этихъ грядъ бродила крестьянка, изрѣдка нагибаясь, шаря рукой въ зелени и собирая въ фартукъ всякую огородную всячину... И только изрѣдка отрывалась она отъ дѣла—передохнуть и поглядѣть, какъ солнышко уходитъ съ неба на покой «до завтра».

Въ тѣ минуты, когда крестьянка, не въ мѣру старая, наплавивъ фартукъ, снова остановилась и стояла, чтобы отдышаться отъ труда, непосильнаго въ ея года, на опушкѣ показалась женская фигура, подвигавшаяся медленными усталыми шагами... Это была средняго роста, полная и красивая женщина, по виду и по одеждѣ городская барыня... Постоявъ и поглядѣвъ на поле, на огородъ, гдѣ работали крестьянки, она хотѣла уже снова удалиться, когда вдругъ замѣтила небольшую скамью. Простая доска была прибита концами къ пню и къ столбику. Дама будто обрадовалась этой случайной, нежданной находкѣ и, двинувшись бодрѣе, съ видимымъ удовольствіемъ сѣла на скамейку.

Снова начала она озираться кругомъ на все, что было видимо отсюда, и взоръ ея красивыхъ свѣтлыхъ глазъ остановился на колокольнѣ церкви, окруженной нѣсколькими домиками.

«Какое это село? подумалось ей, и затѣмъ она тотчасъ спохватилась и мысленно охнула:—Да это «она!» Да это она... Край, конецъ ея, врѣзавшійся въ поле... Тамъ, вѣроятно, застава. Но не Тверская, а другая. Да. Вотъ она... Вотъ «ты», отъ которой все зависитъ. Все! Ты, Москва, отъ которой надо ждать рѣшенія участи новой Императрицы. Что ты скажешь ей, то же повторить и вся Россія!.. А что ты скажешь? Что?»

И дама глубоко задумалась, поникнувъ головой и забывъ окружающее.

— Что не весела—голову повѣсила!—вдругъ раздался странный по своему звуку голосъ, глухой, хриповатый, шамкающій...

Дама, будто разбуженная имъ отъ своей думы, невольно вздрогнула... Голосъ былъ за ея спиной... Она обернулась и увидала сугубо старую старуху. Ей невольно стало жутко. Она, казалось ей, только слыхивала или читала въ сказкахъ про такихъ старушенцій... Въ такомъ образѣ являются колдуньи, коварныя и злыя, приносящія людямъ несчастье. Но въ такомъ же видѣ въ сказкахъ являются, однако, и добрыя феи, принимая умышленно отвратительный образъ крайней дряхлости.

— Что тебѣ, старушка?—вымолвила дама, отчасти робко, отъ какого-то суетвѣрнаго чувства, вдругъ возникшаго въ ней.

— Сказываю тебѣ: что не весела, голову повѣсила?—повторила старуха, шамкая беззубымъ и совсѣмъ провалившимся ртомъ.

— Ничего... Я такъ... задумалась!..—смѣлѣе отвѣтила дама, сразу замѣтивъ во взглядѣ старухи нѣчто противорѣчившее всей ея фигурѣ. Глаза ея, большіе и круглые, были совсѣмъ свѣтлые, чуть не бѣлые, выцвѣтшіе отъ старости, но добрые, ласковые... За хрипотой съ едва внятными словами слышалась та же простодушная ласковость.

Однако фигурой своей старуха была дѣйствительно диковиной, страннымъ существомъ, не встрѣчающимся за-урядъ.

Очень высокая ростомъ, она была несоразмѣрно тоща и худа... Ея спина изогнулась дугой, голова съ длинной шею поникла впередъ и отъ многихъ годовъ и отъ необходимости за всю долгую жизнь смотрѣть на людей съ высоты своего долговязаго тѣла... Сѣдые волосы съ сильной желтизной, на половину бѣлые и на половину золотые, выбивались изъ подъ повязаннаго и сбившагося чернаго платка... Лицо маленькое, все изрытое морщинами, казалось еще меньше отъ большого длиннаго носа крючкомъ, который, выпятившись и вися, чуть не упирался въ острый и длинный подбородокъ. Казалось, что именно носъ и подбородокъ, сойдясь вмѣстѣ, мѣшали шевелиться глубоко ввалившимся губамъ. И все это старое существо будто не походило уже на человѣка. Согнутая дугой спина, пригнутая голова надъ совсѣмъ впалой грудью, изогнувшійся внизъ длинный носъ, все вмѣстѣ удивительно уподобляло ея какому-то диковинному двигающемуся крючку.

III.

Постоявъ молча и разглядѣвъ до-сыта сидящую, она вдругъ протянула длинную руку, положила ее на голову дамы и костлявыми пальцами погладила ее по волосамъ.

Но видно бѣлые глаза этого существа сказали что-нибудь въ эту минуту, потому что дама не оробѣла, даже не удивилась, а весело улыбувшись, вымолвила.

— Сколько тебѣ лѣтъ, старушка?

— Много, сударка... У—ухъ много. Тебѣ не посчитать.

— Семьдесятъ, восемьдесятъ..

— Вона...—усмѣхнулась старуха, и отъ разѣхавшагося рта носъ, казалось, ткнулся въ подбородокъ.—Поболѣ сотни... Годовъ-то...

— Ну? Ужъ это ты прибавила, старушка.

— Зачѣмъ... Я бы рада отбавить.

— Все-таки поменьше ста лѣтъ.

— По сущей тебѣ по правдѣ, сударка, сама не знаю. А люди вотъ сказываютъ, умные люди. Считаютъ и сказываютъ, что сотню годовъ отжила и вторую начала...

— Да какъ же они считаютъ, моя милая.

— Какъ? А во какъ! Была я дѣвка невѣста, когда цари-то жили еще въ Москвѣ, а не у моря, на краю свѣта, гдѣ нехристь одна селится. Былъ царь Хфедоръ московскій царь. Да. А теперича пошли императрицы, потому что императоровъ болѣ нѣту. А почему все такое знаю я, родимая моя. Былъ вонъ одинъ и всего полгода процарствовалъ и теперь опять императрица. А потому царей-то больше нѣтъ, что они Москву нашу матушку бросили, не хотятъ въ ней жить. А вотъ что... Я съ тобой присяду... Ноги у меня чтой-то слабѣтъ стали.

— Садись! Садись!—живо выговорила дама, какъ бы спохватясь.

— Тебя-то стыдъ не возьметъ? Съ бабой да мужичкой сидѣть.

— Полно... Садись... Скажи, какъ тебя зовутъ.

— Параскевой.

— Прасковѣй.

— Нѣтъ. Зачѣмъ Прасковѣй... Параскева я. Параскева Пятница. Мужъ, когда серчалъ, всегда просто Пятницей звалъ. Ей-Богу. Кричить бывало: дура ты, Пятница.

— И ты будто царя Θεодора помнишь?

— Помню. Видала его, голубчика, будучи въ дѣвкахъ еще.

— Ты царя Петра Алексѣевича вѣрно помнишь, а не Θεодора.

— Зачѣмъ? То Петръ. А то Хфедоръ. Я не дура какая, сударка моя. Онъ вотъ померъ, а меня замужъ выдали. Бунты тогда на Москвѣ каки были. Страсть! Бунтовали стрѣльцы, и Матвѣева боярина, знатнаго и добраго боярина, умертвили окаянныя... Мимо меня протащили тѣло его искрошенное.

— Какъ мимо тебя?

— Да. Я на площади съ мужемъ была... Затесалась съ глухихъ бабьихъ глазъ. И вотъ гляди... Въ тотъ самый день угораздило мнѣ... Вишь прорука.

Она нагнулась и показала на щекъ большой рубецъ.

— Стрѣлецъ копьемъ задѣлъ... Пьянъ былъ, какъ и всѣ они... Я выть, а онъ говорить «ничего дѣвка! до свадьбы заживеть!» А мужъ мой ему: «Кака она дѣвка. Она моя жена!» Ну стало вотъ и не зажило. И дѣти были, и внуки были, и правнучки есть... А дыра-то все видна.

И старуха заболтала о правнукахъ и о своихъ дѣлахъ. Дама слушала сначала, но вскорѣ задумалась подъ ея однообразный говоръ и незамѣтно для себя самой понурилась, сидя на скамьѣ.

Старая Параскева, смолкнувъ, поглядѣла на нее и снова положила ей руку на голову.

— Эй, касатушка. Опять носъ повѣсила. Эй, скажи. Чего не весела?

Дама вздрогнула, пришла въ себя, вздохнула и вдругъ выговорила.

— Ахъ, старушка... Есть отчего...

— Горе какое?

— Горе не горе. А заботы... Большія.

— Да что? Говори. Я тебѣ твое дѣло, мнѣ чужое, руками разведу. Недаромъ сто лѣтъ живу...

Дама улыбнулась.

— Къ своему я дѣлу вотъ ума не приложу!—вздохнула старуха.—А твое—пустяковское. Вѣрь мнѣ. Говорю тебѣ... Плюну, дуну... И все на вѣтеръ улетитъ. Говори. Вороги что ли у тебя... Обижаютъ.

— Да.

— А заступы нѣтъ.

Дама не поняла.

— Заступиться некому?

— Некому.

— Совсѣмъ некому. Друговъ нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Одна ты, стало, какъ персть? Вона! Замужняя чай.

Мужъ заболѣлъ. Бьетъ.

— Нѣтъ. Я вдова.

— Вдовая! Ну, такъ! Вдова отъ всѣхъ терпи. Я тоже натерпѣлась. А ты поясни, какое дѣло - то, за что тебя обижаютъ.

— Не обижаютъ. А ужъ очень всѣ... Всякій-то свое...

Дама будто колебалась мгновенье и вдругъ вымолвила:

— Много народу... И всякій - то свое просить. Всякому угодить надо...

— Заѣдаютъ?

— Да. Ужъ именно такъ, какъ ты говоришь.

— А ты удовольствоваться ихъ не можешь?

— Нельзя, старушка. Нельзя. Много хотятъ.

— Та-акъ! Это завсегда. Вдовье дѣло. Ну, и злобствуютъ, грозятся.

— Да.

Старуха подумала и выговорила таинственно, какъ бы нѣчто крайне важное.

— Общай, матушка.

— Что?

— Общай, говорю.

— Я не понимаю тебя, старушка.

— Общай каждому, всѣмъ. Общай и откладывай. Вотъ и перестанутъ злиться и грозиться. Говори: изволь, молъ... Все, что прикажете... А когда? Скоро! А какъ скоро? Да вотъ какъ только можно будетъ. Смекнула?

И старуха, говоря, прищурила одинъ глазъ, будто подмигивая.

Дама долго смотрѣла ей въ лицо, какъ бы соображая, и начала вдругъ добродушно смѣяться.

— Чему, молода-зелена? Не вѣришь?

— Нѣтъ, вѣрю, старушка... Вѣрю. Мнѣ смѣшно не то. Такъ общать, по твоему?.. Общать и общать!.. А когда? Вотъ скоро. Когда можно будетъ.

— Во! Во!..— таинственно шепнула Параскева.

Дама снова начала смѣяться.

Между тѣмъ, солнце давно исчезло за горизонтомъ и начало темнѣть... Звѣзды зажигались на ясномъ небѣ.

— Мнѣ пора домой, — сказала вдругъ дама.

— А тебѣ далеча домой - то? Приѣхала небось изъ города погулять къ намъ.

— Нѣтъ. Я здѣсь живу.

— Здѣсь? Гдѣ же то здѣсь?

— Здѣсь.

— Слышу, касатка. Да говорю тебѣ, гдѣ же здѣсь жить? У насъ тутъ домовъ барскихъ нѣтъ.

— А вотъ этотъ, — показала дама на лѣсъ.

— Тамъ же палаты графскія.

— Я въ нихъ и живу.

— Въ палатахъ?!

— Да.

— Вона какъ! Какъ же ты въ его попала. Тамъ теперь царица. Приѣхала на коронованье.

— Да. Я... У царицы есть такія... Ну, при ней дамы придворныя... И я...

— При царицѣ? — произнесла, какъ бы ахнула Параскева.

— Нѣтъ! — быстро отвѣтила дама. — Я не при царицѣ. Я пріятельница дамы придворной, которая меня съ собой привезла изъ Петербурга. Я при ней и живу теперь.

— Царицу-то выдаешь все-таки?

— Видаю.

— Видаешь? — многозначительно, но робко переспросила старуха, какъ бы смутясь.

— Видаю. Рѣдко.

— Рѣдко? — какъ бы съ облегченіемъ повторила Параскева. — Но все-таки инъ выдаешь... Вона какъ?! А я съ тобой болты болтала. Думала, ты барынька изъ города. У насъ бывають такія-то. Приѣзжаютъ погулять по полю, по лѣсу... Сказываютъ, въ городѣ скучно. Да. Вона что? А ты царицу выдаешь. Ну, не осуди, золотая моя. Я, вѣдь, не знала.

— Что же такое, старушка, не бѣда. Я рада была съ тобой поговорить. Ты умная... Ты мнѣ совѣтъ хорошій дала, — разсмѣялась дама и прибавила, вставая: — ну, прощай.

— Прости, золотая моя, — кланяясь, отвѣтила Параскева. — Я, вѣдь, не знала.

— Въ другой разъ приду сюда. Опять встрѣтима и опять поговоримъ,— ласково улыбнулась дама.

— Какъ изволишь. Я что же... Рада служить.

Дама встала, улыбаясь, кивнула головой и тихо двинулась. Вскорѣ она исчезла за стволами деревьевъ.

Параскева долго глядѣла ей вслѣдъ и, наконецъ, потерявъ изъ виду, пробурчала себѣ подъ носъ.

— Вона что? На каку наскочила!

Дама вышла изъ лѣса и, пройдя лужайку, вошла въ большой дворъ, въ глубинѣ котораго высился красивый домъ. Солдаты, стоявшіе у крыльца на часахъ, при ея появленіи вытянулись и взяли на-караулъ, отдавая честь.

IV.

Въ то же время Параскева тихой, но твердой походкой вернулась домой въ свою избу на самомъ краю села Петровскаго, вдаль отъ ряда крестьянскихъ избъ.

Молодой малый, лѣтъ 25-ти, сидѣвшій на крылечкѣ, за-видя ее, быстро поднялся и юркнулъ въ избу. Старуха тотчасъ смекнула, что это значило.

— Ахъ, разбойникъ, — проворчала она добродушно. — Робята! Думаютъ перехитрить. А гдѣ же человѣку, коему на свѣтѣ двадцать минуло годовъ, перехитрить того, кому сто лѣтъ.

Старуха вошла въ избу. Среди первой горницы стоялъ, какъ бы въ ожиданіи, тотъ же молодецъ, а рядомъ красивая дѣвушка, лѣтъ 18-ти. Это были правнуки старухи.

— Ну, что, разбойники? Сказывайтесь.

Молоденькая Аленка стояла, виновато потупившись, но улыбаясь. А ея братъ Титъ смотрѣлъ въ глаза прабабушки и отозвался смѣло.

— Чего тебѣ, бабуся?

— Чего? Говорю, сказывайтесь, разбойники.

— Нечего намъ сказываться.

— Ну, ты, Аленушка, — обернулась старуха къ правнучкѣ. — Ты у меня прямая душа. Не чета братишкѣ-грѣховоднику. Ты скажешься.

— Да что, бабуся? — отозвалась Аленка, стараясь показаться удивленной вопросомъ.

— Что! Вѣстимо что. Что такое у васъ тутъ приключилось? Вижу я, что васъ спугнула. Вижу, что дѣло нечисто. Ну, и кайтесь, головорѣзы.

Наступило молчаніе. Аленка все стояла, потупившись, но на лицѣ ея не было страха.

Титъ отошелъ къ окошку, повернулся къ старухѣ спиной и началъ что-то мурлыкать.

— Вы что же это въ самомъ дѣлѣ?! — повысила голосъ Параскева.—Вы такъ-то со мной, старой? А если я васъ выгону отъ себя и никогда на глаза не пушу болѣ. Ну. Что тогда?

— Полно, бабуся, — обернулся Титъ. — И какъ тебѣ не надоѣстъ, всякій-то день, почитай, одни и тѣ же слова говоришь.—Выгону, да выгону. Вѣдь, кажись, лѣтъ десять ты это сказываешь. Никогда ты насъ не выгонишь, да и не можешь. Во-первыхъ, этого и законъ не велить, чтобы выгнать внуковъ на всѣ четыре стороны. Я не пропаду, а вотъ Аленкѣ бѣдствовать или милостыню просить — не слѣдъ. Да и ты, не видая насъ, сейчасъ помрешь. Тебѣ безъ насъ не жить. Трехъ-день ты не проживешь безъ Аленки. Соскучишься и ноги протянешь.

— Не ври, деревянная голова, — отозвалась старуха, стараясь сдѣлать свой голосъ гнѣвнымъ.— Вы меня изводите... Я отъ васъ помру. Вѣрно! А безъ васъ проживу — нельзя лучше.

— Нѣтъ, не проживешь!—усмѣхнулся Титъ.

— Анъ тебѣ говорю, проживу. Ну, ты умница, — пристушила старуха къ правнучкѣ. — Говори. Сказывайся, что у васъ тутъ?

— Да ничего же, бабуся.

— Побожись.

Аленка молчала и затрясла головой.

— То-то... Не можешь божбу на душу взять.

— Зачѣмъ ей зря по сту разовъ въ день божиться! — вступился Титъ за сестру.

— Ахъ, отчаянные. Чисто дерева! Вѣдь вижу я... Ну, ладно же, погодите, озорники. Будетъ вамъ! Я знаю, что сдѣлаю.

Старуха, разгнѣвавшись не на шутку, сѣла на скамью и старалась догадаться, въ чемъ собственно дѣло, такъ какъ она видѣла ясно, что застала правнуковъ врасплохъ.

— Ты бы, бабуся, пошла поглядѣть на избу сотскаго. Посмотрѣла бы, что тамъ у него приключилось. Такое, что ахъ-ти!—заговорилъ молодой малый.

— А, что такое? — удивилась Параскева.

— Да вотъ поди. Увидишь, такъ и запрыгаешь. Хоть и не махонькая, а запрыгаешь.

— Да что такое, оголтѣлый.

— Поди, говорю, и увидишь.

Старуха привстала, хотѣла выйти изъ избы, но вдругъ сообразила, что молодецъ хитритъ.

— Нѣтъ, я ужъ лучше послѣ пойду, — вымолвила она, лукаво ухмыляясь.

Братъ съ сестрой переглянулись, улыбнулись и, наконецъ, начали смѣяться весело и добродушно.

— Ничего съ бабусей не подѣлаешь, — выговорилъ Тить. — Видно нужно каяться. А то просидитъ она тутъ до вечера, и въ городъ опоздаемъ. Ей, Матюшка. Вылѣзай. Дѣлать нечего, — крикнулъ онъ.

И въ ту же минуту изъ угла, гдѣ было на гвоздяхъ навѣшано платье, вынырнула взлохмоченная черная и кудрявая голова. И затѣмъ молодой малый, ровесникъ Тита, вылѣзъ изъ своей засады.

— Прости, Параскева Васильевна. Не гнѣвайся, — выговорилъ онъ, кланяясь.

— Ахъ, разбойники! — закачала головой старуха. — Не даромъ я чуяла! Какъ пришла, смекнула, что дѣло не чисто. Ну, что же мнѣ теперь съ вами дѣлать? Къ самому графу Кириллу Григорьевичу пойду и буду жаловаться.

— Будь милостива, Параскева Васильевна. Не могу я твоего приказанія уважить, не могу не бывать у васъ. Что хочешь, то и дѣлай. Хошь голову сними, а я все-таки сюда ходить буду! — покорно проговорилъ молодой малый.

— Ахъ, разбойники, мучители мои! — закачала головой старуха.

— Послушай, бабуся! — вступился Тить. — На сей разъ Матюшку прости. Онъ пришелъ за мной. Мнѣ мѣсто важнѣющее открывается. Въ конюха. Да еще не къ простому барину, а къ князю.

— Ой-ли? — оживилась вдругъ Параскева.

— Ей-Богу, — отвѣтилъ Матюшка. — Мѣсто прямо диводивное. Одинъ всего конь. И господъ — одинъ князь. А при

немъ дядька, хорошій, добрый. У насъ въ домѣ спрашивали, нѣтъ ли молодца. Я вотъ про Тита сказалъ, поручился, какъ за родного. Ну, вотъ и ведѣли его къ тому князю привести.

— Ну, что же... На этотъ разъ Богъ съ тобой. Спасибо,— сказала старуха.—Но ходить къ намъ все-таки не ходи. Вольная крѣпостному...

— Ну, ну... Слышали ужъ сто разовъ, — махнулъ рукой Титъ.

— Слышали и еще услышите... Да. Не пара. Покуда я жива, да Аленушка при мнѣ...

— Тоже слышали, бабуса,— снова прервалъ старуху правнукъ. — Ты про дѣло скажи. Если этотъ самый князь меня возьметъ, я назадъ не приду. Навѣдаюсь когда послѣ. Когда отпустить. Пускай Аленка меня провѣдать придетъ.

— Какъ бы не такъ, — отозвалась Параскева. — Она къ тебѣ, а ты съ ней къ Матюшкѣ. Хитры больно.

— Что же тутъ худого, Параскева Васильевна, — заявилъ молодой парень. — Ужъ такъ ли, сякъ ли, а быть Аленушкѣ моей женой. Вѣрю я въ эфто во-какъ. Зато она у насъ на дворѣ повидала бы, чего ни въ жисть не увидить.

— Чего это такого?—спросила старуха небрежно.

— Всѣхъ питерскихъ вельможныхъ господъ. Всѣ - то въ золотѣ... Нашего Григорія Григорьевича увидѣла бы въ его кафтанѣ царичинскомъ. Нонѣ въ Москвѣ токмо и говорю, что про господъ Орловыхъ. Они, у меня, первыми стали...

— Тѣмъ хуже, Матюшка. Тѣмъ хуже, дуракъ! — воскликнула Параскева.

— Это точно...—уныло отозвался парень, вздохнувъ.

V.

Старушка Прасковья Васильевна Бѣляева называла себя «Параскева» — такъ, какъ ее звали всѣ за всю жизнь. Когда у нея спрашивали, почему у нея такое имя, она отвѣчала просто:

— А Богъ его знаетъ! Всю жисть такъ прозывалась.

Говоря, что ей за сто лѣтъ, она, конечно, преувеличивала, но то обстоятельство, что она была уже замужней во дни стрѣлецкаго бунта и сама видѣла умерщвление боярина Матвѣева, доказывало, что за девяносто лѣтъ старухѣ, конечно, уже было, хотя на видъ ей казалось менѣе.

Параскева была очень умная и очень добрая старуха. Родясь въ глуши Приволжской губерніи въ маленькой глухой деревушкѣ, она попала въ дворню и въ услуженіе въ барскій домъ и до двѣнадцати лѣтъ была сѣнной дѣвченкой «побѣгущкой», а очутившись въ Москвѣ, вышла замужъ за лакея важнаго сановника.

Благодаря уму и извѣстной долѣ хитрости, она добилась того, что вмѣстѣ съ мужемъ была отпущена господами по оброку. Черезъ десять лѣтъ, сумѣвъ скопить деньги, она вмѣстѣ съ тремя дѣтьми вышла на волю. Еще черезъ десять лѣтъ она овдовѣла, но имѣла уже маленький домикъ въ одномъ изъ глухихъ переулковъ Москвы и получала порядочный доходъ не отъ дома, конечно, а отъ того ремесла, за которое взялась.

Ремесло это сдѣлало ее извѣстной всей дворянской Москвѣ. По цѣлымъ днямъ бывали у нея посѣтители, приносившіе ей по пяти и десяти и болѣе копеекъ. Мужчинъ бывало меньше, женщинъ—больше, причѣмъ бывало особенно много барскихъ барынь, ключницъ и нянюшекъ.

Раза три-четыре въ недѣлю Параскеву звали въ дома ради того же ремесла, очень выгоднаго съ одной стороны и опаснаго съ другой. Денегъ оно давало больше, чѣмъ какая-либо торговля. Зато многіе косились на Параскеву и побаивались ее, такъ какъ дѣло ея было—гадать на картахъ, на кофейной гущѣ, на зернахъ и просто на водѣ.

Женщина согласилась сдѣлаться ворожеей ради дѣтей и большихъ средствъ къ жизни, но на душѣ ея вмѣстѣ съ тѣмъ явился разладъ. Сама она, женщина отъ природы правдивая и прамодушная, а равно и богомольная, знала, что она живетъ какъ бы обманомъ людей, да кромѣ того, гадая и толкуя людямъ объ ихъ будущей судьбѣ, она, пожалуй, и грѣшитъ.

— Нешто можно провидѣть о томъ, что Господь судитъ? Толковать объ этомъ, пожалуй, грѣхъ большой,—думалось ей.

Вслѣдствіе этого нравственнаго разлада произошло то странное явленіе, что Параскева, считаемая чуть не колдуньей, не пропускала ни одной службы въ своемъ приходскомъ храмѣ, говѣла по четыре раза въ годъ, а на свѣчи къ мѣстнымъ образамъ тратила большія деньги. И ежедневно, просыпаясь и ложась спать, она, читая молитвы, прибавляла со вздохомъ:

— Авось Господь проститъ, разживусь совсѣмъ, брошу это грѣховодничество.

Гадавая разнымъ господамъ, дворянамъ и ихъ прислугѣ, Параскевѣ случалось, конечно, изрѣдка предсказывать такъ вѣрно, что всѣ бывали поражены, и молва разносила по Москвѣ ея имя. При этомъ, разумѣется, умная и тонкая старуха пользовалась тѣмъ, что была крайне наблюдательна и сообразительна.

Прежде чѣмъ явиться гадать въ какомъ-либо важномъ домѣ, Параскева собирала объ семьѣ всякія свѣдѣнія. Въ этомъ дѣлѣ ей помогали десятка полтора всякихъ мѣщанокъ и бѣдныхъ дворянокъ, которыя сновали изъ дома въ домъ и знали близко всѣ дѣла, всю подноготную каждой дворянской семьи.

Поэтому, придя гадать въ какой-нибудь домъ, Параскева не только знала хорошо наличный составъ всей семьи, но по большей части и знала всѣ дѣла ихъ и всѣ главные заботы насущныя. Кромѣ того, благодаря своимъ картамъ, женщины случалось равно устраивать и разстраивать важныя дѣла: не только покупку или продажу имущества или имѣнія, но и свадьбы. А за это ее обдаривали тѣ, кому бывала прямая польза.

Такъ прошло много лѣтъ, и однажды женщина, имѣя большой достатокъ, раздѣлила его между сыномъ и дочерью, оставивъ себѣ немного. У нихъ завелись собственныя семьи. Она осталась жить одна на гроши и, тотчасъ же бросивъ свое выгодное ремесло, чувствовала себя счастливой, что перестала лукавить, обманывать людей и грѣшить передъ Богомъ.

Дѣти ея не разжились, а прожились, и кончилось тѣмъ, что когда Параскевѣ минуло почти восемьдесятъ лѣтъ и сынъ ея и дочь умерли, внучка замужняя тоже умерла, но оставивъ на свѣтѣ двухъ круглыхъ сиротъ, старуха взяла поневолѣ правнучатъ къ себѣ, и пришлось снова подумывать о заработкѣ. Но снова взяться за гаданье въ свои годы Параскева не рѣшилась, конечно.

— Скоро умирать придется! — рѣшила она. — Надо свою душу спасать. Еще невѣдомо, замолила ли я свой старый грѣхъ, такъ гдѣ же тутъ опять начать грѣшить?..

И какъ женщина, крайне сообразительная, Параскева придумала иное средство имѣть достатокъ. Будучи случайно знакома съ однимъ изъ любимыхъ слугъ гегмана графа Разумовскаго, она черезъ этого пріятеля устроилась на особый ладъ. Она добилась, хотя и съ трудомъ, что въ подмосковномъ имѣ-

ни Петровскомъ получила цѣлую десятину земли внаймы, на которой завела огородъ.

На небольшія деньги, оставшіяся у правнуковъ отъ ихъ матери, она выстроила просторную избу—цѣлый домикъ близъ самой десятины и принялась за дѣло, которое не было такимъ грѣшнымъ, какъ прежде. И дѣло пошло на ладъ. Многіе дворяне въ Москвѣ, конечно, изъ небогатыхъ, стали ея покупателями. И время живо промельнуло.

Когда-то Параскева поселилась промежъ села и лѣса съ двумя маленькими дѣтьми, теперь со старухой жили: здоровый, рослый молодецъ Титъ и хорошенькая Аленка. Но только теперь явилась у Параскевы новая забота, преслѣдовавшая ее отъ зари до зари.

Аленку полюбилъ славный малый изъ двора господина Орлова. Аленка тоже влюбилась въ него до потери разума. А между тѣмъ согласиться на бракъ старуха не рѣшалась, такъ какъ опытомъ жизни пришла къ убѣжденію, что крѣпостное состояніе самое жалкое. Добрый же и честный Матюшка, котораго старуха тоже полюбила, былъ крѣпостнымъ господина Орлова. Выдать свою внучку—вольную птицу и имѣющую еще за собой и приданое, за крѣпостного человѣка, чтобы закабалить съ воли въ крѣпость, старуха не могла.

Цѣлую зиму толковали вмѣстѣ объ этомъ дѣлѣ старуха, правнуки и Матюшка. Молодежь увѣряла, что быть крѣпостнымъ никакой бѣды нѣтъ, если господа добрые, но старуха стояла на своемъ и считала этотъ случай въ ея жизни наказаніемъ за ея прежніе грѣхи. Мало ли молодцовъ въ Москвѣ свободныхъ, нужно же было внучкѣ полюбить крѣпостного холопа.

И энергичная старуха упрямо стояла на своемъ, что не выдастъ внучку за Матюшку до тѣхъ поръ, пока онъ не получитъ отпускной. Тогда молодой малый черезъ управителя своего барина Ивана Григорьевича Орлова началъ переговоры, и баринъ соглашался отпустить на волю двороваго, но не иначе какъ за пятьдесятъ рублей, что было деньгами, по выраженію Параскевы, «агроматными», то есть громадными.

Цѣнилъ такъ баринъ своего молодца, потому что теперь завелись новые самовары, одни большущіе, другіе крошечные, которые надо было умѣть ставить, а Матюшка, будучи въ домѣ «самоварникомъ», былъ на дѣло мастеръ.

Деньги эти старуха начала, однако, откладывать втихомолку, но вдруг за это лѣто случилось удивительное приключеніе, которое, поразивъ всю Москву, поразило особенно старуху, хотя совершенно на особый ладъ. Баринъ Орловъ, будучи братомъ двухъ петербургскихъ гвардейцевъ, долженствовалъ, по слухамъ, ходившимъ послѣ воцаренія новой императрицы, вдругъ сдѣлаться именитымъ бариномъ и сдѣлаться вдвое богаче.

Параскева была поражена, правнуки ея тоже: Матюшка окончательно носъ повѣсилъ. Разбогатѣвшій баринъ могъ теперь совсѣмъ не отпустить двороваго на волю или же просить гораздо больше. Старуха сочла и это обстоятельство какъ бы наказаніемъ за прежній свой грѣхъ ворожбы и гаданія.

«Нужно же было именно Матюшкину барину попасть въ вельможи и въ богачи» — думалось старухѣ отъ зари до зари.

Эта неожиданная бѣда не выходила изъ головы Параскевы, и объ этой бѣдѣ именно она и хотѣла сказать той барынькѣ, которую встрѣтила сегодня. Она сказала:

— Твое чужое мнѣ дѣло руками разведу, а вотъ къ своему горю ума не приложу!

И, дѣйствительно, все, что барынька ей рассказала, казалось Параскевѣ самымъ простымъ и пустяковиннымъ дѣломъ, сравнительно съ дѣломъ Матюшки.

Теперь вернувшись отъ барыньки и найдя снова Матюшку у себя въ домикѣ, Параскева должна была поневолѣ простить правнуковъ, ради того, что орловскій «самоварникъ» принесъ добрую вѣсть.

Вотъ уже три мѣсяца прошло, что Титъ, всегда имѣвшій въ Москвѣ мѣсто, теперь сидѣлъ на харчахъ у своей прабабки безъ дѣла и безъ жалованья. А оно было большимъ подспорьемъ. Расчитанный за что-то отъ господъ, онъ никакъ не могъ найти новой должности, такъ какъ у всѣхъ дворянъ были свои крѣпостные въ услуженіи и во всѣхъ домахъ ихъ была куча. И наемные рѣдко кому были нужны.

Вѣсть, принесенная Матюшкой, что петербургскій офицеръ ищетъ конюха на большое жалованье въ шесть рублей въ годъ, а офицеръ этотъ въ добавокъ еще и князь, обезоружило старуху.

— Ну, Богъ тебя прости, отчаянный, — сказала она. — А все-таки больше не ходи къ намъ, куда не откупишься.

Затѣмъ старуха, не любившая откладывать дѣло въ долгій ящикъ, несмотря на позднее время, тотчасъ спровадила правнука въ Москву попытать счастье.

VI.

Поздно вечеромъ Титъ и его пріятель были уже въ Москвѣ на Никитской и ужинали въ людской. Молодой парень Матюшка привелъ Тита ночевать къ себѣ, то есть въ домъ своихъ господъ, съ тѣмъ, чтобы на утро рано свести его и рекомендовать на мѣсто къ князю, котораго называлъ: Козловъ, не то Козюлькинъ, не то Косляевскій.

Домъ господъ, которымъ принадлежалъ Матюшка, былъ въ эти дни однимъ изъ первыхъ домовъ столицы. Имя Орловыхъ почти гремѣло и не только въ обѣихъ столицахъ, но и въ глухихъ окраинахъ Имперіи.

Всѣ россияне знали, какое участіе приняли два дворянина-офицера Григорій и Алексѣй Орловы въ происшедшемъ на берегахъ Невы «дѣйствѣ» и воцареніи новой императрицы Второй Екатерины.

Весь вечеръ, что просидѣлъ Титъ въ людской послѣ ужина, онъ видѣлъ, какъ сѣзжались вереницей экипажи во дворъ и какъ большой домъ наполнялся гостями.

— Что же? День андела чей?—спросилъ онъ.

— Какой андель,—отвѣчали холопы.—У насъ эдакъ теперь завсегда. Всѣ теперь къ господамъ полѣзли, всѣ ласкаются. И день деньской, и ночью отбою нѣтъ.

На утро рано пріятели собрались по своему дѣлу, но оказалось, что Матюшкѣ отлучиться нельзя. Пришлось ставить самовары. И Титъ только ахалъ, помогая пріятелю. Самоваровъ двадцать поставили они, да самоваровъ восемь долили и разогрѣли.

— Да кто же это у васъ такъ наливается? — спросилъ онъ.

— Кто? Всѣ! Мало ли народу!—объяснилъ Матюшка.— У нашего барина Ивана Григорьевича на хлѣбахъ много народа. Да молодые господа изъ Питера съ собой навезли всякихъ пріятелей. Да гости съ зарей уже лѣзутъ. Бываетъ, я и тридцать пять самоваровъ поставлю. Большимъ бариномъ сталъ нашъ Иванъ Григорьевичъ изъ-за своихъ питерскихъ братьевъ. Да и шутка ли, когда оба при царицѣ, а Григорій-

то Григорьевичъ и совѣмъ при ней первымъ. Датютюнтомъ что ли?

— Какъ? Чѣмъ?—удивился Тить.

— Не знаю. Мудреное прозвище его. Ну эдакъ къ примѣру сказать: онъ при царицѣ въ денщикахъ состоитъ. А прозывается: генераль датютунъ аль датютанъ.

И Тить, продолжая ставить самовары, продолжалъ дивиться, глядя въ окно на дворъ и на вереницы въѣзжающихъ и уѣзжающихъ экипажей и всадниковъ.

Дворъ дома Орловыхъ на Никитской у церкви Егорья на Вспольѣ бывалъ дѣйствительно переполненъ экипажами съ утра до вечера. Вся Москва сновала ежедневно у господъ Орловыхъ, рассуждая, что ихъ вскорѣ придется звать «сіятельствомъ», а титулъ второго брата Григорія Григорьевича будетъ, пожалуй, и еще повыше. И по такимъ причинамъ, о которыхъ и говорить опасно...

Всего мѣсяца три-четыре назадъ, когда въ родовомъ домѣ, доставшемся отъ покойнаго отца, жилъ одинъ старшій Иванъ Григорьевичъ Орловъ, не бывало никого, кромѣ полдюжины самыхъ близкихъ пріятелей. А нѣкоторые сановные люди Москвы даже и не знали, есть ли такой дворянинъ Орловъ.

Первый вельможа первопрестольной фельдмаршалъ графъ Разумовскій былъ и первый обыватель Москвы, который уже съ полгода назадъ вдругъ полюбопытствовалъ узнать: «Кто и что дворянинъ Орловъ и не родня ли онъ одного петербургскаго офицера, цалмейстера Орлова?»

А пожелалъ это узнать фельдмаршалъ, любимецъ и близкое ближайшее лицо къ покойной императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, по причинѣ нѣкоторыхъ слуховъ, уже дошедшихъ къ нему съ береговъ Невы.

И графъ узналъ, что у дворянина Орлова еще четыре брата и всѣ они въ Петербургѣ, трое офицеры, а одинъ еще кадетъ. А извѣстны братья только тѣмъ, что первые охотники на медвѣдей. Народъ лихой, но и кутилы изъ первыхъ.

Черезъ мѣсяца три послѣ разспросовъ Разумовскаго Москва вспомнила, поняла, почему вельможа любопытствовалъ раззнать кой-что объ этихъ людяхъ. Совершился переворотъ въ пользу супруги императора Петра Ѳеодоровича, и она изъ принцессъ Ангальтъ-Цербтскихъ была провозглашена Императрицей Самодержицей. А жожаками всего переворота, совершеннаго двумя гвардейскими полками, были братья Орловы.

И тотчас послѣ этого Григорій Орловъ былъ назначенъ генералъ-адъютантомъ къ государынѣ.

— Пожалуй, будетъ онъ при новой царицѣ тѣмъ же, тѣмъ и я былъ при покойной, объяснялъ графъ. Разумовскій близкимъ друзьямъ.

— Какъ можно! Богъ съ вами!—отзывались они въ одинъ голосъ.—Такіе рѣдкіе случаи не повторяются. Что же Орловъ? Офицерикъ изъ захудалыхъ дворянъ.

— А я то и вовсе изъ пастуховъ хохлацкихъ!—шутилъ графъ, всегда помнившій и говорившій прямо, кротко и скромно о своемъ простомъ происхожденіи.

Несмотря на особенно большой сѣздъ гостей въ этотъ день, Матюшка и Тить около полудня все-таки убралась со всѣмъ и отправились по своему дѣлу.

Князь, къ которому Матюшка повелъ пріятеля поступать на мѣсто, жилъ не далеко, на Арбатѣ, на церковномъ дворѣ въ небольшомъ домикѣ, который нанималъ.

Молодцы явились съ задняго крыльца, нашли пожилую женщину и объяснились. Женщина велѣла имъ обождать въ сѣняхъ и сказала.

— Пойду Ивану Кузьмичу скажу. Да только ему не время. Онъ съ князькомъ бранится. Только сейчасъ началъ. Стадо быть, вамъ долго придется ждать-то.

— Какъ же такъ?—спросилъ Матюшка.

— Какъ. Просто. Схватились. А когда Кузьмичъ съ княземъ зачнутъ пыряться, конца нѣтъ. Бываетъ цѣльный день щиплются. Хуже вотъ пѣтуховъ бьются.

— Дерутся!—ахнулъ Тить.

— Вотъ дуракъ! Нешто крѣпостной человекъ можетъ съ баринкомъ своимъ драться... Щиплются. Словами другъ другу шпыняютъ. Обождите часокъ. Замолчатъ-коли на минуточку, я пожалуй войду и доложу. А во время битвы лѣзть, отъ обоихъ достанется.

Молодцы усѣлись на ступенькахъ задняго крыльца, и, благодаря тишинѣ, на улицѣ, на дворѣ церковномъ, да и во всемъ кварталѣ гулъ голосовъ двухъ спорящихся въ квартирѣ ясно доносился до нихъ. Только словъ нельзя было разобрать. Черезъ нѣсколько минутъ, когда гулъ замолкъ, женщина прошла въ комнаты и не затворила за собой дверей. Молодцы явственно разслышали старческій голосъ, который восклицалъ:

— Въ гробъ уходишь меня. Въ гробъ уходишь. Увидишь въ гробу—помянешь... Поплачешь, пожалѣешь. Да поздно будетъ. Мертвый не встанетъ, какъ ни проси.

— Не я тебя... Нѣтъ. Не я тебя... А ты, вотъ, меня, Кузьмичъ, на тотъ свѣтъ спровадишь своей канителью!—отвѣчалъ молодой голосъ съ отѣнкомъ досады.

— Богу отвѣтъ отдашь, хоша и дите...

— Хорошо дите выискалъ. У тебя я и въ сорокъ лѣтъ, приживъ съ женой своихъ ребятъ, все дитей буду.

— Вотъ женися и не буду дитей звать.

— Отвяжися ради Создателя.

— Не отвяжуся.

Женщина вернулась, не доложивъ о пришедшихъ, и захлопнула двери. И снова доносился только одинъ гулъ голо-совъ.

И только черезъ часъ вышелъ старикъ, дядька князя, и, увидавъ молодцовъ, спросилъ. Тить ему показался пригоднымъ, и онъ тотчасъ доложилъ барчуку.

VII.

Князь Александръ Никитичъ Козельскій былъ молодой 22-лѣтній парень измайловскаго полка, только что произведенный въ чинъ изъ сержантовъ. Москвичъ по рожденію и сирота, воспитанный теткой, которая его боготворила, онъ поступилъ въ полкъ, и, очутившись одинъ въ Петербургѣ, много пережилъ невзгодъ.

Жизнь съ солдатами въ казармѣ, за неимѣніемъ средствъ, требованія службы, отсутствіе женскаго ухода и всякаго баловства, вліяли на молодого человѣка гнетомъ. Онъ считалъ Петербургъ своего рода Сибирью, а свою службу каторгой. Командиръ роты, въ которую онъ былъ зачисленъ, далъ ему прозвище сначала «маменькинъ сынокъ», потомъ «Александра Никитишна», потомъ «сахарная барышня», и наконецъ уже «пуганая канарейка».

Дѣйствительно, молодой малый, явившійся на службу въ видѣ добраго, скромнаго юноши, воспитаннаго, какъ дѣвочка, а не какъ мальчикъ, сталъ понемногу пуганая... если не ворона, то пташка. Запугали его порядки полковые и казарменная жизнь.

На видъ казалось князю не двадцать два года, а лѣтъ семнадцать. Средняго роста, сильно полный, кругленькій, бѣлый и румяный, еще не брѣющійся за неимѣніемъ даже и пушка на губахъ—онъ былъ «пышка». Кромѣ того, съ добрыми, свѣтлосѣрыми глазами, съ милой полудѣтской улыбкой на пухлыхъ пунцовыхъ губахъ, съ тихимъ дѣвичьимъ голосомъ и мягкими не мужскими движеніями—офицеръ походилъ на переодѣтую въ мундиръ молодую дѣвушку. Ни дать, не взять,—дѣвица пышка.

И въ полку всѣ товарищи облюбили больше всего второе прозвище, данное князю ротнымъ командиромъ, такъ какъ оно отлично шло къ нему. Заглазно онъ былъ для всехъ «княжна Александра Никитишна». Но вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ любили добраго и скромнаго молодого человѣка и старались смягчить его положеніе «запуганнаго» службой послѣ домашняго житья подъ крылышкомъ или подъ юбками обожавшей его матушки и боготворившей его дворни. Воспитательница его, старая дѣвица Осоргина, хотя была и не богата, но держала при себѣ кучу дворовыхъ. Сдѣлавшись изъ боготворимаго барчука солдатомъ, онъ усердно, но тщательно старался быть воинкомъ-офицеромъ, избѣгать взысканій и огорченій, но ничего не выходило, и онъ только сталъ тѣмъ, что командиръ окрестилъ прозвищемъ «пуганая кинарейка». Онъ прозвалъ бы коношу и вороной пуганой, но изящная внѣшность князя этого не допускала.

Когда прошелъ слухъ, что коронація новой императрицы совершится безотлагательно въ сентябрѣ мѣсяцѣ, а два полка гвардіи выступятъ гораздо ранѣе, князь Козельскій обрадовался. Не было сомнѣнія, что измайловцы пойдутъ на коронацію, и юный офицеръ надѣялся повидаться съ своей теткой, которую съ дѣтства очень любилъ.

Однако, князю пришлось выѣхать въ Москву еще въ концѣ іюля и не для свиданія съ своей воспитательницей, а на ея похороны. Старая Осоргина внезапно скончалась, а ея воспитанникъ былъ вызванъ дядей, роднымъ братомъ отца.

Приглашеніе явиться въ Москву отъ этого дяди было для молодого человѣка двойной неожиданностью.. Онъ плакалъ искренно и говорилъ о потерѣ доброй старухи, замѣнившей ему родную мать, но вмѣстѣ съ тѣмъ и дивился несказанно, что его вызываетъ дядя князь Александръ Алексѣевичъ Козельскій.

Онъ этого дяди совсѣмъ не зналъ, даже никогда не видалъ, съ семилѣтняго возраста, когда этотъ дядя явился на похороны своего брата, а его отца Никиты Алексѣевича.

Юный князь не имѣлъ никакого понятія объ этомъ дядѣ, зналъ только со словъ воспитательницы тетки, что старикъ лѣтъ шестидесяти былъ «чудодѣй», былъ когда-то женатъ на страшной полужидовкѣ богачкѣ, давно овдовѣлъ, жилъ въ вотчинѣ около Калуги, тратилъ громадныя деньги на разныя «чудеса» и нравомъ былъ таковъ, какихъ:—«весь свѣтъ пройди—второго не сыщешь!»

Но въ чемъ дядя былъ чудодѣй и какія чудеса творилъ, старая дѣвица никогда ни единымъ словомъ не обмолвилась, объясняя питомцу, что юношамъ эдакое знать не приличествуетъ.

— Въ свое время, когда станешь мужчиной, то и многое узнаешь, что будетъ еще хуже дядюшкиныхъ чудесъ,—вздыхая, говорила тетка.—А пока не надо тебѣ о таковыхъ мірскихъ обстоятельствахъ понятие и сужденіе имѣть.

И тотъ дядя представлялся воображенію князя Александра то какимъ-то сказочнымъ Царемъ Берендѣемъ, то Кошечемъ Безсмертнымъ. Во всякомъ случаѣ, представлялся ему уродливымъ, злымъ и страшнымъ. Этому преставленію не мало помогало и то обстоятельство, что дядя и крестный отецъ, въ честь котораго онъ носилъ имя Александра, заявлялъ старой дѣвицѣ два-три раза, что видѣть своего крестника и племянника не желаетъ, такъ какъ вообще мальчишекъ не любитъ, ибо они всегда безъ исключенія «сухая пакость».

Старуха частенько охала и тужила, что у сироты питомца нѣтъ никакого состоянія, кромѣ двадцати пяти душъ крестьянъ въ глухой степной Орловской вотчинѣ, гдѣ даже и барскій домъ не существуетъ, давно сгорѣлъ. Сама она послѣ своей смерти могла оставить племяннику маленькое полуразоренное имѣніе тоже въ Орловской губерніи, около полсотни душъ. Жить на доходы и оброкъ можно будетъ питомцу благоприлично, по-дворянски, но очень не широко. А между тѣмъ у родного дяди такое состояніе, что деньгамъ и счету нѣтъ. Въ одной Калужской губерніи до тысячи душъ въ трехъ большихъ имѣніяхъ. Да кромѣ того богатыя вотчины еще въ трехъ губерніяхъ.

И бесѣды Осоргиной съ питомцемъ нѣсколько лѣтъ сподрядъ о будущности и судьбѣ ея «Сашунчика» сводились всегда къ одному:

— Что бы богачу дядѣ подарить племяннику хоть полтысячи душъ. Что бы ему и совсѣмъ сдѣлать крестника своимъ наслѣдникомъ. Что бы ему вдругъ, прости Господи, сразу преставиться и безъ завѣщанія въ пользу какой-нибудь посторонней «ублажательницы». Тогда Александръ сталъ бы богачемъ, а потомъ сталъ бы генераль-аншефомъ.

Когда юноша собрался въ полкъ, дядя, несмотря на письма и просьбы старой дѣвицы помочь ей «обшить и справить» племянника, не далъ ни гроша и даже отвѣтилъ коротко и грубо. Затѣмъ, явившись въ отпускъ къ теткѣ послѣ производства въ капралы и трехлѣтняго пребыванія въ полку, князь Александръ узналъ отъ Осоргиной, что дядя князь Александръ Алексѣевичъ въ свои шестьдесятъ лѣтъ съ хвостикомъ собрался жениться вторично и можетъ быть уже и повѣнчался съ «Молдашкой» лѣтъ пятнадцати.

Слухъ о появленіи и существованіи «Молдашки». т. е. молдаванки при особѣ князя Александра Алексѣевича подтвердился за время пребыванія князя-капрала у тетки. Но слухъ о женитбѣ, однако, не подтвердился. Дальній родственникъ обоихъ князей, пріѣхавшій изъ Калуги, заявилъ только, что видѣлъ «Молдашку» собственными глазами.

— Маленькая, черненькая, лохматая и востроносая...—объяснилъ онъ. Визжитъ, царапается и кусается...

— Охъ, Господи! — обомлѣла старуха. Да почему же эдакъ-то?

— Молдашка, сударыня. Вотъ почему, — объяснилъ родственникъ, коротко и ясно.

Князь Александръ никогда особенно не мечталъ и не надѣялся получить въ наслѣдство огромное состояніе дяди, но все-таки изрѣдка, поневолѣ подумывалъ, подъ влияніемъ мечтаній Осоргиной: «Почемъ знать, чего не знаешь!»

Молдашка смутила и старуху, а онъ, вернувшись изъ отпуска въ полкъ, тоже пересталъ окончательно думать о дядѣ и наслѣдствѣ. Онъ теперь уже зналъ и понималъ, въ чемъ заключались «чудеса» дяди вдовца, а равно зналъ, чего ждать отъ разныхъ Молдашекъ и имъ подобныхъ «прелестницъ».

VIII.

На похороны воспитательницы тетки, Сашокъ, конечно, не поспѣлъ, ибо покойница давно уже была похоронена, такъ

какъ со дня ея смерти прошло около двухъ недѣль. Но на квартирѣ покойной онъ нашелъ письмо дяди на его имя, въ которомъ тотъ совѣтовалъ племяннику привести всѣ дѣла въ порядокъ, т. е. вступить во владѣніе наслѣдствомъ, но и уплатить «по чести» всѣ долги покойницы, а въ томъ числѣ и пятьсотъ рублей, давнымъ давно должныхъ ею ему, князю Александру Алексѣвичу. При этомъ князь-дядя объяснялъ:

«Лѣтъ уже десять слишкомъ были мною госпожѣ Осоргиной даны двѣсти пятьдесятъ карбованцевъ. Прибылей никакихъ я не видалъ съ нихъ, ни алтына. А понежѣ всякій капиталъ, хотя бы то былъ и алтынъ, за десять годовъ удвоится, то ты и почти своимъ долгомъ чести оный долгъ въ пятьсотъ рублей мнѣ уплатить по введеніи себя во владѣніе движимымъ и недвижимымъ имуществомъ покойницы, твоей благодѣтельницы».

Молодой князь подивился не мало. Богачъ-дядя просилъ объ уплатѣ пустой для него суммы, на которую, однако, не могло быть никакого документа.

«Ужъ лучше бы было,—думалъ онъ,—достойнѣе и благопрістойнѣе, не поминать объ этихъ двухъ стахъ пятидесяти рубляхъ, не только жидовствовать и требовать вдвое. А те-тушка еще грезила, что онъ сдѣлаетъ меня, своего единственнаго родственника, наслѣдникомъ своихъ богатствъ».

Объяхавъ въ Москвѣ старыхъ знакомыхъ, Сашокъ, конечно, не умолчалъ о требованіи дяди.

— Весь онъ тутъ—живой!—говорили всѣ.

— Узнаешь князя Александра Алексѣвича!

— И деньги не нужны, конечно. И не желательны даже. Это ради форсу. Онъ не скряга, а скорѣе расточитель.

— Чудодѣйствуетъ. Больше ничего.

И затѣмъ всѣ хоромъ добавляли:

— Да, родной мой, дядюшка у васъ—всю Россію пройти—второго не сыщется. Перваго разбора на чудесничество.

Но одинъ изъ знакомыхъ посовѣтовалъ:

— Сказываютъ, Александръ Алексѣвичъ пріѣдетъ, а можетъ ужъ и пріѣхалъ, ради коронованія. Вы его повидайте и попросите этихъ денегъ не требовать.

— Ни за что! Богъ съ нимъ!—рѣшилъ Сашокъ. — Пошлю ихъ ему...

Справивъ всѣ формальности, чтобы войти во владѣніе маленькимъ наслѣдствомъ, и, повидавъ кой-какихъ прежнихъ знакомыхъ, онъ посѣтилъ въ томъ числѣ самаго главнаго,

дальняго родственника или вѣрнѣе свойственника покойной Осоргиной.

Это былъ человѣкъ лѣтъ 60, служащій въ Верхнемъ земскомъ судѣ, уроженецъ Москвы, никогда ее не покинувшій за всю жизнь. Далѣе Гороховаго поля, Донскаго и Симонова монастырей и Воробьевыхъ горъ онъ отъ столицы никогда не уѣзжалъ. Старика знала вся Москва дворянская и очень уважала. Именовался онъ особенно, а не просто. Какъ дѣдъ его, бояринъ еще времения царя Алексѣя Михайловича, какъ отецъ его, дворянинъ времения Перваго Императора, такъ и онъ современникъ, всѣ трое назывались Романами, а фамилія ихъ была та же, что у царствующаго дома.

Романъ Романовичъ Романовъ, столь же суровый на видъ, сколько добрый человѣкъ, обрадовался появленію «Сашки» Козельскаго, обласкалъ его, пригласилъ навѣщать почаще, а затѣмъ тотчасъ сталъ покровительствовать ему.

Вскорѣ, узнавъ отъ молодого князя, что онъ долженъ немедленно возвращаться на службу, несмотря на то, что скоро весь полкъ выступитъ въ Москву на коронацію царицы, онъ рѣшилъ по-своему.

— Зачѣмъ же?—сказалъ онъ.—Что же шататься зря. Это мы устроимъ.

И черезъ недѣли двѣ Сашокъ получилъ разрѣшеніе оставаться и ждать полкъ. Но когда пришло это разрѣшеніе, уже другая, вторая просьба Романова за молодого князя тоже была исполнена.

Старикъ убѣдилъ юнаго офицера оставаться на службѣ въ Москвѣ, въ качествѣ адъютанта, у кого-либо изъ видныхъ военныхъ... Черезъ недѣли три послѣ первой бесѣды съ Романовымъ князь былъ уже опредѣленъ состоять при особѣ военнаго московскаго генераль-аншефа князя Трубецкаго, въ качествѣ домашняго адъютанта для «ординарныхъ» послугъ.

Все совершилось быстро и просто, но только одинъ князь да его дядька Кузьмичъ удивлялись. Москвичи же не дивились ничему по отношенію къ Роману Романовичу Романову, ибо всѣ давно знали, что у старика сильная «рука» въ Питерѣ, то-есть большія связи. При этомъ замѣчательно было лишь одно обстоятельство. Старикъ былъ одинаково всемогущъ и при царицѣ Аннѣ, и при царицѣ Елисаветѣ.

Теперь же при вступленіи на престолъ новой императрицы, Романовъ тоже разными мелочами доказалъ, что онъ сталъ

еще сильнѣе, да къ тому же, давно будучи на службѣ, вдругъ сталъ начальникомъ Верхняго суда.

Всѣмъ являвшимся съ просьбами ходатайствовать за нихъ, онъ говорилъ, однако, скромно:

— Въ чемъ важномъ, не взыщите, коли съ арбузами останемся. А вотъ въ пустомъ какомъ дѣлѣ я помочь готовъ и помогу, чѣмъ могу.

Однако, эти пустыя дѣла бывали сравнительно для иныхъ москвичей очень важными, какъ, напримѣръ, опредѣленіе на службу, испрошеніе награды, избавленіе отъ ябеды, выигрышъ тяжбы и т. д.

Кто былъ въ Петербургѣ «рукой» Романова, онъ никогда не обмолвился, но предполагали, что при императрицѣ Аннѣ это былъ кабинетъ-министръ Волинскій, а затѣмъ позднѣе и до настоящаго дня оба графы Разумовскіе. Во всякомъ случаѣ, Романовъ теперь бывалъ постоянно у графа Андрея Григорьевича на Покровкѣ, гдѣ тотъ поселился со дня смерти Елизаветы Петровны.

Главный и любимый партнеръ именитаго фельдмаршала въ играхъ, въ шашки и въ бирюльки былъ «Романычъ».

Когда пришлось устроить племянника покойной пріятельницы, Романовъ, вѣроятно, быстро сладилъ дѣло изъ-за покровительства Разумовскаго.

Устроившись окончательно въ Москвѣ, юный Сашокъ вдругъ ощутилъ нѣчто, чего до той поры почти не знавалъ. Недоумѣвая, что съ нимъ приключается или боясь признаться искренно самому себѣ, въ чемъ собственно дѣло, онъ рѣшилъ, что хвораеть. Впрочемъ, Сашокъ, если не зналъ, то чужлъ причину всего, но молчалъ. Дядька же его наивно думалъ, что его питомца просто-на-просто вдругъ обуяла страшнѣйшая скука. И случилось это, по его мнѣнію, просто. Въ Петербургѣ его князинька жилъ въ казармахъ, постоянно видался съ товарищами и вмѣстѣ съ ними короталъ день на службѣ, а вечеръ гдѣ-либо въ гостяхъ. Въ Москвѣ же очутился одинъ, на квартирѣ въ глухомъ переулкѣ Арбата и безъ единаго товарища. Были дворянскія семьи, которыя его звали и обѣдать и вечеромъ, но Сашокъ былъ скромнѣе до конфузливости, дичился чужихъ людей, чувствовалъ себя въ обществѣ связаннымъ и убѣждался, что онъ не достаточно благовоспитанъ.

— Нѣтъ во мнѣ никакой людскости!—вздыхая, жаловался онъ дядькѣ.

Между тѣмъ причина внезапной тоски юнаго офицера, похожей на хвораніе — была особая, хотя тоже простая... На церковномъ дворѣ жила и часто по церковному садику гуляла очень молодая женщина, очень красивая. И такая, какихъ Сашокъ еще никогда не видывалъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, онъ думалъ, все больше думая о ней. А хитрый Кузьмичъ это происшествіе проморгалъ, а поэтому и рѣшилъ, что все тоска одиночества подѣлала.

Впрочемъ, дядька былъ доволенъ, что его питомецъ не «рыскаетъ» по городу и сидитъ больше дома. А отъ этой тоски, вдругъ напавшей на «дите», старикъ ретиво уже искалъ лѣкарство. И то же самое, что безсознательно искалъ самъ Сашокъ.

IX.

Кузьмичъ былъ крѣпостнымъ молодого князя, но онъ былъ его дядькой и, поэтому, не считался лакеемъ. Всякій дядька, какъ и всякая нянюшка, выходявшіе своихъ питомцевъ, пользовались во всякой семьѣ дворянской совершенно особымъ положеніемъ. То обстоятельство, что Сашокъ былъ сиротой, и не имѣлъ никакой родни за исключеніемъ воспитательницы-тетки и дяди, котораго онъ никогда не видѣлъ, дало Кузьмичу еще большее значеніе. Тетка Сашка любила Кузьмича, считала его очень умнымъ человѣкомъ, обращалась съ нимъ, какъ съ равнымъ, и даже, что было большой рѣдкостью, позволяла Кузьмичу садиться при себѣ.

Когда Сашокъ отправился въ Петербургъ на службу, женщина поручила ему племянника, говоря, что рассчитываетъ на него, какъ если бы онъ былъ отцомъ Сашка. Наказывая беречь молодого человѣка, какъ зеницу ока, и ограждать отъ всего худого, она объяснила Кузьмичу, что городъ Петербургъ не таковъ, какъ городъ Москва. Тамъ живутъ всякіе безбожники, потому что куча нѣмцевъ, которые всѣхъ россиянь такъ перепортили.

— Никакому добру отъ нѣмца не научишься! — сказала она. — Береги Сашка, ты за него отвѣтствуешь не только предо мною, грѣшной, но и передъ самимъ Господомъ Богомъ!

Сашку женщина объяснила, чтобы онъ слушался Кузьмича кротчайше и сугубо во всемъ. Такимъ образомъ, будучи въ

Петербургѣ сначала нижнимъ чиномъ, а потомъ офицеромъ, молодой человекъ, хотя и тяготился опекой дядьки, но повиновался ему, боясь отвѣта передъ теткой.

Теперь, послѣ смерти старухи Осоргиной, поселившись въ Москвѣ, Сашокъ постепенно, почти незамѣтно для самого себя, сталъ все менѣе обращать вниманія на совѣты Кузьмича. Еще въ Петербургѣ товарищи смѣялись надъ нимъ, что онъ боится своего дядьки. Теперь Сашокъ самъ вѣрилъ, что пора выйти изъ-подъ опеки добраго старика, считающаго его ребенкомъ.

— Я, слава Богу, не маленькій! — повторялъ постоянно Сашокъ.

Но Кузьмича эти слова сердили, раздражали, а главное, обижали.

— Никто тебѣ не говоритъ, что ты махонькій! — восклицалъ онъ. — Но когда ты глупое затѣялъ, то моя обязанность тебѣ глупство твое пояснить!

И въ Москвѣ между дядькой и питомцемъ стали бывать уже постоянныя стычки и препирательства.

Тить, явившійся наниматься, попалъ именно на одну изъ такихъ битвъ. Однако вскорѣ же все стихло, и Кузьмичъ, выйдя и увидя молодца, тотчасъ же занялся имъ, разспрашивая и соображая. Тить понравился старику, понравился и князю и былъ оставленъ въ домѣ въ качествѣ конюха для ухода за верховой лошадыю. Черезъ три дня молодецъ былъ уже свой человекъ въ домѣ. Одновременно съ его поступленіемъ дядька сталъ чаще отлучаться со двора, а питомецъ недоумѣвалъ.

Однажды Кузьмичъ, надѣвъ свое новое платье, снова исчезъ изъ дому, но, предупреждая своего барчука, что ему нужно отлучиться по важнѣйшему дѣлу, дядька имѣлъ такой торжественный видъ, что Сашокъ подивился болѣе, чѣмъ когда-либо.

— Что у него завелось, — думалъ онъ. — Баба что-ли какая на старости лѣтъ его околдовала? Не зная, что дѣлать съ тоски, Сашокъ сѣлъ къ окну, выходящему на садикъ при церкви. Онъ надѣялся, что красавица сосѣдка, — какъ всегда это бывало въ отсутствіе Кузьмича — выйдетъ погулять и пройдетъ подъ его окномъ. Однако, на этотъ разъ онъ около получаса просидѣлъ, тщетно ожидая появленія женщины, «какихъ, ей-богу, вотъ никогда не видывалъ!»

Съ досады Сашокъ вышелъ во дворъ и отправился въ конюшню. Тить оказался въ ней и усердно чистилъ лошадь. Князь сѣлъ на скамейку, сталъ глядѣть и выговорилъ:

— Ты смотри, Тить, какъ съ дуру «Атласнаго» не опой.

— Какъ можно,—отозвался молодець.

— Ты это знаешь. Опояная лошадь пропала.

— Да и челоуѣку не годно воды испить, когда онъ взопрѣвши,—замѣтилъ Тить.

— Это ты умно сказываешь. Это правда...

Тить самодовольно улыбнулся и принялся еще усерднѣе за дѣло. Наступило молчаніе, но Тить какъ-то странно взглядывалъ на барина искоса.

— А ужъ все-таки извините, Лександра Микитичъ,—рѣзко заговорилъ сразу Тить.—А изъ себя она все-таки пригожая до страсти...

— Да. Зато и стоила полста рублей...

— Какъ же такъ?—удивился Тить, совсѣмъ оборачиваясь къ князю и разводя руками, гдѣ была скребница и щетки, онъ прибавилъ: «Нешто вы ей полста рублей дали уже... Стало сладилось?»

— За нее далъ. И то по дружбѣ господинъ Романовъ мнѣ продалъ. Ему самому она дороже обошлась.

— Да вы про что, Лександра Микитичъ?

— Какъ про что?.. Про «Атласнаго».

Тить глупо разсмѣялся и сталъ утирать носъ щеткой.

— Чему дуракъ смѣешься?

— Я не про ее, не про лошадь сказывалъ... Я про Катерину Ивановну.

— Что-о?—изумился Сашокъ, хорошо знавшій, кого такъ зовутъ.

— Я про супружницу нашего вотъ пономаря сказываю, что пригожа и все привязывается ко мнѣ. Какъ повстрѣчаетъ, то держитъ, да спрашиваетъ. Отбою мнѣ нѣтъ отъ нея.

— Тебѣ?!—еще пуще изумился Сашокъ и слегка вспыхнулъ отъ чувства, самому непонятнаго.

— Да-съ. Проходу не даетъ. Все одно... Что князь твой? Гдѣ князь? Сколько ему годовъ? Что онъ за баринъ? А пуще всего пытается, нѣтъ аль есть у васъ зазноба какая, а коли нѣтъ, то можетъ женитьба на умѣ. Видать, что она въ васъ влѣпилась во-какъ... Да и чего мудренаго. Вы князь, да офицеръ, а ея-то муженекъ хворый, лядащій, безволосый, а она-

то вонь какая крапелка. Вы бы ужь, ваше сіятельство, ее успокоили. Вѣдь терзается...

— Полно, дуракъ, околесную нести!—вдругъ вспыхнулъ молодой малый, и вскочивъ, быстро ушелъ въ домъ.

Здѣсь онъ сѣлъ у окна, выходящаго на улицу, потомъ сталъ прохаживаться по комнатамъ, потомъ опять сѣлъ къ другому окну и глядѣлъ на рѣдкихъ прохожихъ... Раза два за цѣлый часъ онъ настораживался, прислушивался и высовывался изъ окна... До его слуха долеталъ топотъ лошадиный... Подчасъ проѣзжали мимо его домика кареты, колымаги, иногда офицеръ верхомъ, и онъ съ особымъ чувствомъ озлобленія поглядывалъ на проѣзжихъ. Когда снова наступала въ переулкѣ тишина, Сашокъ принимался снова «тыкаться» по своей квартирѣ.

Наконецъ, выглянувъ въ окно, выходящее на церковный дворъ, онъ вдругъ увидалъ чернобровую, бѣлолицую женщину въ розовомъ платкѣ и бѣломъ шелковомъ платочкѣ на головѣ.

Сашокъ вспыхнулъ еще сильнѣе, чѣмъ отъ болтовни Тита. И на этотъ разъ онъ не выдержалъ...

Тотчасъ надѣвъ киверъ, онъ вышелъ и, волнуясь, началъ тихо бродить между кустовъ садика.

Храбрости у молодого человѣка было настолько мало, что онъ не только не пошелъ прямо навстрѣчу красавицы-пономарихи, а взялъ лѣвѣе, тогда какъ она гуляла въ правой сторонѣ садика. Однако, минутъ черезъ пять красивая брюнетка взяла новую дорожку и, плавно скользя, зашагала въ его сторону, на пересѣкѣ.

Сашокъ понималъ, что если онъ ускорить шаги, то минуетъ ее, а если замедлить, то прямо сойдется, столкнется...

И онъ слегка замедлил шагъ, подбадривая себя разсужденіемъ:

«Что же? Не я. Она сюда повернула... Я въ своемъ углѣ гуляю. И что жъ за бѣда... Да и Титъ говорить... И черезъ мгновеніе молодой человѣкъ и красивая пономариха встрѣтились на узенькой дорожкѣ. Сашокъ счелъ долгомъ немного посторониться.

Молодая женщина смущенно прошла мимо, но такъ при этомъ глянула на князя, что его, какъ онъ чувствовалъ, «и ошибло, и ожгло!»

Снова разошлись они въ разные углы садика, но, слѣдуя каждый своей дорожкой, должны были неминуемо сойтись снова, на томъ же мѣстѣ.

— Заговорить?—спрашивалъ себя Сашокъ вслухъ, но шепотомъ. Тутъ обиды нѣтъ. Мы на одномъ дворѣ живемъ. Сосѣди... А какіе глазки? Вотъ глазки? И онъ шель, робко косясь, даже издали, на красивую молодую женщину, мелькавшую за зеленью.

И онъ рѣшилъ твердо заговорить! Непремѣнно!.. Но снова встрѣтились офицеръ и пономариха и снова разошлись, не проронивъ ни слова и даже съ равнодушнымъ видомъ.

X.

Прошла недѣля... Сашокъ попрежнему ежедневно ѣздилъ на краткое дежурство къ генералу князю Трубецкому... Дядька снова два раза отпросился со двора и пропалъ надолго. И Сашокъ былъ этому радъ, ибо и пономариха появилась оба раза въ садикѣ. И онъ, конечно, вышелъ гулять... И конечно они встрѣчались. И конечно, не заговорили. Красавица держала себя еще болѣе робко и этимъ наводила страхъ, еще пущій, на «княжну Александру Никитишну».

Однажды, когда Кузьмичъ ушелъ изъ дому въ третій разъ, у подъѣзда квартиры офицера вдругъ остановилась телѣжка въ одну лошадь. Восколько кляча была заморена, востолько же былъ не казистъ на видъ и кучеръ въ рваномъ кафтанѣ, и съ какимъ-то шлыкомъ на головѣ вмѣсто шапки. Вся сбруя была тоже перевязана кой-гдѣ веревочками.

Въ телѣжкѣ сидѣлъ какой-то господинъ далеко не щегольски; хотя чисто одѣтый, и спрашивалъ.

— Здѣсь ли живетъ измайловскій офицеръ, князь Козельскій?

Сашокъ высунулся въ окно еще полуодѣтый, въ одной сорочкѣ, и крикнулъ:

— Вамъ меня нужно?

— Не могу знать,—отозвался пріѣзжій рѣзко.

— Какъ-съ? Вы сейчасъ вотъ спрашивали... Стало быть, полагаю, вамъ меня нужно?

— Не знаю, говорю, сударь,—снова, также рѣзко отозвался пріѣзжій.

— Какъ не знаете? Вы же спрашиваете?

— Я спрашивалъ, здѣсь ли живетъ князь Козельскій, Александръ Никитичъ...

— Ну да.

— Что да?

Сашокъ удивился вопросу и не зналъ, что отвѣчать, а незнакомецъ продолжалъ насмѣшливо и даже дерзко усмѣхаться, глядя на него.

— Я князь Козельскій,—произнесъ онъ наконецъ.

— Такъ бы и говорили. А вы говорите: меня ли нужно? А на лбу у васъ совсѣмъ ничего не прописано, и узнать, поэтому, васъ ли мнѣ нужно, нельзя.

Пріѣзжій вылъзъ изъ телѣжки медленно, а затѣмъ обратился къ кучеру и выговорилъ сурово:

— Игнать, держи ухо востро. Возжи понатяни да оглядывайся. Избави Богъ, конь испугается чего, шарахнется, бить начнетъ... Тогда прощай. И отъ телѣжки, и отъ тебя самого ничего не останется. Хоть ты и первый кучеръ въ столицѣ, а все-таки съ благими конями опасеніе всякое нужно...

И незнакомецъ пошелъ на крыльцо.

Сашокъ глядѣлъ, однако, не на него, а на лошадь, и отчасти даже ротъ разинулъ отъ удивленія.

— Какимъ образомъ, думалось ему, такая замореная кляча, которая, разставивъ ноги, опустивъ голову и повѣсивъ уши, еле держится на ногахъ, можетъ бить и разбить...

Офицеръ быстро надѣлъ камзолъ и сюртукъ, и когда незнакомецъ вошелъ къ нему изъ прихожей, онъ уже былъ готовъ.

— Честь имѣю представиться,—заявилъ нежданный гость. Сенатскій секретарь чиномъ и ходатай по всякимъ судейскимъ дѣламъ, Вавилонъ Ассирьевичъ Покуда. Замѣтьте, сударь. Покуда, а не поскуда.

— Пожалуйста. Прошу садиться,—нѣсколько удивляясь сказалъ Сашокъ.

Гость былъ уже не только пожилой человѣкъ, но старикъ, хотя бодрый, державшійся прямо, даже нѣсколько военно или гордо. Лицо съ морщинами было удивительно бѣлое, свѣжее, даже съ легкими пятнышками румянца, зубы ровные, бѣлые, безъ одинаго изъяна, блестяли, когда онъ ухмылялся тонкими губами. Каріе глаза были какіе-то особенные, маленькіе, но острые, будто и лукавые и особо проникательные. Во всякомъ случаѣ, гость произвелъ на Сашокъ впечатлѣніе человѣка «себѣ на умѣ», съ которымъ надо быть осторожнымъ на словахъ.

— Что вамъ угодно, чѣмъ я одолженъ вашимъ посѣщенъ-емъ?—заговорилъ Сашокъ.

— Я словъ не люблю. Люблю дѣло,—отвѣтилъ гость.— И буду я не краснорѣчивъ а краткорѣчивъ. Во первыхъ, прошу васъ вспомнить и затвердить, какъ я прозываюсь.

— Какъ-съ? Ну, это я, виновать...

— Мое имя, отчего и фамилію помните.

— Виновать-съ... Нѣсколько смутился Сашокъ. Дѣйстви-тельно... Мудрена она малость... И я забылъ уже... Фамилію помню. Покуда!

— Покуда. Вѣрно-съ.

— Никогда, признаюсь, таковой не случилось слышать.

— Въ Малороссіи не бывали?

— Какъ-съ?

Странно, это, сударь мой. Все-то вамъ повторяй по два раза. Какъ-съ да какъ-съ. Да вотъ такъ-съ. Бывали вы въ Малой Россіи или Малороссіи, или въ Хохландіи, гдѣ хохлы живутъ.

— Нѣтъ, не бываль.

— Ну вотъ, отъ того вишь моя фамилія, древняя и дворян-ская, или казаческая запорожская, вамъ и сдается странной. Покуда стариннѣйшій родъ. А что кажетъ вамъ удивительной—вѣрю. У насъ въ Хохландіи есть древній родъ казаческій и фамилія его: Убий-Собака. Забудьте: собака, а не собаку. Это—разница. А отчего вамъ не кажетъ чудна фамилія Ко-зельскій. И Козель, и Козла... Ну-съ, а имя и отечество свое я вамъ повторяю: Вавилонъ Ассиревичъ. Ничего сіе наиме-нованіе вамъ не напоминаетъ.

— Какъ-съ?

— Ну вотъ опять: какъ-съ. Если вы эдакъ всегда сказыва-ете, то васъ могутъ прозвать: князь Какъ Никитичъ Ко-зельскій... Но буде переливать намъ изъ пустого въ порожнее, или воду толочь. Сказывайте. Есть у васъ дядюшка родной?

— Есть.

— Онъ же и вашъ крестный отецъ?

— Да-съ.

— И онъ же очень богатый человекъ. И онъ же васъ знать не желаетъ. Вѣрно-ли?

— Дѣйствительно,—началь было Сашокъ, но гость пере-билъ его и удивилъ.

— И дабы вы не могли наследовать послѣ него, какъ требуетъ законъ и справедливость, онъ сдѣлаетъ завѣщаніе въ пользу какой-то дѣвки, полу-турки. А такъ какъ вотчины родовыя, да кромѣ того турка обоюга пола не можетъ владѣть ни родовыми помѣстьями, ни паче крѣпостными людьми, то дадошка вашъ все долженъ продать, денежки наличнымъ скопить и изъ рукъ въ руки дѣвкѣ полу-туркѣ отдать... Извѣстно ли вамъ это обстоятельство?

— По правдѣ сказать, я такое всегда ожидалъ,—отвѣтилъ Сашокъ.

— И вамъ на такое наплевать.

— Какъ-съ?

— Ну, вотъ опять: какъ-съ! Я васъ спрашивалъ. Васъ, князя, Какса Никитича... Виновать... Князя Александра Никитича Козельскаго, неужели вамъ все-все равно. Что нѣтъ ничего!.. Плевать! Вы палецъ о палецъ ударить не можете, чтобы спасти родовыя вотчины отъ дурашной продажи, не потерять огромное наследство.

— Да что же я могу!

— Все можете! Все!

— Извините. Ничего не могу-съ. Я дядюшку почти никогда въ жизни не видалъ, то-есть видѣлъ еще въ ребяческіе года и не помню.

— Зачѣмъ же вы не ѣдете сами къ нему теперь, на поклонъ, по вашей племяннической должности. Чего же вы хотите, чтобы онъ самъ къ вамъ явился съ поклономъ. А онъ теперь полагательно здѣсь, въ Москвѣ. Ради коронаванія.

— Я бы поѣхалъ,—отвѣтилъ Сашокъ, подумавъ,—но онъ, я знаю, меня очень не хорошо приметъ. А то и вовсе не захочетъ видѣть... Обидитъ. А то прогнать, на глаза не пустивши. А я, въ качествѣ офицера, такового съ собой обхожденія допустить не могу. Нѣтъ, ужъ Богъ съ нимъ!

— Ну, если дѣло обстоитъ эдакъ, сударь князь,—заявилъ гость, то, правда, дѣлать нечего... Тогда надо инако вамъ взяться. И вотъ я—Ассирій Вавилонычъ Покуда,—хочу для...

— Вы сказывались Вавилономъ Ассирьевичемъ, если я не ослышался?—удивился князь.

— Нѣтъ. Вы ослышались. А вотъ теперь слушайте въ оба,—весело смѣясь, но рѣзко произнося слова, отвѣтилъ гость. Я хочу въ качествѣ ходатая по дѣламъ тяжбы, ябеднымъ и инымъ, предложить вамъ мои услуги. Желаете?

— Право, не знаю. Что же вы сдѣлаете?

— Я-то?.. Да я все сдѣлаю. Я всѣ законы, какіе-есть въ Имперіи и какіе были—всѣ знаю, какъ вы' знаете азъ, буки, вѣди... Мы начнемъ судиться съ княземъ Александромъ Алексѣевичемъ и заставимъ его вамъ, какъ племяннику, удѣлить хоть половину всѣхъ его родовыхъ помѣстій. Вѣдь онъ Козельскій, что холостой, бездѣтный... Вы послѣдній отпрыскъ или единственный потомокъ той же княжеской линіи. Стало, по закону все должно быть ваше.

— Нѣтъ-съ. Я думаю и размышляю инако,—заявилъ Сашокъ холодно. Дядюшка до своей женитьбы имѣлъ небольшое состояніе, такое же, какъ и мой родитель... У дѣдушки, моего, ихъ родителя, было всего три вотчины... А если дядюшка теперь богачъ, то потому, что женился на богатой особѣ и наслѣдовалъ послѣ ея смерти, да затѣмъ самъ преувеличилъ все, что ему досталось. Стало быть, всѣ его вотчины и капиталы не родовые Козельскаго рода, а благопріобрѣтенные. А какъ таковые, онъ имѣетъ право отдать или подарить все, что имѣетъ, кому только ему вздумается.

— Хотя бы и дѣвкѣ полу-туркѣ...

— Хотя бы даже самому салтану турецкому, коего онъ никогда не видалъ, а не только красавицѣ дѣвицѣ, которая пользуется его расположеніемъ вотъ уже сколько времени и, съ своей стороны, вѣроятно, не разъ доказывала ему свое къ нему расположеніе, какъ близкое лицо.

Гость глядѣлъ на молодого князя, разиня ротъ отъ искренняго удивленія.

— Такъ вы вонъ какъ разсуждаете! — выговорилъ онъ, наконецъ.

— Да-съ. По совѣсти и по здравому уму... Будь я на его мѣстѣ—я поступилъ бы такъ же...

— Скажите, пожалуйста?—уже внѣ себя отъ изумленія воскликнулъ гость.

— Вы и судиться-то даже не хотите, а я, глупая голова, понадѣялся... Я къ вамъ явился, полагая, что вы мнѣ дадите ваше согласіе даже и на то, чтобы князя дяденьку похѣрить какимъ-нибудь снадобьемъ... Такъ въ рюмочку малость самую подболтать, дать хлѣбнуть и наслѣдовать.

— Что-о?—вскрикнулъ Сашокъ. Да, какъ вы смѣете мнѣ эдакое...

— Не кричите...

— Какъ вы смѣете, мнѣ—еще громче закричалъ этотъ,— мнѣ, дворянину и офицеру, эдакое говорить. Если вы сами мошенникъ, воръ и убійца, такъ не смѣйте другихъ съ собой ровнять.

У молодого князя, какъ у многихъ добрыхъ и кроткихъ людей, пылъ гнѣва являлся припадкомъ. Взволнованный и пунцовый, онъ всталъ со стула и выкрикнулъ:

— Пожалуйте. Вонъ пожалуйте. Вонъ! Вонъ!

— Да чего вы, Каксъ Никитичъ, расходились? Вамъ чловѣкъ добра желаетъ, предлагаетъ богатымъ стать... А вы на-дыбы. Вѣдь у васъ гроша за душой нѣтъ. Хорошъ князь, въ онучахъ. А похѣривши, къ примѣру, какимъ снадобьемъ дяденьку, вы сразу богачъ... Подумайте.

— Ахъ ты, приказное сѣмя!—заоралъ Сашокъ. Да что мнѣ тебя? Зарубить, что ли? Какъ собаку?! Вонъ! Пошелъ вонъ!—оралъ онъ, налѣзая на гостя.

— И пойду, пойду. А коли одумаешься, горячка, то пошли за мной,—равнодушно выговорилъ гость.—Вотъ тебѣ и мое прописанное предложеніе. Авось поймешь.

И положивъ на столъ листъ бумаги, сложенный вчетверо, гость пошелъ изъ комнаты, усмѣхаясь. Но не только не злобно, но какъ-то добродушно, какъ если бы съ нимъ случилось здѣсь что-либо пріятное.

На крыльцѣ онъ крикнулъ зычно.

— Игнатъ. Подавай рысака.

Возница взялъ за возжи и началъ передергивать, но заморенная кляча едва двинулась съ мѣста и шагомъ доплелась къ подъѣзду, какъ бы черезъ силу таща телѣжку.

— Не билъ?—спросилъ баринъ.

— Чего изволите?—спросилъ и кучеръ.—Кого-съ?

— Оголтѣлый! И ты тоже начнешь скоро говорить: какъ-съ. Тебя спрашиваютъ. Конь не билъ?

Кучеръ поглядѣлъ на барина укоризненно, и Сашокъ, глядѣвшій въ окно, все видѣвшій и слышавшій, замѣтилъ, какъ кучеръ головой качнулъ, будто негодуя на барина.

— Что у тебя языкъ, идоль, отнялся. Конь, говорю, мирно стоялъ или билъ?

— Билъ!—азартно произнесъ кучеръ.

— Билъ? Ну вотъ... Могъ бы и тебя, и экипажъ вдребезги разнести. А ему цѣны нѣтъ.

— Могъ бы... Да только силъ нѣтъ, вишь, въ чемъ только душа держится...

— Дуракъ! Нешто у коня есть душа?—важно произнесъ баринъ, косясь на князя, сидящаго у окна.

И сѣвъ неспѣшно въ телѣжку, онъ выговорилъ.

— Держи возжи... Поосторожнѣе... Смерть боюся лихихъ и благихъ коней.

Кучеръ началъ снова передергивать возжами, но такъ какъ несчастная кляча не брала съ мѣста, то онъ досталъ кнутъ и началъ хлестать животное.

— До свиданія, ваше сіятельство,—крикнулъ гость, обращиваясь къ Сашку, который смѣясь глядѣлъ въ окно. Передумаете, то пошлите за мной. А писаніе-то мое, что на столѣ, прочтите. Коли не поймете, то Кузьмичу дайте. Онъ шустрѣ васъ и пойметъ.

Гость отѣхалъ почти шагомъ, а Сашокъ, вспомнивъ о бумагѣ, взялся за нее.

Гнѣвъ, на него напавшій отъ дерзости невѣдомаго нахала-стрекулиста, быстро прошелъ, да и „благодѣ“ конь его разсмѣшилъ.

Прочитавъ нѣсколько словъ, Сашокъ ничего не понялъ, ни единого слова, какъ если бы написанное было по-турецки или по-китайски.

XI.

А гость молодого князя, протаскившись на своей клячѣ до перваго угла и завернувъ за него, тотчасъ же вылѣзъ изъ телѣжки. Здѣсь ожидали его довольно приличныя, хотя и не элегантныя дрожки, порядочная лошадь и кучеръ, одѣтый просто, но чисто.

— Ну, ты,—обратился онъ къ возницѣ на телѣжкѣ,—ступай домой! Авось къ вечеру дойдешь. Послѣ завтра опять понадобится.

Сѣвъ въ дрожки, онъ приказалъ второму кучеру:

— Ступай къ нѣмцу-табашнику, а оттуда поѣдемъ въ разбойное мѣсто.

Лошадь, не очень казистая на видъ, приняла, однако, съ мѣста крупной рысью, и вскорѣ дрожки были уже на Тверской и остановились у маленькаго магазина. Господинъ, разсердившій Сашка, вошелъ въ магазинъ. При его появленіи молодой

приказчикъ началъ низко кланяться, а затѣмъ крикнулъ въ со-
сѣдную комнату:

— Карлъ Карловичъ, идите!

Въ магазинъ вышелъ нѣмецъ небольшого роста, рыжеватый и въ синихъ очкахъ и, крайне любезно, почти подобострастно кланяясь, заговорилъ, заискивающе улыбаясь.

— Что прикажете, ваша свѣтлость? Чему обязанъ такой великой чести?

— А вотъ чему, нѣмецъ ты треклятый. Народъ обманываешь, торгуешь по русской пословицѣ «не обманешь—не продашь...» Приѣхалъ тебя бить! Какой ты мнѣ табачище прислалъ прош-
лый разъ?

— Самый лучший, только что полученный съ корабля, ваша свѣтлость, съ недѣлю только назадъ получилъ изъ Кронштадта.

— Заладилъ опять свою «свѣтлость». Тысячу разовъ гово-
рилъ я тебѣ, что я такая же свѣтлость, какъ и ты самъ...

— Это ничего... Это все одно...—улыбался нѣмецъ.

— Да кромѣ того, ты и брешешь, потому что этотъ табакъ ни въ какомъ Кронштадтѣ не бывалъ и ни на какомъ кораблѣ не плавалъ. Онъ тутъ у насъ на живодеркѣ нашелся. Небось, какіе-нибудь казанскіе татары вмѣстѣ съ мыломъ продали его тебѣ, а ты меня заставляешь эту пакость нюхать. Хочешь на поселеніе въ Сибирь?

Нѣмецъ, хорошо говорившій по-русски, сталъ клясться и божиться, что его табакъ, дѣйствительно, полученъ изъ-за грани-
цы и что, вѣроятно, случайно онъ оказался какимъ-нибудь другимъ сортомъ или же отсырѣлъ во время пути моремъ.

— Позвольте мнѣ прислать вашей свѣтлости послѣзавтра другую коробку...

— Другого табаку?

— Нѣтъ-съ, не буду лгать! Табакъ будетъ все тотъ же, но я его извѣстнымъ образомъ посушу, и вы увидите, что вкусъ у него будетъ совсѣмъ другой.

— Ну, ладно! А если опять надуешь, то такъ и знай. Я тебя могу подѣ судъ упечь и въ Сибирь сослать!

— Знаю, что можете, ваша свѣтлость,—отвѣчалъ нѣмецъ, улыбаясь.—Но этого не будетъ, потому что табакъ будетъ отличный.

Когда посѣтитель вышелъ изъ магазина, нѣмецъ проводилъ его до самыхъ дрожжекъ, любезно подсадилъ и кланялся безъ

конца. Вернувшись въ магазинъ и пройдя къ себѣ, нѣмецъ уже по-своему сказалъ женѣ, сидѣвшей за кофе:

— Слышала разговоръ, meine liebchen?

— Слышала!

— Странный человѣкъ! Когда подумаешь, что такіе люди— и кривляются, и шутуютъ! Зачѣмъ? А все-таки доволенъ, что я его величаю Durchlaucht. Между тѣмъ посѣтитель нѣмца уже ѣхалъ шибкой рысью по Тверской и, переѣхавъ площадь, остановился у большого подъѣзда большого казеннаго здания. Это былъ судъ, именуемый имъ «разбойнымъ мѣстомъ». Поднявшись по каменной лѣстницѣ и вступивъ въ длинный корридоръ, розыскалъ солдата и выговорилъ:

— Ивана Флегонтыча можно-ли видѣть?

— Можно!—отвѣтилъ солдатъ, оглядывая посѣтителя съ головы до пятъ и какъ бы соображая, какого онъ званія и стоитъ-ли беспокоить начальство изъ-за него.

— Такъ доложи, пожалуйста: Макарь Гонялычъ Телятевъ, по дѣлу г. Баташева.

Солдатъ было двинулся, но затѣмъ остановился, снова обернулся къ посѣтителю и, слегка сморщивъ брови, спросилъ:

— Какъ вы сказываете: Телятинъ?

— Макарь Гонялычъ Телятевъ!—повторилъ этотъ.

— Гонялычъ...—повторилъ солдатъ.—Телятевъ...

И онъ пошелъ по корридору.

Вернувшись черезъ минутъ пять, онъ вымолвилъ, проходя: — Обождите! Имъ не время. Вотъ посидите!

И онъ ткнулъ пальцемъ на деревянную лавку. Этотъ оглянулся кругомъ и, увидя свободное мѣсто на одной изъ скамеекъ между толстымъ купцомъ и какимъ-то старичкомъ въ замасленномъ мундирѣ, подошелъ, извинился и сѣлъ между обоими. Вавилонъ Ассирьевичъ Покуда, преобразившійся теперь въ Макара Гонялыча Телятева, скромно усѣлся на свое мѣсто и сталъ озираться.

Самый разнообразный народъ сидѣлъ по стѣнамъ, и у всѣхъ былъ одинаково невеселый видъ. Можно было догадаться, что всѣ здѣсь находящіеся приходятъ сюда по неволѣ и считаютъ себя несчастными. Это были люди, такъ или иначе причастные къ тѣмъ дѣламъ, которые производились въ этомъ казенномъ мѣстѣ.

Господинъ, мѣняющій свои имена, былъ правъ, конечно, называя это мѣсто «разбойнымъ». Просидѣвъ съ четверть часа,

оглядѣвъ всѣхъ, чуть не изучивъ всѣ фигуры, онъ замѣтилъ въ углу сидящую около офицера бѣдно одѣтую женщину, лѣтъ пятидесяти, съ чрезвычайно милымъ лицомъ. Онъ сейчасъ же рѣшилъ, что женщина—дворянка, несмотря на поношенное платье. Оглядѣвъ снова всѣхъ, ожидавшихъ очереди, и снова глянувъ на эту женщину, онъ замѣтилъ, что она поспѣшно утираетъ глаза.

— Вона какъ!—выговорилъ онъ вслухъ.

— Вы чего-съ?—отозвался толстый купецъ, думая, что онъ обращается къ нему.

— Я-съ? Ничего-съ!

— Вы сейчасъ что-то сказали?

— Точно такъ-съ. Только не вамъ...

— Простите-съ!

— Простилъ-съ!

Послѣднее слово было сказано такъ, что купецъ покосился на сосѣда, кашлянулъ и отвернулся, считая себя нѣсколько обиженнымъ. Назвавшійся же Телятевымъ тотчасъ всталъ, перешелъ комнату и, приблизившись къ дамѣ и ея сосѣду офицеру, произнесъ, насколько могъ вѣжливѣе.

— Извините, пожалуйста, мнѣ тамъ сидѣть очень мудроно. У купца такіе сапоги, что я угорѣлъ отъ нихъ. Дозвольте сѣсть между васъ?

Дама и офицеръ раздвинулись. Онъ опустилсѣ на скамью и тотчасъ же заговорилъ со своей сосѣдкой.

— По дѣлу, конечно, какому здѣсь, сударыня, находитесь?

— Да-съ!—отвѣтила женщина охотно.

— Вотъ и я такъ-то! Бѣда! Разбойное мѣсто!—тихонько прибавилъ онъ.

И, разспрашивая подробно, черезъ нѣсколько минутъ онъ зналъ уже все, касавшееся до женщины. Она подробно и охотно передала свое дѣло, изъ-за котораго уже второй годъ является суда и сидитъ по часамъ. У нея оказалась тяжба съ сосѣдомъ, и вскорѣ, по ея грустному убѣжденію, ей предстояло проиграть правое дѣло. Сосѣдъ, у котораго сильное покровительство въ Москвѣ, долженъ неминуемо оттягать у нея пятьдесятъ душъ крестьянъ, подгородныхъ, зажиточныхъ, платящихъ большой оброкъ, какъ еслибы ихъ было двѣсти душъ.

Выслушавъ все, назвавшійся Телятевымъ предложилъ женщинѣ свои услуги помочь въ бѣдѣ.

— Не подумайте,—сказалъ онъ,—что я хочу нажитья, что вы во мнѣ найдете кляузника-ходатая, который только вытащить у васъ послѣдніе гроши и ничего не сдѣлаетъ. Впередъ васъ предупреждаю, что я уплаты никакой съ васъ не прошу и буду ходатайствовать даромъ.

Попросивъ адресъ барыни, онъ узналъ, что ее зовутъ Елизавета Ивановна Калинина и что она урожденная княжна Тихменева. Вспомнивъ время лѣтъ за двадцать пять назадъ, онъ заявилъ Калининой, что у нихъ найдутся и общіе родственники. Онъ обѣщался черезъ день или два побывать у женщины и усердно взялся за ея дѣло.

— Прямо-таки общаю вамъ, что мы вашу тяжбу выиграемъ!—сказалъ онъ весело.—Не примите меня за болтуна, я на вѣтеръ ничего не говорю.

Женщина стала горячо благодарить, но въ эту минуту подошелъ солдатъ и, оглядывая всѣхъ сидящихъ со середины комнаты, выкрикнулъ:

— Который тутъ Телятинъ.

— Я!—отозвался этотъ.

— Васъ зовутъ! Вотъ прямо по корридору и вторая дверь на правую руку. Да вы, кажись, уже бывали у насъ,—прибавилъ онъ, приглядываясь.

Телятевъ двинулся и черезъ минуту сидѣлъ уже на маленькомъ стульчикѣ, бочкомъ, скромно съезжившись и подобравъ ноги подъ себя. Передъ нимъ на креслѣ величественно воссѣдалъ чиновникъ, одинъ изъ многихъ засѣдателей суда, очень важная птица для всѣхъ просителей, но, конечно, далеко не важная по должности, имъ занимаемой.

Телятевъ заявилъ, что является просить по дѣлу секундъ-майора Баташева и началъ было объяснять, въ чемъ заключается дѣло. Иванъ Флегонтьичъ, по фамиліи, Скрябинъ, оставилъ его, сухо выговоривъ:

— Я лучше васъ знаю это дѣло. Не вамъ мнѣ его разъяснять! Что вамъ угодно?

— Узнать, когда можно ожидать его окончанія?

— Окончаніе будетъ, когда дѣло кончится.

— Такъ-съ!—скромно отозвался Телятевъ.—Но нельзя ли узнать, когда именно?

— Нельзя!

— Но можно ли надѣяться, что дѣло окончится въ пользу майора?

— Надѣяться можно. Это закономъ не воспрещается!— отозвался Скрябинъ.— Но позвольте узнать, по какому праву вы являетесь, вмѣсто самого майора, мнѣ докучать справками.

Онъ хвораеть, ваше высокородіе! Онъ—мой большой пріятель, и я вызвался ходатайствовать за него. Дѣло это правое, и поэтому...

— Правое оно или неправое—это судить намъ, а не ему и не вамъ. А я такъ полагаю, что дѣло совершенно неправое. Вашъ майоръ просто ябедникъ.

— Помилуйте!—отозвался Телятевъ печально.

— Нельзя мнѣ васъ и миловать! Говорю—ябедникъ! И дѣло, конечно, проиграеть. Такихъ людей полезно даже поучить!

— Ну, а позвольте узнать, ваше высокородіе, нѣтъ ли возможности какой направить оное дѣло къ благополучному разрѣшенію? Я человѣкъ со средствами съ иждивеніемъ и сирота. Хотѣлось бы мнѣ очень одолжить единственнаго пріятеля. Я ему вчера предлагалъ въ третій разъ, а сегодня вамъ доложу. Я готовъ пять тысячъ рублей съ удовольствіемъ жертвовать на это дѣло, чтобы его разъяснить.

Скрябинъ пристально поглядѣлъ въ лицо посѣтителя ястребиными глазами и какъ-то мигнулъ, а потомъ прибавилъ:

— Вона какъ! Что же... разъяснить все можно. Вѣдь и мы не святые угодники. И мы можемъ ошибаться. Конечно, обсудивъ дѣло зрѣло, можно... Какъ бы выразиться?... Можно найти законныя статьи, кои гласятъ противоположительно другимъ...

И онъ замолчалъ, какъ бы не зная, что еще сказать.

— Дозвольте, ваше высокородіе,—заискивающе заговорилъ Телятевъ,—мнѣ, маленькому человѣку, обратиться къ вамъ съ всенижайшей просьбой. Направьте меня и посовѣтуйте какого-нибудь ходатая взять, что бы вручить ему сіи пять тысячъ, дабы онъ занялся старательно и толково дѣломъ друга майора.

— Можно. Хорошо,—протянулъ Скрябинъ и быстро прибавилъ:—А какъ, скажите, вы прозываетесь? Мнѣ солдатъ чудно васъ какъ-то называлъ: Макаръ Гонялычъ...

— Эка дурень онъ. Макаръ Гонялычъ, да еще Телятевъ. Гаврилычъ я. А то будто выходитъ пословица: Куда Макаръ телать не гонялъ!

— Правда. Правда,—разсмѣялся Скрябинъ и, подумавъ, заявилъ.

— Что же? Можно! Это можно. Насчетъ, то есть, страпуна. У насъ есть такіе ходатаи. Ануфріевъ, къ примѣру.

— Такъ соизвольте, ваше высококордіе, какъ бы такъ сказать, препоручить ему оное дѣло и передать ему уплату впередъ. А сіи самыя деньги я вотъ съ собой взялъ.

И Телятевъ досталъ изъ кармана довольно объемистую пачку ассигнацій, перевязанныхъ тесемочкой и положилъ на столъ.

— Нѣтъ, это что же?—отозвался Скрябинъ, жадно косясь на деньги.—Вѣдь это и послѣ можно. Зачѣмъ же впередъ?

— Нѣтъ, ужъ будьте благодѣтелемъ, сдѣлайте такое одолженіе. Господомъ прошу. Вступитесь въ правое дѣло. Вызовите сего самаго ходатая и отъ себя вручите ему.

И поднявшись со стула, Телятевъ вышелъ изъ комнаты, пятясь ради вѣжливости и низко кланаясь.

— Ахъ, разбойникъ! Душегубъ!—ворчалъ безъ конца, но сидя уже въ дрожкахъ, и, наконецъ, крикнулъ кучеру.

— Нѣтъ на сегодня буде съ меня. Обозлили! Пошелъ домой.

Черезъ минуту десять онъ былъ на Лубянкѣ и вѣзжалъ во дворъ большого барскаго дома. Швейцаръ, завидя дрожки, выбѣжалъ на подъѣздъ. Ливрея его, вся въ позументахъ, и золотая булава ярко сверкнули на солнцѣ.

— Былъ кто?—спросилъ онъ, выѣзая изъ дрожекъ.

— Были-съ. Графъ Разумовскій.

— Фельдмаршалъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Графъ гетманъ. И приказали доложить: завтра, молъ, буду хуже татарина къ обѣденному столу...

— Что—о?! Хуже татарина? къ столу?

— Три раза изволили повторить. И приказали мнѣ: точію, де, доложи ты эдакъ, не перевери, молъ...

— Понялъ! Понялъ... Ну, скажи дворецкому сейчасъ до слать гонца верхи къ гетману и передать: Завтра молъ не могу принять, обѣдаю самъ у канцлера Михаила Ларивончы, у Воронцова, а послѣ завтра прошу пожаловать и стало быть уже не татариниомъ. Не переврешь...

— Никакъ нѣтъ-съ,—бойко и весело отвѣтилъ швейцаръ.— Я тоже раздумалъ теперича, какой такой татаринъ...

По лицу, говору и ухваткамъ крѣпостного холопа ясно видно было, что барина любятъ и не боятся.

XII.

Если Кузьмичъ исчезалъ изъ дому и хлопоталъ, то виновникомъ было все-таки его дите ненаглядное. Посторонній человѣкъ, обсудивъ отношенія старика дядьки и юнаго офицера, однако, взялъ бы сторону послѣдняго.

Сашокъ не могъ ступить ни шагу, чтобы Кузьмичъ не явился съ своимъ совѣтомъ или порицаніемъ.

Каждый вечеръ, оглядывая кошелекъ питомца, Кузьмичъ разспрашивалъ, куда Сашокъ истратилъ деньги. Когда молодой человѣкъ пріѣзжалъ откуда-нибудь съ обѣда или вечера, Кузьмичъ настоятельно и будто съ тайной цѣлью допрашивалъ его, кого онъ видѣлъ, съ кѣмъ познакомился, о чемъ говорилъ.

Но главное, чѣмъ досаждалъ и изводилъ старикъ питомца, была одна и та же, почти ежедневно десять разъ повторяемая фраза:

— Уберегайся женскаго пола!

Кузьмичъ дѣйствительно боялся, какъ огня, что какая-нибудь лихая баба вскружить голову его дитю и погубить.

И, разумѣется, старикъ только и думалъ объ одномъ: какъ бы поскорѣй женить Сашка. Когда была жива старуха Осоргина, онъ считалъ, что оно не его дѣло. Теперь же, когда Сашокъ остался сиротой на его попеченіе, онъ считалъ своимъ святымъ долгомъ не только подумать объ этомъ серьезно, но и приступить поскорѣй къ дѣлу.

Кузьмичу казалось, что теперь-то именно, когда они поселились въ Москвѣ, и можно всего лучше женить питомца. Невѣстъ въ дворянскихъ семьяхъ Москвы было много. Старикъ рѣшилъ, что нужно, не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, тотчасъ приняться разыскивать невѣсту. Не искать богатой приданницы или дочери важнаго вельможи, а найти добропорядочную дѣвицу, хотя бы и съ маленькимъ приданымъ, но главное добрую и благонравную.

Разумѣется, одновременно Кузьмичъ постоянно повторялъ питомцу.

— Цора тебѣ бракосочетаться! Жениться. Пора.

И такъ какъ эти слова повторялись постоянно, то они уже начали тоже сердить Сашка, и онъ началъ отвѣчать, что никакой охоты жениться у него нѣтъ.

— Ну, ладно!—отвѣтила Кузьмичъ, махая рукой. Это мое дѣло. Найду невѣсту, такъ придетъ у тебя охота.

Нѣсколько времени тому назадъ, увидя однажды своего питомца на церковномъ дворѣ, гуляющимъ одновременно съ пономарихой, очень красивой женщиной, Кузьмичъ ахнулъ, даже смутился, какъ если бы узналъ и увидѣлъ что-либо чрезвычайное. На его немедленный совѣтъ—не зариться на всякую «ракалію» въ юбкѣ, Сашокъ отвѣчалъ рѣзко. Произошло опять сраженіе и жаркое.

Молодой человѣкъ сильно разсердился, какъ бывало съ нимъ рѣдко, и прямо заявилъ, что пономариха вовсе не ракалія, а красавица и скромница, рѣдкая, какая всякому можетъ и должна нравиться по-зарѣзъ.

И онъ былъ правъ. Грубое опредѣленіе женщины совсѣмъ не шло къ молодой пономарихѣ, жившей на церковномъ дворѣ. Она была столь же красива, сколько скромна и робка. Молодой офицеръ и князь, недавно поселившійся около нихъ, ей страшно нравился. Мужъ ея, уже очень пожилой, былъ не ревнивъ,—потому что былъ совсѣмъ «лядашій». А между тѣмъ, она чѣмъ болѣе думала о князѣ, тѣмъ болѣе робѣла...

Послѣдствіемъ, однако, объясненія офицера и дядьки было только то, что дядька началъ еще болѣе думать о женитьбѣ питомца.

Дѣло тутъ, конечно, не въ пономарихѣ, разсудилъ онъ, но просто: пора ему, пора!

И Кузьмичъ вскорѣ окончательно убѣдился, что въ Москвѣ ему гораздо легче, чѣмъ въ Петербургѣ, женить своего забуйнившаго молодца, который сталъ брыкаться.

Здѣсь въ Москвѣ самое мѣсто бракосочетанья, настоящее, потому что питерцы обасурманились и все творятъ на заморскій ладъ, разсуждалъ старикъ, повторяя слова покойной Осоргиной. А въ Москвѣ безъ нашего брата ни одному браку не быть. Безъ насъ, слугъ господскихъ, не обойдется.

И старый дядька былъ правъ. Ни одного сватовства, ни единой свадьбы не было въ Москвѣ, чтобы крѣпостные холопы господъ дворянъ не вмѣшались въ дѣло, устраивая или разстраивая планы своихъ господъ. Разумѣется, подобное случалось въ тѣхъ семьяхъ дворянскихъ, которыя жили на дѣдовъ и прадѣдовъ ладъ, а не по-новому и которые, пріискивая жениха или невѣсту, искали не денегъ и сановитости, а озабочивались только будущимъ счастьемъ своихъ дѣтей.

Прежде чѣмъ рѣшить первостатейный вопросъ всей будущей жизни сына или дочери, всякіе родители тайкомъ наводили всякія справки, производили цѣлый «сыскъ», чтобы вѣрно узнать, что за человекъ намернувшійся женихъ, что за дѣвица намѣченная невѣста.

Лучше и ближе всѣхъ, да отчасти безпристрастно могли знать и сказать холопы.

У добрыхъ, справедливыхъ и человеколюбивыхъ господъ дѣти женились и выходили замужъ скорѣе и легче.

— Нашъ барченокъ золотой. Поведенія, что тебѣ монахъ. Къ родителямъ почтительный, къ холопамъ ласковый,—говорила дворня.

— Нашъ барчукъ—злыдень... Всѣхъ насъ поѣдомъ ѣсть. Отца съ матерью въ грошъ не ставитъ. Юбочникъ, какиихъ не сыщешь. Ни горничнымъ, ни сѣннымъ прохода отъ него нѣтъ.

— Наша барышня—анделъ. Прямо святая дѣвица. Рукодѣльница. Ничего худого на тѣлѣ нѣту и вся-то раскрасавица. Здоровищемъ—пышка медовая.

— Наша барышня суцая вѣдьма. Дѣвокъ булавками въ кровь истыкала. На боку у нея во пятнище, черное, въ томъ родѣ, какъ мышъ съ хвостомъ. А здоровье? Заживо тронулось и разваливается.

И вотъ эти заявленія крѣпостныхъ рабовъ и всевозможныя свѣдѣнія, собранныя съ задняго крыльца, рѣшали судьбу молодыхъ господъ.

Много дѣвицъ дворянокъ оставалось въ старыхъ дѣвкахъ только потому, что гнѣвно и прихотливо расправлялись собственноручно со своими горничными.

Разумѣется, среди эти рабовъ, проявлялись иногда и мстители, злыдни и клеветники. Господа это знали. Но, тѣмъ не менѣе, обычай крѣпко держался. Безъ взаимнаго, якобы тайнаго, опроса холоповъ, никто не хотѣлъ обойтись.

Заведя много знакомыхъ и пошатавшись Кузьмичъ многое подробное сообразилъ и на всѣ лады взвѣсилъ.

— Ужъ если я моего князиньку въ Москвѣ не женю, то гдѣ же тогда!—рѣшилъ онъ.

Безъ малаго съ мѣсяцъ назадъ старикъ, безъ цѣли болтаясь по улицамъ своего квартала ради новыхъ знакомыхъ, пока его питомецъ былъ на службѣ у генерала Трубецкого, случайно зашелъ въ церковь къ вечернѣ.

Въ церкви было мало народу... Въ числѣ прочихъ Кузьмичъ увидѣлъ молодую дѣвицу и пожилую женщину. Конечно, старикъ тотчасъ опредѣлилъ и не ошибся, что это нянюшка съ своей питомицей, дворянской дѣвицей. Обѣ сразу чрезвычайно понравились Кузьмичу.

Женщина молилась безъ перерыва и все клала земные поклоны. Дѣвушка, очень юная и миловидная, держала себя очень скромно, тоже крестилась, не переставая, но казалась тоскливой.

Но не столько еще понравилась Кузьмичу эта дѣвица, сколько ея богомольная добродушная нянька. При выходѣ изъ храма старикъ заговорилъ съ женщиной и перемолвившись узналъ, что барышня по имени Татьяна, а по фамиліи Квоцинская, а родители ея живутъ по близости въ своемъ домѣ. А женщину зовутъ Марфой Ѳоминишной. Бываютъ же онѣ у всѣхъ службъ въ своемъ приходѣ. И не далѣе какъ черезъ три дня Кузьмичъ хитро затащилъ къ обѣдни въ эту церковь своего питомца и указалъ ему на молодую дѣвушку, будто и самъ видя ее въ первый разъ. Молодые люди за всю обѣдню украдкой переглядывались, но затѣмъ по выходѣ изъ храма Сашокъ на вопросъ дядьки отвѣтилъ:

— Она-то? Да что же? Ничего. Мало-ль эдакихъ.

XIII.

Въ приходѣ Спаса на Пескахъ въ переулкѣ стояли въ глубинѣ двора просторный одноэтажный домъ съ мезониномъ, а правѣе отъ него небольшой флигель. Свѣже выкрашенный въ темно-сѣрый цвѣтъ домъ и флигель блестѣли на солнцѣ, но зато и сильный запахъ отъ окраски достигалъ даже до улицы. Впрочемъ, не было улицы или переулка, гдѣ не было бы того же. Вся Москва чистилась, мылась, красилась и украшалась на всѣ лады ко дню торжества въѣзда новой государыни.

Въ домѣ этомъ родовомъ, уже перевидавшемъ въ своихъ стѣнахъ три поколѣнія, жила семья дворянъ Квоцинскихъ, состоящая изъ двухъ пожилыхъ лицъ—отца и матери, двухъ юныхъ, ихъ сына и дочери и, наконецъ, брата хозяина, пожилого холостяка. Петръ Максимычъ Квоцинскій, отставной поручикъ, уже давнымъ давно жилъ безвыѣздно въ Москвѣ, если не считать поѣздки и отлучки въ маленькое подмосковное имѣніе около Звенигорода, гдѣ собирался онъ быть предво-

дителемъ дворянства. Все состояніе Квоцинскихъ заключалось въ этомъ домѣ и въ этомъ имѣніи душъ съ сотню.

Квоцинскіе были исконные москвичи, дворяне средней руки по положенію общественному и по состоянію. Отличительная черта семьи заключалась въ томъ, что кто съ ними знакомился и видѣлъ ихъ въ первый разъ въ жизни, старался вспомнить, не знавалъ ли онъ ихъ прежде или не напоминаютъ ли они черезчуръ какую-либо семью, уже знакомую давно.

Происходило это потому, что Квоцинскіе были такой семьей, какихъ было въ Москвѣ до полусотни. Все, что было въ нихъ самихъ, что было у нихъ и кругомъ нихъ, было будто не ихнее, не свое, а заимствованное, скопированное съ другихъ.

Какъ дома ихъ были окрашены въ сѣрую краску, такъ же точно все было того же цвѣта... И они сами, и все, что они дѣлали и говорили, и все что ихъ окружало... Все было сѣрое и сѣренькое.

Но семья, конечно, никому не подражала. Она жила такъ, какъ слѣдуетъ жить дворянамъ, рассуждала, дѣйствовала, вѣровала, радовалась и горевала на свой ладъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ на тотъ же самый ладъ, какъ и всѣ остальные дворянскія семьи Москвы. А всѣ, не только сами отцы семействъ, всѣ ихъ чада и домочадцы, походили на таковыхъ же сосѣднихъ. Даже ихъ нянюшки и мамушки, ихъ кормилицы, сѣнныя и горничныя дѣвушки, ихъ дворецкіе, дядьки, кучера и фореиторы тоже походили на сосѣднихъ фореиторовъ, дворецкихъ, мамушекъ сосѣдней дворянской семьи. Всѣ обѣдали или ложились спать въ одно и то же время дня, у всѣхъ были одинакіе ливрейные лакеи, громоздкіе рыдваны и сытые цуги смирныхъ коней; всѣ ѣли послѣ обѣда тѣ же сласти или печенье и смоквы, и затѣмъ ложились не спать, а отдыхать, носыпали; всѣ такъ же прислушивались къ пересудамъ, сплетнямъ, такъ же постились, такъ же молились передъ кіотами и божницами, такъ же боялись дурного глаза, такъ же болѣли на масляницѣ отъ мясопуста и блиновъ, а на Святой отъ разговѣнія послѣ семинедѣльнаго воздержанія: всѣ такъ же хвастались дядюшкой, тетюшкой, двоюроднымъ братцемъ, которые въ Питерѣ важныя птицы; всѣ такъ же женились, рожали и, народивъ, женили и выдавали замужъ. Жизнь шла одинаково изо дня въ день, мирно, тихо и благодушно, пока не случился въ столицѣ большущій пожаръ, не умеръ князь Иванъ Ивановичъ, который «вчера, вѣдь, еще живъ былъ», пока не

грянул слухъ, что опять война съ нѣмцемъ или съ туркой, а Петя, Вася, Миша должны идти воевать и быть подстрѣленными.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, нравственный обликъ семьи Квоцинскихъ, которая являлась отраженіемъ всѣхъ дворянъ-москвичей, внушалъ неотразимо, непреодолимо уваженіе и любовь.

Самъ Петръ Максимовичъ былъ человекъ ограниченный, слегка грамотный, но честнѣйшій и добрѣйшій. Его честность, т. е. чистота понятій и убѣжденій, его доброта, т. е. сердечность и справедливость по отношенію къ крѣпостнымъ (во дни существованія Салтычихи) дѣлали его украшеніемъ своей среды.

Анна Ивановна, боготворившая мужа черезъ тридцать лѣтъ супружества такъ же пылко, какъ и въ первый годъ, была, конечно, невольно его отголоскомъ во всемъ и подражательницей.

Сынъ Паша, добрый, тихій, ласковый, былъ любимъ всѣми, а дочь Таня даже обожаема. Враговъ у семьи не было и не могло быть. Петръ Максимовичъ за всю свою жизнь никого не обидѣлъ, а если прямо высказывалъ худымъ людямъ «правду-матку», то умѣлъ это дѣлать такъ мягко, сердечно, будто соболѣзнуя этому ихъ худу, что и эти люди не озлоблялись, не становились его тайными врагами. Жена и дѣти подражали отцу въ правилѣ: «Добрыхъ людей уважай и имъ подражать старайся, худыхъ людей не озлобляй и сторонися отъ нихъ!»

Это было заповѣдью Петра Максимовича. Но помимо всего этого Квоцинскій иногда удивлялъ друзей и знакомыхъ нѣкоторыми своими мнѣніями, которыхъ у другихъ дворянъ не было, и иногда совсѣмъ необыкновенными, не худыми, а странными.

Такъ, онъ высказывалъ мнѣніе, что люди всѣ, безъ различія состоянія, созданы по образу и подобию Божію. Что баринъ, что холопъ равно всѣ человѣки. А потому человѣкъ человѣку принадлежать какъ бы какое движимое имущество, какъ диванъ или карета — не долженъ. Это не Божескій законъ, а измышленный. А потому и не вѣчный. «Не убій» Божескій законъ. Повинуйся родителямъ и установленнымъ властямъ тоже Божескій и вѣчный законъ. Было такъ всегда и будетъ такъ всегда. А вотъ продавай и покупай живыхъ людей и считай ихъ своей собственностью, какъ бы коровъ или лошадей... Это всегда было... Ну, а впредь не будетъ! Крѣ-

постные люди, хамы и холопы или рабы въ грядущихъ временахъ исчезнуть. Люди людямъ принадлежать не должны и потому принадлежать не будутъ. Когда? Богъ вѣсть! Можетъ и черезъ тысячу лѣтъ.

И многіе друзья-дворяне на такія рѣчи Квоцинскаго только головами качали.

XIV.

Исчезавшій загадочно изъ дому старикъ - дядька молодого князя бывалъ именно въ домѣ Квоцинскихъ у друга Марѣи Ѳоминишны. Причина его посѣщеній была въ семьѣ не тайной. Няня и дядька «стакнулись» въ сугубо важномъ дѣлѣ. Въ тотъ самый день, когда Сашокъ принялъ и выгналъ отъ себя Вавилона Ассирьевича Покуду, дядька снова отпросился въ гости къ другу.

Восемнадцатилѣтняя Таня, простодушно веселая, но скупающая, была у окошка и первая увидала Кузьмича, идущаго черезъ дворъ. Дѣвушка вскочила и бросилась бѣгомъ по всѣмъ комнатамъ и корридолу. Влетѣвъ къ нянюшкѣ, она закричала, поднимая руки надъ головой... Если бы не ея сіяющее лицо, то старуха обомлѣла бы отъ страха и повѣрила въ пожаръ.

— Ѳоминишна, родимая!

— Ну?!. — все-таки оторопѣла няня.

— Кузьмичъ... Сама видѣла... Идетъ...

— Ахъ, отчаянная. Даже напужала.

— Кузьмичъ! Кузьмичъ!

— Слышу... слышу... Такъ уходи, егоза... Вишь вѣдь... Нашъ пострѣлъ вездѣ постѣлъ. Уходи скорѣе.

— Онъ еще во дворѣ... Только вотъ что, няня. Ты не притворяй дверь совсѣмъ. Я однимъ глазкомъ догляжу и послушаю...

— Что ты! Что ты! Съ ума сошла, — испугалась Ѳоминишна. — Вотъ выдумаетъ. И думать не моги этакъ безобразничать. Замѣтитъ онъ — что подумаетъ.

— Няня... милая... Однимъ...

— Ни за какія ковриги.

— Однимъ глазкомъ...

— Уходи! — закричала Ѳоминишна шепотомъ. — Слышишь, Дашутка бѣжитъ съ докладомъ. Увидитъ тебя да твое розовое личико — догадается... Иди, отчаянная...

И выпроводивъ питомицу, старуха вышла въ корридоръ. Дѣвченка, лѣтъ четырнадцать, уже лѣтъ къ ея дверямъ и тихо вымолвила:

— Марфа Ѡминишна, къ вамъ Иванъ Кузьмичъ княжескій. Спрашиваетъ, можно ль...

— Зови, зови. Очень рада, скажи, — усилила голосъ няня, завидя гостя въ концѣ корридора и зная, что онъ услышитъ.

Между тѣмъ, Таня уже влетѣла къ матери въ спальню и вскрикнула:

— Матушка! Кузьмичъ къ ней пришелъ...

— Ну такъ что же? Нешто можно такъ скакать дѣвицъ изъ-за пустяковъ, — строго выговорила Анна Ивановна. — Ступай къ себѣ, стрекоза...

И едва дочь вышла и поднялась по лѣстницѣ къ себѣ въ мезонинъ, Квоцинская, прислушивавшаяся, тотчасъ же вышла и быстро направилась на половину мужа.

— Петръ Максимовичъ, — выговорила она, слегка задохнувшись отъ ходьбы...

— Что?! — нѣсколько опѣшилъ Квоцинскій, замѣтивъ въ лицѣ жены что-то особенное...

— Кузьмичъ у Ѡминишны, — шепотомъ и многозначительно выговорила женщина.

«Кузьмичъ у Ѡминишны», сношенія ихъ няни съ дядькой князя имѣли, конечно, огромное значеніе въ семьѣ за послѣднее время.

Квоцинскій бывалъ часто задумчивъ и озабоченъ: «выйдетъ ли что? Или ничего не выйдетъ?»

Анна Ивановна, объявивъ важную новость, сѣла въ кресло. Наступило молчаніе, такъ какъ Петръ Максимовичъ насупился и ничего не отвѣтилъ, только бросилъ на столъ книгу, которую читалъ.

Затѣмъ онъ всталъ и началъ ходить по кабинету.

— Давай Богъ, — вымолвилъ онъ наконецъ тихо. — Да. Все во власти Божіей... Всякій нашъ шагъ...

— Иногда и обстоятельства непредвидѣнныя и случайныя, — робко встала Анна Ивановна.

— Вздоръ. Полно, матушка... Обстоятельства?! А кто ихъ позволяетъ? Случай? А кто случай посылаетъ? Провидѣніе! А что такое Провидѣніе?.. Кто? — И снова наступило молчаніе.

— Да. Давай Богъ. Молодой князь прямо изрядный человекъ. Его всё, кого ни спроси, хвалять. Добрый, скромный, поведения истинно дворянскаго, благоприличнаго, ни картъ, ни вина, ни подоловъ бабихъ не знаетъ. Живетъ, прямо сказать, какъ дѣвица - невѣста. Да. Этакого бы супруга нашей Танюшѣ... Я бы просто... Да что говорить... Прямо обѣщаніе даю. Въ Кіевъ пѣшкомъ пойду. Да и не мудрено дать, правда, такое обѣщаніе, потому что братъ Павелъ со мной пойдетъ.

— А я? И я пойду.

— Ну, вотъ... Вмѣстѣ всё трое.

— Только одно вотъ обидно. У него немного достоянья...— вздохнула Квоцинская.

— А богачъ, да козырникъ, — строго спросилъ мужъ, — хорошо? Нынѣ прокозырялъ пять тысячъ, завтра десять... Или бабій махальникъ... Что не увидѣлъ юбку и махнулъ за ней.

И супруги снова замолчали.

— Вотъ кабы дяденька его былъ другой человекъ?.. Ино дѣло! Даль бы племяннику изъ своихъ доходовъ, хоть четверть...—заговорила, снова вздыхая, Анна Ивановна.

— Если бы не морозъ, овесъ до неба доросъ. Спасибо и за то, что навертывается женихъ прекрасный человекъ...

— Да... Вдругъ будетъ Татьяна Петровна княгиня Козельская, рожденная Квоцинская, — тихо проговорила Анна Ивановна, улыбаясь.

— Это пустое... Для счастья не нужно...

— Ну, все жъ таки...

— Пустое. Титулы и деньги — пустяковое дѣло. Чистая душа—вотъ основаніе для счастья. Да авось... Авось. Я мало видѣлъ этого Кузьмича, а вѣрю, что онъ человекъ разсудительный и зря болтать и дѣйствовать не станетъ. А отъ него много зависитъ. И мы съ тобой не одни поженились. Кабы не вмѣшалась старуха Агафья, твоей матушки ключница — ничего бы, пожалуй, не было.

— Еще бы не Агафья. Я хорошо помню, а вы забыли. Вамъ прочили княжну Яновскую... А Агаша наша все перевернула. И лицо-то изнанкой вышло.

Между тѣмъ, нянюшка, принявъ дорогого гостя, князяго дядьку, приказала подать самоваръ.

Кузьмичъ, поздоровавшись, тотчасъ справился о здоровьѣ господѣ, потомъ понюхалъ табаку изъ тавлинки и выговорилъ:

— Ну, а ты сама, сударыня моя, Марфа Ѳоминишна... Сама какъ?

— Прихварываю... Да что Бога гнѣвить... Мнѣ и не надо здоровья... Мнѣ и помирать пора, — заявила нянюшка. — Вотъ только бы увидѣли мои глаза мою Танюшу при благополучи и счастья брачномъ... Тогда мнѣ и жить больше не надо.

— Какъ можно?.. У выхodenнаго дитя свои дѣтки пойдутъ, за коими приглядѣть тоже пожелается.

— Оно конечно. Что говорить. Захочется.

— То-то. То-то... Я тоже вотъ скажу. Женится на комъ мой князюшка. Я тоже махонькихъ князьковъ пожелаю на рукахъ подержать...

Наступило молчаніе.

— Да, — вздохнулъ вдругъ Кузьмичъ, — надо мнѣ ему постараться найти женушку въ Москвѣ... Вотъ хоть бы, говорю, въ родѣ бы твоей барышни. Прямо говорю...

— И я сказываю то же, Иванъ Кузьмичъ... — отвѣтила Марфа Ѳоминишна. — Коли твой, говоришь, князь доброта самая, то ужъ наша-то Татьяна Петровна — сущій херувимъ. Этакой доброты не бывало да и не будетъ. Опроси всю Москву...

— Знаю, знаю... Опрашивалъ, золотая моя. Всѣ хвалить до небесъ.

— И изъ себя красавица и крѣпышъ дѣвица... Одно вотъ. Не богачка. Но все жъ таки послѣ кончины родителейъ вотъ эфтогъ домъ ейный будетъ. А дома въ Москвѣ все дорожаютъ.

— Ну, это что! — отмахнулся Кузьмичъ. — Деньги дѣло наживное. У князя свое достоянїе есть. А помри, прости Господи, его чудодѣй даденька, безъ какого срамнаго завѣщанїя, то все ему пойдетъ. А у князя-то Александра Лексѣича страшнѣющее иждивеніе... Да. Такъ вотъ оно что!.. Вотъ и давай-ко паки и паки, Марфа Ѳоминишна, мыслями раскидывать...

— Я всею моею душою, Иванъ Кузьмичъ... — воскликнула няня. — Я и господамъ моимъ одиножды уже закидывала про все это, будто ненарокомъ. Ну, и они, конечно, про князя одно хорошее слышали, тоже расположеніе въ себѣ къ нему

чувствуютъ. Только опять, понятное дѣло, запретили мнѣ строго-на-строго никому объ этомъ не разбалтывать, да и дѣвочку нашу разговоромъ ей непригоднымъ не смущать. Пока что, она не должна, по дѣвчеству своему, ничего знать объ нашихъ съ тобой размышленіяхъ.

— Еще бы? Зачѣмъ. Не ея это дѣло.

Болѣе часа просидѣлъ дядька у няни и друзья безъ перерыва говорили, но новаго большаго ничего не сказали.

Всякій разъ повторялось то же тѣми же словами.

Нянюшка ни словомъ ни разу не обмолвилась Кузьмичу о волненіяхъ господъ и о своихъ бесѣдахъ про жениха съ питомицей. Старикъ же увѣрялъ, что его князинькѣ шибко приглянулась дѣвица...

XV.

Кузьмичъ явился, однако, домой необычно сіяющій лицомъ, радостно-важный, почти торжественный и собирался на этотъ разъ ужъ прямо заговорить о своемъ посѣщеніи Квощинскихъ. Но Сапокъ не далъ ему рта разинуть и заявилъ объ гостѣ, который только что уѣхалъ, наговоривъ невѣроятныхъ вещей.

Объяснивъ все, что произошло, Сапокъ прибавилъ.

— Умалишенный или мошенникъ. Какъ посудишь ты?

Дядька былъ озадаченъ новостью не менѣе своего питомца, такъ какъ не понималъ смысла и цѣли такого посѣщенія, да еще человѣка съ страннымъ именемъ.

— Какъ? Какъ вы сказываете? — спросилъ старикъ.

— Вавилонъ Ассирьевичъ Покуда...

— Поскуда! Не вѣришь ли?

— Вотъ и я то же сказалъ. Даже хотѣлъ и обозвать его эдакъ, — разсердившись, воскликнулъ Сапокъ.

— Чудно. Очень чудно. Понять невозможно, — заявилъ Кузьмичъ, поразмысливъ. — Ну, прійти съ предложеніемъ ябедничать, еще куда ни шло... Для нихъ приказныхъ судейское крючкотворство, что кормъ для скотины. Тоже жить хотятъ. А вотъ итти съ совѣтомъ смертоубійствовать, опаивать... И вдобавокъ итти эдакъ-то къ кому еще? Къ вамъ, князю и офицеру... Это ужъ совсѣмъ удивительно...

— Вотъ и я такъ - то разсуждаю, Кузьмичъ. Просто неслыханное дѣло. Я офицеръ гвардіи...

— Обида! Обида! Охъ, обида!

— Что?

— Обида, что меня не было,—воскликнулъ старикъ, сжимая кулаки.— Я бѣ его принялъ... Я бы его во какъ отрезвонилъ. Онъ бы у меня кубаремъ выкатился изъ дому. А вы нюни распустили. Эхъ ты, Лексаша мой, Лексаша. Все будешь вѣкъ свой младенчикомъ.

— Нѣтъ, Кузьмичъ, я его шибоко изругалъ и выгналъ.

— Никогда. Хвастаешь.

— Ей-Богу, Кузьмичъ. Ей-Богу. Такъ и крикнулъ на него.

Подите вонъ...

— Побить надо было... Въ оба кулака принять. Отзвонить такъ, чтобы оглохъ на всю жизнь, чтобы...

Но Сашокъ не далъ дядькѣ договорить и воскликнулъ:

— Стой, и забылъ. Вотъ его бумага... Я читалъ, но не понялъ ни белмеса. Всего четыре строки.

— Письмо? Кому же?

— Онъ оставилъ мнѣ и тебѣ. Онъ сказалъ: если тамъ вы не поймете, Кузьмичу прочтите. Онъ умный и пойметъ. Стало быть, онъ тебя знаетъ. Ну вотъ, слушай. Я какъ есть ничего не понялъ, а ты, можетъ, и поймешь что. Слушай.

И Сашокъ началъ читать съ разстановкой.

— Любрабезканный пледамянбраникъ. Прибраѣзкажай кода мнѣбра набра покаклонъ. Твойда робрадной дябрадяка.

— Ну, вотъ и все, — прибавилъ Сашокъ.

— Тьфу!—азартно плюнулъ Кузьмичъ.—Чистый дьяволъ, прости Господи.

Заставивъ Сашка еще три раза перечестъ написанное, онъ задумался.

— Баловство!—рѣшилъ, наконецъ, старикъ.—Мало-ли какой народъ шатается по свѣту. Есть и умалишенные. А то просто лясники.

— Какъ то-ись?—не понялъ Сашокъ.

— Такіе человѣки. Шатаются, мотаются зря и ласы точать.

Совсѣмъ стало понятно.

— Да что такое?

— Ласы-то? Да такъ стало быть сказывается. Ласы-баласы. А они-то сами лясники-баласыники. Мотаются по свѣту и врутъ, что попало, чего и на умѣ нѣтъ. Языкъ-то у нихъ самъ по себѣ вертится. Дай ему прочестъ это, онъ и самъ не пойметъ ни одного слова.

Сашокъ, глядя въ лицо Кузьмича и ожидая удовлетворительнаго объясненія, не согласился съ мнѣніемъ старика-дядьки. Онъ приписывалъ этой чепухѣ какой-то смыслъ, и ему показалось, что Кузьмичъ кривитъ душой. Старикъ ничего не понималъ, такъ же, какъ и онъ самъ, Сашокъ, но не желаетъ въ этомъ сознаться и самъ тоже что-то неясное выдумываетъ вмѣсто дѣльнаго объясненія.

— Ну, да плевать намъ на дурака,—заявилъ Кузьмичъ.— Вѣдь, больше не посмѣетъ явиться. Плевать. Вы вотъ послушайте, что я выкладываю буду. Мое-то все полюбопытнѣе и поважнѣе.

— А что же?

— Гдѣ я былъ сейчасъ? Догадайся вотъ. Ахнешь родимый. Былъ я у господъ Квоцинскихъ. Вотъ что!

Сашокъ былъ удивленъ, но ловко скрылъ это.

— Ну...—нѣсколько равнодушно и, конечно, умышленно равнодушно отозвался онъ.

— Что ну?—какъ бы обидчиво вымолвилъ Кузьмичъ.

— Сказывай. Съ какой радости. Зачѣмъ былъ.

— Сказывай? Коли тебѣ, князь, ваше сіятельство, нелюбопытственно, такъ не стойте мнѣ и слова тратить...

И Кузьмичъ двинулся, какъ бы собираясь уходить изъ комнаты.

— Да ну, ну... Полно. Сейчасъ, старый ты хрычъ, и обидѣлся. Что же мнѣ на крышу бѣжать, влѣзть да съ нее во дворъ прыгать...

— Ну, былъ у Квоцинскихъ. Ну, видѣлъ ихъ. Ну и рассказывай, зачѣмъ туда носило тебя.

— Коли вамъ все это не любопытно...

— Заладилъ, вѣдь... Ну говори, слушаю...—мягче и ласковѣе произнесъ молодой человѣкъ.—Коли есть что любопытное, тѣмъ лучше.

— Вѣстимо есть! И даже совсѣмъ диковина. Вы вотъ здѣсь у окошечка сидите день-деньской, да зѣваете съ тоски... А Квоцинская барышня ума рѣшилась. По васъ тоскуетъ и убивается. Похудѣла, побѣлѣла... Хоть помирать.

— Да что же это такое?—изумился молодой человѣкъ.

— Какъ, что же? Шибко полюбились вы ей. Позарѣзь! Вотъ и все.

— Удивительно это, Кузьмичъ.

— Почему же?

— Какъ почему. Самъ посуди. Видѣлись мы единожды въ церкви, а потомъ повстрѣчалъ я ее разъ подѣ Новинскомѣ на гуляньи. Да и не знаю еще вѣрно, она ли то была. И не знакомы. И никогда не разговаривали. Она въ церкви меня и не замѣтила, по моему. Я только на нее малость поглядывалъ. И вотъ вдругъ она да тоскуетъ по мнѣ. Впрямь диковина!

— Ахъ ты, ваше сіятельство...—замоталъ головой Кузьмичъ, и, доставъ тавлинку, онъ отчаянно нюхнулъ два раза.—Прямо сказать—простота.

— Да какъ же тосковать по томъ, кого не знаешь,—воскликнулъ Сашокъ.

— Ты не знаешь, а она стало быть хорошо знаетъ. Много ли нужно для дѣвицы, чтобы офицеръ да еще князь, да еще такой, какъ ты у меня, сразу дѣвицѣ серденько защемиль. Ну вотъ барышня видѣла васъ два раза, и память потеряла... Безъ памяти отъ тебя. Вотъ тебѣ и весь сказъ!

— Диковинно,—протянулъ Сашокъ тихо, какъ бы самъ себѣ.

— Ничего диковиннаго нѣту. Ну а по вашему какъ? Дурновата она, худорожа, сухопара.

— Нѣтъ. Какъ можно...

— Красавица, прямо сказать, видна.

— Да .Пожалуй... Красавица не красавица, а только видная...

— Бѣлая, румяная. Глаза звѣздами. А ужъ нравомъ прямо ангель-херувимъ. Нянюшка Марфа Ѳомииншна говоритъ, что такихъ дѣвицъ, какъ ея Танюша, не бывало на свѣтѣ и не будетъ.

Да, вѣдь это, Кузьмичъ, всѣ мамки про своихъ такъ называютъ,—замѣтилъ Сашокъ.

— Такъ. По-твоему, лжетъ она, стало быть?

— Нѣтъ. Я не то...

— Такъ я, стало, лгу и морочу тебя.

— Да нѣтъ. Зачѣмъ. Я только говорю, что всѣ мамки про своихъ...

— Ну, что же вамъ со лгунами и обманщиками якшаться...—разсердился вдругъ дядька.—Идите ищите людей праведныхъ, а насъ, криводушныхъ, оставьте до сыта врать, да на вѣтеръ брехать.

— Ахъ ты, Господи... Вотъ царевна недотрога!—воскликнулъ Сашокъ.—Слова ему не скажи. Могу же я разсуждать объ дѣлахъ.

— Я для васъ стараюсь,—воскликнулъ старикъ,—изъ любви моей и преданности. Не даромъ я тебя выходилъ. Не даромъ и на рукахъ носилъ. Не даромъ глаза на тебя проглядывалъ. Могу я, стало быть, знать, гдѣ твое счастье, и въ чемъ тебѣ въ жизни благополучіа... Я вишь старъ да глупъ. Все путаю, а то и вру... Снесла курочка яичко, а оно ей и сказывается: не такъ ты, курица глупая, яйца несешь.

И Кузьмичъ быстро вышелъ изъ комнаты.

XVI.

На другой день Сашокъ собрался на дежурство. Поступивъ адъютантомъ къ генераль-аншефу князю Трубецкому, онъ сначала бывалъ на службѣ ежедневно съ девяти утра и до трехъ часовъ, когда въ домѣ князя подавали кушать, но вскорѣ начальникъ, которому адъютантъ былъ совершенно ни на что не нуженъ, позволилъ молодому человѣку являться только три раза въ недѣлю, да и то не ранѣе полудня, такъ какъ князь Егоръ Ивановичъ, играя въ карты за полночь, вставалъ поздно.

Занятія или дѣла у Сашка не было никакого собственно служебнаго. Онъ, являясь, садился на стулъ въ большомъ залѣ и сидѣлъ сложа руки... Изрѣдка, когда прїѣзжалъ къ Трубецкому кто-либо не по знакомству, а по дѣламъ службы, Сашокъ докладывалъ посѣтителя и провожалъ чрезъ гостинныя въ кабинетъ князя.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ у адъютанта бывало иногда много дѣла, совершенно иного. Онъ исполнялъ посылки и порученія княгини Серафимы Григорьевны и самыя разнообразныя. Иногда эти порученія были таковы, что Сашокъ хмурился и негодовалъ. Ему казалось, что для дворянина офицера они были не подходящи, роняли его достоинство. Къ тому же и Кузьмичъ, вѣчно противорѣчащій ему, былъ въ данномъ случаѣ согласенъ съ нимъ, что княгиня не соблюдаетъ благоприличія, будто забываетъ, что адъютантъ не служитель, не скороходъ и не «побѣгушка». А между тѣмъ офицеръ и князь Козельскій, будучи адъютантомъ князя, былъ положительно скороходомъ у княгини. Онъ разѣзжалъ по всей Москвѣ. И по знакомымъ княгини, и въ Гостинный дворъ, и въ магазины, развозя и привозя всякую всячину. Ѣздитъ верхомъ по столицѣ въ мундирѣ съ картонками или узелками—казалось Сашку совсѣмъ униженнымъ... А дѣлать было нечего. Противорѣчить кня-

гинѣ Серафимѣ Григорьевнѣ было прямо опасно. Ослушаться ее—значило немедленно потерять мѣсто, которое позволяло ему жить въ Москвѣ.

Молодой человѣкъ угѣшался тѣмъ, что самъ князь Трубецкой боялся жены, какъ огня, и тоже случалось, въ полной формѣ, на конѣ забѣжалъ по ея приказу въ Охотный рядъ или на Козье болото и, правя лошадыю лѣвой рукой, въ правой везъ домой кулечикъ, гдѣ дрыгаль живой судакъ или лещъ.

Иногда княгиня давала мужу совѣтъ диковинныя порученія. Когда она отправлялась куда-либо въ гости, то бывала одѣта лучше и богаче всѣхъ. Поэтому, если ея пріятельницы, почти всѣ шили платья дома, имѣя своихъ крѣпостныхъ портнихъ, то княгиня давала шить своимъ швеямъ только простое платье. Выѣздные туалеты, не только «панье» или «робронды», или шарфы и мантильи, но и всякая мелочь выѣздного костюма покупались и шились на Кузнецкомъ мосту, гдѣ не было ни единого русскаго купца, и не было лавокъ. Были только «могазены», а держали ихъ почти только одни французы, за исключеніемъ двухъ-трехъ голландцевъ, торговавшихъ бѣльемъ и золотыми вещами. Москвичи уже часто шутили, что надо называть центръ модничанья не Кузнецкимъ, а «Французскимъ» мостомъ.

Княгиня, не любя выѣзжать изъ дому, проводя день въ капотѣ и хожденьи по дому, разсылала и адъютанта, и мужа.

Однажды, пользуясь тѣмъ, что князь былъ одного съ ней роста, княгиня послала его къ портнихѣ примѣрить новую юбку, чтобы не «обузила дурачьего французинка».

И князь Егоръ Ивановичъ съѣздилъ, примѣрилъ и донесъ супругѣ, что приказалъ убавить юбку на вершокъ.

— Только, дорогая моя...—заявилъ онъ.—Стыда набрался. Эти вертушки парижанскія просмѣяли меня.

Теперь, когда вся Москва была переколнута именитыми людьми, явился Дворъ и всѣ важнѣйшіе сановники Имперіи съ семьями—Сапокъ еще болѣе боялся вдругъ осрамиться изъ-за княгини.

— Она вѣдь, того гляди, пошлетъ меня во всемъ парадѣ на Москву-рѣку съ бочкой!—говорилъ онъ Кузьмичу.

На этотъ разъ, когда Сапокъ явился въ домъ князя, онъ нашелъ княгиню, мягко шагающую въ залѣ, въ капотѣ, просто-волосую и въ однихъ чулкахъ.

Едва только завидя адъютанта мужа, княгиня выговорила тихо, а тѣмъ не менѣе грозно.

— Пожалуй! Пожалуй-ко сюда, воробей.

Сашокъ подошелъ и поклонился почтительно.

— Гдѣ князь Егоръ Ивановичъ?

— Не могу знать-съ.

— Такъ я тебѣ воробью скажу. Князь въ Петровскомъ. Поѣхалъ представиться царицѣ... А ты съ нимъ?

Сашокъ молчалъ, не понимая.

— Твоя какая должность, воробей. А? Состоять при князѣ. А ты что? Голубей гоняешь у себя на дому.

— У меня, княгиня, нѣтъ голубей!

— Нѣтъ. Ну такъ воронъ считаешь. Э-эхъ, моя бы воля. Я бы тебя по этому мѣсту поучила.

И княгиня оглядѣла офицера, какъ бы ища на немъ «это мѣсто».

— Подъ. Сядь. Приѣдетъ вотъ князь, промоетъ тебя съ пескомъ.

Сашокъ отошелъ въ уголъ зала, но изъ вѣжливости не сѣлъ.

Княгиня Серафима Григорьевна снова начала ходить взадъ и впередъ по большому залу, угрюмая, заложивъ руки за спину и шагая мѣрно, твердой поступью, въ которой сказывалось что-то особенное, внушавшее кому почтеніе, а кому боязнь.

Этотъ шагъ, короткій, правильно мѣрный и крѣпкій, будто говорилъ всякому, что тотъ, кто эдакъ двигаетъ ногами, знаетъ, что дѣлаетъ, чего хочетъ, знаетъ, гдѣ раки зимуютъ, учиться ни у кого не пойдетъ, ума разума занимать не станетъ, самъ всякаго поучить, да еще такъ поучить, что не скоро забудешь.

Руки, заложенные за спину по-мужски, придавали всей фигурѣ маленькой и плотной женщины видъ еще болѣе рѣшительный... Черные съ сильной сѣдиной волосы, зачесанные, залезанные съ маленькимъ пучкомъ на затылкѣ, круто свернутымъ, были такой прической, что издали казалось, будто женщина острижена подъ гребенку.

Большіе, свѣтлые, сѣрые глаза глядѣли сурово, не сморгнувъ... Когда княгиня смотрѣла не только на живыхъ людей, но хотя бы на голую стѣну, то въ глазахъ этихъ все-таки читалось:

— Ты что! Смотри! Я—тебя!!

И всякая даже стѣна, навѣрное, тоже чувствовала себя неловко.

Княгиня была теперь особенно сурова, потому что волновалась. Князь Егоръ Ивановичъ, уже часа съ два какъ уѣхалъ въ полной парадной формѣ во всѣхъ своихъ регаліяхъ и, конечно, въ великолѣпномъ новомъ рыдванѣ въ три пары коней, цугомъ. Уѣхалъ онъ въ Петровское. Да не просто! Представиться государынѣ!..

Княгинѣ Серафимѣ Григорьевнѣ уже десять лѣтъ хотѣлось, чтобы мужъ, давно сановникъ крупный, получилъ должность по чину, а не сидѣлъ бы въ Москвѣ насѣдкой безъ почета...

«А это по всему слѣдуетъ! Ужъ если не князя Трубецкіе будутъ первыми людьми въ Россіи, то кто же тогда?.. Новые графы, что ли? И какіе?»

«Да. Какіе?! Исусе, Сыне Божій! Графы Разумовскіе, Бестужевы, Шуваловы... А теперь будутъ и Орловы!... Завтра пойдутъ графы Сидоровы, графы или князя Ѳедюхины, или тамъ еще какіе... Ужъ тогда просто бы дать указъ всѣмъ дворянамъ величаться князьями и графами... Орловы и вдругъ графы?.. Орловы? Графы? Какъ-то вмѣстѣ не вяжется. Чудно, смѣхотворно сказать, графъ Орловъ. Полагательно, имъ самимъ стыдно будетъ, когда ихъ начнутъ такъ величать».

И о многомъ подобномъ мысленно разсуждала княгиня, шагая по залу и мягко ступая ногами безъ башмаковъ.

Въ послѣднемъ княгиня подражала многимъ барынямъ, которыя, какъ и она, страдали мозолями и предпочитали быть въ чулкахъ, такъ какъ совсѣмъ на босу ногу дворянкѣ быть не подобало.

Прошло съ полчаса... Сапокъ стоялъ все въ углу зала, а княгиня продолжала маршировать мѣрными шагами и глядя въ полъ.

Въ отворенное окно вдругъ донеслось нараспѣвъ:

— Груши-яблоки хоррроши! Яблочки крымскія! Груши рязанскія!

Княгиня остановилась и выговорила:

— Кликни! Ты! Тютантъ...

Адъютантъ перевѣсилъ за окно и крикнулъ:

— Гей! Ты! Гей, яблоки!

Но разносчикъ, снова громогласно запѣвшій свое, на разслышалъ и быстро удалился.

— Не слышитъ,—заявилъ Сапокъ.

— Такъ пошелъ, догони, ротозѣй!—воскликнула княгиня.— А еще тютантъ! Ахъ, ты...

Сашокъ сбѣжалъ по парадной лѣстницѣ и послалъ швейцара догнать и вернуть разносчика.

Затѣмъ онъ доложилъ о немъ княгинѣ.

— Вели Анфисѣ два десятка грушъ кунить... Принеси сюда.

Когда Сашокъ, исполнивъ порученье, явился снова съ грушами на подносѣ, княгиня взяла одну, закусила, выплюнула на полъ и выговорила:

— Ахъ, мошенники! Ахъ, идола!

Однако, начавъ снова маршировать по залѣ, она дѣла грушу и взяла другую, потомъ—третью.

— Ты, воробей! Сбѣгай—узнай: какое время.

Это порученье адъютантъ исполнялъ почти каждый разъ, что являлся на службу. Часовъ въ домѣ князя Трубецкого не было, такъ какъ онъ считалъ, что часы приносятъ несчастье. Княгиня въ этомъ мужу не перечила, находя, что всѣ примѣты російскія—самыя мудрыя.

Обыкновенно, Сашокъ доходилъ до угла улицы, въ домъ сенатора Евреинова, и справлялся.

На этотъ разъ, вернувшись, онъ заявилъ, что у сенатора столовые часы перестали ходить со вчерашняго дня.

— Ахъ, идола!—проворчала княгиня, и прибавила:—По солнцу?..

— По солнцу, Серафима Григорьевна, опасаюсь ошибиться,—отвѣтилъ Сашокъ.—Я на это не мастеръ. Кажись, что второй часъ.

— А на какое ты дѣло мастеръ? А? — спросила княгиня.

— Не могу знать.

— На баклуши. Понялъ? Нѣтъ, не понялъ?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Баклуши бить — мастеръ ты! И уши развѣшивать — тоже. Нюни пускать—тоже тебя взять.

XVII.

Наконецъ, у подъѣзда дома загромычала и стала карета.

Сашокъ, высунувшись въ окно, узналъ экипажъ своего начальника, и тотчасъ побѣжалъ внизъ.

Князь уже вышелъ изъ кареты и вошелъ въ переднюю.

Сашокъ сталъ извиняться, говоря, что князь ничего ему не сказалъ наканунѣ, и онъ не могъ знать, что долженъ сопутствовать ему въ Петровское.

— Княгиня моя тебѣ это пояснила?—спросилъ князь.

— Точно такъ-съ.

— Ну, пора привыкать. Коли я тебѣ ничего не сказалъ, стало быть, и не хотѣлъ тебя брать.

Князь Трубецкой былъ очень маленькій и худенькій старикъ, съ крючковатымъ носомъ, съ ястребиными глазами, но съ добрыми, крупными, постоянно улыбающимися глазами. Не знавшіе его близко считали его человѣкомъ сухимъ, даже злымъ; но знавшіе близко, знали, что онъ добрѣйшей души человѣкъ, которому природа, по ошибкѣ, дала злые глаза. Всѣ знали тоже, что если случалось князю сдѣлать что-либо непріятное, то это было по приказанію его супруги, которой онъ послушаться не могъ, ибо боялся до страсти. Да и боялся-то онъ жены изъ-за доброты своей. Онъ не любилъ и избѣгалъ въ людяхъ гнѣва и старался всячески себя оградить и никого не сердить, а тѣмъ паче жену...

Княгиня встрѣтила мужа на верху парадной лѣстницы, стоя въ той же своей всегдашней позѣ, съ закинутой головой, гдѣ торчалъ пучокъ волосъ на самой маковкѣ, и съ руками, скрещенными за спиной.

— Ну? Что?—выговорила она.

— Ничего.

— Приняла?

— Да.

— Разспрашивала?

— Нѣтъ...

— Какъ, нѣтъ!?

Князь вошелъ на верхнюю ступень и на площадку и потянулся къ женѣ поцѣловаться, что онъ дѣлалъ всегда, возвращаясь домой, хотя бы совсѣмъ послѣ краткаго отсутствія.

— Погоди лизаться...—уткнулась княгиня рукой въ его грудь.—Говори. О себѣ не говорилъ, стало быть?..

— Нѣтъ.

— Преотмѣнно!!..

— Нельзя было. Приняла меня государыня съ тремя другими. Тутъ же былъ и Бецкой, который, къ слову сказать, опять пошутилъ: «Ты—Трубецкой, а я—только безъ «тру» Бецкой; а, все-таки, есть Трубецкіе, которые бы пожелали

быть на мѣстѣ безъ «тру» Бецкого... А знаешь, матушка, новость!!.. Онъ всѣмъ коронованіемъ будетъ управлять, потому что...

— Да ты о себѣ говори!.. О себѣ!.. Что мнѣ твои Бецкіе и всякіе иные, некровные, съ боку прижитые... Онъ...

И княгиня выразилась очень рѣзкимъ словомъ.

— А вотъ пойдемъ къ тебѣ, все расскажу, — отвѣтилъ князь добродушно... Затѣмъ, обернувшись къ своему адъютанту, князь прибавилъ:

— Сбѣгай, голубчикъ... Ничего нѣту! Попроси хоть на два понюха.

Князь показалъ пустую табакерку.

— Слушаю съ...—воскликнулъ Сашокъ и пустился внизъ по лѣстницѣ.

Онъ сразу понялъ, въ чемъ заключалось порученье, потому что князь по крайней мѣрѣ два раза въ недѣлю посылалъ его къ своей свояченицѣ Настасьѣ Григорьевнѣ Маловой за нюхательнымъ табакомъ.

Сестра княгини, красавица-вдовушка, нюхала табакъ и не столько изъ-за необходимости и привычки, сколько изъ-за модничанья и того, что всѣ нюхали... Но дѣло въ томъ, что Малова умѣла готовить изъ разныхъ смѣсей такой табакъ, какого въ продажѣ не было и отъ котораго всѣ нюхатели приходили въ восторгъ.

Увѣряли даже, что самъ фельдмаршалъ Разумовскій говорилъ:—Маловскій табакъ? Ну табакъ! Въ жаръ и холодъ бросаетъ. Нюхнешь, и душа съ Богомъ забесѣдуетъ.

Сашокъ добѣжалъ за два дома отъ подъезда, приказалъ доложить Маловой, зачѣмъ онъ явился, и тотчасъ былъ принятъ. Онъ вошелъ въ гостиную и почтительно заявилъ, что князь только что вернулся изъ Петровскаго отъ государыни, а табаку ни порошинки въ табакеркѣ.

Молодой человекъ всегда старался быть особенно почтителенъ съ Маловой, такъ какъ родная сестра могла повліять на жену его начальника и замолвить за него словечко.

Съ хозяйкой сидѣло два господина. Одинъ пожилой, другой молодой красивый хватъ въ артиллерійскомъ мундирѣ.

Настасья Григорьевна, какъ всегда бывало, странно поглядѣла на Сашку, какъ будто чему смѣялись ея глаза, и подала ему голландскую тавлинку съ табакомъ.

— Всегда-то вы за табакомъ,—сказала она сладко. Возьмете и уйдете. А нѣтъ чтобы меня навѣстить и посидѣть.

Сапокъ не нашелся, что отвѣтить, глупо улыбнулся и, поклонясь, вышелъ.

— Чудно она на меня всегда глядитъ,—подумалъ онъ.— А надо сказать правду. Красива. Даже не хуже моей Катерины Авдѣевны. Та пономариха все-таки. А это сестра родная княгинѣ. Все-таки дворянка.

Вслѣдъ за нимъ въ переднюю вышелъ и пожилой чело-вѣкъ, суровый, угрюмый, смѣрилъ его съ головы до пятъ и, пройдя мимо, сѣлъ въ свой экипажъ. Сапокъ уже не разъ видалъ этого гостя Маловой, но не интересовался узнать, кто онъ такой.

— Чего это онъ сегодня, будто съѣсть меня хотѣлъ,—подумалось Сашку, и онъ на этотъ разъ спросилъ у лакея, кто этотъ гость его барыни.

— Павелъ Максимовичъ, баринъ Квоцинскій.

— Квоцинскій. Вона. Не ожидалъ!—удивился Сапокъ и прибавилъ:—сердитый видно.

— Никакъ нѣтъ-съ,—глупо ухмыльнулся лакей.— А они съ капитаномъ сейчасъ все вздорили. Съ Кастрицкимъ.

Молодому чело-вѣку было, конечно, это извѣстіе не любопытно, и онъ побѣжалъ обратно, бережно держа въ рукахъ тавлинку.

Когда Сапокъ вернулся въ домъ и сталъ подходить къ кабинету князя, то черезъ растворенныя двери услышалъ, что между супругами «баталія».

— Коли она сказала эдакъ-то,—кричала княгиня,—сказала сама тебѣ, что хорошо бы молъ поступили, если спознакомились, то и ступай.

— Сама. Да все-таки...

— Ничего! Ступай. И сейчасъ ступай!—вскрикнула княгиня.

— Матушка, разсуди, что я...—громче, но мягко возражалъ князь.

— Нечего разсуждать. Ступай.

— Мнѣ семьдесятъ лѣтъ, а имъ всѣмъ братьямъ...

— Ходь сто семьдесятъ будь. Собирайся... Орловы стали теперь поважнѣе Разумовскихъ самихъ.

— Но матушка Серафима Гри...

— Собирайся. Бери этого щенка Козельскаго и алѣ-маршѣ.

— Нельзя, матушка... Хоть предупредить прежде,—уступчиво заговорилъ князь. Спросить ихъ когда. Приѣду, не застану дома, и опять ступай. Что же я у нихъ на побѣгушкахъ эдакъ буду стоять.

— Ну, это пожалуй. Ладно. Тогда посылай сейчасъ къ Орловымъ этого щенка спросить и эдакое что-нибудь вѣжливое сказать. Авось не переверетъ олухъ Царя Небеснаго.

А Сашекъ, слушая у дверей, проговорилъ себѣ.

— Это все я. И щенокъ, и олухъ...

Князь вышелъ, наконецъ, и, увидя адъютанта, воскликнулъ съ упрекомъ.

— Что же ты стоишь. А я жду и помираю. Носъ онѣмѣлъ, не чую его... Подай скорѣе.

И выхвативъ изъ рукъ Сашки тавлинку, князь взялъ огромную щепоть табаку и наполнилъ, почти закупорилъ, обѣ ноздри, а затѣмъ потянулъ въ себя.

— Ахъ благодать. Прямо-таки благодать,—сладко произнесъ онъ.—Вотъ вѣдь Настасья Григорьевна, дама, прости Господи, какая ужъ не прыткая, а табакъ готовить прямо царямъ или королямъ нюхать.

И во второй разъ начинивъ носъ, князь заговорилъ дѣловито.

— Ты у меня умница... Слушай въ оба и исполни хорошенько... чтобы не было ни сучка, ни задоринки. Ступай сейчасъ къ господамъ Орловымъ. Знаешь, гдѣ изволятъ жить.

— Какъ не знать-съ. На Никитской у Вознесенія.

— Ну, вотъ, ступай и вели доложить Ивану-ли, Григорью-ли, Алексѣю-ли, Феодору-ли Григорьевичамъ. Это все одно. Доложить, что, молъ, генераль-аншефъ князь Егоръ Ивановичъ Трубецкой имѣетъ честь кланяться и просить сказать, когда онъ можетъ приѣхать познакомиться.

Сашокъ, какъ ни былъ наивенъ, но глядѣлъ выпуча глаза.

— Что, родимый. Дивишься, что старикъ генераль-аншефъ, да еще Трубецкой, поѣдетъ эдакъ къ капитанамъ-молокососамъ. Что дѣлать. Времена перемѣнчивы.

Сашокъ дѣйствительно былъ удивленъ, что старикъ, заслуженный генераль и одно изъ первыхъ лицъ дворянской Москвы, первымъ ѣдетъ къ дворянамъ Орловымъ. Да еще посылаетъ узнать, когда ему быть. Молодой человекъ, какъ и всѣ въ Москвѣ, слыхалъ о внезапномъ возвышеніи простыхъ офицеровъ, но заявленіе Трубецкого все-таки смутило его.

Кромѣ того, Сашокъ смутился и струсилъ за себя самого. «Каково ѣхать къ этимъ Орловымъ? Они похуже самой княгини отбреютъ. Примутъ гордо, высокомерно, обойдутся прямо какъ съ лакеемъ». Но разсуждать было нельзя, и Сашокъ, выйдя, сѣлъ на лошадь и смущенный шагомъ пустилъ коня.

— Тамъ у нихъ вся Москва, сказываетъ Тить, толчется отъ зари до зари. А у меня какая же людскость. Никакой. Какъ много народу, такъ сейчасъ у меня душа въ пяткахъ. Ну вотъ холопа и изображу. Да Орловы своего пару еще подадутъ.

XVIII.

За эти дни, что императрица, въ ожиданіи оффиціального и торжественнаго въѣзда въ самый городъ, жила въ Петровскомъ, братья Орловы не по днямъ, а по часамъ выростали во мнѣніи москвичей, становились все важнѣе и именитѣе. И дѣйствительно, не было ни единого человѣка, не только простого дворянина, но и вельможи обвѣихъ столицъ, который бы не ѣхалъ на Никитскую рекомендоваться и знакомиться.

Но удивленію всѣхъ не было границъ.

— Вотъ люди! Диковинные люди! — говорили всѣ, побывавъ у господъ Орловыхъ.

Пять братьевъ, старшій Иванъ Григорьевичъ коренной москвичъ, былъ всегда человѣкомъ добродушнымъ и любезнымъ, но какъ „маленькому“ человѣку, небогату дворянину, ему такъ и слѣдовало поступать. Однако теперь онъ сталъ еще ласковѣе ко всѣмъ.

Братья, петербуржцы, прежній простой цалмейстеръ, а нынѣ генеральсь-адъютантъ Императрицы Григорій Орловъ, третій Алексѣй и четвертый Теодоръ—оба преображенцы, наконецъ пятый братъ, еще молоденькій кадетъ, обращались еще диковиннѣе со всѣми, прямо заискивали, не только ухаживали. Дѣло становилось загадкой.

Зато, когда братья оставались одни, то въ бесѣдѣ глаза-на-глазъ объясняли эту загадку.

— Мы итакъ по природѣ не гордецы,—говорилъ Алексѣй Орловъ,—и нужно думать ни при какихъ обстоятельствахъ и впредь гордецами не сдѣлаемся. А теперь надо поласковѣе поглаживать матушку-Москву. Надо всячески ее ублажать,

чтобы она подъ нашу музыку согласно заплѣла, когда придетъ время.

И иногда, обращаясь къ брату Григорію, онъ прибавлялъ: — Ну а какъ, Гриша, скоро-ли время-то это придетъ?

Адъютантъ Императрицы всегда отвѣчалъ весело одними и тѣми же словами.

— Жду у моря погоды! Будемъ надѣяться, что скоро. А ты, Алеханъ, свое дѣло дѣлай насчетъ этихъ разныхъ Хрушевыхъ да Гурьевыхъ.

— Объ этомъ не тревожься, взялся я за дѣло, доведу до конца. Всѣ эти крикуны и разное пустомельство, у нихъ происходящее—все чепуха. Ужъ во всякомъ случаѣ не какіе-нибудь офицерики могутъ быть помѣхой въ эдакомъ важномъ дѣлѣ.

Дѣйствительно, у Григорія Орлова, который съ іюньскихъ дней и переворота сталъ ближайшимъ лицомъ къ государынѣ, было дѣло, имѣвшее для него огромное значеніе. Но дѣло это было все-таки затѣей честолюбца. А затѣя была такого рода, что ее слѣдовало держать подъ спудомъ, всячески ограждать отъ огласки. Если бы про такую затѣю несвоевременно распустили слухъ по Москвѣ, то не нашлось бы ни единого человѣка, сановника-ли, дворянина, купца или простого мѣщанина, который бы не ахнулъ.

Затѣя Григорія Орлова была дѣломъ почти неслышаннымъ и невиданнымъ на Руси, но именно „почти“.

Если подобное уже было и недавно, и если оно было тайной для всей Россіи, то большинству дворянъ обѣихъ столицъ оно было извѣстно. Однако, извѣстно не какъ доказанный, очевидный фактъ, а какъ нѣчто предполагаемое „почти“ навѣрное.

Если бы извѣстнаго рода слухи за послѣднія десять лѣтъ не ходили въ обѣихъ столицахъ, то, разумѣется, и Григорій Орловъ никогда не рѣшился бы на свою теперешнюю затѣю.

Слухъ или догадка заключались въ томъ, что императрица Елисавета Петровна была тайно обвинена съ графомъ Алексѣемъ Григорьевичемъ Разумовскимъ. Покойная императрица и самъ фельдмаршалъ не отрицали ничего, и только отмалчивались. Доказательствъ на существованіе тайнаго брака не было.

Императорская золотая корона, вмѣсто креста, красовавшаяся на храмѣ Рождества, на Покровкѣ, близъ самаго дворца Разумовскаго, давно удивляла москвичей и заставляла раздумывать, соображать и вѣрить слуху, что въ этой именно церкви,

увѣнчанной императорской короной, произошло тайное вѣнчаніе императрицы съ ея любимцемъ.

И любимецъ новой императрицы, главный дѣятель въ переворотѣ въ ея пользу, не удовольствовался тѣмъ, что сдѣлался генеральсь-адъютантомъ. Какъ всякій честолюбецъ, которому во всемъ сказочная удача, онъ захотѣлъ большаго, высшаго, высочайшаго, захотѣлъ всего возможнаго на свѣтѣ и почти невозможнаго.

И вскорѣ же послѣ восшествія на престолъ онъ сталъ убѣждать императрицу послѣдовать примѣру своей тетки и выйти за него замужъ, но уже не соблюдая тайны, какъ сдѣлала Елисавета Петровна. Государыня долго противорѣчила любимцу, но здѣсь, въ Москвѣ, вдругъ согласилась, и только желала не спѣшить, и во всякомъ случаѣ, не думать объ этомъ до коронаціи.

Послѣ обѣщанія императрицы, Григорій Орловъ и его братья, разумѣется, перестали тщательно скрывать свое счастье отъ близкихъ людей и сообщали все своимъ друзьямъ. Но у этихъ друзей были свои друзья. И теперь многіе москвичи передавали, какъ величайшую тайну, что графъ Григорій Григорьевичъ долженъ сдѣлаться супругомъ императрицы. Этотъ слухъ, пробѣжавшій теперь, взволновалъ московское дворянство, а равно и петербургскихъ именитыхъ гостей. Все отступило предъ ними на задній планъ. Сначала въ городѣ только говорили о будущихъ коронаціонныхъ милостяхъ и наградахъ, и болѣе всего толковъ было конечно о томъ, что московскіе дворяне Орловы станутъ графами Россійской Имперіи. Но вдругъ пробѣжалъ слухъ, уподобившійся грому небесному. И если это неправда, клевета на царицу, то она, конечно, умышленно пущена врагами новаго правительства и „фрондерами“, какъ называли ихъ. Молва прибавляла, что графъ Григорій станетъ еще выше братьевъ и получить титулъ князя римской имперіи или герцога, и уже послѣ этого возвышенія должно совершиться не тайному, а явному браку монархини съ ея генераль-адъютантомъ. Подспудный слухъ раздѣлил Москву на два лагеря. Нѣкоторые люди, здравомыслящіе, не вѣрили, но большинство начинало вполне вѣрить въ возможность подобнаго поступка новой императрицы. Тѣмъ болѣе всѣ вѣрили, что сами графы Орловы не отрицали, а отшучивались,

Близкіе ко двору люди, какъ Панинъ, Воронцовъ, княгиня Дашкова, Бецкой и другіе, не допускали мысли, чтобы царица,

только что вступившая на престолъ вслѣдствіе переворота, и чуждая Россіи, какъ нѣмецкая принцесса, рѣшилась сейчасъ же сдѣлать такой неумѣстный и опасный для себя шагъ. Позднѣе? Можетъ быть...

„Всѣ ея права на русскій престолъ, — смѣло заявлялъ рѣшительный Никита Ивановичъ Панинъ, воспитатель цесаревича, — освящены не однимъ восшествіемъ, а сугубо тѣми обстоятельствами, что она родная мать моего питомца и истиннаго законнаго наслѣдника російскаго престола. Она чуждая намъ, да Павелъ Петровичъ не чужой, ибо родной правнукъ Великаго Петра. Выйдя замужъ за простаго русскаго дворянина, — она какъ бы отдалить отъ себя своего единственнаго сына. А онъ живая связь между ней и русскимъ престоломъ, на который она временно вступила“.

И слово „временно“, хотя тихо и осторожно, все-таки злостно произносилось въ средѣ „фрондеровъ“. Когда, однако, вступить на престолъ Павелъ Петровичъ, при совершеннолѣтіи, т. е. лѣтъ чрезъ десять, или только послѣ смерти матери? Это было и оставалось, разумѣется, вопросомъ. А вопросъ этотъ былъ темный, не разрѣшенный, и во всякомъ случаѣ крайне щекотливый и обоюдо-острый.

Такъ или иначе, но подспудный, ошеломляющій слухъ поднялъ теперь Орловыхъ на высочайшую ступень общественнаго положенія.

И къ такимъ-то важнымъ людямъ приходилось отпраиваться съ порученіемъ молодому офицеру, князю Козельскому. Понятно, что Сашокъ, слыша давно имя Орловыхъ, произносимое подобострастно, то съ какимъ-то страхомъ, то какъ-то таинственно, теперь окончательно струхнулъ.

„Вхвать, представляться и объясняться, именно съ ними, — думалось Сашку. Для того лѣзть, чтобы тебя обидѣли гордецы, кажется, лучше бы на войну съ нѣмцами пошелъ. Тамъ убьютъ. Но двухъ смертей не бываетъ“.

И какимъ образомъ, именно „какъ“ произошелъ визитъ?.. Неизвѣстно. Какъ молодой человѣкъ ввѣхалъ во дворъ, гдѣ была масса экипажей, какъ вошелъ онъ въ домъ и въ толпу гостей, важныхъ и сановитыхъ, какъ объяснилъ онъ свое дѣло Ивану Григорьевичу, какъ подошли къ нему двое другихъ Орловыхъ, оба преображенцы, какъ, затѣмъ, попалъ онъ неожиданно въ маленькую горницу и сидѣлъ глазъ на глазъ съ самимъ генеральсъ-адъютантомъ, какъ этотъ значительный че-

ловѣе угощалъ его кофеемъ, финиками, какой-то турецкой сладкой жижицей, а самъ повторялъ, что радъ чести познакомиться съ княземъ Александромъ Никитичемъ Козельскимъ, какъ потомъ этотъ генеральсь-адъютантъ, все смѣясь и смѣясь, его обнялъ и расплывалъ, и какъ, наконецъ, Сашокъ, ошалѣлый, угорѣлый, весь въ поту отъ волненья, не просто вышелъ, а вѣрнѣе выкатился изъ дому и очутился на подъяздѣ, на воздухѣ... Неизвѣстно!..

Сашокъ ровнехонько ничего не помнилъ, не понималъ и не сознавалъ. Въ головѣ былъ чадъ, въ глазахъ звѣзды, а кругомъ всеобщій дьявольскій танецъ. Прямо навожденіе...

Танцовали люди, дома, кареты, лошади, и, наконецъ, и солнце на небѣ, вдругъ взяло да и подпрыгнуло.

Однако, судьба все-таки не сжалилась надъ бѣднымъ мальчѣмъ, который достаточно угорѣлъ отъ визита, отъ толпы гостей, а главное отъ особой невѣроятной любезности самого царицына адъютанта, ласковаго, милого, сердечнаго, душевнаго человѣка. Вѣрнѣе сказать,—просто колдуна-очарователя...

Едва Сашокъ отдышался на подъяздѣ, пришелъ совсѣмъ въ себя и только радовался тому, какъ Орловы, важнѣйшіе люди, его, простого офицера, приняли, вдругъ свершилось на его глазахъ нѣчто громомъ грянувшее и хватившееся по немъ... Онъ едва устоялъ на ногахъ, а ротъ разинулъ и глаза растарачилъ такъ, что казалось и губамъ, и вѣкамъ больно стало.

Мимо него вышелъ изъ швейцарской на подъяздъ, уѣзжая отъ Орловыхъ, сановникъ, которому подали великолѣпную карету съ дивнымъ цугомъ коней. Сановникъ, посаженный двумя своими лакеями, сѣлъ въ карету и, замѣтивъ Сашка, вдругъ расхохотался и крикнулъ.

— А? Какъ Никитичъ! И вы здѣсь. Мое почтеніе, плебамьянканидачекбра!

Цугъ красиво, будто змѣей, завернулъ по двору, экипажъ съ ливрейными лакеями на запяткахъ отѣхалъ, а Сашокъ опять стоялъ угорѣлый.

— Господинъ Покуда!! У Орловыхъ? Въ каретѣ? Въ мундирѣ?

Между тѣмъ, съѣзжавшій со двора Орловыхъ вельможа г. Покуда и г. Макаръ Гонялычъ Телятевъ и господинъ иныхъ и многихъ именъ и фамилій, часто мѣняемыхъ, любившій говорить на модномъ языкѣ „абракадабрскомъ“, долго смѣялся, вспоминая пораженную изумленіемъ фигуру юнаго офицера.

— Не понялъ, сердечный, моего писанья, — сказалъ онъ вслухъ.—Надо будетъ отрядить къ нему Романа Романовича...

XIX.

Дядя Сашка, князь Александръ Алексѣвичъ Козельскій, заслужившій прозвище „чудодѣя“, былъ пятидесятивосьмилѣтній вдовецъ, богачъ и добрякъ. Чудеса, которыми онъ славился въ обѣихъ столицахъ и подмосковныхъ губерніяхъ, были результатомъ того, что онъ былъ добрый, умный и скучающій человѣкъ, да, кромѣ того, бесспорно даровитый. Онъ не былъ изъ числа тѣхъ чудаковъ, которые выдумываютъ всякія штуки и откалываютъ всякія колѣна только для того, чтобы заставить о себѣ ахать и трубить. Его колѣна дѣлали часто чудеса—несчастныхъ счастливыми. Штуки Козельскаго были просто разныя фантазіи и прихоти, приводимыя имъ въ исполненіе тотчасъ же, какъ онѣ являлись въ головѣ, только ради того, чтобы развлечься—убить время. Но убить его такъ, чтобы горемычнымъ была польза. Вреднаго, злого или безобразнаго онъ, собственно, никогда ничего не сдѣлалъ. Его крѣпостнымъ холопамъ отъ его чудачествъ была только прибыль. Нѣкоторымъ знакомымъ, въ особенности прихлебателямъ и блюдолизамъ, правда, иногда приходилось отъ него плохо. Но страдало въ нихъ не тѣло, не душа, а лишь мелочное самолюбіе.

Самъ князь сознавался, что у него нѣтъ ни цѣли, ни смысла въ жизни и нѣтъ ни единаго близкаго человѣка, котораго бы онъ могъ искренно любить и отъ котораго могъ бы ожидать того же. Онъ видѣлъ, что кругомъ него, и женщины, и мужчины равно, только льстятъ ему, ухаживаютъ за нимъ изъ-за личныхъ вождельній наживы, а за глаза, конечно, поносятъ или поднимаютъ на смѣхъ.

Скука, одолѣвавшая князя, заставляла его мѣнять мѣстопробываніе. Онъ самъ шутилъ надъ собой по этому поводу и любилъ напѣвать малороссійскую пѣсенку: „Мнѣ моркотно молоденькѣ, нигдѣ мѣста не найденько“.

Въ молодости князь имѣлъ такія же маленькія средства, какъ и отецъ Сашка, но, будучи 25 лѣтъ отъ роду, онъ познакомился въ Петербургѣ съ банкиромъ Кордаро, у котораго была единственная дочь, уже вдова, и лѣтъ за сорокъ.

Кордаро появился въ Петербургѣ, вызванный герцогомъ Бирономъ, и, поселившись на берегахъ Невы, пользовался такимъ большимъ покровительствомъ всемогущаго временщика, что часто къ нему обращались по самымъ серьезнымъ дѣламъ, конечно, съ ходатайствами. И банкиръ много дѣлалъ добра, такъ какъ былъ однимъ изъ главныхъ заступниковъ передъ грознымъ герцогомъ.

Какой національности былъ старикъ-банкиръ, было положительно неизвѣстно. Одни считали его итальянцемъ, другіе—грекомъ, третьи—полякомъ, наконецъ, многіе подозрѣвали въ немъ просто еврея. По религіи онъ былъ лютераниномъ. Было извѣстно, что у банкира очень большія средства, что въ его кассѣ черпаютъ огромныя суммы самъ герцогъ, иначе говоря, правительство, но навѣрное никто не зналъ, какое состояніе у сомнительнаго по происхожденію иностранца.

Молодой князь Козельскій, красивый, эlegantный, веселый и остроумный, затѣйникъ на всѣ руки, чтобы забавлять дамъ и дѣвицъ, нравящійся постоянно женщинамъ, разумѣется, понравился и пожилой вдовѣ. Надо отдать честь князю Александру Алексѣевичу, что, начавъ часто бывать у Кордаро, онъ бывалъ безъ всякой задней мысли. Его привлекали вкусныя обѣды, ужины и веселыя вечера въ очень богатомъ домѣ. Наконецъ, онъ зналъ, что Кордаро почти любимецъ всемогущаго герцога. А это дѣйствовало противъ воли на всякаго, даже не нуждающагося въ протекціи. За вдовой, которая звалась на польскій ладъ Эльжбеттой Яковлевной, князь, собственно, не сталъ ухаживать, былъ съ ней столько же любезенъ, сколько со всѣми другими. И онъ самъ, первый, былъ крайне озадаченъ, даже изумленъ, когда замѣтилъ, что вдова относится къ нему какъ-то особенно. Нѣжно и сдержанно вмѣстѣ, какъ бы боясь, что ея чувство вызоветъ со стороны князя только одно презрѣніе и насмѣшку.

Эльжбетта Яковлевна, у которой былъ характерный южный типъ, была собственно ни хороша собой, ни дурна, но для своихъ лѣтъ очень сохранившаяся. Ей можно было легко дать и тридцать пять лѣтъ. Единственно, что ее нѣсколько портило и отчасти старило—была полнота при маленькомъ ростѣ. По-знакомившись съ ней, Козельскій тотчасъ назвалъ ее «бочкой», но затѣмъ вскорѣ напелъ въ ней много второстепенныхъ достоинствъ, которыя вмѣстѣ дѣлали женщину пріятной и симпатичной.

Прошла цѣлая зима. Князь бывалъ у Кордаро все больше, все чаще, и сталъ совершенно своимъ человѣкомъ. И старикъ-банкиръ Яковъ Вольфганговичъ, какъ его звали по русскому обычаю, а равно и его дочь уже относились къ нему какъ бы къ родному. Но двадцатипятилѣтній молодой человѣкъ все-таки не понималъ, чѣмъ собственно онъ заслужилъ такую любовь старика и вдовы, потому собственно, что ему и на умъ не приходило то, что было у нихъ давно на умѣ.

Дочь вскорѣ послѣ знакомства съ княземъ уже откровенно созналась отцу, что князь ей нравится. Отецъ давно уговаривалъ дочь выйти замужъ вторично, но она всегда отказывалась. Она была настолько несчастлива со своимъ покойнымъ мужемъ—человѣкомъ крутымъ и грубымъ, что почти дала себѣ слово снова не пробовать семейной жизни.

Пробывъ вдовой болѣе десяти лѣтъ, Эльжбетта Яковлевна ни въ Германіи, ни въ Польшѣ, гдѣ она жила съ отцомъ, ни въ Россіи, куда они явились по приглашенію Бирона, не находила ни одного человѣка, за котораго бы рѣшилась выйти вторично замужъ. Когда она призналась отцу, что князь Козельскій ей нравится, то Яковъ Вольфганговичъ пришелъ въ восторгъ.

Многія его прежнія мечты стали дѣйствительностью. И прежде, до пріѣзда въ Россію, и теперь при покровительствѣ Бирона, но одна мечта все оставалась мечтой: вторичное замужество дочери. И эта незадача вдобавокъ происходила отъ нея самой, такъ какъ претендентовъ на ея руку, несмотря на ея годы, было не мало и нѣмцевъ, и поляковъ, и русскихъ. Поэтому заявленіе дочери привело старика въ полный восторгъ. Ему ни на минуту не пришло въ голову, что чувство дочери къ молодому русскому князю, на двадцать лѣтъ моложе ея, не имѣетъ собственно никакого рѣшающаго значенія.

Сама Эльжбетта Яковлевна должна была тотчасъ же прибавить и объяснить отцу, что ему нечего заранѣе радоваться и даже восторгаться. Быть можетъ, единственный человѣкъ, котораго она избрала, за котораго тотчасъ пошла бы замужъ, именно никогда и не согласится на ней жениться. Старикъ умный, дальновидный, тонкій, знающій людей, пораздумавъ, тоже смутился и приунылъ.

Зная молодого князя Козельскаго, онъ могъ встревожиться. Князь мало походилъ на такого молодого человѣка, который изъ-за денегъ способенъ на все и даже продавать себя.

Однако, умный и осторожный Кордаро, по уму и характеру скорѣе дипломатъ, нежели финансистъ, рѣшилъ тотчасъ, что нужно во что бы то ни стало достигнуть цѣли. Онъ не могъ себѣ представить, что бы единственный человѣкъ, который поправился дочери и который нравится и ему, оказался именно такимъ, котораго ни за что въ зятя не прибрѣтешь.

Надо упорствовать и добиваться!—сказалъ онъ дочери.— Я на все пойду!

И послѣ многого размышленія Кордаро остановился на одномъ... Въ его головѣ созрѣлъ такой планъ, что если бы онъ его повѣрилъ дочери, то привелъ бы ее въ ужасъ. Въ умѣ покровительствуемаго всемогущимъ Бирономъ человѣка мелькнула мысль, что именно герцогъ можетъ помочь въ такомъ важномъ дѣлѣ, но, конечно, помочь лишь въ случаѣ упорства князя Козельскаго. Герцогъ вызоветъ его къ себѣ и посоветуетъ ему жениться на дочери Кордаро, а если этого окажется недостаточно, то прикажетъ князю жениться. Если же, наконецъ, молодой человѣкъ осмѣлится не исполнить приказанія перваго сановника Русской Имперіи, то тогда у временщика окажется много средствъ заставить повиноваться.

И Яковъ Кордаро, размышляя, говорилъ про себя, усмѣхаясь:

«Да, если какому ни на есть упрямому молодому человѣку предложить Эльжбетту Яковлевну или Шлиссельбургскую крѣпость, или ту, или другую, на всю жизнь, то, пожалуй, не найдется ни одного человѣка, который бы сталъ долго размышлять и колебаться»...

Но, разумѣется, старикъ ни слова ни сказалъ дочери о своемъ планѣ. Дѣло до этого и не дошло.

Кордаро, прежде всего, объяснился съ княземъ. Умно, краснорѣчиво, добродушно передалъ онъ ему, что его дочь любить его, но между ними, конечно, очень велика разница лѣтъ. Однако, для здравомыслящаго молодого человѣка это не можетъ быть помѣхой для брака. И, наконецъ, Кордаро прибавилъ, что у его дочери будетъ чистоганомъ около полумилліона русскихъ рублей, а онъ самъ передъ бракосочетаніемъ подаритъ князю столько, сколько этотъ пожелаетъ. Сто, полтора, двѣсти тысячъ. И съ тою цѣлью, чтобы онъ, ставъ мужемъ Эльжбетты, имѣлъ свое собственное состояніе и не зависѣлъ отъ жены въ мелочахъ жизни.

— На женины средства жить стыдно, — сказалъ старикъ, — и мнѣ хочется, чтобы вы, идя въ церковь, были тоже богатымъ человѣкомъ.

Кордаро зналъ, что дѣлалъ.

Послѣдняя подробность подѣйствовала на князя. Въ первую минуту, когда старикъ съ нимъ заговорилъ, онъ внутренно удивился дерзости старика, удивился тоже, какимъ образомъ сорокалѣтняя вдова вообразила себѣ, что онъ, двадцатипятилѣтній человѣкъ, способенъ продаться. Но послѣ часу бесѣды со старикомъ князь Александръ Алексѣевичъ уже чувствовалъ въ себѣ возможность примириться со всѣмъ тѣмъ, что ему сразу показалось совсѣмъ невысказаннымъ.

Бракъ состоялся. Книгиня Эльжбетта Яковлевна Козельская не только любила, но обожала своего молодого супруга. По-немногу и самъ князь Александръ Алексѣевичъ привязался къ женѣ. Иначе и быть не могло. Женщина была черезчуръ нѣжна съ нимъ, предупреждала его малѣйшее желаніе и, какъ говорится на Руси: Богу на него молилась.

Вдобавокъ, одно обстоятельство, котораго князь боялся, оказалось его напраснымъ измышленіемъ. Онъ думалъ, что дочь банкира, невѣдомаго происхожденія, не сумѣетъ поставить себя въ петербургскомъ обществѣ на извѣстную ногу, не сумѣетъ заставить себя уважать. Онъ не хотѣлъ жить въ Петербургѣ на тотъ ладъ, на который жилъ банкиръ.

Домъ Кордаро былъ, собственно, какимъ-то трактиромъ, или, какъ называли, «гербергомъ», и въ этомъ гербергѣ была главная управительница, къ которой всѣ относились любезно, но какъ-то свысока, называя ее лишь въ глаза Эльжбеттой Яковлевной, а за глаза всегда коротко «Эльжбетка» съ прибавкой «толсторожая».

Князь ошибся. Домъ, въ которомъ хозяйкой была княгиня Елизавета, а уже не Эльжбетта Яковлевна, сталъ однимъ изъ первыхъ домовъ въ Петербургѣ. Сама женщина какъ-то вдругъ перемѣнилась и безъ всякихъ усилій, безъ всякихъ прорухъ, стала важной петербургской княгиней. И Козельскій оказался счастливымъ и довольнымъ человѣкомъ.

Такъ прошло почти десять лѣтъ.

Однажды всемогущій герцогъ, грубо арестованный солдатами, какъ простой мѣщанинъ, оказался въ ссылкѣ. Паденіе регента отозвалось на его любимца-банкиря, и Биронъ еще не успѣлъ выѣхать въ Березовъ, какъ Яковъ Кордаро былъ

этой опалой регента разоренъ въ пухъ и прахъ. Немедленно кинулся онъ молить правительницу Анну Леопольдовну... И самый въ эти дни всесильный сановникъ принялъ къ сердцу его положеніе и обѣщался навѣрное помочь и спасти, если не всё деньги иностранца банкира, то хоть половину. Но вскорѣ же послѣ этого этотъ могущественный сановникъ самъ отправился въ ссылку. Это былъ графъ Минихъ. И состояніе банкира рухнуло...

Разореніе такъ повліяло на старика, что онъ заболѣлъ. Когда вновь вступившая на престолъ Императрица Елисавета Петровна приказала обѣщать банкиру сдѣлать для него все возможное, старикъ неожиданно скончался скоропостижно отъ удара.

Черезъ годъ послѣ его смерти, дочери его, княгинѣ Козельской, казна уплатила тысячъ сто пятьдесятъ рублей, что было смѣхотворной каплей, грошемъ, сравнительно съ тѣми суммами, которыя безслѣдно и бездоказательно погибли при паденіи Бирона.

Разумѣется, если бы когда-то старикъ не отдѣлилъ дѣла дочери отъ своихъ, то и князь съ княгиней очутились бы въ нищетѣ. Затѣмъ послѣ смерти старика, года черезъ два, совершенно неожиданно княгиня Эльжбетта Яковлевна умерла точно такъ же, какъ и ея отецъ — вдругъ, въ одинъ часъ времени, тоже отъ удара.

У иностранцевъ Кордаро не оказалось никакой родни, но все, что было у жены, получилъ князь. Явились, правда, впоследствии какіе-то сомнительные дальние родственники ея, родомъ изъ Силезіи, которые хотѣли оспаривать наслѣдство, но въ эти дни у князя Козельскаго былъ уже другъ — могущественный человѣкъ — Шуваловъ, и, конечно, претендентовъ на состояніе покойной княгини Козельской попросили по-добру по-здорову покинуть предѣлы Россійскаго государства.

Князь, женившійся неожиданно, чуть не не противъ воли на женщину, много его старшей, искренно жалѣлъ жену и довольно долго сравнительно — года два или три...

Но затѣмъ онъ сознался себѣ самому, что ему удивительная удача. Нужно же было встрѣтить пожилую вдову и жениться за тѣмъ, чтобы, проживъ съ ней менѣе десяти лѣтъ, овдовѣть и получить снова свободу, но уже при огромномъ состояніи. И вдовецъ покинулъ Петербургъ и началъ странствовать сначала по Россіи, а затѣмъ и за границей.

XX.

Князь, вдругъ рѣшивъ покинуть Петербургъ, гдѣ жилъ на широкую ногу съ обѣдами и вечерами, на которыхъ бывалъ весь родовитый и знатный людъ столицы, не только не порвалъ связей, но тщательно поддерживалъ ихъ за время своихъ скитаній. Пріѣхавъ въ Москву на коронацію, князь тотчасъ же рѣшилъ устроить «пиръ горой» въ своемъ домѣ. Въ переполненной теперь Москвѣ у него сразу нашлось много старыхъ знакомыхъ и пріятелей. Разница была та—къ удовольствію князя—что многіе изъ близкихъ лицъ, бывшіе тогда на вѣрномъ пути къ почестямъ, теперь достигли тѣхъ степеней и тѣхъ ступеней іерархической лѣстницы, о которыхъ быть можетъ и не мечтали. Таковы были Панины, оба брата. Другіе были тогда только молодыми дворянами съ честолюбіемъ, а теперь стали уже сановниками...

Таковы были Тепловъ, Измайловъ, Елагинъ, Бецкой. Зато третьи, бывшіе на зенитѣ общественнаго положенія, теперь спустились, если не въ смыслѣ знаменитости и блеска положенія, то въ смыслѣ силы и власти. Таковы были братья графы Разумовскіе и Шуваловы.

Нѣкоторые могущественные того времени вельможи побывали уже въ опалѣ и даже въ ссылкѣ, но теперь снова вернулись, призванные «на совѣтъ» хитроумной, дальновидной и даже отчасти лукавой монархиней. Таковъ былъ старикъ бывшій канцлеръ графъ Бестужевъ-Рюминъ, фельдмаршалъ Минихъ, князь Шаховской и другіе.

Были и новые сильные люди, которыхъ князь Козельскій знавалъ еще дѣтьми. Такова была княгиня Дашкова, рожденная графиня Воронцова и Чоглокова.

За послѣднее время уже въ Москвѣ, и даже за послѣдніе дни, князь Александръ Алексѣевичъ завелъ много новыхъ знакомствъ. Одни сами пріѣхали къ нему на поклонъ, къ другимъ онъ поѣхалъ. Таковы были и братья Орловы, о которыхъ онъ, конечно, никогда за всю жизнь даже не слышалъ, и которые теперь сразу поднялись на высшія ступени іерархіи и чуть не на ступени трона.

Однако, проживъ довольно долго вдали отъ Двора и высшаго общества, князь попалъ въ положеніе, совершенно особенное, о чемъ, при своемъ умѣ, онъ наивно не подозрѣ-

валъ. Видя предъ собой или кругомъ себя совершающуюся политическую комедію, онъ ясно отдавалъ себѣ отчетъ въ значеніи и смыслѣ совершающагося. Но онъ не могъ уже знать ничего о томъ, что творилось за кулисами этого лицедейства.

Когда-то въ началѣ царствованія Елисаветы Петровны, онъ зналъ не только обѣ стороны медали всего, что происходило, но бывалъ чрезъ друзей посвященъ въ такія тайны, которыя становились извѣстны лишь десятку близкихъ къ монархинѣ лицъ.

Въ эти дни, явясъ въ Москву, князь Александръ Алексѣевичъ наивно и добродушно думалъ, что онъ въ томъ же положеніи.

Собравшись теперь устроить пированіе, пригласить къ пышному столу и угостить на славу прежнихъ и новыхъ знакомыхъ и пріятелей, князь доказалъ самъ себѣ, что отсталъ отъ «происхожденія всѣхъ дѣлъ» и почти чуждъ круговороту при Дворѣ и вышемъ обществѣ.

Какъ умный человѣкъ, онъ, однако, уже вскорѣ началъ догадываться, что «времена переменчивы» и что для него во многомъ чуется какая-то «неразбериха».

Впрочемъ, въ эти дни, съ приѣзда государыни въ Петровское и до коронаціи, дѣйствительно была полная неразбериха. Наступала даже буря на житейскомъ придворно-административномъ морѣ, которая раскачивала кренила и колыхала государственннй корабль, едва слушавшійся кормила и единодержавной руки.

Не было человѣка, который бы не былъ смущенъ, не видѣлъ бы надвигающейся бури и не ждалъ бы грозы отъ собирающихся тучъ. И никто не зналъ, что новичекъ кормчій ведетъ корабль не только твердой рукой, не только искусной, но даже опытной, какъ будто и вѣкъ свой дѣлалъ это. Этотъ кормчій вчера былъ юной германской принцессой крошечнаго государства, а завтра будетъ однимъ изъ создателей исторіи человѣчества.

Умные, знающіе, искушенные въ дѣлахъ, государственные мужи, ждали на морѣ политики шторма и крушеній родного корабля. Кормчій боялся тоже, и вѣрилъ, и не вѣрилъ, въ свои силы и въ свое искусство, часто падалъ духомъ, но, снова воспрянувъ, снова брался за кормило вѣрной и властной рукой и снова правилъ, направляя все и всѣхъ.

Черезъ года два... можетъ и гораздо раньше, рѣшили умныя просвѣщенныя головы,—будетъ перемѣна. Снова будетъ сверженный императоръ Іоаннъ или же малолѣтній императоръ Павелъ съ новымъ регентомъ, но не нѣмцемъ, конечно, а русскимъ.

А прозорливецъ, еслибъ нашелся, могъ бы отвѣтить:

— Будетъ таковое только тогда, когда теперешніе младенцы будутъ пожилыми людьми.

Князь Козельскій, собравшись дать пирь, позвалъ много народу, и по-московски: широко, не горделиво, т. е. безъ разбора. Старинный, родовитый, но не богатый дворянинъ безъ «знаковъ отличія» отъ прочихъ былъ приглашенъ съствомъ и чуть не рядомъ съ сановникомъ уже новаго образца, вновь и надолго народившагося на гнилой почвѣ береговъ Невы.

Этотъ сановникъ, вчерашній пришлецъ-чужеземецъ или свой земецъ-подъячій, приказный, не могъ поступиться своимъ краденымъ величіемъ, не могъ не брезгливо и не чванно състь рядомъ съ захудалымъ рюриковичемъ. И новаго рода мѣстничество родилъ Петербургъ съ той поры, что первыми людьми имперіи являлись безвѣстные вылазы и выходцы, и свои, и заморскіе. Но не они сами, иногда крупныя звѣзды ума и таланта, возродили это новое мѣстничество, а ихъ сателитты... Помазанники слѣпой богини Фортуны, Меньшиковы и Лефорты, Минихи и Остерманы, конюха Бироны, лекаря Лестоки, чумаки Разумовскіе, были по мѣрѣ силъ своихъ рачителями пользы и добра. Но ихъ приспѣшники были только язвой.

Второй ошибкой Козельскаго оказалось невѣдѣніе этого новаго мѣстничества, не московскаго, а петербургскаго, новой борьбы между древней родовитостью и схваченнымъ вчера чномъ или крестомъ.

Затѣмъ князь не принялъ во вниманіе, что между двумя правленіями двухъ царицъ, всесвѣтно знаменитой Елисаветы и еще не вѣдомой, отважной, но, пожалуй, кто знаетъ, возмечтавшей черезчуръ о себѣ Екатерины, было шестимѣсячное правленіе такого императора, какъ Петръ Ѳеодоровичъ. Монархъ, диковинно быстро и почти мастерски успѣвшій все и всѣхъ перепутать: и дѣла, и людей, и событія, и отношенія... Монархъ, доведшій отечество до положенія, что «своя своихъ не познаша». Монархъ, заварившій кашу, которую расхлебывать, и захлестнувшій узелъ, который развязывать,—нужна была длань богатыря царя-плотника, а не женская рука молодой женщины.

И это было третьей и главной ошибкой князя. Поэтому, теперь многое удивило его и заставило задуматься. Такъ, князь пригласилъ къ себѣ канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова, стараго знакомаго, котораго онъ, какъ и всѣ, уважалъ за умъ, за прямоту, за гордость мыслей и чувствъ и за полное отсутствіе этой гордости, которая удѣлъ лишь выскочекъ.

Но прямодушный Воронцовъ, узнавъ отъ князя, что къ столу приглашенъ и старикъ, явившійся изъ ссылки графъ Бестужевъ, елисаветинскій канцлеръ, поморщился, говоря:

— Мнѣ-то все равно... Но Алексѣй Петровичу будетъ со мной невольно. Я его мѣсто занимаю. Онъ ждетъ не дожидется, когда его снова займетъ. Что по всей вѣроятности скоро и случится.

Однако, канцлеръ все-таки было общался. Но свѣдавшись, что будетъ за столомъ и его родная племянница княгиня Дашкова, уже отказался наотрѣзъ.

— Мужа ея я уважаю, и пока я канцлеръ, онъ будетъ за Россію стоять въ чужихъ краяхъ. Я его хоть къ самому Фридриху не побоюсь послать за Россію постоять. А съ этой шумихой и мельницей встрѣчаться не хочу.

Сама княгиня общалась быть у «дяденьки» Козельскаго, какъ она въ шутку звала князя съ дѣтства, но прибавила:

— Не кликай кличъ къ столу-то, дяденька. А то вѣдь придется мнѣ, кавалерственной дамѣ, и съ стрекулистами, и съ просвирами у тебя кушать.

Графъ Бестужевъ, узнавъ, что будетъ за столомъ съ скороспѣлымъ сановникомъ «изъ истопниковъ» Тепловымъ, нахмурился.

— Что жъ дѣлать, князь. Буду. И съ Гудой предателемъ за столъ сяду. Онъ вѣдь меня доноситъ въ ссылку-то угналъ. На меня и великую княгиню, теперешнюю царицу, поддо донесъ. Но если она, матушка, его терпитъ, да еще отличаетъ, то я молчи.

Наконецъ, князь дошелъ до такой наивности, что, недавно познакомившись съ новыми «сильными людьми» Орловыми, и ихъ всѣхъ позвалъ. Братья, народъ добродушный, веселый да не безъ мѣры «простяки себѣ на умѣ», узнавъ, съ кѣмъ вмѣстѣ они будутъ гостями Козельскаго, все посмѣивались, прибавляя.

— Будемъ, будемъ... Эдакой оказіи, князь, не пропустимъ. Въ другой разъ жди еще, когда придется пообѣдать съ Ни-

китой Ехидой или съ княгиней Мухой... Токмо вотъ что. Предупедите и Панина, и Дашкову, что и мы званы. И если они придудуть, да мы перецарапаемъ, то не взыщите. Никита Иванычъ всегда былъ мастеръ-шпынь, а Муха кажись стала нынѣ отъ разныхъ обстоятельствъ—осой.

Изъ двадцати сенаторовъ, прибывшихъ въ Москву на коронацію, князь пригласилъ графовъ Александра Шувалова, Петра Шереметьева и Петра Скавронскаго, князей Шаховского и Волконскаго, генераловъ Сумарокова, Брылкина и Суворова. И изъ нихъ только Шуваловъ отказался быть, чтобы не встрѣтить Разумовскихъ.

— Это не придворствовать, гдѣ всякъ на своемъ мѣстѣ,— сказалъ графъ,—а гостить и тѣсниться. Пословица не правду сказываетъ, что въ тѣснотѣ люди живутъ. Въ ней люди другъ дружкѣ на ноги наступаютъ.

Распорядитель всей коронаціи князь Никита Юрьевичъ Трубецкой и «приготовитель» короны вѣнчанія Бецкой были почетными и рѣдкими гостями, такъ какъ за эти дни были страшно заняты и осаждаемы всѣми, ѣхавшими къ нимъ съ просьбой не обидѣть, не обойти въ церемоніалѣ ожидаемыхъ великихъ дней.

Кромѣ того, въ числѣ гостей былъ позванъ московскій губернаторъ Жеребцовъ, оберъ-президентъ магистрата Квашнинъ-Самаринъ, гофмейстера Нарышкина и три фрейлины государыни, графиня Гендрикова, Вейделова и Чоглокова.

Такъ какъ у бобыля-князя не было жены или сестры, не было даже близкой родственницы, то званіе хозяйекъ для приѣма гостей взяли на себя по его просьбѣ жена гетмана графиня Разумовская и состоящая при особѣ государыни графиня Матюшкина.

Никогда, конечно, московскій домъ князя Александра Алексѣевича еще не изображалъ такого зрѣлища, какое явлено теперь было обывателямъ. Дворъ и сосѣднія улицы наполнились рыдванами, колымагами, каретами и берлинами, всѣ, конечно, цугомъ чудныхъ коней. Домъ былъ гостями переполненъ совершенно. И все сверкало ослѣпительно... И убранство комнатъ. И залъ съ огромнымъ обѣденнымъ столомъ на двѣсти кувертовъ. И сами гости въ мундирахъ и орденахъ.

Князь долго стоялъ на подъѣздѣ, встрѣчая гостей, и по всей большой лѣстницѣ, парадно устланной персидскимъ ковромъ, вереницей двигались гости между шпалерами стоящихъ

лакеевъ, гайдуковъ, скороходовъ и казачковъ, причудливо и почти фантастично разодѣтыхъ въ богатые ливреи и кафтаны.

Большинство гостей держало себя тихо, чопорно и почти-тельно, такъ какъ слишкомъ много было теперь въ стѣнахъ этого дома важныхъ лицъ. Въ малой третьей гостиной было не болѣе двадцати человекъ, такъ какъ не всякій рѣшался въ нее войти, завидя съ порога особъ слишкомъ высокаго положенія и значенія. Старикъ, елисаветинскій канцлеръ, войдя сюда, покосился, поморщился и, подсѣвъ къ графинѣ Разумовской, своей старой пріятельницѣ, ворчнулъ:

— Долго жъ я былъ видно не въ милости, когда даже вотъ эдакіе въ сановники успѣли выйти...—И онъ указалъ на Бецкого и на Орлова.

Но всеобщее главное вниманіе обращала здѣсь на себя княгиня Дашкова. И своей Екатерининской лентой чрезъ плечо, и своей суровой важностью взгляда и рѣчи. Если она была суетливой и докучливой «мухой» въ іюньскіе дни, то теперь была именно степенной, но ядовитой «осой». Орловы, давшіе ей обѣ ключики—были правы.

— Горделивѣ самой царицы!—замѣтилъ кто-то.

Когда всѣ званые собрались, грянула музыка на хорахъ зала, и гости чинно, парами двинулась за столъ. Только въ сумерки начался разѣздъ.

Всѣ толковали весело объ трехъ «смѣхотворныхъ приключительствахъ»—генеральсь-адъютантъ Орловъ оставилъ хозяину на память кучу изорванныхъ въ мелкіе кусочки ложекъ и вилокъ.

Бецкой заявилъ за столомъ громко, что корона російская «уподобительно» въ его рукахъ.—Что хочу, то съ ней и сдѣлаю. И только немногіе удивились. Было извѣстно, что у этого человека, не глупаго, были странныя вспышки самомнѣнія и чванства.

Графъ Бестужевъ, по старой привычкѣ, усугубленной ссылкой, такъ сильно подвыпилъ, что не могъ встать изъ-за стола, а былъ вынесенъ и донесенъ въ карету.

XXI.

Сашокъ цѣлый день въ себя не могъ прийти отъ изумленія, и, подробно разсказавъ объ дивъ-дивномъ своему дядкѣ, и старика привелъ въ недоумѣніе.

Встрѣтить такого стрекулиста, какъ этотъ Вавилонъ Асирьевичъ Покуда, на парадной лѣстницѣ у господъ Орловыхъ, было, конечно, диво. А всѣ лакеи, которые не обратили на него, офицера, никакого вниманія, и всѣ кланялись Покудѣ—второе диво. А карета цугомъ, съ малиновымъ чехломъ на козлахъ и золотыми гербами, въ которую сѣлъ Покуда, подсаживаемый своими лакеями—третье дивное диво. Теперь онъ вспомнилъ, что на чехлѣ и на ливреяхъ былъ его гербъ! Его—Сашка—гербъ!? Князей Козельскихъ гербъ!! Звѣзда, полумѣсяцъ и мечъ. Это—четвертое уже и сугубое чудо. Даже не диво или чудо, а прямо навожденіе, колдовство, волшебство или мошенничество.

Это даже крайне важное дѣло, которое такъ оставить нельзя. Помимо Сашка, нѣтъ князей Козельскихъ. Одинъ только его старый дядя, котораго въ Москвѣ теперь нѣтъ. Какъ же смѣетъ хамъ Покуда этотъ гербъ себѣ заводить. А если не Покуда, то тотъ, чья карета. Вѣроятное дѣло, что карета и лакеи—не Покудины. Его довели и отвезли опять къ тому, кто гербъ князей Козельскихъ самовольно взялъ, да еще франтить эдакъ по Москвѣ, когда въ Бѣлокаменной сама царица, весь Петербургъ, и чуть не все важнѣйшее дворянство со всей Россіи ради коронаванія.

Цѣлый день Сашокъ съ Кузьмичемъ разсуждали: «Какъ быть?»

На другой день, побывавъ на службѣ у Трубецкаго, Сашокъ вернулся домой, обдумавъ и рѣшивъ, что дѣлать съ Покудой. На его вопросъ о дядкѣ, Титъ заявилъ, что старикъ ушелъ.

— Опять къ Квоцинскимъ навѣрное, — подумалъ Сашокъ. — можетъ ради меня и этой хорошенькой Тани. А можетъ быть и для себя. Эта нянюшка для него, старика, не стара. А лицомъ чистая, пригожая. Лѣтъ сорокъ ей. Ну, вдругъ мой старый Иванъ Кузьмичъ сердечко свое защемилъ.

Сашокъ засмѣялся этой мысли, но тотчасъ прибавилъ ворча вслухъ.

— Да. Меня вотъ охраняетъ отъ погубленія, а самъ небось... Знай только злится на Катерину Ивановну, что она гуляетъ близко отъ окошекъ.

И Сашокъ, войдя къ себѣ въ квартиру, невольно задумался объ этой красивой женщинѣ, которая такъ странно выглядывала всегда на него, всякій разъ, что онъ ее встрѣчалъ въ садикѣ на церковномъ дворѣ, и всякій разъ, что она проходила мимо его оконъ.

И сколько разъ онъ выходилъ и тоже гулялъ. И сколько разъ они адакъ встрѣчались, и онъ мысленно горѣлъ отъ желанія и нетерпѣнья разговаривать съ ней... И не могъ... И сколько разъ онъ даже почти молился, восклицая мысленно.

— Господи! Кабы она сама заговорила. Господи. Поддай.

Но красавица только взглядывала на него и молча проходила. И взглядывала съ каждымъ разомъ все какъ-то чуднѣе, удивительнѣе... Ея красивые глаза будто говорили...

А говорили они такое:

«Ты милый, хорошій... Ты мнѣ любь... Чего же ты молчишь? Когда же ты заговоришь?»

Все это Сашокъ отлично читалъ въ глазахъ женщины, и всегда мысленно отвѣчалъ.

— Отчего ты сама не заговариваешь... Я сейчасъ отвѣчу...

И теперь онъ иногда начиналъ мечтать, сидя дома.

— Вотъ она идетъ, и вдругъ упала... «Ахъ!» Я бѣгу, подбѣгаю и говорю:—«Вы ушиблись?» А она: «Нѣтъ! Ничего»... Вотъ бы и заговорили!

Затѣмъ онъ мечталъ.

«Кричатъ, бѣгаютъ... Сумятица!.. Пожаръ! Горимъ! Гдѣ пожаръ? У князя!.. Нѣтъ, у пономаря Ефимонова пожаръ... Катерина Ивановна не выскочила. Въ огнѣ. Помогите. Я кидаюсь въ двери... Нѣтъ, ужъ лучше я въ окно влѣзь. Схватилъ ее на руки и несу... А она меня обхватила и говоритъ. Спасибо. Я бы безъ васъ сгорѣла!»

И Сашокъ, вдругъ очнувшись отъ думъ и мечтаній, вскакивалъ со стула и злостно восклицалъ.

— Тьфу! Дуракъ! Малолѣтокъ! Нюня! Зачѣмъ тебѣ, дураку, пожаръ, когда она и безъ пожара къ тебѣ льнетъ... Нюня, какъ говоритъ княгиня. Правда это истинная.

На этотъ разъ Сашокъ тоже замечтался, но его вдругъ разбудилъ голосъ.

— Князинька. Лександръ Микитичъ. А князинька?

Предъ нимъ стоялъ и приставалъ Титъ.

— Чего тебѣ...

— Князинька. Мнѣ отъ Катерины Ивановны отбою нѣтъ. Вотъ сейчасъ опять была. Я обтиралъ коня, а она въ конюшню заглянула, спросила, гдѣ вы, да что... А тамъ говоритъ... Ты прости меня. Я общался, и вотъ и пришелъ къ вамъ...

— Что? Что общался... Кому?

— Ей пообъщался, и вотъ пришелъ сказать вамъ, что она вышла со двора къ Арбату.

— Ну такъ мнѣ то что же? — вдругъ выговорилъ Сашокъ важно и дѣлая удивленное лицо.

— Говорить: скажи... можетъ и князь выдетъ къ Арбату же...

— Что-о? — невольно ахнулъ молодой человекъ и прибавилъ.— Она тебѣ это сказала?

— Точно такъ. Поди, говорить, Титушка, голубчикъ. Постарайся, чтобы князь вышелъ за мною. На церковномъ дворѣ и батюшка, и мой мужъ могутъ завидѣть, а на улицѣ ничего. Постарайся, я тебѣ, говорить, платокъ подарю. Ей-Богу, платокъ посулила. Ну вотъ...

Титъ скромно улыбался, и даже смущался.

Сашокъ сидѣлъ, почти пораженный всѣмъ слышаннымъ. Онъ своимъ ушамъ не вѣрилъ. И вдругъ онъ порывисто всталъ, надѣлъ киверъ, который только что снялъ съ себя, оглядѣлся въ зеркало и быстро шагнулъ изъ комнаты.

Онъ чувствовалъ то же, что чувствуетъ человекъ, кидающийся въ самое пекло пожара.

— Да. Вотъ и пожаръ!—вымолвилъ онъ.

Уже спускаясь по ступенькамъ задняго крыльца, выходившаго на церковный дворъ, онъ вдругъ обернулся къ конюху.

— Смотри, Титъ. Не вздумай говорить Кузьмичу. Онъ тебя за эдакое съѣстъ...

— Какъ можно. Помилуйте... Я знаю... Да я бы и не пошелъ къ вамъ. Да изъ жалости. Ужъ очень она молила, чуть не плакалась... Поди да поди, князя на меня выстави...

Но Сашокъ, румяный отъ волненья, даже не слыхалъ послѣднихъ словъ. Онъ шагнулъ и зашагалъ по двору, затѣмъ по своему переулку, а затѣмъ по широкой улицѣ Арбата.

— Ну, а потомъ? Ну, а потомъ? Ну, а потомъ? — повторялъ онъ выразительно и отвѣчалъ.— Ни за что самъ не заговорю. Не могу! Вотъ и весь сказъ. Ужъ лучше прямо обнять ее и цѣловать. Пускай плюху дастъ за озорничество... А заговорить—не могу.

И разсуждая такъ, Сашокъ не шелъ, а бѣжалъ, озираясь по сторонамъ.

И вдругъ сердце «захолонуло», красавица пономариха тихимъ шагомъ, опустивъ голову и глядя въ землю, двигалась ему навстрѣчу.

«Вотъ сойдемся!»—кричалъ ему кто-то въ ухо...—Вотъ!.. Вотъ!.. Ну! Ну! Да ну же. Скорѣе! Скажи: здравствуйте! Скорѣе! Поздно будетъ. Вотъ уже и поздно.

Сашокъ и пономариха сошлись... и разошлись. Она подняла глаза и глядѣла на него, прося глазами то же самое: «заговори!»

Но зато Сашокъ самъ опустилъ глаза и прошелъ... А пройдя началъ себя отчаянно честить самыми бранными словами. А затѣмъ, уйдя далеко, потерявъ изъ виду женщину, завернувшую за уголь, онъ сталъ и стоялъ, какъ вкопанный. А затѣмъ закачалъ головой.

— Ахъ, нюня! Ахъ, соплякъ! Ахъ, щенокъ! Вотъ ужъ именно княжна Александра Никитишна, какъ звали въ полку. И онъ пошелъ бродить по кварталу безъ цѣли и смысла, понуривъ голову, и съ лицомъ, на которомъ теперь была написана неподдѣльная печаль.

— Конецъ! Конецъ!—повторялъ онъ вслухъ.—Ужъ если и теперь не заговорилъ, то, конечно, никогда не заговорю.

Когда чрезъ часъ, уже въ полусумракѣ, онъ, понурясь, задумчиво и не глядя ни на кого и ни на что, входилъ на церковный дворъ, вслѣдъ за нимъ, чуть не за его спиной тоже входилъ кто-то. Онъ обернулся. Это была Катерина Ивановна!...

— Неужто же она эдакъ, за мной ужъ, давно. Вплотную? Давно!

И Сашокъ, обомлѣвъ, ускорилъ шагъ.

XXII.

Сашокъ вернулся домой, обозленный на самого себя.

Кузьмича не было въ комнатахъ, но Титъ объяснилъ, что дядька давно вернулся, спрашивалъ о баринѣ и вышелъ опять на улицу, но безъ шапки, должно быть не далеко...

Дѣйствительно, Кузьмичъ побывалъ не далеко, но по чутью.

Едва успѣлъ молодой человекъ раздѣться, снять мундиръ, и, зажегши свѣчку, сѣлъ на диванъ, какъ явился дядька и заговорилъ страннымъ голосомъ.

— Вотъ что, князинька. Я тебѣ доложу, что я этого оправдать не могу.

— Чего?—удивился Сашокъ, не понимая.

— А вотъ этого самаго.

— Чего—этого самаго. Сказывай.

Ты знаешь.—Нечего вилять-то.

— Что ты, ума рѣшилсѣ. Какія-то загадки загадываешь, а я распутывай.

— Никакихъ загадокъ тутъ нѣтъ, — волнуясь, заговорилъ старикъ.—А я прямо, по моей любви къ вамъ, сказываю, что на эдакое я не могу глядѣть и молчать. Я предъ твоими покойными родителями и предъ самимъ Господомъ Богомъ за тебя отвѣтствую... Выходивъ тебя, съ самой колыбельки принявъ на руки...

— Ахъ, Кузьмичъ, опять началъ съ колыбельки. Сказывай прямо, что тебѣ нужно.

— Ничего мнѣ не нужно, — сурово и будто обидясь, отгрызнулся Кузьмичъ. — А не могу я видѣть у себя подъ носомъ безпутничанья и всякаго...

— Чего? Чего?

— Души и тѣла погубленія...

— Слава Создателю! Сказалъ наконецъ! Догадался Сапокъ, хотя отчасти смутился.

— Понялъ? Ну вотъ и мотай на усъ, что я по моей любви къ вамъ и отвѣтственности предъ родителями покойными и колыми паче...

— ...Предъ Господомъ Богомъ,—продолжалъ Сапокъ.

— Ну да... Предъ Господомъ. Нечего тебѣ насмѣшничать.

— Ты про пономариху?

— А то бишь про бѣлаго бычка. Понятно про эту каналью бабу.

— Чѣмъ она каналья.

— А тѣмъ,—закричалъ Кузьмичъ,—что не смѣй она, распутная баба, закидывать буркалы свои на отрока, чтобы опакостить его.

— Пустое все это, Кузьмичъ... Какой я отрокъ? Эдакъ ты, говорю, до тридцати лѣтъ все будешь меня величать.

— Вамъ слѣдъ—помолчавъ, заговорилъ Кузьмичъ спокойно, — добропорядочно и богоугодно повѣнчаться законнымъ бракомъ съ благородной и честной дѣвицей, коли время пристало, а не срамиться и не пакостить себя. Вотъ что-съ. Познакомься, найди дѣвицу въ Москвѣ, бракосочетайся, и будешь счастливъ, обзаведешься достойной супругой, княгиней. А возжаться тебѣ со всякой поганой бабой, я не дамъ. И

коли эта разгуляха пономариха еще будетъ тутъ шататься около дома, я ее исколочу до полусмерти... Батюшкѣ пожа- луюсь... Въ консисторію прошеніе на нее подамъ.

Сапокъ поднялся съ мѣста и заходилъ по комнатѣ, засу- нувъ руки въ панталоны и посвистывая, что означало въ немъ досаду и гнѣвъ. А «пылить» при его скромности и кротости— ему случалось.

— Нечего свистать-то. Дѣло говорю, — заявилъ Кузьмичъ сердито.—Прямо въ консисторію прошеніе подамъ. Она, хоть и каналья, да спасибо, духовная... По мужу... И ей изъ кон- ситоріи прикажутъ не развратничать съ офицерами. А ничего не сдѣлаютъ ни пономарь, ни духовная консисторія, то я ее исколочу собственными руками. И Титку заставлю бить.

— Ну что же? Ты съ Титкой. А я съ ней. Кто кого одо- лѣетъ,—проворчалъ Сапокъ.

— Что? Какъ ты съ ней?

Сапокъ молчалъ и ходилъ, посвистывая.

— Да полно ты, свистунъ. Эдакъ вѣдь ты и душу свою, и тѣло свое, еще покуда не грѣшныя—просвищешь... Отвѣчай лучше.

— Что отвѣчать? Я отвѣтилъ. Ты хочешь драться. Моло- дую женщину бить. Ну я за нее вступлюсь.

— Вступишься? Стало, меня бить учнешь?

Сапокъ молчалъ.

— Такъ, стало быть, что же? Порѣшилъ ты пропадать, душу губить. Говори, отчаянный!

— Да чего ты знаешь,—вдругъ вскрикнулъ молодой чело- вѣкъ, наступая на старика.—Чего ты знаешь. Можетъ я уже и давно душу-то съ тѣломъ, какъ ты сказываешь,—погубилъ.

— Что-о?—протянулъ Кузьмичъ, разинувъ ротъ и какъ-то присѣвъ, будто отъ удара по головѣ.

— Да. Чего ты знаешь? Вишь пагуба мнѣ отъ понома- рихи твоей, когда я уже давно...

— Что-о?! Что-о?—заговорилъ Кузьмичъ и вдругъ приба- вилъ.—И все-то врешь. А я съ дуру повѣрилъ.

— Анъ не вру!

— Анъ врешь.

— Анъ нѣтъ. Въ Петербургѣ зимой знакомъ былъ съ Альмой.

— Какой Сальмой.

— Альма, а не Сальма! Шведка.

— Шведка?

— Ну да. Шведка. Красавица. И я... Я у нея былъ... Десять разъ былъ. Товарищи познакомили... Да. А ты тутъ все про душу да про тѣло, да про пагубу. Потѣха, ей-Богу. Не мало въ Питерѣ надо мной смѣялись товарищи. Ну вотъ я тогда и порѣшилъ...

Кузьмичъ ухватился за голову и стоялъ, какъ пораженный громомъ.

— Скажи, что все наболталъ? Скажи, что морочишь? — произнесъ онъ глухо.

— Ничего не морочу.

— Со шведкой Сальмой? Загубился?

— Какое же загубленіе. Всѣ такъ-то. Я одинъ на весь полкъ сидѣлъ какъ какой монашка изъ-за тебя, да твоихъ выдумокъ.

— Князинька! Александръ Никитичъ! Если же да это правда, что ты сказалъ, — едва слышно проговорилъ старикъ, — то я сейчасъ побѣгу въ Москву-рѣку. Говори.

Сашокъ снова заходилъ по комнатѣ и молчалъ.

— Говори. Скорѣючи! Прямо топиться, коли не угладѣлъ я, старый песь.

— Больше мнѣ сказывать нечего! — рѣзко отозвался Сашокъ. — Мнѣ надоѣло... Я къ тому говорю, что если Катерина Ивановна мнѣ нравится и я ей нравлюсь, а у нея мужъ, пономарь, дикобразъ, то... То, стало быть, это наше дѣло и до тебя не касается. А это твое погубленіе — все глазамъ отводъ. Морочанье. Прежде я съ тобой соглашался, а потомъ посвоему все разсудилъ. И вотъ въ Петербургѣ я и... отважился... на это самое.

— Не вѣрю, — замоталъ головой Кузьмичъ.

— Не вѣрь, коли не хочешь.

Наступило молчаніе. Сашокъ ходилъ изъ угла въ уголъ, а дядька стоялъ истуканомъ, слегка наклонясь впередъ, какъ пришибленный.

— Чудно право! На что же и женщины на свѣтѣ, коли не для мужчинъ. Всѣ эдакъ-то. Не всѣ рано женятся. Успѣю и я въ бракъ вступить.

— Слушай, — выговорилъ старикъ хрипиво. — Отвѣтствуй правду. Побожися вотъ на образъ.

— Что! Въ чемъ еще?

— Побожися про шведку, что совралъ, чтобы только меня хватить.

— Да и не одна. Мало ли ихъ въ Питерѣ было. Я только сказывать не хотѣлъ.

— Одна-ли, сто-ли—это едино! А ты побожися, что загубился. Побожися.

— Не хочу.

— Не хочешь. Стало, врешь!—храбро и съ оттѣнкомъ радости воскликнулъ дядька.

— Вотъ же тебѣ... Вотъ. Ей-Богу! Побожился. На вотъ! Шведка Альма. Да. Стало быть Катерина-то Ивановна ужъ мнѣ не диковина... первая...

— Побожился?—глухо спросилъ старикъ.

— Побожился. И еще побожусь.

— Когда же это было?—еще глуше произнесъ старикъ.

— Зимой, сказываютъ тебѣ. На Масляной недѣли познакомился и на третьей недѣлѣ...

— Поста!!

— Чего?

— Великимъ постомъ... На третьей недѣлѣ? Когда я говѣлъ, а ты все пропадалъ, якобы у командира.

— Ну вотъ.

Кузьмичъ тихо повернулся, двинулся и тихо пошелъ изъ комнаты. Сашокъ глядѣлъ вслѣдъ дядьки и не зналъ, какъ объяснить такой результатъ разговора.

«Неужели Кузьмичъ, узнавъ такое—рукой только махнулъ», думалось Сашку.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, молодой человекъ былъ доволенъ собой, что наконецъ объяснился съ дядькой, какъ слѣдуетъ—молодцомъ. Его уже давно раздражалъ этотъ старикъ своимъ обращеніемъ съ нимъ, какъ съ «махонькимъ».

— Да. Давно пора было!—бормоталъ онъ самъ себѣ. Не въ терпежъ. Изъ любви? Вѣстимо, онъ меня любить. Да все же таки—нестерпимо. Дите, да дите. Въ карты не играй. Вина не ней. Съ товарищами никуда не отлучайся позднѣ десяти часовъ. На женскій полъ и взглядывать не моги... Щурься, когда какая барыня мимо идетъ. Ну карты и вино—чортъ съ ними. Не понимаю, какъ другіе это любятъ. Новоть—женскій полъ и особенно если какая красива... Это я не могу...

Сашокъ помолчалъ и какъ-то грустно выговорилъ.

— Вотъ, ей-Богу же не могу.

Затѣмъ онъ сѣлъ на стулъ и началъ думать о пономарихѣ. Красивая женщина ясно, живо возстала предъ нимъ въ полумракѣ комнаты, освѣщенной сальной, давно нагорѣвшей свѣчкой. Огромный черный фитиль все увеличивался, коптѣлъ и дымилъ, а сало лилось вдоль свѣчки. Но Сашокъ не видѣлъ нагара, забылъ про щипцы, лежавшія на шандалѣ, и не поднимался снять нагаръ. Катерина Ивановна стояла предъ нимъ улыбающаяся... Алая уста, яркіе черные глаза. Румянецъ пылаетъ на щекахъ... Она протягиваетъ къ нему руки. Онъ обнимаетъ и крѣпко, крѣпко цѣлуетъ въ розовыя губы, а она... Она плачетъ, всхлипываетъ. Да какъ всхлипываетъ! Горько, горько... Сашокъ очнулся, прислушался и вздрогнулъ. Видѣніе, т. е. красавица-пономариха—исчезло, а плачь ясно слышался.

— Гдѣ? Что? Кто это?—прошепталъ Сашокъ. И вдругъ онъ вскочилъ и бросился изъ комнаты. Выбѣжавъ въ корридоръ и вбѣжавъ въ первую же дверь направо, гдѣ была каморка Кузьмича, онъ сталъ, оторопѣвъ, на порогѣ.

Кузьмичъ стоялъ на колѣнкахъ въ углу, гдѣ висѣли его два образа, и, закрывъ лицо руками, горько плакалъ. Все тѣло старика тряслось.

Сашокъ не выдержалъ, слезы навернулись у него на глаза. Онъ бросился къ дядкѣ съ крикомъ.

— Кузьмичъ! Кузьмичъ! Полно. Что ты. Полно же, Кузьмичъ. Золотой мой!

Но при звукѣ голоса питомца, старикъ отнялъ руки отъ лица и пуще зарыдалъ грубо и хрипло на весь домъ, такъ что тощее тѣло его встряхивалось.

— Не углядѣлъ. Не соблюлъ завѣщанія. Даль людямъ загубить...—съ трудомъ проговорилъ онъ.

— Кузьмичъ! Дорогой. Родимый.

Сашокъ нагнулся, потомъ самъ опустился на колѣни около старика и, обнявъ его, закричалъ.

— Кузьмичъ! Вру я. Вру! Вру! Ей-Богу. Господь свидѣтель. Матерь Божья. Все навралъ. Тебя позлить..

И слезы уже ручьемъ текли по щекамъ молодого человѣка.

— Сашенька! Сашунчикъ! Правда-ли навралъ? — всхлипнулъ Кузьмичъ.

— Обморочилъ. Вотъ тебѣ Христось. Матерь Божья. Позлить, позлить хотѣлъ.

— Никакой Сальмы ты...

— Ничего! Никого! Никогда!—плакалъ Сашокъ, обнимая старика.—Была шведка. Альма. Товарищи... Напоили... Её науськали... Я пьянъ былъ... Она ко мнѣ... Цѣловаться...

— Ну! Ну!

— А я её кулакомъ... И она, обозлясь, меня кулакомъ. И передрались... Товарищи розняли... Хохотали. Дуракомъ обзывали... А я разревѣлся... Плакалъ. Вотъ какъ теперь.

— Родной! Голубчикъ! Сашурочка. Сашунчикъ.—И Кузьмичъ, ухвативъ питомца въ объятія, душилъ его и цѣловалъ, куда попало, въ волосы, въ ухо, въ носъ...

— Слава тебѣ, Создатель. Много милостивъ Царь небесный. Сподобилъ соблюсти дите...—восторженно закричалъ Кузьмичъ, глядя на образа.

XXIII.

Прямымъ послѣдствіемъ всего, что произошло, было нѣчто повліявшее на судьбу молодого человѣка, на всю его жизнь.

Бурныя объясненія и ссоры чуть не до драки бывали, конечно, часто между молодымъ человѣкомъ и его дядькой, но такой стычки и горячаго примиренья съ обоюдными слезами давнымъ давно не бывало.

Сашокъ чувствовалъ, что онъ виноватъ предъ своимъ добрымъ старикомъ. Вѣдь Кузьмичъ былъ единственнымъ на свѣтѣ близкимъ человѣкомъ у сироты, былъ будто не крѣпостнымъ холопомъ, а близкимъ родственникомъ.

Но чувствуя теперь себя виноватымъ предъ дядькой, онъ сознавалъ тоже ясно, что онъ не виноватъ въ иномъ отношеніи.

«Если Катерина Ивановна нравится мнѣ... Даже вотъ позарѣзъ нравится, думалось ему. И сама ко мнѣ льнетъ... Что же тутъ?.. Онъ говоритъ, погубленіе... А товарищи до слезъ хохотали надъ этимъ. Говорили, что всѣ дядьки и мамушки такъ разсуждаютъ, но что это смѣхотворное разсужденіе. А Кузьмичъ вотъ плачетъ изъ-за выдумки про шведку, какъ если бы я въ смертоубійствѣ сознался. Вотъ тутъ и вертись, и выворачивайся. Что дѣлать?!

И Сашокъ цѣлую ночь волновался и плохо спалъ, да еще вдобавокъ, два раза задремавъ, видѣлъ красавицу-пономариху, которая его опять обняла и поцѣловала. Онъ проснулся и сѣлъ на постели, какъ если бы его ударили.

Охъ Господи! Навожденье!

На утро Кузьмичъ пришелъ въ спальню питомца позднѣе обыкновеннаго. Онъ самъ проспалъ, будучи потрясенъ вчерашнимъ происшествіемъ. Едва только Сашокъ умылся, одѣлся, помолился Богу, какъ дядька заговорилъ о своемъ дѣлѣ... Объ семьѣ Квоцинскихъ и объ барышнѣ Татьянѣ Петровнѣ. Дядька повторялъ все то же.. Такой красавицы, умницы, андела и принцессы—второй во всей Россіи не сыщется.

Въ заключеніе онъ добился отъ Сашки обѣщанія познакомиться съ дядей дѣвицы, съ Павломъ Максимычемъ Квоцинскимъ, чтобы чрезъ него войти въ знакомство и со всей семьей.

Сашокъ обѣщаль нехотя.

— Да. Хорошо. Вотъ какъ-нибудь. При случаѣ...

Затѣмъ около полудня, когда его питомецъ отправился по службѣ къ Трубецкому, Кузьмичъ вышелъ и чуть не бѣгомъ пустился въ гости къ Марѣѣ Ѳомииншнѣ.

На этотъ разъ въ комнату мамки пришла сама Таня и сѣла, заставивъ Кузьмича тоже сидѣть. И дѣвушка очаровала старика ласковостью, что было и не лукавствомъ.

Она сама, дѣйствительно, чувствовала, что сердечно относится къ тому человѣку, который «его» выходилъ.

Если всякія «расписыванья» Кузьмича объ чувствахъ дѣвицы къ Сашку на него мало дѣйствовали—отчасти изъ-за пономарихи—то подобное же расписыванье Ѳомииншны объ чувствахъ офицера-князя къ Танѣ—совсѣмъ свели дѣвушку съ-ума.

— Ты ужъ не очень...—говорила нянюшкѣ сама Анна Ивановна.—Вдругъ ничего не будетъ. А ребенокъ въ слезы ударится, да еще захвораетъ.

— Небось. Я взялася за дѣло, такъ не обмахнусь,—отвѣчала эта.

И няня, такъ же, какъ и дядька, отлично знала, что дѣлать. Разумѣется, дѣло Кузьмича было много мудренѣе. Много-ли надо дѣвицу настрекать. А настрекать молодого человѣка, когда кругомъ него увиваются всякія барыньки, и вдовья, и просто веселья—было, конечно, не легко. Однако, въ тотъ же день, вернувшись отъ Квоцинскихъ, Кузьмичъ снова заговорилъ съ питомцемъ, но уже на другой ладъ. Дядька негодовалъ на своего питомца, попрекалъ его, дивился и руками разводилъ, повторяя:

— Грѣхъ! Грѣхъ!

— Какъ же грѣхъ, Кузьмичъ, когда я не причемъ!—оправдывался Сашокъ.

Дѣло было въ томъ, что Кузьмичъ объяснилъ питомцу, что на барышню Квощинскую смотрѣть жалко, худѣть, блѣднѣть, глазки красные. Она даже укусъ потихоньку пьетъ. И ничего ни няня, ни родители не могутъ подѣлать. Она уходитъ себя порѣшила. А если не помретъ, то, говоритъ, пострижется въ монастырь. И все это отъ любви къ князю Козельскому. Сашокъ былъ смущенъ, но отчасти и доволенъ. Впервые въ жизни онъ испытывалъ странное чувство: знать, что есть на свѣтѣ красивое молодое существо, которое занято имъ, Сашкомъ, думаетъ неустанно и днемъ и ночью объ немъ одномъ.

И молодой человѣкъ, наконецъ, согласился съ дядькой, что нельзя оставить дѣвицу помирать отъ любви. Надо познакомиться, узнать ближе... Можетъ быть и впрямь его суженая...

А такъ судя по видимости и по личику, конечно, она мнѣ по сердцу... рѣшилъ Сашокъ.

XXIV.

Павель Максимовичъ Квощинскій, котораго Сашокъ не разъ видалъ въ гостяхъ у госпожи Маловой, не зная, однако, его фамиліи, назывался въ Москвѣ «всезнайкой».

Павель Максимычъ былъ гораздо богаче брата, потому что уже давно и совершенно неожиданно получилъ очень большое наслѣдство отъ дальняго родственника. Онъ, конечно, помогалъ семьѣ брата, съ которой почти жилъ вмѣстѣ, занимая на дворѣ ихъ флигель. Было тоже извѣстно и давно рѣшено, что послѣ его смерти все его состояніе останется его племяннику Пашѣ, который теперь былъ капраломъ въ Преображенскомъ полку въ Петербургѣ. Впрочемъ, отъ большого наслѣдства у Павла Максимовича оставалось нынѣ уже менѣе половины. Холостякъ, которому еще не было пятидесяти лѣтъ, добродушный, веселый, безпечный, прожившій собственно крайне заурядно и скромно, самъ не зная, какъ и куда «ухнулъ» болѣе половины своего состоянія.

Главная слабость характера Павла Максимовича—женскій полъ—не много повляла на это, ибо была какъ у многихъ самая обыкновенная. Онъ равно любилъ общество, любилъ и путешествія. Онъ не сидѣлъ отъ зари до зари около своей возлюбленной, какъ многіе иные, а говорилъ: «Правило есть:—

всего понемножку!» Поднявшись рано, онъ до полудня рисовалъ водяными красками всякіе «ландшафты», затѣмъ, приказавъ запречь небольшую берлинку, выѣзжалъ въ гости, возвращался ко времени обѣда и снова исчезалъ до ужина... Въ одинъ день случилось ему побывать въ пятнадцати и двадцати домахъ. Вечеръ же онъ проводилъ у «предмета», но, однако, не всякій день. Теперь уже года съ четыре этимъ «предметомъ» была Настасья Григорьевна Малова, младшая сестра княгини Трубецкой лишь по отцу, женившемуся вторично. Настасья Григорьевна была женщина совсѣмъ ограниченная, простодушная, лѣнивая и какъ бы вѣчно сонная. Но двадцатипятилѣтняя вдова, вполне свободная, да еще и очень красивая, конечно, прельщала многихъ. Однако главные ея обожатели были почему-то только юноши и старички. Свѣтлоблѣокурая, голубоглазая, бѣлая, какъ снѣгъ, лицомъ, шеей и руками, даже поражавшая этой бѣлизной на балахъ, она была лишь немного мала ростомъ, отъ коротенькихъ ножекъ, и немного полна, а стало быть кругленькая, какъ шаръ. Зато она была тѣмъ, что высоко цѣнится многими и именуется «сдобная». Сонливость и наивность, если не глупость кругленькой вдовушки были, однако, особая, если не были просто обманчивы.

Настасья Григорьевна, съ трудомъ соображавшая или не понимавшая совсѣмъ самыхъ простыхъ вещей, понимала, однако, отлично, что любовь, на примѣръ, пожилого, нѣсколько обрюзглаго, неинтереснаго, но добраго и богатаго Павла Максимоича надо беречь... Приберегать на всякій случай, чтобы чрезъ лѣтъ десять на худой конецъ выйти за него и замужъ. Увѣряли, что будто Настасья Григорьевна кажется такой «простотой», а въ сущности себѣ на умѣ и даже «лиса-баба». — Лапки бархатныя, а зубки щучьи! — говорилъ про нее Петръ Максимычъ, котораго, конечно, смущала связь брата-холостяка съ свободной вдовой.

Благодаря этимъ дѣйствительнымъ или кажущимся свойствамъ молодой вдовушки, у богатаго, любящаго свѣтъ, весело-добродушнаго и на видъ совсѣмъ беззаботнаго Павла Максимоича была, однако, большая забота, было нѣчто, чуть не отравлявшее его существованіе.

«Всезнайка» не былъ влюбленъ, какъ кошка, не былъ преданъ тѣломъ и душой красивой вдовушкѣ, съ которой былъ въ связи уже пятый годъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ ревновалъ ее ко всѣмъ, такъ какъ мысль объ обманѣ и ея невѣрности лежи-

лась гнетомъ на его душу. Это было вопросомъ самолюбія. Настасья Григорьевна, по его убѣжденію, была такой безмѣрной ограниченности разума, что съ ней нельзя было быть увѣреннымъ въ чемъ-либо. Онъ былъ увѣренъ, что она способна на все и что можно было ее заставить все сдѣлать. По недомыслию и крайнему простодушію, она могла, по мнѣнію Квоцинскаго, попасть въ воровки или убійцы, стоитъ только кому-нибудь «науськать» ее, убѣдивъ, что убить человѣка самое простое дѣло и самое хорошее.

Зная это свойство характера своей возлюбленной, Квоцинскій постоянно боялся измѣны со стороны женщины, не по ея личному почину, а подъ вліяніемъ кого-либо...

Малова жила на квартирѣ, которую нанялъ и оплачивалъ Павелъ Максимычъ, рядомъ съ сестрой Трубецкой, и жила тихо, обыденно, скучновато, почти не выходя и никого не видя, занимаясь сплетнями и пересудами околотка. Квоцинскій бывалъ у подружки своей всякій день среди дня, иногда и вечеромъ, но долго и тщательно скрывалъ отъ всѣхъ свою почти старческую слабость. Даже братъ его и невѣстка только съ годъ узнали объ его связи съ госпожей Маловой.

За послѣднее время, за прошлую зиму и весну, Квоцинскій имѣлъ уже и основаніе тревожиться, такъ какъ сталъ часто встрѣчать у своей Настеньки очень молодого капитана по фамиліи Кострицкаго. Женщина объясняла, что офицеръ ея дальній родственникъ въ родѣ племянника, недавно прибывшій въ Москву на время. Самъ капитанъ былъ человѣкъ необыкновенно скромный, съ Квоцинскимъ былъ особенно вѣжливъ и почтителенъ, а къ Настасьѣ Григорьевнѣ относился при Квоцинскомъ съ глубокимъ уваженіемъ. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сказывался женихомъ одной дѣвицы и почти наканунѣ свадьбы... И вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ племянничекъ и женихъ смущалъ до нельзя ревниваго Павла Максимовича. Сердце его будто чуяло что-то...

Но у холостяка была другая, настоящая страсть. Богомольныя путешествія. Не было, казалось, въ Россіи ни единого монастыря, ни единой пустыни, гдѣ бы Павелъ Максимовичъ не побывалъ хоть разъ. У Троицы Сергія онъ бывалъ по нѣскольку разъ въ году. Одинъ только монастырь не видалъ онъ и мечталъ повидать. Но это было уже грезой... Одно заявленіе его объ путешествіи этомъ своимъ знакомымъ пугало всѣхъ... Это былъ Аѳонскій монастырь. Впрочемъ, и самъ

Квощинскій понималъ, что онъ грезить и хвастаетъ, и за всю жизнь никогда туда не попадетъ.

Эти постоянныя путешествія къ разнымъ святымъ мѣстамъ, а равно и вѣчныя скитанія по гостямъ обусловливались двумя чертами характера Павла Максимовича, крайней искренней религіозностью и крайней общительностью, страстью видать побольше народу и бесѣдовать. Когда на него нападала какая-то особенная грусть или меланхолія, онъ тотчасъ собирался на поклоненіе въ какую-либо пустынь... Или когда москвичи начинали ему прискучивать и мало бывало событій и новостей въ первопрестольной, онъ вдругъ сразу рѣшалъ поѣздку въ какой-либо монастырь, гдѣ у него были хорошіе давнишніе пріатели-монахи.

— Два удовольствія тутъ,—говорилъ.—Уѣхать пріятно и вернуться потомъ домой пріятно.

За послѣдніе годы у Квощинскаго понемногу явилось и созрѣло новое желаніе, которое прежде показалось бы ему совершенно невѣроятнымъ.

Ему захотѣлось побывать въ чужихъ краяхъ. Съѣздить хотя бы и не очень далеко, въ королевство польское или въ Швецію. Но средствъ на это уже не было. Поэтому, постепенно созрѣлъ у него планъ поступить на службу въ коллегію иностранныхъ дѣлъ и быть посланнымъ на казенный счетъ за границу. Планъ этотъ отчасти былъ исполнимъ, такъ какъ Павелъ Максимычъ имѣлъ одно рѣдкое преимущество, предъ другими дворянами его лѣтъ. Онъ хорошо читалъ, писалъ и отчасти могъ разговаривать по-французки и по-нѣмецки.

Онъ всегда съ благодарностью вспоминалъ, что этимъ былъ обязанъ своему крестному отцу, очень образованному человѣку временъ великаго императора, Шафирову.

Теперь при началѣ новаго царствованія и въ дни, когда увидѣла у себя Москва новую императрицу, окруженную своими сановниками, Квощинскій рѣшилъ попытать счастье, проситься въ коллегію иностранныхъ дѣлъ, тѣмъ паче, что крупный сановникъ Тепловъ могъ оказать покровительство.

Когда Москва переполнилась гостями изъ Петербурга, Павелъ Максимовичъ уподобился рыбѣ въ водѣ или сыру въ маслѣ... Онъ леталъ по городу... А съ другой стороны «все-знайка» въ эти дни оказывался для друзей неоцѣненнымъ человѣкомъ. Вѣсти и слухи, одни страннѣе другихъ, бѣгали по всей Москвѣ, по всѣмъ дворянскимъ домамъ. Челядь крѣпост-

ная не менѣе господъ оживилась и прислушивалась ко всему, что проникало въ столицу изъ села Петровскаго.

А какъ узнать, что выдумка ради соблазна и что правда. И будто по единодушному приговору и рѣшенію «всезнайка» Павелъ Максимовичъ былъ почтенъ званіемъ верховнаго судьи, рѣшителемъ или пояснителемъ всѣхъ вѣстей.

Видавъ теперь часто такихъ лицъ, какъ Тепловъ, Павелъ Максимовичъ всегда могъ знать, что именно праздная выдумка, злобная клевета, «соблазнительное» вранье и что истина.

Слухъ, передаваемый съ опаской чуть не шопотомъ, что государыня собирается выйти замужъ за графа Григорія Орлова, всего сильнѣе взволновалъ москвичей.

— А правда-ль это?

— Не клевета ли это?

— Не злобное ли и противозаконное издѣвательство?

И вотъ многіе обращались теперь на счетъ удивительнаго слуха къ «всезнайкѣ».

А Павелъ Максимовичъ уже слышалъ объ этомъ отъ Теплова, который передалъ ему даже мнѣніе самого Никиты Ивановича Панина.

Вельможа по этому поводу выразился французской пословицей: «Pas de fumée sans feu!»—«Нѣтъ дыма безъ огня!»

И «всезнайка» въ свой чередъ отвѣчалъ на вопросы москвичей.

— Почему знать, чего не знаешь.

Когда начались споры между политиканами-дворянами, возможно ли такое, неслыханное и невиданное, несообразное, то «всезнайка» говорилъ, повторяя слова Теплова.

— Въ иноземныхъ государствахъ такое бывало. Супругъ монархини не считается монархомъ и не коронуется. Ему только даютъ почетъ и уваженіе, какъ ближнему къ престолу лицу, хотя и безъ должности.

— То иноземныя государства, а то Россійская Имперія. Бусурманъ намъ не указъ!—говорили одни.

— Грѣховнаго или противозаконнаго ничего тутъ нѣтъ!—говорили другіе.

— Стало быть, у простого дворянина могутъ быть царскія дѣти.

— А развѣ прежде супруги царей не были изъ російскаго дворянства.

И вотъ къ этому всезнайкѣ и путешественнику-богомолу направилъ Кузьмичъ своего питомца знакомиться.

Сапокъ отправился и узналъ, что это тотъ же г. Квощинскій, котораго онъ видалъ уже не разъ у Маловой, когда бѣгалъ къ ней за чудодѣйственнымъ табакомъ.

Павель Максимовичъ принялъ офицера-князя любезно, но, не зная ничего объ планахъ брата, недоумѣвалъ, зачѣмъ Козельскій явился къ нему.

На его заявленіе брату, какой былъ у него гость, Петръ Максимовичъ спросилъ:

— Ты знаешь князя Козельскаго Александра Алексѣевича.

— Вѣстимо знаю. Онъ теперь здѣсь въ Москвѣ. Недавно пиръ задавалъ. Онъ дядя родной этого молодца. А что?

— Что онъ за человѣкъ?

— Россійскій дворянинъ и князь.

— Я говорю: что это за человѣкъ?

— Человѣкъ богатѣйшій. Чудодѣй знаменитый...

— Ну...

— Что ну?..—отозвался Павель Максимовичъ.

— Скажи, Господи, что за человѣкъ нравомъ, чувствами, душой что ли своей.

— А? Эдакъ, то есть... Ну, эдакъ будетъ уже не то... Эдакъ будетъ онъ человѣкъ особенный.

— Чѣмъ особенный? Чѣмъ?—нетерпѣливо спросилъ Квощинскій.

— Да такъ... Не столько человѣкъ по образу и подобію Божію, сколько... свинья.

— Что-о—прооралъ Петръ Максимовичъ.

— Да. Это человѣкъ добрый, но, собственно говоря, совсѣмъ свинья. А тебѣ на что?

Квощинскій таинственно объяснилъ брату.

— Ну, что же. Не онъ, вѣдь, женится, а племянникъ.

— Да. Но онъ могъ бы дать ему душъ двѣсти-триста...

— Ну, вотъ этого не будетъ. Полагаю, не дастъ онъ ничего. Жила! На себя не пожалѣетъ тысячи рублей на любую прихоть. А другому дать, хотя бы родному племяннику, алтына не дастъ. Но надо съ нимъ умѣть взяться... Это мнѣ препоручи. Устрою.

— Какъ же такъ? Ты что же тутъ можешь!

— Препоручи. Можетъ быть и сумѣемъ его встряхнуть!—улыбнулся «всезнайка».

— Говори, братецъ, прямо... Дѣло, вѣдь, не шуточное, — сказалъ Петръ Максимовичъ.

— Изволь. Скажу. У князя Козельскаго есть дѣло ему непосильное. Есть просьба, съ которой онъ увивается около вельможи.

— Около кого?

— Около графа Панина.

— Ты это знаешь, братецъ?

— Вѣрно знаю.

— Удивленіе. Теперь всё добиваются чего-нибудь. Всё хотятъ, что ни на есть отъ новой монархини выключить, — закачалъ головой Петръ Максимовичъ. — Кто должность, кто орденъ, кто сотню и двѣ, и пять душъ крестьянъ...

— Да. Ну, вотъ и твой князь желаетъ звѣзду Александровскую...

— Что же ты можешь?

— А вотъ надумаемъ мѣновой торгъ — усмѣхнулся Павелъ Максимовичъ. — Тебѣ нужно то и то... Ну, дай намъ вотъ то и то... Удѣли что-нибудь племяннику... Не мудрено это дѣло. Я Теплова попрошу, онъ Панина, а Никита Иванычъ Козельскому поставитъ условіемъ оное...

XXV.

Титъ уже давно собирался навѣдаться къ бабушѣ и сестрѣ, но Кузьмичъ не отпускалъ его. Наконецъ, онъ добился своего, и радостно пустился въ путь въ село Петровское. Онъ нашелъ дома только сестру, а старуха была на своемъ огородѣ. Разспросивъ ее объ матушкѣ, онъ, разумѣется, принялся рассказывать тотчасъ о своемъ житьѣ-бытьѣ, объ князѣ, объ Кузьмичѣ, даже объ пономарихѣ.

— Ну, а каковъ князь. Драчунъ? — спросила Аленка.

— Гдѣ тебѣ! Мухи не тронетъ, — отвѣтилъ Титъ восторженно. — Добрыющій. Ласковый такой, тихій. Я отродясь такихъ не видалъ. И красавецъ. Катерина Ивановна отъ него прямо ума рѣшилась.

— Вишь ты... — раздумывая, выговорила дѣвушка.

— И на это, Аленушка, полагаю я, есть особливая причина.

— Красивъ, да князь... Ну и влѣпилась. Ничего нѣтъ особливаго...

— Нѣтъ, я не про то... Я про его тихость да ласковость... Онъ можетъ самъ-то по себѣ и такой же, какъ всѣ господа... Нѣтъ-нѣтъ, и треснетъ чѣмъ попало... А ему, моему Александру Микитичу, не до того... Мысли его ему мѣшаютъ. Не до сыска, не до взыска, а до горести своей. Знаешь, такъ-то поется.

— Да что же такое?

— А то, говорятъ тебѣ... Что онъ очень самъ-отъ убивается. Полюбилась ему барышня Квощинская, Татьяна Петровна. Барышня — на диво. Ну и она тоже души въ немъ не чаешь.

— Ну, а родители его противничаютъ!

— Чьи? У него ихъ никого. Сирота. Была тетушка. А теперь и ея нѣтъ.

— Уѣхала?

— Какъ уѣхала? Не уѣхала, а померла...

— Стало, родители барышни не хотятъ его въ зятя себѣ.

— И они хотятъ. И баринъ Квощинскій, и барыня, и братъ бариновъ—всѣ хотятъ.

— Такъ что же тогда? Чего тянуть. Говори!—нетерпѣливо вымолвила Аленка.

— Говори? Чего же я буду говорить, когда не знаю. И никто не знаетъ. Онъ, мой Александръ Микитичъ, отъ Татьяны Петровны безъ души. И всѣ его полюбили. И всѣ бы рады сейчасъ свадьбу сыграть. И онъ бы радехонекъ... Разума отъ нея рѣшился, сказываетъ Кузьмичъ. А Катерина Ивановна, говорить, совсѣмъ князю противна.

— Ну? Что же свадьба-то?

— Ну — нѣтъ ничего. Не выгорить. Печалуются всѣ, а подѣлать ничего не могутъ. Запретъ. И не вѣдомо отъ кого! Чудно. Самъ Кузьмичъ мнѣ все это сказывалъ.

И бесѣда брата съ сестрой снова перешла на то же близкое ей дѣло, объ Матюшкѣ и его господахъ.

— Надо же эдакую напасть, что они разбогатѣли, — сказалъ Титъ. — Но все же таки рублей за пятьдесятъ они дадутъ отпускную. Что имъ однимъ парнемъ болѣе или меньше.

— А гдѣ ихъ взять! Пятьдесятъ-то рублей, — вздохнула Аленка.

— У бабуся найдутся. Вѣрно говорю. Она таится. А у нея есть они.

Аленка помотала головой.

— Кабы были, бабуся давно бы их дала,—сказала она.—
А ихъ нѣту...

А пока братъ съ сестрой толковали о своихъ дѣлахъ, ихъ бабуся сидѣла на скамейкѣ около своего огорода, а около нея была та же дама, живущая въ палатахъ графа Разумовскаго. И это было не во второй, а уже въ третій разъ. Послѣ первой встрѣчи и бесѣды со старухой, дама снова появилась около огорода чрезъ дня три.

Параскева, при видѣ ея, струхнула и желала укрыться, но это было совершенно невозможно среди грядъ и голаго поля.

Дама сѣла на скамейку, ласково окликнула ее и подозвала къ себѣ.

Въ этотъ второй разъ Параскева привыкла къ своей «барынькѣ» и будто забыла, что она живетъ въ одномъ домѣ съ самой царицей, и даже выдаетъ ее. Барынька ласково, просто и весело, притомъ прямо «по душѣ», бесѣдовала со старухой о себѣ самой, объ житѣй-бытѣй Параскевы, объ ея правнукахъ... Но просидѣла она недолго, спѣшила она домой, опасаясь, что важная особа, при которой она состоитъ, можетъ ея хватиться, а вышла она безъ спросу.

Теперь въ третій разъ навѣдалась она къ огороду, а Параскева, пришедшая было полоть картофель, завидя свою «касатку», поспѣшила къ ней радостная. Ужъ очень долго не видѣлась она съ новымъ другомъ.

Но подойдя и сѣвъ около дамы, Параскева удивленно приглядѣлась и даже ахнула.

— И чтой-то ты, касатужка... Аль худо како приключилось.

— Ничего, старужка...—отозвалась эта.

А между тѣмъ, по красивому лицу дамы, можно было легко догадаться, что она была не только озабочена, а прямо грустна. Печальные глаза, казалось, были съ краснотой, какъ если бы она плакала предъ тѣмъ, что прійти.

— Я сто лѣтъ на свѣтѣ живу. Забыла ты это...—заговорила Параскева. — Говори, касатужка, что у тебя на сердцѣ. Говори, не бойся... Чужое дѣло всегда чужому человѣку легче развести.

Дама стала увѣрять старуху, что ей просто нездоровится, но Параскева начала ее спрашивать, иногда отвѣчала сама, догадкой, и такъ умно, что дама постепенно многое расска-

зала. А все это многое за сердце схватило добрую, столѣтнюю старуху.

Параскева захохала, закачала головой и начала утирать сучіе глаза, такъ какъ уже давно плакала безъ слезъ.

— Вотъ оно что... И господамъ бываетъ хуже холоповъ. Вижу я, вижу, касатуха, рвутъ тебя на части. А все вдовье твое дѣло. Будь у тебя супругъ, то заступился бы.

Дама улыбнулась, но печально.

— Горе, злосчастіе ходитъ по свѣту... Куда придетъ, отвори ворота, что въ мужичью въ избу, что въ палаты боярскія. Ему, говорю, не скажешь: проходи, молъ, своей дорогой. Нѣтъ. А придетъ оно, и не знаешь, какъ его сжить. Ни умомъ, ни силкомъ, ни моленьемъ. Ничто не беретъ его.

— Правда твоя, бабушка!—грустно отозвалась дама.

— Да-а! — протянула Параскева вздыхая. — Индо смерть жалко тебя, мою касатухку. Ты красотка, умница, доброта. А тебя, вижу я, рвутъ на части. А люди, родимая, рвутъ хуже, чѣмъ собаки. А еще тебѣ скажу, вѣрь мнѣ, старой, не вру... Есть, бываетъ тако, други-пріатели хуже вороговъ.

Дама улыбнулась невольно и подумала про себя.

«Dieu me garde de mes amis, et de mes ennemis je me garderai moi-meme.»

Параскева задумалась, приуныла, потомъ выговорила.

— Ну, вотъ что, моя золотая сударка...

И она залпнула, подумала еще и наконецъ, вздохнувъ, сказала.

— Такъ ужъ и быть... Для тебя одной. Полюбилась ты мнѣ гораздо, такъ что просто удивительно мнѣ самой. Таково ты мнѣ, болѣзная, кажетъ, горе мыкаешь, что изъ жалости къ тебѣ согрѣшить готова. Поняла?

— Нѣтъ, бабушка, не поняла ничего.

— Слушай, моя горемычная. Была я помоложе, грѣхъ за мной водился. Великъ не великъ, а все-таки грѣхъ... И я его много, много годовъ замаливала. И дала я клятву эдакъ-то больше не грѣшить... Ну, и вотъ, я эту самую башку мою изъ-за тебя по-боку... Вотъ, стало быть, какъ ты мнѣ по сердцу приплась. Поняла теперъ?

— Нѣтъ, бабушка, милая, ничего все-таки не поняла, — улыбнулась дама.

— Слушай. Была я молода, не молодешенька, а все-таки не старая. Лѣтъ тому, поди, тридцать, аль сорокъ. Ну, вотъ...

И загребала я деньги, да чѣмъ? Чѣмъ, моя горемычная? Колдуней была!

— Какъ? Чѣмъ?—удивилась дама.

— Колдуней, говорю... Да. Ворожеей! Оно все то же...— вздохнула Параскева.— Гадала я дворянамъ, господамъ, на картахъ, на гуцѣ кофейной и на мыльной водѣ... И бросила... И вотъ ужъ сколько лѣтъ этого грѣха на душу не брала. Ну, а теперь изъ-за тебя согрѣшу, божбу свою преступлю, и тебѣ погадаю.

Дама улыбнулась ласково.

— Я пошукаю твою судьбу... И мы будемъ съ тобою знать, что намъ дѣлать. Какъ тебѣ твое дѣло, и всѣ дѣла повернуть въ твою пользу. Понимаешь.

— Нѣтъ, бабушка. Я не понимаю... Ты погадаешь. Хорошо. Но что же изъ того.

— Увидимъ мы все, глупая ты моя! — воскликнула Параскева.— Увидимъ все-то и всѣхъ-то наскрозъ. Ну, ты и узнаешь, какъ тебѣ извернуться, чтобы всѣхъ своихъ вороговъ объгорить.

Дама разсмѣялась.

— А ты, моя сударка, какъ будтось и не вѣришь мнѣ. Думаешь, я совсѣмъ дура и зря болтаю. Не хочешь, не надо. Я для тебя же...— обидчиво проговорила старуха.

— Какъ можно, бабушка. Я считаю тебя очень умной. Ты мнѣ умнѣйшіе совѣты уже дала. Обѣщаться.

— Какъ знаешь. Я не навязываюсь,— бурчала Параскева, обидясь.

— Нѣтъ. Что ты. Напротивъ. Я очень рада погадать. Но это невозможно. Это трудно. Развѣ вотъ здѣсь, въ лѣсу.

— Зачѣмъ. Здѣсь нельзя. Гуца должна быть горячая... Приходи ко мнѣ въ избу. Вотъ тутъ, недалече. Я тебѣ сейчасъ покажу.

— Вотъ это хорошо, — воскликнула дама. — Завтра же я къ тебѣ приду. Только не одна, а съ пріятельницей.

— Ладно. И карты захвати. У меня нѣту. Онѣ тоже нужны.

XXVI.

Параскева вернулась домой, и задумчивая, не говоря ни слова внукамъ, сѣла у окошечка... Размышляя о чемъ-то глупо и угрюмо, она изрѣдка вздыхала, а то и охала.

Внуки притихли и отчасти встревожились. Такого почти никогда почти не бывало... Было, помнилось имъ, когда старухъ не хотѣли возобновить условій по отдачѣ въ наемъ земли подъ огороды. Было то же, когда бабуся ихъ узнала вдругъ, что внучка собиралась замужъ за крѣпостного Матюшку.

Аленка долго приглядывалась къ прабабушкѣ и, наконецъ, не выдержала. Она подсѣла и, обнявъ старуху, выговорила тихо:

— Что ты, бабуся. Аль бѣда какая?

— Что?—отозвалась Параскева, будто очнувшись.

— Что ты такъ, оробѣвши будто? Аль бѣда стряслась?

— Тьфу! Типунъ тебѣ на языкъ. Какая бѣда. Гдѣ бѣда.

— Такъ что же ты эдакая?—вступился и Титъ. — Ажно напужала насъ. Говори, что такое? Откуда пришла?

— Видѣла я опять мою барыньку,—вдохнула Параскева.— Ну, вотъ и взяла меня тоска. Жаль мнѣ горемычную. Помогла бы ей, да гдѣ же мнѣ, бабѣ, мужичкѣ, барынѣ помочь.

— Отчего жаль-то?—спросила Аленка.

— Тяжело ей. Добрая она. Сердечная. А тяжело ей, страсть. Говорила со мной, у нея даже слезки по щекамъ потекли. Заѣдають ее, бѣдную, лихіе люди. Много ихъ. А она-то одна, сирота, вдова. Не у кого ей и защищенія достать. Некому заступить за нее. А ужъ одолѣли-то... Одолѣли... Ахти! Со всѣхъ сторонъ... Чисто—псы.

— Да всѣмъ... Одинъ, вишь ты, хочешь—вынь да покажь, выходи она за него замужъ. А она не желаетъ. А отказать вельзя, говорить, бѣдъ не оберешься. Озлится онъ, и набѣдокурить.

— Дѣло простое—арбузъ поднести!—разсудилъ Титъ. — Ну, не хочю, и проваливай. Просто!

— Просто?—воскликнула, качая головой Аленка.—Ты слышаль, бабуся сказываетъ, она сирота, да вдовая... Въ эдакомъ разѣ кто захочетъ, тотъ на тебѣ и женится. Ты парень, а не дѣвка, и бабьихъ дѣлъ не смыслишь...

— Вѣрно. Вѣрно. Золотыя твои рѣчи, Аленушка!—оживилась Параскева.—Смышленная ты у меня головушка. Останься ты вотъ безъ меня и безъ Тита. На тебѣ прохожіи татаринъ женится.

— Да. Оно пожалуй... Если сирота круглая, — согласился Титъ, — то не сподручно отъ всѣхъ отбиваться. Одолѣють, именно, какъ собаки въ переулкѣ... Вотъ, надьсь шель я по Арбату ночью, и вдругъ это...

— Полно. Помолчи, Титка. Дай бабусѣ сказывать,—вступилась Аленка.—Ну, что же барынька-то эта. Еще-то что у нея.

— Еще-то? Да много. Многое множество всякихъ заботъ и горевъ,—начала Параскева, подперевъ щеку рукой.—Одинъ, вотъ, привязался, выходи, да выходи за него замужъ. Гдѣ-де тебѣ, вдовѣ молодой, управиться въ своихъ вотчинахъ. А она-то, моя горемычная...

— Не хочеть!—перебила Аленка.—Это мы слышали. Еще-то что?

— А еще то... Одинъ изъ ейныхъ, должно дворовыхъ. Старый, да умный, да злока, смекаю я сама-то, служилъ ей родителямъ и гордости набрался... А теперь хочеть, чтобы она его въ главные управители взяла...

— Ну, что же? Коли старый слуга, — сказалъ Тить, — да умный... И хорошее дѣло, если...

— Погоди. Прытокъ ты... Дай досказать, — перебила Параскева. — Онъ, этотъ самый, дворецкій что ли, хочеть быть въ управителяхъ ейныхъ вотчинъ токмо на такой образецъ, чтобы она, моя золотая, ничего бы не смѣла дѣлать безъ его вѣдома и безъ его разрѣшенья.

— Скажи на милость! Ахъ, идолъ этакій,—воскликнулъ Тить.—А за это его на скотный дворъ! къ коровамъ, моль, хочешь!

— То-то вотъ...—Говорить онъ,—заведемъ тройку управителейъ, я буду четвертый и набольшій. И буду я все вершить. А ты, барынька, ни во что не вступайся. Кушай, гуляй, да почивай на перивѣ. А она, знамо дѣло, эдакъ-то не желаетъ. Я, говоритъ, не старуха, хочу сама госпожей быть.

И Параскева вздохнула и задумалась.

— Ну, ну... Еще-то что же?—спросили правнуки.

— Да много еще... Всѣ лѣзуть, всякія себѣ должности просять по двору. А кто на волю просится зря. Кто денегъ просить въ награжденье за старую службу... А она давала, и все даетъ, и много раздала... А все не сыты! Все лѣзуть и еще просять, больше... А сосѣдъ одинъ, и важный такой, бояринъ и князь изъ нѣмцевъ, грозится... Отдай ему цѣлое угодье. А не хочешь, тягаться въ судѣ учну, и оттягаю, и раззорю.

— Ахъ, Господи!—шепнула Аленка,—не понявъ слова «тягаться», и воображивъ себѣ, что то, значить, душу изъ тѣла вытягивать.

— И то не все, родные мои,—продолжала Параскева.— Всего и не запомню... Ну, просто, говорю, бѣдную касатку на части рвутъ. И грозятся! Этотъ самый дворецкій, что-ли, написалъ эдакую бумагу и съ ножомъ къ горлу лѣзеть, подпиши. А она-то, сердечная, боится.

— Избави Богъ!—воскликнулъ Титъ.—Это мнѣ сказывалъ нашъ Кузьмичъ, князевъ дядька. Никакой, говорить, бумаги николи не надо подписывать, кто грамотенъ. А кто не грамотенъ, и креста не ставъ. Какъ подписалъ, такъ тебя и засудятъ.

— Ну, вотъ... Она и не хочетъ подписывать. А онъ, старый, говорить: тогда-де я дѣло въ судѣ заведу, чтобы твой сынокъ былъ помѣщикомъ душевладѣльцемъ, а ты бы отставлена была отъ дѣловъ. А сынокъ-то еще махонькій совсѣмъ.

— Какъ же такъ, бабуся? Такого закону нѣту.

— Да такъ вотъ... Вотчины, стало быть, не ея самое, а мужнины. Ну, сынокъ-то и наследникъ. А она, вдова, токмо, покуда онъ махонькій, распоряжаться можетъ. Старый-то чортъ знаетъ всякіе законы и ходокъ. Стрекулисть. Гдѣ ей бѣдной супротивъ его итти. Вотъ, стало-быть, либо назначай его главнымъ правителемъ, либо онъ въ судъ махнетъ. Малолѣтка, чтобы объявили помѣщикомъ, а ее самое по-боку.

— Да, дѣла!—ахнулъ Титъ.

— А еще-то есть одна молоденькая барынька, что была въ ея товаркахъ-пріятельницахъ, теперь, обозляся, поносить ее вездѣ и со всѣми ея подругами за одно... А еще то... Еще... Да всего и не перескажешь. Ужъ такъ-то мнѣ ее жаль. Такъ-то жаль, что я на одно грѣшное дѣло изъ-за нея иду...

— Что ты, бабуся? Зачѣмъ!—испугался Титъ.

— Не бойсь... Дѣло такое, что только я свой грѣхъ знать буду. И грѣхъ для людей не великъ, да мнѣ-то самой тяжеле.

XXVII.

Вечеру, когда Титъ ушелъ, Параскева сказала внучкѣ:

— Вотъ что, Аленушка? Завтрева барынька къ намъ придетъ. И не одна, а съ одной своей старой пріятельницей. Надо намъ свѣтелку нашу почистить, прибраться какъ слѣдъ, полы вымыть и все эдакое... Она все-таки, сдается мнѣ, барыня важная, хоть и якшается по-просту со мной, мужичкой.

Весь день и вечеръ старуха была задумчива. Старуху, му-

чила мысль, что она сколько годовъ, и Богъ вѣсть, ворожить бросила и никому не гадала. А теперь вотъ, не вытерпѣла изъ жалости... И общала барынькѣ за грѣшное дѣло взяться.

— Авось Богъ простить, — утѣшала себя старуха. — Одинъ разочекъ. Да и то не за деньги. А изъ жалости.

Когда внучка улеглась спать, старуха дождалась, чтобы она заснула, и принялась за таинственную работу, которая постоянно показалась бы бессмысленной.

Черезъ часъ у Параскевы была въ рукахъ небольшая посудина, полная какой-то темной гущей. Она накрыла ее полотенцемъ и спрятала къ себѣ подъ кровать, только ради того, чтобы внучка не увидѣла ея.

На этой гущѣ предполагалось узнать всю судьбу «барыньки».

На утро Параскева едва проснулась, какъ начала волноваться, сновала безъ смысла въ комнатѣ, выходила и бродила около домика. Ее смущало и то, что придуть къ ней двѣ барыни, и то, что надо опять себя осквернять ворожкой. Почему знать, думалось ей, можетъ быть она уже замолила свой грѣхъ молодости, а теперь, въ сто лѣтъ, вдругъ опять колдуй и душу губи.

Аленка начала еще съ зари хлопотать, и, вымывъ полъ, вытеревъ на-чисто стекла двухъ оконъ, убирала и поправляла безъ конца все, что попадало ей подъ руку... Разъ десять переставляла она съ мѣста на мѣсто всякую всячину изъ ихъ рухляди.

— Да ужъ полно тебѣ... — замѣтила Параскева. — И такъ ладно. Мы не дворяне какіе. Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады. Кромѣ огурчиковъ да брюквы, и угостить-то нечѣмъ. Да имъ и не нужно. А ты вотъ не забудь, что говорила.

— Нѣту! Нѣту, бабуся...

— Ни за что не лѣзь. Слышь. Покуда она будетъ у меня здѣсь сидѣть, ты ни въ жизнь не смѣй входить.

— Знаю. Знаю. Разъ десятокъ слышала.

— То-то, Аленушка. Смотри.

Старуха опасалась еще пуще всего, что правнучка, войдя въ комнату, увидитъ вдругъ на столѣ разложенныя карты, которыхъ, отродясь, конечно, не видѣла, и разумѣется, охнетъ, перепугается, можетъ даже спрашивать потомъ начнеть... А что ей скажешь? А если она брату все расскажетъ, то Титка другимъ расскажетъ... Бѣда тогда! Титъ князю своему сболтнетъ. И пойдетъ трезвонъ. Около полудня Параскева,

выглядывавшая на лѣсъ, увидѣла двухъ дамъ. Онѣ вышли на опушку и стали.

Казалось, что онѣ озираются по сторонамъ, нѣтъ ли кого посторонняго, кто можетъ ихъ увидѣть идущими въ гости къ старухѣ. Оглядѣвшись внимательно, онѣ двинулись. Параскева пошла къ нимъ навстрѣчу. Обѣ барыни улыбались какъ-то особенно, точно будто подсмѣивались. Надъ старухой ли, надъ собой ли, что къ мужичкѣ въ гости идутъ, да еще на ворожбу. Гадать про свою судьбу.

Пріятельница барыни была почти одного съ ней роста, но полнѣе, и не красива, какъ она. Только большіе глаза были хороши, умные, быстрые... А надъ ними густыя брови дугой придавали лицу немного суровое выраженіе. Барыня вошла въ комнату, а пріятельница ея осталась на крылечкѣ. Усѣвшись съ Аленкой рядомъ, она стала ее спрашивать.

Параскева усадила дорогую гостью въ уголъ на лавкѣ, за столъ, и поставила предъ ней лукошко съ свѣжими огурчиками.

— На вотъ, не взыщи. Полакомись чѣмъ Богъ послалъ. Съ моего огорода,—сказала она.

Затѣмъ, доставъ изъ-подъ своей постели посудину съ гущей, старуха поглядѣла, удивилась и вымолвила.

— Ничего не вышло. Всю ночь стояла, и ничего!.. Худого нѣту, но и хорошаго ничего не видать. Карты принесла.

Гостя тоже поглядѣла въ посудину съ гущей и разсмѣялась. Затѣмъ она вынула изъ кармана и передала старухѣ колоду картъ. Параскева вдругъ при видѣ ихъ стала сумрачна, вздрогнула глубоко, но, взявъ колоду, начала свое дѣло. Когда карты были разложены на столѣ, она разглядѣла ихъ внимательно и, забывъ свой великій грѣхъ ворожбы, оживилась и начала качать головой.

Затѣмъ она выговорила тихо.

— Мати Божія!

Дама видимо интересовалась гаданьемъ вообще и пристально поглядѣла на старуху.

— Вотъ чудно-то. Чудно-то...—забормотала Параскева.

— Что же такое. Рассказывай!—улыбнулась она.

— Чудеса въ рѣшетѣ!

Дама не поняла и повторила:

— Что же?

— А я не знаю. Тебѣ лучше знать... Ну, вотъ слушай... Я не вру. Я что вижу, то и говорю. Не моя вина—худо

если... Не мнѣ спасибо—коли хорошо. Кто же ты такая будешь, касатушка?.. Ты, видно, меня, старуху, морочишь. Ты вотъ, сказываютъ крести, важная преважная барыня, богатая... У-у богатая! Денегъ, денегъ, денегъ... Ахъ, Господи! Сохрани и помилуй.

И помолчавъ, старуха снова заговорила:

— Да, родимая. Ты меня, стало, морочишь. И радости тутъ всё! И всякое счастье! И во всёхъ дѣлахъ всякое удовольствие! И враговъ, враговъ?.. Страсти! Такъ и кишать окаянные. Зубы точать! И ничего, ничего, ничеготочки подѣлать они не могутъ. Со зла поколѣютъ всё, прости Господи! Ай батюшки! И женихъ! Да. Только не суженый. Нѣтъ, не суженый. Женихъ такъ жениховствовать и останется... А вотъ этотъ лѣзетъ. Ой, злой! Вотъ злой-то... Чисто песь цѣпной сорвался! И давай кусать. А зубовъ-то нѣту. Ну, гаданье!! Отродясь эдакого не видывала!—охнула Параскева.

Дама, внимательно слушавшая, разсмѣялась, но спросила серьезно.

— Будетъ ли мнѣ благополучное окончаніе всего?

— Диковина! Все будетъ. Все! Вотъ тутъ и десятка жлудевая. И тузъ крестовый. А съ нимъ-то, родимые мои, самъ червонный развалеть... Вотъ тебѣ привалило-то. Ну, ужъ привалило. Что же это ты меня, старуху, морочишь, говорила все-то у тебя заботы да горе. Какое тебѣ горе. Что ты! Не гнѣви Господа. Я эдакихъ картъ не видѣла никогда. Гляди! Гляди! Жлудевая-то восьмерка, и та легла у тебя въ головахъ... Ну, что-жъ тутъ! Тутъ и гадать нечего. Что хочешь ты, то всего и будетъ. Звѣзды съ неба всё заберешь и въ карманъ покладешь.

Дама оживилась не столько отъ словъ старухи, сколько отъ ея голоса и ея вдохновеннаго лица.

«Пиюія» подумала она про себя и прибавила:

— Скажи мнѣ, Параскева. Замужъ я не выйду?

— Голубонька, касатушка... Прости! Я говорю, что вижу. Никоего супруга тутъ нѣтъ. Женихъ есть, но при себѣ самомъ и остается. Да ты, моя голубонька, меня не одурай. Ты сама замужества не хочешь. Ты-то говорила это... Да я вотъ и тутъ вижу. Не хочешь. Да. Вотъ пиковая семерка около жениха. Стало, ты, выходить, разсуждаешь: Проваливай, женихъ, я и безъ тебя обойдуся. Мнѣ, касатушка, все видать! Я все наскрозъ вижу по картамъ.

Дама слушала внимательно, воодушевленіе и вдохновенный голос столѣтней старухи, будто вдругъ помолодѣвшей взглядомъ и рѣчью, не могли не подѣйствовать.

«Писея» повторяла она мысленно.

Прошло около часу, когда дама, веселая, улыбающаяся, вышла на крыльцо и, простившись со старухой, двинулась въ лѣсъ, сопровождаемая пріятельницей. На вопросы ея, дама отвѣтила только: «Удивительно!» И затѣмъ она глубоко задумалась и шла молча, понурившись...

XXVIII.

Когда двѣ женщины молча дошли до палатъ Разумовскаго, часовые у подъѣзда отдали честь... На лѣстницѣ они разошлись... Дама вошла въ залъ... При ея появленіи сановникъ, ожидавшій здѣсь, склонился и подалъ большой пакетъ съ большой печатью.

— Отъ короля Карлуса, — доложилъ онъ. — Гонецъ гишпанскій въ ночь прибылъ.

Это былъ канцлеръ графъ Воронцовъ.

Спутница дамы прошла въ малыя комнаты дома. Придворный лакей, дряхлый старикъ, явась почти вслѣдъ за ней, доложилъ, что уже съ часъ ждетъ ее офицеръ.

— Имя-то онъ свое сказалъ? — спросила она.

— Сказывалъ. Да виноватъ, Марья Саввишна.

— Что? По дорогѣ, Гаврилычъ, потерялъ?

— Потерялъ, матушка. Ужъ очень мудрено оно.

— Тяжело было нести и уронилъ?

— Точно такъ-съ!.. — усмѣхнулся старикъ лакей.

— Обермиллеръ?

— Точно-съ. Похоже! Совсѣмъ эдакъ...

— Да каковъ изъ себя-то онъ?

— Маленькій, рыжеватенькій.

— Ну, вотъ! Такъ бы, Гаврилычъ, прямо и говорилъ! Ну, проси...

И Марья Саввишна Перекусихина, наперсница императрицы, вышла въ свою отдѣльную маленькую гостиную.

Черезъ минуту гвардейскій офицеръ, дѣйствительно очень маленькаго роста, съ лицомъ, покрытымъ сплошь веснушками и съ мохнатыми рыжими бровями, что придавало ему очень странный видъ, скромно и отчасти боязливо расшаркался предъ-

женщиной и, по просьбѣ ея садиться, усѣлся на кончикъ стула.

— Ну, что скажешь, Карлъ Карловичъ?

— Ничего, сударыня, особливаго, но все-таки понемножку началъ. Теперь уже человѣкъ десять извѣщены. Шумъ пошелъ уже.

— А великъ ли шумъ?

— Великъ, сударыня! Пуще чѣмъ можно было ожидать.

— Кто же больше всѣхъ шумить? Небось, измайловцы?

— Есть одинъ и измайловецъ. Пуще всѣхъ остервенились Гурьевы, два брата, да Хрущевы, три брата, да Измайловы два брата, да одинъ Толстой.

— Ты какъ же пустилъ-то? Скажи!

— Да какъ вы сказали, Марья Саввишна. Прежде всѣхъ, сказалъ я одному Гурьеву, что вотъ, молъ, такъ и такъ, Григорій Григорьевичъ Орловъ возмня о себѣ превелико. Ожидая, что будетъ при коронованіи графомъ и получить большое денежное вознагражденіе, все-таки не довольствуется. Вѣдь, такъ вы изволили сказывать.

— Такъ, такъ! Молодецъ!

— И вотъ-съ...—продолжалъ нѣмецъ-офицеръ тихо и подобострастно,—возмня о себѣ, не полагаетъ уже предѣла своимъ вожделѣніямъ и нынѣ возмечталъ быть супругомъ императрицы.

— Ну? Ну? Вѣрно. Дальше что?

— Все, сударыня!

— Какъ все?!—воскликнула Марья Саввишна.

Офицеръ немножко смутился.

— Какъ все?!—повторила женщина.—Главное-то ты, стало быть, и забылъ?

— Простите, а, по моему, все, что вы приказали, я въ точности исполнилъ.

— Помилуй, голубчикъ! Главное-то, главное. Какъ сударыня-то на это смотритъ? Сама-то она, что говоритъ?

— Винавать-съ, вы меня перебили, а то бы я и это вамъ передалъ. Это я тоже-съ доподлинно и какъ вы сказывали, чуть не вашими словами говорилъ. Сама-де сударыня очень этимъ обижена, тяготится, опасается господъ Орловыхъ и ихъ всякихъ клеветовъ, но что, собственно, выходитъ замужъ считаетъ для своей особы царской не благоприличнымъ.

— Ну, вотъ умница! А я ужъ испугалась, что ты главное-то и позабылъ.

— Какъ можно, Марья Саввишна! Да это, собственно, и подѣйствовало на всѣхъ. Не скажи я этого, такъ, пожалуй бы, всѣ эти господа и шумѣть бы не стали. А именно, когда я имъ пояснилъ, что ея императорское величество обижается, считаетъ для своей особы оное совсѣмъ неподходящимъ дѣломъ, чтобы бракосочетаться съ простымъ дворяниномъ, хотя бы княземъ Римской Имперіи... Тутъ-то все и пошло... Гурьевъ одинъ, старшій, заоралъ и даже громогласно:

«Ахъ, молъ, разбойники! Мало имъ денегъ, мало имъ почета! Они вотъ что выдумали! Не бывать этому. А да если этакое совершится, то мы паки бунтъ учинимъ. Выйдетъ царица замужъ за дворянина простого, то мы Ивана Антоновича на престолъ посадимъ!»

— Что ты?! ахнула Перекусихина.

— Точно такъ-съ!

— Ну, это ужъ значить черезъ край хватили! За это можно и улетѣть далеко, за такія слова...

— Такъ точно-съ... Я все по правдѣ докладываю.

— Но все-таки чѣмъ же они кончили? На случай усиленія сего слуха, что порѣшили дѣлать.

— А когда слухъ усилится, — отвѣчалъ Обермиллеръ, — то многіе изъ нихъ хотятъ челобитье подавать государынѣ, чтобы она свою царскую особу не унижала бракомъ съ простымъ дворяниномъ.

— Ну, вотъ умникъ ты, Карлъ Карловичъ! Такъ и продолжай! Ходи и по величайшему секрету сказывай! И помни главное, что, молъ, г. Орловъ упрямуется, грозитъ, а за нимъ его братья да разные пріятели и многіе клеветы. А государыня не знаетъ, какъ ей быть, и рада, коли явится какое со стороны заступленіе, чтобы этому никогда не бывать. Ну, ступай! Спасибо тебѣ! Помни, я въ долгу не останусь! Но только помни опять, Карлъ Карловичъ, другое, т. е. главное: коли пройдетъ слухъ, что мы съ тобой этакія бесѣды ведемъ и что я, Марья Саввишна, тебя пустила съ этимъ слухомъ къ офицерамъ гвардіи, то знай, будетъ тебѣ плохо! Не миновать тебѣ настоящей ссылки въ сибирскіе предѣлы.

— Помилуйте, сударыня, — встрепенулся Обермиллеръ, — я все-таки не дуракъ, понимаю, что дѣло щекотливое. У меня не разъ спрашивали, откуда я таковое знаю, и я отвѣтствовалъ, что пускай меня въ застѣвкѣ пытаются, а я не скажу, гдѣ прослышалъ. Впрочемъ, долженъ вамъ сказать, что помимо

меня такой слухъ о возмечтаніяхъ г. Орлова ходитъ по Москвѣ. Съ другой стороны прибѣжалъ, а не отъ меня...

— Ну, это можетъ быть! Можетъ, ты не одинъ узналъ объ этомъ!—усмѣхнулась Перекусихина, не то лукаво, не то насмѣшливо.

Нѣмецъ-офицеръ вышелъ, а Марья Саввишна, оставшись одна, задумалась.

Перекусихина была наперсницей, самымъ близкимъ довереннымъ лицомъ и первой любимицей императрицы. Но этого мало... Все, что было у вновь воцарившейся государыни тайной для самыхъ близкихъ ей лицъ—не было тайной для Марьи Саввишны.

Зато и Перекусихина, когда-то случайно и невѣдомо откуда и какъ попавшая во дворецъ, съ своей стороны обожала, боготворила не великую княгиню Екатерину Алексѣевну и затѣмъ монархиню Екатерину II, а женщину-красавицу...

Оффициально она носила званіе: камеръ-юнгферы или камеръ-фрау или наконецъ «дѣвицы» при особѣ ея величества, титулъ особый, ставившій выше дворцовой прислуги.

XXIX.

Съ грустью, почти со слезами на глазахъ офицеръ по званію, но еще недоросль характеромъ, уступилъ своему дядькѣ и общался забыть и думать о красавицѣ пономарихѣ.— «Обидно», смерть обидно,—думалось Сашку. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ общался познакомиться чрезъ Павла Максимовича Квоцинскаго съ семьей его брата и съ дѣвицей, которая неожиданно и удивительно ради него помираетъ отъ любви, укусь пьетъ и собирается въ монастырь.

— Удивительно! Бываютъ же эдакія неожиданности на свѣтѣ,—думалъ Сашокъ. И спасибо еще, что она не худорожа, утѣшался онъ, вполне считая себя обязаннымъ смилостивиться надъ «помирающей».

Можетъ быть, однако, онъ прособирился бы еще долго ѣхать знакомиться съ семьей Квоцинскаго, а Кузьмичъ тоже пересталъ бы науськивать, зная, что пономариха уже теперь не опасна—но случилось вдругъ нѣчто все ускорившее.

Среди дня, когда Сашокъ вернулся отъ Трубецкаго и сѣлъ, какъ всегда, у окошко глазѣть на пустой переулочъ, Кузьмичъ отпросился со двора.

— Къ Квоцинскимъ? — сказала молодой человекъ, ухмыляясь.

— Ну, да... Что же? — отозвался дядька. Скажу Марфѣ Омининишнѣ, что ты будешь въ скорости у нихъ. Обрадую всѣхъ, а пуще всего бѣдную барышню... Перестанетъ хотѣть помирать.

— Ступай. Ничего. Что-жъ! Я и впрямь соберуся къ нимъ, — заявилъ Сашокъ уныло. А то, повѣришь-ли, до чего стала меня тоска разбирать. Не токмо жениться, Кузьмичъ, а хотѣть удавиться готовъ.

— Тьфу! Типунъ тебѣ на языкъ! — воскликнулъ старикъ. Нешто бракосочетаться то же, что удавиться.

— Нѣтъ. А я такъ къ слову сказываю. Должно, и въ самомъ дѣлѣ пора жениться. А то ужъ очень тошно. Не знаешь, куда себя подѣвать.

Кузьмичъ ушелъ со двора, а Сашокъ остался у окна и, глядя на улицу, гдѣ лишь изрѣдка появлялись прохожіе мѣщане, а проѣзжало за день много два или три экипажа, — началъ подремывать.

Сашокъ не зналъ, долго-ли продремалъ онъ, но вдругъ, среди этой дремоты, онъ услышалъ чей-то голосъ и, открывъ глаза, увидѣлъ подъ самымъ окномъ своимъ какую-то странную фигуру.

Это была женщина, просто одѣтая, повязанная платкомъ, но въ ней, въ ея лицѣ было что-то удивившее Сашку. Быстро сообразивъ, въ чемъ дѣло, онъ объяснилъ себѣ:

— Ужъ очень не похожа на всѣхъ. Чернавка!

Женщина, стоявшая подъ окномъ, была молода, очень смугла, съ великолѣпными черными глазами и съ темной верхней губой. «Совсѣмъ будто усы!» — ахнулъ мысленно Сашокъ.

Женщина уже два или три раза повторяла все тотъ же вопросъ, прежде чѣмъ Сашокъ, очнувшійся, а затѣмъ удивленный, собрался отвѣтить.

— Здѣсь-ли живетъ князь Козельскій? — спрашивала она.

— Да. Да. Да... — спохватился, наконецъ, молодой малый. — Я князь Козельскій.

— Ну, я такъ и полагала. Позвольте мнѣ къ вамъ войти. У меня до васъ есть важное дѣло.

Сашокъ смутился отъ неожиданности и робко выговорилъ:

— Пожалуйте.

И, выйдя, онъ самъ отворилъ дверь крыльца.

Незнакомка вошла въ домъ и сняла платокъ съ головы. Молодой человекъ смотрѣлъ на нее во всѣ глаза и дивился.

Это была красавица въ полномъ смыслѣ слова и конечно не русская.

— Должно, цыганка,—подумалъ онъ.

Черные, какъ смоль, волосы, вьющіеся, будто взлохмаченные, казались цѣлой шапкой на головѣ, черныя тонкія брови и длинныя рѣсницы отбѣняли большіе прелестные глаза. Но, несмотря на красоту, незнакомка произвела странное, скорѣе непріятное впечатлѣніе на молодого малаго. Она улыбалась, а въ ея улыбкѣ, съ этой темной губой, было что-то ни доброе, ни веселое.

«Эдакую не полюбипь. Не прельстишься! Ночью въ лѣсу побоишься остаться!» смутно возникло въ головѣ его.

Дѣйствительно, въ лицѣ, взглядѣ и улыбкѣ смуглой красавицы было что-то отталкивающее, подозрительное, злобщее.

Когда она сѣла и заговорила, первое впечатлѣніе немного сгладилось, и женщина казалась уже пріятной. Вѣроятно, оттого, что голосъ ея былъ пріятенъ, какъ-то звученъ и мягокъ, какъ-то пѣвучъ и вкрадчивъ. Бархатный голосъ...

Съ первыхъ словъ «цыганки» Сашокъ сталъ все болѣе удивляться. Незнакомка заявила, что пришла узнать отъ него, скоро-ли прійдетъ въ Москву его пріятель, князь Багрѣвъ, преображенецъ.

Сашокъ заявилъ, что у него такого пріятеля никогда не бывало и онъ даже такой фамиліи въ Петербургѣ и въ гвардіи никогда не слыхалъ.

«Цыганка» удивилась и продолжала говорить и говорить. Но со страннымъ акцентомъ и перевирая русскія слова. И она уже не поясняла ничего, а выпрашивала Сашка кой-что касающееся до него лично.

— Какъ не знаете? Да, когда же вы пріѣхали въ Москву? Что думаете дѣлать? Не поѣдете-ли опять скоро въ Петербургъ?

Сашокъ отвѣчалъ на рядъ разспросовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ удивлялся, сообразивъ, что незнакомка, пришедшая по своему дѣлу, выпрашиваетъ его совсѣмъ о другомъ. При этомъ она зорко, пытливо глядѣла на него, не спуская глазъ, будто хотѣла хорошенько разсмотрѣть его, узнать его.

— Ну извините, я ошиблась,—сказала она, наконецъ, и поднялась.

Сашокъ былъ даже доволенъ, что она собралась уходить. Эта красивая женщина своими глазами смущала его... Но не такъ, какъ пономариха или иная какая женщина. Она пронизывала его своими глазами, и если жгла, то неприятно жгла.

— Позвольте спросить?—рѣшился Сашокъ на вопросъ, который его уже давно занималъ.—Съ кѣмъ же я имѣю честь разговаривать.

— Я не русская.

— Да. Это видать...

— Прощайте. Извините.

— А позвольте узнать ваше имя...

— Акулина Ивановна... Прощайте...

Сашокъ удивился, хотѣлъ сказать, что желаетъ знать не имя, а фамилію, и узнать, кто собственно гостя, но незнакомка, накинувъ снова платокъ на голову и снова скрестивъ его на лицѣ такъ, что видны были одни глаза и носъ, двинулась въ переднюю. «Ну, что жъ! И не надо! Богъ съ ней», подумалъ онъ. Но въ ту минуту, когда таинственная гостя сошла съ подъѣзда, передъ ней очутился, какъ изъ земли выросъ, Кузьмичъ.

— Батюшки свѣты!—заоралъ старикъ на всю улицу, какъ если бы увидалъ самого чорта.

Незнакомка невольно остановилась и удивленно смѣрила старика съ головы до пятъ.

— Откуда? Зачѣмъ? Что такое... Чего вамъ? — закидалъ вопросами старикъ, но она, принимая его за прохожаго, да еще, вѣроятно, не совсѣмъ въ своемъ умѣ, двинулась и, молча пройдя мимо него, стала удаляться.

— Стой! Стой! Что такое!!—оралъ Кузьмичъ, совсѣмъ потерявшись.

Это было уже что-то сверхъ-естественное. Эта уже не чета пономарихѣ. Прямо навожденіе дьявольское.

— Кузьмичъ. Кузьмичъ. Иди...—раздался голосъ Сашка.—Иди. Я тебѣ все поясню.

И когда пораженный дядька былъ уже въ комнатахъ, Сашокъ передалъ ему все подробно.

— Не лжешь? — тревожно, пугливо, взволнованно произнесъ растерявшійся старикъ.

— Создатель мой. Да ты скоро ума рѣшишься со своимъ безвѣріемъ. Говорятъ тебѣ, шальная какая-то, или о двухъ головахъ дѣвка. Да еще цыганка.

— Не шведка? Не та... Не Самля?

— Вона! Альма въ Самли попала!

Сашокъ покотился со смѣху. И смѣхъ молодого малаго, веселый, раскатистый и искренный, успокоилъ старика больше словъ и объясненія.

Однако, долго еще разспрашивалъ онъ питомца и въ себя не могъ прийти отъ удивленія: Кто это гостья, и зачѣмъ она была?

Объясненіе Сашка показалось старику ребячески наивнымъ.

— Дите! Дите. Вотъ дите-то... Всему вѣру даетъ!—воскликнулъ Кузьмичъ.—А я тебѣ, глупая твоя голова, сказываю, что это не спроста. Не спроста!

— Что же тогда? Кто жъ она по-твоему?

— Либо цыганка и украсть что хотѣла да не пришлось. Либо... Либо вотъ съ тѣми же пакостными мыслями, что и пономариха. Къ тебѣ поддѣхать, чтобы тебя загубить и осрамить.

Несмотря на увѣреніе Сашка, что дядька ошибается, Кузьмичъ стоялъ на своемъ.

— Не спроста!

Наконецъ, и молодой человѣкъ согласился съ дядькой, что «цыганка» являлась не спроста и что зовуть ее, конечно, не простымъ русскимъ именемъ Акулины.

— Старикъ, между тѣмъ, сильно смущенный происшедшимъ, рѣшалъ мысленно и безповоротно скорѣе снарядить питомца знакомиться съ Квощинскими. И скорѣе въ храмъ Божій! Внѣчаться! Скорѣе. Вонъ какія времена пришли. Коли самъ отрокъ богобоязненный и скромница, то его разныя бабы, русскія, шведскія и цыганскія, силкомъ загубятъ.

И старикъ заявилъ вдругъ, рѣшаясь на ложь.

— Тебя завтра Павелъ Максимовичъ ждаты будетъ, чтобы вести въ домъ, познакомить со всѣми.

— Что ты?—испугался Сашокъ.

— Да. Я ему докладывалъ. Будетъ ждаты.

Молодой человѣкъ подумалъ, вздохнулъ и отозвался.

— Ну, что же? Хорошо. Знакомиться, такъ знакомиться. Все-таки скажу. Татьяна Петровна — эта, пригожая. Она мнѣ по душѣ. Не то, что вотъ этотъ чумазый чортъ, что приходилъ. Красивая, слова нѣтъ, а прямо чортъ. Я бы на эдакой жениться побоялся.

— Еще бы!.. Эдакая ночью зубами горло перегрызаетъ, — отвѣтилъ Кузьмичъ убѣжденно.

XXX.

А пока дядька и питомецъ объяснялись, недоумѣвали и удивлялись, что за странная гостья была у нихъ, смуглая красавица, зайдя за уголь первой улицы, подошла къ поджидавшему ей молодцу, такому же черному, какъ она сама, и съ виду тоже смахивающему на цыгана.

— Ну?—выговорилъ онъ, пристально глянувъ и блеснувъ красивыми глазами.

— Глупый совсѣмъ,—отозвалась она.

— Ну, а какъ будетъ на глаза стараго.

— На глаза моего прихотника, пожалуй, что совсѣмъ прелесть. Онъ эдакихъ любитъ. Глупый, добрый, ласковый... Такъ щенокъ толсторылый. Кудрявая болонка... Для забавы, конечно, онъ ему годится. И поболье другого какого!—угрюмо проговорила красавица.

— Какъ же тогда?

— То-то какъ же!..—задумчиво отозвалась она.—Не знаю. Твое дѣло.

— Да. Мое. Ну, что же! Не сробѣю. Да и не промахнусь. Только, говорю тебѣ, знаю вѣрно. Онъ по вечерамъ ни ногой никуда. Да и опять всегда верхомъ. Пѣшкомъ никогда. Ну, знаешь, верхового на конѣ, полыснуть ножемъ не такъ-то повадливо. Высоконько. Пырнуть-то пырнешь, но толку никакого, только шкуру ему попортишь. Надо будетъ это дѣло на всѣ лады обмыслить. Ты все-таки не тужи. Такъ ли, сякъ ли, а я беруся, коли ты говоришь, что онъ тебѣ помѣхой станетъ.

— Покуда онъ живъ! — звонко и рѣзко воскликнула красавица,—я ни за что отвѣчать не могу. Нынче такъ, а завтра эдакъ. Нынче благополучіе совсѣмъ, а завтра и Богъ вѣсть, что случиться можетъ.

— Ну стало и толковать нечего! Начну мои подходы. Говорю тебѣ... Нельзя эдакъ, я наймуся къ нему въ услуги, за конюха... Нельзя будетъ его одного, то и дядьку прихвачу... Что же? Кровь-то лить, что изъ одного, что изъ-за дюжины все равно одинъ отвѣтъ. И передъ людьми, и предъ Богомъ. Твоя воля. Ты только скажи: нужно. И будетъ!

— Вѣстимо нужно. Я же видѣла. Знаю теперь. Думала худое для себя увижу... Ну, эдакого все же таки не ждала. Щенокъ! А для него, прихотника, стало ангельчикъ! Ну и выходитъ рада-не-рада, а нужно.

— Ну и будетъ!! — шепнулъ молодецъ спокойно, но твердо.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.



Былъ ясный сентябрьскій день. Первопрестольная шумѣла и ликовала еще сильнѣе... Близился давно ожидаемый день торжественнаго вшествія императрицы. Отъ городской заставы у Тверскихъ воротъ до вотчины графа Разумовскаго было еще болѣе людно и оживленно, чѣмъ въ старыхъ улицахъ Москвы. Кареты и телѣжки, всадники и пѣшеходы вереницами наполняли Ямскую слободу и поле между городомъ и селомъ Петровскимъ.

У самаго дома графа-гетмана была куча экипажей. Былъ большой пріемъ, и апартаменты переполнились людомъ, саванниками и простыми дворянами-москвичами, явившимися представиться. Въ комнатѣ, ближайшей къ кабинету государыни, было около пяти-шести лицъ, ожидавшихъ очереди войти, послѣ чего императрица должна была выйти къ остальнымъ. По докладу генеральскаго-адъютанта Орлова, одинъ изъ первыхъ былъ принять воспитатель цесаревича—Панинъ. Войдя, онъ съ низкимъ поклономъ подаль цѣлую тетрадь.

— Ваше Величество. Вотъ проектъ, который вы изволили указать написать. Постарался по мѣрѣ силъ и разумѣнія. Могу только добавить на словахъ, что оное дѣло не терпитъ отлагательства, потому что...

— Постараюсь, Никита Ивановичъ, рѣшить скорѣе, — любезно, но сухо отозвалась государыня и наклонила голову, отпуская... Она положила тетрадь на столъ, а Панинъ, нахмурился, вышелъ. Вслѣдъ за нимъ вошелъ фельдмаршалъ Разумовскій. Лицо императрицы сразу прояснилось.

— Рада васъ видѣть, Алексѣй Григорьевичъ. Вы вѣдь безъ дѣла, безъ просьбы и безъ злобы!

— Простите, ваше величество... Никакого дѣла. Только желалъ имѣть счастье...—началъ графъ.

— Ну вотъ. И слава Богу. Рада вамъ, потому что вы явились ко мнѣ для меня, а не для себя. Ну что скажете, дорогой мой.

— Да что же, милостивица. Скажу, Москва ждетъ не дождется увидѣть царицу въ богоспасаемомъ Кремлѣ.

— Ахъ, Алексѣй Григорьевичъ, я и сама жду не дождусь священнаго коронаванія себя. Дни кажутъ мнѣ длинны, что года. Право, мнится, что я всю жизнь не забуду эти дни, проведенные здѣсь, въ Петровскомъ. Тяжелые дни. Заколдованные они, что-ли?

— Простите, ваше величество. Не уразумѣю. Чѣмъ заколдованы.

— Скажите лучше, батюшка Алексѣй Григорьевичъ: кѣмъ.

— Кѣмъ?!

— Да. Кѣмъ, спросите. А я отвѣчу: всѣми. Да, всѣми! Да вотъ это одно чего стоитъ!

И государыня показала на тетрадь, положенную на столѣ.

— Что жъ такое, ваше величество.

— Это? Это насмѣшка. Это продерзость. Это — лежачаго бить, какъ говорить пословица.—Это умничанье умнаго, у котораго умъ за разумъ зашелъ. Вотъ что, дорогой Алексѣй Григорьевичъ. Я это прочту, а завтра вамъ пришлю. Вы прочтите, и мы побесѣдуемъ. Сочинитель сего мудрствованія меня такъ ужъ горячо просилъ никому онаго не показывать, что я твердо рѣшила дать оное на обсужденіе вамъ, графу-гетману, графу Воронцову, какъ канцлеру, князю Шаховскому, графу Бестужеву, старшему сенатору Неплюеву, генераль-фельдцейхмейстеру Вильбуа и еще двумъ близкимъ мнѣ персонамъ. Завтра будутъ сняты копіи и я вамъ пришлю тоже. Такія дѣла не вернутся однимъ умомъ, а многими умами.

II.

Дядька молодого князя Козельскаго былъ смущень...

— Господи, Батюшка, Царь Небесный! Да, что же это за времена настали?!—восклицалъ, раздумывая, Кузьмичъ.—Прежде мужчина былъ вотъ, скажу на прикладъ, волкомъ, а баба, дѣвка—овцой. А нынѣ времена пошли, что молодой дворянинъ, совсѣмъ дите еще, что овца. А на него со всѣхъ сторонъ лѣзутъ волки-бабы. И вотъ на моего Сашунчика, почитай, просто какая-то бабья облава. Помилуй Богъ! Скорѣе надо, скорѣючи!

Разсужденіе и страхъ дядьки основывался на томъ, что за послѣднее время онъ и видѣлъ и воображалъ, какой опасности подвергается его питомецъ. Только что онъ уберегъ питомца отъ духовной ракаліи-пономарихи, какъ вдругъ явилась какая-то цыганка. И эта уже въ домъ влѣзла безъ зазрѣнія совѣсти.

Затѣмъ къ кухаркѣ приходила въ гости племянница и, увидавъ князя мелькомъ, начала такъ имъ восторгаться, такъ расхваливать его красоту, что Кузьмичъ тотчасъ выгналъ ее и запретилъ пускать въ домъ. Кухарка и племянница, желавшія главнымъ образомъ угодить Ивану Кузьмичу своими похвалами, диву дались и только руками разводили, говоря:

— Вотъ тебѣ и угодили. Чудень старый! Что же ругать, что ли, надо князя, чтобы онъ радъ былъ.

Наконецъ, самъ Сашокъ проговорился дядькѣ, что сестра княгини Трубецкой, къ которой онъ посланъ былъ за табакомъ, будучи дома на этотъ разъ одна, странно глядѣла на него и, чтобы передать ему табакъ, повела его въ свою спальню. И тамъ, смѣясь, дала тавлинку для князя... Больше ничего не случилось! Но Кузьмичъ обмеръ при мысли, что «вольная вдова» заманила его питомца въ свою спальню. И, конечно, прямо ради соблазна, а то зачѣмъ же?..

— Безстыдница!—восклицалъ старикъ безъ конца.

И кончилось тѣмъ, что Кузьмичъ повторялъ мысленно отъ зари до зари.

«Скорѣе! Скорѣючи!»

Дѣло шло объ томъ, чтобы скорѣе спровадить питомца знакомиться къ Квоцинскимъ.

Разумѣется, самъ Сашокъ нѣсколько смущался этимъ шагомъ, который казался ему рѣшительнымъ, и можетъ быть сталь бы откладывать. Появленіе цыганки въ квартирѣ, а вслѣдъ затѣмъ приключеніе у Маловой, «заманившей» его въ спальню, рѣшило дѣло сразу.

Кузьмичъ побывалъ уже два раза у Квоцинскихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ зашелъ на поклонъ и къ Павлу Максимовичу во флигель. Заявивъ въ краткой бесѣдѣ о томъ, что на дворѣ очень жарко, а вода въ Москвѣ просто кипяткокъ, а барину Павлу Максимовичу на видъ можно тридцать годовъ дать по его молодцоватости, старикъ очень понравился холостяку.

Вмѣстѣ съ тѣмъ дядька заявилъ оффиціально, что его питомецъ просить разрѣшенія имѣть честь явиться къ Квоцинскому не просто въ гости, а съ тѣмъ, чтобы Павелъ Максимовичъ представилъ его своему братцу и всей фамилии.

Разумѣется, Квоцинскій ожидалъ этой просьбы, когда увидалъ у себя старика-дядьку. Къ тому же и Марѳа Ѳомииншна давно предупредила его объ посѣщеніи Кузьмича.

Наконецъ, чрезъ три дня послѣ загадочнаго появленія въ квартирѣ какой-то цыганки, Сашокъ въ парадной формѣ появился во флигель на дворѣ дома Квоцинскихъ, а затѣмъ вмѣстѣ съ нимъ отправился и въ домъ.

Молодого человѣка приняли въ гостиной Петръ Максимовичъ, Анна Ивановна и Таня.

Самъ Квоцинскій былъ нѣсколько удивленъ появленіемъ молодого князя. И довольно искусно удивленъ. Анна Ивановна сплеховала, такъ какъ не привыкла совсѣмъ лицедѣйствовать. Она разспрашивала гостя, какъ его имя и отчество, гдѣ онъ квартируетъ, живетъ ли уже съ рожденія въ Москвѣ? Она удивилась, что онъ пріѣхалъ изъ Петербурга не такъ давно, удивилась, что онъ сирота, а затѣмъ разговорившись объ чемъ-то, вдругъ бухнула.

— А ужъ вашъ Кузьмичъ чистое золото.

Петръ Максимовичъ, сидѣвшій рядомъ съ женой, толкнулъ ее ногой. Анна Ивановна спохватилась... Но Сашокъ, положительно, ничего не замѣтилъ. Онъ счелъ всѣ разспросы женщины необходимыми по правиламъ «людскости», а заявленіе о Кузьмичѣ совершенно естественнымъ.

Таня сидѣла, не проронивъ ни словечка, опустя глаза и горя, какъ на угольяхъ. Она то бѣлѣла, то краснѣла, то опять бѣлѣла. Раза два-три ей удалось искоса и вскользь взглянуть

на Сашка, и послѣ второго раза она уже была до смерти влюблена.

И глаза его, и золото кафтана, и тихій голосъ, и сабля, и «сіятельство»—все отуманило ее... И прежде при свиданіи въ церкви, князь показался ей красавцемъ, затѣмъ отъ расписываній Фоминишны голова начала кружиться, а теперь при знакомствѣ она, конечно, совсѣмъ разумъ потеряла. Но самъ князь, почтительно отвѣчавшій на разспросы Квоцинскихъ, не зналъ, какова Таня вблизи, такъ какъ ни разу не рѣшился взглянуть на нее.

Посѣщеніе это, несмотря на простую бесѣду объ разныхъ мелочахъ, имѣло все-таки особое значеніе, было отчасти какое-то торжественное.

Когда молодой князь поднялся и сталъ раскланиваться, Квоцинскіе, за исключеніемъ молодой дѣвушки, проводили гостя чрезъ небольшую залу до дверей передней и въ третій разъ попросили «Не оставить. Бывать попросту».

Проходя по залѣ, Сашокъ увидѣлъ въ дверяхъ, открытых въ корридоръ, три какія-то торчація фигуры, и въ одной изъ нихъ узналъ нянюшку молодой Квоцинской. Фигуры тянулись впередъ, какъ бы стараясь, чтобы головы были поближе къ залѣ, а туловища подальше.

Въ передней, гдѣ онъ надѣвалъ свой офицерскій плащъ, помимо трехъ лакеевъ, въ такихъ же дверяхъ въ корридоръ торчало уже нѣсколько человѣкъ. Видны были только два туловища, полуукрытыя косяками, но надъ ними торчали болѣе поддюжины головъ... На каждахъ плечахъ было по три головы. На плечѣ одной толстой старухи висѣла огромная рыжая борода...

Съ крыльца, садясь на лошадь, Сашокъ увидѣлъ, что изъ-за угла дома выглядывало еще человѣкъ пять бородатыхъ холоповъ, кучера, фореиторы, дворники, скороходы, самоварники...

Онъ понялъ, что вся дворянн Квоцинскихъ выползла поглазѣть на него, какъ бы на жениха. По всѣмъ лицамъ, по открытымъ не въ мѣру глазамъ и ртамъ, видно было, что гость-князь—происшествіе.

Дѣйствительно, когда Сашокъ съѣхалъ со двора, въ домѣ пошелъ вьюнъ вьюномъ. Всѣ забѣгали, швыряясь, весело охая и повѣтствуя о своемъ впечатлѣніи... Таня въ корридорѣ по-

висла на шеѣ своей Ѳоминишны и, обхвативъ, цѣловала ее и душила.

— Задавила! Дай вздохнуть... Задав...—отчаянно хрипѣла няня.

III.

Сашокъ былъ доволенъ своимъ визитомъ, но не доволенъ тѣмъ, что почти не видалъ молодой дѣвушки, не смѣя глядѣть на нее. Только прощаясь, онъ глянулъ на нее вскользь и не остался доволенъ.

Теперь, ѣдучи шагомъ по улицѣ, онъ соображалъ вслухъ.

— Въ церкви она мнѣ лучше показалась. Она эдакая бѣлобрысенъкая... Да и маловата. Да и сухопара... Куда ей до Катерины Ивановны... Вотъ красавица! Что небо отъ земли... И какъ это вотъ бываетъ на свѣтѣ спугано. Что бы вотъ Катеринѣ Ивановнѣ быть дѣвицей Квощинской. А этой Танѣ—быть пономарихой!

И Сашокъ вздохнулъ. Затѣмъ онъ вспомнилъ слова покойной тетки: «Ничего нѣтъ на свѣтѣ превосходнаго, а все съ изъяномъ. А произошло оное отъ грѣхопаденія человѣческаго!»

Впрочемъ, Сашокъ, знавшій это изреченіе тетушки наизусть, никогда не могъ одолѣть и усвоить себѣ ясно, что значить «грѣхопаденіе?» Тетушка Осоргина объясняла ему не разъ, что первые человѣки на свѣтѣ, Адамъ и Ева, упали во грѣхъ, т. е. согрѣшили. Но какъ онъ еще отрокомъ ни добивался, въ чемъ согрѣшили эти самые «человѣки», старая дѣвица не могла объяснить, а только—по мнѣнію Сашка—разводила турусы на колесахъ.

Однако, молодой человѣкъ былъ все-таки доволенъ своимъ визитомъ, хотя бы и потому, что его впервые въ жизни приняли съ почетомъ.

«Кабы видѣли товарищи и командиръ, которые звали меня пуганой канарейкой и княжной Александрой Никитичной!»—думалъ онъ съ самодовольствомъ.

Выѣхавъ на Арбатскую площадь, молодой человѣкъ сталъ соображать, что ему дѣлать. Заѣхать домой переодѣться изъ парадной въ обыкновенную форму, или ѣхать къ начальнику, какъ онъ есть. Подумавъ, онъ рѣшилъ, что надо спѣшить, а то, пожалуй, княгиня окажется въ залѣ и начнетъ браниться за опозданіе.

Через четверть часа, онъ уже сдаль лошадь во дворѣ князя Трубецкого и вошелъ въ домъ...

На этотъ разъ Сашокъ вступилъ въ залу какъ-то степеннѣе и важнѣе, такъ какъ былъ еще подъ впечатлѣніемъ почта, съ которымъ его принимали Квоцинскіе.

Но едва молодой человекъ сѣлъ на стулъ въ углу зала, въ ожиданіи, что его позоветъ къ себѣ князь, какъ услышалъ въ парадныхъ комнатахъ какую-то страшную возню и голоса людей... Но всѣхъ и все покрывало командованіе самой княгини.

— Олухи! Черти окаянныя! Вѣдмеди! Михайлы Иванычи косолапые!.. Авдюшка, не зѣвай!.. Сафронъ, не налягай, какъ бытъ!.. Васька, подсобляй, соплякъ!.. Миколай, пузо-то уברי свое!.. Продавишь, лѣшій!..

Возня и голоса приближались къ залѣ постепенно. Послышалось шуршанье ногъ, робкіе голоса въ перебивку и зычный голосъ княгини:

— Какой разъ тебѣ я сказываю, чтобы ты пузо убралъ. Продавишь—въ степную вотчину, на скотный дворъ! Говорила вамъ: зови еще двухъ хамовъ.

И въ дверяхъ, наконецъ, появилась кучка дворовыхъ, которые, медленно и осторожно, тащили огромное фортепяно. Въ дверяхъ снова явилась задержка. Тяжелый, массивный, широкихъ размѣровъ инструментъ не пролѣзалъ вмѣстѣ съ людьми. Пришлось снова взяться лишь за два конца. При этомъ середина какъ то скрипнула.

— Треснетъ коли же... Всѣ въ солдаты улетите!—ахнула княгиня.—Вамъ, лѣшимъ, дѣла нѣтъ, что клавикордамъ тыща рублей цѣна. Прямые вѣдмеди, олухи, черти!..

И вдругъ, завидя офицера черезъ фортепяно и головы людей, княгиня крикнула.

— Эй, воробей! Иди-ко-сь, подсоби.

Сашокъ, вставшій со стула, шелохнулся отъ изумленія, но не двинулся, полагая, что онъ ослышался.

— Ну, что же? Не слышишь? Говорятъ тебѣ, подсоби. Видишь, тяжело...

Сашокъ, съ киверомъ въ рукахъ, приблизился и, смутясь отъ неожиданнаго приказанія, совсѣмъ «неподходящаго», не зналъ, что и отвѣтить.

— Оглохъ ты!—крикнула княгиня, уже обойдя фортепяно и наступая на него.—Клавикордамъ, слышь, цѣны нѣту, а они, мужичье... Берись сзади и правь...

— Княгиня, я—въ званіи офицера...—началь Сашокъ.

— Что? Что?!

— Какъ офицеръ, я не могу... Да и во всемъ парадѣ, при всей амуниціи...

— Ахъ ты, мамуниціа!.. Да я тебя... Слышишь, берись!

И, вида, что Сашокъ стоитъ истуканомъ, княгиня выхватила у него киверъ, а другой рукой ухватила за обшлага мундира и пихнула его къ фортепянамъ.

Сашокъ ткнулся на лакея отъ толчка и, потерявшись окончательно отъ оскорбительнаго приказанія, взялся руками за бокъ фортепяно. Онъ покраснѣлъ и тяжело дышалъ отъ обиды.

— Не примѣривай, а неси!—вскрикнула княгиня, пуще сердца.

— Я несу-сь...—ворчнулъ Сашокъ.

— Врешь! Примѣрствуешь... Вижу, вѣдь.. Меня не надуешь... Тащи, какъ слѣдъ, не то—вотъ, ей-Богу... Хоть ты и офицеръ... А вотъ, ей-Богу...

И женщина, подойдя близко къ нагнувшемуся Сашку, какъ-то помахивала руками.

«Ну, ударить?»—мелькнуло въ головѣ молодого малаго.— «При людяхъ!»

И онъ, пригибаясь, схватился за фортепяно изо всѣхъ силъ. Въ то же мгновеніе раздался какой-то странный звукъ. Люди единодушно стали, опустили фортепяно на полъ, и переглядывались. Княгиня тоже слышала странный звукъ, и тревожно оглядывала инструментъ.

— Ну, вотъ-сь!...—выговорилъ Сашокъ, выпрямляясь.— Покорнѣйше васъ благодарю. Какъ я теперь домой поѣду? У офицера подъ фалдами, отъ натуги, лопнули узкія парадныя панталоны.

Княгиня обошла его, оглядѣла и выговорила сумрачно:

— Толстъ не въ мѣру. Вотъ на тебѣ одежда и трескается. Ну, уходи. Не глядѣть же мнѣ, дамѣ, на эдакое.

Сашокъ вышелъ озлобленный изъ дому. Верхомъ ѣхать было нельзя, такъ какъ бѣлье виднѣлось между красныхъ отворотовъ фалдъ мундира. Онъ доѣхалъ домой на извозикѣ и послалъ Тита за своей лошадей, оставленной у Трубецкого.

И молодой князь, и Кузьмичъ были одинаково возмущены приключеніемъ, и цѣлый день говорили только о княгинѣ Се-рафимѣ Григорьевнѣ.

Сашокъ повторялъ, что онъ дворянинъ и офицеръ, и хотя клавикорды—не шкафъ и не сундукъ, а предметъ болѣе важный, но все-таки заставлятъ его эдакое дѣло дѣлать—прямо самовластіе, и притомъ самовластіе дурашной бабы.

Кузьмичъ соглашался насчетъ этой стороны вопроса, но главное для него было въ другомъ. Панталоны были дорогія—изъ аглицкой сермяги. А они лопнули не по шву, а по правой половинкѣ. Кузьмичъ то и дѣло разглядывалъ большую проруху, трогалъ пальцами, приставлялъ края, охалъ и головой качалъ.

Въ вечеру дядька былъ пораженъ заявленіемъ питомца.

— Знаешь ты, что такое дворянинъ и что такое офицеръ гвардіи?—спросилъ Сашокъ Кузьмича почти печальнымъ голосомъ.

— Ты это насчетъ чего же?—отозвался старикъ.

— А вотъ отвѣтствуй на мои слова.

— Нѣтъ, ты, князинька, не мудри и меня не спибай на сторону. Я и такъ изъ-за твоихъ панталошекъ мысли растерялъ. Вѣдь, они по пяти рублей аршинъ плачены, и опять портняга-подлецъ три рубля за шитво взялъ...

— А я тебѣ скажу... Я—князь Козельскій, и старинный дворянинъ, и офицеръ измайловскій. Стало быть, какъ же мнѣ съ хамами клавикорды таскать? Это—есть унизительское для меня приказаніе бабы, которая сама не знаетъ, что можно офицеру и чего никакъ нельзя. Что-жъ послѣ этого ожидать? Вѣдь, она меня не нынче—завтра заставитьъ полы мыть.

— Кто-жъ про это говорить. Княгиня, а дура.

— Именно—дура... Дурафья... Что же дѣлать?

— Какъ, что дѣлать? Не мыть.

— Что?

— Не мыть, говорю.

— Что мыть?—не понялъ Сашокъ.

— А полы, какъ ты сказываешь.

— Я не про то, Кузьмичъ. А я въ отставку подамъ.

— Какъ, въ отставку?!

— А такъ. Скажу князю, что я не могу эдакъ. Я для ординарныхъ послугъ у него, а не за тѣмъ, чтобы въ дворовыхъ состоятъ.

Кузьмичъ ничего не отвѣтилъ, но сильно испугался рѣшенію питомца. Если въ отставку, то, стало быть, въ Питеръ ступай. А бракосочетаніе?

И, не сказавшись, старикъ ранехонько сбѣгалъ въ Кремль помолиться святымъ угодникамъ, чтобы отвратили они надвинушюся неожиданно бѣду.

И молитва дядьки была услышана—тотчасъ же.

IV.

На утро рано къ маленькому домику, который занималъ офицеръ, подѣхала карета. И Сашокъ, и Кузьмичъ удивились, кто можетъ быть этотъ гость. Но затѣмъ, когда они увидали господина, вылѣзающаго при помощи двухъ лакеевъ изъ экипажа, то и старикъ, и молодой человѣкъ ахнули и обрадовались. Кузьмичъ бросился на крыльцо, а Сашокъ вслѣдъ за нимъ.

Пріѣзжій былъ единственный близкій человѣкъ Сашка въ Москвѣ и которому онъ былъ много обязанъ. Это оказался Романовъ. Посѣщеніе молодого человѣка старикомъ было необычно, слѣдовательно, долженъ былъ существовать какой-нибудь важный мотивъ.

Быстро сообразивъ это, Сашокъ нѣсколько смутился. Онъ догадался, что посѣщеніе Романова связано съ тѣмъ казусомъ, который приключился съ нимъ въ домѣ князя Трубецкаго.

«Навѣрно, княгиня пожаловалась!—подумалъ Сашокъ.—Ну что жъ, я все-таки считаю себя правымъ. Невѣжество приключилось отъ натуги. Она скорѣе виновата, а не я».

Сашокъ встрѣтилъ Романова на ступеняхъ съ крыльца. Гость обнялъ молодого человѣка и выговорилъ:

— Я къ тебѣ съ важнымъ дѣломъ, долженъ твоему сіятельству нѣчто объяснить и очень важное посовѣтовать. И впередъ ожидаю, что ты моему совѣту, человѣка добротворствующаго, не откажешься повиноваться.

«Ну, такъ!—подумалъ про себя Сашокъ, — княгиня нажаловалась! Нешто можно за панталоны отвѣтствовать, какъ за самого себя?» Когда гость уже былъ на диванѣ въ гостиной, а Сашокъ усѣлся противъ него, отчасти смущенный, Романовъ началъ было говорить, но остановился и произнесъ:

— А Иванъ Кузьмичъ гдѣ? И его надо сюда! Твоя покойная тетушка всегда призывала его на семейное совѣщаніе, когда дѣло о тебѣ шло, стало быть, и теперь Кузьмичъ долженъ присутствовать.

И Романовъ крикнулъ на всю квартиру:

— Кузьмичъ, куда провалился? Пожалуй сюда!

— Иду-съ!—отозвался Кузьмичъ, который сидѣлъ въ прихожей съ намѣреніемъ прислушаться къ разговору гостя.

Когда старикъ появился на порогѣ, Романовъ обернулся къ Сашку и спросилъ:

— Ну, а какъ же теперь? Сажать его или стоять будетъ? Вѣдь съ тобой-то онъ, поди, сидитъ?

— Сидитъ!—отозвался Сашокъ улыбаясь.

— Ну, а при мнѣ у твоей тетуски онъ частенько сидѣлъ. Ну, стало быть, Кузьмичъ, возьми стульчикъ, поставь и садись!

— Нѣтъ, зачѣмъ? И постою...—отозвался старикъ.

— Садись, говорить!

— Нѣтъ, Романъ Романовичъ, увольте! Инъ бываетъ, можно сѣсть, а инъ бываетъ не слѣдъ.

— Ну, какъ знаешь! Бесѣда недолгая.. А ты выслушай, а затѣмъ намъ свое мнѣніе доложишь. Вотъ съ чѣмъ я къ тебѣ явлюсь, Александръ Никитичъ: Есть у тебя дядюшка?..

Сашокъ удивился и даже глаза выпятилъ.

— Ну, что же, отвѣтствуй! Дядюшка-то вѣдь есть у тебя? И здѣсь въ Москвѣ теперь...

— Сказывали мнѣ, но я...

И ты, зная, что онъ въ Москвѣ, зачѣмъ же къ нему не отправишься съ поклономъ? А ты, Кузьмичъ — человекъ пожилой, какъ же ты своего выходца не снарядилъ и не отправилъ? Вѣдь это неуважительная неблагопристойность.

Наступило молчаніе. Сашокъ не зналъ, что отвѣтить, а Кузьмичъ былъ настолько озадаченъ, что, взятый врасплохъ, думалъ:

«Какъ же въ самомъ дѣлѣ такъ?..»

— Скажи-ка ты мнѣ, Кузьмичъ, какъ, по твоему, хорошо это? Въ городѣ находится единственный близкій родственникъ у молодого барина, и онъ къ нему не отправляется, ему на него наплевать! Развѣ такое непочтеніе позволительно? Чего же онъ ждетъ? Что князь Александръ Алексѣевичъ самъ къ нему съ поклономъ прійдетъ.

— Виноватъ, Романъ Романовичъ! Вижу я теперь, что и я въ такихъ дуракахъ состою, какихъ мало на конюшнѣ розгами наказывать. Прямо сказываю, и въ умѣ у меня не было ничего такого! Узналъ я, что князь Александръ Алексѣевичъ въ Москвѣ, и не подумалъ, что намъ слѣдуетъ сейчасъ дѣлать.

Я только докладывалъ князю, спрашивалъ, какъ намъ быть, а онъ отвѣчалъ «не знаю».

— Дѣйствительно, Романъ Романовичъ, я и вамъ такъ объясню. Мое сужденіе такое, что мнѣ нельзя къ дядюшкѣ ѣхать.

— Какъ нельзя?

— Вѣдь онъ же всю мою жизнь меня видѣть не желалъ, всегда относился ко мнѣ особливо недоброжелательно, какъ точно я чѣмъ провинился передъ нимъ. И вотъ, когда мы узнали съ Кузьмичемъ, что дядюшка въ Москвѣ, мы и рѣшили, что ѣхать мнѣ къ дядюшкѣ не слѣдъ. Онъ можетъ меня не принять, выслать мнѣ сказать что-либо нехорошее, а я—офицеръ.

— Вѣрно-ли? Такъ-ли это?

— Точно такъ!—отозвался Кузьмичъ за своего питомца.— Именно такъ! Да ничего другого и быть не можетъ.

— Ну, такъ вотъ что я тебѣ пріѣхалъ сказать: твоему сятельству одѣваться въ парадный кафтанъ, нацѣплять всю аммуницію парадную и отправляться къ дядюшкѣ. И прикажи доложить, что пріѣхалъ, молъ, князь Александръ Никитичъ Козельскій съ достодолжнымъ почтеніемъ къ своему дядюшкѣ. А если раньше не былъ по долгу своему родственному, то якобы ради болѣзни и лежанія въ постели. Такъ и соври! Дѣлать нечего! Поѣдешь?

— Что же?..

— Да я, право, не знаю, Романъ Романовичъ...

— Ну, слушай! Ты знаешь, что я былъ близкимъ пріятелемъ твоей покойной матушки, знаешь, что я тебя люблю, все, что могъ, для тебя сдѣлалъ. И если ты моего теперешняго совѣта не послушаешься, то нога моя у тебя не будетъ и твоя нога у меня не будетъ! А ты, Кузьмичъ, если не настоишь на томъ, чтобы твой баринъ ѣхалъ къ дядюшкѣ, то докажешь мнѣ этимъ, что ты...

— Дуракъ изъ дураковъ!—добавилъ Кузьмичъ.

— Вѣрно!

— Я вотъ, Романъ Романовичъ, и отвѣтствую: ни я, ни князюшка дураками не будемъ. По совѣту вашему онъ у меня одѣнется и пойдетъ.

— Такъ-ли?—спросилъ Романовъ, глядя на Сашка.

— Если вы совѣтуете, то, конечно, я готовъ. Только... какъ же быть, если дядюшка вышлетъ мнѣ сказать что-нибудь оскорбительное?

— Ладно! Это мы увидимъ! Вотъ что, родной мой...

Романовъ хлопнулъ молодого человѣка по плечу и выговорилъ тише:

— Если Романъ Романовичъ совѣтуетъ что молодцу, котораго любить, то, надо полагать, что онъ знаетъ, что дѣлаетъ. Я, можетъ быть, впередъ знаю, какъ тебя твой дядюшка приметъ... Ну, мнѣ не время, на службу пора!

Расцѣловавшись съ молодымъ человѣкомъ и провожаемый имъ до самаго экипажа, Романовъ сѣлъ въ карету и, уже отъѣзжая, крикнулъ:

— Ну. Не откладывай! Да вотъ что... Отъ дядюшки заѣзжай ко мнѣ рассказать, какъ онъ тебя въ три метлы принял! Понялъ?

— Понялъ!—отозвался Сашокъ.

И пока карета удалялась, онъ стоялъ въ недоумѣніи, нѣсколько разина ротъ, и размышлялъ о послѣднихъ словахъ.

«Какъ же такъ—въ три метлы?.. Зачѣмъ же тогда ѣхать?»

— Чего ты?—раздался за нимъ голосъ Кузьмича.—Нешто не понялъ, что Романъ Романовичъ шутки шутить? Нешто станеть онъ посылать тебя на обиду? А ты лучше скажи, со штанишками-то парадными какъ быть? Штопать скорѣе надо.

V.

У подъѣзда большого дома князя Козельскаго стояла запряженная телѣжка для самого князя. Въ качествѣ важнаго дворянина Козельскій всегда выѣзжалъ въ большой каретѣ съ двумя лакеями на запяткахъ и цугомъ въ шесть коней.

Когда запрягалась и подавалась для выѣзда одиночка, иногда приличная, а иногда и совсѣмъ невозможная съ рваной сбруей на тощей клячѣ, то всѣ въ домѣ знали, что князь ѣдетъ «чудить» по Москвѣ. Впрочемъ, два кучера, выѣзжавшіе съ барининомъ на телѣжкѣ, молчали, какъ убитые, когда ихъ спрашивала дворня о томъ, гдѣ князь былъ и что дѣлалъ. Это былъ строжайшій приказъ барина не болтать. Зато толстый и важный кучеръ Гаврила, выѣзжавшій съ княземъ въ каретѣ съ гербами, получалъ менѣе жалованья и былъ менѣе близкимъ и довѣреннымъ лицомъ князя, чѣмъ кучера, Игнатъ и Семень, выѣзжавшіе съ телѣжкой иногда въ драныхъ кафтаныхъ и шапкахъ. Они были очевидцами «чудесъ» барина и были, поэтому, любимцами.

Князь выѣхалъ на этотъ разъ далеко отъ себя, по близости отъ палатъ фельдмаршала Разумовскаго, на Гороховое поле. Здѣсь, въ глухомъ переулкѣ, онъ вмѣстѣ съ Семеномъ разыскалъ домъ по данному адресу, а въ глубинѣ грязнаго тонкаго двора нашелъ и мужика.

— Гдѣ у васъ тутъ живетъ вдова Леухина, — опросилъ онъ, пока молодецъ и ражый дѣтина Семенъ остался ждать барина на улицѣ. — Во дворѣ можно была утопить коня.

По указанію мужика на лачугу, князь поднялся по темной и грязной лѣстницѣ и очутился въ смрадной комнатѣ. Молодая женщина, худая, болѣзненная на видъ, встрѣтила его, недоумѣвая. Двое дѣтей, оборвышей, дѣвочка и мальчикъ, дико тарачили глазенки на незнакомаго господина.

Оглядѣвшись, князь обратился къ женщинѣ съ вопросомъ:

— Ваша какъ фамилія сударыня моя?

— Леухина.

— А это ваши дѣти?

— Да-съ.

— Вы, сказывали мнѣ люди, въ нуждѣ большой?

— Да-съ... Совсѣмъ плохо приходится, и если...

— Почти ѣсть нечего?..

— Чернымъ хлѣбомъ обходимся, милостивый баринъ. Когда есть. А то и хлѣба нѣтъ. Мнѣ бы самой одной...

— Погодите. Не расписывайте. Отвѣчайте только на вопросы, — перебилъ князь.

— Слушаю-съ.

— Горничная есть у васъ?

— Нѣту-съ... Было и трое холоповъ, да когда...

— Прошу васъ, сударыня, вторично, не болтать, а отвѣчать, кратко и толково на то, что я буду у васъ спрашивать... Стало быть, всякое прислужническое дѣло и себѣ и дѣтямъ вы сами справляете.

— Точно такъ-съ.

— Давно ли вы въ эдакомъ положеніи?

— Вотъ уже скоро годъ... Сначала было...

— Чего бы вы желали?

— Какъ то-ись?

— Я спрашиваю, чего бы вы желали себѣ теперь.

Женщина глядѣла удивленно.

— Неужели, сударыня, нельзя отвѣтить на такой простой вопросъ? Чего бы вы желали себѣ?

— Дѣти совсѣмъ впроголодь, и если можно...
 — Получивъ немного денегъ,—продолжалъ за нее князь,— вы бы прежде всего озаботились ихъ накормить?

— Да-съ.

— Прекрасно. Деньги сейчасъ будутъ... Погодите, помолчите... Бѣлье и платье есть у васъ?.. Или вотъ только то одно, что на васъ теперь?

— Одна перемѣна бѣлья и у дѣтей, и у меня...

— Прекрасно. Квартира сырая...

— Теперь ничего, а зимой—бѣда...

— Ну-съ. Желали бы вы имѣть должность съ жалованьемъ? Или вы лѣнны и предпочитаете бѣдствовать и жить подачками доброхотныхъ дателей?

— Я была бы счастливѣйшій человекъ!—воскликнула Леухина.— Если бы я могла работать и имѣть пропитаніе для дѣтей... Но я дворянка... Я не могу итти въ ключницы... Воля ваша... Стыдно.

— Вѣрно, сударыня. Вѣрно. Но должность и занятіе подходящія—примете?

— Счастлива буду, сударь... Мы уже третій день голодаемъ совсѣмъ.

Мальчикъ смѣло приблизился къ князю, дернулъ его за сюртукъ и, закинувъ назадъ голову, чтобы видѣть его лицо, сказалъ:

— Дяденька. Дай хлѣбца.

— Сейчасъ, сейчасъ будетъ и хлѣбецъ и варенья,—улыбнулся князь.

— Какое варенье,—отозвалась женщина.—И ѣсть нечего. И надѣть нечего.

— Все это сейчасъ будетъ,—сказалъ князь.—Все это не мудрено устроить. Потихонечку, понемножку все наладится. А покуда собирайтесь-ка со мной! Пожитковъ и рухляди у васъ, какъ я вижу, немного, почти ничего нѣтъ!

— Какіе же пожитки?—отозвалась Леухина.—Что и было—продала, а то бы мы совсѣмъ съ голоду померли.

— Такъ самое лучшее, сударыня моя, не берите ничего. Все, что я вижу, лучше оставить тутъ.

Князь высунулся въ окошко и крикнулъ Семену чрезъ дворъ:

— Доѣзжай и приведи извозчика!

Семень вмѣсто того, чтобы двинуться, обернулся и началъ махать рукой. Далеко послышалось громыханіе дрожекъ, и у воротъ показался извозчикъ.

— Ну-съ, пожалуйста! Забирайте ребятшекъ и поѣдемте!

— Куда же-съ?—отчасти робко спросила женщина.

— Это, моя сударынька, не ваше дѣло! Вѣдь не рѣзать же я васъ повезу. Я пріѣхалъ помочь. Коли желаете изъ бѣды выкарабкаться, то и повинуйтесь!

И черезъ минутъ пять князь садился на свои дрожки, а Леухина съ дѣтми и съ узелкомъ садилась на извозчика.

— Въ Тверскую гостиницу? — спросилъ кучеръ, когда князь сѣлъ.

— Вишь, какой умный, самъ догадался!

— Мудреное дѣло. Какъ же не догадаться, — отозвался Семень, — всегда вѣдь такъ же!

И тихой рысью, чтобы не дать извозчику отстать, князь двинулся, и только черезъ часъ былъ на краю Тверской, гдѣ начиналась Ямская слобода, онъ остановился у крыльца большого двухъ-этажнаго постоялаго двора, рядомъ съ ямскимъ дворомъ вольныхъ ямщиковъ, нанимаемыхъ во всѣ ближайшіе къ Москвѣ города. Съ этого двора сѣзжали постоянно на «вольныхъ» въ Тверь, въ Калугу, во Владиміръ, въ Рязань и во всѣ города, которые были не далѣе 200 верстъ разстоянія.

Князь вышелъ первый и спросилъ.

— Гдѣ Спиридонъ Ивановичъ?

Но едва онъ назвалъ это имя, какъ пожилой мужикъ вышелъ къ нему навстрѣчу съ поклономъ.

— Г. Князеву наше почтеніе! Комнаты нужны-съ?

— Вѣрно-съ! — отозвался г. Князевъ, т. е. князь.

— Прикажете тѣ же самыя двѣ, что прошлый разъ брали?

— Отлично, давайте! Хотя можно и одной обойтись. Видите, всего одна барынька съ двумя ребятшками.

И черезъ нѣсколько минутъ Леухина съ дѣтми была уже въ простой, но чистой комнатѣ постоялаго двора, который величался гостиницей.

Черезъ четверть часа новымъ постояльцамъ подали обѣдать.

— Ну, вотъ-съ, и ваше помѣщеніе! Спрашивайте, что вамъ нужно, кушайте на здоровье и помните одно: все, что нынче или завтра къ вамъ доставятъ сюда, все то будетъ ваше собственное. Сегодня вамъ доставятъ бѣлье.

Выйдя и садясь въ дрожки, князь сказалъ провожавшему его хозяину:

— Ну, Спиридонъ Ивановичъ, кормите на убой! Слышите!

— Ужь положитесь на меня, господинъ Князевъ,—отвѣтилъ этотъ. Я—человѣкъ съ совѣстью. И не первый разъ, да и не послѣдній, конечно. Повѣрьте, что всѣхъ несчастныхъ, коихъ вы у меня помѣщаете, я держу на особомъ положеніи. Все лучшее имъ отпускается. Если я самъ, по моему малому изживенію, не могу благодѣтельствовать, то я хоть помогать въ благородномъ дѣлѣ стараюсь.

Князь приказалъ кучеру ѣхать и прибавилъ:

— Въ разбойное мѣсто...

Черезъ нѣсколько минутъ дрожки остановились предъ большимъ зданіемъ Верхняго суда, и князь, войдя по большой лѣстницѣ, очутился въ прихожей, гдѣ, какъ и всегда, сидѣла куча просителей. Князь разыскалъ чиновника и просилъ доложить о себѣ главному начальнику. Черезъ минуту онъ уже входилъ въ его кабинетъ.

— Что прикажете, дорогой мой?—сказалъ Романъ Романовичъ, вставая навстрѣчу.

— А вотъ что, дорогой мой, уже давненько, кажется съ мѣсяць, что ли, толковали мы съ вами объ этомъ самомъ зданіи. Я сказывалъ, что всѣ-то у васъ грабители, душегубы, разбойники, а вы сказывали, что есть у васъ и хорошіе люди. Такъ ли?

— Такъ! Такъ!—разсмѣялся Романовъ.

— Называлъ я вамъ главнаго грабителя, г. Скрябина, а вы даже какъ будто обидѣлись, говоря, что это клевета, и что г. Скрябинъ не такой совѣмъ, а яко бы ваша правая рука. Такъ ли?

— Ну, нѣтъ, князь, правой рукой я его не обзывалъ, а говорилъ, что онъ человѣкъ хорошій, знающій свое дѣло и, ужъ во всякомъ случаѣ, честный. Припоминается мнѣ, что разговоръ нашъ шель о лихоимцахъ. Ну, вотъ я вамъ на это и отвѣтилъ, что другой кто, можетъ быть, у меня тутъ и прихрамываетъ на этотъ счетъ, а Скрябинъ человѣкъ честный.

— Ну, вотъ, больше мнѣ ничего и не надо. Пожалуйста, послушайте... Тому сколько-то дней, я добился чести переговорить лично съ господиномъ засѣдателемъ, и далъ ему изъ рукъ въ руки пять тысячъ рублей за то, чтобы повершить

дѣло въ пользу ябедника и въ ущербъ праваго. Скрыбинъ взялся за дѣло такъ усердно, что мой правый уже нищъ. Разумѣется, онъ принялъ взятку не отъ князя Козельскаго, а отъ господина Телятева, коего я изобразилъ.

Романовъ глядѣлъ изумленно въ лицо князя.

— Если не вѣрите, Романъ Романовичъ, то выслушайте дальше все по порядку. И не одно, а два дѣла. Одно Баташево, а другое госпожи Калининой.

И князь передалъ объ тяжбы подробно.

— Да зачѣмъ же, князь, вы вмѣшались въ пользу неправой стороны и повернули дѣло сами, деньгами, взяткой, въ ущербъ праваго... Это уже совсѣмъ удивительно.

— А затѣмъ, Романъ Романовичъ, чтобы имѣть вѣрныя доказательства, что деньгами можно заставить вашего Скрыбина живого человѣка въ землю зарыть. Дѣло Баташева тому образчикъ и доказательство. А затѣмъ, желаніе мое сердечное, кровное, избавить Москву отъ Скрыбина.

Романовъ, озадаченный, перемѣнился даже въ лицѣ и очевидно сильно взволновался.

— Я вамъ во всемъ вѣрю на слово князь,—признаюсь, это для меня нѣкотораго рода ударъ.

— Такъ пожалуйста сейчасъ къ нему и докажемъ все, приказавъ полиціе подать. Оба дѣла кляузныхъ, разбойныхъ...

— Нѣтъ, князь, это совсѣмъ не нужно,—вдохнулъ Романовъ.—Я его вызову сюда... А покуда два слова объ нашемъ дѣлѣ. Я былъ у Александра Никитича, онъ боялся обиды отъ васъ, оскорбленія. А теперь будетъ тотчасъ же. Я заѣзжалъ отъ него къ вамъ, сказать вамъ, но не засталъ васъ дома.

— Спасибо вамъ. А теперь сейчасъ, при мнѣ же побесѣдуйте съ г. Скрыбинымъ,—отвѣтилъ князь усмѣхаясь.—Онъ боялся, чтобы дѣло это не отложилось.

Романовъ высунулся въ дверь и приказалъ позвать къ себѣ главнаго засѣдателя. Черезъ минуту появился чиновникъ, но видъ у него теперь уже былъ совсѣмъ иной. Важности, которая была въ немъ, когда онъ бесѣдовалъ съ просителемъ Телятевымъ, не было и помину. Явившись къ главному своему начальнику, онъ остановился у порога, руки по швамъ.

— Притворите двери плотнѣе!—выговорилъ Романовъ нѣсколько сурово.—Объясните, г. Скрыбинъ, что, собственно, на дняхъ произошло между вами и княземъ?

Чиновникъ вытаращилъ глаза, поглядѣлъ на начальника и выговорилъ:

— Съ какимъ княземъ, ваше превосходительство?

— А вотъ съ этимъ самымъ княземъ!—показалъ старикъ на своего гостя.

Скрябинъ глядѣлъ поочередно на начальника и на г. Телятева, оказавшагося княземъ, и, наконецъ, произнесъ:

— Я не понимаю-съ, извините!

— Позвольте мнѣ вкратцѣ объяснить!—сказалъ князь.— Именуя себя Телятевымъ, я на прошлыхъ дняхъ передалъ г. Скрябину пять тысячъ рублей въ качествѣ простой взятки. Слѣдовательно, онъ, г. Скрябинъ, лихоимецъ! Вотъ въ чемъ заключается все дѣло! Соизвольте, ваше превосходительство, спросить у него, получилъ ли онъ пять тысячъ по дѣлу Баташева, и какъ дѣло рѣшено теперь.

Романовъ обратился къ чиновнику и выговорилъ:

— Правда ли все это?

— Ваше превосходительство, это недоразумѣніе... Они очень просили, а я, виноватъ, изъ жалости рѣшился... Они просили ходатая, это для ходатая... по дѣлу секундъ-майора...

— Довольно! Вы признаетесь, что деньги получили?

— Но, ваше превосходительство...

— У васъ ли деньги? Или истрачены? Переданы?

— У меня-съ...

— Ну-съ, ступайте домой и пришлите мнѣ ихъ тотчасъ сюда, а сами подайте рапортъ о болѣзни. Болѣть вы будете мѣсяца два, а за это время приискивайте себѣ должность гдѣ хотите.

— Ваше превосходительство!..—вскрикнулъ Скрябинъ. Я могу объяснить...

— Ступайте вонъ!—Я самъ дѣломъ займусь...

— Ваше превосходительство!—захрипѣлъ Скрябинъ и упалъ на колѣни.

— Полноте! Полноте! — рѣзко произнесъ Романовъ. — Со мной такими глупостями ничего не сдѣлаете. Вставайте и выходите!

— Ваше превосходительство!

— Ступайте вонъ!—вскрикнулъ Романовъ.

Скрябинъ поднялся и, какъ бы оцупью или въ темнотѣ, напелъ дверь и вывалился вонъ.

— А что вы думаете, дорогой мой? Вѣдь мнѣ этого мерзавца жалко стало!—сказаль вдругъ князь.—Самъ же я настряпаль, да самъ же тутъ и раскаялся. Впрочемъ, это такъ. Минута такая. Когда я подумаю, что вы сотни людей въ Москвѣ избавите отъ этого кровопійцы, то, конечно, слѣдъ радоваться. Спасибо вамъ, однако, за то, что такъ много мнѣ вѣрите.

VI.

Сашокъ волновался наутро, сильно робѣлъ и былъ тревоженъ. Онъ одѣвался, собираясь не къ князю Трубецкому, а къ дядѣ, князю Козельскому. Этотъ дядя всегда представлялся ему сказочнымъ Кощеємъ, злымъ, «отвратительнымъ» чело-вѣкомъ, и сталъ представляться ему теперь еще страшнѣе. Вдобавокъ, все случилось вдругъ, и онъ не успѣлъ мысленно приготовиться къ тому, чтобы предстать предъ лицо чело-вѣка, котораго никогда не видалъ, и о которомъ, кромѣ худого, ничего никогда не слыхалъ.

Черезъ сутки послѣ того, что Романовъ побывалъ у Сашка, молодой чело-вѣкъ уже подѣзжалъ къ большому, великолѣпному дому, въ глубинѣ двора. Отдавъ свою лошадь конюху, Сашокъ вошелъ и, встрѣченный швейцаромъ въ эпанчѣ съ булавой, объявилъ свое имя.

Одинъ изъ лакеевъ, по виду старшій, особенно вѣжливо поклонившись князю, тотчасъ быстро побѣжалъ по парадной лѣстницѣ съ докладомъ. Черезъ полминуты онъ уже спускался обратно со словами:

— Пожалуйте! Князь приказаль просить и сказать, что радъ дорогому гостю, коего давно ожидаетъ.

Сашокъ, ободренный этими словами, сталъ подниматься по лѣстницѣ, но все-таки чувствовалъ, что онъ сильно робѣетъ. Пройдя огромную залу, затѣмъ три парадныхъ гостинныхъ разныхъ цвѣтовъ, Сашокъ увидалъ въ глубинѣ лакея, стоявшаго у запертыхъ дверей и, повидимому, ожидающаго его. При его приближеніи лакей растворилъ дверь и посторонился. Сашокъ вошелъ. Мысленно онъ готовилъ фразу:

«По долгу родственному и особливому почтенію имѣю честь явиться къ вамъ, дядюшка»...

Фраза была длинная, хорошо составленная дома, потомъ прибавленная въ дорогѣ, но теперь, когда Сашокъ переступилъ порогъ, все до послѣдняго слова выскочило у него изъ головы.

Къ нему навстрѣчу шелъ высокій человѣкъ, статный, моложавый, въ темномъ бархатномъ плафрокѣ. Онъ протянулъ руки, обнялъ молодого человѣка и расцѣловался съ нимъ трижды.

Но Сашокъ, глядѣвшій дядѣ въ лицо, былъ такъ ошеломленъ, что стоялъ истуканомъ, вытаращивъ глаза и разиня ротъ.

— Удивился, голубчикъ?—выговорилъ князь.

Сашокъ двинулъ губами, но ничего произнести не могъ.

— Садись! Сейчасъ все узнаешь!

Удивленіе молодого человѣка объяснялось тѣмъ, что вмѣсто дяди—князя Козельскаго, передъ нимъ былъ не въ поношенномъ отчасти платьѣ, а въ богатомъ плафрокѣ, Вавилонъ Ассиріевичъ Покуда.

Сашокъ ничего сообразить не могъ, и только изумлялся поразительному, неслыханному сходству двухъ людей. Мысль, что это тотъ же человѣкъ, не пришла ему на умъ.

— Вотъ видишь ли, дорогой племянничекъ, ты ко мнѣ съ родственнымъ уваженіемъ не ѣхалъ, а мнѣ, твоему дядѣ, первому ѣхать къ тебѣ не подобало. Ну, вотъ я и попросилъ вмѣсто себя поѣхать къ тебѣ Вавилона Ассиріевича. Но, правда то, что онъ тогда сказалъ тебѣ, что онъ Вавилонъ Ассиріевичъ «Покуда». И потомъ можетъ стать княземъ Александромъ Алексѣевичемъ Козельскимъ. Понялъ?

Сашокъ сообразилъ все, но, невольно вспомнивъ свою бесѣду съ Вавилономъ Ассиріевичемъ, снова запутался и ничего понять не могъ.

— Ты, небось, удивишься, зачѣмъ я былъ у тебя названцомъ съ дурацкимъ прозвищемъ,—заговорилъ князь.—Это мое дѣло! А теперь плюнь на все это и забудь! Теперь я хочу объяснить тебѣ, что жизнь человѣческая не то же, что поле перейти, а затѣмъ, въ жизни человѣческой чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Инако сказывать буду: ты молодъ, а я старъ, ты только недавно прыгать началъ, а я уже напрыгался всласть, умаялся. И если не собираюсь еще лечиться въ гробъ что-ли, то собираюсь съѣсть и сидѣть. Ты одинокъ, какъ перстъ, считаешься сиротой. Я то же самое, тоже сирота. Родня мы съ тобой близкая, ближе нельзя, развѣ что мнѣ твоимъ отцомъ быть. Держалъ я тебя отъ себя вдалькѣ, какъ сказываютъ, въ черномъ тѣлѣ, будучи человѣкомъ богатымъ; допустилъ, чтобы ты жилъ въ Питерѣ въ казармѣ; допустилъ вотъ, что ты теперь ко мнѣ пріѣхалъ не въ экипажѣ пугомъ, какъ полагается князю Козельскому, а верхомъ, какъ

самый простой офицеръ безъ достатка. Ну, вотъ, дорогой мой племянничекъ и тезка, и крестникъ, теперь кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ. Теперь все пойдетъ на иной ладъ! И прежде всего ты долженъ, не мѣшкая, собрать всѣ свои пожитки и переѣзжать сюда ко мнѣ. Пока я въ Москвѣ, будешь со мной жить, а если меня нелегкая опять унесетъ куда-нибудь, хоть бы на край свѣта, то домъ сей со всѣмъ въ немъ находящимся и съ полсотней холоповъ, — все это будетъ въ твоёмъ распоряженіи. При этомъ я назначу тебѣ мѣсячное содержаніе на разныя удовольствія, а лошади и экипажи и твои первѣйшія потребности, — все это само по себѣ будетъ оплачиваться изъ моей конторы. Ну, поцѣлуемся и забудемъ все старое!

Сашокъ, совершенно пораженный тѣмъ, что онъ слышалъ, сидѣлъ, не двигаясь.

— Ну, поцѣлуемся! — повторилъ князь.

И, расцѣловавъ снова три раза племянника, онъ разсмѣялся.

— Что, небось все думаешь о Вавилонѣ Ассиріевичѣ? Не понимаешь сего казуса? А оно просто. Хочешь я тебѣ поясню?

Сашокъ двинулъ языкомъ и пролепеталъ что-то себѣ самому непонятное.

— Отойди, голубчикъ! Ишь вѣдь какъ тебя захватило! Оттереть, что-ли, тебя? Былъ я у тебя названцомъ за тѣмъ, чтобы поглядѣть на тебя, каковъ ты молодецъ, самъ не сказываючись. Если бы ты мнѣ пришелся не по душѣ, то я бы уѣхалъ и плюнулъ на тебя на всю мою жизнь, а ты бы и не зналъ, кто у тебя былъ. Ну, а ты мнѣ понравился. И вотъ произошло совершенно иное: ты теперь у меня. А кромѣ того вспомни, голубчикъ, какъ ты меня обозвалъ, какъ изругалъ! Помнишь-ли?

— Виновать, дядюшка, — заговорилъ наконецъ Сашокъ, — я не зналъ, что это вы.

— То то и хорошо, что не зналъ! Кабы зналъ, тогда бы все прахомъ пошло, все бы я за комедію принялъ. То то и хорошо, что не зналъ. Вотъ за то, что ты меня изругалъ, ты мнѣ и сталъ любъ. А помнишь-ли ты, за что ты меня изругалъ?

Сашокъ сталъ соображать, вспоминать, но по лицу его видно было, что онъ не помнитъ.

— Вотъ видишь-ли, добрый ты малый. Жалѣю я сердцемъ и душой, что такъ поздно съ тобой познакомился! Ты и не помнишь того, что въ тебѣ мнѣ именно и понравилось? Тебѣ Вавилонъ Ассиріевичъ что предлагалъ?

— Не помню, дядюшка!

— Развѣ онъ тебѣ не говорилъ, что предлагасть свои услуги, какъ твоего дядюшку Александра Алексѣевича на тотъ свѣтъ отправить, чтобы наследовать отъ него? Вспомнилъ?

— Такъ точно!

— Ну, вотъ видишь-ли, голубчикъ, я такъ полагаю, что много есть на свѣтѣ молодыхъ прыгуновъ офицеровъ, которые бы, конечно, не согласились тоже сразу на такое предложеніе: богача дядюшку ополить или придушить! Но многіе изъ нихъ къ этому дѣлу отнеслись бы хладнокровно. Въ душѣ, тайно, имъ бы даже этакое и понравилось! По глазамъ бы можно было прочесть, что этакое нравится... А ты—истинный князь Козельскій, прямой, честный и благородный, какіе мы всѣ были. И твой отецъ, и твой дѣдъ. Ты разгорѣлся, взбудоражился на этакое предложеніе и сталъ ругаться. И вспомнился мнѣ, якобы въ тебѣ возродился мой родитель—твой дѣдъ. И лицомъ ты на него больше меня похожъ, да очевидно и нравомъ такой же—прямой и справедливый. Когда ты меня, вскочивши, началъ ругать и чуть не въ три шеи гнать изъ квартиры, я чуть-чуть не назвался. Хотѣлось мнѣ тебя обнять, расцѣловать.

VI.

Едва только Сапокъ радостный вышелъ отъ дяди и уѣхалъ, какъ изъ верхняго этажа дома быстро двинулась къ князю красивая молодая женщина, смуглая, съ большими черными огненными глазами... Это была сожительница князя по имени Земфира. Она вошла въ кабинетъ стремительно и какъ-то порывисто и, остановившись у порога, оглядѣлась. Глаза ея съ синими бѣлками будто сверкнули. Убѣдясь, что князь одинъ, она выговорила тихо и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣзко:

— Кто у васъ былъ?

Князь поглядѣлъ на нее, помолчалъ и наконецъ произнесъ, подсмѣиваясь:

— Была вся Москва... Третьяго дня былъ дома именитый графъ Бестужевъ-Рюминъ-Сибирный.

— Я спрашиваю, кто у васъ сейчасъ былъ?

— Сейчасъ? Ты знаешь сама. А иначе и не ворвалась бы, какъ ураганъ. Такъ вѣдь ты махнула юбками, что вѣтромъ подуло, насморкъ получить можно.

— Ну. Я знаю, кто былъ. Мнѣ сказали. Но я не повѣрила и не вѣрю. А поэтому и спрашиваю, чтобы вы мнѣ сами сказали.

— Былъ князь Александръ Никитичъ Козельскій, мой племянникъ и крестникъ, красавецъ-офицеръ, и по урожденію своему, по характеру почище меня...

— Вотъ какъ?!—разсмѣялась Земфира презрительно.

— Дура ты, дура!—вдругъ ворчулъ князь.

— Почему же это? Я же и дура... А не другой кто...

— Кто? Я что-ли дуракъ, по твоему?

— Такъ васъ я обзывать не могу... Но однако...—Земфира запнулась и прибавила:

— Кто говорилъ всегда, что не пустить на порогъ своего дома мальчишку-вдыхателя по наслѣдству...

— Знаю... Вѣрно...—перебилъ князь.—Говорилъ... Не пущу къ себѣ молокососа, который мой единственный прямой наслѣдникъ и поэтому спитъ и видитъ, чтобъ я померъ безъ завѣщанія... Говорилъ, Зефирочка. Говорилъ. А знаешь, почему я такъ говорилъ?..

— Ну-съ?—вымолвила женщина, видя, что князь молчитъ и ждетъ отвѣта.

— Говорилъ.. Потому что я былъ дуракъ. А теперь я вдругъ поуmnѣлъ... Хочу, чтобы у меня былъ по близости, даже въ моемъ домѣ родственникъ, молодой, честный, добронравный... А главное, честный. На всякій случай пригодится такой. Надоѣло мнѣ все съ блюдолизами да съ прихлебателями жить. Одинъ подлѣе другого... Ну вотъ душу и буду отводить съ примодушнымъ роднымъ племянникомъ, у коего душа чистая.

— А вамъ кто это сказалъ?

— Что? Что его душа чистая? Мой нюхъ.

Земфира, знавшая хорошо по-русски и говорившая правильно, хотя съ сильнымъ акцентомъ чужеземки, все-таки не знала многихъ простыхъ словъ и теперь не поняла слова: «нюхъ».

Князь объяснился. Красавица ничего не отвѣтила, постояла молча среди комнаты, а затѣмъ двинулась и молча вышла вонъ.

Прошлое этой женщины было совершенно темное. Когда-то она рассказала князю подробно все свое мыканіе съ дѣтства, но впоследствии она столько разъ видоизмѣняла свое повѣст-

вованіе, что князь уже плохо вѣрилъ въ правдивость разсказа. Было даже неизвѣстно навѣрное, молдованка она и христіанка, или же турчанка.

Единственное было вѣрно, что Земфира была безродная. Вспоминая свое раннее дѣтство, она не видѣла около себя ни отца, ни матери, ни кого-либо близкаго. Будучи уже лѣтъ 12, она узнала, что находится въ числѣ другихъ шести дѣвочекъ на воспитаніи у старухи злой, сварливой, отъ которой никто изъ дѣвочекъ никогда не видалъ никакой ласки и отъ которой равно всѣ получали только пинки и колотушки.

И въ домѣ этомъ постоянно являлись новыя дѣвочки десяти и двѣнадцати лѣтъ, причѣмъ исчезали тѣ, которымъ было уже около пятнадцати. Чаще всего старуха охала и вздыхала о томъ, что Земфира и другія дѣвочки слишкомъ молоды. Долго ждать. Въ какомъ городѣ это происходило, Земфира не помнила, но говорили всѣ по-молдавански.

Когда Земфирѣ минуло четырнадцать лѣтъ, старуха стала ее брать съ собой въ большое зданіе, гдѣ бывало много народу и гдѣ продавалась всякая всячина. Съ двухъ-трехъ разъ Земфира, умная и хитрая, поняла, что она въ этомъ большомъ зданіи тоже товаръ. Уже нѣсколько разъ подходили къ старухѣ какіе-то чужіе люди, оглядывали внимательно Земфиру и потомъ толковали о деньгахъ. Это было главное торжище города.

Наконецъ, однажды, Земфира не вернулась со старухой домой, а отправилась въ другой домъ вслѣдъ за какимъ-то пожилымъ человѣкомъ. Она узнала, что куплена имъ за полтысячи чорвонцевъ.

— Это страшная цѣна!—говорилъ онъ ей.—Еще ни разу такихъ денегъ я не платилъ, а такъ какъ у меня правило каждый разъ брать вдвое, то, вѣроятно, тебѣ долго придется прожить у меня, прежде чѣмъ найдется богачъ-покупатель.

У этого пожилого человѣка, котораго всѣ звали Юсуфъ, Земфирѣ оказалось жить лучше. Она была уже не въ лохмотьяхъ, а въ чистомъ платьѣ. Юсуфъ не только не жалѣлъ денегъ на ея содержаніе, но настаивалъ, чтобы она больше ѣла и больше спала.

— Худоцава ты, поправляйся скорѣй!—говорилъ Юсуфъ.—Справисься—тебѣ можно будетъ и пятнадцать лѣтъ дать на видъ, а это важно. Такихъ тощихъ, какъ ты, никто не любить!

У Юсуфа бывали часто гости, но всегда мужчины. И почти всѣ, которымъ Юсуфъ показывалъ Земфиру, оглядывали ее точно такъ же внимательно, какъ и тогда, когда старуха выводила ее на торжище.

Черезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ Земфира была у своего новаго хозяина или владѣльца, у него появились еще двѣ дѣвушки почти ея лѣтъ. Одна изъ нихъ была турчанка, другая сама не знала, кто она, и говорила на такомъ языкѣ, котораго никто не понималъ, а сама она тоже не могла ничего объяснить и начала учить молдавскія слова. Земфира подружилась съ ней:

Но не прошло еще мѣсяца, какъ однажды утромъ Юсуфъ одѣлъ Земфиру, посадилъ въ бричку съ провозатымъ, даль одинъ золотой, приказавъ его не потерять, и объяснилъ:

— Ну, прощай! Я на тебѣ, спасибо, нажилъ купъ хорошій! Будешь ты ѣхать весь день и всю ночь, по дорогѣ гдѣ-нибудь отдохнешь, а завтра ты будешь въ такомъ домѣ, что ахнешь...

И дѣйствительно, Земфира, переночевавъ гдѣ-то, очутилась черезъ сутки въ какомъ-то замкѣ и, несмотря на то, что была отъ природы смѣлая, все-таки нѣсколько оробѣла. Ей стало жутко. Прямо изъ экипажа она попала въ красивую комнату, а рядомъ съ ней была старуха, точь въ точь такая-же, какъ ея первая хозяйка-воспитательница. Только эта была еще старѣе и еще безобразнѣе.

Домъ былъ переполненъ народомъ—и господами, и слугами, но казалось, что все это не имѣло никакого сообщенія съ тѣми комнатами, въ которыхъ очутилась Земфира.

Черезъ сутки молоденькая дѣвушка, почти еще подростокъ, стала наложницей семидесятилѣтняго уroda. Перепугъ и отчаяніе ея были такъ велики, что она твердо рѣшила бѣжать изъ этого дома при первомъ случаѣ.

Такъ какъ старуха отнеслась ко вновь прибывшей дѣвушкѣ безъ малѣйшаго подозрѣнія, то случай представился тотчасъ же. На третій же день, Земфира, выпущенная погулять, убѣжала... И бѣжала безъ оглядки, бѣжала съ полудня до вечера.

Вечеромъ ее пріютили въ какой-то деревушкѣ добрые люди-крестьяне.

Черезъ мѣсяцъ она была снова въ положеніи наложницы у богача-валаха. Это продолжалось около года, послѣ чего

Земфира, увлекшись молодымъ польскимъ графомъ, уѣхала съ нимъ и очутилась въ Кіевѣ. Увлеченіе это тоже скоро прошло. Слишкомъ много разума и слишкомъ мало сердца было въ юной красавицѣ.

Явился случайно проѣзжіи богачъ, русскій князь, и влюбился въ нее. Земфира тотчасъ же послѣдовала за нимъ. Это былъ князь Александръ Алексѣевичъ. Но въ своихъ привязанностяхъ къ женщинамъ, встрѣчавшимся въ жизни, онъ былъ самый непостоянный человѣкъ. Случалось, что женщина, отъ которой онъ сходилъ съ ума, чрезъ мѣсяца два-три уже наскучивала ему настолько, что онъ только удивлялся, гдѣ у него были прежде глаза. Земфира этого не знала, но вскорѣ поняла, догадалась и приняла свои мѣры. Прирожденное лукавство стало въ ней талантомъ. И теперь дѣло стояло иначе. Уже лѣтъ семь, какъ въ домѣ князя жила и «владычествовала», какъ онъ выражался полшутя, эта молодая и красивая молдаванка.

Красавица увѣряла, что имя ея настоящее было Марія. Но ее еще дѣвочкой звали почему-то всегда Земфирой. Узнавъ ее подъ этимъ именемъ, князь сталъ ее звать Зефиромъ, теперь называлъ, ухмыляясь, «моя Зефирка». По его примѣру, и вся Москва, узнавая о существованіи женщины въ его домѣ, звала ее тоже «Зефиркой», но вмѣстѣ съ тѣмъ звала «молдашкой».

Умная и хитрая красавица сумѣла сначала глубоко привязать къ себѣ пятидесятилѣтняго человѣка, а затѣмъ, когда первый пылъ его страсти прошелъ, она сумѣла такъ устроиться, что не было и рѣчи о томъ, чтобы разстаться. Или женщина была особенно искусна, или самъ князь постарѣлъ. Впрочемъ, онъ считалъ, что эта молдаванка была его единственной серьезной привязанностью въ жизни.

Если бы не его ненависть къ браку, то, быть можетъ, въ началѣ связи онъ рѣшился бы и жениться на ней. Такой другой княгини-хозяйки въ домѣ трудно было бы и выдумать. Казалось, что красавица была рождена для того, чтобы превентивать въ столичномъ обществѣ.

Земфира была, конечно, на положеніи полной хозяйки и какъ бы законной жены князя. На большихъ парадныхъ обѣдахъ и вечерахъ, которые онъ давалъ, она не присутствовала, но когда бывали у князя одни мужчины, она всегда появлялась и распорядилась. Зная за послѣдніе годы, что князь бы-

ваетъ ей часто не вѣренъ, она относилась къ этому совершенно равнодушно, но каждый разъ обращала вниманіе исключительно на одно обстоятельство, что за женщина—новая прихоть князя.

Она совершенно не боялась красавицъ, а боялась умныхъ женщинъ. Иначе говоря, она боялась, чтобы какая-либо болѣе хитрая искусница, чѣмъ она сама, не вытѣснила бы ее окончательно и не заняла ея мѣста.

Сначала Земфира долго и упорно, съ большимъ искусствомъ, старалась добиться, чтобы пожилой вдовецъ и богачъ женился на ней. Это было бы не стыдно князю, такъ какъ Земфиру можно было выдать происходящую якобы изъ дворянскаго молдавскаго рода. Она уже, будучи у князя, получила извѣстное воспитаніе, не только была грамотна, но и говорила хорошо по русски, и немножко по французски, хорошо играла на мандолинѣ, хорошо пѣла, а въ особенности ловко и граціозно танцевала всякіе характерныя танцы. Крайнее изящество всей ея фигуры при красивомъ сложеніи, а равно и изящество всѣхъ движеній, были прирожденнымъ даромъ. Выказывать свои таланты приходилось ей часто на вечерахъ, устраиваемыхъ княземъ. Иногда она появлялась въ какомъ-либо костюмѣ, конечно, великолѣпномъ, и танцевала передъ гостями. Танцами своими она всегда приводила всѣхъ въ восторгъ.

Теперь Земфира покинула окончательно мысль выйти замужъ за князя, такъ какъ, уступчивый во всемъ, онъ былъ на этотъ счетъ «упрямъ». При малѣйшемъ намекѣ на женитьбу, онъ выходилъ изъ себя и говорилъ грубо, рѣзко, сердился настолько, что съ трудомъ успокаивался черезъ нѣсколько часовъ. Онъ говорилъ:

— Всякій человекъ, который способенъ жениться, дуракъ, свинья, тварь, дубина, бревно...

Онъ объяснялъ свою женитьбу въ двадцать пять лѣтъ тѣмъ, что приобрѣлъ огромное состояніе за женой, и женился онъ на женщинѣ много себя старше, чуть не вдвое, стало быть понятно, что все дѣло было въ деньгахъ.

— Но жениться по любви—да развѣ я безумный!—кричалъ онъ.—Да развѣ я глупая тварь какаа?!

И не имѣя давно надежды сдѣлаться княгиней Козельской, безсердечная и лукавая Земфира добивалась теперь иногo—получить отъ князя большія деньги, даже очень большія, и

при ихъ помощи выйти замужъ за русскаго дворянина, чтобы быть въ другомъ положеніи, законномъ, приличномъ.

Однако, и это дѣло не удавалось. Уже года съ три, какъ князь обѣщаль любимицѣ подарить ей около пятидесяти тысячъ, но дѣло все оттягивалось, и Земфира начинала опасаться, что и этого она достигнетъ, когда будетъ стара. Она рассчитывала, получивъ собственное состояніе, уѣхать въ Кіевъ, выйти хорошо замужъ и сдѣлаться членомъ дворянскаго общества.

Съ годъ назадъ, она собралась покинуть князя, разумѣется, она лукаво грозилась. Князь въ отвѣтъ показалъ ей свое завѣщаніе послѣ его смерти. Умный и недовѣрчивый, подозрительный, онъ, какъ часто бываетъ, былъ и наивенъ. Земфира осталась и была счастлива... Но недолго...

За послѣднее время она стала особенно угрюма, задумчива и раздражительна. Она какъ будто выбилась изъ силъ отъ терпѣнія и ожиданія. Она будто пришла къ убѣжденію, что князь водить ее и будетъ водить, пока она совсѣмъ не состарится. И женщина чувствовала, что если она прежде всегда относилась къ пожилому князю равнодушно, хитрила съ нимъ и лукавила, увѣряя его, что она глубоко привязана къ нему, то теперь въ ней растетъ уже крѣпкое, сильное и злобное чувство отвращенія къ старому, себялюбивому и упрямому человѣку.

— На что мнѣ состояніе въ сорокъ лѣтъ!—злобно говорила она себѣ.—И Земфирѣ приходило на умъ нѣчто такое, чего бы прежде никогда не пришло. Она поставила себѣ давно цѣль въ жизни—быть законной женой, дворянкой и богатой. На пути къ этой цѣли стоитъ человѣкъ серьезной помѣхой. Она же не изъ тѣхъ, что могутъ примириться и уступить. Надо, слѣдовательно, во что бы то ни стало достигнуть цѣли! И что бы ни являлось помѣхой, все надо устранить, такъ или иначе! Хотя бы даже цѣною преступленія.

«Только бы нашелся человѣкъ и помощникъ!—думалось ей.—Одной мудренѣе, а вдвоемъ дѣло пустяки»...

Но, разумѣется, такого помощника судьба долго не послала Земфирѣ. Только за послѣдній годъ, странствуя за княземъ, она на югѣ Россіи узнала молодого цыгана, сразу оцѣнила его, поняла, что это за человѣкъ, и теперь тайкомъ, конечно, видала его, такъ какъ дала ему средство пріѣхать за ней въ Москву, и давала денегъ на существованіе. Существованіе, конечно, странное, темное...

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, Земфирѣ посчастливилось еще иначе и недавно... Настоящій «помощникъ» нашелся.

Она познакомилась въ Москвѣ съ молодымъ человѣкомъ, замѣчательно красивымъ, который по матери былъ ея соотечественникомъ, но родился въ Москвѣ и былъ вполнѣ русскій. Только типъ его лица говорилъ объ южномъ происхожденіи.

Молодой молдаванинъ, вѣрнѣе валахъ, былъ лѣкаремъ и имѣлъ небольшую практику, предпочитая, однако, лѣчить женщинъ, и въ особенности пожилыхъ, или вдовъ, или одинокихъ. Разумѣется, эта личность была тоже темная, какъ и цыганъ. И въ извѣстномъ смыслѣ, онъ былъ хуже цыгана. Имя его было, однако, самое обыкновенное, русское—Жуковъ.

Послѣднее время Земфира тоже тайно отъ князя вѣдалась съ красавцемъ лѣкаремъ...

VIII.

Въ тотъ же вечеръ Сашокъ снова явился къ дядѣ, какъ тотъ приказалъ. Князь тотчасъ повелѣ племянника показать ему апартаменты, которые ему предназначались. Они были въ нижнемъ этажѣ съ отдѣльнымъ входомъ изъ швейцарской, и особымъ заднимъ выходомъ во дворъ. Комнатъ было четыре, большихъ и свѣтлыхъ, съ особой передней, и, разумѣется, мебелировка была такая же богатая, какъ и во всемъ домѣ. Въ нихъ, однако, никто еще никогда не жилъ... Некому было...

Обойдя комнаты, князь соображалъ, что нужно прибавить къ обстановкѣ, дабы его племянникъ ни въ чемъ не нуждался. Затѣмъ, снова поднявшись къ себѣ, князь занялся приготовленіемъ своего ежедневнаго, давнишняго, вечерняго питья. Все было уже подано на столѣ. Горячая вода, ромъ, лимоны и сахаръ. Начавъ свою стряпню, князь, улыбаясь, показалъ Сашку на стулъ около себя.

— Ну, мой любезный, объясни мнѣ,—сказалъ онъ,—необходимое нѣчто. Знаешь ли ты, что у меня въ домѣ, вверху, въ отдѣльныхъ апартаментахъ, живетъ нѣкая особа? Знаешь ты это?

— Нѣтъ, дядюшка!

— Не слыхалъ?

— Нѣтъ, дядюшка!

— Не можетъ этого быть! Тебѣ вѣрно и тетюшка сказывала, и Романъ Романычъ, вѣроятно, говорилъ, кто у меня

пребываетъ, кто мнѣ вездѣ сопутствуетъ.—Особа женскаго пола.

— Ахъ, да!—вспомнилъ Сашокъ.

— Ну, вотъ! Ну, а звать знаешь какъ?

— Помню, сказывала тетушка давно—Молдашка.

Князь разсмѣялся.

— Такъ! Такъ! Молдашка! А то и турчанка, а то и бѣлая арапка, Богъ ее вѣдаетъ! Она и сама не знаетъ. Ну, а какъ звать ее, знаешь?

— Зналъ, дядюшка, да забылъ! А то и не зналъ...

— Земфира! Я зову Зефиркой, да и въ Москвѣ такъ стали звать. Ну, вотъ ты съ ней завтра познакомишься. Она ничего, баба умная, красивая, только черна больно. Какъ называется, дѣвка-чернавка. Добрая—не скажу. Тебѣ говорили, что добрая?

— Нѣтъ!—промычалъ Сашокъ, мотнувъ головой, и въ то же время вспомнилъ слова, давно слышанныя:—«маленькая, черненькая, царапается и кусается!»

— Такъ вотъ познакомишься. И прошу я тебя любить да жаловать, сколько въ тебя влѣзетъ. Много не влѣзетъ, потому что она чудна, норовитъ всякаго озлить. Такова уродилась! А еще я тебѣ скажу по правдѣ, что наше съ тобой заключеніе мира Земфирѣ противъ шерстки, пуще всего. За эти послѣдніе годы, если я не послалъ за тобой, или не повидалъ тебя въ полку, въ Петербургѣ, проѣздомъ, то спасибо скажи Земфирѣ. Теперь я вспоминаю, что рассказывали мнѣ про какія-то твои два нехорошія дѣйствія и вспоминаю, что узналъ потомъ, что все это было вранье. А сказывала мнѣ это, по-просту сказать, сочинила, Земфира. Такъ вотъ видишь, теперь дѣло обстоитъ мудрено! Она такъ доброю не отличается, а тебя ей Богъ велѣлъ не долубливать. А между тѣмъ я бы не желалъ въ домѣ ссоръ. Хотѣлось бы мнѣ, чтобы вы ужились въ ладу. Можешь ты постараться, чтобы этотъ ладъ былъ?

— Я, дядюшка, готовъ всей душой!

— Ну, такъ слушай... Побожись ты мнѣ, что всякій разъ, что бы ни приключилось между тобой и Земфирой, сейчасъ же иди и мнѣ рассказывай. Чтобы я всегда зналъ все, какъ и что.

— Слушаю-съ!

— Затѣмъ, общайся мнѣ отнестись къ ея поступленіямъ хладнымъ разумомъ. Ты, какъ я вижу, обидчивъ, у тебя все

на языкѣ «дворянинъ да офицеръ». И это ты, конечно, здраво судишь. Такъ и слѣдуетъ князю Козельскому. Если ты обиждѣлся на княгиню Трубецкую, то правъ; но вотъ на Земфиру не обижайся. Коли что приключится, по здравому разсудку, наплюй! И каждый разъ, какъ что приключится промежь васъ, помни пословицу: «собака лаетъ—вѣтеръ носить». Или еще и по другому: «на всякое чиханье не наздравствуешься».

Сашокъ прислушивался внимательно къ словамъ дяди, но при этомъ слушалъ молча и былъ озадаченъ. Онъ не разъ слыхалъ объ «молдашкѣ» отъ своей тетки. Теперь приходилось знакомиться съ этой молдашкой и стараться ладить съ ней, а между тѣмъ самъ дядя объяснилъ, что она злая, и что не надо обращать вниманія на нее. «Собака лаетъ—вѣтеръ носить».

— Хорошо дядѣ это говорить,—думалось молодому малому.—Начнетъ такъ лаять, что и не будешь знать, что дѣлать. Онъ же первый этому лаю повѣрять, а я окажусь виноватъ.

Разумѣется, молодой человѣкъ, какъ ни былъ наивенъ и простодушенъ, все-таки понималъ, что въ лицѣ этой женщины, которую дядя рекомендовалъ самъ, какъ «злюку», онъ неминуемо долженъ встрѣтить врага, и даже заклятаго врага. Чѣмъ дядя будетъ съ нимъ добрѣе, тѣмъ она будетъ злѣе. До сихъ поръ она исполняла какъ бы должность самаго близкаго лица при человѣка-бобылѣ, теперь вдругъ между нею и имъ становится родной племянникъ, однофамилецъ и вдобавокъ крестникъ.

И неминуемо начнется борьба!

И чѣмъ эта борьба можетъ кончиться?.. Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ Сашокъ задумывался и вздыхалъ...

IX.

Черезъ два дня молодой князь былъ уже въ домѣ дяди. Собраться и переѣхать было ему не мудрено, такъ какъ всѣ пожитки помѣстились на одной телѣгѣ. Самъ онъ пріѣхалъ верхомъ и прошелъ въ кабинетъ дяди, заявляя, что пожитки сейчасъ придутъ.

Разумѣется, Сашокъ, постоянно занятый теперь мыслью о трудности своего положенія при князѣ Трубецкомъ, разсказалъ дядѣ про послѣднее приключеніе съ клавирами. Князь

Александръ Алексѣевичъ смѣялся до упаду, и этимъ удивилъ племянника. Однако, когда Сашокъ заявилъ ему свое мнѣніе, что дворяниномъ и офицеромъ такъ помыкать нельзя, князь согласился съ нимъ.

— Я нахожусь при князѣ для ординарныхъ послугъ. Какъ теперь стали сказывать—«ординарецъ». А выходитъ, что я у княгини на побѣгушкахъ и этакъ можетъ прельючиться, какъ я уже сказывалъ Кузьмичу, что меня княгиня заставитъ полы мыть.

Князь разсмѣялся и сказалъ:

— Дурашная баба. Бьетъ холоповъ на пропадую. Руки болятъ. Ее всѣ въ Москвѣ знаютъ... Добрая, но удержу не знаетъ своему пылу. И прихотлива, что захотѣла—вынь да положи!

— Да-съ. Самъ генераль, князь, ее опасается.

— Мы съ тобой объ этомъ подумаемъ, обсудимъ. Можетъ быть, я тебѣ и другое какое мѣсто найду. А если послѣ коронованія государыни останется какой петербургскій полкъ здѣсь, то устрою, чтобы тебѣ въ него перейти.

Дядя и племянникъ разговаривали на ногахъ. Князь двигался по своему кабинету, Сашокъ слѣдовалъ около него. Случайно они очутились около окна, выходящаго на большой дворъ, въ то мгновеніе, когда въ ворота въѣхала телѣжка, на которой было два сундука, ящикъ и маленькая кровать. На облучкѣ рядомъ съ мужикомъ сидѣлъ Кузьмичъ.

— Вотъ онъ!—сказалъ Сашокъ.

Князь присмотрѣлся къ въѣзжавшей телѣжкѣ, и лицо его изъ веселаго вдругъ стало нѣсколько сумрачнымъ.

— Это твои позитки?—сказалъ онъ.

— Да-съ!

— Все твое имущество?

— Да-съ!

Князь закачалъ головой.

— Какъ тутъ пояснить?—заговорилъ онъ тихо.—Мудрено! Устанавливается образъ мыслей, какъ бы само собой и думаешь, что правъ, что разсуждаешь здраво. А потомъ, вдругъ, невѣдомо отчего, года ли, возрастъ преклонный, иное ли что, вдругъ образъ мыслей мѣняется... Оглянешься назадъ, на свой пройденный жизненный путь, удивишься, начнешь вотъ этакъ-то головой качать... Вотъ тебѣ и здраво думалъ! Нѣтъ, бра-

тець, дуракъ ты былъ, а въ иномъ въ чемъ и хуже. Прямо сказать—скоть былъ. Понялъ ты меня?

Сапокъ стоялъ, изумленно глядя, слышалъ все, что дядя сказалъ, но не понялъ ни единого слова, какъ если бы этотъ бредилъ. Въ виду молчанія молодого человѣка, князь снова спросилъ:

— Понялъ ты меня?

— Виновать, дядюшка, не понялъ.

— Ничего не понялъ? Какъ есть?

— Какъ есть, дядюшка, ничего!

— А ты припомни все, мною сказанное, и сообрази.

— Какъ-съ?—спросилъ Сапокъ.

— Ну, вотъ.—Какъ-съ! Брось ты эту привычку, ей-Богу, начну тебя звать Какъс Никитичъ. Ну, слушай опять! Былъ у меня, богача, одинъ только родственникъ—мой племянникъ и крестникъ, и тезка, и того же имени—князь Козельскій. И вотъ я этого родственника, который чуть не родной сынъ, больше двадцати лѣтъ держалъ въ черномъ тѣлѣ, не только ничего не дѣлалъ для него, никогда ничего не далъ ему, но даже на глаза къ себѣ не пускалъ. Почиталъ я это дѣло совсѣмъ понятнымъ, естественнымъ. А теперь, обращаюсь зрительно назадъ, вижу, что я былъ прямо скоть. Вотъ у меня часто бываетъ, что денегъ совсѣмъ дѣвять некуда, получишь, положишь въ столъ, въ первый попавшійся ящикъ, да иной разъ и забудешь, куда сунуль. И украсть могутъ—не вспомнишь! А ты вотъ сейчасъ переѣхалъ ко мнѣ на жительство, и все твое имущество на одной телѣжкѣ пріѣхало. Развѣ это не стыдъ для меня?

Князь вздохнулъ, потомъ потрепалъ Сашка по плечу и прибавилъ:

— Но этому теперь всему конецъ. Пойдетъ все по-новому! Впрочемъ, у меня есть одно извиненіе: не любилъ я никогда мальчишекъ, а какихъ знавалъ, все были озорники. Думалъ я, что и ты такой же. И вотъ спасибо Роману Романовичу, узналъ я по пріѣздѣ въ Москву, каковъ ты уродился, но признаться сказать, не повѣрилъ. Романычъ—добрѣйшій человѣкъ, у него всѣ люди—угодники Божіи и ангелы. У него вотъ въ судѣ душегубы и грабители есть, которыхъ онъ почитаетъ чистыми агнцами. Я и подумалъ: коли Романычъ хвалитъ моего крестника, то заключить изъ этого ничего нельзя. Можетъ, этотъ самый крестникъ все-таки отчаянный вѣтро-

гонъ, озорникъ и мошенникъ. Анъ, вотъ оказалось, что Романычъ-то правъ, а я-то, тебя забросивши, свинья-свиньей вышелъ. Ну, пойдёмъ теперь въ твой апартаментъ. Покажи мнѣ издивеніе, и сейчасъ мы порѣшимъ, что тебѣ нужно покупать.

— У меня все есть, дядюшка!

— Ужъ будто все?—разсмѣялся князь.

— Ей-Богу, все!

— Ишь, какой, вѣдь! Деньги тебѣ нужны?

— Нѣтъ, дядюшка.

— Какъ нѣтъ?

— У меня есть...

— Сколько же у тебя есть?

— Теперь?

— Ну, да, теперь!

— Тридцать два рубля и еще семь гривенъ.

Князь, глядѣвшій въ лицо племянника, молчалъ, а потомъ вздохнулъ.

— Тридцать два рубля и семь гривенъ... Много!

Князь двинулся къ письменному столу, открылъ ящикъ, гдѣ были деньги, и сталъ отсчитывать на столъ.

— Вотъ тебѣ еще тридцать два рубля и семь гривенъ, а къ нимъ вотъ еще сто, да къ нимъ же самымъ вотъ еще тысяча. Это на твои разныя нужды въ эти особо великіе дни вѣствованія и коронованія государыни.

Сашокъ стоялъ, не двигаясь, глядѣлъ на столъ, гдѣ князь выложилъ деньги, потомъ поднялъ глаза на него и выговорилъ:

— Дядюшка, вѣдь, мнѣ онѣ не нужны, ей-Богу.

— Бери!

Ей-Богу же, дядюшка, не нужны! Ну, сами вы посудите, что же я съ ними буду дѣлать.

— Сказывалъ ты самъ, что Кузьмичъ все плакался, что панталоны по пяти рублей аршинъ пропали. Стало быть, бываетъ же у тебя нужда. Дяденька богатаго человѣка, офицера, не станеть двое сутокъ ахать, что панталоны надо новыя барчуку шить. Бери и съ нынѣшняго дня старайся по Москвѣ побольше болтаться и побольше денежками швырять. Это будетъ мое единственное утѣшеніе, что я тебя больше двадцати годовъ не зналъ, забросилъ. А теперь пойдёмъ въ комнаты, тебѣ отведенныя, и посмотримъ, какъ Кузьмичъ будетъ располагаться.

Князь взялъ пригоршню червонцевъ въ карманъ, приказалъ Сашку взять данныя ему деньги, и оба двинулись.

Кузьмичъ встрѣтилъ князя въ прихожей.

— Здравствуй, старикъ!—сказалъ князь.—Поцѣлуемся, старый хрычъ... со старымъ хрычемъ.

Кузьмичъ смутился отъ ласки и взволновался.

— Батюшка-князь, за что такая честь?—прошамкалъ онъ голосомъ, въ которомъ сказывалось волненіе.

— А за то, старикъ, что у тебя такой барчукъ, какъ вотъ этотъ! Хотя его и тетушка воспитывала, а не ты, но я такъ полагаю, что старая дѣвица его только малость портила баловствомъ—калачиками, да коврижками, да всякимъ потаканіемъ. Поди, навѣрное, что онъ, бывало, ни сдѣлаетъ, все хорошо. А ты, поди, журилъ его, отъ зари до зари бранился, уму разуму училъ. Стало быть, воспитывалъ-то ты, а не тетушка. Ну, вотъ и спасибо тебѣ, что онъ этакій вышелъ. И вотъ тебѣ, помимо будущаго жалованья, въ придачу!

Князь полѣзъ въ карманъ, вынулъ горсть червонцевъ и выговорилъ:

— Подставляй ладошки!

— Помилуйте, ваше сіятельство,—отстранился старикъ.— Зачѣмъ же!

— Вижу, вижу! И ты тоже изъ тѣхъ же! Подставляй ладошки!

И князь пересыпалъ золото въ руки старика.

— Приходи завтра ко мнѣ побесѣдовать,—сказалъ князь,— о томъ, что нужно твоему барчуку. Прежде всего надо обшиться. Небось, и бѣлье-то не ахти какое?

— Никакъ нѣтъ съ, я стараюсь! Раза два въ недѣлю чинимъ.

— Чините? Славно! А знаешь ли ты, Кузьмичъ, почему это?

Старикъ не понялъ и молча глядѣлъ на князя.

— Рвется,—выговорилъ онъ, наконецъ.

— А почему рвется-то?

Кузьмичъ снова молча глядѣлъ, не понимая.

— А потому это, Кузьмичъ, что есть на свѣтѣ князь Александръ Алексѣевичъ Козельскій, который, будучи человекомъ не злымъ, былъ свиньей.

Кузьмичъ вытаращилъ глаза.

— Да, вотъ потому, что князь былъ свиньей, потому ты и чинишь два раза въ недѣлю бѣлье своего барчука, который тоже князь Козельскій.

Кузьмичъ понялъ тотчасъ же смыслъ словъ и опустилъ глаза.

— Что же, вапе сѣятельство, не допускали вы къ себѣ Сашунчика—и не виноваты. Кабы допустили разомъ, то увидѣли бы, каковъ таковъ молодець, и не стали бы его отъ себя удалять. А этакъ-то вы знать не могли.

— Стало быть, по твоему, я правъ? Говори? Говори, старикъ, правъ я былъ такъ поступать?

И князь нетерпѣливо ждалъ отвѣта старика.

— Простите, Александръ Алексѣевичъ...

— Ну, ну?!

— Простите, кривить душой не могу!

— Такъ и говори, какъ слѣдуетъ прямодушному человеку. Правъ я былъ?

— Нѣтъ, не правы? Зачѣмъ было этакъ-то поступать съ единственнымъ-то къ тому же родственникомъ на свѣтѣ? Нѣтъ, воля ваша, нехорошо это было! Не сердечно и предъ Богомъ—грѣхъ.

— Ну, вотъ, спасибо тебѣ! Я такъ и думалъ, что ты человекъ хорошій...—отвѣтилъ князь.

Едва только успѣлъ Кузьмичъ разложить платье и бѣлье своего питомца и пересчитать полученную горсть червонцевъ, какъ уже собрался со двора.

Ласковость князя его тронула почти до слезъ.

«Спасибо» князя за воспитаніе Сашка хватило его по сердцу. На огромныя деньги, какихъ у старика никогда отъ роду не бывало, онъ обратилъ менѣ вниманія. Кузьмичу деньги были совершенно не нужны, развѣ только на просфоры и поминанья, которыя онъ подавалъ въ алтарь каждое воскресенье. Поминая и «вынимая» просфоры за здравіе раба Божія Александра и за упокой рабу Божию Марію, своихъ родственниковъ старикъ не поминалъ ни живыхъ, ни умершихъ. Сашокъ одинъ давно занялъ ихъ мѣсто въ его душѣ и во всѣхъ помышленіяхъ.

Разумѣется, Кузьмичъ побѣждалъ къ другу Марфѣ Ѳомишиной объявить о происшествіи, о переѣздѣ питомца къ богачу-дядѣ, который призналъ крестника послѣ слишкомъ двадцатилѣтняго отчужденія. Это извѣстіе, переданное нянюшкой господамъ, произвело на Анну Ивановну Квоцинскую радостное впечатлѣніе, а Петръ Максимычъ, наоборотъ, насунился.

— Что же это вы?—спросила жена.

— Хорошаго мало!—угрюмо отозвался Квоцинскій.

— Какъ? Что вы?

— Былъ молодець офицеръ и князь безъ особаго изживенія, и ему Танюша была парой. А теперь будетъ богачъ женихъ, да не для нея...

Х.

Хотя у князя была, по крайней мѣрѣ, дюжина кучеровъ и конюховъ, Сашокъ попросилъ позволенія все-таки оставить у себя въ услуженіи Тита. Онъ любилъ парня, привыкъ къ нему, а главное, чего Сашокъ не подозрѣвалъ и не сознавалъ, съ этимъ молодцомъ связывалось у него нѣчто особенное, а именно воспоминаніе о пономарихъ.

Титъ помогалъ ему всячески въ этомъ приключеніи, и если ничего не вышло, то вина была, конечно, самого Сашка, а не конюха. Кузьмичъ тоже желалъ, чтобы Титъ оставался у князиньки въ услуженіи, конечно, потому, что старикъ не зналъ, какую роль парень разыгралъ. Если бы дядька зналъ, что этотъ конюхъ почти наскивалъ его питомца на Катерину Ивановну, то онъ прогналъ бы его давно.

Когда Сашокъ собрался переѣзжать къ дядѣ, Титъ выпросился повидать своихъ денька на два и получилъ дозволеніе. И въ то утро, когда Сашокъ и Кузьмичъ поселились въ палатахъ князя Козельскаго, Титъ шибко, бодро, весело запагалъ изъ Москвы въ Петровское.

Разумѣется, старуха и Аленка обрадовались ему. Параскева тотчасъ же заговорила о своей барынѣ, которую видѣла еще два раза, все около того же огорода. Старуха искренно радовалась, что у барыни въ ея дѣлахъ многое начинаетъ понемногу налаживаться. Барыня смотритъ бодрѣ и со старухой очень ласкова.

Выслушавъ бабуся, Титъ спросилъ, почему Аленка не такъ же бодра и весела, какъ старуха.

— Хорошо бабуся радоваться, что чужія дѣла ладятся!— угрюмо отвѣтила дѣвушка.— А наши-то происхожденія все тѣ же. Будь бабуся на моемъ мѣстѣ, такъ, небось, не радовалась бы.

Титъ, видѣвшій Матюшку въ Москвѣ только одинъ разъ, такъ какъ Кузьмичъ не любилъ его отпускать со двора, конечно, сталъ разспрашивать, что молодець.

— Да, что,—отозвалась Аленка,—все то же... Навѣдался къ намъ два раза: первый разъ сказалъ, что опять просилъ дворецкаго доложить Ивану Григорьевичу на счетъ отпускной и спросить, за какія деньги онъ отпустить, а второй разъ былъ и сказалъ, что ничего-то не выгораетъ. Иванъ Григорьевичъ отвѣтилъ дворецкому: «до васъ ли теперь? Вишь, что на Москвѣ! И на кой прахъ самоварнику воля? Все глупости! Коли жениться хочеть, пускай женится. Женѣ его мѣсто у насъ найдется». И вотъ тогда бабуся, разспросивъ его, сказала, что, стало быть, проку ужъ никакого не жди, ничего не выгоритъ, и прогнала его совсѣмъ.

И Аленка при этомъ заплакала и замолчала. Тить тоже смолкъ. Ему жаль было сестру, да и Матюшку онъ любилъ, какъ брата.

— Надо подождать, Аленушка!—заговорилъ онъ.—Правда, теперь на Москвѣ такой Вавилонъ, что гдѣ же барину Орлову думать о разныхъ этакихъ дѣлахъ. Матюшкѣ важно на волю выйти, а Орлову что же? Ему это дѣло все одно, что блоху изловить, аль не трогать.

Въ сумерки старуха, оставшись одна съ правнукомъ, пока Аленка пошла на деревню за молокомъ, сказала Титу загадочно:

— Нутко, паренекъ, присядь-ка ко мнѣ, да слушай! Тебѣ Аленушка огородъ нагородила, потому она ничего не знаетъ. А ты вотъ слушай, что я скажу! Совсѣмъ удивительное! У меня моя дорогая барынька выпрашивала насчетъ Аленки. Я ей все расписала, а она мнѣ сказала, что этимъ дѣломъ надо заняться, что она узнаеть черезъ своихъ пріятельевъ, кто такіе господа Орловы, и какой-такой у нихъ Матюшка, и если можно, то пошлетъ кого-нибудь спросить Ивана Григорьевича, нельзя-ли Матюшкѣ дать отпускную не больше, какъ рублей за тридцать. Коли будетъ удача, то она обѣщалась мнѣ сказать. Но съ тѣхъ поръ я ее не видала. Вотъ ты и посуди: дѣло, стало быть, не совсѣмъ плохо. Почему знать, что она можетъ. Въ палатахъ графа живетъ. Ея пріятельница состоитъ при самой царицѣ. А этакіе люди могутъ больше, чѣмъ кто другой. Найдеть кого, кто съѣздитъ къ Орловымъ господамъ и потолкуеть о Матюшкѣ. Только ты ничего этого сестрѣ не сказывай, не муди ее. Выйдетъ что—хорошо, а не выйдетъ—зря ее нечего мутить.

— Да какъ ты сама, бабуся, думаешь, выйдетъ ли что?—спросилъ Тить.

— А кто же знаетъ? Моя барыня милая прямо не общала, а сказала только, узнаю—моль, кто такіе Орловы господя, и коли можно, то одинъ у меня есть человѣчекъ, который поговорить. Да кромѣ того еще достала она бумажку и карандашикъ и спросила, какъ Матюшку звать. Я сказала:— «Матюшка», а она спросила: «это что за имя?» Я сказала «Матвѣй». А она очень смѣялась.

— Почему?—удивился Тить.

— А Богъ ее знаетъ! Смѣшно было... А тамъ спросила еще, нѣтъ ли другого Матвѣя у господъ Орловыхъ? Я сказала «не знаю». Тогда мы съ ней на всѣ лады потолковали, и я ей сказала, что онъ самоварникъ, а она опять карандашикомъ написала, и опять спросила, что это такое. И опять смѣялась, что онъ—самоварникъ.

— Почему?—спросилъ снова Тить.

— Да что ты, дуракъ, все почему да почему! Я же почему знаю? Смѣялась, смѣшно стало быть... А зачѣмъ ей, голубушкѣ моей, смѣшно, то намъ, дуракамъ, знать нельзя.

— Коли она, бабуся, все смѣялась, то можетъ все смѣхомъ и кончится?

— И дуракъ ты! Смѣхъ смѣхомъ, а дѣло дѣломъ. Старуха хотѣла еще что-то рассказать правнуку, но завидѣла въ окошко Аленку и махнула рукой.

— Смотри, ты ни одинаго словечка ей. Не мути сестренку. Можетъ, и впрямь ничего не будетъ.

Тить, конечно, мысленно согласился съ бабусей, что ничего сестрѣ говорить не надо, а тѣмъ паче, что онъ изъ разсказа старухи вынесъ убѣжденіе, что ея барыня, которая съ ней болтаетъ о всякой всячинѣ, конечно, и думать забыла о своемъ обѣщаніи. И что она, записывая, какъ звать Матюшку, все смѣялась, отъ этого пути не жди.

Ввечеру, какъ только солнце сѣло, старуха и правнуки поужинали и легли спать. Съ восходомъ солнца всѣ были уже снова на ногахъ. Аленка была добра и весела, потому что видѣла во снѣ двухъ черныхъ собакъ, которые ее «всю истрепали, всю на ней одежду подрали». Матюшка ее отъ злыхъ псовъ отбивала, но они его кусали въ кровь и «голову его отбѣли».

— То-то ты кричала ночью!—заявилъ Тить, вспомнивъ.

— Да, кричала! И еще бы не кричать, самъ ты посуди. Смотри я, а Матюшка безъ головы, и сказываетъ мнѣ: «Але-

нушка, голову-то у меня псы отгрызли». Я проснулась и принялась орать.

Старуха, выслушавъ сонъ внучки, объяснила, что этакого хорошаго сна рѣдко когда дождешься. Стало быть, будутъ отъ Матюшки вѣсти не худыя.

Тить сталъ было ухмыляться недовѣрчиво, но Аленка ожи-вилась и замѣтила брату:

— Ты вотъ что, Титушка. Ты такъ не ухмыляйся! Бабуся такая отгадчица, что всякій сонъ такъ тебѣ и распишетъ. Коли она говорить, что мой сонъ хорошій, то стало быть такъ и быть.

— Знаю. Токмо помню бывало тоже, что бабуся и зря отгадывала.

Предъ полуднемъ старуха собралась на свой огородъ. Тить хотѣлъ тоже пойти съ ней—помочь нарвать побольше огурчиковъ и дотащить домой. Но едва только собрались они и отошли за нѣсколько шаговъ отъ дома, какъ на опушкѣ лѣса, окружающаго палазы графа Разумовскаго, показался паренъ, который не шелъ, а бѣжалъ.

Черезъ мгновеніе и старуха, и Тить узнали его сразу. Это былъ Матюшка. Завидя ихъ, онъ уже припустился рысью, и въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нихъ, махая руками, началъ кричать:

— Вольная! Вольная!

Подбѣжавъ, онъ обнялъ старуху, расцѣловался съ ней, чуть не сбивъ ее съ ногъ, затѣмъ расцѣловался съ Титомъ и, стараясь передохнуть, выкрикнулъ:

— Воля! Воля! Отпустили! Вотъ она! Въ карманѣ!

И онъ вынулъ листъ, на которомъ было что-то написано, а внизу была кудрявая подпись.

— Это вотъ, значить... Мнѣ читали... Тутъ значитъ, «отпускую Матвѣя, вотъ, на волку, на всѣ четыре сторонушки». Вотъ тутъ значитъ «Иванъ Орловъ!»

Старуха была поражена, но улыбалась. И глаза ея старые будто помолодѣли и сверкали. Тить, тоже изумленный, стоялъ разиня ротъ.

— За сколько? — выговорила, наконецъ, Параскева. И когда деньги платить?

— За сколько?!.. — вскрикнулъ Матюшка. — Бабуся, родимая! Ни за сколько! Даромъ! Даромъ! Пойми ты! Чудеса въ рѣшетѣ... Я помру, ей-Богу, помру! Гдѣ Аленка?

— Дома... Пойдемъ!—выговорилъ Тить, чувствуя, что у него все еще въ головѣ какой-то туманъ. Вспомнивъ о сестрѣ, онъ остановилъ пріятеля за руку.

— Стой, Матюшка! Этакъ грѣхъ! А ну, все вздоръ? Зачѣмъ сестренку мутить? Вѣдь этакъ обрадуешь, да потомъ окажется все враками, она захвораетъ съ горя.

— Что ты, глупый!—закричалъ Матюшка.—Да эту бумагу всѣ во двору читали, всѣ меня поздравляли... Самъ Иванъ Григорьевичъ вызывалъ, въ руки мнѣ ее далъ и сказалъ самъ: „ну, Матюшка, ступай на всѣ четыре стороны, лети вольной птицей. А отпускаю тебя потому, что мнѣ такъ указано. А то бы не отпустилъ».

И Матюшка, завидя вышедшую на крылечко Аленку, бросился къ ней бѣгомъ, крича то же слово.

— Вольный! Вольный!

— Уму помраченье, — сказала Тить. — Видно и впрямь, сила твоя барыня.

Параскева видѣла, какъ Матюшка обнялъ ея правнучку и цѣловалъ безъ зазрѣнія совѣсти, зная, что они все видятъ. И старуха начала утирать сухіе глаза, которые плакали безъ слезъ.

XI.

Переѣздъ въ домъ дяди сильно повліялъ на молодого человека. Прежде всего совершенно измѣнился его образъ жизни. У себя на квартирѣ онъ вставалъ и, по выраженію дядьки, тыкался изъ угла въ уголь, то присаживаясь къ окошку поглазѣть на улицу, то выходя во дворъ и въ конюшню поглядѣть на лошадь и поболтать съ Титомъ. Затѣмъ онъ отправлялся на ординарныя послуги, вздыхая о томъ, что онъ исполняетъ у Трубецкой должность «побѣгущки». А затѣмъ, возвратясь домой, онъ опять не зная, что съ собой подѣлать.

Не мудрено, что при этой жизни онъ чуть не «загубился», по выраженію того же Кузьмича, съ красивой пономарихой. Понятно, что изъ-за этого скучнаго препровожденія времени онъ заявилъ Кузьмичу, что готовъ равно и жениться и удавиться.

Теперь время шло совершенно на иной ладъ. Въ домѣ дяди бывали съ утра гости, и Александръ Алексѣевичъ требовалъ, чтобы племянникъ былъ у него, знакомился со всѣми,

кто прїѣзжаетъ, а за отсутствіемъ дяди принималъ бы гостей. Много разъ уже повторялъ князь Сашку:

— Почитай ты себя не племянникомъ, а моимъ роднымъ сыномъ! Стало быть, если отца въ домъ нѣтъ, то сынъ — хозяинъ и долженъ его замѣщать во всемъ.

И если когда-то Сашокъ жаловался дядкѣ, что чувствуетъ въ себѣ мало «людскости», что какъ только много народу, у него уходитъ душа въ пятки, то теперь, въ нѣсколько дней, молодой человекъ развернулся и, уже не смущаясь, принималъ гостей дяди, и самъ отправлялся въ гости.

Въ его распоряженіи было три экипажа и до дюжины лошадей, которыхъ такъ и опредѣляли «выѣздомъ молодого князя». Въ домѣ, вообще, постоянно слышалось теперь выраженіе «молодой князь» и «старый князь».

Однажды князь Александръ Алексѣевичъ слышалъ громкое приказаніе дворецкаго:

— Иди къ князю! Князь зоветъ!

И на вопросъ «какой?» — крикнулъ:

— Старый князь!

И Александръ Алексѣевичъ, обратясь къ стоявшему около него племяннику, поклонился ему въ поясъ, прибавивъ:

— Вотъ тебѣ и здравствуйте! Спасибо вамъ, Александръ Никитичъ, за производство меня въ слѣдующій чинъ. Былъ я просто князь, а нынче, вотъ, сталъ старый князь.

Въ то же время переѣздъ къ дядѣ какъ бы измѣнилъ отчасти и общественное положеніе Сашка. Съ перваго же дня онъ замѣтилъ, что всѣ относятся къ нему иначе, чѣмъ прежде: кто съ большей ласковостью, а кто съ большимъ почтеніемъ. Только одинъ Романовъ оставался все тѣмъ же, но другіе знакомые въ Москвѣ совершенно измѣнили свое обращеніе съ нимъ. Прежде его спрашивали нѣсколько небрежно:

— Ну, князекъ, какъ поживаете?

Теперь говорили почтительнѣе:

— Все ли въ добромъ здоровьѣ, князь?

Сашку показалось, что не только князь Трубецкой, но и княгиня Серафима Григорьевна тоже стали будто относиться къ нему иначе, въ особенности княгиня. Она перестала кликать его, прибавляя слова «воробей, галченокъ, щенокъ»...

Побывъ снова одинъ разъ у Квоцинскихъ, не вслѣдствіе личнаго желанія, а по неустаннымъ просьбамъ Кузьмича, Сашокъ замѣтилъ, что вся семья приняла его еще съ большимъ

почетомъ, чѣмъ въ первый разъ. Въ особенности же сталъ вдругъ чрезвычайно любезенъ и милъ въ обращеніи съ молодымъ человѣкомъ Павелъ Максимовичъ.

На другой же день послѣ этого посѣщенія Павелъ Максимовичъ пріѣхалъ въ гости къ Сашку и тутъ же попросилъ, чтобы онъ представилъ его своему дядѣ.

Кузьмичъ тайкомъ отъ питомца тоже побывалъ у Квонцинскихъ и узналъ то, о чемъ Сашокъ и не подозрѣвалъ. Семья была встревожена переменной въ жизни молодого человѣка.

Петръ Максимовичъ первый сообразилъ, къ чему можетъ повести эта переменна, и передалъ свое соображеніе женѣ, а она нянѣ.

Разумѣется, Марфа Ѡминишна передала это соображеніе другу, Ивану Кузьмичу, и старикъ, сидя у нея передъ самоваромъ, удивился тому, что услышалъ. Ему самому въ голову это не пришло, а между тѣмъ, умный старикъ сразу почувствовалъ, что въ словахъ Марфы Ѡминишны есть большая доля вѣроятія. И Кузьмичъ задумался, а этимъ смутилъ и Марфу Ѡминишну еще больше.

— Вамъ такое на умъ не приходило?—сказала она.

— Нѣтъ, родная моя. Но все-таки не думаю, чтобы какая переменна могла быть,—отвѣтилъ Кузьмичъ.

— Но главное, приключившееся съ Сашкомъ на первыхъ порахъ, было нѣчто совершенно особенное, диковинное... Если когда-то было диковиной, что г. Покуда явился предъ глазами молодого человѣка вельможей въ великолѣпной каретѣ, отъѣзжая отъ Орловымъ, а затѣмъ оказался его родныхъ дядей, то теперь приключилось нѣчто такое же.

Князь Александръ Алексѣевичъ прислалъ по-утру человѣка, прося племянника пожаловать тотчасъ наверхъ. Сашокъ вошелъ въ кабинетъ дяди быстрымъ шагомъ, но, растворивъ дверь и переступя порогъ, остановился и сталъ таращить глаза. Князь что-то сказалъ, но Сашокъ не слышалъ, настолько былъ удивленъ и пораженъ.

Князь сказалъ:

— Вотъ, племянникъ, познакомься съ моей любезнѣйшей подругой, Земфирой Турковной!

Онъ не слышалъ этихъ словъ и шутки дяди, потому что красивая и очень нарядно разодѣтая дама, стоявшая среди кабинета, была та самая цыганка, которая побывала у него въ квартирѣ подъ именемъ Акулины Ивановны.

Сашокъ стоялъ истуканомъ и глядѣлъ на нее, не сморгнувъ.
— Что съ тобой?—спросилъ князь, смѣясь и подходя къ племяннику.—Красота ея тебя, что ли, поразила?

Сашокъ молчалъ, продолжая глядѣть на молодую женщину. Земфира смотрѣла на него улыбаясь, какой-то, какъ показалось ему, нехорошей улыбкой. Она ждала, что скажетъ онъ. Промолчить онъ, то и она промолчить. А объяснить онъ все тотчасъ же, по своему добродушію и наивности, тогда и она признается.

Но Сашокъ разсудилъ, что нельзя заявлять о посѣщеніи Земфиры, потому что, Богъ знаетъ, можетъ ему чудиться, что это та же женщина. Можетъ быть, просто одно удивительное сходство, и не она, а дѣйствительно какая-либо цыганка была у него. А между тѣмъ, чѣмъ болѣе онъ вглядывался въ красивое лицо Земфиры, тѣмъ болѣе убѣждался, что это она была у него.

— Очень рада,—проговорила съ акцентомъ чужеземка Земфира,—что дядюшка васъ къ себѣ перевезъ! Веселѣе будетъ! Прощу меня любить и жаловать.

Голосъ и акцентъ тѣ же... вполнѣ убѣдили Сашка, что положительно та цыганка—она, «молдашка дядина».

Онъ собирался сказать дядѣ, что уже знаетъ Земфиру, видѣлъ, принималъ у себя, но языкъ почему-то не повиновался.

«Нужно ли? Хорошо ли? Не отложить ли это сказать?»—думалось ему.

А въ то же мгновеніе Земфира, пристально глядя ему въ лицо, думала:

«Однако, ты ужъ не такой простофиля, дуракъ. Все-таки знаешь, когда и помолчать надо. Тѣмъ лучше!»...

Между тѣмъ, князь взялъ какую-то книгу и сѣлъ къ окну. Земфира усѣлась на маленькомъ диванчикѣ, усадила около себя молодого человѣка и начала разспрашивать его и о немъ самомъ, и о службѣ, о Трубецкихъ, и обо всѣхъ московскихъ новостяхъ и случаяхъ. Разговоръ этотъ продолжался почти цѣлый часъ, и Сашокъ былъ совершенно очарованъ молодой женщиной.

«Какъ люди лгутъ!—думалось ему.—Говорили, что она—злюка, кусается даже. А она добрая. Однако, и дядюшка говорилъ, что въ ней доброты мало. А мнѣ вотъ сдается, что она совсѣмъ добрая».

И съ этого же перваго знакомства Земфира была съ Сашкомъ до крайности мила, предупредительна, а подчасъ даже какая-то, по убѣжденію его, диковинная. Иногда ему казалось, что Земфира смотритъ на него такими же глазами, какими смотрѣла Катерина Ивановна, а разъ или два смотрѣла Малова.

Однажды, встрѣтившись случайно въ залѣ, Земфира и Сашокъ стали ходить взадъ и впередъ, бесѣдуя обо всякихъ пустякахъ. Земфира смѣшила молодого человѣка своими шутками, острыми насмѣшками, иногда немного злыми, надъ разными лицами, бывающими у князя. Сашокъ отъ души хохоталъ.

Въ тѣ же минуты за дверями залы стоялъ и приглядывался сквозь щель раскрытой двери старикъ Кузьмичъ, и когда кто-то изъ проходившихъ дворовыхъ людей спугнулъ его съ мѣста, онъ ушелъ къ себѣ внизъ, сѣлъ и задумался, а черезъ мгновение выговорилъ вслухъ:

— Ахъ, ракалія! И эта тоже! И хуже той... Что пономариха?! Пономариха—овечка, а эта волчиха!

Кузьмичъ, конечно, еще болѣе смутился бы, если бы узналъ, что именно Земфира была у нихъ на квартирѣ. Но видѣвъ ее тогда лишь вышедшей изъ дому на одну секунду, съ головой и лицомъ, полузакрытыми большимъ чернымъ платкомъ, Кузьмичъ, конечно, не могъ признать въ красивой и щегольски одѣтой женщинѣ ту цыганку. А Сашокъ разъ двадцать собирався сказать дядкѣ правду и тоже промолчалъ.

«Зачѣмъ поднимать это все? Началъ молчать, такъ ужъ и молчи!—думалось ему.—Она молчитъ, что была у меня. Зачѣмъ была — совсѣмъ непонятно!.. Сказать Кузьмичу, онъ бухнетъ, пожалуй, дядѣ, а дядя спроситъ, зачѣмъ я тогда же не сказалъ, когда увидѣлъ ее у него».

ХІІ.

Въ числѣ другихъ лицъ, перемѣнившихся къ молодому князю послѣ его переѣзда къ дядѣ, была одна личность, настолько измѣнившая свое обхожденіе, что Сашокъ былъ даже удивленъ. Это была Настасья Григорьевна Малова.

На третій или четвертый день послѣ того, что онъ былъ уже въ домѣ дяди, князь Трубецкой снова послалъ его къ свояченицѣ за табакомъ. Сашокъ, какъ всегда, явился въ го-

стиную и доложилъ, что князь просить немного табачку. Малова отвѣтила, смѣясь:

— Ну, вотъ, теперь я вамъ табаку и не дамъ! Присядьте и посидите. А то вы точно въ лавку приходите. Возьмете табакъ и уйдете! Это невѣжливо! Садитесь-ка!

Сашокъ съѣлъ. Малова захлопала въ ладоши. На зовъ появился лакей, и она приказала:

— Если кто прійдетъ, то говорить, что я выѣхала. И это всѣмъ говорить!

— Слушаю-съ!—отозвался лакей.

— Если прійдетъ Павелъ Максимовичъ или г. Кострицкій, то сказывать имъ то же самое: — дома нѣтъ! А если Павелъ Максимовичъ все-таки соберется сюда итти меня поджидать, то прикажи Улитѣ быть за дверями въ прихожей и бѣжать сюда меня предупредить. Ну-съ, вотъ, — обратилась Малова къ князю, — теперь мы можемъ съ вами сидѣть и бесѣдовать! Разкажите мнѣ, прежде всего, какъ это вы съ дядюшкой помирились, что онъ за человѣкъ и все такое. Все мнѣ выкладывайте. Я любопытница.

Сашокъ отвѣчалъ на разспросы Маловой довольно неохотно, но вмѣстѣ съ тѣмъ несказанно дивился тому, что женщина теперь вела себя съ нимъ уже совсѣмъ на особый ладъ.

«Черезчуръ вольно!»—мысленно опредѣлилъ Сашокъ.

И, дѣйствительно, сидя рядомъ съ молодымъ человѣкомъ, Малова въ разговорѣ нѣсколько разъ пошлепала его по плечу по-товарищески. А затѣмъ, говоря, что онъ хорошій человѣкъ, вдругъ погладила его рукой по лицу, потрепала по обѣимъ щекамъ, какъ маленькаго ребенка. Наконецъ, стала гладить по головѣ.

Сашокъ угрюмо глядѣлъ исподлобья и добился, чтобы получить поскорѣе табакъ, котораго ждетъ князь, и вышелъ нѣсколько недовольный. Это обращеніе подѣйствовало на него какъ-то странно... оскорбительно.

Послѣ его ухода Настасья Григорьевна отмѣнила свой приказъ—никого не принимать, а сама усѣлась за вязанье на рогулькахъ и думала:

«Обидно, что раньше я не знала. Хотя и знать, вѣстимо, не могла. Офицеръ и князь да безъ гроша за душой — какая невидаль! А тутъ вдругъ вонъ что свалилось! У дяди-то, говорить, страшнѣйшія деньги, а дѣтей нѣтъ. А родной-то, только этотъ одинъ. Стало быть, все его и будетъ. Да и сей-

часть навѣрное... Да. И сейчасъ, поди, деньги завелись, какихъ во снѣ не снилось ему. Да. Вотъ кабы я раньше знала. Мало онъ тутъ разовъ былъ за табакомъ, а я только одинъ разъ всего и приласкала его. Недавно. Да и то сама не знаю зачѣмъ. Такъ потрафилось. А кабы знать-то впередъ!..»

Въ то же время Сапожъ, возвращаясь къ князю Трубецкому съ тавлинкой табаку, угрюмо раздумывалъ о приѣмѣ Маловой.

— Что она? Спятила?—ворчалъ онъ.—Какъ же это по лицу гладить. Я не ребеночекъ. А если иное что у нея на умѣ, то... ужъ извини... Будь ты Катерина Ивановна. Тогда... И чудно! Одна сестра ругается, а другая чуть цѣловаться не лѣзетъ.

И онъ глубоко вздохнулъ.

Офицеръ снесъ князю табакъ въ его рабочую комнату, и старикъ сказалъ:

— Спасибо. Ну. Нечего тебѣ зря сидѣть въ домѣ. Полагаю, сегодня никто не приѣдетъ. Ступай домой.

— Я, князь, отсижу часокъ. Не важность. Можетъ быть, кто и явится къ вамъ,—отвѣтилъ ординарецъ почтительно.

— Нѣтъ. Не стоитъ. Ступай домой.

Молодой человекъ поблагодарилъ и вышелъ.

Но на этотъ разъ ему совсѣмъ не посчастливилось. Приближаясь къ залу, онъ ужъ слышалъ звонкій рѣзкій голосъ княгини. Когда онъ вошелъ въ залъ и поклонился, княгиня не только не отвѣтила на его поклонъ, но, взглянувъ, казалось, не замѣтила его появленія. Передъ ней стоялъ ея дворецкій, пожилой и очень тучный человекъ съ кроткимъ лицомъ.

— Стало быть, перевралъ?—воскликнула княгиня уже въ третій разъ.

— Никакъ нѣтъ-съ...—отвѣтилъ дворецкій.—Вы изволили, ваше сіятельство, такъ сказывать: что ежели князь поѣдутъ, то доложи, а ежели не поѣдутъ, не докладай.

— И перевралъ, напуталъ, олухъ. Зачѣмъ же ты теперь лѣзешь съ докладомъ, коли князь дома.

— Я, ваше сіятельство, думалъ, что ежели...

— Думалъ? А? Ты думалъ? А-а? Ты опять думалъ?

— Виновать-съ... Не думалъ... Полагалъ-съ.

— Думалъ?! Что же я сто лѣтъ буду вамъ, всѣмъ чертямъ, сказывать. Ну, послѣдній, слышишь, послѣдній разъ тебѣ

сказываю. Не смѣть думать! Какъ еще отъ кого объ этомъ услышу, такъ прямо брить лобъ и въ солдаты. Слышишь.

— Виновать, Серафима Григорьевна. Я не думалъ-съ. Ей-Богу, не думалъ-съ. Это у меня такъ съ языка стряхнулось. Вы не изволите приказывать думать, такъ можемъ-ли мы-съ. И я, ей-Богу-съ, никогда не думаю-съ... И теперь не думалъ-съ. Такъ языкъ-съ...

— Ну пошелъ,—мягче произнесла княгиня. — Да опять всѣмъ олухамъ накажи и себѣ на носу заруби: какъ только кто будетъ смѣть думать, такъ тому—лобъ.

Дворецкій вышелъ изъ зала, а княгиня, замѣтя Сашка, выговорила:

— А? Вѣтеръ Вихревичъ. Что скажешь?

— Ничего съ,—отозвался Сашокъ.

— Немного.

И княгиня, отвернувшись, двинулась 'по залу, заложивъ руки за спину, но не вышла, какъ надѣялся Сашокъ, а повернувшись, снова шапала въ его сторону. «Пошла отмѣривать половицы!» досадливо подумалъ онъ, не зная уходить или обождать.

Пройдя два раза, княгиня остановилась противъ него чуть не вплотную и, глядя сурово прямо въ глаза, вымолвила:

— Правда, у твоего дядюшки въ полюбовницахъ туркова дѣвка?

— Она-съ не турка, а молдаванка,—отвѣтилъ Сашокъ досадливо.

— Отвѣчай что спрашиваю. Есть такая у него въ домѣ?

— Да-съ. У дядюшки она уже...

— Что же онъ, старый хрычъ, въ его годы соблазнъ эдакій и срамоту заводить... Сколько ему уже годовъ-то?

— Пятьдесятъ кажись восемь.

— Слава тебѣ Создателю!.. Скоро седьмой десятокъ и еще не напрыгался... Ты бы сказалъ ему, что срамъ.

— Не мое это дѣло, Серафима Григорьевна. Въ чужія дѣла мѣшаться—значитъ, никакого благопримчія не разумѣть...

— Что? Что? Что?—протянула княгиня, изумляясь дерзости.

— Не мое это дѣло-съ.

— А оно мое?

— Нѣтъ-съ. И не ваше-съ.

— Такъ какъ же ты смѣешь эдакъ со мной разсуждать и меня учить. А? Ахъ ты...

И княгиня прибавила крайне рѣзкое слово.

— Извините-сь,—вспыхнулъ вдругъ Сашокъ.—Когда я былъ ребеночкомъ, то можетъ быть въ постелькѣ со мной эдакое приключалось, какъ оно къ примѣру со всѣми малыми дѣтьми бываетъ. А теперь меня эдакъ называть нельзя-сь.

— А я тебѣ говорю, что ты...

И княгиня снова произнесла то же слово.

— А я сказываю, что вы ошибаетесь,—заявилъ Сашокъ уже рѣзко, а лицо его ярко запылало.

— А коли обидно тебѣ, скажу иначе, повѣжливѣе, но выйдетъ все то же... Ну—замарашка.

— И не замарашка-сь. Извините.

— Ну, вонючка, что-ли?

— Другой кто-сь. А не я...

— Другой. Кто другой?

— Не знаю-сь.

— Кто другой? Говори, грубиянъ.

Наступило молчаніе. Княгиня громко и тяжело дышала, сдвигая свои густыя черныя брови. Сашокъ стоялъ передъ ней, скосивъ глаза въ сторону, и сопѣлъ на весь залъ.

— Кто другой? Говори, грубиянъ! Говори! Я эдакого не спущу. Первый попавшійся галченкокъ будетъ мнѣ, дамѣ, княгинѣ... Говори!

Сашокъ молчалъ и сопѣлъ.

— Го-во-ри!—протянула княгиня, и на новое молчаніе она вымолвила тихо:

— Такъ я—вонючка-то... А-а?... Я дама и княгиня Трубецкая. Супруга генераль-аншефа... Ну такъ ради памяти... Не равно это слово свое забудешь... Получи.

И звонкая пощечина огласила залъ.

Сашокъ бросился на женщину, ухватилъ ее за воротъ капота и не зналъ, что съ ней сдѣлать?! Не бить же?! И онъ началъ тормозить княгиню. Ситецъ капота треснулъ, а здоровый ударъ кулака въ грудь чуть не опрокинулъ его на полъ. Онъ отскочилъ и побѣжалъ изъ зала.

XIII.

Сашокъ не помнилъ, какъ онъ вышелъ, вѣрнѣе выбѣжалъ турманомъ изъ дома Трубецкихъ. Онъ бросился даже самъ во дворъ, вмѣсто того, чтобы послать лакея, и, выхвативъ свою

лошадь изъ рукъ конюха, вскочилъ въ сѣдло и пустился вскачь.

Дорогой на скаку онъ почувствовалъ что-то особенное на лицѣ... Онъ не замѣтилъ и теперь только догадался, что волнение, досада и гнѣвъ заставили его заплакать. Глаза были влажны, а щеки мокры.

Прискакавъ домой, онъ не пошелъ къ себѣ, а прямо бросился, чуть не бѣгомъ, по лѣстницѣ на верхъ къ дядѣ.

Князь былъ у себя, читалъ книгу, но при появленіи племянника бросилъ ее и удивленно выговорилъ, почти ахнулъ: — Что ты? Что приключилось?

Лицо и вся фигура молодого человѣка заставили его сдѣлать этотъ вопросъ.

Сашокъ кратко и рѣзко, съ отчаяньемъ, звучавшимъ въ голосѣ, рассказалъ все...

— Ахъ, благая! воскликнулъ—князь.—Что же это?.. Вотъ что значить мужъ колпакъ. Волю бабѣ даетъ, она и блажить.

Вставъ и пройдясь по комнатѣ, князь прибавилъ:

— Ну и сиди дома. Не ѣзди больше. А я займусь и въ нѣсколько дней все устрою.

— Что, собственно, дядюшка?

— Устрою все. Найду тебѣ должность. Другую. А къ Трубецкимъ ни ногой больше. А встрѣчу я гдѣ эту благую бабу, то все ей выговорю, хоть бы при всей Москвѣ.

— Трудно, дяденька, найти такую же должность. Особливо въ Москвѣ.

— Пустое. Ужъ если князь Козельскій своего племянника, тоже князя Козельскаго, не сможетъ пристроить, такъ тогда конецъ свѣту. Авось у меня найдется «рука».

И въ этотъ же день вечеромъ князь сказалъ племяннику, стряпая по обыкновенію свое питье изъ рома и лимонада на горячей водѣ.

— Надумался я, Александръ Никитичъ. Надумалъ диво дивное. Не пойму, какъ мнѣ это раньше въ голову не пришло. Затемнѣніе какое-то нашло. У меня «рука» при дворѣ, но не сановникъ и даже не лакей. А при дворѣ. И увидишь, что я тебя живо пристрою къ кому-нибудь, кто будетъ не хуже генерала-аншефа Трубецкого и драчуньи генеральши-аншефихи. Твоя эта аншефиха извѣстна на всю Москву. Сказываютъ, что она супруга наказываетъ розгами.

— Что вы, дяденька!—ахнулъ Сашокъ.

— Сказываютъ... А ты знай, что не все то есть, что можно почестъ. Почитали люди долго, что солнце ходитъ, а земля стоитъ. И что она наша матушка-кормилица—вотъ такъ, что доска съ краями. И говорятъ по сю пору... Солнце де всходитъ или зашло... А надо бы сказывать: земля подошла, земля отходить... Сказывается: на край свѣта. А края сего нѣтъ и не было. Не понялъ? Не вѣришь. Ну, наплевать. И не надо!

И князь размѣялся звонко и отпустилъ Сашка спать.

Князь Александръ Алексѣевичъ былъ правъ, сказывая, что у него найдется «рука»—не сановникъ, не вельможа, и даже не придворный лакей. Загадка объяснялась просто: «Рука» была не мужчина, а женщина.

Лѣтъ пять назадъ князь познакомился случайно въ Петербургѣ съ Марьей Саввишной Перекусихиной. Тогда женщина эта не имѣла никакого значенія ни въ городѣ, ни при дворѣ. Императрица и наслѣдникъ престола ее даже не долюбливали, а любившая ее великая княгиня сама была временно какъ бы въ опалѣ у царицы за открытіе неосторожнаго дѣянія—переписки съ графомъ Бестужевымъ.

Князю понравилась умная Перекусихина. Онъ безъ всякой задней мысли пожелалъ сблизиться съ ней, нѣсколько разъ побывалъ у нея въ гостяхъ, и вмѣстѣ говорили они о трудномъ положеніи великой княгини. Однажды онъ узналъ изъ словъ Перекусихиной, что она ищетъ въ Петербургѣ небольшую сумму денегъ для великой княгини, а банкроты отказываютъ дать что-либо, боясь огласки и гнѣва императрицы. Поэтому, она находится въ большемъ затрудненіи. Князь добродушно, тотчасъ же предложилъ эти деньги—всего нять тысячь.

Перекусихина заявила, что если дѣло пойдеть еще хуже, наступитъ настоящее гоненіе на великую княгиню, то ей, пожалуй, придется уѣзжать къ матери. Все можетъ случиться! Самъ Петръ Θεодоровичъ можетъ лишиться наслѣдія престола. И тогда деньги князя пропадутъ.

— Ну, и Богъ съ нами!—сказалъ Козельскій. А все-таки сдѣлайте мнѣ честь и удовольствіе—примите.

Вскорѣ, выѣхавъ изъ Петербурга, князь не видѣлъ болѣе Перекусихиной и забылъ, конечно, о маленькой для него суммѣ, которую далъ. Узнавъ о воцареніи Императора Петра III, онъ узналъ, какъ и всѣ россияне, что положеніе государыни Екатерины Алексѣевны стало еще хуже, чѣмъ было при покойной царицѣ.

Затѣмъ, узнавъ и ахнувъ, какъ и вся Россія, о вступленіи на престолъ новой императрицы, князь Козельскій вспомнилъ о своемъ знакомствѣ съ Перекусихиной и сообразилъ, что совершенно случайно, безъ всякаго лукаваго повода, оказалъ маленькое одолженіе неожиданной никѣмъ императрицѣ. Князь понялъ, что если Перекусихина посудитъ это дѣло такъ, какъ слѣдуетъ, то у него вдругъ явится сильное покровительство во всякомъ дѣлѣ.

«А кого больше предпочесть,—разсуждалъ князь самъ съ собой,—тѣхъ-ли, что съ вами хороши и добры, когда вамъ плохо, или тѣхъ, которые могутъ лебезить и свои чувства излагать, когда хорошо и безъ нихъ?»

Съ тѣхъ поръ, что государыня переѣхала въ Петровское, князь Александръ Алексѣевичъ сталъ собираться въ гости къ Перекусихиной, но все откладывалъ свой визитъ, не зная, какъ поступить. Прямо ли ѣхать запросто, какъ прежде въ частному лицу, или же отнестись теперь къ Перекусихиной, какъ придворному человѣку, и явиться официально, испросивъ на это заранее разрѣшеніе?

Явился серьезный мотивъ не откладывать своего визита, и князь рѣшилъ дѣло просто. Онъ отправилъ въ Петровское племянника, чтобы онъ доложилъ о себѣ горничной Перекусихиной, а эту послалъ попросить на словахъ разрѣшенія быть самому князю-дядѣ.

Если бы приходилось явиться къ самой Перекусихиной, Сашокъ, конечно, струсилъ бы..

— Ну, а горничная—все-таки горничная, хоть и во дворцѣ!—разсудилъ онъ.

XIV.

Однако, вышло иное...

Сашокъ съѣздилъ и вернулся важный, радостный съ хорошей вѣстью. Перекусихина сама приняла его, незнакомаго ей молодого офицера, такъ ласково, такъ обрадовалась, что князь Александръ Алексѣевичъ въ Москвѣ и желаетъ ее видѣть, что Сашокъ совсѣмъ не конфузился. И конечно, по всему вѣроятно, она приметъ князя, какъ настоящаго пріятеля.

На другой же день, около полудня, какъ было ему назначено, князь явился въ Петровское. Онъ былъ тотчасъ же при-

нять Перекусихиной, и умная, тонкая женщина, усадивъ его, спросила прежде всего:

— Чѣмъ мнѣ васъ угощать?

— Помилуйте, Марья Саввишна, я не за тѣмъ! Я явиться...— началъ князь.

— Полно, полно! Не могу я васъ такъ принимать, какъ другихъ. Нужно какое-либо отличіе. Будемъ мы этакъ бесѣдовать, выйдетъ какая-то аудіенція. А мы вѣдь съ вами — старые пріятели. Ну, давайте кофе пить!

И она приказала тотчасъ же горничной кофе сварить самой.

— Не на кухнѣ. А сама...

— Слушаю-съ.

— Знаешь какой? Тотъ самый, что я для государыни варю—гамбургскій! У меня не простой гость сидитъ,—показала она на князя,—а мой давнишній, хорошій благопріятель.

Князь, конечно, понялъ, что все это было сказано горничной умышленно, чтобы окончательно убѣдить его, какъ относится къ нему женщина.

— Ну, князь, а денешки свои ты все-таки малость обожди!— сказала Перекусихина тотчасъ же.

— Что вы! Что вы!—привскочилъ Козельскій.—Да и поминать не можете объ этомъ! Отсохни мои руки, если я эти гроши назадъ получу!

— Что вы? Какъ можно!

— Да такъ! Ни за что не возьму! Что хотите, дѣлайте! Хоть въ крѣпость меня пускай посадятъ, а я эти деньги назадъ не возьму. Сами вы знаете, Марья Саввишна, что при моемъ достояніи такія деньги—совсѣмъ маленькія.

— Не въ томъ сила, князь, а все-таки онѣ были взяты взаймы...

— И говорить объ этомъ не хочу! Ни за что на свѣтѣ ихъ не возьму!

— Какъ знаете. Тогда я должна доложить...

— Вы меня обижаете, думая, что я за этимъ пріѣхалъ къ вамъ. Я пріѣхалъ, просто желая васъ видѣть, поздравить и порадоваться, что обожаемая вами особа стала російской императрицей. Да еще какъ! Спасла отечество, вѣру. Спасла всѣхъ насъ, россиянь, отъ сугубыхъ бѣдъ! Небось, какъ теперь счастлива государыня отъ достиженія святой цѣли!

— Охъ, князь, ошибаетесь вы!—печально отвѣтила Перекусихина.—Если бы вы видѣли мою горемычную государыню! Нѣтъ человѣка на свѣтѣ болѣе несчастнаго.

— Что вы?—изумился Козельскій.

— Да, князь! Хорошо такъ вчужѣ судить, заглазно, а если бы всѣ знали, какое положеніе государыни? Другому кому я бы такъ сказывать не стала... Но вамъ, моему старому благопріятелю, я прямо говорю: положеніе наше ужаснѣйшее. Я сказываю «наше», потому что все, чтока сается до государыни, касается и до меня. Улыбнется она—и я счастлива. Заплачетъ она — и я несчастнѣе самыхъ несчастныхъ. А положеніе истиннѣ мудреное. Такое мудреное, что умъ за разумъ заходить...

— Да что же такое? — спросилъ князь, продолжая изумленно глядѣть въ лицо женщины.

— Да какъ вамъ сказать? Коротко скажу. Кругомъ однѣ козни, одни враги... Вороги лютые!

— Кто?

— Да всѣ!

— Да какъ всѣ, Марья Саввишна?

— Да всѣ! Какъ есть всѣ! Начать пересчитывать, такъ и конца не будетъ...

— Да назовите хоть кого-нибудь. А то я и понять не могу.

— Извольте. Злокознятъ на мою бѣдную государыню самыя близкіе: господа Орловы, графъ Воронцовъ, Бестужевъ, княгиня Дашкова, Тепловъ, Бецкой... Хотите, еще кого назову? Могу еще много народу назвать! А пуще всѣхъ заѣдаетъ ее злая собака... Ну, тьфу! Обмолвилась я... Да съ вами можно! Вы меня не выдадите. Да прямо скажу: именно злая собака!

— Кто же такой?

— Между нами, князь! Подъ великимъ секретомъ... Я привыкла съ вами не скрытничать.

— Конечно! Конечно! Помилуйте! Неужто вы ко мнѣ вѣры не имѣете теперь. Вспомните только... — воскликнулъ весело князь.—Вспомните, какія мы бесѣды вели когда-то въ Петербургѣ. Такія, за которыя могъ я тогда въ крѣпость попасть.

— Да и я тоже, еще скорѣе васъ, — улыбулась Перекусихина, оживляясь на мгновеніе, и прибавила тише:

— Ну-съ, вотъ. Пуще всѣхъ одолѣваетъ государыню Никита Ивановичъ Панинъ.

— Какимъ образомъ?

— Да просто! Вы его знаете?

— Знаю! И достаточно!

— Знаете, что онъ человѣкъ, коего честолюбію нѣтъ предѣла?

— Это вѣрно!

— Еще при покойной императрицѣ онъ надсѣдался стать скорѣй властнымъ человѣкомъ, да Шуваловы удалили его и такъ-ли, саякъ-ли заставили его просидѣть въ Швеціи. Сдѣлавшись воспитателемъ государя наслѣдника, онъ, конечно, снова сталъ мечтать о себѣ. А теперь, когда вступила на престолъ государыня, онъ совсѣмъ разумъ потерялъ, прожигаемый своимъ честолюбіемъ. И сказывать, князь, нельзя, что онъ измыслилъ! Боюсь я говорить...

— Полноте, Марья Саввишна, мнѣ это недоувѣріе ваше даже обидно. Не то было прежде... — сказалъ князь съ упрекомъ.

— Извольте! Неужели вы не слыхали, что онъ при отреченіи Петра Ѳедоровича измыслилъ со своей партіей, съ главнымъ своимъ орудователемъ—Тепловымъ немедленно объявить императоромъ юнаго Павла Петровича, государыню — простой правительницей, а себя тоже правителемъ. И стало быть до совершеннопѣтія великаго князя онъ сталъ бы править всей Россіей самовластно, какъ бы регентъ. Такъ же, какъ когда-то правилъ Биронъ, если не съ той же злобой, то съ той же властью. И вотъ эти его ухищренія государыня тогда одолѣла. Помогли много, правду надо сказать, Орловы со своими ближними. Ну вотъ теперь Никита Ивановичъ новое и затѣялъ. Одно не выгорѣло, онъ за другое схватился, и такое же—не меньшее.

— Да что же, собственно? — крайне удивляясь, спросилъ Козельскій.

— Да неужели въ Москвѣ ничего не слышно объ этомъ?

— Можетъ быть и слышно, Марья Саввишна, да до меня не дошло!—схитрилъ князь.

— Ну, такъ я вамъ скажу. Никита Ивановичъ желаетъ, мало сказать, прямо-таки требуетъ, чтобы государыня тотчасъ послѣ коронаціи объявила манифестомъ объ учрежденіи Верховнаго Совѣта, состоящаго изъ пяти лицъ и, конечно, въ семь Совѣтъ главнымъ лицомъ будетъ...

Перекусихина запнулась и смолкла, такъ какъ горничная вошла съ подносомъ, гдѣ дымился кофе... Когда она поставила его предъ княземъ и вышла, Перекусихина заговорила тише:

— Главнымъ заправителемъ и коноводомъ будетъ, конечно, самъ графъ Панинъ. И будетъ этотъ Совѣтъ императорскій управлять всей Имперіей.

— Станетъ онъ, стало быть, — спросилъ князь, — выше сената?

— Еще бы! Гораздо выше! Да что лукавить. Понятно, что это за Совѣтъ!—И вы сами понимаете. Сии императорскіе совѣтники станутъ выше самой императрицы! Никита Ивановичъ почти и не скрываетъ, что совѣтники императорскіе будутъ рѣшать дѣла и докладывать императрицѣ не для рѣшенія, а для обсужденія якобы и подписанія.

— Ну, не ожидаль!—воскликнулъ князь.—Однако, стоить-ли государынѣ тревожиться и озабочиваться этимъ? Сказать Никитѣ Ивановичу, чтобы онъ очухался, сидѣлъ смирно и конецъ! Ну, а другіе-то что же? — прибавилъ князь. — Почему тоже вороги лютые?

— Другіе-то? Всякій со своимъ! Братья Орловы недовольны, что одна ихъ затѣя не ладится. А затѣя такая, что я и вамъ сказать не рѣшаюсь. Княгиня Дашкова недовольна, что государыня не призываетъ ее ежедневно на совѣтъ, какъ какія государственныя дѣла рѣшать, и на всѣхъ перекресткахъ кричить, что она одна предоставила государынѣ російскій престолъ, что безъ нея ничего бы не было, все бы ухнуло и государыня была бы въ заточеніи, а не императрицей, а государь былъ бы женатъ на ея сестрѣ, Воронцовой. Бестужевъ изъ себя выходитъ, а когда подъ хмѣлькомъ, то на стѣны лѣзетъ—желаетъ быть опять и скорѣе канцлеромъ. Да и всѣ то, кого ни возьмите, всѣ недовольны, всѣ рошцуть, всякій просить своего. Да и грозится.—Вотъ это обидно!

— Грозится?!—повторилъ князь. Да я бы за эдакое... Въ Пелымъ! Въ Березовъ!

— Да, князь, грозитъ всякій чѣмъ-нибудь. Иванъ Ивановичъ Шуваловъ открыто сказывалъ, тому съ мѣсяцъ, что по закону да и по совѣсти настоящій наслѣдникъ престола Иванъ Антоновичъ.

— Ахъ, разбойники!—воскликнулъ князь.—Прямо разбой. Бунтъ! Въ Пелымъ! А то пусть вспомнятъ Артемія Петровича Волинскаго.

— Да и этого всего мало. Одну изъ сугубыхъ заботъ государыни я позабыла, — продолжала Перекусихина, — все російское духовенство...

— Требуется возвращенія отобраннаго имущества? — спросилъ князь.

— Конечно!

Князь не отвѣтилъ и потупился.

— Что молчите?

— Да какъ бы вамъ сказать, Марья Саввишна. Молчу потому, что, воля ваша, а я сей государственной мѣры не полагаю справедливой. Нельзя духовенство большой Имперіи пустить по міру и заставить жить въ проголодь. Нельзя дѣлать не только изъ митрополита, а даже изъ простого приходскаго священника простого наемника, приравнять его якобы къ какому знахарю, что-ли: пришелъ, дѣло свое справилъ и вотъ тебѣ въ руку гривну—двѣ. Этимъ и живи! Доходы духовныхъ лицъ должны были быть оставлены. Эта государственная мѣра была вреднѣйшая. Недовольство всего руссійскаго духовенства я прямо оправдываю. Не гнѣвайтесь на меня!

— Дорогой мой князь, — воскликнула Перекусихина, — что же вы скажете, если я вамъ открою, что государыня говоритъ то, что и вы! Чуть вотъ не самыми этими словами. Да сдѣлать-то ничего нельзя! Нельзя вернуть имущество, когда оно уже раздарено, раскуплено, принадлежит другимъ лицамъ. А главное, знаете-ли вы, что будетъ, если монастырскіе бывшіе крестьяне снова попадутъ въ крѣпость, изъ которой избавили ихъ. Крѣпость, которая была для нихъ особливо нежелательная и противная, зависѣтъ отъ монаховъ, а не отъ дворянъ! Какъ вы полагаете, если снова всѣ эти сотни и тысячи приписать опять къ монастырямъ, что будетъ? Бунтъ будетъ! Появится новый Стенька Разинъ на Руси! Думали-ли вы объ этомъ?

— Да, правда. Дѣло мудреное! Это вотъ забота пущая, чѣмъ разныя мечтанья Шуваловыхъ или Паниныхъ.

— Ну, а иностранныя дѣла, князь, въ какомъ они видѣ? Въ заморскихъ земляхъ ничего, думаете, не дѣлаютъ, никакихъ подкоповъ не ведутъ? Одинъ прусскій король, любившій Петра Ѳедоровича, какъ бы какого любимаго сына — и тотъ клятву далъ прямо стараться лишить государыню престола.

— На это, Марья Саввишна, руки коротки!

— Въ такія смутныя времена, которыя мы переживаемъ въ Москвѣ, все, князь, возможно! Всякія короткія руки длинны!

Давъ Перекусихиной высказаться, князь, разумѣется, заговорилъ о своемъ дѣлѣ. Но онъ не сталъ просить Марью Саввишну помочь, а очень искусно объяснилъ, что у всякаго свое

горе, свои заботы. И вотъ у него, князя, новая забота, гдѣ деньгами не поможешь. Племянникъ, офицеръ-измайловецъ, князь Козельскій, такой же, какъ и онъ. И приходится покидать мѣсто ординарца, а другого нѣтъ.

— Ну это все пустое, князь, — улыбулась Перекусихина. — Я счастлива буду вамъ въ пустякахъ услужить. Румянцевъ покинулъ командованіе арміей въ Пруссіи и пріѣзжаетъ поклониться новой царицѣ. На дняхъ будетъ здѣсь. И вотъ я ему словечко скажу... И будетъ вашъ племянникъ на видномъ мѣстѣ, а не у Трубецкого.

— Ну, спасибо вамъ, дорогая Марья Саввишна, — воскликнулъ князь. — А я сейчасъ прямо отъ васъ ѣду къ Никитѣ Ивановичу и буду... какъ это по-французской поговорицѣ... Буду у него изъ носу червей таскать... Вывѣдаю все, что мнѣ нужно... А нужно мнѣ, чтобы дѣйствовать. Вѣришь, чтобы горланить по Москвѣ. Горланить иногда какъ бываетъ хорошо и полезно, если горланишь умно и хитро.

XV.

Важной особой, благодаря уму, тонкости и хитрости, былъ Никита Ивановичъ Панинъ въ эти смутные дни начинающагося третьяго мѣсяца царствованія новой императрицы, которую законъ коренной и естественный допускалъ, разумѣется, быть лишь правительницей за малолѣтняго сына, а не монархомъ. Все натворило смѣлое, отважное, ловко задуманное и лихо произведенное питерское «дѣйство» гвардіи, съ Орловыми во главѣ.

— На бунтовщицѣе лихое дѣйство есть постепенное, скромное, но твердо неукоснительное воздѣйствіе законовъ, — разсуждалъ Панинъ, стараясь теперь изъ монархини сдѣлать регентшу de facto.

Пріѣхавъ къ Панину, князь нашель его въ радостномъ настроеніи духа. Онъ, видимо, старался если не скрыть, то хотя смягчить свое, почти восторженное состояніе души. Въ глаза бросалось, что съ нимъ что-то случилось особенное, сдѣлавшее его счастливымъ.

Князь не могъ промолчать и выговорилъ.

— Полагаю, что есть что-либо новое и вамъ пріятное.

— Да... да... Во-истину пріятное, — заявилъ Панинъ. — Радуюсь. Счастливъ. Но не за себя, а за отечество. За Имперію.

— Вонъ какъ!—удивился князь. — Полный и конечный миръ съ пруссами заключенъ.

— Нѣтъ... Это что... Лучше того... На короля Фридриха мы можемъ теперь рассчитывать... Есть нѣчто важнѣйшее, благотѣльнѣйшее, не для внѣшнихъ, а для внутреннихъ дѣлъ.

— Для внутреннихъ?—удивился князь очень искусно.

— Да. Я не могу вамъ сказать всего... Это государственная тайна. Скажу только, что я подаль государынѣ прожектъ новаго важнѣйшаго учрежденія, главнѣйшаго въ Имперіи. Ну вотъ, государыня мнѣ сегодня передала, что одобряетъ сей прожектъ и не замедлитъ повѣдать о немъ во всенародное свѣдѣніе. Но что такое, именно, я не могу вамъ сказать.

— Я вамъ скажу, Никита Ивановичъ.

— Вы? Полноте. Что вы! Это извѣстно лишь государынѣ, мнѣ, сочинителю прожекта, да развѣ еще двумъ персонамъ, графу Алексѣю Григорьевичу Разумовскому, да будущему графу Григорію Григорьевичу, конечно...

— А отъ него, Орлова, съ братьями и всей Москвѣ.

— Что вы?!—изумился Панинъ.

— Вѣрно. Я все-таки больше москвичъ, чѣмъ вы, и знаю больше. Повѣрьте, что всякое и важное и пустое, доходящее до дома будущихъ графовъ, тотчасъ расходится по всей столицѣ.

— Это горестно, князь...

— Конечно.

— Но, право, я думаю—вы ошибаетесь... Ну, скажите, про что я собственно говорю. Коли правда, я признаюсь вамъ.

— Вы сказываете о новомъ учрежденіи при царицѣ. Властномъ, высокомъ, которому и именованіе будетъ: «верховный», и еще другое именованіе: «тайный».

— Да!—тихо вымолвилъ Панинъ.—Да.

— Вотъ видите. Москва знаетъ и уже пересуживаетъ на свой салтыкъ.

— Что же она говоритъ?

Князь внутренно разсмѣялся тому, что собирался отвѣтить или выпалить, такъ какъ Панинъ, очевидно, судя по ихъ разговору, считаетъ его въ числѣ своихъ сообщниковъ.

— Ну-съ, что же она говоритъ?

— Москва-то, Никита Ивановичъ?

— Да.

— Она говоритъ—дудки!

— Какъ?

— Дудки! Вамъ извѣстно оное выраженіе російское?

— Извѣстно, князь,—сумрачно отвѣтилъ Панинъ.—Но я его не понимаю хорошо въ семь случаѣ, въ коемъ рѣчь у насъ.

— Москва Московна, старушенція,—заговорилъ князь другимъ голосомъ,—привыкла жить по-Божью. Нemoжеть судить, какъ старуха, всякое обстоятельство, какъ судить мальчугашка, у коего еще и пушка на губахъ нѣтъ, и которому по молодости лѣтъ все простиительно. Простиительно и легкосердечіе, и легкомысліе. На то онъ и мальчугашка.

— Про кого вы говорите, князь.

— Про Петербургъ, Никита Иванычъ, которому только шестьдесятъ лѣтъ. А это для города, да еще для столицы, то же, что для человѣка младенчество.

Наступило молчаніе, послѣ котораго Панинъ выговорилъ:

— Тутъ дѣло не въ столицахъ,—въ Петербургѣ тѣ же русскіе люди и тѣ же сыны отечества.

— Однако, многое, что творится въ Питерѣ, и кажется хорошимъ, даже наряднымъ, Москвѣ кажется совсѣмъ не годнымъ. Вотъ Москва теперь и сказываетъ, что коли Россія пережила одного Бирона, то зачѣмъ же ей наживать снова временщика съ царской властью и безъ царской отвѣтственности предъ Богомъ. Москва говоритъ: пускай царь или царица хоть и худо въ чемъ поступить, да это худо будетъ царское худо, помазанника Божія! и какъ таковое, пожалуй, оно окажется лучше проходимцева добра. Вотъ ваше учрежденіе совѣта, который будетъ править и царицей—Москвѣ и не по душѣ.

— Не царицей, князь, а имперіей. Въ облегченіе заботъ и трудовъ царскихъ...

— Охъ, Никита Иванычъ!—закачалъ князь головой.—Облегченіе?! Слово придумано удивительное. У насъ по дорогамъ обозы вотъ грабятъ... Зло великое для торговли и нескоренное. Купецъ говоритъ вздыхая: опять обозъ у меня въ пути облегчили.

Панинъ насупился и не отвѣчалъ ни слова.

„Ну, отвелъ душу!“—подумалъ князь и тотчасъ же сталъ прощаться.

И затѣмъ цѣлый день до вечера, и весь слѣдующій день, князь разъѣзжалъ по Москвѣ, по друзьямъ и знакомымъ, и на всѣ лады осуждалъ „надменномысліе“ пестуна цесаревича.

Черезъ два дня разговоръ князя Козельскаго съ Панинымъ былъ уже извѣстенъ Перекусихиной. Самъ князь снова сѣзидилъ къ любимицѣ государыни и передалъ все подробно. Онъ прибавилъ, что уже два дня всюду „горланить“ таковое же. И всюду его „громогласное насмѣханіе“ надъ проектомъ Панина встрѣчаетъ общее сочувствіе.

И это была истинная правда. Москва дворянская ахнула при извѣстїи объ томъ, что будетъ пять, а кто говорить и восемь верховныхъ правителей, яко бы совѣтниковъ монархини, которые будутъ „нѣкоторое происхождение дѣл“ рѣшать и вершить, даже не докладывая объ нихъ государыни, чтобы „облегчить“ ея трудъ. Но Москва даже не встревожилась, даже не сердилась. Она, матушка, „золотая голова“, только смѣялась, и ради смѣха спрашивала:

— Кто же такіе эти будущіе верховные, тайные правители? Коли бѣдные, то будутъ скоро богаты... только не разумомъ!

По совѣту той же Перекусихиной, князь собрался къ фельдмаршалу Разумовскому.

— Ступайте, князь...—сказала она.—Ступайте и передайте графу Алексію Григорьевичу отъ меня поклонъ низжайшїй и прибавьте: Марья Саввишна приказала-де вамъ сказать, что если у васъ имѣется теперь любопытное писаніе гордаго сочинителя, то покажите-де его мнѣ, князю. Вмѣстѣ посмѣемся, да смѣясь и разсудимъ, такъ какъ оба здравосуды, а не криволки.

Князь понялъ, въ чемъ дѣло, и разсмѣялся. И онъ тотчасъ же отправился къ Разумовскому, съ которымъ былъ почти въ дружескихъ отношенїяхъ.

Фельдмаршалъ графъ Разумовскїй, переѣхавшїй въ Москву тотчасъ по смерти Елисаветы Петровны, рѣшилъ сдѣлаться совсѣмъ москвичемъ.

Всесильному вельможѣ и любимцу покойной императрицы было почти невозможно оставаться на берегахъ Невы и быть свидѣтелемъ правленїя новаго императора и быстрого возвышенїя новыхъ людей.

Во время краткаго полугодоваго царствованїя Петра III, онъ ясно видѣлъ, что оставаться при дворѣ для него отчасти даже опасно. Онъ рисковалъ ежедневно навлечь на себя безпричинный гнѣвъ прихотливаго и капризнаго государя и вдругъ лишиться всего... Опала вельможѣ и конфискація новымъ правительствомъ имуществъ, ихъ вотчинъ и капиталовъ, жалован-

ныхъ предшествующими монархами, бывало въ Петербургѣ сплошь да рядомъ, и вошло какъ бы въ обычай.

Однако, при воцареніи Екатерины, обоимъ братьямъ Разумовскимъ, фельдмаршалу и генералу, сразу стало легче, государыня особенно милостиво отнеслась къ обоимъ, но кто могъ ручаться за будущее? Да и самое положеніе новой царицы казалось очень многимъ опытнымъ людямъ ненадежнымъ и шаткимъ. А претендентовъ на престолъ, однако, не было. Объ принцѣ Іоаннѣ Антоновичѣ могли толковать люди, только совершенно незнакомые съ его положеніемъ, съ его умственнымъ состояніемъ, а законный наслѣдникъ Петра III былъ еще младенцемъ.

И многіе испугались, и Разумовскіе въ томъ числѣ, учрежденія императорскаго совѣта, которое умные и сильные люди возмнили и упорно захотѣли вырвать изъ рукъ царицы, еще не чувствующей подъ собой твердой почвы.

Это учрежденіе должно было прямо передать власть въ руки нѣсколькихъ человекъ, которая стала бы опасна, даже пагубна для многихъ изъ прежнихъ сильныхъ вельможъ. Два, три врага въ этомъ императорскомъ верховномъ совѣтѣ могли бы если не сослать, хоть тѣхъ же Разумовскихъ, въ ссылку, то сдѣлать—нищими, конфисковать все пожалованное имъ Елисаветой, хоть въ свою же пользу.

Въ началѣ царствованія новой императрицы уже повторилось много разъ видѣнное въ Петербургѣ, хотя на этотъ разъ болѣе справедливое. Тотчасъ послѣ ея воцаренія, у любимца Петра III, Гудовича, было конфисковано все подаренное ему государемъ, т. е. огромное состояніе.

Какъ легко дарились помѣстья, и даже цѣлые города съ феодальными правами всякихъ сборовъ и наборовъ, такъ же легко и отнимались. За все первое полустолѣтіе оно было обычнымъ явленіемъ.

Младшій Разумовскій, гетманъ Малороссіи, Кириллъ Григорьевичъ, былъ смѣльѣ брата и еще мечталъ о службѣ, о почестяхъ, и даже дошелъ до того, что сталъ просить государыню сдѣлать гетманство наслѣдственнымъ въ его родѣ. Но это должно было только послужить поводомъ къ окончательному уничтоженію гетманства.

Но фельдмаршалъ, наоборотъ, ничего не желалъ, кромѣ спокойствія, безопасности и совершеннаго забвенія его личности правительствомъ.

Графъ Алексѣй Григорьевичъ перебрался изъ Петербурга со всѣмъ имуществомъ и со всѣмъ скорбомъ на нѣсколько сотъ тысячъ. Москва и прежде была ему болѣе по душѣ, чѣмъ Петербургъ, а теперь нравилась сугубо, когда не было уже на свѣтѣ женщины, сдѣлавшей его изъ простаго казака графомъ и фельдмаршаломъ, и даже супругомъ, какъ утверждала молва.

Москва, конечно, обрадовалась новому, именитому обывателю, богачу и хлѣбосолу, доброму, радушному, котораго давно знала и очень уважала.

Теперь, въ дни коронаціонныхъ празднествъ, Алексѣй Григорьевичъ жилъ не въ гостяхъ у Москвы, временно, какъ другіе петербуржцы, а у себя дома, въ обстановкѣ, которая москвичамъ была еще диковиной, своей причудливой роскошью и пестротой. Обиліе характерной мебели, цѣнной бронзы и чудныхъ картинъ было еще необычнымъ явленіемъ въ большихъ дворянскихъ домахъ Москвы. До сихъ поръ славилась богачи просторомъ домовъ и комнатъ, наполовину пустыхъ. Но зато всякій озабочивался, чтобы «домъ былъ красенъ не углами, а пирогами».

XVI.

Графъ-фельдмаршалъ принялъ князя, какъ всегда, радушно, но узнавъ объ поклонѣ и словахъ Перекусихиной, задумался.

— Что же?—сказалъ онъ помолчавъ.—Прямого указанія самой государыни вы мнѣ, князь, не привезли. Но Марья Саввишна знаетъ, что дѣлаетъ. Извольте, я вамъ прочту писаніе, которое царица соизволила мнѣ дать на обсужденіе.

И графъ досталъ изъ потайнаго ящика письменнаго стола тетрадь.

— Позвольте мнѣ не утруждать себя и васъ прочтеніемъ всего писанія, а прочесть только существенное, касательное этого учрежденія... Скажу,—верховнаго верпителя судебъ россіянъ, купно съ самимъ монархомъ. При избраніи царицы Анны было тоже посягательство вольнодумовъ. Но было все тогда прямодушно, открыто сказано и сдѣлано, а затѣмъ, открыто похерево... А это—лишь сочинительство...

Графъ переглядѣлъ страницы тетради, и найдя мотивированіе и объясненіе верховнаго совѣта, началъ читать вполголоса, хотя двери были заперты.

«Сенатъ имѣеть подъ управленіемъ всѣ коллегіи, канцеляріи, конторы, яко центръ, у котораго все стекается, но онъ подъ государевой державной властью не можетъ имѣть права законодателя, а управляетъ по предписаннымъ законамъ и уставамъ, которые изданы въ разныя времена, и можетъ быть, по большей части въ наивредительнѣйшія, то есть тогда, когда при настояннй случая, что востребовалось. Слѣдовательно, какія бы предписанія сенатъ не имѣлъ о попеченіи, чтобы натуральная переменна временъ, обстоятельствъ и вещей всегда были обращены въ пользу государственную, ему, въ разсужденіе его существеннаго основанія, невозможно сего исполнить, ибо его первое правило наблюдать теченіе дѣлъ.

«Сенаторъ и всякій другой судья пріѣзжаетъ въ засѣданіе такъ, какъ гость на обѣдъ, который еще не знаетъ не токмо вкусу кушанія, но и блюды, коими будетъ потчиванъ. Изъ сего само собою заключается, что главное, истинное и общее о всемъ государствѣ попеченіе замыкается въ персонѣ государевой. Онъ же никакъ инако полезное дѣйство произвести не можетъ, какъ разумнымъ раздѣленіемъ между нѣкоторымъ малымъ числомъ избранныхъ къ тому единственно персонъ.

«Взявъ эпоку царствованія императрицы Елисаветы Петровны, князь Трубецкой тогда первую часть своего прокурорства производилъ по дворянскому фоверу, какъ случайный человекъ, слѣдовательно не законы и порядокъ наблюдалъ, но все могъ, все дѣлалъ и, если осмѣлится сказать, все прихотливо развращалъ, а потомъ самъ сталъ быть угодникомъ фаворитовъ и «припадочныхъ» людей. Сей эпоку заслуживаетъ особливое примѣчаніе: въ немъ все было жертвовано настоящему времени, хотѣніямъ «припадочныхъ» людей и всякимъ постороннимъ малымъ приключеніямъ въ дѣлахъ.

«Образъ восшествія на престолъ покойной императрицы требовалъ ея разумной политики, чтобъ, хотя сначала, сообразоваться сколько возможно съ неоконченными уставами правленія великаго ея родителя, въ слѣдствіе чего тотчасъ былъ истребленъ учрежденный до того во всей государственной формѣ кабинетъ, который, особливо когда Биронъ упалъ, принялъ было такую форму, которая могла произвести государево общее обо всемъ попеченіе. Ея Величество вспомятовала, что у ея отца-государя былъ домовый кабинетъ, изъ котораго, кромѣ партикулярныхъ приказаній, ордеровъ и писемъ, ничего не выходило, приказала и у себя такой же учредить.

«Тогдашніе случайные и припадочные люди воспользовались симъ «домашнимъ мѣстомъ» для своихъ прихотей и собственныхъ видовъ, и поставили средствомъ онаго всегда злоключительный общему благу интервалъ между государя и правительства. Они, временщики и куртизаны, сдѣлали въ немъ, яко въ безгласномъ и никакого образа государственнаго не имѣющемъ мѣстѣ, гнѣздо всѣмъ своимъ прихотямъ, чѣмъ оно претворилось въ самый вредный источникъ не токмо государству, но и самому государю. Вредное государству, потому что стали изъ него выходить всѣ сюрпризы и обманы, развращающіе государственное правосудіе, его уставы, его порядокъ и его пользу подъ формою именныхъ указовъ и повелѣній во всѣ мѣста.

«Въ такомъ положеніи государство оставалось подлинно безъ общаго государскаго попеченія съ теченіемъ только обыкновенныхъ дѣлъ по однимъ указамъ всякаго сорта. Государь былъ отдаленъ отъ правительства. Прихотливые и «припадочные» люди пользовались кабинетомъ, развращали форму и порядокъ и хватали отовсюду въ него дѣла на безконечную нерѣшимость пристрастными изъ него указами и повелѣніями.

«Между тѣмъ большіе и случайные господа предѣловъ не имѣли своимъ стремленіямъ и дальнимъ видамъ, государственныя оставались безъ призрѣнія; все было смѣшано; всѣ наиблагороднѣйшія должности и службы претворены были въ ранги и въ награжденія любимцевъ и угодниковъ; вездѣ «фаворитъ» и старшинство людей опредѣляло; не было выбору способности и достоинству. Каждый по произволу и по кредиту дворскихъ интригъ хваталъ и присваивалъ себѣ государственныя дѣла, какъ кто которыми думалъ удобнѣе своего завистника истребить или съ другимъ противъ третьяго соединиться»...

XVII.

— Ну, прямо было царство Шемяки, а не Лизаветь Петровна!—воскликнулъ князь, прерывая чтеніе.

— Да. Что вы скажете?—вымолвилъ графъ, опуская на колѣни бумагу.—Ну, а словечко: «припадочные люди»?

— Это не все?—спросилъ князь.

— Нѣтъ. Дозвольте еще чуточку прочесть. А вы мнѣ теперь скажите, вотъ это какъ вамъ кажетъ?

— Трудно отвѣчать, Алексѣй Григорьевичъ. По моему, совсѣмъ что-то такое невозможное... Слушаешь—и ушамъ не вѣришь!

— Вотъ и я такъ-то говорю, Александръ Алексѣевичъ. А государыня мнѣ вчера сказывала, что нѣкоторыя лица говорили ей, что удивляются этому писанію. А другія лица докладывали ей, что сіе писаніе прямо продерзостное и что отъ этакого, если бы оно состоялось, будетъ истинный переполохъ во всей Россійской Имперіи. А одна особа, которую государыня не пожелала мнѣ пока назвать, прочитавши это писаніе, такъ выразилась, что это-де, ваше императорское величество, хитроумнѣйшее, злокозненное сочинительство и писатель онаго прожекта тщится все сіе оборотомъ представить.

— Не совсѣмъ я понимаю!—отозвался князь.

— А вотъ слушайте! Эта особа выразилась, что писатель, а вамъ извѣстно, кто онъ, подъ видомъ облегченія трудовъ монарха, желаетъ собственно учрежденія того, что въ древности у греческаго народа прозывалось олигархіей. Слово сіе государыня мнѣ повторила два раза, я его записалъ, а поэтому не ошибаюсь, а значить оно—главенство нѣсколькихъ человекъ надъ самимъ монархомъ. И вотъ сіе, воочію видимое, ясное въ семъ описаніи, графъ Панинъ отрицаетъ. Онъ все повторяетъ одно—облегченіе трудовъ монарха и облегченіе текущихъ государскихъ дѣлъ отъ припадочныхъ людей. Вы замѣтили, сколько разъ повторяется сіе выраженіе «припадочные люди»?

Князь покачалъ головой.

— Слово глупое!—сказалъ онъ.

— Какъ же не глупое?—вдругъ взволновался Разумовскій и всталъ съ кресла.—Позвольте спросить васъ, человека прямодушнаго, кто, къ примѣру сказать, припадочный человекъ?

Князь улыбнулся и невольно опустилъ глаза.

— Да, ну, полно, прямая душа, говори!

— Понятно, вы, графъ!

— Ну, вотъ! И что же сказать? За все то царствованіе блаженной памяти въ Божь почившей государыни...—и Разумовскій перекрестился,—за все то время, сдѣлалъ ли я хоть что-либо такое, какъ сей писатель тутъ размазываетъ? А помимо меня, кто же что такого особливаго, лихого и худого натворилъ? Графъ Шуваловъ, правда, нажилъ косвеннымъ путемъ,

откупами, страшныя деньги, но развѣ отъ этого Имперія Россійская пошатнулась? Да и не въ томъ дѣло. А не говори такъ, не пиши въ прожектѣ, подаваемомъ самой царицѣ, этого слова касательно ея покойной тетушки и благодѣтельницы. Государыня, передавъ мнѣ это писаніе, собственно-ручно изволила помѣтить и якобы указать: погляди, молъ, какое словечко «припадочные люди».

— Да, слово худое! — улыбнулся князь. — И при этомъ скажу—счастливое слово...

— Какъ счастливое?! — ахнулъ Разумовскій.

— Да, Алексѣй Григорьевичъ, слово счастливое, потому что оно не мало испортило весь прожектъ, разгнѣвавъ государыню.

И онъ разсмѣялся.

— Да, это точно! — улыбнулся Разумовскій. — Въ этомъ смыслѣ слово счастливое, что оно прожекту несчастье приноситъ. Теперь послушайте далѣе, дорогой князь, и подивитесь. Вы спрашивали, почему государыня передаетъ сіе писаніе на чтеніе и обсужденіе, прося сохраненія тайны? Ну, вотъ, сейчасъ вы узнаете почему. Нашъ г. сочинитель, Никита Ивановичъ, прямо сказываетъ... Государыня, которой надо такой прожектъ монаршей властью превратить въ учрежденіе всероссійское, не должна о немъ ни съ кѣмъ совѣтоваться. Чтобы никому не было извѣстно. А то, изволите видѣть, произойдетъ смятеніе. Но и этого мало... Сейчасъ услышите! Тутъ еще такой одинъ сладкій пирожокъ на закуску, что удивляться надо продерзости г. Панина. Онъ кончаетъ свое сочиненіе прямо-таки угрозой:

— Тоже угрозой?! — вскрикнулъ князь.

— Да-съ! Какъ ни верти, прямо грозительство: что если государыня не подпишетъ и не узаконитъ учрежденія верховнаго совѣта, то будетъ возмущеніе и заговоръ нѣсколькихъ сильныхъ придворныхъ лицъ. Да что болтать, послушайте далѣе.

И графъ снова началъ читать:

«Нужно было тогда собрать въ одно раскиданныя части, составляющія государство и его правленіе. Сдѣлали конференцію, монстръ ни на что не похожій. Не было въ ней уже ничего учрежденнаго, слѣдовательно, все безответственное, и, схвата у государя законъ, чтобъ по рескриптамъ, за подписаніемъ конференціи, вездѣ исполняли, отлучили государя отъ всѣхъ дѣлъ, слѣдовательно, и отъ свѣдѣнія всего ихъ производства. Фаворитъ остался душою животворящею и умертвляю-

щею государство; онъ, вѣтромъ и непостоянствомъ погруженъ, не трудясь тутъ, производилъ однѣ свои прихоти; работу же и попеченіе отдалъ въ другія руки.

«Сей подѣ видомъ управленія канцелярскаго порядка, котораго тутъ не было, исполнялъ существительную роль перваго министра, былъ правителемъ самихъ министровъ, избиралъ и сочинялъ дѣла по самохотѣнью, заставлялъ министровъ оныя подписывать, употребляя къ тому или имя государево, или подѣ маскою его воли желанія фаворитовъ.

«Таково истинное существо формы или, лучше сказать, ея недостатки въ нашемъ правительствѣ. Нашъ сапожный мастеръ не мѣшаетъ подмастерью съ работникомъ, и нанимаетъ каждаго къ своему званію. А мнѣ, напротивъ того, случилось слышать у престола государева отъ людей, его окружающихъ, пословицу льстивую за штатское правило: «была бы милость, всякова на все станетъ».

«Спасительно нашему претерпѣвшему отечеству матернее намѣреніе В. И. В—ства, чтобы Богомъ и народомъ врученное вамъ право самодержавства употребить съ полною властію къ основанію и утверженію формы и порядка въ правительствѣ. Во исполненіе всевысочайшаго В. И. В. молъ повѣленія, я всеподданнѣйше здѣсь подношу о томъ проеjektъ въ формѣ акта на подписанье Вашему Величеству.

«Осмѣлюсь себя ласкать, что въ семъ проеjektѣ устанавливаемое формою государственною верховное мѣсто лежислаціи или законоданія — изъ котораго, яко отъ единого государя и изъ единого мѣста, истекать будетъ собственное монаршее изволеніе — оградить самодержавную власть отъ скрытыхъ иногда похитителей оной. Впрочемъ, я долженъ съ подобострастіемъ примѣтить, что есть, какъ вамъ извѣстно, между нами такія особы, которымъ, для извѣстныхъ и имъ особливыхъ видовъ и резоновъ, противно такое новое распоряженіе въ правительствѣ. И потому невозможно В. И. В—ству почестъ совсѣмъ оконченнымъ къ пользѣ народной единое ваше всевысочайшее соизволеніе на сей ли предложенный проеjektъ или на что другое, но требуетъ еще оно вашего монаршаго попеченія ея цѣломудренной твердости, чтобы совѣтъ В. И. В—ства взялъ тотчасъ свою форму и приведенъ бы былъ въ теченіе, ибо — почти невозможно сомнѣваться, чтобы при самомъ началѣ тѣ особы не старались изыскивать трудностей къ остановкѣ всего, или по послѣдней мѣрѣ, къ обращенію въ ту форму, какову

они могутъ желать. Въ такомъ случаѣ несравненно полезнѣе теперь по ней сѣдлатъ установленіе, нежели допустить такъ, какъ прежде бывало, развращать единожды установленное!..»

Графъ Разумовскій бросилъ тетрадь на столъ и раздражительно выговорилъ:

— Буде! не могу! Десятый разъ читаю и озлобляюсь. Еще пугаетъ... Поскорѣе-де... Поскорѣе... Тѣ особы тормазъ наложить! Кто? Какія это особы? Мы, что ли, съ братомъ гетманомъ? Воронцовъ, Михайлъ Ларивончъ? Шуваловы, что ли? Да всѣмъ, кого ни возьми, лучше, чтобы царицей была Екатерина Алексѣевна, нежели укрытый личиной верховнаго совѣтника самодержецъ Никита.

— Да. Такъ бы уже открыто и именоваться ему — Никита I! — разсмѣялся князь.

XVIII.

Молодой князь Козельскій, столь же добрый и честный, сколько ограниченный, не сразу, а лишь постепенно понялъ, какой переломъ приключился въ его жизни съ того дня, что онъ поселился у дяди.

И когда понялъ, то сталъ счастливъ, оцѣнилъ значеніе происшедшаго. До тѣхъ поръ онъ ходилъ какъ бы во снѣ или въ чаду, въ угарѣ.

Князь не только совѣтовалъ, чтобы племянникъ больше бывалъ въ обществѣ и веселился, но даже требовалъ... И вмѣстѣ онъ чуть не требовалъ, чтобы Сашокъ тратилъ деньги, говоря полусхута, полусерьезно:

— Швыряй червончики и лобанчики, а не рублевики и гривны! Ты мое имя носишь. Князю Козельскому, что большой галерѣ, нужно большое плаваніе. Въ морѣ-океанѣ шествовать на всѣхъ парусахъ, а не въ пруду съ карасями полоскаться.

Но вдругъ, чрезъ нѣсколько времени, состояніе духа и отношеніе князя къ молодому человѣку измѣнились. Князь бывалъ сумраченъ, подчасъ раздражителенъ и грубъ съ племянникомъ, потомъ становился бодрѣе, веселѣе и любезнѣе, а затѣмъ безъ всякой видимой причины снова дѣлался такимъ, «что подступу нѣту». Онъ даже начиналъ иногда «привязываться» къ племяннику.

«Повернулся—виновать, и не довернулся—виновать», — соображалъ Сашокъ, недоумѣвая.

Узнавъ однажды отъ Сашка, вызваннаго имъ на откровенность, что ему нравится дѣвица Квошинская, но еще болѣе нравится княгиня Баскакова, съ которой онъ познакомился накануне, князь сталъ вдругъ снова относиться къ племяннику попрежнему: просто и добродушно.

Однако, черезъ нѣсколько дней Сашокъ былъ снова озадаченъ. Придя къ дядѣ, онъ нашелъ его сильно не въ духѣ. Разговоръ зашелъ о Москвѣ, всеобщемъ движеніи и ликованіи, о всеобщемъ волненіи въ средѣ дворянъ и еще больше въ средѣ петербургскихъ сановниковъ, въ предвидѣніи будущихъ наградъ къ коронаціи. Сашокъ ни съ того, ни съ чего замѣтилъ философски, что онъ не желалъ бы быть генераломъ-аншефомъ или вообще сановнымъ лицомъ, равно не желалъ бы быть и богачемъ. А лишь бы прожить на свѣтѣ счастливо.

Сказанное молодымъ человѣкомъ было скромнымъ и по мысли, и по выраженію, но князь Александръ Алексѣевичъ вдругъ заговорилъ такимъ голосомъ, котораго Сашокъ еще не слыхалъ. Онъ сталъ говорить, что не главное быть счастливымъ въ жизни, а главное — быть честнымъ, прямымъ, и не себѣ на умѣ. Тогда и счастье приложится. А у кого на душѣ не чисто, вслѣдствіе безчестныхъ поступковъ, тому врядъ ли посчастливится на свѣтѣ.

Сашокъ слушалъ и не столько удивлялся словамъ, такъ какъ соглашался вполне съ правильностью мнѣнія дяди, сколько удивлялся голосу князя, въ которомъ звучала досада и раздраженіе. Кромѣ того, Сашку смутно казалось, что все сказанное дядей было положительно въ «его огородъ».

«Что же это? — думалось ему. — Стало-быть я, выходитъ, нечестный человѣкъ, у меня на душѣ не чисто, поэтому и мнѣ не посчастливится. Чудно!»

На другой день, послѣ этого разговора, случилось опять то же. Князь, безъ всякаго видимаго повода, сталъ придирается къ племяннику и вдругъ выразился:

— Да, что же скажу. Дѣло понятное. Всю мою жизнь я говорилъ, что мальчишки — народъ такой, на который полагаться нельзя! Оттого я — не будь глупъ — отъ таковыхъ всегда въ сторонѣ держался.

Это было уже прямо на счетъ Сашка, однако онъ все-таки промолчалъ.

Но одновременно Сашка стѣсняло «вольное» обращеніе съ нимъ Земфиры. И такъ какъ онъ все передавалъ Кузьмичу,

то Кузьмичъ задумывался, отзываясь только однимъ словомъ:

— Вотъ ракалія, такъ ракалія! Держись отъ нея подальше. Коли дѣзеть шалая молдашка, такъ ты стерегись! Вѣдь дяденькѣ можетъ, пожалуй, не понравиться.

— Да что же я могу сдѣлать?—отзывался онъ.

— Ужъ тамъ какъ знаешь! Сторонися.

И молодой человѣкъ держалъ себя съ «молдашкой» крайне осторожно, дѣйствительно, стараясь, по совѣту дядьки, удаляться, стараясь прерывать и сокращать бесѣды, стараясь даже какъ можно меньше встрѣчаться съ ней въ домѣ.

Земфира давно уже звала его къ себѣ въ гости въ ея комнаты, но онъ подъ разными предлогами отказывался. Наконецъ, однажды одна встрѣтила его въ домѣ уже вечеромъ, взяла подъ руку и повела къ себѣ почти насильно. Посидѣвъ съ полчаса, Сашокъ сразу всталъ и ушелъ, такъ какъ Земфира вдругъ поцѣловала его.

На утро рано лакей позвалъ его къ князю.

Сашокъ явился къ дядѣ и былъ встрѣченъ словами, сказанными съ улыбкой, но все-таки сухо:

— Я за тобой послалъ, племянничекъ, чтобы переговорить. Хочешь ты, чтобы я тебя прогналъ отъ себя и снова никогда на глаза не пускалъ?

Сашокъ удивленно поглядѣлъ на дядю.

— Понялъ?—спросилъ князь.

— Никакъ нѣтъ-съ!—добродушно отозвался Сашокъ.

— Ты слышалъ, однако, что я сказалъ?

— Слышалъ-съ.

— И не понялъ?

— Понялъ собственно... Но не понимаю, за что вы на меня гнѣваетесь.

— Если я позабуду на столѣ кошелекъ съ деньгами, а тебѣ даже не будетъ въ деньгахъ особой нужды, ты этотъ кошелекъ и скрадешь.

— Что вы, дядюшка? — воскликнулъ Сашокъ, зарумянившись.

— Что я... Я спрашиваю... Миѣ потерять кошелекъ, хотя бы съ тыщей червонцевъ, не велика потеря. Но знать, что у меня въ домѣ воръ, да еще родной племянникъ и крестникъ. Это... Это, знаешь ли, не очень пріятно.

— Я, дядюшка, какъ есть ничего уразумѣть изъ вашихъ словъ не могу! — всплывъ, воскликнулъ Сашокъ. — Поясните болѣе толково и безъ обиняковъ. И я буду отвѣчать. Обличать, такъ обличать понятными словами, а не турсами на колесахъ.

— Что дороже—деньги или привязанность, любовь?.. Какъ понимаешь ты?

— По-моему, привязанность, конечно...

— Ну, вотъ у меня есть женщина, къ которой я привязался давно сердцемъ, хотя она, себялюбива, этого и не стоитъ. Ты знаешь, про кого я говорю... Ну, а ты у меня собираешься эту женщину подспудно оттягать и стало-быть своровать.

— Что вы, дядюшка!..—вскликнулъ Сашокъ.

— Ничего, я дядюшка!..—уже рѣзко выговорилъ князь. — Не финти! Ты подмазываешься къ моей Земфирѣ.

— Никогда-съ!—закричалъ молодой человѣкъ.

— Какъ никогда? Я вѣдь не слѣпой. Да она мнѣ, наконецъ, сама сказала, что ей отъ тебя проходу нѣтъ... Что ты, въ самомъ дѣлѣ, газанскую-то сироту представляешь?.. Сама она сказала... Просила отъ тебя ее защитить! Да.

— Вотъ такъ ужъ прямо она... извините, ракалія! Безчестная, подлая женщина! Лгунья! — крикнулъ Сашокъ вѣвъ себя.—И что же ей нужно! Зачѣмъ она такъ лжетъ. Понятно. Ей желательно, чтобы вы меня прогнали. Такъ спросите Кузьмича, какъ мы съ нимъ всякій день толкуемъ, какъ мнѣ отъ Земфиры избавиться. Отъ ея вольнаго обращенія.

Князь глядѣлъ на племянника удивленно, затѣмъ вдругъ треснувъ себя по лбу, крикнулъ:

— Ахъ я,—телятина!

Онъ сразу повѣрилъ молодому человѣку и не понималъ, какъ могъ повѣрить Земфирѣ.

И улыбаясь уже, онъ спросилъ:

— Ты вчера силкомъ влѣзъ къ ней въ комнату?

— Да-съ. Силкомъ! Именно силкомъ она меня изъ гостиной къ себѣ увела, держа вотъ за обшлагъ. Что же? Драться было съ ней!

Князь всталъ, быстро подошелъ къ Сашку и, поцѣловавъ его, произнесъ:

— Прости меня, Александръ Никитичъ. Прости дурака-дядю... Впредь увижу тебя цѣлующимъ ее и глазамъ своимъ не повѣрю.

— И это правильно будетъ, дядюшка. Бываетъ, что иная баба насильно цѣлуешь тебя... Что же? Бить ее... Только и можно, что осторониться...

Князь началъ ходить молча по комнатѣ и, размышляя, изрѣдка началъ головой. Онъ глубоко задумался...

— Ну, хорошъ я гусь!—вымолвилъ онъ наконецъ.

Между тѣмъ успокоившійся Сашокъ заговорилъ тихо, толково и какъ-то разсудительно, что онъ скучаетъ не въ мѣру и давно, скучаетъ даже и теперь у дяди въ домѣ и поэтому хочетъ, наконецъ, объясниться, сказать дядѣ про одно важное дѣло.

— Объ чемъ, или объ комъ?—спросилъ князь.

— Объ себѣ-съ.

— Объ себѣ?.. Ну, говори.

— Я разсудилъ бракосочетаться!—выпалилъ Сашокъ сразу.

Князь вытаращилъ глаза. Заявленье его огорошило.

— Ой, ой, ой...—жалостливо протянулъ онъ съ соболѣзнованіемъ, какъ если бы племянникъ заявилъ ему о какой приключившейся ему бѣдѣ.

Сашокъ даже удивленно поглядѣлъ на дядю.

— Ой, ой, ой... Бишь какъ?.. Не ожидалъ... Ну, что дѣлать! Жаль мнѣ тебя, а горю пособить не могу, потому что ты же мѣшать будешь мнѣ... Скажи, какъ это на тебя стряслось...

Сашокъ не зналъ, что отвѣчать.

— Говори. Когда и какъ это приключилось... Въ кого ты собственно вторгся.

— Да вотъ недавно... Прежде на умъ не приходило, а теперь въ двухъ, дядюшка. Ихъ двѣ. Мнѣ больше по душѣ Баскакова, а Кузьмичу больше полюбилась Квощинская.

— Да. Вотъ что... Ну, такъ дѣло стало - быть еще не горить, терпите, — усмѣхнулся князь. — Ну, и что же? Обѣ эти дѣвицы красавицы писаныя? Анделы?

— Точно такъ-съ. Вы, стало-быть, знаете?..

— Еще бы. Какъ же не знать!—воскликнулъ князь.—Все знаю. Знаю, что ты дѣвицу обожаешь и будешь обожать до конца твоихъ дней...

— Да-съ. Только я еще не знаю... которую...

— И если тебѣ нельзя будетъ на которой-либо жениться, то ты будешь самый несчастный человѣкъ... Хоть руки на себя наложить... Такъ вѣдь?

— Такъ-съ. Во-истину. Кто же вамъ это сказалъ? Кузьмичъ сказалъ?

— Нѣтъ. Не Кузьмичъ. Глупость людская мнѣ это сказала. Всякій день вижу, всю жизнь мою, такихъ дураковъ, какъ ты... Пора все это мнѣ знать. Ну вотъ что, Александръ. Отговаривать тебя жениться я не хочу. Совѣтовать иначе поступить мнѣ, какъ дядѣ твоему, неблагоприлично. Хорошему на мой толкъ, но худому на людской толкъ, мнѣ тебя учить грѣхъ. Стало быть, я могу тебя только жалѣть.

— Я васъ, дядюшка, не понимаю,—сказалъ Сашокъ.

— То-то... То-то... И не можешь понять. Какъ бы ты могъ мои разсужденья понимать, то и былъ бы ты не способенъ на такое дурачество, какъ женитьба. Ай, батюшки, сколько васъ, дураковъ, эдакъ пропадаетъ,—насмѣшливо и жалостливо прибавилъ князь. Что ни день—свадьба! Что ни день—пропалъ молодець. Кромѣ постовъ и субботъ! Ну, что жъ дѣлать! Спасибо еще, что не сейчасъ собрался, не знаешь еще на которой... Когда порѣшишь, которая тебѣ больше «анделъ» и безъ которой жить не можешь, тогда скажи. Я все сдѣлаю, чтобы было богато и хорошо на твоёмъ погребеніи... Тьфу! на вѣнчаніи.

Князь разсмѣялся, а затѣмъ снова глубоко задумался.

XIX.

Около полудня князь вышелъ отъ себя и направился наверхъ въ комнаты Земфиры. Въ эту пору дня онъ бывалъ крайне рѣдко и развѣ только по особо важному поводу. Много за это утро передумалъ онъ.

— Здравствуйте, моя прелесть!—сказалъ онъ, входя и улыбаясь насмѣшливо.

«Сердить на что-нибудь», подумала про себя Земфира, хорошо знавшая своего сожителя и видѣвшая его насквозь.

— Здравствуйте,—отвѣтила она небрежно.

— Потолковать я пришелъ съ тобой объ одной довольно важной матеріи.

— Ну.

— Что ну?..

— Ну, говорю...

— Напрасно нукаешь. Я не лошадь.

— Опять поѣхали! Стало начинается канитель.

— Удивительное дѣло,—проговорилъ князь какъ бы самъ себѣ.—Не русская. Басурманка. По-русски говорить, какъ ученый скворецъ. А всѣ невѣжливые и холопскіе російскіе способности рѣчи подхватила. Нукаетъ. Или нарываетъ: заладила Маланья! Или: поѣхали! Удивительно... Ну, вотъ что, моя прелесть. Ты мнѣ съ твоими грубостями и съ твоимъ чертовымъ правомъ начинаешь наскучивать. Ты говоришь: «Поѣхали». Да. Правда. Мы съ тобой вотъ уже годика съ два, какъ поѣхали врозь. И далеко уѣхали. Вѣрнѣе выразиться: разъѣхались... Да не въ этомъ дѣло. А дѣло вотъ въ чемъ. Съ какихъ поръ ты начала врать, лгать и клеветать... Ну-т-ко?

— Что?

— Ну, говорю я. Въ свой чередъ нукаю. Ну?

— Что вы говорите?

— Говорю: ну, говорю: отвѣчай. Съ какихъ поръ ты начала клеветничествомъ заниматься? Уже давнымъ давно, да я не замѣчалъ. Или недавно? Ты вотъ объяснила, что тебѣ проходу нѣтъ отъ племянника, который якобы въ тебя по-уши влюбился и тащитъ тебя... Въ свои объятія что-ли? А онъ мнѣ сейчасъ объяснилъ, что такая старая дѣвица, какъ ты, да еще нахальная, да еще, говорить, чѣмъ-то затхлымъ отдающая, будто псой—не могла и не можетъ ему полюбиться. Это, говорить, дядюшка, для васъ, старика, такая чернавка прелестьна, а меня отъ эдакой нудить бы стало...

— Что-о?—изумилась Земфира, но затѣмъ догадалась, что все выдумки князя, разсмѣялась.

Однако разговоръ и объясненія не привели ни къ чему. Слишкомъ искусна была женщина, играя комедію. Она объяснила, что сочинила все потому, что очевидно ошиблась, и ей показалось, что Сашокъ въ нее влюбленъ.

— Ну, такъ впредь знай,—сказалъ князь,—что онъ влюбленъ сильно, да только не въ тебя.

И князь передалъ Земфирѣ намѣреніе Сашка жениться.

Вмѣстѣ съ тѣмъ разговоръ и объясненія съ племянникомъ и съ сожительницей челоуѣка, умнаго, самолюбиваго, справедливаго и рѣшительнаго въ поступкахъ, привели его къ одному изъ важнѣйшихъ дѣяній всей его жизни. Черезъ два дня послѣ уличенія Земфиры въ клеветѣ, явился въдобавокъ «докладъ» Кузьмича объ поцѣлѣ... про который не обмолвился Сашокъ по своей добротѣ и честности... И князь снова, тѣмъ утромъ, вызвалъ къ себѣ племянника по дѣлу.

Когда Сашокъ вошелъ въ кабинетъ дяди, князь сидѣлъ въ креслѣ и держалъ въ рукахъ большой сложенный листъ бумаги; улыбаясь, онъ хлопалъ себя листомъ по колѣнкѣ.

— Ну, воробей, какъ тебя зоветъ княгиня Трубецкая, присядь!—сказалъ онъ.—Сюда... Пближе!.. Скажи, ты въ грамотѣ не очень силенъ?

Сашокъ улыбнулся, не зная, какъ отвѣтить.

— Писанное можешь читать?

— Могу-съ!

— Ну, а мою записку все таки не понялъ, гдѣ стояло «любрабезканный пледамянбраникъ»?

— Да вѣдь это, дядюшка, было на вашемъ чудномъ языкѣ, а не по російски!—разсмѣялся Сашокъ.

— Ну, стало быть, вотъ это можешь прочесть!—Князь развернулъ листъ и подставилъ ему къ носу.—Это вѣдь, кажется, по просту, по-російски.

— Кажется? Ну, а написано хорошо, чисто?

— Да-съ! Я эдакое могу честь.

— Ну, такъ читай!

Сашокъ взялъ листъ и началъ читать вслухъ.

— Нѣтъ, ты себѣ читай. Я-то наизусть знаю!

Несмотря на то, что бумага была красиво и четко написана, Сашокъ читалъ ее медленно, стараясь вникнуть въ суть изложенія и только черезъ десять или пятнадцать строкъ вполне сообразилъ, что у него въ рукахъ, и началъ понимать. Бумага была—завѣщаніе по формѣ.

И, дочитавъ его до конца, онъ узналъ, что половина состоянія дяди жертвуется имъ въ пользу двухъ монастырей на поминъ души. Другая половина состоянія должна быть душеприказчикомъ обращена продажей вотчинъ въ капиталъ. Капиталъ же этотъ—крупная сумма, которую Сашокъ сразу и не сообразилъ, долженъ быть переданъ Земфирѣ въ награду за ея «сердечное попеченіе, любовь и преданность».

— Понялъ?—спросилъ князь, усмѣхаясь, когда племянникъ кончилъ, и взглянулъ уже ему въ лицо.

— Понялъ-съ!

— Что это такое?

— Духовная ваша.

— Стало быть, половину въ монастыри Господу Богу, а половину Земфирѣ Турковнѣ. А тебѣ, единственному родственнику и крестнику, вотъ что!..

И князь подставилъ палецъ подъ самый носъ Сашка.

— Тебѣ не обидно?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, дядюшка!—добродушно отвѣтилъ Сашокъ.

— Почему же?

— Вѣдь все оное ваше и воля ваша! Да и какъ же вы мнѣ что оставите, когда вы меня съ рожденія и не знавали? А въ монастырь отдать—дѣло богоугодное. А особѣ завѣщать, которая при васъ давно состоитъ и васъ, полагательно, любила и теперъ все-таки любить, тоже совсѣмъ справедливо,—такъ какъ же мнѣ обижаться-то?

— Ахъ, ты—воробей, воробей!—вдохнулъ князь; онъ протянулъ руку, погладилъ Сашка по головѣ, затѣмъ взялъ у него листъ изъ рукъ и выговорилъ:

— Ну, а вотъ это ты поймешь или не поймешь?

И князь, держа листъ обѣими руками у самага лица племянника, медленно и какъ бы аккуратно разорвалъ его на четыре части, потомъ на мелкіе кусочки, а затѣмъ бросилъ на полъ.

— Вотъ тебѣ! Какія Александръ Алексѣевичъ Козельскій умѣетъ колѣна отмачивать и фокусы показывать. Коли теперъ я вдругъ возьму да помру, что будетъ? Какъ по-твоему?

— Не знаю, дядюшка!

— Какъ не знаешь? Да что же ты совсѣмъ малый ребенокъ? Вѣдь ты мой единственный родственникъ и къ тому же родной племянникъ... Ну?

— Что ну-съ?

— Да вѣдь все же твое будетъ!

Сашокъ глядѣлъ дядѣ въ лицо и молчалъ.

— Чего же ты не радуешься?

— Да что же, дядюшка? Вѣдь это когда еще будетъ!—спокойно произнесъ Сашокъ.

— А-а, вонъ какъ! Таеъ ты бы желалъ, чтобы я сейчасъ околѣлъ? Ай-да крестникъ!

— Что вы? Богъ съ вами!—воскликнулъ этотъ.

— Потерпи, братъ! Еще лѣтъ десять проживу, а больше-то и трудно. Мы—Козельскіе, не долговѣчны. По крайности теперъ знай, что ты—мой единственный наслѣдникъ. Ну, а иждивенія-то у меня больше того, что думаютъ и толкуютъ люди. А если это все такъ приключилось, то спасибо скажи Земфирѣ... Это все она...

— Какъ же Земфира?—тихо протянулъ молодой человѣкъ, совершенно пораженный.

— Такъ. Ужь очень она постаралась, чтобы ты моимъ наслѣдникомъ очутился.

— Вотъ никогда не думаль!—воскликнулъ Сашокъ.—Бй. Богу, не думаль! А я, дядюшка, грѣшенъ, совсѣмъ не такъ думаль. И ужь если на правду пошло, то я вамъ доложу, что я совсѣмъ, какъ дуракъ какой, судилъ ее. Я еще вчера думаль, и съ Кузьмичемъ толковаль, что она меня хотѣла хитро такъ изъ вашего дома выжить. Не враждой, и не такимъ поведениемъ, какъ бы вотъ эта княгиня Трубецкая. А напротивъ, соблазнить хотѣла всячески, а затѣмъ такъ ласково да тило обнести предъ вами, свалить все на меня и выкурить отсюда! А она вотъ что! Это я, выходитъ, предъ ней виновать. Кругомъ виновать!

Князь, выслушавъ, сталъ смѣяться звонкимъ, добродушнымъ смѣхомъ.

— Да, вѣдь кто со стороны тебя послушаетъ,—произнесъ онъ, наконецъ,—то прямо подумаетъ, что ты дуракъ, пѣтый дуракъ! А это будетъ неправда. Ты совсѣмъ не то... Ты доврчивый по честности своей. И простомысліе твое—на честности зиждется... Ну, а теперь, слушай, никому ни слова объ томъ, что читаль здѣсь, и о томъ, что потомъ вышло. И Кузьмичу ни слова. Ну, ступай.

Когда Сашокъ уже выходилъ, князь крикнулъ:

— Стой! Забылъ сказать. У насъ въ воскресенье здѣсь гости. Покажу тебѣ, что общалъ. Картежъ и игорныхъ мерзавцевъ.

XX.

— Какъ ни верти, все одно выходитъ!—думаль и говорилъ самъ себѣ вслухъ Кузьмичъ, по десяти разъ за часъ времени. А длилось это цѣлый день.—Какъ ни верти—или умница, какихъ мало на свѣтѣ... или совсѣмъ пень, чурбанъ... Или совсѣмъ благополучіе, или все вверхъ пятками... Да, умникъ или пень?!

И старикъ все не могъ рѣшить этой задачи. А называль онъ такъ себя же. Себя онъ спрашиваль: умно ли онъ рѣшилъ поступить, и будетъ ли полный успѣхъ. Или онъ, поспѣшивъ, глупость сдѣлаеть и все пропадетъ отъ спѣха.

Дѣло въ томъ, что старикъ рѣшался на отчаянное средство, на нѣчто неслыханное и невиданное. Причинъ для такого

удивительнаго поступка было много. Прежде всего было позднее соображеніе, что миръ питомца съ дядей принесеть, пожалуй, несчастіе. Большое знакомство, разъѣзды по Москвѣ, и при этомъ «аграматныя» деньги, полученныя отъ дяди — почти преобразили питомца его, и онъ окончательно «отбился отъ рукъ!»

Какъ старикъ ни просилъ свое «дítě» ѣздить къ Квощинскимъ, гдѣ барышня «помираетъ отъ любви», Сашокъ только два раза заѣхалъ къ нимъ, и одинъ разъ, правда, провелъ цѣлый вечеръ. Такъ какъ было много гостей, играли въ жмурки и горѣлки, то было очень весело... Но Таюю все-таки онъ находилъ:

— Ничего. Что же? Дѣвица, какъ дѣвица.

А это отношеніе питомца къ избранницѣ старика бѣсило его, такъ какъ онъ надѣялся, что Сашокъ скоро будетъ безъ ума отъ «андела и херувима».

Наконецъ, Кузьмичъ вдругъ узналъ, что «дítě» было уже три раза въ семействѣ какого-то князя Баскакова, и, справившись, узналъ, что князь этотъ картежникъ, разорившійся кутила и запивающій, жена его чистая вѣдьма, а дочь ихъ, привлекающая Сашка, на прошлыхъ святкахъ одѣвалась фореитромъ, ѣздила по комнатамъ верхомъ на стулѣ и, наконецъ, подвыпила, веселяся съ своими горничными. «Вотъ тебѣ и княжна?!» И Кузьмичъ, перекрестясь, рѣшился спасти «Сашунчика» отъ барышни-фореитора и отъ всякихъ иныхъ бѣдъ, которыя грозятъ теперь, благодаря примиренію съ дядей.

Онъ зналъ своего питомца съ самыхъ первыхъ мгновений его появленія на свѣтъ Божій, зналъ лучше и судилъ вѣрнѣе, чѣмъ, казалось, самого себя. И на этомъ знаніи нрава Сашка старикъ и основалъ свое «рѣдкостное», какъ самъ онъ мысленно соглашался — предпріятіе. «Надо такъ подстроить, чтобы вышло, какъ полѣномъ по головѣ!» — рѣшилъ онъ.

Старикъ зашелъ опять въ Кремль помолиться мощамъ святыхъ угодниковъ. Затѣмъ прямо направился къ Квощинскимъ и, посидѣвъ съ Мареей Ѳоминыной, объяснилъ, что желалъ бы повидать барина Петра Максимовича, чтобы «словечко закинуть», крайне важное.

Разумѣется, онъ былъ тотчасъ позванъ къ барину, и, конечно, самъ не подозрѣвалъ, какого искуснаго лицедея изобразилъ собой.

Кузьмичъ объяснилъ Квощинскому, что надо рѣшить простое дѣло, которое становится все мудренѣе. Его питомецъ «поми-

раетъ отъ любви», изъ-за Татьяны Петровны «сва и пищи липился», и если пойдетъ дѣло эдакъ, то онъ можетъ и «свихнуться».

Квоцинскій, конечно, при такомъ извѣстїи просїялъ, но, однако, сталъ допрашивать и совѣтоваться.

— Что же тутъ дѣлать?

— Помогите, Петръ Максимовичъ. Разрѣшите все,—взмолился старикъ.—Мой молодецъ захворать смертельно можетъ.

— Какъ же я то... Что же я то...—заявилъ Квоцинскій.—Обычай такой, Иванъ Кузьмичъ, съ міромъ зачался, что молодецъ первое слово сказываетъ или его родители и родственники. А дѣвица чрезъ своихъ отвѣтствуетъ. Либо «всей душой»... либо «спасибо за честь, извините». Вамъ, стало быть, надо заговорить, а намъ только отвѣтъ держать.

— Вотъ я вамъ, батюшка, Петръ Максимовичъ, сказываю, что мой князинька прямо помираетъ, а сказать вамъ или Аннѣ Ивановнѣ не смѣетъ. И никогда, какъ есть, не скажетъ.

— Такъ какъ же? Что же тутъ дѣлать? — беспомощно и озабоченно развелъ Квоцинскій руками.

— Одно спасенье, Петръ Максимовичъ! — заявилъ Кузьмичъ отважно и рѣшительно, какъ бы свое послѣднее слово.— Вамъ надо заговорить. А онъ, мой князинька, умереть не заговорить.

— Что же мнѣ сказать, Иванъ Кузьмичъ? Не могу же я...

— Прямо сказать... Кузьмичъ, молъ, былъ, все мнѣ повѣдалъ про ваши чувства, и я могу только, молъ, обнять васъ и вамъ душевно отвѣтить, что я счастливъ. И все такое, эдакое... Вы ужъ лучше меня знаете, что...

— Такъ? прямо?...—спросилъ Квоцинскій.—Прямо?.. Какъ если бы сватовство было отъ васъ?

— Именно-съ!.. — рѣшительно воскликнулъ Кузьмичъ.— На чистоту?—Прямо поцѣлуйте и скажите, что мы-де душой, если ты къ намъ всей душой. А я вотъ вамъ прямо, что свать какой, сказываю. Мой молодецъ помираетъ отъ любви. Онъ меня не отрядилъ къ вамъ, потому что я все же таки его крѣпостной холопъ, но знаетъ, что я за него пошелъ говорить, потому что онъ самъ не можетъ. Храбрости этой нѣтъ и никогда не будетъ. Ну, вотъ, я вамъ и сказываю.

— Что же, Иванъ Кузьмичъ... Пускай прїѣзжаетъ князь. Я ему слова не дамъ сказать, коли ему зазорно и робостно. Какъ прїѣдетъ, обойму и къ женѣ поведу, и дочь позову.

Кузьмичъ ушелъ и, вернувшисьъ домой, снова волновался, спрашивая себя, «умница я или пенъ».

Разумѣется, въ домѣ Квоцинскихъ отъ восторга все заходило ходуномъ. Всѣ были счастливы и нетерпѣливо ждали завтрашняго дня.

Къ обѣду вернулся и летающій всегда по Москвѣ младшій Квоцинскій. Ему тоже сообщили важное извѣстiе, и онъ тоже обрадовался, хотя и безъ того былъ радостно настроенъ. Послѣ обѣда Павелъ Максимовичъ не вытерпѣлъ и позвалъ брата переговорить въ кабинетъ.

Онъ таинственно заявилъ, заперевъ двери:

— Дѣло мое ладится. Былъ я, братецъ, у Алексѣя Петровича и откровенно съ нимъ бесѣдовалъ. По всей видимости, графъ будетъ непременно назначенъ послѣ коронаціи опять канцлеромъ, и я ужъ рѣшилъ не просто просить заграничную посылку, а должность резидента російскаго въ какое-либо малое государство нѣмецкое. . Для начала. А посижу эдакъ годика три, и получу должность важнѣющую, посланника къ французскому королю или англицкому.

— Не вѣрится мнѣ, братецъ, — мотнулъ головой Петръ Максимовичъ.

— Почему же это, братецъ? Графъ Алексѣй Петровичъ общалъ.

— Не вѣрится. Гляжу я, гляжу и вижу чтой-то чудесное... Всѣ захотѣли въ Москвѣ въ государственные мужи выходить. На что нашъ Макаръ Иванычъ... Голубей разводилъ, турмановъ, всю жизнь... А тотъ разъ мнѣ говорить, что хочетъ въ губернаторскіе товарищи проситься. По мнѣ вотъ что: если всѣхъ желающихъ царичѣ удовлетворить, то и мѣстовъ у нея не хватить. А если таковыя должности на всѣхъ учредить новыя, то тогда будутъ управители, а управляемыхъ не останется ни единого...

Павелъ Максимычъ ничего не отвѣтилъ. Замѣчаніе брата, котораго онъ привыкъ считать, какъ «изряднаго разсудителя» всякихъ важныхъ дѣлъ, его озадачило.

Дѣйствительно, за послѣднее время, когда онъ носился съ своимъ планомъ сдѣлаться чиновникомъ иностранной коллегіи, онъ замѣчалъ, что всѣ его знакомые, положительно каждый, тоже имѣли свои служебные планы и «прожекты». Только одинъ изъ пріятелей, лейбъ-кампанецъ Идошкинъ, хотѣлъ по-давать царичѣ просьбу простую и краткую, пожаловать ему

сто душъ крестьянъ. А на вопросъ друзей, какъ и за что, отвѣчалъ: «Да такъ... Новая царица. Милостивая. Да потомъ всѣ собираются просить, а другіе ужъ просятъ. Всякъ объ свосмъ! Ну, вотъ и я»...

Помолчавъ, Павелъ Максимовичъ вымолвилъ:

— Это ты, батюшка братецъ, правъ! Вельми даже правъ. Но мое дѣло—иное. Тутъ всѣ зря просятъ. А я поведу это дѣло чрезъ будущаго канцлера...

— Ну, чтожъ! Давай Господи!—отвѣтилъ Петръ Максимовичъ и подумалъ: коли ты въ резиденты, то мнѣ ужъ въ крѣпость-коммисары, что-ли?...

XXI.

Между тѣмъ, Кузьмичъ въ тотъ же день вечеромъ заявилъ питомцу, что былъ у Квоцинскихъ, и сознался Сашку, что яко бы проболтался на счетъ него. Проболатся въ томъ смыслѣ, что объяснилъ Петру Максимовичу, какъ сильно захватила Сашка Татьяна Петровна. А Петръ Максимовичъ просить его прѣхать завтра утромъ въ гости. Невѣдомо зачѣмъ. Побесѣдовать.

— Если онъ тебѣ будетъ что эдакое насчетъ дочки обинякомъ сказывать,—кончилъ Кузьмичъ,—то ужъ ты тамъ какъ знаещъ, поблагоприличнѣе отвѣтствуй.

А про себя Кузьмичъ думалъ: «Да. Какъ полѣномъ по головѣ!» И выраженіе Кузьмича оказалось буквально вѣрнымъ.

Сашокъ, поѣхавъ къ Квоцинскимъ, вошелъ въ домъ, спокойный, довольный, намѣреваясь посидѣть часокъ въ гостяхъ, побесѣдовать о томъ, о семь... съ Петромъ Максимовичемъ и съ Анной Ивановной. Но когда онъ вошелъ и переходилъ залу, къ нему настрѣчу уже вышелъ Квоцинскій, и лицо его поразило Сашку оживленіемъ и радостью. Сашокъ хотѣлъ почтительно поклониться, но Квоцинскій остановилъ его движеніемъ руки.

— Поцѣлуйте, Александръ Никитичъ. Объясняться намъ не нужно. Вѣрите, что и я, и жена счастливы, и польщены, а про Таню я и не говорю. Она отъ счастья разума лишилась. Пойдемте къ женѣ!

И Квоцинскій, повернувшись и ведя за собой за руку молодого человѣка, не могъ видѣть, что Сашокъ нѣсколько разинулъ ротъ и особенно странно раскрылъ глаза.

Онъ спрашивалъ себя мысленно:

— «Прѣ что онъ такое?..»

Введя молодого человѣка въ особую комнату Анны Ивановны, гдѣ онъ еще ни разу не бывалъ, старикъ вымолвилъ:

— Ну, вотъ, запросто поцѣлуйтесь!

И Анна Ивановна подошла и обняла Сашку. На лицѣ ея были слезы.

Сашокъ, еще ничего собственно не понимая, уже думалъ:

— «Батюшки! Да что же это такое?»

Собственно говоря, въ немъ уже копошилось подозрѣніе, но то, что онъ началъ подозрѣвать, казалось ему такимъ невѣроятнымъ, что онъ боялся убѣдиться въ своей догадкѣ.

— Будьте увѣрены, Александръ Никитичъ,—сказала Квощинская, — что мы будемъ любить васъ, какъ родного сына, да иначе и быть не можетъ.

Сашокъ понялъ и зналъ, что ему слѣдуетъ скорѣе немедленно сказать что-нибудь или спросить что-нибудь, ради того, чтобы дѣло сейчасъ же разъяснилось. Но какъ же сказать и что спросить? Нельзя же сказать:

— «Если о бракѣ вы, собственно, говорите, то я не собираюсь и не «хочу».

И какъ лучъ блеснула мысль въ головѣ:

— «Это Кузьмичъ!.. Да, это Кузьмичъ!.. Онъ просваталъ!»

И Сашокъ сразу растерялся совершенно и онѣмѣлъ.

Въ ту же минуту въ комнату вошла молодая дѣвушка, сильно румяная, но съ сіяющимъ лицомъ, несмотря даже на то, что глаза ея были опущены.

— Ну-съ, Господи благослови. Поцѣлуйтесь и вы! — сказала Петръ Максимовичъ.

Сашокъ, какъ потерянный, двинулся, чувствуя себя въ чаду, въ полномъ угарѣ. Но чрезъ мгновеніе онъ вздрогнулъ, встрепенулся, какъ-то ожилъ...

Поцѣлуй молодой дѣвушки произвелъ на него неизъяснимое, никогда въ жизни еще не испытанное впечатлѣніе... Ударилъ ли громъ и раскатился кругомъ или сверкнула ослѣпительная молнія и прожгла насквозь?..

Онъ этого не зналъ! Но онъ зналъ и чувствовалъ одно:

«И слава Богу!.. Такъ хорошо! Такъ и нужно!»

И взглянувъ снова на Таню, уже сидѣвшую около матери, Сашокъ почувствовалъ, что онъ счастливъ. И странно какъ? Онъ не одинъ, какимъ былъ до сей минуты. Съ нимъ трое

близкиѣ, будто родныхъ, людей. И эти трое родныхъ какъ будто стали сразу, чудомъ какимъ-то, ближе ему, чѣмъ даже Кузьмичъ. И слезы восторга навернулись у него на глазахъ. Казалось, отъ всего совершившагося разумъ покинулъ его. Онъ вполнѣ очнулся, какъ бы отъ сна, когда уже былъ въ швейцарской дома дяди.

Черезъ полуоткрытыя двери въ свои апартаменты онъ увидалъ старика-дядьку. Кузьмичъ стоялъ, крайне смущенный и точно испуганный. Сашокъ сбросилъ плащъ не на руки швейцара, а на полъ и, стремглавъ кинувшись къ старику, обнялъ его и повисъ у него на шеѣ. Дядька затрясся всѣмъ тѣломъ и началъ всхлипывать, а затѣмъ рыдать...

— «Я!.. Я все сдѣлалъ! Господь помогъ... а сдѣлалъ я!» думалось ему или, вѣрнѣе, застучало у него на сердцѣ и въ головѣ.

Успокоивъ Кузьмича и объяснившись съ нимъ, Сашокъ спросилъ, говорить ли дядѣ и что говорить, какъ сказать! Кузьмичъ замахалъ руками. Положеніе было мудреное. Правду сказать нельзя. Надо сказать, что Сашокъ самъ сдѣлалъ форменное предложеніе. Но дядя спросилъ тогда, какъ же онъ эдакое совершилъ, не спросилъ его разрѣшенія, совѣта, благословенія. И дядька съ питомцемъ рѣшили отложить все на день или на два и начать князя «помаленечку готовить и располагивать».

XXII.

На другой день вечеромъ домъ князя засіялъ, весь освѣтился огнями, наполнился гостями. Но если бы кто-нибудь подумалъ, что у князя Козельскаго такое же вторичное пирваніе, какое было недавно, то очень бы ошибся. Не было ничего общаго между тогдашнимъ обѣдомъ и теперешнимъ вечеромъ. Изъ тѣхъ, кто былъ тогда, теперь не было ни единого человѣка, кромѣ Романова. Нѣкоторые бывшіе тогда, если бы заглянули теперь въ домъ князя, то смутились бы.

Теперешніе гости были люди изъ совершенно другого круга. Главной отличительной чертой вечера было то, что человѣкъ на сто гостей не было ни одной дамы.

Въ двухъ гостиныхъ было разставлено нѣсколько столовъ для игры въ карты. Въ главной гостиной, посрединѣ, стоялъ большой круглый столъ, покрытый зеленымъ сукномъ. Это былъ

«первый» столъ, на которомъ должна была происходить самая крупная игра, новая, именуемая «банкъ».

Особенность этого «банка» въ домѣ князя Козельскаго заключалась въ томъ, что его держалъ самъ хозяинъ и что онъ былъ отвѣтственъ. За этимъ столомъ всякій желающій могъ поставить какой угодно кушъ. Князь заявилъ, что желательно бы было не переходить въ ставкахъ суммы ста тысячъ, такъ какъ онъ въ случаѣ проигрыша не могъ бы уплатить въ тотъ же вечеръ, и пришлось бы отложить уплату до утра. Разумѣется, это была шутка, такъ какъ ни одинъ изъ гостей князя, конечно, не могъ бы поставить болѣе десяти тысячъ наличными деньгами.

Объ этомъ картежномъ вечерѣ уже дня за три пошли толки въ Москвѣ въ нѣкоторыхъ кружкахъ, какъ о событіи, потому что у князя можно было проиграть и выиграть огромныя деньги.

Картежная игра въ обѣихъ столицахъ и въ провинціи, начавшаяся въ послѣдніе годы царствованія императрицы Анны, за все царствованіе Елисаветы Петровны все усиливалась невѣдомо почему. Въ послѣдніе годы ея царствованія правительство обратило вниманіе на многое, что прежде, казалось, не входило въ сферу вѣдѣнія и вліянія его.

Такъ, правительство обратило вниманіе на расточительность дворянства, на жизнь сверхъ средствъ, чрезмѣрную роскошь, извѣстнаго рода соперничество въ безумныхъ тратахъ и приняло мѣры регламентировать дворянское житье-бытье. Конечно, съ успѣхомъ совершить это было мудрено. Мѣры возбуждали неудовольствіе и ропотъ, а настоящей пользы принести не могли.

Но зато года за три до смерти императрицы приняли строгія мѣры противъ страшно развившейся картежной игры разныхъ именованій,—игры, конечно, азартной или, какъ говорили, «газартной», отъ французскаго слова «hasard». И только въ Петербургѣ временно стихла новая страсть, или болѣзнь, почти эпидемія. Но въ Москвѣ и въ большихъ городахъ всей Россіи «газартъ» продолжался.

Въ обществѣ и во всѣхъ полкахъ были записные картежники. Народился и новый типъ людей—мастеровъ, играющихъ во всѣ игры, всегда выигрывающихъ и живущихъ игрой. Образовались даже кружки и кучки лицъ, игравшихъ вмѣстѣ на общія средства, въ складчину. Принадлежность къ кружку

бывала тайной, и лица, принадлежавшія къ одному и тому же кружку, встрѣчались въ иныхъ домахъ, не кланяясь и не разговаривая, какъ если бы они были и незнакомы. Разумѣется, это явилось подкладкой для мошенническихъ продѣлокъ, тѣмъ болѣе, что у нѣкоторыхъ кружковъ былъ свой способъ объясняться знаками.

Князь Александръ Алексѣевичъ когда-то въ Петербургѣ, увлеченный общимъ потокомъ, тоже сталъ играть въ азартныя игры, но любви къ картамъ у него собственно не было. Игралъ онъ сдержанно и благоразумно, проигрывая, не зарывался, а умѣлъ, холодно выждавъ, отыграться. Онъ дѣлалъ, сравнительно со средствами своими, небольшія ставки и всегда, имѣя возможность поставить въ двадцать разъ болѣе, легко отыгрывался. Но самая игра, именно поэтому, его и не волновала, и не интересовала.

Зато было нѣчто, что онъ любилъ, по оригинальности характера и отъ извѣстнаго рода скуки. Онъ любилъ картежные вечера, какъ зрѣлища. Его забавляли счастливыя лица выигравшихъ и угрюмыя, мрачныя лица проигравшихся. И онъ не столько любилъ участвовать самому въ игрѣ, сколько присутствовать для того, чтобы «спасать и наказывать».

Каждый разъ, что случалось ему на картежномъ вечерѣ увидеть челоѣка ему по душѣ, который игралъ несчастливо и кончалъ сильнымъ проигрышемъ, а затѣмъ отчаяніемъ, князю доставляло наслажденіе начать играть съ нимъ якобы пополамъ. Онъ присаживался и огромными смѣлыми ставками, въ которыхъ была маленькая доля проигравшагося, онъ тотчасъ же выигрывалъ. Проигрышъ возвращался несчастливцу, а деньги, выигранныя лично княземъ, снова умышленно имъ проигрывались, чтобы онѣ вернулись обратно къ ихъ владѣльцу.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, каждый разъ, что князь встрѣчалъ челоѣка, ему почему-либо непріятнаго, онъ выжидалъ, не будетъ ли онъ выигрывать. И если это случалось, то онъ вызывалъ его потягаться и всячески старался, чтобы тотъ въ концѣ-концовъ проигрался въ пухъ и прахъ.

Такимъ образомъ, картежная игра не была для князя страстью, а престо забавой или такой же шалостью, какъ и многія другія. Когда-то, овдовѣвъ и покинувъ Петербургъ, онъ бросилъ многія свои прихоти, въ томъ числѣ и карты, но затѣмъ, въ своихъ скитаніяхъ по Россіи и за границей, снова иногда возвращался къ той же забавѣ—«спасать и наказывать».

Онъ слѣлалъ теперь картежный вечеръ—съ особой цѣлью. Разговорившись съ племянникомъ и узнавъ, что Сашокъ, благодаря, конечно, Кузьмичу, всячески удалялся отъ всѣхъ игроковъ и отъ всякихъ картежныхъ вечеринокъ въ Петербургѣ, онъ предложилъ племяннику показать ему, что такое азартная игра. И, разумѣется, не для того, чтобы приучить его къ этой опасной и худой забавѣ, а, напротивъ, разъ навсегда показать и доказать, почему надо отъ этого удаляться.

Князь далъ племяннику сто червонцевъ для того, чтобы онъ попробовалъ счастья на разныхъ столахъ въ разные игры. И если выиграетъ—тѣмъ лучше, а если проиграетъ, чтобы далѣе послѣдняго рубля не шелъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, князь взялъ слово съ племянника, что это будетъ его первая и послѣдняя проба.

Гости князя съѣхались довольно поздно. Было обычаемъ, что картежная игра должна происходить въ позднее время и ночью, а не среди бѣла дня. Играть при солнечномъ свѣтѣ считалось совершенно неприличнымъ. Почему собственно, никто этимъ вопросомъ не задавался и никто не зналъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, многіе записные игроки переставали играть, когда благовѣстили къ заутрени, одни считая это грѣхомъ, другіе боясь худой примѣты.

XXIII.

Въ этотъ день картежнаго сборища, задуманнаго исключительно для Сашка, князь замѣтилъ, что племянникъ особенно радостно настроенъ, но на его вопросъ о причинѣ такого настроенія Сашокъ ничего не объяснилъ, хотя успѣлъ снова побывать у Квощинскихъ въ качествѣ жениха.

Разумѣется, чтобы вечеръ былъ вполне забавенъ и чтобы для племянника зрѣлище было вполне любопытное и поучительное, князь просилъ къ себѣ гостей безъ разбора, кто только желаетъ. И когда у него просили дозволенія привести съ собой и представить кого-либо изъ хорошихъ благопріятелей, то князь, глядя въ лицо говорящаго, думалъ:

«Хороши, должно быть, твои благопріятели! Вродѣ тебя самого. Того и гляди, что вы, голубчики, заужиномъ ложку или вилку въ карманъ спрячете...»

И затѣмъ онъ прибавлялъ:

— Сдѣлайте такое одолженіе. И одного пріятеля и хоть десять. Лишь бы только былъ играющій!

Когда гости собрались, князь, конечно, отлично зналъ, что, въ числѣ прочихъ, есть и «настоящіе» игроки или, какъ онъ ихъ называлъ, «подтасовочные дѣль мастера».

Одинъ гость тотчасъ же сразу привлекъ на себя вниманіе хозяина. Человѣкъ этотъ познакомился съ княземъ особенно, а именно черезъ племянника и былъ, такимъ образомъ, не съ вѣтра.

Это былъ капитанъ Кострицкій, съ которымъ Сашокъ давно встрѣчался въ домѣ Маловой, но который на него не обращалъ прежде никакого вниманія, а съ той минуты, что Сашокъ поселился у богача-дяди, Кострицкій сразу перемѣнилъ съ нимъ обращеніе. Онъ сталъ предупредительнѣе и любезнѣе, а въ нѣсколько дней, ежедневно заѣзжая къ Сашку въ гости, якобы случайно и по дорогѣ, постарался сблизиться съ молодымъ человѣкомъ, а затѣмъ попросилъ себя представить и князю.

Князь, опытный и проницательный человѣкъ, познакомясь съ Кострицкимъ, тотчасъ же объяснилъ племяннику:

— Ну, милый мой, остерегайся этого! Это гусь!

Сашокъ, не считая Кострицкаго дурнымъ человѣкомъ, а просто веселымъ и болтливымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ очень любезнымъ, спросилъ у дяди объясненія этого слова.

— Я тебѣ говорю, что это навѣрное гусь.

— Да что же это значить, дядюшка?—спросилъ Сашокъ.

— Не знаю, дорогой! Такъ по-русски сказывается, даже восклицается: вотъ такъ гусь! И хоть птица-гусь никогда не бывала замѣчена въ предосудительныхъ какихъ поступкахъ, а напротивъ того, прославилась въ исторіи человѣчества тѣмъ, что спасла отъ непріятельскаго нашествія знаменитый городъ Римъ. Ты объ этомъ не слыхалъ, потому что о многомъ никогда не слыхивалъ.

Въ этотъ вечеръ Кострицкій въ числѣ приглашенныхъ почему-то особенно не понравился князю. У него была черта, которую князь Козельскій не прощалъ никому. Кострицкій заявилъ ему, что онъ—древнѣйшій дворянинъ Кіевской губерніи, что его предки еще при Владимірѣ Святѣмъ существовали.

Затѣмъ тотъ же капитанъ хвалился своими родственниками, пріятелями и связями въ Петербургѣ, говорилъ, что все, что есть сановнаго въ Москвѣ—его хорошіе знакомые, и очень жаль, что изъ нихъ никого нѣтъ у князя на вечерѣ.

Затѣмъ Кострицкій успѣлъ похвастать и своими побѣдами надъ прекраснымъ поломъ, говоря, что нѣтъ той женщины на свѣтѣ, которой бы онъ не сумѣлъ, если захочетъ, понравиться. Однимъ словомъ, въ какіе-нибудь полчаса бесѣды съ княземъ, Кострицкій такъ себя отрекомендовалъ, что гостепріимный хозяинъ рѣшилъ непременно, во что бы то ни стало, поучить поздоровѣе нахальнаго капитана.

И князь Александръ Алексѣевичъ все свое исключительное вниманіе обратилъ на Кострицкаго.

«Заставлю я тебя такъ - ли, сякъ - ли продуться въ пухъ и прахъ! Голаго отпущу отъ себя! Мундиръ, саблю и киверъ — и тѣ заставлю поставить и проиграть!»

И около полуночи за отдѣльнымъ столомъ сѣли играть въ «фараонъ»: князь, его племянникъ, Кострицкій и Романовъ. Послѣдній, явившійся поневолѣ, вслѣдствіе усиленныхъ просьбъ князя, собирался тотчасъ же уѣхать, говоря, что ему, какъ должностному лицу, не подобаетъ быть на противозаконныхъ вечерахъ. Князь упросилъ друга всячески остаться хотя бы только до ужина, а послѣ ужина, когда начнется настоящій «газардъ», онъ будетъ имъ отпущенъ.

Князь предупредилъ Романова, а равно объяснилъ и племяннику, что они должны понемножку отстать отъ игры, и онъ уже будетъ одинъ продолжать съ капитаномъ. Они такъ и поступили.

«Фараонъ», который затѣмъ продолжалъ князь съ капитаномъ, былъ уже собственно не настоящимъ, а совершенно измѣненнымъ. Благодаря нѣкоторымъ условіямъ, предложеннымъ княземъ и принятымъ Кострицкимъ, «фараонъ» превратился въ «Агафью» или въ одну изъ самыхъ отчаянныхъ азартныхъ игръ.

Самоувѣренный капитанъ почему-то считалъ князя Козельскаго человѣкомъ недалекимъ, наивнымъ и былъ глубоко увѣренъ, что онъ въ этотъ вечеръ, играя съ богачемъ, выиграетъ у него страшную сумму. Подозрѣвать, что самъ хозяинъ сѣлъ за столъ именно съ той же цѣлью, хотя по другимъ побужденіямъ, онъ, конечно, никакъ не могъ.

Разумѣется, жадность и погубила Кострицкаго. Онъ соглашался на всякія ставки, шибко выигрывалъ и проигрывалъ. Иногда онъ выигрывалъ сразу такую сумму, что могъ бы благополучно прожить на нее безпечно года два, но не останавливался, продолжалъ и проигрывалъ снова. Если бы князь въ

ижую минуту потребовать расчета немедленно, то, конечно, у Кострицкаго не нашлось бы нужныхъ денегъ не только съ нимъ въ карманѣ, но и дома въ столѣ или сундукѣ.

Однако, часовъ въ одиннадцать вечера веселый и бойкій предъ тѣмъ капитанъ сидѣлъ за столомъ уже сильно блѣдный... Его собственная жадность и «наивность» хозяина дома, позволившаго ему дѣлать ставки на вѣру очень крупныя, его подвели... Онъ зарвался далеко черезъ край и совсѣмъ «зарвался». Отыгаться уже не было возможности. Онъ «сидѣлъ» въ семнадцати тысячахъ. А съѣздить и привезти еще можно было не болѣе полуторы. Оставалось одно спасеніе. У него былъ домъ въ Москвѣ, на Дмитровкѣ. И этотъ домъ былъ имъ заявленъ послѣ проигрыша семнадцатой тысячи и предложенъ князю на словахъ, вмѣсто наличныхъ якобы денегъ...

Александръ Алексѣевичъ «наивно» согласился считать домъ въ пятнадцать тысячъ, и «Агафья» продолжалась... И черезъ часъ домъ остается за княземъ плюсъ наличныя семнадцать тысячъ, которыя, однако, на лицо не были.

Когда наступило время садиться ужинать, Кострицкій, уже мертвенно блѣдный, собрался домой, но князь его не пустилъ.

— Что вы! Что вы! Развѣ можно... Послѣ ужина я вамъ дамъ отыгаться!—сказалъ онъ весело.

— Не могу, князь... У меня больше ничего нѣтъ... И достать негдѣ...—произнесъ капитанъ сдавленнымъ отъ волненія голосомъ.

— Пустое. Надумаемъ... Да стойте... Вотъ! Надумаль...— И князь сказалъ капитану нѣсколько словъ на ухо... Кострицкій изумился и стоялъ, какъ вкопанный.

— Развѣ нѣту? Вы же говорили, что у васъ этого добра много...

— Есть... Но... Есть... Но право, я не знаю...

— Подумайте. Обсудите все. За ужиномъ, — разсмѣялся князь.—А тамъ вы заблагоразсудите, поѣзжайте и привозите... Согласенъ считать въ сорока тысячахъ. И если проиграю, то доплачу вамъ восемь... А если выиграю, то... зависитъ какъ и что?.. Можетъ быть, удовольствуюсь этимъ выигрышемъ, а долгъ наличными и домъ останутся за вами... Прощу.

— Какъ простите?—вскрикнулъ капитанъ, преобразясь.

— Да такъ... Что же мнѣ васъ грабить.

— Вы благородный человекъ, князь, — вскрикнулъ снова Кострицкій. — Я рѣшаюсь и ѣду сейчасъ. Вы не успѣете позужинать, какъ я буду здѣсь.

XXIV.

Уже около полуночи, когда Настасья Григорьевна спала сладкимъ сномъ, въ ея небольшомъ домѣ раздался стукъ и шумъ. Кто-то стучалъ отчаянно въ подъѣздъ, потомъ и въ ворота, а затѣмъ уже началъ стучать и въ окошки. Услыхавшая первую и подымавшаяся горничная пріотворила окно и отъ страшной темноты на улицѣ не могла увидеть и различить никого, но по голосу узнала капитана Кострицаго.

— Отпирай скорѣй! — крикнулъ онъ. — Спѣхъ!

Горничная разбудила лакея, послала отворять дверь подъѣзда, а сама побѣжала въ спальню барыни.

Настасья Григорьевна, уже разбуженная шумомъ, сидѣла на постели и спросонья имѣла видъ, совершенно перепуганный.

— Пожаръ?! — воскликнула она при видѣ горничной.

— Никакъ нѣтъ! Митрій Михалычъ стучится. Андрей уже отворяетъ имъ.

— Да что такое? Что ему нужно?

— Не знаю-съ... Только въ окно мнѣ закричали «отпирай!» И голосъ такой у нихъ отчаянный... Должно приключилось что-нибудь.

Въ ту же минуту раздалась по квартирѣ скорые шаги капитана. Онъ вошелъ въ спальню, крикнулъ на горничную «пошла вонъ!» и опустился въ кресло около постели женщины, какъ если бы пробѣжалъ десять верстъ безъ передышки.

— Что такое?! — ахнула Настасья Григорьевна. Капитану случалось оставаться у нея ночью, но не являться такъ, вдругъ...

Кострицкій закрылъ лицо руками, потомъ провелъ ими по головѣ, а потомъ замахалъ ими на женщину. Жестъ говорилъ такое, что сразу и сказать нельзя. Цѣлое происшествіе! Событіе внезапное и страшное.

— Господи Іисусе Христе! — перекрестилась Малова. — Да что же это ты? Говори скорѣй!

— Слушай, Настенька, слушай въ оба! Дѣло важнѣйшее. Дѣло смертельное.

— Охъ, что ты!

— Смертельное, тебѣ говорю. Либо мнѣ сейчасъ помирать, либо нѣтъ! И все отъ тебя зависитъ.

— О, Господи!

— Да. Слушай! Былъ я у князя Козельскаго вечеромъ! И вотъ по сю пору мы все въ карты дулись. Я былъ въ страшнѣйшемъ выигрышѣ. До семи тысячъ хватилъ. А тамъ все спустилъ, что было съ собой и что въ столѣ найдется, и не удовольствовался. Домъ свой предложилъ... И домъ проигралъ!

— Какъ домъ?!—вскрикнула Малова.

— Да такъ!

— Да нешто это можно! Вѣдь на деньги играютъ, самъ ты всегда сказывалъ. А нешто на дома играютъ?

— Ничего ты не понимаешь, глупая женщина!—воскликнула капитанъ.—Толкомъ тебѣ говорю: все спустилъ, ничего у меня нѣтъ. Часы — и тѣ, почитай, князевы, если платить ему. И теперь мнѣ остается одно — руки на себя наложить, застрѣлиться. Я вотъ такъ и порѣшилъ.

— Съ ума ты спятилъ?

— Нѣтъ, дѣло рѣшенное! Вотъ сюда и пріѣхалъ къ тебѣ. И тутъ же вотъ около тебя и застрѣлюсь!

Кострицкій вынулъ изъ большого кармана камзола пистолеть и показалъ его. Малова ахнула и замахала руками.

— Стой! Стой! Выстрѣлить! Убьешь!

— Не бойся, тебя не убью. А самъ вотъ сейчасъ тутъ же застрѣлюсь, если ты не будешь согласна меня спасти.

— Да какъ же?! Что я могу? У меня денегъ всего...

— Многое можешь! Слушай!

И Кострицкій, перебиваемый удивленными вопросами женщины, подробно рассказалъ ей, что не только можно играть на вещи и на дома, но можно ставить на карту и собакъ, и лошадей, и даже крѣпостныхъ цѣлыми деревнями.

— Все нынче прошло!—прибавилъ капитанъ.—Чего, чего нынче у князя не выиграли и не проиграли.

Наконецъ, постепенно, чтобы сразу не перепугать черезчуръ Малову, капитанъ дошелъ и до главнаго: солгавъ, конечно, онъ объяснилъ женщинѣ, что у князя на вечерѣ сегодня была поставлена на карту однимъ офицеромъ его собственная законная жена и онъ отыгрался. Но такъ какъ онъ, Кострицкій, не женатъ, то отыграться на этотъ ладъ не могъ. У него никого

нѣтъ, даже крѣпостныхъ холоповъ нѣтъ. И для него одно спасеніе. Онъ просилъ князя позволить отыграть все проигранное, поставя на карту женщину, хотя ему и чужую, но любящую его и готовую его спасти.

И Кострицѣй прибавилъ:

— Спаси меня, Настенька! Дозволь отыгратъ на тебѣ.

Женщина слушала и глядѣла, выпуча глаза, и хотя сонъ ея отъ перепуга совершенно прошелъ, тѣмъ не менѣе она чувствовала, что сидитъ въ какомъ-то снѣ наяву. Она не сразу поняла и заставила Кострицкаго снова повторить то же и снова объяснить все. Наконецъ, она поняла и заплакала.

— Чего же ты?

— Какъ чего? Страшно, Митенька.

— Да чего же страшно-то?

— Не знаю...

— Ну, какъ хочешь! Это одно спасеніе! Коли тебѣ меня не жаль, то Богъ съ тобой! Стало бытъ больше ничего не остается...

Капитанъ снова взялъ пистолеть въ руки и сталъ осматривать его.

— Стой! Стой!—закричала Настасья Григорьева.

И она выскочила изъ постели и схватила его всѣми силами за руки.

— Говори. Какъ быть? Что надо дѣлать?

— Одѣваться и ѣхать.

— Какъ одѣваться?!

— Да такъ! И ѣхать со мной!

— Куда?—съ ужасомъ вскрикнула женщина.

— Къ князю!

— Какъ къ князю? Когда?

— Сейчасъ вотъ! Одѣвайся и поѣдемъ!

— Да зачѣмъ?

— А за тѣмъ, чтобы онъ тебя видѣлъ. Онъ безъ этого не согласенъ. Но я знаю, что, увидавъ тебя, онъ согласится. Вѣдь это только, конечно, къ примѣру, Настенька. Пойми! Проиграть я не могу. Приѣдешь, князь тебя посмотреть... Ну, посидишь въ гостиной... А я поставлю тебя на карту и отыграю свои тридцать тысячъ.

— Какъ же, то-есть, на карту? На столъ лѣзть?

— Да нѣтъ, глупая! Ужъ ты одѣвайся и поѣдемъ.

Настасья Григорьевна, не только перепуганная, но совершенно какъ бы очумѣлая, начала одѣваться. Изрѣдка она останавливалась, всхлипывала и говорила покорно:

— Митенька? Помилуй! Что же это такое?

Но Кострицкій въ отвѣтъ бралъ въ руки пистолеть и поднималъ его къ виску.

XXV.

Черезъ четверть часа капитанъ и Малова сидѣли уже въ его каретѣ и среди ночи быстро двигались по переулкамъ. Когда они вѣхали во дворъ дома князя и Малова увидѣла длинный рядъ ярко освѣщенныхъ оконъ, на нее напалъ такой страхъ, что она готова была выскочить изъ экипажа и броситься бѣжать. Кострицкій предвидѣлъ это и былъ на сторожѣ.

— Ничего, ничего, не бойся! Все это пустое! Ты и не увидишь никого. Только, говорю, посидишь въ гостиной.

Капитанъ и его подруга поднялись по парадной лѣстницѣ. Люди въ швейцарской не обратили на женщину никакого вниманія. Не то видали они, служа у чудодѣя-князя. И теперь даже они отлично знали, зачѣмъ является среди ночи незнакомая имъ барынька.

Капитанъ провелъ женщину въ гостиную, усадилъ, а самъ пошелъ въ залу, откуда доносились десятки веселыхъ голосовъ. Малова настолько оробѣла, что сидѣла, какъ кукла, какъ бы ничего не сознавая и не понимая. Долго ли она просидѣла, ей было даже невозможно сообразить, настолько все путалось въ головѣ. Но, наконецъ, двери отворились, появился ея «Митенька», а за нимъ высокая фигура пожилого человѣка.

Малова догадалась, что это самъ князь, и невольно поднялась съ кресла.

— Здравствуйте! Очень радъ съ вами познакомиться!— выговорилъ князь любезно.— Вы рѣшаетесь помочь капитану въ бѣдѣ?

Малова молчала.

— Отвѣчайте же, сударыня!

— Отвѣчай, Настенька! Князю нужно это знать. Скажи, добровольно ли ты согласна.

— Добровольно! — черезъ силу и еле слышно произнесла женщина.

— Вамъ извѣстно, что будетъ, если капитанъ проиграетъ?

— Нѣтъ-съ...

— Какъ нѣтъ?!—воскликнулъ Кострицкій.—Я же тебѣ два часа пояснялъ! Но вѣдь это не навѣрно... Вотъ и князь скажетъ! По всей видимости я выиграю. Говори, что тебѣ все извѣстно, и что ты согласна.

— Наступило молчаніе.

— Говори же, Настенька. А то я сейчасъ же, вотъ тутъ, исполню то, о чемъ я тебѣ сказывалъ. Знаешь, вотъ что тутъ у меня въ камзолѣ... Говори, согласна?

— Согласна!—пролепетала Малова.

Ну-съ, въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ побольше васъ разглядѣть! Хоть я вижу, что вы очень привлекательны, но все-таки это дѣло серьезное и зря поступать нельзя!—усмѣхаясь выговорилъ князь серьезнымъ голосомъ,—но видно было, что онъ сдерживаетъ смѣхъ при видѣ перепуганной женщины.

Князь взялъ канделябръ о четырехъ свѣчахъ и приблизился къ Маловой, которая глядѣла хотя и дикими глазами, была все-таки красива.

— Вы прелестны, сударыня!—сказалъ князь.—По справедливости, вы могли итти за пятьдесятъ тысячъ... Но вотъ что не ладно...

Князь подумалъ немного и выговорилъ, сдерживаясь отъ смѣха:

— Вотъ что, любезный мой Дмитрій Михайловичъ. Я опасаюсь, все-таки, нѣтъ ли недоразумѣнія. Хорошо ли вы объяснили госпожѣ Маловой, въ чемъ дѣло заключается.

— Совершенно, князь, совершенно.

— Я долженъ вамъ замѣтить, что если бы сія дама была вашей законной супругой, то и рѣчи бы не было о вашемъ правѣ играть на нее... Но вѣдь она вамъ чужая и ваша только сердечная подруга...

— Да-съ. Но она согласна спасти меня,—горячо заявилъ Кострицкій.—Это наше обоюдное согласіе...

Въ эту минуту въ домѣ раздались крики десятковъ голосовъ и хлопанье въ ладони. Малова прислушалась и стояла уже совсѣмъ перепуганная.

— Успокойтесь, сударыня. Въ залѣ нѣкая красавица восхищаетъ моихъ гостей своими танцами, — объяснилъ князь и продолжалъ, обратясь къ капитану. — Знаетъ ли хорошо

госпожа Малова, что именно съ нею приключится въ случаѣ вашего новаго проигрыша.

— Конечно-съ. Конечно же,—воскликнулъ Кострицкій.

Но князь подозрительно поглядѣлъ на него и обратился прямо къ Настасьѣ Григорьевнѣ:

— Извѣстно ли вамъ, сударыня, что въ случаѣ проигрыша капитана, вы станете... Какъ бы это вамъ выразить по-деликатнѣе... Его права перейдутъ ко мнѣ, и ваши добровольныя обязательства къ нему стануть обязанностями ко мнѣ. Поняли?

— Поняла,—безсмысленно произнесла Малова.

— Боюсь, что нѣтъ,—отозвался князь.

И онъ прибавилъ разумительно:

— Если я выиграю, то вы останетесь здѣсь, въ моемъ домѣ, и будете моей подругой, пока я того пожелаю, или пока я васъ не проиграю кому другому. Понятно это вамъ вполне?

Настасья Григорьевна достала платокъ изъ кармана, высморгалась и начала утирать слезы на глазахъ.

Князь развелъ руками и, обратясь къ Кострицкому, проговорилъ нерѣшительно:

— Ужъ я право не знаю, капитанъ...

— Такъ ты моей смерти хочешь! — вскрикнулъ тотъ, обращаясь къ женщинѣ. — Хорошо. Поѣзжай домой и реви тамъ. А завтра пріѣзжай ко мнѣ служить по мнѣ панихиды...

— Что вы! Что вы! Я же согласна. На все согласна! — отчаянно отозвалась Малова, и, обратясь къ князю, она уже выговорила громко и твердо:

— Я все понимаю, князь, какъ должно.. И я согласна. Авось Богъ дастъ я вамъ не достанусь.

— Чувствительно васъ благодарю за любезныя ваши слова! — отвѣтилъ князь, кланяясь и добродушно смѣясь. — Ну-съ, обождите здѣсь судьбу свою. Мы пойдемъ съ капитаномъ тягаться, чья возьметъ.

Между тѣмъ, пока капитанъ чудилъ за Маловой, а гости ужинали, князь рѣшилъ угостить всѣхъ на особый ладъ. Показать всѣмъ свою «моддашку» и заставить ее протанцовать.

Теперь Земфира была уже въ залѣ, въ фантастическомъ костюмѣ, и ужъ протанцовала два танца, приводя въ восторгъ всѣхъ присутствующихъ и красотой своей, и граціей движеній.

Даже Сашокъ, глядя на танцующаго врага своего, сознавался, что эта злюка красивѣе его Танечки.

Протанцовавъ второй танецъ, Земфира вдругъ подошла къ Сашку и выговорила ему тихо, почти на ухо:

— Александръ Никитичъ, у меня къ вамъ большая просьба. Сдѣлайте одолженіе!

— Что прикажете?

— Дѣло простое, но я никому изъ людей не могу его препоручить. И надо тайкомъ. Сюрпризомъ. Съ ними даже ничего не выйдетъ. А вы можете все сдѣлать. А одолженіе большое! Удовольствіе и князю, и всѣмъ гостямъ. Мнѣ хочется протанцовать еще одинъ испанскій танецъ. Для него нуженъ особый такой шарфъ. А я третьяго дня отдала его Клавдіи Оттоновнѣ, моей пріятельницѣ. На углу вотъ, первый же переулокъ... Такъ вотъ будьте добры, дойдите къ ней, сію же минуту, разбудите ее коли спитъ, возьмите его и принесите. Но именно бѣгомъ, такъ сказать, добѣжите. А коли будете приказывать закладывать экипажъ, такъ когда же это будетъ? Да и не стоитъ того! Вѣдь тутъ рукой подать.

— Съ большимъ удовольствіемъ!—отозвался Сашокъ.—Я сію минуту!

— Ея крыльцо на углу...

— Да я знаю... Знаю. Я же видѣлъ васъ еще вчера, провзжая, какъ вы входили туда.

XXVI.

Сашокъ, дѣйствительно, зналъ, какъ и всѣ въ домѣ, что недавно по сосѣдству поселилась новая пріятельница Земфиры, съ которой она постоянно видѣлась и сносилась.

Онъ быстро спустился внизъ, взялъ киверъ, накиннулъ плащъ и уже двинулся на подвѣдъ.

— Развѣ пѣшкомъ, ваше сіятельство?—сказалъ швейцаръ, удивляясь.

— Пѣшкомъ! Тутъ. Близехонько.

Въ ту же минуту раздался въ швейцарской голосъ Кузьмича:

— Куда?! Что?! Ума рѣшился никакъ? Куда летишь?!

— Тутъ за два шага, Кузьмичъ! Дѣльце есть! Оттого и пѣшкомъ, что рукой подать... Да и спѣшное!..

— Дѣльце?.. Спѣшное?.. Одному?.. Въ такую темь?.. Да что ты, съ ума, что ли, сошелъ?

Кузьмичъ подошелъ вплотную къ Сашку, схватилъ его за шинель и подозрительно приглядывался къ лицу питомца.

— Говори, какое дѣльце?

— Нельзя сказать, Кузьмичъ! Просили не говорить!— улыбнулся Сашокъ.— Но за два шага! Сейчасъ назадъ!

— Хоть бы на вершочекъ отъ дома, не то что за два шага, не пуцу! Этакая темь на дворѣ, ни зги не видно, а ты пойдешь, какъ простой какой мужикъ, пѣхтурой одинъ однехонекъ. Совсѣмъ съ ума сошелъ!

— Полно, Кузьмичъ, глупить! Пусти! — уже началъ обижаться Сашокъ, такъ какъ кругомъ стояли дворовые люди и были свидѣтелями обращенія дядьки съ питомцемъ, какъ съ дитей.— Пусти, Кузьмичъ, я тебѣ говорю! Ну. Я пойду! Хоть что хочешь, пойду! Перестань! Вонъ гляди, они всѣ смѣются!..

И, дѣйствительно, кое-кто изъ лакеевъ улыбался происшествію. Сашокъ почти вытащилъ изъ рукъ старика полу своего плаща и двинулся на подѣздъ.

Кузьмичъ заметался, потомъ выскокилъ вслѣдъ за нимъ во дворъ и рѣшилъ, хоть былъ безъ шапки, итти слѣдомъ за питомцемъ, чтобы узнать, какое можетъ быть у него спѣшное и тайное дѣльце среди ночи.

Сашокъ, перейдя дворъ, былъ уже въ воротахъ, и, благодаря темнотѣ, Кузьмичъ смутно различалъ его. Но въ самыхъ воротахъ старикъ налетѣлъ на какую-то фигуру.

— Что такое?— произнесъ встрѣченный.

И по голосу Кузьмичъ узналъ ражаго молодца, кучера, любимца князя.

Мысль мелкнула въ головѣ дядьки.

— Семень, голубчикъ, гляди вонъ... Видишь вонъ... Запашгалъ... Это мой князинька... Въ эту темь одинъ пошелъ куда-то. А у насъ, слышалъ, недавно душегубы напали на прохожаго дьяка... Сдѣлай милость, пойди за нимъ. Куда пойдеть—и ты! Сказываетъ — не далеко! Опасаюсь я. Вѣдь ночь!

— Извольте, Иванъ Кузьмичъ, съ удовольствіемъ!— отвѣтилъ кучеръ и, тотчасъ повернувъ, запашгалъ и быстро сталъ наступать Сашка, — однако же, чтобы не быть признаннымъ, и чтобы молодой князь не обидѣлся, Семень держался шагахъ въ десяти отъ него. Но вдругъ, когда молодой князь былъ уже на углу переулка, Семень услышалъ крикъ, и ему почудилось, что это голосъ князя...

Не отдавая себѣ отчета въ чемъ дѣло, онъ со всѣхъ ногъ бросился впередъ, но на углу онъ не нашелъ ни души... Но далѣе слышалась топотня ногъ, и казалось, что убѣгаютъ два человѣка. Семень, ничего не сообразивъ, снова бросился и пустился во всю прыть.

Черезъ нѣсколько мгновений онъ уже догонялъ фигуру, которая шибко бѣжала. Но передъ ней, шагахъ не болѣе какъ въ пяти, бѣжалъ еще другой кто-то. Одинъ гнался за другимъ... И вдругъ раздался голосъ передняго:

— Помогите!.. Помогите...

Семень ясно различилъ голосъ молодого князя, да и мелькавшая впереди фигура походила на него, а бѣжавшій предъ нимъ былъ выше и крупнѣе. Кучеръ, малый умный, сразу все понялъ. Утроивъ силы, настигъ онъ ближайшаго бѣгущаго и со всего маху на бѣгу хватилъ его кулакомъ по головѣ.

Ударъ ли ражаго кучера былъ силенъ, или неожиданность велика, но бѣгущій полетѣлъ на землю и закувыркался... Семень накинудся и ловко съ маху сблъ на него верхомъ... Въ ту же минуту онъ почувствовалъ чудной ударъ въ грудь около плеча и сообразилъ, что его хватили ножемъ. Онъ пригнулся, схватилъ одной рукой душегуба за руку съ ножемъ, а другой—за горло и сталъ душить...

— Бросай!.. Брось!.. Или конецъ тебѣ!.. — крикнулъ онъ внѣ себя.

Незнакомецъ забился, но тотчасъ же выпустилъ ножъ изъ руки и уже хрипѣлъ. Семень, продолжая сидѣть верхомъ и держать его за горло такъ, чтобы только не придушить со-всѣмъ, началъ кричать изо всей мочи:

— Караулъ! Помогите! Рѣзутъ!

По всей вѣроятности, пришлось бы все-таки выпустить изъ рукъ пойманнаго, такъ какъ на улицѣ, среди поздней ночи, было совершенно темно, пустынно, и помощи быть не могло, но Кузьмичъ отрядившій охрану питомцу, все-таки не вернулся домой, а оставался въ воротахъ ждать его возвращенія. И, конечно, крикъ Сашка былъ имъ услышанъ и узнавъ, и онъ думалъ только, что ему почудилось. Но зычный крикъ Семена сказалъ и объяснилъ все. Кузьмичъ бросился въ швейцарскую и мигомъ всполошилъ всѣхъ людей. Минуты черезъ двѣ уже цѣлая ватага на рысяхъ, со старикомъ Кузьмичемъ чуть не впереди, была уже кругомъ Семена, сидящаго верхомъ на хрипящемъ человѣкѣ.

Но одновременно около прибѣжавшихъ людей, какъ изъ земли выросъ, и самъ Сашокъ.

— Что такое? Что такое?—повторяло нѣсколько голосовъ.

— А вотъ что,—вскрикнулъ Сашокъ все еще неровнымъ, прерывающимся голосомъ.—Онъ меня ударить хотѣлъ, да обмахнулся, а потомъ бросился догонять, а потомъ не знаю что... Кажись, это Семень. Я дядюшкѣ сейчасъ пожалуюсь.

— Полно путать!—взвизгнулъ виѣ себя Кузьмичъ.—То, да не то! Вотъ тебѣ и дѣльце, ночью за два шага! То-то вотъ! Дите и есть!

Пойманнаго схватили за руки, за воротъ, а одинъ изъ людей даже вѣспился ему въ кудрявые густые волосы... И душегуба съ гуломъ повели въ домъ. Навстрѣчу уже бѣжало еще нѣсколько человекъ дворовыхъ. На большомъ дворѣ и на подъѣздѣ толпились и громко говорили многіе изъ гостей, вышедшихъ ради происшествія, о которомъ доложили князю. Черезъ нѣсколько мгновеній пойманный былъ введенъ въ швейцарскую. Началось объясненіе всего, кто что зналъ... Семень оказался раненъ около плеча, и рубаха на немъ была вся окровавленная. Ночной душегубъ оказался совершенно никому, конечно, незнакомымъ, и только по типу его лица можно было безошибочно утверждать, что онъ цыганъ.

Князь тоже спустился въ швейцарскую поглядѣть на разбойника, который ради грабежа чуть не убилъ его племянника. Онъ узналъ, что Земфира послала Сашка среди ночи пѣшкомъ за шарфомъ, когда именитымъ дворянамъ и днемъ не полагается ходить по городу пѣшкомъ безъ ливрейныхъ лакеевъ позади. И князь разсердился и на сожительницу и на племянника.

— Дура и дуракъ! Вотъ что!—сказалъ онъ при всѣхъ, а затѣмъ приказалъ связать и запереть душегуба и утромъ отправить на съѣзжую или въ кордегардію.

Между тѣмъ, Земфира танцевала, и пока Сашокъ ходилъ по порученію и подвергался большой опасности, въ домѣ князя совершилось тоже своего рода диковинное дѣло, о которомъ всѣ гости знали, толковали и смѣялись. Князь выигралъ въ карты семнадцать тысячъ деньгами, домъ на Дмитровкѣ и красавицу даму, родственницу офицера, проигравшагося въ пухъ и прахъ. И теперь въ гостиной сидѣла красивая блондинка и горько плакала. А рядомъ, въ залѣ, сидѣла другая красавица «чернавка» и отчаянно плакала... По-

чему? Кто говорилъ, что отъ перепуга въ виду приключившагося по ея милости. А кто догадывался, что изъ ревности... А правду могъ знать только одинъ цыганъ душегубъ!

XXVII.

Въ тотъ же вечеръ въ кружкѣ воспитателя цесаревича было тоже происшествіе, но объ немъ знали только исключительно близкіе ему люди. Всѣ были чрезвычайно взволнованы, узнавъ отъ Панина, что государыня, снисходя къ учрежденію верховнаго, при своей особѣ, тайнаго совѣта, уже назвала ему имена лицъ, которыхъ желаетъ облекъ этимъ почетнымъ и важнымъ званіемъ. Это были графъ Бестужевъ, канцлеръ гр. Воронцовъ, гетманъ Разумовскій, гр. Чернышевъ, князь Волконскій, князь Шаховской и самъ Никита Ивановичъ Панинъ, авторъ «проекта»... А между тѣмъ, онъ, Панинъ, и многіе его друзья были взволнованы отъ неудовольствія, такъ какъ былъ заявленъ еще восьмой членъ совѣта «оскорбительный» для всѣхъ остальныхъ... Они были всѣ сановники, старики или пожилые, а этотъ былъ тридцатилѣтній гвардеецъ.

Восьмымъ членомъ верховнаго совѣта долженствовалъ быть генеральсь-адъютантъ Орловъ. Панинъ поутру тщетно объяснялъ государынѣ, что такое назначеніе молодого Орлова—невозможно. Государыня стояла на своемъ.

Вообще за послѣдніе дни царица выказывала больше твердости и меньше уступчивости во всѣхъ дѣлахъ, и важныхъ и мелкихъ. Работала же она безъ усталости отъ зари до зари. Кромѣ того, императрица изумляла положительно всѣхъ и своимъ государственнымъ или, какъ говорилось, «статскимъ» разумомъ, и своей замѣчательной способностью быстро усвоенія и вѣрнаго рѣшенія всякаго дѣла, всякой специальности. Празднества не мѣшали ей поднимать и разрѣшать самые трудные вопросы. Это была не Елисавета, нерѣшительная и отчасти лѣнивая, не Анна, робкая и безхарактерная.

Каждый день приносилъ окружающимъ монархиню новый, неожиданный сюрпризъ.

Но одновременно Екатерина была видимо неспокойна, озабочена...

Однажды на одномъ изъ небольшихъ вечеровъ государыня обратилась полушутя къ канцлеру Воронцову:

— Пожелаете ли вы, графъ, — спросила она, — заняться дѣломъ одной бѣдной вдовы, — дѣломъ, которое не имѣетъ никакого отношенія къ заботамъ, обременяющимъ канцлера Россійской Имперіи. — Императрица очень часто называла себя «бѣдной вдовой», и Воронцовъ понялъ тотчасъ, что она говорить о себѣ. Но такъ какъ государыня шутила, то и онъ отвѣтилъ также:

— Если хорошіе люди мнѣ эту вдову рекомендуютъ и за нее попросятъ, то возьмусь съ удовольствіемъ за ея дѣло.

— Ну, такъ будьте у меня завтра утромъ. Дѣлъ никакихъ не привозите. Мы побесѣдуемъ только объ вдовѣ.

— Слушаю, ваше величество.

На утро графъ Воронцовъ, все-таки нѣсколько озадаченный, не имѣя возможности догадаться въ чемъ дѣло, былъ въ десять часовъ въ Петровскомъ, въ пріемной государыни, и ждалъ, пока она окончитъ свой утренній туалетъ и кофе.

Когда, наконецъ, его позвали въ кабинетъ, государыня, болѣе веселая, довольная, какъ всегда любезная, попросила его сѣсть и внимательно ее выслушать, а затѣмъ, конечно, сохранить все сказанное втайнѣ. Они заговорили, какъ всегда, по-французски, такъ какъ графъ до тонкостей зналъ и любилъ этотъ языкъ.

— Я выбрала именно васъ, графъ, какъ человѣка, вполне снискавшаго мое довѣріе еще въ прошлое великое царствованіе, а равно и за время краткаго правленія моего покойнаго мужа. И вы, быть можетъ, единственный человѣкъ при дворѣ и, слѣдовательно, во всей Имперіи, который можетъ мнѣ помочь въ этомъ дѣлѣ первой важности... Въ дѣлѣ, — усхмыхнулась государыня, — этой бѣдной вдовы, неимѣющей защитниковъ никого! Кромѣ меня одной...

— Этого съ нея болѣе чѣмъ довольно, ваше величество. Надѣюсь, что защита русской императрицы...

— Нѣтъ. Этого оказывается не только не довольно, но даже слишкомъ мало. Императрица помочь не можетъ, если такой человѣкъ, какъ графъ Воронцовъ, не вступится за нее и не поможетъ.

— Вы меня удивляете, ваше величество.

— Вы сейчасъ еще болѣе удивитесь, графъ. Дѣло вотъ въ чемъ. Эту вдову норовятъ насильно выдать замужъ за человѣка, котораго она очень уважаетъ и любитъ, но за кото-

раго выходить замужъ не хочетъ по многимъ важнѣйшимъ причинамъ... Желаете ли вы ей помочь вмѣстѣ со мной.

— Но какъ, государыня?—произнесъ Воронцовъ, изумляясь и боясь сказать лишнее слово.

— Противодѣйствовать хитро и тонко тѣмъ, кто хочетъ замужества этой вдовы. А *roué—roué et demi*.

— Да вамъ, однако, ваше величество, стоитъ только приказать, и полагаю, что...

— Кому?

— Этимъ людямъ, которые...

— Которые неволятъ къ браку. Я этого не могу.

— Почему же?

— Потому что не хочу. Я не хочу въ частномъ дѣлѣ приказывать.

— Попросите.

— И не хочу просить!

— Тогда, извините... государыня...

Воронцовъ замаялся и прибавилъ тише и улыбаясь:

— Извините. Но тогда, что же я-то могу... Приказать я не могу. А просить—меня не послушаютъ.

— Подумайте, какъ быть. Я вамъ даю срокъ день. Ну, три дня. Подумайте.

Воронцовъ изумлялся, государыня улыбалась. Они посмотрѣли другъ другу въ глаза.

— Ваше величество. Мое положеніе очень трудно,—заговорилъ канцлеръ.—Есть персидская пословица, которая говорить: коли идешь темной ночью съ фонаремъ, освѣщай кругомъ, а не себя самого, а то упадешь. Вы изволили какъ бы освѣтить меня одного и только ослѣпили... Я прежде кой-что самъ видѣлъ въ темнотѣ; теперь освѣщенный, я ничего не вижу, кромѣ пламени. Освѣтите мнѣ путь, по которому я долженъ идти.

— Я этого не могу...—тихо отозвалась Екатерина.

— Ваше величество!..—воскликнулъ Воронцовъ, и голосъ его говорилъ:—«тогда что-жъ я-то могу».

Наступило молчанье.

— Знаете что, графъ, поѣзжайте къ Алексѣю Григорьевичу Разумовскому. Вы это можете?

— Извольте.

— Вы съ нимъ въ очень добрыхъ отношеніяхъ. А онъ чловѣкъ такой же скромный и хорошій, какъ вы. На его

слова можно положиться вполнѣ. И онъ мнѣ душею преданъ. Поѣзжайте къ нему и посоветуйтесь въ этомъ дѣлѣ. Я бы поѣхала сама, т. е. послала бы къ нему эту вдову, но это будетъ неловко. Черезъ третье лицо дѣйствовать легче.

— Слушаюсь,—вымолвилъ Воронцовъ, но продолжалъ глядѣть въ лицо государыни озабоченно и вопросительно, будто ожидая дальнѣйшей бесѣды.

— Вы съ графомъ Разумовскимъ посоветуйтесь... Онъ дѣлецъ! Такъ, напримѣръ: представьте себѣ такой случай, можетъ быть, есть какія-нибудь бумаги... Документы. Надо знать, гдѣ они и у кого они. Если ихъ уничтожить, и загнѣмъ отрицать, что онѣ существовали когда-либо на свѣтѣ, то дѣло будетъ нами тотчасъ выиграно... Безъ приказаній и безъ просьбы!..

Государыня произнесла эти слова уже совершенно серьезно, даже холодно.

Воронцовъ перемѣнился въ лицѣ и просіялъ.

— Спасибо, ваше величество. Вы сразу мнѣ путь освѣтили. Да, графъ Разумовскій можетъ, я знаю, дать мнѣ хорошій совѣтъ.

Государыня подала руку и вымолвила полушутя:

— Вручаю вамъ судьбу этой вдовы, обладающей хорошей, даже лучшей чертой въ человѣческомъ характерѣ, особенно рѣдкой въ наше время и рѣдкой въ женщинахъ. Она благодарное существо. Elle a la bosse de la reconnaissance très developpée. И увѣряю васъ, что Лафатеръ остался бы ея черепомъ очень доволенъ въ этомъ отношеніи. Онъ вѣдь находитъ эту особенность очень развитою только у собакъ, къ стыду всего рода человѣческаго.

Государыня улыbnулась милостиво и прибавила:

— До свиданья—и bonne chance!

— Завтра буду имѣть честь привезти отвѣтъ,—сказалъ Воронцовъ и вышелъ довольный, но немного озабоченный.

«Все въ его рукахъ, — думалъ онъ.—А хохлы упрямы. Приказывать нельзя. Пугать напрасно и недостойно. Просить... Да просить! Ей нельзя. А мнѣ можно!»

— Долго бесѣдовали! Я думалъ конца не будетъ!—произнесъ надъ нимъ довольный и громкій голосъ.

Генеральсь-адъютантъ Орловъ заступилъ Воронцову дорогу. Канцлеръ поневолѣ остановился и поздоровался съ фаворитомъ.

— Съ такой собесѣдницей, какъ царица, часы летятъ быстро!—отозвался онъ.

— И коварныя бесѣды вели, вѣроятно, графъ?

Воронцовъ удивленно взглянулъ на Орлова.

— Дипломатія и коварство одно и то же,—объяснилъ онъ.— А вы, вѣроятно, бесѣдуя съ государыней, обсуждали вопросъ, какъ составить новый союзъ противъ кого-нибудь.

— Что-жь... Это дѣло житейское во внѣшней политикѣ. Война хитрости съ умысломъ. Дипломатіей зато избѣгается часто настоящая война, губительная для людей,—усмѣхнулся Воронцовъ.

— А часто составители политическихъ плановъ и союзовъ именно и вызываютъ неожиданную и губительную войну,—усмѣхнулся и Орловъ.

— И это бываетъ! Тогда надо постараться выйти побѣдителемъ. Расхлебать заваренную кашу, какъ говорить русская пословица.

— При Елисаветѣ Петровнѣ дѣйствовали прямо, открыто. И бывало лучше. Хитрость не добродѣтель!—рѣзче вымолвилъ Орловъ.

— Но и не порокъ, когда она служить орудіемъ въ добромъ дѣлѣ и ради благой цѣли.

— Но, вѣдь, ваша благая цѣль и доброе дѣло для вашего непріятели есть обратно, дурная цѣль и злое дѣло!—отозвался Орловъ быстро и смѣясь нѣсколько принужденно.

— На томъ свѣтѣ стоитъ!—тоже усмѣхаясь, отвѣтилъ Воронцовъ.—Всякъ за себя, а Богъ за всѣхъ.

И смѣясь, повидимому, добродушно, канцлеръ имперіи и генеральсь-адъютантъ императрицы разошлись, любезно пожавъ другъ другу руки.

— Un fin matois!—подумалъ Воронцовъ.

— Да, рыльце въ пуху,—подумалъ Орловъ.

«Онъ догадывается? Какъ будто она окружена шпионами?»—думалъ канцлеръ.

«Да. Они были правы, предвидѣвъ, что будетъ выбранъ именно Воронцовъ. И выбравъ тайно»,—думалъ генеральсь-адъютантъ.

XXVIII.

На утро рано послѣ картежнаго вечера у князя Козельскаго въ Москвѣ уже бѣжала молва, что на молодого князя было покушеніе на убійство съ цѣлью грабежа. Подобное въ Москвѣ ночью было постоянно и никого не удивило. Но второе, разнесенное молвой, хотя и бывало, но не часто. Князь Козельскій выигралъ въ карты у гостя-офицера красавицу жену его. Слухъ объ обоихъ происшествіяхъ достигъ и до Павла Максимовича. Приѣхавъ среди дня, какъ всегда, на квартиру Маловой, онъ не нашелъ ея дома и, узнавъ отъ горничной, что она уѣхала еще въ полночь и съ тѣхъ поръ сгинула, онъ перепугался на-смерть. Первой его мыслью было, конечно, что женщина гдѣ-нибудь ночью тоже подверглась нападенію съ цѣлью грабежа, но, однако, свѣдѣніе, что она выѣхала со своимъ знакомымъ, капитаномъ Кострицкимъ, противорѣчило этой догадкѣ.

Разумѣется, тотчасъ и прежде всего, Квоцинскій навелъ справки, гдѣ живетъ Кострицкій, и поѣхалъ къ нему. Кострицкій сидѣлъ у себя почти счастливый, послѣ всего пережитаго за ночь, такъ какъ князь простилъ ему его проигрышъ. Узнавъ, что его спрашиваетъ Квоцинскій, онъ, разумѣется, не сказался дома. Объясняться имъ обоимъ было крайне мудрено. Объяснять Квоцинскому, по какому праву и на какомъ основаніи онъ могъ ставить на карту Настасью Григорьевну, значило выдать женщину головой. А кто знаетъ, какъ еще повернется дѣло. Квоцинскій послѣ полудня еще разъ поѣхалъ къ капитану и снова не засталъ его дома. Онъ собирался снова приѣхать вечеромъ, но случайно встрѣтился у брата съ Сашкомъ. Будучи слишкомъ занятъ происшествіемъ, онъ невольно передалъ молодому человѣку, что случилось: ихъ общая хорошая знакомая, госпожа Малова, таинственно исчезла изъ дому и пропадаетъ уже скоро сутки.

Сашокъ наивно выпучилъ глаза на Квоцинскаго и еще болѣе наивно выговорилъ:

— Да, вѣдь, ее же дядюшка выигралъ!

— Дядюшка?—повторилъ Квоцинскій.—Выигралъ? Что вы хотите сказать?

— Вчера вечеромъ у дядюшки игра была, и Настасью Григорьевну проигралъ капитанъ Кострицкій.

Квоцинскій какъ-то присѣлъ, какъ если бы у него подко-
сились ноги, двинулъ языкомъ, чтобы сказать что-то, но про-
изнесъ только, какъ параличный:

— Ва-ва-ва!..

Затѣмъ онъ опустилса на ближайшій стулъ и понемногу
не сразу отдышалса.

— Говорите! Что вы? Какъ? Что такое? Ради Создателя!
Не пойму ничего!—взмолился онъ.

Сашокъ сообразилъ, что должно быть сдѣлать неосторож-
ность, но было уже поздно, и онъ нѣсколько подробнѣе объ-
яснилъ Павлу Максимовичу, что госпожа Малова находится
теперь въ домѣ дяди и принадлежитъ ему по праву.

— По праву? По какому праву? заоралъ Квоцинскій.—
По закону это безобразіе, насиліе, издѣвательство...

Сашокъ, никогда не видавшій Квоцинскаго въ такомъ
азартѣ, смутился и подумалъ:

«Чортъ меня дернулъ не въ свое дѣло вмѣшиваться!..»

— Слушайте, Александръ Никитичъ, если вы благородный
молодой человекъ, если вы насъ любите, если питаете чувство
къ моей племянницѣ, вы должны въ этомъ дѣлѣ мнѣ помочь,
урезонить князя. Это злодѣйское дѣло! Прежде всего, мнѣ
нужно видѣться съ госпожей Маловой, чтобы она сама
объяснила мнѣ все происхожденіе этого небывалаго приклю-
ченія.

Сашокъ посоветовалъ Квоцинскому ѣхать лично объяс-
ниться съ княземъ, а самъ вызвался предупредить его объ
визитѣ. Павелъ Максимовичъ обрадовался.

— Спасибо. Поѣду. И главное, мнѣ надо узнать, что ка-
питанъ Кострицкій во всемъ этомъ? Онъ причѣмъ тутъ? Если
ужъ кто могъ проигрывать въ карты Настасью Григорьевну,
то ужъ, конечно, не капитанъ, а скорѣй...

И Квоцинскій запнулся. Сказать Сашку то, что онъ счи-
талъ скрытымъ отъ всей Москвы, было, конечно, бессмысленно.

На другой день Квоцинскій рѣшился и поѣхалъ къ князю,
собираясь дѣйствовать отважно.

Онъ былъ любезно принять княземъ. Сразу замѣтивъ, что
нѣчто особенное творится съ Павломъ Максимовичемъ, князь
тотчасъ самъ же прибавилъ:

— У васъ, очевидно, до меня дѣло есть?

— Да-съ, дѣло! Очень серьезное!—волнуясь, заговорилъ
Квоцинскій.—Съ вами я буду, князь, объясняться совершенно

откровенно. Я слышалъ, что близкая моя пріятельница, даже большою другъ, госпожа Малова находится у васъ въ домѣ?

— Точно такъ-съ...

— И держится вами какъ бы насильно?

— Никонимъ образомъ, государь мой! Это было бы преступленіемъ закона. Свободныхъ людей нельзя держать подъ арестацией. Госпожа Малова живетъ у меня свободно въ своихъ свободныхъ апартаментяхъ. А почему, собственно, вамъ, вѣроятно, извѣстно.

— Слышалъ князь, но не вѣрю! Вы якобы выиграли ее въ карты.

— Точно такъ-съ!

— Да, помилуйте, это дѣло неслыханное. Еще крѣпостную семью проиграть или выиграть слыхано, а этакого споконъ вѣку неслыхано. Вѣдь, Малова столбовая дворянка, а не холопка. А второе—кто же могъ изъ нея ставку дѣлать? У нея ни мужа, ни отца, ни брата...

— Капитанъ Кострицкій.

— Слышалъ я это и утверждаю, что правъ на это онъ не имѣлъ никакихъ.

— Извините, Павелъ Максимовичъ,—усмѣхнулся князь,—коль скоро она дала свое согласіе, то капитанъ право это имѣлъ. А я имѣю право ее держать у себя, какъ нѣчто мною выигранное.

— Какія же это права, князь? Это все права придуманныя, какихъ ни въ какомъ уложеніи не сыщешь. Законовъ такихъ нѣтъ!

— Вы правы, Павелъ Максимовичъ. Но есть законы общезначительныя, кои тоже нигдѣ не прописаны. Напримѣръ, есть законъ быть учтивымъ, уважать старшихъ, относиться съ почтеніемъ къ людямъ высокостоящимъ. Все это ни въ какомъ уложеніи не прописано, а исполняется. Есть, наконецъ, законы добродетельности среди людей, играющихъ въ карты. Человѣкъ, поставивъ что-нибудь на карту и проигравъ, не можетъ говорить, что онъ пошутилъ. Тогда его назовутъ подлецомъ, выгонять и нигдѣ принимать не стануть. И вотъ-съ, на основаніи именно этого права, я выигралъ госпожу Малову у капитана и держу ее у себя.

— Онъ не имѣлъ никакого права...—воскликнулъ Павелъ Максимовичъ.—Я буду совѣмъ откровеннымъ съ вами. Я... Я одинъ такія права имѣю, якобы мужъ ея...

— Однако капитанъ ее ночью привезъ. И по взаимному нашему уговору она шла въ сорокъ тысячъ. Цѣна для вдовы за тридцать лѣтъ, согласитесь, большая. Но мнѣ жаль было капитана, и я согласился. Онъ снова игралъ несчастливо, и дама вашего и его сердца мнѣ досталась. Какія права капитана на госпожу Малову,—это вы разузнайте у него самого, если ужъ сами не догадываетесь.

И князь усмѣхнулся насмѣшливо.

— Полагательно, что у капитана были на госпожу Малову такія же права, какъ и у васъ, только съ той разницей, что капитанъ про ваши права знавалъ, а вы про его права ничего не знали. И теперь для васъ вышелъ нѣкоторый сюрпризъ и affrontъ. Я васъ сожалью, но ничего сдѣлать не могу.

— Вы должны мнѣ, какъ благородный человѣкъ, возвратить женщину, къ которой я питаю чувство давнишнее и сердечное!—заговорилъ Квоцинскій хрипливо, такъ какъ слезы были готовы выступить у него на глаза.

— Не могу, государь мой! При всемъ моемъ уваженіи къ вамъ, при всемъ желаніи быть вамъ слугою и быть хотя бы пріятелемъ, не могу! Госпожа Малова, даже не скажу, чтобы меня прельстила чрезвычайно. Женщина она уже не первой молодости, черезчуръ, знаете, пораспухла, тяжеловата, да и мыслями, нельзя сказать, чтобы была быстра. Просидѣлъ я съ ней часокъ и такъ началъ позѣвывать, что чуть себя скуду не свернулъ. Но все же не могу вамъ ее возвратить. Это будетъ нарушеніе закона карточной игры. Это дурной примѣръ показывать. Послѣ этого, что бы я ни выигралъ, домикъ ли какой, карету, цугъ лошадей, серебро столовое, всякій будетъ приходиться требовать назадъ. Вы не забудьте, что капитанъ Кострицкій хотѣлъ отыграть госпожей Маловой все то, что онъ уже проигралъ. Коль скоро я согласился, чтобы сію даму считали въ сорока тысячахъ, то я рисковалъ проиграть все то, что было уже мною у капитана выиграно. Да, впрочемъ, что же вамъ все разъяснять, вы это лучше меня все понимаете!

И князь замолчалъ, какъ бы считая бесѣду оконченной.

— Какъ же, князь?—выговорилъ Квоцинскій совершенно потерянный.

— Да такъ же, г. Квоцинскій!

— Помилуйте, посудите, вы не хотите понять, что госпожа Малова для меня... Я не могу безъ нея существовать. Прівычка, князь! Поймите!

— Все это прекрасно, уважаемый Павелъ Максимовичъ, — нетерпѣливо заговорилъ князь, — но я тутъ не причемъ. Выигралъ и конецъ! А отдать ее вамъ я бы и радъ, да не могу... Дурной примѣръ! Послѣ этого, повторяю вамъ, что бы я ни выигралъ, у меня будутъ назадъ просить. Что же это будетъ? Комедія и разбой!

— Ну, такъ я вамъ скажу, что вы поступаете подло и мерзко! Не по-княжески, а по-мошеничьи! — закричалъ вдругъ Квоцинскій.

Князь перемѣнился въ лицѣ, всталъ и тихо произнесъ:

— Пожалуйте вонъ отсюда. Не пойдете тотчасъ, я людей кликну...

XXIX.

Настасья Григорьевна хотя понемногу, не сразу, но все-таки за ночь вполнѣ, по ея выраженію, «очукалась».

Стать формальной сожительницей богатаго князя она быть можетъ и согласилась бы. Онъ былъ не хуже, а гораздо виднѣе и на видъ моложавѣе Павла Максимовича. Но быть въ домѣ князя въ видѣ простой наложницы рядомъ съ какой-то турчанкой или молдавашкой и быть таковою на время, мимо-летней прихотью, Малова положительно не хотѣла. Поступокъ капитана она называла теперь «обманнымъ», она была увѣрена вполнѣ, что все «примѣръ» одинъ, что онъ выиграетъ и отыграется... А вышло, что она ему не помогла, а сама въ ловушкѣ. Да и срамъ. «На карту ставленная!» — думалось ей.

Разумѣется, приключенье огласилось на всю Москву, и всѣ, зная хорошо чудодѣя князя Козельскаго, только смѣялись и понимали, что Малова ни на что ему не нужна, а что это новое «кодѣно» ради потѣхи...

Между тѣмъ, Сашокъ и Кузьмичъ сообразили, что ихъ «сердечное дѣло» еще хуже запуталось. Князь былъ гнѣвненъ... Въ домѣ всѣ знали, что баринъ выгналъ гостя Квоцинскаго за дерзостное поведеніе... Онъ вышелъ за гостемъ на лѣстницу и кричалъ швейцару:

— Гони болвана... Гони!

Вотъ тутъ и иди теперь объяснять, что хочешь жениться на племянницѣ этого же нагрубившаго человѣка. Кузьмичъ и Сашокъ равно потерялись, не зная, что дѣлать. Равно боялись оба, что и Квоцинскіе будутъ поражены и оскорблены

заявленемъ Павла Максимовича объ поступкѣ князя, обругавшаго и выгнавшаго его. И какъ они дѣло разсудятъ — неизвѣстно.

Предъ сумерками дѣло повернулось еще хуже. Во дворъ въѣхала большая карета шестеркой съ ливрейными лакеями, и Сашокъ, глянувъ въ окно, увидѣлъ въ каретѣ даму, ахнулъ и схватился за голову.

— Что ты? — заоралъ Кузьмичъ, перепугавшись.

— Бѣда. Бѣда будетъ. Не-вѣсть что будетъ!

И онъ бросился бѣжать на верхъ къ дядѣ.

Между тѣмъ приѣзжая заявила вышедшему швейцару:

— Князь?

Швейцаръ понялъ, но переспросилъ:

— Кого прикажете?..

— Князь?

— Вамъ угодно князя Александра Алексѣевича или князя Александра Никитича?

— Видно вы тутъ всѣ — неотесанныя дерева. Нешто поѣдетъ важная барыня къ ценку въ гости. Спрашиваю тебя: князь?

— Дома ли-сѣ? Дома-сѣ.

— Слава Создателю. Отпечаталъ уста.

И барыня при помощи своихъ лакеевъ подѣзла изъ кареты.

— Какъ прикажете доложить? — спросилъ швейцаръ.

— Генералъ-аншефиха, княгиня Серафима Григорьевна Трубецкая. Понялъ, идолю. Удержишь въ башкѣ? Аль нѣтъ?

Лакей побѣжалъ докладывать. Княгиня, не дожидаясь, сбросила лѣтній салопъ и стала подниматься по лѣстницѣ. Но на верхней площадкѣ у дверей залы она встрѣтила уже князя, предупрежденнаго Сашкомъ.

— Вы князь Козельскій? — спросила княгиня сурово.

— Я-сѣ. Чему обязанъ, что имѣю честь васъ...

— У васъ моя дура, сестра Настасья, задержана. Я за ней.

— Какъ, то-есть, за ней. Къ ней. Повидаться? — сухо сказалъ князь.

— За ней! За... за... за... По-русски понимаешь, господинъ князь.

— Вы желаете, стало быть, ее взять и увезти? — спросилъ князь гнѣвно и сдержанно.

— Да.

— Я не могу этого дозволить.

— А я и дозволенья не попрошу.

— Напрасно, княгиня, беспокоились, Я ее не отпущу.

— Это твое послѣднее слово?

— Да-съ.

— Ладно. Пеняť будешь.

Князь улынулся.

— Тогда я останусь здѣсь. Обѣихъ сестеръ содержи.

И княгиня крикнула внизъ своимъ людямъ:

— Ступайте домой. Приказать доставить мнѣ сюда Анфису, капоть и бѣлье. А князю доложить, что я здѣсь останусь на жительство. Насколько—не вѣдомо. Коли захочетъ онъ повидаťся, то чтобы сюда ко мнѣ въ гости прїѣзжалъ.

Затѣмъ княгиня обернулась къ князю и прибавила:

— А жить съ сестрой я не стану. Поставь мнѣ кровать здѣсь въ залѣ. Ради срама. Чтобы всѣ гости твои видѣли меня и слышали, что я говорить буду.

— Вы уже рѣшились, княгиня?—воскликнулъ князь.

— Нѣтъ. Ты старый хрычъ уже рѣшился. Въ карты живыхъ людей выигрываешь. Да еще дворянокъ. Да еще дамъ молодыхъ. Ну вотъ ты чудеса откалывать умѣешь, такъ погляди теперь чудеса княгини Серафимы Григорьевны. Посмотримъ, чи будутъ почудеснѣе!! Вели принести кровать и поставить тутъ въ залѣ... Ведро воды тоже. Да корыто побольше. Я предъ сномъ полощуся для здоровья.

Княгиня вошла въ двери залы, сѣла на ближайшїй стулъ и заговорила:

— Старый хрычъ. Безстыдникъ. Идолъ истуканный. То съ одной туркой жить, срамился... А то ужъ цѣлый султанскїй бабїй вертепъ заводитъ собрался. Да еще картами ихъ добывать, якобы гончихъ или борзыхъ. Безстыжїй хрычъ!

— Княгиня. Вы у меня въ домѣ и если вы знаете благоприличїя, то должны знать, что хозяина гости не поносятъ...—отозвался князь, сердясь, но сдерживаясь.

— Старая образина. Шестьдесятъ лѣтъ, а еще, гляди, не напрыгался. Грѣховодникъ. Погоди. Я тебя вотъ научу по своему.

— Но, позвольте, княгиня. Вѣдь я могу, наконецъ, позвать людей и васъ попросить вонъ отсюда.

— Зови. Пусть тащатъ. Срамися. А какъ вытаскать на дворъ силкомъ — вотъ тебѣ Господь Богъ — я опять войду. Такъ и будемъ прохлаждаться до вечера. А завтра съ утра опять то же будетъ. Ворота закроешь, я съ холопами своими прибуду и выломаемъ. Такъ ли, сякъ ли, а я тебѣ, старому хрычу, безстыжему Кашею, мою дуру Настасью не покину на срамное наложничество.

Князь стоялъ предъ женщиной, не зная, что дѣлать. Черезъ минуту, онъ повернулся и пошелъ изъ залы.

Прошелъ часъ... Князь былъ у себя въ кабинетѣ и ходилъ изъ угла въ уголъ.

Княгиня сидѣла на томъ же мѣстѣ въ залѣ и всѣмъ, кто проходилъ мимо, говорила:

— Срамники. Идолы. Погоди. Я васъ проберу.

Черезъ часъ, по приказанію князя, запрягли карету и подали.

Малова явилась въ залу... И обѣ сестры выѣхали изъ дома Козельскаго.

XXX.

Черезъ полчаса Сашокъ былъ позванъ «немедля ни мало» къ князю и, войдя, нашелъ его шагающимъ взволнованно по комнатамъ. Онъ еще ни разу не видалъ дядю съ такимъ лицомъ и взглядомъ.

— Я за тобой послалъ по важному дѣлу, Александръ,— заявилъ онъ сухо. Очень важное для меня, да надѣюсь, поэтому, что и для тебя. Я оскорбленъ. Съ дамы взятки гладки! А мужичинѣ можно отплатить, чтобы душу отвести и не оставаться въ долгу. Ну, отвѣчай на мои вопросы толково, не переспрашивай и не молчи, разиня ротъ.

Князь сѣлъ и показалъ племяннику мѣсто противъ себя.

— Говори... Я тебѣ дядя? Родной дядя?

Сашокъ приглядывался, соображалъ и медлилъ отвѣтомъ.

— Ну вотъ и готово!—воскликнулъ князь.

— Что-съ?—оробѣлъ молодой человекъ.

— Я тебя просилъ и опять прошу,—громко и мѣрно произнесъ князь... Про-о-шу!.. Сдѣ-ѣ-лай ми-и-лость. Отвѣчай! Отвѣ-ѣ-ча-ай на вопро-о-сы!

— Слушаюсь. Буду отвѣчать, — едва слышно и скороговоркой сказалъ Сашокъ.

- Я тебѣ дядя? И родной дядя?
- Точно такъ-съ.
- Любишь ты меня?
- Да-съ. Я васъ...
- И меня за грошъ не продашь?
- Что вы, дядюшка. Я готовъ, если...
- Коли меня начнутъ бить, заступишься или будешь глядѣть?
- Что вы, дядюшка. Я за васъ.
- Если меня человекъ, дуракъ оголтелый или изъ ума выжившій оскорбилъ—будешь ты съ этимъ человекомъ якшаться и дружество водить? Ну-ка, отвѣчай.
- Ни за что, дяденька. Я эдакого человека при случаѣ тоже...
- Ну, ну...
- При случаѣ тоже не спущу.
- Ну вотъ спасибо. Поцѣлуемся.
- И оба, поднявшись съ мѣста, расцѣловались и опять сѣли.
- Ну вотъ, Александръ. Стало быть, ты такъ и поступи! Какъ только гдѣ встрѣтишь Павла Максимовича Квоцинскаго, такъ его тотчасъ хлопъ въ морду.
- Что вы, дядюшка!—ахнулъ Сашокъ.
- Не желаешь?
- Дядюшка.
- Знаю, что дядюшка. Не желаешь?
- Я... Я... Я долженъ вамъ доложить, — началъ молодой человекъ отчаяннымъ голосомъ.
- Что?
- Долженъ доложить, что я на его племянницѣ собрался жениться... Какъ же мнѣ...
- Ты сказывалъ у тебя двѣ... Баскакова и Квоцинская. Женись на Баскаковой, если ужъ эта дурь у тебя въ головѣ застряла.
- Нельзя, дядюшка. Кузьмичъ тоже говоритъ, что нельзя. Она верхомъ на стулѣ ѣздить... Въ фореиторскомъ платьѣ... Да потомъ я, дядюшка, уже... Я Квоцинской уже... Я женихомъ уже состою... Я хотѣлъ вамъ доложить, да не смѣлъ.
- Же-ни-хомъ?!—протянулъ князь.
- Я не смѣлъ вамъ доложить.
- Женихомъ!! Ай да молодецъ. Живя у меня въ домѣ, и эдакъ...

— Дядюшка! Такъ вдругъ потрафилось само. Я не виновать. Ей-Богу.

— Выди вонъ!

— Дядюшка. Простите. Позвольте разъяснить.

— Вонъ! Вонъ! Видно такъ и буду все вонъ гнать и чужихъ и своихъ. Не попросить моего разрѣшенія и благословенія и дѣйствовать самому подспудно... По-татарски это, что ли? А второе и главное: я съ Квоцинскимъ кланяться не могу, не только родниться. Убирайся отсюда. Пока внизъ къ себѣ... А завтра... Увидимъ... Пошелъ...

Сашокъ сбѣжалъ къ себѣ, какъ сумасшедшій.

— Все пропало, Кузьмичъ!—вскрикнулъ онъ.

— Какъ пропало?

— Дядюшка сказываетъ—съ Квоцинскимъ никакого дѣла имѣть не станеть. И выгналъ меня. И все это изъ-за Павла Максимовича, который дурашно нагрубилъ... Поразмысли, что теперь дѣлать. Дядюшка даже приказывалъ было мнѣ побить Павла Максимовича.

Кузьмичъ не отвѣтилъ ни слова. Тотчасъ собрался и чрезъ часъ былъ уже въ гостяхъ у друга Марфы Ѳоминишны.

— Все прахомъ пошло, — заявилъ онъ, не войдя, а вкватившись къ нянюшкѣ.

— Что прахомъ? Какъ прахомъ?

— Все! Вашъ Павелъ Максимовичъ изъ-за своей вдовы треклятой.

И Кузьмичъ объяснился.

— Посиди, мой родной. Посиди. Я сейчасъ все узнаю и отвѣтъ тебѣ дамъ.

И Марфа Ѳоминишна пошла къ барынѣ.

— Павелъ Максимовичъ начудилъ,—заявила она. Изъ-за Маловой. Былъ у князя Александра Алексѣевича у самого. Начудилъ.

— Что же такое?—оробѣла Анна Ивановна.

Марфа Ѳоминишна объяснила, что знала.

Анна Ивановна взволновалась и, вскочивъ съ мѣста, выговорила.

— Погоди здѣсь. Я сейчасъ пойду все расскажу Петру Максимовичу. Такъ нельзя.

Квоцинская вышла быстрой походкой изъ комнаты и чрезъ минуту была въ кабинетѣ у мужа.

— Вотъ что вашъ братецъ продѣлываетъ! — воскликнула она, ворвавшись къ мужу. И затѣмъ женщина объяснила мужу все то же.

— Да, безобразно. Совсѣмъ не благовидно. Изъ-за поганой бабы разстраивать свадьбу племянницы! — заявилъ Петръ Максимовичъ, тоже взволновавшись.

— Конечно, не хорошо. Грѣхъ и срамъ. А намъ почитай несчастье. Изъ-за прихоти стараго кота... пострадаетъ наша Танюша.

— Кота? Что вы Анна Ивановна? — укоризненно произнесъ Квоцинскій. Обождите. Я сейчасъ пойду и съ нимъ перетолкую.

И чрезъ минуту Петръ Максимовичъ былъ у брата во флигелѣ, объясняя ему послѣдствія всего, что произошло. Павелъ Максимовичъ выслушалъ все и видимо смутился.

— Я не потерплю, чтобы племянница изъ-за меня пострадала! — выговорилъ онъ рѣшительно.

Однако Квоцинскіе не знали, что дѣлать и что собственно предпринять, рѣшили только не говорить дочери.

— Обождемъ, увидимъ, — рѣшили они. — А Танѣ ни слова.

Въ тотъ же день въ сумерки, Сашокъ, не спросясь Кузьмича, поѣхалъ тоже переговорить и потолковать объ бѣдѣ. И произвелъ переполохъ въ домѣ.

И мать, и отецъ, и нянюшка тщательно скрыли все отъ молодой дѣвушки. Таня продолжала прыгать отъ счастья.

Когда Сашокъ немедленно пріѣхалъ и безъ доклада лакея вошелъ въ гостиную, то чрезъ мгновенье къ нему вышла не Анна Ивановна, а Таня. Дѣвушка какъ бы выпорхнула изъ своей комнаты и прилетѣла на встрѣчу къ возлюбленному, улыбающаяся, сіяющая и, какъ всегда, румяная отъ смущенія.

— Мама сейчасъ придетъ. Я васъ въ окно увидѣла и послала ей сказать, — вымолвила она уже строго, какъ бы заранѣе объясняя свой нескромный поступокъ: являться одной къ молодому человѣку и жениху.

Сашокъ стоялъ среди комнаты, совсѣмъ по выраженію: «какъ ошпаренный щыпленокъ» разставивъ ноги, опустивъ голову, растопыривъ руки.

— Что вы? — воскликнула Таня. Что вы, Александръ Никитичъ?

— Татьяна Петровна! Мы несчастные.

— Мы? Несчастные? Мы?

— Да мы съ вами несчастные. Все повернулось кверху ногами. Намъ только умирать остается.

— Почему? Что вы.

— Да развѣ вы не знаете?

— Что такое? Говорите, ради Господа!

— Дядюшка согласія не даетъ!

— Дядюшка? Не даетъ? Что же такое?

Сашокъ не отвѣтилъ и, стоя въ такой же безпомощной позѣ, вдругъ полѣзъ въ карманъ камзола. Вынувъ платокъ, онъ поднесъ его къ лицу и сталъ утирать глаза.

— Александръ Никитичъ, — тихо и пугливо произнесла Таня.

Сашокъ только фыркнулъ въ отвѣтъ и заплакалъ еще шибче.

Таня начала тоже плакать, пошарила въ карманѣ, не нашла платка и стала утирать слезы рукавомъ...

— Говорять... Говорять...—началъ Сашокъ, всхлипывая. Говорять, что ни за что, никогда...

Но вдругъ раздался страшный пронзительный крикъ на весь домъ.

Вскрикнула Таня... И за-мертво повалилась на полъ... Отецъ и мать бросились въ залу...

И весь домъ заходилъ ходуномъ. Гора уже не было, а былъ одинъ общій перепугъ...

Всѣ сбѣжавшись, прежде всего унесли лишившуюся чувствъ дѣвушку къ ней въ спальню, а затѣмъ послали за докторомъ.

Петръ Максимовичъ вернулся къ себѣ, не позвавъ Сашка.

Анна Ивановна, конечно, не отходила отъ дочери и говорила: «Бѣдная ты моя, бѣдная».

И Сашокъ, совершивъ переполохъ, поѣхалъ домой. «За дѣломъ прѣзжалъ!»

XXXI.

Вечеру Сашокъ сидѣлъ у себя въ спальнѣ, грустный, съ красными глазами, съ тяжелой головой. Кузьмича не было дома. Онъ опять куда-то пропалъ. Среди тишины въ комнатахъ послышался шорохъ. Конюхъ Тить появился на порогѣ спальни и остановился, видимо смущенный своей дерзостью.

— Что ты?—безстрастно, какъ человекъ, которому отъ горя не до мелочей обыденной жизни, произнесъ Сашокъ.

— Я къ вамъ... По дѣлу къ твоему сіятельству. Прости, Александръ Никитичъ,—заговорилъ Титъ. Я изъ любви. Ей Богу. Сейчасъ умереть, коли лгу. Жалостно мнѣ смотрѣть. Ну вотъ я по любви и положилъ прийти.

— Ну, что же тебѣ!—воскликнулъ Сашокъ. Ты совсѣмъ чурбанъ! Нешто можешь ты меня утѣшить что-ли?

— Могу.

— Что-о?!—протянулъ Сашокъ, удивленный глупостью малого и разсерженный.

— Могу. Прямо обѣщать не могу. А что все-таки испробовать могу. Дозволишь!

— Что? Олухъ! Что тебѣ дозволить!

— А вотъ, чтобы выгорѣло дѣло, стало быть, твое желаніе твоего сіятельства на ладъ пошло. Можетъ быть у меня черезъ бабуся и выгорить дѣло. Только разрѣши.

— Пошелъ вонъ!—вспыхнулъ Сашокъ.

— Ты не сердчай. Ей же ей! Предъ Господомъ Богомъ божуся, что бабуся барынькѣ одной скажетъ все, пояснить. А барынька своей пріятельницѣ, а энта у самой служить у царицы. А потому можетъ князю Александру Алексѣевичу все сказать, попросить. Барыня бабуся сказывала: какое, сказывала, у тебя дѣло, старуха, ни будетъ, ты мнѣ говори, а я для тебя все сдѣлаю. Ей Богу Александръ Никитичъ, а не вру.

Сашокъ помолчалъ, глядя въ лице своего конюха, и вдругъ ему показалось, что молодой малый не дуракъ и не безумный, а только не умѣетъ объясняться толково. Онъ всталъ и, подойдя къ Титу, засыпалъ его вопросами. Титъ отвѣчалъ толково. Вывѣдалъ что-то удивительное.

— А пріятельница этой самой барыни при царицѣ состоитъ?—спросилъ наконецъ Сашокъ въ третій разъ.

— То-то, да!

— И обѣщала твоей бабушкѣ чрезъ эту пріятельницу все, что ни спроси, сдѣлать?

— Ну да. Вотъ я и говорю твоему сіятельству,—началъ Титъ, но Сашокъ перебилъ его.

— И выходитъ толкъ изъ того, что твоя бабушка эту барыню просила.

— Завсегда!—оживился Титъ. Какъ по щучьему велѣнью. Разъ было про огородъ... А тамъ Матюшка на волю вышелъ, хоть господа его, Орловы, не хотѣли.

— Погоди болтать,—сказалъ Сашокъ и сталъ снова разспрашивать конюха. Наконецъ, поразмысливъ, молодой человекъ вспомнилъ пословицу: «утопающій за соломенку хватается» и соломенка, бываетъ, помогаетъ. И Сашокъ рѣшилъ, чтобы на утро Титъ шелъ къ своей старой прабабушкѣ, все ей рассказалъ и просилъ помочь. «А тамъ будь—что будетъ!»

На утро парень былъ уже въ Петровскомъ и, расцѣловавшись со старухой и съ сестрой, тотчасъ же заявилъ:

— Ну, бабуся, я къ тебѣ съ поклономъ! Что хошь дѣлай, а помоги! Коли поможешь, то мое тебѣ будетъ вѣчное спасибо.

— Что такое?—удивилась Параскева.

— А вотъ, слушай!

И Титъ подробно рассказалъ все, что произошло въ домѣ: какъ князь баловался, барыньку въ карты выигралъ, какъ за этой барынькой пріѣзжалъ ея благодѣтель, кланчилъ, просилъ князя отпустить ее, а князь уперся: выигралъ—и шабашъ! А тамъ слово за слово они шибко разругались. Затѣмъ Титъ описалъ подробно и даже картинно со словъ дворовыхъ людей князя, какъ пріѣзжала важная барыня въ каретѣ—тоже княгиня да еще и генеральша и какъ она не только крикомъ кричала въ домъ, всѣхъ ругала и поносила, а чуть не дралась и чуть самого князя не треснула. Собиралась тоже затѣмъ-то ворота ломать.

Параскева таращила свои старые глаза и головой качала.

Затѣмъ Титъ еще подробнѣе передалъ, что приключилось послѣдствіемъ ссоры князя съ княгиней, какъ ему пришлось уступить, и у него чуть не силкомъ выигрышную барыньку увезли. Оказалась она сестрицей генеральши.

— А въ концѣ концовъ,—прибавилъ Титъ, мой Александръ Микитичъ чуть не разливается плачетъ. Благодѣтель-то, выходитъ, который князю всякихъ продерзостей наговорилъ, родной дядя его невѣсты. Князь теперь на дыбы: не хочу чтобы женился! Квощинскіе господа всѣ разливаются, а коли не разливаются, то такъ горюютъ, что смотрѣтъ жалко. А Александръ Микитичъ ничего не можетъ. Дядюшка приказываетъ—плюнь на нихъ и женись на другой. А эта другая верхомъ на стулѣ катается! Ну, ради Создателя, помоги! Я вотъ тебѣ въ ножки поклонюсь!

И Титъ, привставъ, дѣйствительно, согнулся, тронулъ пальцемъ полъ. Лице его было не только серьезно, но неподдѣльно грустно.

— Помоги, бабуся!

— Да что ты, дуракъ! Бѣлены тамъ въ Москвѣ обѣлся что ли? Какъ же я помогу?

— Можешь, бабуся! Помнишь ты, что мы разсуждали про Матюшкину волю, что все это твоя барыня московская состряпала, потому что недалече отъ царицы состоитъ. Ну вотъ ты опять помоги!

— Да какъ, глупый?

— Повидаешь ее, скажи ей! Когда ты ее повидаешь?

— Да, должно, скоро опять повидаю.

— Ну вотъ и скажи! Все, что я тебѣ расписалъ, ты и ей распиши. Да и проси. Хоть въ ноги кланяйся!

— Да о чемъ, дуракъ?

— Да о томъ, бабуся, чтобы она своей важной-то пріятельницѣ сказала, а чтобы та князя уломала, чтобы онъ разрѣшилъ Александру Микитичу жениться на барышнѣ Квоцинской.

— Глупый. Ничего не будетъ.

— А я вотъ, ей-Богу, смекаю, что коли же опять барыня твоя захочетъ словечко замолвить, то ужъ ея-то барыня энта, что при царицѣ, энта ужъ непременно князя знаетъ и съ княземъ поговорить. И князь послушается. Вотъ ей-Богу же, мнѣ все это такъ сдается.

Параскева молчала и, наконецъ, покачала головой.

— Ничего не будетъ! Глупы вы! То Матюшка-самоварникъ Орловскій, мудрено ли было барынь иной, при царицѣ состоящей, Ивану Григорьевичу словечко замолвить, а тотъ отпустилъ. А теперь, видишь, ступай она просить богача-князя Козельскаго въ его семейномъ дѣлѣ. Тотъ—самъ князь, самъ важный, скажетъ: сударыня, не въ свое дѣло не мѣшайтесь!

— Да ты только попроси, бабуся. Повидаешь ты ее?

— Думаю, завтра же повидаю! Сказала—придетъ посидѣть къ огороду.

— Ну, такъ скажи только,—молилъ Тить нѣжно. А тамъ что Богъ дастъ. Ты сказать-то скажешь?

— Скажу, что же мнѣ? А только ничего не будетъ.

— Ну, и пушай не будетъ, а ты все-таки скажи!.. Родимая! Бабуся!

— Ладно. Ладно. Скажу... Чего же тебѣ. Не божиться же зря мнѣ, старой, какъ вы, зелены... Что ни слово—то всеу Господа призываете. Охъ, грѣхъ съ вами одинъ.

И Титъ, вернувшись въ Москву, принесъ радостную вѣсть, что бабуся общалась...

Старикъ дядька, узнавъ все, страшно разсердился и обругалъ и конюха, и питомца—дурнями.

XXXIII.

Графъ Воронцовъ обдумалъ и понялъ огромное значеніе даннаго ему порученія. Вечеромъ, около восьми часовъ, уже при свѣчахъ канцлеръ входилъ въ домъ фельдмаршала Разумовскаго. Именитый хозяинъ дружески-радушно встрѣтилъ канцлера, съ которымъ былъ давно коротко знакомъ, и котораго всегда, во дни своей силы, отличалъ среди многихъ и многихъ петербургскихъ вельможъ.

Теперь Разумовскій имѣлъ основаніе еще болѣе уважать Воронцова за его поведеніе во время царствованія Петра III, когда его родная племянница графиня Елизавета Романовна Воронцова была всесильной любимицей.

Воронцовъ не могъ предвидѣть, какъ кратко будетъ царствованіе новаго государя, а между тѣмъ не переходилъ на сторону фаворитки. Съ другой же племянницей, княгиней Дашковой, былъ въ холодныхъ отношеніяхъ, считая ея взбалмошной женщиной, пустой, и звалъ «ученой трещеткой».

Заслышавъ стукъ экипажа, графъ вышелъ и встрѣтилъ канцлера на верху парадной лѣстницы.

— Чему обязанъ я, что вы, несмотря на важныя заботы, посѣтили эрмита или схимника?—сказалъ онъ.

— По дѣлу, Алексѣй Григорьевичъ. Не хочу лукавить. Собираюсь я давно, да все откладывалъ за статскими дѣлами. Но явился казусъ мудреный и собралъ меня въ одинъ день. Не взыщи за откровенную рѣчь.

— Какъ всегда искренень, другъ. За это и уважаю,—сказалъ Разумовскій.—Все-таки благодарень и радъ. Милости прошу.

Они прошли нѣсколько темныхъ комнатъ. Люди шли впереди съ канделябрами и свѣтили имъ. Освѣщать пустыя горницы безъ гостей считалось у здравомыслящихъ вельможъ несообразнымъ съ разумомъ.

Когда оба сановника усѣлись въ большихъ креслахъ, около ярко горящаго камина—заморскаго нововведенія,—а двери за-

творились за ушедшими людьми, Воронцовъ вздохнулъ, проведъ рукой по лицу и заговорилъ.

— Не было у меня никогда, и не будетъ болѣе никогда до васъ, другъ мой, такого дѣла, какъ нынѣшнее. Не знаю сразу, какъ и приступить къ нему, хотя много его обдумывалъ. Я отъ государыни.

— Надѣюсь, что не ущербъ мнѣ...— произнесъ Разумовскій тихо и тревожно и подумалъ «конфискація».

— О нѣтъ!—воскликнулъ Воронцовъ. Богъ съ вами. Государыня любитъ и уважаетъ васъ. Хотя дѣло прямо до васъ касающееся, но ни заботы, ни чего-либо худого отъ него вамъ не будетъ. Чувства государыни къ вамъ хорошо вамъ извѣстны.

Воронцовъ смолкъ на мгновеніе, какъ бы обдумывая съ чего начать, и бессознательно оглядывался кругомъ себя. Наконецъ онъ вымолвилъ.

— Не смущайтесь вопросу моему, графъ. Вѣдомо вамъ, чѣмъ стоустая, какъ сказывается, молва ставитъ васъ по отношенію къ покойной государынѣ, за кого всѣ привыкли васъ почитать.

— Нѣтъ, графъ. Я не знаю даже, что вы хотите сказать.

— Многие, Алексѣй Григорьевичъ, почитаютъ васъ за... По утвержденію молвы все руссійское дворянство почитаетъ, что вы были обвиняемы... были въ тайномъ бракѣ.

— И въ этомъ заключается ваше дѣло, ваше порученье?—спросилъ Разумовскій глухо и тревожно.

— Да и нѣтъ.

— Позвольте, Михаилъ Ларивонычъ. Либо да, либо нѣтъ. А иначе какъ же я отвѣчу. Пожалуй отвѣчу, какъ всегда и прежде случалось отвѣчать, а однажды даже самому покойному государю Петру Феодоровичу, спросившему меня о семь, среди вахтъ-парада при сотнѣ постороннихъ лицъ, не только генераловъ, но субалтернъ-офицеровъ и сержантовъ. Отвѣчу, что есть шутки и прибаутки смѣшныя, есть умныя, есть глупыя, есть опасныя, есть смертельныя. Человѣкъ сихъ послѣднихъ боится, какой бы онъ ни былъ охотникъ шутить. А люди или общество, толпа что-ли—ихъ не боится. Толпа не отвѣтчикъ, потому что ея и не называютъ. Говорятъ: молва гласитъ. А кто молва, гдѣ молва? Какъ молву къ вопросу потянуть, да проучить, чтобы не болтала пустяковъ и опасныхъ шутокъ не шутила. Итакъ, Михаилъ Ларивонычъ, поручила-ли вамъ

государыня спросить про эту молву и не приказала-ли вамъ привезти ей мой отвѣтъ, правдивый и точный:

— Нѣтъ, Алексѣй Григорьевичъ. Этого порученія я не имѣю.

— Отъ себя вы стало быть спрашиваете?

— Да.

— Но позвольте. Въ чемъ же тогда заключается порученіе государыни.

— Мое порученіе есть просьба ея къ вамъ: помочь совѣтомъ чрезъ меня въ одномъ дѣлѣ.

— Вотъ и перейдемъ, графъ, прямо къ порученію и къ дѣлу государыни. Ея просьба мнѣ законъ.

Воронцовъ молчалъ и, наконецъ, выговорилъ совершенно инымъ голосомъ, отгбнокъ котораго былъ неопредѣлимъ.

Голосъ этотъ какъ будто говорилъ: «Мое дѣло—первой важности. Не упускай ни одного слова изъ моей рѣчи. Старайся понять, что не ясно. Яснѣе я не скажу».

— Помогите намъ въ устроеніи судьбы одной вдовы, на которой чуть не силкомъ желаютъ жениться. Такъ что выходить, грозить ей, какъ народъ сказываетъ,—самокрутка. Но самокрутка сугубая. Безъ ея собственнаго согласія.

Разумовскій съ изумленіемъ поглядѣлъ въ лицо собесѣдника и хотѣлъ уже выговорить: «Какъ? Что?»

Но Воронцовъ самъ повторилъ:

— Молодую вдову, одинокую, безъ друзей и покровителей, хотятъ скрутить по-своему смѣлые люди и повѣнчать. Вотъ государыня и проситъ моей и чрезъ меня вашей помощи.

— Помощи?! Но какой?

— Все дѣло въ томъ, есть ли гдѣ, и есть ли у кого, по вашему мнѣнію, такіе документы, которые смѣлые люди могутъ огласить, хотя бы даже силкомъ. И на нихъ потомъ сослаться, чтобы оправдать свое поведеніе и якобы узаконить его.

— Стало быть, мое дѣло указать, гдѣ эти документы, ради того, чтобы ихъ уничтожили. Это ли желаніе государыни?

— Нѣтъ. Ея величество этого не сказала. Ея величество совѣта просить, какъ поступить... Но я думаю, что ваше дѣло указать на документы... И тогда... Я не знаю, что дѣлать... А государыня тоже не знаетъ. Оттого она и проситъ вашего, графъ, содѣйствія.

— Совѣта, а не содѣйствія.

— Если же вы скажете и докажете, — тонко добавилъ Воронцовъ, — что подобныхъ документовъ нѣтъ и никогда не было... Это будетъ драгоценнымъ совѣтомъ! Вашего слова будетъ вполне достаточно... то есть вашей клятвы.

— Я въ священномъ для меня дѣлѣ, ради памяти обожаемаго мною лица, — лгать не хочу! — глухо проговорилъ Разумовскій.

Наступило долгое молчаніе.

— Какой же исходъ, графъ? — выговорилъ, наконецъ, Воронцовъ.

Разумовскій вздрогнулъ при голосѣ канцлера, настолько глубоко задумался онъ, настолько далеко унеслись его мысли отъ окружающаго.

Онъ протяжно вздохнулъ, медленнымъ движеніемъ досталъ платокъ и отеръ слезы на глазахъ. Затѣмъ онъ молча всталъ, отворилъ потайной ящикъ въ столѣ и вынулъ небольшую шкатулку. Открывъ ее ключикомъ, который былъ у него на шеѣ съ образками, — онъ вынулъ свертокъ бумагъ, обвязанный розовой лентой. Затѣмъ онъ снова заперъ шкатулку и поставилъ ее на мѣсто. Со сверткомъ въ рукѣ — тихо вернулся онъ и снова сѣлъ у камина.

Въ сверткѣ, который фельдмаршалъ развязалъ, оказались двѣ бумаги. Утирая набѣгавшія слезы, онъ началъ читать ихъ про себя.

Воронцовъ молча ждалъ.

Медленно прочитавъ все и дочитавъ вторую бумагу, Разумовскій поцѣловалъ ее внизу, гдѣ видны были подписи... И легкимъ движеніемъ онъ бросилъ бумаги на уголья тлѣющаго камина.

— Алексѣй Григорьевичъ! — тихо вскрикнулъ Воронцовъ и невольно привсталъ.

Разумовскій не отвѣтилъ и даже головы не повернулъ на восклицаніе.

Бумажные листы тотчасъ вспыхнули, свертываясь въ черную трубочку, и пламя ярко освѣтило горницу и двухъ сидящихъ. Но тотчасъ же все исчезло вновь, только сѣрая пылинки потянуло жаромъ вверхъ и унесло въ трубу.

— Гражданскій подвигъ, Алексѣй Григорьевичъ. Слава тебѣ! Царица не ошиблась въ васъ. Но что я отвѣчу?

— Доложите государынѣ, дорогой Михаилъ Ларивоничъ, что если бы молвь народа была истинною, то были бы доку-

менты. А я, графъ Алексѣй Разумовскій, вѣрный ея рабъ, свято чтущій память моей покойной благодѣтельницы и вѣрно-подданный государыни Екатерины II, даю мое честное слово, коимъ никогда кривдѣ не послужилъ, что никакихъ документовъ, могущихъ подтвердить молву народную, нѣту на свѣтѣ.

— Нѣтъ, нѣту, скажу я. Пусть знаетъ она. Опѣнить.

— Зачѣмъ. Нѣтъ, другъ. Я этого не хочу. Спасибо мнѣ за это мало, а награда будетъ обидой. Иное не продается, а только жертвуется. Скажи ей: была бы правда, были бы документы. А ихъ нѣтъ. И я, молъ, самъ могу присягой подтвердить, что ихъ нѣтъ.

— Зачѣмъ лишать себя благодарности, признательности монарха,—воскликнулъ Воронцовъ:—если заслужилъ...

— По неволѣ...—продолжалъ и укмыльнулся горько малороссъ.

Воронцовъ поднялся, протянулъ обѣ руки Разумовскому и молча крѣпко поцѣловался съ нимъ три раза.

Черезъ нѣсколько минутъ канцлеръ уже уѣхалъ, а фельд-маршалъ былъ снова въ той же горницѣ у потухшаго и похолодѣвшаго камина. И положивъ на руки голову, сидѣлъ онъ неподвижно. Спусти часъ, онъ поднялся и прошепталъ:

— По грѣху—наказаніе!.. За гордость и тщеславіе—Господь наказалъ. Предъ современниками робѣлъ похвастать. Желалось предъ начальствомъ, послѣ смерти, безопасно побавляться. И вотъ сгинуло все!

XXXIII.

На другой день канцлеръ Воронцовъ былъ въ Петровскомъ и входилъ къ императрицѣ съ бодрымъ видомъ и съ оживленно довольнымъ лицомъ.

Государыня, принимая его, пытливо поглядѣла ему въ лицо и улыбнулась.

— Ну-съ. Какъ дѣло вдовы?

— Ваше величество. Все дѣло заключалось въ глупой молвѣ, какъ она зачастую бываетъ. Доказательствъ этой молвы нѣтъ никакихъ. И графъ Алексѣй Григорьевичъ приказалъ доложить вашему императорскому величеству, что онъ даетъ честное слово, что документовъ не существуетъ.

Воронцовъ съ удареніемъ и оттягивая рѣчь произнесъ послѣднія слова.

— Нѣту ничего?

— Нѣту, ваше величество. Графъ даетъ честное слово и готовъ клятву принести.

Государыня задумалась, но потомъ живо и встрепенувшись прибавила:

— И не было никогда? Неужели?

Воронцовъ молчалъ и потупился.

— Какъ вы сами предполагаете, Михаилъ Ларивоничъ? Скажите ваше мнѣніе о семь?

Государыня отгвѣтила умышленно слова: «предполагаете» и «ваше».

— Предполагаю, ваше величество, что были и, брошенные, вдругъ сгорѣли въ каминѣ, въ одну секунду. Но это, вѣдь, мое личное соображеніе.

— Соображеніе... Вамъ это подсказалъ вашъ разумъ, ваша догадка?.. Или... Или ваши глаза?

— И глаза, и догадка, ваше величество. Комедіянства въ графѣ я допустить не могу.

— Стало быть, вдова моя можетъ быть спокойна?..

— Вполнѣ, ваше величество.

— Благодарю васъ! Я не забуду, чѣмъ я вамъ обязана!— съ чувствомъ произнесла Екатерина.

— Мнѣ? Но я здѣсь не при чемъ. Графъ. Алексѣй Григорьевичъ самъ...

— Нѣтъ. Вы все сдѣлали. Я одна, безъ васъ, никогда бы не рѣшилась... просить этого. Просить такой огромной жертвы, такого доказательства преданности подданнаго—нельзя. А приказывать? Избави, Боже. Наши повелѣнья не должны гнетомъ падать на чувства, на души и сердца подданныхъ. И вотъ вы помогли. Это ваше дѣяніе важнѣе по своимъ послѣдствіямъ нашихъ съ вами хитросплетеній по отношенію къ европейскимъ кабинетамъ. Благодарю васъ и повторяю,—никогда не забуду.

Воронцовъ вышелъ, государыня весело улыбнулась. Лицо ея засіяло радостью. Она тихонько хлопнула въ ладоши и почти шаловливо вымолвила вслухъ предъ собой, мысленно къ кому-то обращаясь:

— Да. Oui, mon cher ami. Есть такая французская пословица: A roué, roué et demie!

XXXIV.

Прошло пять дней, и съ чудодѣемъ княземъ Козельскимъ было два приключенія. Своего рода чудеса, но не имъ совершенныя, а съ нимъ совершившіяся.

Въ домъ явился посланный изъ Петровскаго отъ имени Марьи Савишны Перекусихиной, потребовавшей къ себѣ молодого князя Козельскаго. Сашокъ смутился и оробѣлъ.

Князь рѣшилъ, что дѣло касается, очевидно, его, а не племянника. Перекусихина только не хочетъ его тревожить. И онъ поѣхалъ самъ. Онъ смущался тоже... Исторія съ Маловой слишкомъ на шумѣла въ Москвѣ. Неужели ему, старику, будетъ «передано» замѣчаніе?!..

Черезъ часа два князь вернулся домой, тотчасъ позвалъ Сашку къ себѣ и объявилъ:

— На твой бракъ съ дѣвицей Квоцинской даю тебя мое согласіе... Почему такъ вдругъ—не твое дѣло.

Сашокъ вскрикнулъ и бросился цѣловать дядю.

— Только скажу... — продолжалъ князь. — Чудеса въ рѣшетѣ... Должно быть, у Квоцинскихъ есть «рука», чтобы высочайшія персоны могли снисходить къ ихъ семейнымъ обстоятельствамъ. Завтра поѣду самолично знакомиться съ Петромъ и мириться съ Павломъ, чтобы оба Максимыча были довольны. И радъ бы наплевать на обоихъ, да не могу. Возбраняется. Чудеса!

На другой день, дѣйствительно, князь съѣздили къ Квоцинскимъ въ качествѣ дяди жениха и, конечно, оба брата, польщенные посѣщеніемъ, были въ восторгѣ. Петръ Максимычъ всплакнулъ отъ счастья, что бракъ дочери сладился. Павелъ Максимычъ, въ виду водворенія Настасьи Григорьевны съ ея сестрою и своего примиренія съ ней, на радостяхъ примирился и съ княземъ охотно.

Но затѣмъ чудеса въ домѣ продолжались...

Въ сумерки князю доложили, что смотритель острога покорнѣе просить его принять. Князь догадался, что дѣло идетъ, вѣроятно, о цыганѣ. Дѣйствительно, худенькій старичекъ, по наружности типичный подъячій, явившись, передалъ князю, что заключенный цыганъ, Балчукъ, уже три дня всячески молить, чтобы ему разрѣшили явиться подъ стражей къ князю и доложить о крайне важномъ дѣлѣ, касающемся князя.

Но было бы много лучше, если бы князь пріѣхалъ самъ и принялъ его въ квартирѣ смотрителя, чтобы не было огласки.

— Смѣю доложить вашему сіятельству, — объяснилъ смотритель, — что на мой толкъ, извините меня за совѣтъ, вамъ бы слѣдовало Бальчука допустить до себя. Онъ мнѣ не открылся ни въ чемъ, но у меня большой навыкъ къ острожникамъ за двадцать пять лѣтъ моего смотрительства. Этотъ цыганъ совсѣмъ человѣкъ на особый ладъ. Какъ онъ попался въ смертоубійствѣ, мнѣ непонятно, но предполагаю, что не ради простого разбоя. На немъ въ тотъ же разъ при обыскѣ найдено десять рублей.

— Что же вы хотите этимъ сказать? — спросилъ князь.

— Было бы нелишнее вашему сіятельству выслушать его. Онъ, очевидно, хочетъ вамъ доложить что-то очень важное.

— Ну, что же, пожалуй! — рѣшилъ князь. — Вѣдь, не зарѣжетъ же онъ меня у васъ на глазахъ. Какой прокъ?

И было рѣшено, что самъ князь пріѣдетъ на квартиру смотрителя, чтобы въ домѣ ничего не знали.

На слѣдующій день утромъ князь, удивляясь и недоумѣвая, выѣхалъ въ телѣжкѣ и очутился въ острогѣ, въ комнатѣ смотрителя. Туда же къ нему впустили и цыгана. Князь мысленно подшучивалъ надъ собой, что согласился на это таинственное нелѣпное свиданіе. У вошедшаго молодца и красавца-цыгана былъ видъ совершенно иной. За эту ночь, когда онъ былъ схваченъ, князь помнилъ хорошо, что у него былъ дикій, озлобленный видъ тигра, попавшаго въ клетку. Теперь у цыгана лицо было спокойное, взглядъ пытливый, еще спокойнѣе.

Съ первыхъ же словъ князь убѣдился, что передъ нимъ очень умный малый и даже не заурядно-умный. Войдя и ставъ у дверей передъ сидящимъ въ креслѣ княземъ, цыганъ, по имени Бальчукъ, не поклонился, а лишь зорко глянулъ и присмотрѣлся къ князю. И не давъ ему времени сдѣлать какой-либо вопросъ, самъ заговорилъ:

— Я хотѣлъ повидать васъ не ради своего дѣла, а ради вашего дѣла! Вамъ оно важно, а мнѣ наплевать! Но прежде чѣмъ я стану говорить, вы должны дать ваше княжеское слово, что вы исполните нашъ уговоръ.

— Вона какъ! — воскликнулъ князь. — Боекъ ты, я вижу! Бой-молодецъ! Такъ у насъ уговоръ долженъ быть?

— Да-съ, уговоръ! Я васъ отъ смерти избавлю, коя у васъ за спиной. А вы меня изъ этого острога избавите и на всѣ четыре стороны пустите.

Князь разсмѣялся.

— Умный вы человекъ, князь, всё сказываютъ. А вотъ, инъ бываетъ, разума - то у васъ не хватаетъ. Хоть бы вотъ теперь!

Князь еще пуще разсмѣялся.

— Васъ должны въ скорости, не выиче — завтра покончить, въ землю зарыть, а вы вотъ посмѣиваетесь!

— Живого, что ли, въ землю-то зарюютъ?

— Нѣтъ, не живого, а какъ слѣдуетъ — мертвого... И ничего не поясниваго... Людямъ - то! Приказалъ, молъ, долго жить, а почему померъ — самъ не знаетъ... Хитеръ былъ, а нашлись, что и его перехитрили.

Бальчукъ говорилъ такъ самоувѣренно и твердо, что князь поневолѣ прислушивался внимательнѣе.

— Ну, говори! Сказывай все! Можетъ, и въ самомъ дѣлѣ не врешь.

— Нѣтъ, сказывать я не буду... Прежде вы сказывайте... Согласны ли, коли узнаете, что я васъ упасу отъ смерти, меня изъ острога освободить. На волю! Вы человекъ властный, вамъ только слово сказать! Сказать, что простили и молодой князь простилъ. Меня и выпустятъ.

— Изволь!

— Ваше княжеское слово?

— Мое княжеское слово! Если то, что ты скажешь, не чепуха и не вранье.

— А вотъ сами посудите! Начну съ самаго изначала, что бы оно вамъ было совсѣмъ понятно.

И цыганъ толково, подробно объяснилъ князю, почему онъ рѣшился на вѣрное убійство молодого князя и попался лишь благодаря простой случайности. Не случись здороваго человека среди тьмы ночи и полной глуши на улицахъ, то, конечно, онъ догналъ бы князя и зарѣзалъ.

И когда цыганъ прибавилъ еще нѣсколько словъ, князь, внимательно прислушивавшійся къ его словамъ, вдругъ поблѣднѣлъ... Цыганъ сказалъ, что онъ былъ подкупленъ Земфирой. Ему было обѣщано двѣсти, а то и триста рублей, а то и больше, смотря по тому, какія обстоятельства произойдутъ послѣ убійства молодого князя.

— Но дѣло не выгорѣло! — продолжалъ Бальчукъ. — И вотъ теперь зарѣзать молодого князя нельзя — некому... Когда еще Земфира найдетъ другого такого дурака, какъ я. Въ Россіи

паемныхъ душегубовъ совсѣмъ нѣтъ. Это не то, что въ Молдавіи или въ Турціи. Стало-быть, теперь надо начинать дѣло съ другого конца. Надо похерить самого стараго князя.

— Что?!—неволью вскрикнулъ князь.

— Стараго, говорю, князя надо теперь херить. Ну, вотъ его и похеряютъ.

— Меня, то-есть?

— Вѣстимо васъ!

Наступило молчаніе, послѣ котораго князь спросилъ:

— Кто же? Ты, что ли? Какой прокъ, коли ты въ острогѣ... Сейчасъ, коли вотъ думаешь, такъ тогда я тебя предупреждаю...

— Полно, князь! — перебилъ Бальчукъ. — Сейчасъ? Здѣсь? Чѣмъ? Кулаками, что ли? Да и какой же толкъ, если бы даже я тутъ гдѣ ножъ нашелъ? Вѣдь я же сказалъ уже, что не мнѣ нужно — Земфирѣ нужно. Вы лучше слушайте! Земфира опасается, что не нынче — завтра вы ее можете отъ себя прогнать и уничтожить завѣщаніе, которое давно сдѣлали въ ея пользу. Захотите, чтобы все пошло молодому князю. Вотъ, боясь, что не нынѣ — завтра вы это завѣщаніе похерите, она и спѣшитъ какъ можно скорѣй васъ самихъ похерить. И благодаря завѣщанію, молодой князь останется на бобахъ.

Князь сидѣлъ съ сильно измѣнившимся лицомъ, потому что вполнѣ вѣрилъ каждому слову Бальчука, а вѣрилъ потому, что глаза, лицо, голосъ этого цыгана дышали силой правды.

— Ну, какъ же меня-то она задумала?.. — произнесъ онъ нѣсколько упавшимъ голосомъ, какъ бы не рѣшаясь выговорить слово «похерить», которое все повторялъ цыганъ.

— Вотъ это мудрено пояснить! Боюсь, князь, что не повѣрите. Обѣщайте мнѣ послушаться меня, что я вамъ скажу сдѣлать. И въ точію такъ сдѣлать, какъ я сказалъ. Тогда повѣрите и все узнаете. А не послушаетесь меня, ничего не будетъ. Прогнать вамъ Земфиру не мудрено, да такъ же дѣло такое дѣлать, полагаясь на слова осторожнаго... Это не гоже! А вы сами своими глазами поглядите, да своими ушами что-либо послушайте. Тогда будете вѣрно знать и можете безъ охулки поступать.

— Говори. Сдѣлаю все по-твоему! Я тебѣ вѣрю! — глухо произнесъ князь, сильно взволнованный.

— Извольте! Скажите, есть у васъ такая привычка, что Земфира иногда ввечеру сидитъ у васъ въ кабинетѣ?

— Да. И очень часто!

— И есть у васъ такая привычка, что вы какое-то питье стряпаете и пьете съ лимономъ, что ли, или съ чѣмъ...

— Правда твоя! Почти каждый вечеръ.

— Вотъ видите ли. Я вотъ у васъ въ домѣ не живаю, а это знаю. И знаю, стало, отъ Земфиры. Такъ вотъ не нынѣ — завтра васъ этимъ самымъ питьемъ на тотъ свѣтъ и отправятъ.

— Что?! — воскликнулъ князь.

— Да-съ! Да погодите. Я не все сказалъ! Просьба моя такая: съ нынѣшняго, съ завтрашняго ли дня, когда будетъ Земфира у васъ и будете вы попивать ваше питье, то прежде всего... Вѣдь, ваша спальня рядомъ, тамъ?

Князь кивнулъ головой.

— Вотъ пообѣщайтесь мнѣ... Сейчасъ же, прикажите кому, человѣку вѣрному, просверлить дырочку въ стѣну изъ спальни въ кабинетъ.

— Зачѣмъ? — выпрямился князь.

— Чтобы въ эту дырочку хорошо было видно! И вотъ пушай, когда вы сдѣлаете ваше это питье, то отпивъ малость, выйдите за какимъ дѣломъ на минуточку въ спальню и прямо глаза къ дырочкѣ! Ничего не увидите особливаго, на другой день то же сдѣлайте, а то и на третій. Но полагаю, что и по первому разу кое-что увидите, потому что она спѣшитъ. Хотите знать, что увидите вы въ щель?

— Ну... Ну... Что?!

— А когда вы выйдете въ спальню, то Земфира кое-что достанетъ изъ кармана или изъ-за пазухи и броситъ въ стаканъ. Коли вы этотъ стаканъ выкушаете, то черезъ часъ уже будете крикомъ кричать, а къ ночи и на томъ свѣтѣ будете, ничего не зная и не понимая. Отравы — отравой, опойтъ — опойти. А кто? Что? Какъ? — будетъ неизвѣстно, потому что пуще всѣхъ будетъ кричать и плакаться сама Земфира. Она тотчасъ же заподозритъ въ этомъ дѣлѣ молодого князя. А тамъ черезъ день и пузырекъ съ какой-то чертовщиной окажется у князя или у его дядьки въ ихъ квартирѣ. Все подлажено, князь, давно и только я теперь все это разрушилъ. А вы сдержите княжье слово, не забудьте главнаго... для меня. Когда вы увидите, что я не вралъ, васъ упасъ отъ злодѣйки, прикажите меня выпустить. Вотъ и все! Позвольте уйти?

Князь ничего не отвѣтилъ, задумался, сидѣлъ понурясь и былъ блѣденъ. Наконецъ, онъ выговорилъ чуть слышно:

— Вотъ что значить быть проданной на базарѣ, купленной и перекупленной.

Цыганъ снова попросилъ позволенія выйти и какъ бы разбудилъ князя.

— Ступай! Я свое слово сдержу!

Но когда цыганъ двинулся къ дверямъ, князь вдругъ вскрикнулъ:

— Стой! Почему ты знаешь про ядъ? Откуда ядъ? Гдѣ она могла добыть его?

— Отъ полюбовника!..

— Что?!—хрипливо произнесъ князь совершенно упавшимъ голосомъ.

— Да-съ! А полюбовникъ этотъ либо знахарь, либо настоящій дохтуръ и возится со всякими снадобьями и лѣкарствами. Самъ ихъ страпаетъ. И зелье смертельное онъ давно далъ ей и оно всегда при ней.

— Кто же этотъ знахарь?! Гдѣ онъ?

— Этого я не знаю! Она не дура, чтобы одного Каина другому Каину выдавать. Онъ обо мнѣ, поди, никогда не слыхалъ отъ нея, а я о немъ ничего не знаю.

Вернувшись изъ острога домой, князь былъ настолько страненъ лицомъ, что не только Сашокъ, но и люди замѣтили это. Спустя нѣкоторое время, Александръ Алексѣевичъ приказалъ позвать къ себѣ раненаго Семена и, къ удивленію всѣхъ, приказалъ привести прямо въ кабинетъ. Прежде всего онъ спросилъ, какъ себя чувствуетъ Семень, слабъ ли? Ражій дѣтина объяснилъ, смѣясь:

— Помилуйте, онъ меня только царапнулъ! А что крови много вытекло—важность какая! Будто безъ крови человекъ жить не можетъ! Это все враки! Я даже себя много лучше чувствую. Вотъ онъ меня ковырнулъ—и спасибо ему. Можетъ отъ какой болѣзни избавилъ.

— А что же? Можетъ быть, и правда?—черезъ силу улыбнулся князь, — вспомнивъ, что ражій дѣтина всегда былъ черезъ мѣру красенъ въ лицѣ, съ красной шеей, а теперь сталъ совсѣмъ благообразенъ, какъ и всѣ другіе.

Князь спросилъ Семена, сумѣетъ ли онъ, будучи кучеромъ, заняться столярнымъ дѣломъ? Семень замоталъ головой...

— Погоди! Можешь ты достать сейчасъ въ лавкѣ, а не дома, скрытно ото всѣхъ, а не явно, эдакій нужный инструментъ, чтобы затѣмъ просверлить мнѣ вотъ эту стѣну?

— Немудреное дѣло!

— Ну, такъ сейчасъ же берись! Съѣзди на извозчикѣ въ городъ и купи. Коловоротъ, что ли...

Черезъ два часа времени Семенъ снова былъ въ кабинетѣ князя, къ величайшему изумленію всей дворни, хотя, по приказанію князя, онъ объяснилъ, что дѣло идетъ объ его пораненіи, что князь посылалъ его къ знахарю и приказалъ явиться и сказать, что знахарь сказалъ.

Семенъ досталъ изъ-за пазухи спрятанный большой инструментъ и принялся за работу. Князь вызвалъ его предпочтительно передъ всѣми дворовыми и даже не счелъ нужнымъ предупредить его, чтобы никому ничего не говорилъ. Когда подобное предупрежденіе случалось, то Семенъ обидчиво качалъ головой, морщилъ брови и только разъ отвѣтилъ грубо:

— И какъ не надоѣсть обижать человѣка? Проболтался ли я когда въ чемъ?

Съ тѣхъ поръ князь уже никогда не говорилъ Семену промолчать про что-нибудь.

XXXV.

По вечерамъ, когда князь бывалъ дома и одинъ, Земфира всегда приходила въ кабинетъ.

На этотъ разъ, когда она явилась къ князю, онъ, несмотря на все свое желаніе быть спокойнымъ, казаться даже веселымъ, никакъ не могъ овладѣть собой. Онъ началъ шутить, но чувствовалъ самъ, что и шутки, и смѣхъ,—все выходитъ фальшиво и можетъ хуже выдать его.

Кончилось тѣмъ, что князь рѣшился прямо сказать, что онъ взволнованъ.

— Что съ вами такое сегодня?—тотчасъ замѣтила Земфира.

— А то, голубушка, — придумалъ солгать князь, — что у меня нѣкій московскій сановникъ просить сейчасъ ни больше, ни меньше, какъ сто тысячъ взаймы и безо всякаго документа. И эти деньги, конечно, пропадутъ. А если я не дамъ, то онъ мнѣ много худого надѣлаетъ. Вотъ меня это и обозило. Такъ что даже руки трясутся по сію пору, со злости.

И по пословицѣ «на всякаго мудреца довольно простоты» и на всякаго хитреца найдется «протохитрецъ», — Земфира повѣрила. Ей казалось только страннымъ, что князь, швырявшій всегда деньгами, вдругъ жалѣеть ста тысячъ.

— Что же вамъ? Не Богъ вѣсть ужъ какія деньги для васъ?

— Вѣрно! — спохватился князь. — Наплевать бы. Не въ томъ сила! Сила въ томъ, что онъ попроси, поклоняйся. А онъ съ меня горделиво беретъ ихъ. Точно будто я у него по оброку хожу холопомъ.

Объясненіе этому Земфира уже совершенно повѣрила. Она знала, что главное оружіе на князя—была просьба. Его надо было и можно было взять во всемъ добромъ, лаской.

Главное было сдѣлано, и князь уже не боялся, что выдастъ себя и лицомъ, и голосомъ. Нравственное его состояніе было таково, что онъ чувствовалъ себя на чеку, насторожившись, въ виду каждую минуту ожидаемаго, а все-таки какъ бы неожиданнаго удара: докажетъ ли Земфира, что цыганъ не солгалъ?

И чѣмъ ближе подходила роковая минута—убѣдиться въ томъ, что эта женщина способна быть отравительницей въ награду за многолѣтнюю привязанность, заботу и ласки,—тѣмъ болѣе князь былъ взволнованъ. Онъ началъ умышленно болтать, заговорилъ о вечерѣ, отъ котораго отказался и который теперь, вѣроятно, въ полномъ разгарѣ въ палатахъ графа Разумовскаго, куда ждуть и императрицу.

И вмѣстѣ съ этимъ князь принялся за свое стряпанье, налилъ горячей воды, рому, накрошилъ лимона. Но все это, что онъ дѣлалъ ежедневно, теперь дѣлалось какъ-то иначе. Или, быть можетъ, ему лишь казалось, что во всѣхъ его движеніяхъ есть что-то нервное, порывистое и подозрительное.

Отпивъ нѣсколько глотковъ, князь сталъ прохаживаться по кабинету... И сердце начало сильно биться въ немъ, даже въ вискахъ отстукивало. Приближалось это роковое мгновеніе... Сейчасъ онъ выйдетъ вдругъ за дверь спальни и тотчасъ станетъ глядѣть въ отверстіе, продѣланное въ стѣнѣ. И князь, шагая, думалъ:

«Чего же волноваться?.. Можетъ быть, не сегодня?.. И почти навѣрное не сегодня!.. А если она свое зелье постоянно носить при себѣ?»...

И вдругъ онъ вспомнилъ нѣчто, что его смутило еще болѣе. Онъ вспомнилъ, что за послѣдніе пять дней, благодаря разъѣздамъ по вечерамъ, онъ не оставался такъ наединѣ съ Земфирой. Она, можетъ, думаетъ, что съ завтрашняго дня опять пойдетъ такъ на нѣсколько дней. Поэтому ей надо пользоваться случаемъ, если она спѣшитъ. И князь выговорилъ мысленно:

«Да, навѣрное... Непремѣнно!.. Сейчасъ!»...

И вмѣстѣ съ тѣмъ, тихо шагая по комнатѣ, онъ чувствовалъ, что не имѣетъ силы выйти за дверь и подставить свою голову подъ топоръ. Да. Это была, вѣдь, дѣйствительно, нравственная казнь! Вѣря словамъ цыгана, уже какъ бы вѣря, что Земфира способна на такое дѣло, онъ будто все-таки на что-то надѣялся. Ему все-таки хотѣлось не вѣрить.

«Да, хочется, чтобы не вѣрилось!»...—повторялъ онъ про себя.

И вдругъ, сломивъ въ себѣ нерѣшительность, онъ шагнулъ, вышелъ въ спальню и, притворивъ гулко дверь за собой, тотчасъ же припалъ глазомъ къ просверленной стѣнѣ...

И онъ увидѣлъ два луча, синихъ, сверкающихъ, направленныхъ на него... Такъ показалось ему. Онъ увидѣлъ взглядъ двухъ черныхъ глазъ, устремленныхъ на столикъ, гдѣ стояло питье.

Земфира быстро поднялась, отстегивая воротъ платья, потомъ рванула, спѣша что-то оторвала... Что-то мелькнуло въ ея пальцахъ... Она остановилась на мгновеніе и прислушалась, приглядывалась къ двери...

Князь такъ сильно дышалъ, почти задыхаясь, что испугался, не услышитъ ли она это дыханіе и остановится. А ужъ стукъ сердца навѣрно слышенъ въ той комнатѣ. Сердце стало будто большущее, захватило всю грудь и отбивало молотомъ...

Но, остановившись и замеревъ на мѣстѣ на мгновеніе, Земфира протянула руку къ питью. Въ пальцахъ ея была бѣлая бумажка... Еще черезъ мгновеніе она отошла отъ столика и сѣла въ то же кресло, въ той же позѣ.

И опять показалось князю, что два сверкающихъ луча направлены на него и освѣщаютъ комнату сильнѣе свѣчей... Взоръ злодѣйки дѣйствительно горѣлъ и вспыхивалъ. И произошло странное, быть можетъ, даже рѣдкое явленіе... Князь выпрямился, переставъ глядѣть въ щель, и сразу сталъ спокоенъ. Вопросъ былъ рѣшенъ... Сомнѣнія не было никакого.

И поэтому, все казалось уже совершенно просто, ясно и будто даже именно такъ, какъ и быть слѣдуетъ...

Войдя въ кабинетъ, князь Александръ Алексѣевичъ былъ совершенно спокоенъ, холодно спокоенъ и только... Только горло сдавило и слезы будто просятся на глаза. Вѣдь онъ въ мигъ похоронилъ единственную въ жизни долгую и глубокую привязанность. Князь чувствовалъ, однако, что его спокойствіе ужасное, смертельное...

Впервые случилось нѣчто, впервые въ жизни... А что случилось, онъ даже не знаетъ какъ назвать. «Разочарованіе?»

Да. Все, что было, оказывается не было. Какъ же такъ? Сразу трудно и разобраться. Сколько лѣтъ онъ былъ глубоко убѣжденъ въ известномъ сочетаніи обстоятельствъ, дѣлавшихъ его довольнымъ... Многое дорогое, близкое, стало постепенно менѣе дорогимъ... Правда. Но она все-таки была дорога и близка сердцу... Все-таки «было»! И вдругъ оказывается, что оно и вовсе не было... Онъ вѣрилъ въ химеру. «Злюка», его любящая, къ нему привязанная всѣмъ сердцемъ, оказывается не злоюкой, а преступной женщиной, злодѣйкой, способной не только обманывать и имѣть любовника, но способной и на смертоубійство, на отравленіе.

Пока князь, вернувшись въ комнату, бродилъ, а не ходилъ по ней, Земфира, забившись въ уголокъ у окна, сидѣла какъ на угольяхъ, ждала и въ то же время начала холодѣть отъ ужаса. Ей чудилось, что въ спальню уходилъ одинъ князь Александръ Алексѣевичъ, а вернулся другой, какого она никогда еще не видала. Горделивый и блѣдный, со сверкающимъ взглядомъ.

«Неужели онъ догадался? Или онъ видѣлъ? Но какъ видѣлъ? А если онъ перехитрилъ?.. Какой вздоръ!»

Князь вдругъ сѣлъ на кресло и произнесъ глухо:

— Земфира. У меня до тебя просьба.

— Ну. Что же?..

Князь показалъ на свое питье и молчалъ.

— Говорите. Что вамъ? — уже неровнымъ голосомъ произнесла Земфира.

— Выпей...

И въ комнатѣ наступило гробовое молчанье. Длилось оно долго.

Князь не смотрѣлъ на женщину, а понурясь глядѣлъ себѣ на руки безъ смысла. Земфира сидѣла мертво-блѣдная, не ше-

лохнувшись, тяжело переводила дыханіе, но тоже не глядѣла на князя, воображая, что онъ смотритъ на нее и чувствуя, что она этого взгляда не выдержитъ... Не отъ раскаянія или совѣсти... а отъ злобы, душившей ее... Встрѣтивъ этотъ взглядъ суди—она крикнетъ то, что у нея теперь на умѣ.

«Ты судья?! Нѣтъ. Ты бездушный себелюбець... Ты все взял! А что ты далъ?»

Придя нѣсколько въ себя, князь взглянулъ искоса на женщину и увидѣлъ, что она нѣжно бѣла, несмотря на свою смуглоту.

— Что же? Ничего не скажешь? — тихо проговорилъ онъ, наконецъ, почти прошепталъ, чрезъ всю комнату.

— Ничего! — отчаянно выкрикнула Земфира, заложивъ руки надъ головой.

— Оправдаться не можешь?

— Не хочу! По дѣломъ! Умѣй! А дура—то и пропадай. Ничего. Ничего не сумѣла. И пропадай.

— Говори. Любила ли ты меня?.. Прежде?..

— Никогда! Вотъ никогда-то...

И женщина какъ-то затряслась и начала вдругъ хохотать дикимъ, судорожнымъ смѣхомъ. Смѣхомъ сумасшедшихъ и бредящихъ, во смѣющихся.

— Оставь меня. Выйди, — глухо, чуть слышно, произнесъ князь. Завтра утромъ получишь свои пятьдесятъ тысячъ и немедленно уѣзжай... И... И будь проклята!

— Не буду! — расхохоталась Земфира.

И она поднялась съ мѣста и пошатываясь пошла къ дверямъ.

— Сатана! — воскликнулъ князь.

— Да. Осатанѣла съ вами. Въ мучительствѣ съ отвратительной, мерзкой старой гадиной! — какъ-то прошипѣла она и вышла.

XXXVI.

На другой день князь будто переломилъ себя—былъ другой человѣкъ, бодрый, веселый, довольный... съ грустнымъ взглядомъ тусклыхъ глазъ.

Весь день прошелъ дѣятельно. Онъ будто старался занять себя, чтобы не думать, не вспоминать.

Земфира получила пятьдесятъ тысячъ. Давно обѣщанныя, какъ бы поэтому данныя поневолѣ... И ни гроша болѣе...

Ввечеру она уже вы́ехала изъ дому, навсегда... Зато цыганъ былъ освобожденъ изъ острога и взятъ въ домъ князя на службу. Онъ горячо клаяся, что за такую доброту и за такую честь отплатитъ князю, заслужить...

Затѣмъ князь осмотрѣлъ свою домовую церковь и тотчасъ распорядился, чтобы она была вся отдѣлана заново...

Вы́ехавъ изъ дому, князь занялся «концами», какъ онъ называлъ, разныхъ своихъ дѣлъ... Нѣсколько человѣкъ спасенныхъ изъ нищеты, и въ томъ числѣ вдова Леухина съ дѣтьми, еще не были вполнѣ пристроены и обезпечены. Въ судѣ у Романова было еще три тяжбы у людей, которыхъ онъ взялъ подъ свое покровительство, и надо было добиться ихъ справедливаго рѣшенія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ князь за́ехалъ къ лучшему ювелиру, вы́бралъ на нѣсколько тысячъ брилліантовъ и самоцвѣтныхъ камней и заказалъ свадебный подарокъ будущей племянницѣ.

И время за день—тяжелый день—было убито...

XXXVII.

Въ селѣ Петровскомъ было большое оживленіе... Правнучка старухи Параскевы вѣнчалась съ вольноотпущеннымъ дворовымъ человѣкомъ господина Орлова. Старуха позвала многихъ на свадьбу, отъ радости и счастья помолодѣла лѣтъ на двадцать и все-таки была старая-престарая...

— Потому она,—шутили петровцы, что и двадцать ей лѣтъ сбавъ и все-таки столѣтняя будетъ!

Гостей набралось въ домѣ Параскевы куча — и молодыхъ, и старыхъ. Но угощенія хватало на всѣхъ. Старуха доказала, что у нея изъ-за огорода денежки водились.

Трудно было бы когда-либо, гдѣ-либо увидѣть два лица, болѣе радостныхъ, чѣмъ было лицо красивой Аленки и тоже красиваго Матюшки.

Въ самый разгаръ пирванія всѣхъ ожидало цѣлое происшествіе...

Изъ лѣсу вышелъ, перешелъ полянку и вошелъ въ домикъ лакей въ придворной ливреѣ, высокій, съ красивыми голубыми глазами и такой на видъ рослый плечистый, важный, что прямо не лакей, а генералъ. Да и кафтанъ былъ такой, какихъ петровцы прежде никогда не видали, и къ которымъ только те-

перь приглядѣлись и привыкли, такъ какъ палаты графа были полны этихъ питерскихъ слугъ.

Важный придворный служитель мягко и вѣжливо спросилъ, — хотя и видѣлъ самъ — которая молодая. Среди всеобщаго молчанія и смущенія Параскева отозвалась:

— Вотъ, золотой мой, вотъ она!

При ея словахъ многіе усмѣхнулись, а какой-то старикъ даже сказалъ:

— Вотъ ужъ воистину золотой! Вишь, и по кафтану, и по штанамъ, все одно золото.

Лакей приблизился къ Аленькѣ и передалъ ей свертокъ.

— Тутъ, милая моя, тебѣ, молодой, сто рублей. Прислала барыня.

— Какая барыня? — произнесла Параскева.

— А вотъ, та самая, которую ты знаешь. А я, по правдѣ, и не знаю. Указано мнѣ отдать и сказать: отъ барыни, которая у старухи Параскевы на огородѣ была не разъ.

— Ахъ, она моя сердешная, голубушка! — всхлинула Параскева и начала утирать свои безъ слезъ плачущіе глаза.

XXXVIII.

Княгиня генераль-аншефиха, водворивъ сестру на мѣсто жительства, тотчасъ вызвала къ себѣ Павла Максимовича и переговорила съ нимъ «по-своему».

Послѣдствіемъ этого объясненія было важное рѣшеніе. Чрезъ десять дней послѣ этого, въ домѣ и семьѣ Квоцинскихъ, началось особенное оживленіе... Но всѣ лица были странно оживлены. У всѣхъ чудно смѣялись глаза, начиная отъ Петра Максимовича и Анны Ивановны и до Марфы Ѳомины, до людей, дѣвченокъ въ домѣ. Всѣ ухмылялись, точно будто подшучивали или подсмѣивались и подмигивали другъ дружкѣ.

Въ домѣ была свадьба, но такая, что при извѣстїи о ней, знакомые и прїатели головами качали, ахали и смѣялись. Старый холостякъ Павелъ Максимовичъ долженствовалъ вѣнчаться съ Настасьей Григорьевной Маловой.

Если бы не знали всего предыдущаго, случившагося между ними, а главное не знали бы, какъ Малову какой-то капитанъ въ карты проигралъ; то, можетъ быть, никто бы и не подсмѣивался. А теперь, съ легкой руки нянюшки, Марфы Ѳомины, всѣ повторяли:

— Потому баринъ хочетъ бракосочетаться, чтобы ее опять кто не проигралъ въ карты, либо не продалъ на толкучкѣ!

Вѣнчаніе происходило въ ближайшемъ храмѣ, у Спаса на Пескахъ, но въ церкви, несмотря на тучу налѣзшаго народу, почти никто не заглядывалъ въ лица жениха и невѣсты и не интересовался ими. Зато всѣ глаза были устремлены на молодого офицера, стоящаго недалеко отъ брачующихся и на молодую дѣвушку, стоявшую недалеко отъ него около своей матери. Всѣ знали, что это—женихъ и невѣста.

— Вотъ ихъ бы свадьбу поглядѣть!—говорилось въ толпѣ. Да обида—нельзя! Въ своей домово́й церкви будутъ вѣнчаться...

Такимъ образомъ, Павелъ Максимовичъ и Настасья Григорьевна обвинчались, не возбуждая ничего любопытства и вниманія. Малова въ подвѣнчномъ платьѣ была безспорно красива, ею можно было полюбоваться. Павелъ Максимовичъ тоже приободрился, будто помолодѣвъ малость, и выглядывалъ ферткомъ. Но все-таки, въ виду молодого князя—офицера и молодой Квощинской, на нихъ нельзя было обратить особаго вниманія.

— Куда же имъ до этихъ?—говорили въ толпѣ.—Онъ прямо Бова-королевичъ, а она, вотъ тебѣ, ни дать, ни взять, Милитриса Кирбитьевна.

XXXIX.

Князь Александръ Алексѣевичъ, будто стараясь самого себя развлекать, особенно дѣятельно взялся за приготовленіе къ свадьбѣ племянника, рѣшивъ не откладывать, а ускорить бракосочетанье.

И однажды, большой домъ князя Козельскаго переполнился гостями, а дворъ и сосѣднія улицы запрудились экипажами. Князь опредѣлил на свадьбу племянника такія страшныя деньги, о которыхъ прошелъ слухъ по Москвѣ, что изъ всѣхъ приглашенныхъ ни одинъ не отказался, всякій пріѣхалъ. Всѣмъ было любопытно поглядѣть, какъ и на что «ухлопаеть богачъ-чародѣй эдакія деньжища!»

И если было когда-то много гостей на торжественномъ обѣдѣ у князя, были первые люди государства, то теперь многіе изъ нихъ тоже пріѣхали ради дружбы къ князю, но помимо ихъ, было и все московское дворянство, которое дружило

или было въ родственныхъ отношеніяхъ съ семьей Квоцинскихъ, были и пріѣзжіе изъ Калуги, Тулы и Владиміра.

Жениха уже называли громко звучащимъ именемъ, говорили «адъютантъ генеральсь-адъютанта» и уху казалось, что это еще больше, чѣмъ просто генеральсь-адъютантъ.

«Рука» князя сдѣлала это! Марья Савишна...

Разумѣется, самъ Григорій Орловъ, котораго уже начинали заглазно называть графомъ, хотя полученіе титула должно было совершиться лишь черезъ нѣсколько дней, — счелъ долгомъ пріѣхать на свадьбу своего новаго ординарца, рекомендованнаго ему царцей.

Вѣнчаніе состоялось въ домовой церкви и было настолько блестяще, благодаря гостямъ, мундирамъ и дамскимъ туалетамъ, что можно было подумать, что происходитъ во дворцѣ императорскомъ. Послѣ вѣнца тотчасъ состоялся обѣдъ — свадебный пиръ и длился до сумерекъ.

Уже солнце садилось, когда гости разѣхались, а молодые остались въ своихъ собственныхъ апартаментахъ, занимая весь главный этажъ.

Князь Александръ Алексѣевичъ переселился на жительство въ комнаты, которыя прежде занималъ Сашокъ.

— Мы помѣняемъ, — сказалъ онъ племяннику, — и не одной квартирой, а и всѣмъ прочимъ. Ты будешь на моемъ мѣстѣ и въ домѣ, и въ вотчинахъ, а я буду на твоемъ мѣстѣ! И Кузьмича къ себѣ приставлю. И буду я дѣлать то, что онъ тебѣ всегда наказывалъ: — «уберегаться женскаго пола, чтобы не загубиться!»





PG3470

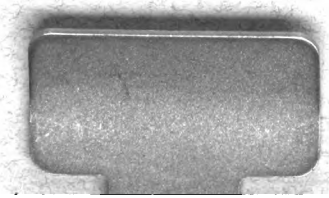
.S2

1894

t.28



A000002165011



612



A000002165011

628